



«Художественная литература»

ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН:
ҚАЗІРГІ ЗАМАН ӘДЕБИЕТІНІҢ ҮШ ТОМДЫҚ АНТОЛОГИЯСЫ

Жусан иісті жұмақ өлке

ЕКІНШІ ТОМ

Проза



Москва
«Художественная литература»
2013

НЕЗАВИСИМЫЙ КАЗАХСТАН:
АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ТРЁХ ТОМАХ

Моих степей полынная звезда

ТОМ ВТОРОЙ

Проза



Москва
«Художественная литература»
2013

УДК 82/89
ББК 84 (5 Каз)
АНТ 72

Международный издательский проект

*Издание подготовлено при участии
Союза писателей Казахстана (председатель Нурлан Оразалин),
ОО «Союз Литературных Переводчиков — Тэржіман»
(председатель Кайрат Бакбергенов),
Союза писателей России
(председатель правления — Валерий Ганичев)*

В оформлении книги использовано произведение художника
Ж. Какенулы

Моих степей полынная звезда

АНТ 72 Независимый Казахстан: Антология современной литературы в трёх томах. Проза. Том II. Составители: Райхан Маженкызы, Георгий Пряхин. — М.: Художественная литература, 2013. — 688 с., ил.

«Моих степей полынная звезда» — вторая книга трёхтомной антологии современной казахстанской литературы. В том вошли лучшие образцы прозы более чем сорока наиболее значительных писателей Казахстана. Их повести, рассказы, эссе, написанные в последние десятилетия, знакомят российского читателя с историей и культурой многонационального Казахстана, его прошлым и настоящим, одновременно раскрывая глубочайшие проблемы человеческого бытия, где есть место любви и страданию, мудрости и героизму, верности и предательству, а добро ведёт вечную борьбу со злом...

УДК 82/89
ББК 84 (5 Каз)

ISBN 978-5-280-03597-3

© Составление. Р. Маженкызы, Г. Пряхин. 2013
© Оформление. Т. Ф. Погудина, 2013
© «Художественная литература», 2013

Книга — плод человеческой мысли, наделённый дыханием времени и пространства. Книге человечество доверило свои священные прозрения, открытия души. Только книга может научить, как двигаться вперёд, как избежать катаклизмов и как взобраться на вершины человечности. Книга — самый терпеливый учитель. Мы оставляем будущему своей страны — молодёжи — единственное и наиболее полное завещание: Книгу.

Нурсултан Назарбаев,
Президент Республики Казахстан

ЭТА АНТОЛОГИЯ — ЕЩЁ ОДИН ДУХОВНЫЙ МОСТ МЕЖДУ НАШИМИ НАРОДАМИ

Дорогие читатели! Литература Казахстана в последние двадцать лет независимости страны и свободы творчества вместе со своим народом смело и решительно меняет направление своего движения по новому пути.

Да, литературное многообразие Казахстана отличается уникальностью и является неотъемлемой частью нашей истории. Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев отметил, что в Стратегии «Казахстан-2050» в числе глобальных вызовов указан кризис мировоззрения и ценностей. Поэтому сегодня важно по-новому осмыслить роль и значение культуры в укреплении общеказахстанских ценностей мира и согласия. Казахская культура должна стать неотъемлемой частью глобального культурного наследия. Она должна чётко распознаваться в системе восприятия культурных ценностей различных народов мира. Это касается всех видов современного искусства — музыки, театра, кино, литературы, живописи и т. д.

В 1958 году в Москве на русском языке была издана «Антология казахской поэзии» с предисловием М. Ауэзова и Т. Алимкулова. Теперь, более полувека спустя, международный издательский проект «Независимый Казахстан: Антология современной литературы в трёх томах», осуществляемый московским издательством «Художественная литература», вносит новый весомый вклад в популяризацию на нашем общем культурном пространстве казахской литературы, имеющей большое значение для нравственной и духовной жизни страны.

В трёх томах собраны лучшие произведения казахстанских авторов. Современный казахстанский литературный процесс сегодня невозможно представить без той своеобразной ноты, которую приносят в него писатели и поэты многих национальностей, обогатившие литературу именно в годы независимости значимыми

прозаическими и поэтическими произведениями на темы современности и исторического прошлого.

Надеюсь, что этот трёхтомник будет с интересом встречен российскими читателями.

Антология показывает состояние нашей современной литературы, связанной с многовековой литературной традицией, тысячами нитей вплетённой в выпавшее каждому автору и его творениям время. Это — своеобразный мост, который ведёт к более глубокому знакомству с нашей культурой, крепит духовные основы многовековой российско-казахстанской дружбы.

Представляя широкой аудитории читателей уникальную антологию современной многонациональной литературы независимого Казахстана, хочу выразить признательность составителям, переводчикам и издателям за их огромный труд, за то, что они осуществили перевод произведений на русский язык и подарили нам радость новой желанной встречи.

Кайрат Келимбетов,
заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература» в своё время было тесно связано со всеми республиками Советского Союза. Здесь выходили лучшие произведения писателей всей великой страны. Издательство, всегда являвшееся эталоном качества, печатало как русскую классику, так и национальную классическую литературу. Его книги имелись в каждом интеллигентном доме, соединяя весь думающий Союз: и тех, кто читает, и тех, кто пишет.

Многое изменилось с тех пор. Нет великой страны, бывшие национальные республики стали самостоятельными государствами. Изменилось и само издательство, как и издательское дело в целом: нет уже глобальных тиражей, книга претерпевает жестокие испытания. И всё же тяга к художественному слову сохранилась на всём постсоветском пространстве. И наше издательство, вставая постепенно на ноги после разрухи девяностых, старается в известной мере, на новом историческом этапе, возродить былые достойные традиции. Устанавливаются партнёрские отношения с центрами культуры ближнего зарубежья, при содействии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) выходит многотомная библиотека «Классика литератур СНГ».

Наиболее активно развиваются связи «Художественной литературы» с дружественным Казахстаном, чей позитивный опыт развития экономики, социальной и культурной сферы сейчас с огромным интересом воспринимается на постсоветском пространстве. На русском языке выходят книги классиков казахской литературы, произведения современных писателей, философов, публицистов.

Среди этих проектов выделяется совместное издание трёхтомной антологии современной многонациональной литературы независимого Казахстана.

Да, независимость любого государства зиждется не только на экономическом, политическом, но, несомненно, и на духовно-нравствен-

ном фундаменте, в закладке которого огромную роль играет литература, фольклор, Слово. И в этом смысле произведения, которые издательство представляет в этом трёхтомнике, и впрямь тесно связаны с процессами возрождения Казахстана. В какой-то степени этими процессами обусловлено и само их появление. Но не менее очевидно и влияние лучших, самых значительных достижений литературного творчества и на рождение, укрепление и развитие самой казахстанской государственности, если понимать её в широком, не только общественно-политическом, но и в чисто человеческом, гуманитарном плане.

В антологии, повторяем, представлены на русском языке произведения авторов разных национальностей и различных возрастов, проживающих не только в двух замечательных столицах — Астане и Алматы — но и в казахстанской глубинке. В подборе антологии, в переводах на русский язык, в самом её издании, которое, несомненно станет заметной вехой в российско-казахстанском сотрудничестве в целом, большое содействие оказал Фонд имени Немата Келимбетова, известного казахстанского учёного-тюрколога, философа, писателя и публициста. Его книги, к слову, также выходили на русском языке в издательстве «Художественная литература» и тепло приняты не только в Казахстане, но и в России, а также в ближнем и дальнем зарубежье.

Антология состоит из трёх фундаментальных частей. Открывается она томом, посвящённым современной детской литературе дружественной станы. Эта книга, можно сказать, предназначена не только для ребятишек — она хороша будет и для семейного чтения.

Второй том антологии представляет современную казахстанскую прозу.

Заключает антологию собрание нынешней казахстанской поэзии.

Книги проиллюстрированы работами казахстанских художников. В каждой из них даны краткие биографические сведения о представленных авторах.

Надеемся, что наш совместно с казахстанскими коллегами принятый труд найдёт живой отклик у самого широкого круга читателей, где бы они не жили: в России, в Казахстане или за их пределами.

Издательство «Художественная литература»

МОИХ СТЕПЕЙ ПОЛЫННАЯ ЗВЕЗДА

Проза



АБДИЖАМИЛ НУРПЕЙСОВ

«ДОРОГОЙ ЮРИЙ...»

Когда я думаю о Казакове, мне всегда вспоминается самое тяжёлое время моей жизни. Это было через год после окончания Литературного института. Стояла осень, слякотная, капризная: всё время моросил дождь. В один из таких по-осеннему сырых дней, помню, я пришёл в наше алма-атинское издательство. Тогда оно размещалось в небольшом саманном домике неподалёку от базара. Во всём доме была одна-единственная большая комната, где и находилась вся редакция. Когда бы вы туда не зашли, возле каждого редакторского столика кто-нибудь стоял, тихо, шёпотом разговаривал, шелестели бумаги, скрипели перья. На этот раз, когда я пришёл в издательство, у двери, прижимаясь к косяку, сидел Алексей Брагин — писатель, журналист. Он читал журнал, кажется, «Москва», кажется, восьмой номер. По натуре мягкий и учтивый, он в тот раз был настолько увлечён чтением, что не сразу заметил меня, а заметив, лишь кивнул в ответ на моё приветствие. Я поинтересовался, что он читает. Какой-то рассказ, «Арктур — гончий пёс», какого-то неизвестного Ю. Казакова.

С тех пор много воды утекло. Не говоря уж о больших событиях и переменах в мире и в нашей жизни — если в то время моё поколение писателей было молодо, мы едва успели выпустить по одной книжке, то сейчас мы поотмечали свои шестидесятилетия, кое-кто, не дойдя и до этого рубежа человеческой жизни, обрёл вечный покой. Ушёл из жизни и Юрий Павлович Казаков. Долгие годы я с ним общался, был почитателем его таланта. Его преждевременная кончина стала для меня особенно болезненным ударом; ему как переводчику я обязан блистательным вторым рождением моих книг, которым он отдал много лет труда. На своём веку немало занимаясь, помимо писательства, ещё и переводом, я вынес твёрдое убеждение: успех произведения на родном языке зависит

от достоинства оригинала, а на любом другом языке — во многом от мастерства перевода.

Я вижу, что мои чувства, опережая естественный ход событий, забежали вперёд. Да, с тех пор прошло много времени. Нет силы, которая могла бы возвратить ушедшую в небытие жизнь, но память о ней при надобности можно всегда оживить и воскресить. Вот и я, обращаясь к далёкому уже времени молодости нашей, напругая память и оживляя день за днём минувшее, стараюсь восстановить первое моё прикосновение к творческому духу Казакова...

«Арктур — гончий пёс» потряс меня, это было редко выпадающее на долю современного читателя чудесное мгновение. Я почувствовал, что Юрий Казаков вошёл в мою жизнь. Стал наводить о нём справки, оказалось, что мало кто его знает! Никто, например, не знал, есть ли у него вообще, кроме «Арктур», ещё что-нибудь. Но потом через нашего литконсультанта в Москве я всё-таки раздобыл о нём скудные сведения, вроде того, что он молодой, что заканчивает Литературный институт, живёт в Москве. Через того же литконсультанта я тогда же обратился к Юрию Казакову с предложением перевести мой роман, в душе не особенно надеясь на положительный ответ.

В том году преследовали меня неудачи, было действительно трудно. Я только что окончил институт. Была семья, но не было крыши над головой. Не было денег. Никак не мог приступить к давно задуманной новой книге. Помимо всего прочего, было и ещё одно осложнявшее жизнь обстоятельство: из Москвы приехал ко мне довольно крупный писатель и привёз перевод моей книги (книга стояла в планах московского «Воениздата» и казахстанского издательства, перевод уже был чуть ли не одобрен). Однако мне перевод не понравился и я его отверг, нажив репутацию человека зазнавшегося и капризного. В это время и попался мне «Арктур — гончий пёс»...

У меня вещь по объёму большая, а Казаков — автор небольших рассказов... И тем не менее мне показалось, что роднит нас какая-то интонационная близость. Я твёрдо решил, что если Юрий Казаков согласится, отдам только ему, в противном случае не буду вовсе переводиться. Сказав о своём решении жене и друзьям, стал с трепетом ждать письма от Казакова. Прибывшая наконец весточка с его согласием была для меня настоящим праздником.

С конца 1957 года я ждал Казакова и наконец ровно через семь лет, к моей горячей радости, он приехал в Алма-Ату. За это время он стал признанным писателем. Сам довольно много писал, и о нём много и охотно писали. Стали даже появляться у него поклонники и подражатели. Как бы ни была богата и разнообразна талантами русская литература, кто из нас не понимал тогда особой свежести, самобытности и удивительной неповторимости творчества молодого Казакова! После памятного периода «лакировки» действительности мы не могли не испытывать глубокой благодарности к молодому писателю за его необычно искренние и поэтичные рассказы.

Мне не приходилось быть свидетелем того, как он пишет, и сам он никогда не касался этой тайны. Не знаю, что обычно служило ему первоначальным толчком. Но, как почитатель его, пристрастный и постоянный, я скорее интуитивно догадывался, чем знал, что первоосновой этих удивительных рассказов служило обычно не событие, не реальное происшествие, не какой-нибудь подмеченный оригинальный человеческий характер, а скорее поэтический заряд, внутренний лирический настрой, интонация и ритм души самого автора. Вот что было тут истоком. Казаков должен был работать как Бунин, всегда мучительно искавший прежде всего звук, мелодию рассказа, тональность. Казаков, казалось, настраивал себя заранее на лирический лад, чтобы острым и чутким слухом уловить звук, и этот звук предопределял в дальнейшем весь поэтичный строй будущего произведения, а остальные компоненты, скажем, сюжет, фабула, композиция, отыскивались уже по ходу работы.

Настойчиво обращаясь в своих рассказах к чувствам и мыслям современников, Юрий Казаков в немалой степени способствовал возрождению великой традиции русской лирической прозы во всё её былом великолепии. В этом благородном деле он много преуспел, казаковская лирическая проза стала украшением советской литературы шестидесятых годов. Он принадлежал к тем немногим писателям, что отмечены редкостной искренностью таланта. Это качество выделяло среди сверстников его и без того самобытную и крупную фигуру.

И вот он приехал к нам уже сложившимся писателем, с именем, со славой. Я, понятно, робел. В этом человеке всё оказалось

крупно и неожиданно внушительно, начиная с роговых очков с толстыми стёклами: огромный лысеющий череп, сильный рот с надменно оттопыренной нижней губой, крупный нос с горбинкой. И характер у него оказался крутой и резкий. Я почувствовал, что нелегко будет нам сладиться. А ведь предстояла совместная работа, где надо не только обсуждать и обговаривать, но и отстаивать свою точку зрения, не всегда соглашаясь с замечаниями партнёра, особенно (как потом это и случилось), когда он после прочтения подстрочника стал ловить в моём тексте, в диалогах героев, как он выражался, аляповатости. Он терпеть не мог фальши, самой ничтожной неточности, злился, например, когда какой-нибудь мой рыбак или пастух говорил умно и красноречиво. Относил он всё это на счёт моей писательской незрелости.

Со своей стороны, я старался объяснить своему несговорчивому переводчику, что в силу сложившихся объективных исторических обстоятельств всякий кочевник независимо от социального положения все свои природные способности, какими он был наделён от рождения, вкладывал в искусство речи, оттачивал его всю жизнь, ибо человеческое достоинство степняков не всегда и не везде оценивалось по богатству или по знатности рода, а больше по искусству красноречия. Потому до недавнего ещё времени устная народная поэзия процветала у казахов наряду с профессиональной письменной литературой, а юриспруденцию в патриархально-родовой степи заменяли словопрения биев-ораторов. От частной ссоры до тяжбы между родами — всё решалось в публичных состязаниях этих же биев, где верх брала искусная, блестящая речь, где ценились находчивость и гибкость ума. И поныне в степи сохраняется культ красноречия, и поныне гостя принимают и провожают не по одежде, а по уму, по умению говорить. Степняка, когда он в пути, когда разъезжает из аула в аул, кормит, в основном, его язык.

Я говорил обо всём этом, Казаков курил, слушал внимательно, не обнаруживая, однако, своего отношения. Потом мы вышли на улицу, молча пошли по берегу горной речушки: мне показалось, что он забыл о том, что я говорил ему перед этим; он начал раскуривать вторую или третью папиросу, и когда я, наконец, потерял всякую надежду услышать что-либо, он, слегка заикаясь, заговорил:

— Е-если да-же заведено было у вас та-ак, как ты говор-и-ишь... ты же после выхода своей к-ни-и-ги на русском я-языке не-е можешь подойти к ка-каждому русскому чи-та-телю и объяснять это. Поэтому диалоги простых людей, н-ну... скажем рыбаков, пастухов, упростим, а ба-ям, и м-мур-зам оставим красноречие, как оно есть в тексте.

Так и порешили.

Я был уверен, что он прежде не занимался переводами, а это искусство сложное, имеющее своеобразную специфику, тем более в случае с казахским языком, который имеет иную, чем русский, структуру. Я же заметил его нелюбовь, невосприимчивость к замечаниям вообще и поэтому в деликатной форме спросил его об этом, ссылаясь предусмотрительно на нашу поговорку: «Если вначале будете требовательнее друг к другу, то в конце — согласнее».

Юрий Павлович редко смотрел на собеседника, казалось, ему достаточно короткого взгляда сквозь толстые стёкла роговых очков, чтобы увидеть тебя насквозь. Он понял мои опасения и успокаивающе сказал:

— Старик, не беспокойся. Всё будет хорошо. Я не новичок в этом деле. Переводил повесть якутского писателя.

Я живо заинтересовался, хотел посмотреть его перевод, но Казаков поморщился, недовольно буркнул:

— По-моему, она нигде не печаталась, я не получил за неё гонорара.

Над переводом второй книги моей трилогии Юрий Павлович работал в Переделкине, и по его просьбе я находился рядом с ним. Он жил в коттедже, а я в основном корпусе. Дней десять он не работал, искал отговорки: то мешали ему какие-то там «прохиндеи», «хмыри», то начало моей книги не нравилось, казалось мрачным, безысходным... Однажды после ужина мы пошли прогуляться. Под ногами скрипел только что выпавший снег. Казаков снова заговорил о книге, бурча под нос:

— Конечно, жизнь тогда была тяжёлая, но и в трудной жизни бывают свои радости и праздники.

Он, наверное, заговаривал об этом за эти дни раз десять. Мне надоело слушать одно и то же.

— Слушай, Юра, — сказал я, — вспомни свои рассказы и повести, разве они такие уж светлые?

Замечание моё ему не понравилось, он сразу подтвердел лицом, злые искорки сыпанули сквозь стёкла очков.

— Как х-хочешь! Моё дело п-переводить, отвечать придётся тебе с-самому...

И повернулся, пошёл к себе в коттедж, а я после долго ходил один и, помню, в тот день не сразу заснул. Когда проснулся, в комнате было ещё темно. Я вспомнил сразу одно конкретное замечание Казакова, которое много дней занозой сидело в душе. Лежал и думал, мучился, чувствовал своё бессилие что-либо выправить в разонравившейся книге. Не знаю, сколько минуло времени, как вдруг пришла мне в голову какая-то шальная фраза, затем другая, третья... Я вскочил, сел за стол, быстро записал фразы, откуда-то всплывшие, ощущая, однако, в душе своей смутное приближение чего-то ещё не осознанного, не осмысленного в полной мере. Мне кажется, что писал я, словно под чью-то диктовку, писал два или три часа подряд, всё ещё не зная, что будет дальше и чем всё это кончится. Вдруг стук в дверь — Юрий Павлович зовёт завтракать. Я не пошёл. Я работал два дня, не выходя на улицу, и не встал, пока не закончил большую главу, которую назвал для себя «Луч света в тёмном царстве». Это была светлая, лиричная сцена, данная через восприятие старухи, матери Тулеу и Калау, после их приезда на степи в прибрежье, в аул рыбаков.

По приезду в Алма-Аты я быстро заказал подстрочник и отправил Казакову по почте. 2 февраля 1967 года он написал мне в письме, подчеркнув: «Глава твоя о старухе мне понравилась, я её перевёл с удовольствием».

Работа с Казаковым была для меня серьёзной школой. Смеею сказать, что я сам люблю работать над словом. Убеждён, что именно обликом слова определяется облик произведения. Но, признаться, кропотливая работа Казакова над словом меня просто восхищала.

Прежде чем написать эти воспоминания, я трижды перечитал огромную кипу писем Казакова ко мне. За эти дни я не только заново пережил невозвратно далёкую и милую пору нашей молодости, полную светлых надежд и мечтаний, но ещё раз поразился беззаветному отношению Юрия Павловича к творчеству. Он мог бесконечно работать над словом. Перевод первой книги трилогии «Кровь и пот» шёл в печать, вначале отрывками в газетах и журна-

ле «Простор», потом полностью появился в «Дружбе народов», затем в «Роман-газете», в издательствах «Молодая гвардия» и «Жазушы». Просматривая письма Казакова, я убедился в том, что он, оказывается, во всех этих изданиях требовал корректуры, что-то исправлял, всё время находил какие-то огрехи, ошибки, злился, ругался, бушевал из-за халатности и безответственности корректоров, редакторов. 5 октября 1965 года он пишет: «В «Просторе» я нашёл много огрехов, и мне даже стыдно стало. Я очень тужил, что не дали мне труда на корректуру вёрстки, это никуда не годится. Телеграфируй немедленно, чтобы мне выслали вёрстку из «Дружбы». В следующем письме, 21 ноября, он жалуется: «...Мне нужно вовремя сверять тексты по оригиналу... Ты знаешь, я халтуры не люблю, так там и скажи в издательстве».

Заодно с издателями мне тоже от него попадало, в основном, за мои неуместные попытки что-то исправить в его тексте. «Скажи пожалуйста, — возмущался он 10 января 1966 года, — зачем тебе понадобилось трогать текст и вместо хороших и точных слов вставлять неточные? Разве для того только, чтобы я тут корпел над алма-атинской вёрсткой и без конца исправлял и приводил всё снова в божеский вид?.. Ты обращаешься к моей помощи потому, что не знаешь русского языка. Если бы ты его знал, как я, ты бы не стал обращаться к помощи переводчика, а переводил бы сам, не правда ли? Ты можешь сколько угодно переписывать и менять казахский текст, но русский текст ты не должен трогать — мало того! — ты должен препятствовать этому в том случае, если вздумает править какой-нибудь редактор. Я тебе напоминаю наш разговор прошлой зимой... Не ссорься со мной, ибо это не в твоих интересах. А писать плохо, писать кое-как, даже переводя, в свою очередь, не в моих интересах». Совместная работа сближала нас, давая узнать друг друга с разных сторон. Как все степняки, я люблю живой огонь, люблю погреться у очага. Юрий Павлович знал и понимал эту мою слабость, не поддающуюся ни современному быту, ни достижениям цивилизованной жизни. Приезжал я иногда к нему на дачу в Абрамцево, зимой или осенью. И бывало как-то приятно и тепло на душе, когда этот вроде независимый, никогда и ни к кому не снисходивший человек начинал вдруг проявлять неподдельную чуткость к моим прихотям, таскал наколотые дрова из сени и кричал Тамаре или Устинье Андреевне: «Топи камин, будем пить чай у огня».

На рубеже семидесятых годов, когда я попал в больницу, он писал мне письма, полные дружеской заботы и внимания. 2 апреля 1970 года: «Лежание в больнице, как правило, порождает всякие мрачные мысли и мнительность... Не хандри, старик, не кликай смерть, она и так, стерва, у нас с тобой не за горами, не искушай судьбу. Поправляйся скорее и приезжай, дабы я мог тебя облобызать. В моих чувствах к тебе можешь не сомневаться».

Через некоторое время: «Получил твоё письмо — очень грустно, что ты находишься в такой прострации. Всё-таки несчастный мы народ, писатели, нет нам дома жизни, сколько комнат не займём и сколько дач не построй. Один, значит, выход: время от времени удирать от семьи и в тиши и одиночестве работать... Так что давай-ка подумай серьёзно о себе, дело идёт не к молодости, творческие силы убывают...»

В этих старых письмах снова воскресает для меня нежная, поразительно распахнутая к человеку душа моего ушедшего друга, особый талант щедрости, изящество в одаривании тебя расположением, любовью. Перечитывая слова, обращённые ко мне много лет назад, я заново ощущаю тонкую, почти детскую восприимчивость и артистизм этого взрослого, сильного мужчины и с болью думаю, что эта драгоценная особенность его природы тоже, видимо, как-то сказалась в том, что жизнь его вышла не совсем складной.

Я знавал и другого Казакова. Древняя мудрость требует говорить об умерших хорошо или молчать о них. Да, я думал и думаю о своём друге и любимом писателе с благодарностью и нежностью, но в то же время осознаю, что куда важнее показать его таким, каким был он в реальности, а был он сложным, колким человеком, и незачем наводить глянец на его посмертный лик. Ни я, ни кто-то другой из его друзей не стал бы сегодня утверждать, что он был ангелом. В его характере и поступках была невероятная противоречивость, и к ней поначалу трудно было привыкнуть. В нём, как ни в ком другом, уживались чрезвычайная доброта и непостижимые уму капризы, мгновенно переходящие в резкость. Он мог широко, без оглядки одарить, осыпать тебя любовью, заботой, вниманием, но мог иногда, к несчастью, быть мелочным и неуживчивым. Любя его как человека, в общем-то, доброго и заботливого, восхищаясь его уникальным талантом, я знавал его всяким и, случалось, решительно отказывался понимать.



Как я уже говорил, работа с Юрием Казаковым была для меня серьёзной школой. Когда дело касалось творчества, для него не было ничего второстепенного. Касалось ли это отдельного слова или детали, он ни в коем случае сам не допускал и никому не прощал неточности, приблизительности. Любая фальшь легко выводила его из равновесия.

Однажды в Переделкине был такой случай: после завтрака мы разошлись — я пошёл к себе в корпус, а он в коттедж, работать. Только я сел за стол, чтобы внести кое-какие исправления в свой текст по его замечаниям, как он прибежал, и вид у него был такой всполошённый, что я растерялся. Не успел спросить его, не случилось ли чего-нибудь, — как он, сильно заикаясь от волнения, выпалил:

— С-слушай, я т-там у тебя в те-кс-те нашёл крупную ошибку.

— Да? Какая?..

— У тебя там написано: из т-т-трубы валит г-густой дым. А т-ты знаешь, з-зимой, в морозный день д-дым бывает жидкий и светлый!

В моих глазах Юрий Казаков был и остаётся олицетворением
НЕЗАПЯТНАННОЙ СОВЕСТИ РУССКОЙ СОВЕТСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ.

ШЕРХАН МУРТАЗА

ЛУНА И АЙША

(отрывки из повести)

Когда спросили у одного мудреца:

— Откуда держишь путь? — он ответил:

— Из страны детства.

Нет взрослого, который не пришёл бы из «страны детства».

Трудно представить человека, родившегося с бородой.

И я один из тех, кто пришёл из «страны детства».

Мать звали Айша.

Мало ли, много ли — мне перевалило за шестьдесят.

Мало ли, много ли — написал крупные и не очень книги.

Титулован званием «Народный писатель». Не могу сказать, что всё написанное, на вес золота. Однако большинство сочных творений пропитаны впечатлениями прекрасного времени, именуемого детством. Взрослея, пришлось повидать многое, побывать в разных уголках вселенной. Но всё это не дало мне того духовного богатства, на которое было щедро детство.

Был в Париже — почему-то Париж не снился.

Был в Мысыре — он тоже не снился.

Не снились Китай, Монголия, Пакистан, Иран.

Был за океаном — в Техасе, в Чикаго, в Нью-Йорке — и они не посещают мои сновидения.

В юности пять лет учился в Москве — тоже не снится.

Постоянно снится детство.

Ежедневно снится Мынбулак. Снится Аксу-Жабагылы.

Во сне постоянно вижу отчий дом.

Постоянно снится Айша. Муртаза снится редко, так как когда он ушёл, мне было всего пять лет. Смутные воспоминания.

С возрастом всё забывается быстро, сегодня увидел, а завтра забыл. А вот воспоминания детства не забываются, всё ярко, словно всё происходит сегодня.

Так почему же, без напрасной потуги, не написать про детство?

И так, поклонившись духу предков и Айши, я взялся за перо.

ПРЕДУТРЕННИЙ РАССВЕТ

Говорят, есть люди, которые помнят первые мгновения жизни — как только появились на свет. Кто-то якобы сказал: «Когда я родился, всё в доме было пурпурно-красным».

Не знаю. Видимо, я не такой уж сообразительный малый. Поэтому, как бы не думал: «С какого времени помню себя, каковы мои первые воспоминания?» — нет, ничего не помню. Три года, четыре — всё смутно. Мельком припоминаю, как Айнек апа (бабушка) несла меня на спине, у меня упала одна галоша, и как бедная старушка, вернувшись по своим следам, ищет мою галошу. Думается, коль я был на спине у Айнек апа, значит, не мог ещё бегать самостоятельно.

А вот как Муртаза разговаривал с русским Гришкой, помню ясно. Восточная сторона стены нашего дома. На Муртазе светлая шуба, отороченная чёрным микровельветом, на голове шапочка из такой же кожи. Края шапки — из шкуры чёрного ягнёнка. Рыжеватая борода.

Рядом — Гришка. Муртаза сидит на валуне. Гришка стоит. Наверное, была ещё ранняя весна. Потому как, любуясь лучами солнца, оперевшись к стене дома, тут же стою и я.

Гришка — столяр. Столяр по дереву. Дом Амурекула, который перед нашим домом, — ныне столярная мастерская. Комната на западной стороне — мастерская по дереву, комната на восточной стороне — кузница по железу. В одной из них — Гришка, в другой — Наметкул.

По моим предположениям, разговор о Наметкуле. Конечно, я не слушаю специально, но когда рядом разговаривают двое взрослых, не заткнёшь же себе уши. Гришка виртуозно владеет казахским. Гришка говорит:

— Уже больше года, как ушла из жизни Зылиха Наметкула. И дочка Назипа тоже скончалась. Остались вдвоем с сыном Байбо-сыном. Нужно что-то предпринять, Муреке.

— Ты прав, — сказал Муртаза. — И я всё время думаю об этом. В стороне киргизов живёт мой зять Нуралы. Он говорит, что у них в ауле есть вдовая женщина, которая подходит Наметкулу.

— Тогда нужно быстрее засватать, жалко бедного, — говорит Гришка.

А вот у Гришки есть сын и дочь. Сын постарше меня, зовут Гришкой. Интересный народ, русские. Отец Гришка, сын — тоже Гришка. Как будто имён не хватает. Когда Айша сказала об этом, Муртаза ответил:

— Это у них традиция, чтобы увековечить себя, чтобы не угас род, сына называют своим именем.

Надо же, увековечить себя? «А как же Муртаза? — думаю я. — Разве он не думает об этом? Почему же тогда моё имя Барсхан? Почему меня не назвали Муртазой?»

Много позже, когда Муртаза уже ушёл из жизни, я спросил об этом у Айши.

— Пока есть ты и есть Батырхан, имя Муртазы не угаснет. — Курмаш она почему-то не упомянула.

Дочь Гришки зовут Наташей. Моя ровесница. Когда я прихожу в мастерскую по дереву, старший Гришка стругает и жегалит длинные доски. Летят тонкие, скрученные стружки. Ими Наташа украшает свои светлые волосы, завязывает их. Обвязывает мотком мою голову, и звонко смеётся.

Затем мы все втроём — младший Гришка, Наташа и я, идём на склоны ущелья Бердимбет. Собираем цветы пажитника, дикой клецевины, срываем коробочки белены. На светло-серые цветы белены садится синяя бабочка. Мы стараемся поймать её. Бабочка улетает. Мы давай гоняться за ней. Бабочка не даёт себя поймать, находит какие-то только ей ведомые кривые траектории, мы стараемся следовать им. Иногда падаем. Бежим к ручейку, который серебристо журчит внизу ущелья. Однако бабочка не даёт себя поймать. Оказывается, причина проста, у бабочки есть крылья, у нас-то их нет. Почему же Всевышний всем наградив человека, пожалел для него крыльев? Почему? Много загадок, которых мы не понимаем.

Ныне удивляюсь. Тогда мы, четырёх-пятiletние дети казахов и русских, на каком же языке изъяснялись? Абсолютно не помню. Однозначно, русским я не владел. Наверняка и русские дети не знали казахского языка. И как же мы понимали друг друга? Удивительно. Но точно знаю, что с утра до вечера играли вместе.

Видимо, у четырёх-пятiletних детей есть такие способности, благодаря которым они понимают друг друга без знания языков.



Взрослея, люди теряют эти способности, и начинаются споры: «Это мой язык, а это твой»...

Семья Гришки исчезла за одну ночь, словно и не было. Когда спросил у отца, он ответил:

— Переехали в соседний аул.

Вот так, потеряв своих светловолосых друзей, я примкнул к своим чернявеньким сопливым сородичам. Не мог же ходить один-одинёшенек.

По нынешним моим подсчётам, это было на первое мая 1937 года. Муртаза взял меня с собой в соседний аул. Был праздник. Тогда я впервые увидел праздник такого масштаба. Народу — видимо-невидимо. Все одеты празднично. Такой нарядный мир. Повсюду музыка: поют, играют на домбрах. Тогда же впервые увидел борьбу. По-моему, была и байга¹. Народ веселился от души.

И вдруг... среди массы людей мельком увидел младшего Гришку. Возможно, я бы и не заметил его — детей-то тоже много, узнал по волосам. Словно в стаю чёрных воробушек вклинился белоголовый. Муртаза как раз отвлёкся, он и не заметил, как я быстренько дал дёру.

Я подбежал к светлоголовому мальчугану. И он меня узнал. Обрадовался очень. Схватив меня за руку, отвёл в сторону. Оказалось, что тут много и светловолосых. Никак не могу понять их язык. Особенно много женщин в пёстрых нарядах, которые пустились в пляс. Кто-то тарабанит на инструменте, похожем на ящик. Одна русская женщина, увидев меня, заговорила:

— О, баранчук, хорош, хорош! — и угостила меня круглой сладкой булочкой. Сладостей у них оказалось много. В карман на груди бумазейной рубашки, которую сшила Айша, та женщина напихала мне конфет. Жаль, больше некуда положить. Пощупал брюки, там карманов не оказалось.

Где ж только мы не гуляли с младшим Гришкой, взявшись за руки. Один русский заставлял играть и плясать медведя в наморднике. Медведь то встаёт во весь рост, подобно человеку, то кувыркается через голову по траве.

¹ Байга — один из древнейших и популярнейших видов конного спорта у многих тюркских народов.



Я, ничего подобного не видевший в своей жизни, не мог оторваться от этого зрелища. Но и подходить слишком близко тоже боюсь. Младший Гришка, оказывается, не боится медведя, подошёл к нему и угостил конфетой. Медведь поймал пастью конфету, согнул колени и поклонился. Видимо, таким образом благодарил. Мы давай смеяться. Да, смех — это здорово. Кто бы не смеялся, казах ли, русский, без разницы, смех есть смех. Я, например, не понял, о чём говорила эта толпа русских. Но над чем смеялись, сразу стало понятно. Хоть я и несмышлёный малыш, мне ясно, что смех не нуждается в переводчике.

И так, забыв обо всём на свете, пока я забавлялся медведем, увидел, что народ начал расходиться. Опомнившись, побежал туда, где стоял отец, — его нет! Я давай реветь. Кое-кто начал спрашивать:

— Эй, чей это ребёнок? Видно, заблудился.

— Мальчик, ты чей? — спрашивали взрослые, наклонившись ко мне.

— Муртазы...

— Так отец тебя искал, — молвил один.

Ещё кто-то, посмотрев по сторонам:

— Вон там! Отец твой скорее всего вон в той толпе, — и показал в сторону востока, где люди возвращались в наш аул.

Я, заревев во весь голос, припустил бегом во весь опор. Казалось, эхо моего голоса звучит на весь мир. Прихватив лежавший на дороге зелёный прутик, бегу во весь дух. Наконец-то догнал. А они, взрослые, — Мелдехан, Пешен, Байжуман, Алипбай, Муса, Шакалак и мой отец, Муртаза, — идут себе, как ни в чём не бывало.

Добежав, я начал лупить отца в спину маленькими кулачками. А ему хоть бы что, словно комариный укус. Это вызвало ещё большее моё негодование. Я давай лупить его прутиком по ичигам. Луплю, луплю, и реву во весь голос. Через определённое время кто-то, по-моему, Мелдехан, прикрикнул мне:

— Тэйт!

Мелдехан старше моего отца. У него большая серо-бурая борода. На голове — белый колпак. Одет в белые штаты с грязной ширинкой, галоши на босу ногу.

— Прекрати! — повторил он. — Даже если Муртаза выпросил тебя от бога и от всех святых, надев на шею пёстрый горох, прино-

сив в жертву баранов и другой скот, прекрати сейчас же. Что ты мешаешь взрослым разговаривать?

Другие путники смолкли, словно недоумевая, отчего это такой взрослый человек так порицает ребёнка-несмышлёныша. Я посмотрел на отца, словно умоляя защитить меня. Думаю, мало того, что оставил меня, так, поди ещё и не заступится.

Муртаза усмехнувшись, сказал:

— Мелдеке, это правда, я в самом деле выпросил Барсхана у всевышнего.

Затем, схватив меня за руку, повёл рядом с собой. Таким образом, мы с ним быстро помирились.

Муртаза не любил говорить много. Больше обо мне не сказано было ни слова. Взрослые тут же начали говорить о чём-то другом..

Позади послышались поющие голоса. Повернувшись, увидели Ташкена, его младшего брата Карибая, Оспаналы, Торекула — «молодежь» того времени.

— Да эти плуты наакались водки! — сказал Пешен.

Через некоторое время начались шум-гам, пьяная драка. Ташкен тащил, словно козла в кокпаре¹, своего брата. Оспаналы и Торекула вроде как хватали друг друга за шиворот.

— Эй, прекратите! — закричал Пешен.

— Да оставь их в покое, разве пьяные поймут, — сказал Мелдехан.

Вот так, с приключениями, добрались до аула.

Так завершился мой поход на той² вместе с отцом. Возможно, он и раньше водил меня на праздники, но в памяти моей нет об этом никаких воспоминаний.

Той зимой шестеро из тех, кто возвращался с праздника, были арестованы. Один из семерых написал на них донос. И всех шестерых отправили в ссылку. Да, чуть не забыл, один них, Байжуман сумел убежать в киргизские горы.

Много лет спустя неоднократно возвращался мыслями к тому знаменательному тою первого мая 1937 года. Той, на который по-

¹ Кокпар — одна из самых древних национальных казахских игр. Участник кокпара — кокпарши.

² Той — пиршество, свадьба. Сопровождается песнями, плясками.

шёл вместе с отцом. Никак не мог понять одного: Муртаза выманивает меня у Всевышнего и, тем не менее, оставив меня среди чужой толпы, спокойно уходит домой. Почему же, интересно? Искал меня, оказывается. Так если не нашёл, почему решил вернуться без меня домой?

Возможно, чувствовал, что скоро я останусь без отца. Наверняка подумал: пусть привыкает к самостоятельности, готовится перипетиям судьбы. Пусть привыкает к суровым испытаниям безжалостного мироздания, к самостоятельности.

Если он думал так, то я во сто крат перевыполнил его задумку. Моё баловство, когда я плача во весь голос, лупил по голенищам ичихов Муртазы, — так же, как оборвавшийся полет бабочки, порхающей из цветка на цветок, было коротким. Труд и мучения — это половина беды. Пришлось много страдать от ложной хулы и клеветы. Много было напрасной борьбы. Если Муртаза хотел меня закалить, надежды его оправдались полностью. Ощущение, словно выбрался из пропасти. Оказался жилистым. Слава Аллаху, жив до сих пор, словно создан из сухожилия матёрого волка.

ЗАИНДЕВЕЛЫЙ ПТЕНЕЦ

Для пятилетнего сытого, одетого, не ведающего печали ребёнка вечерний зимний мороз, возможно, и интересен. Рассудок пятилетнего ребёнка чист как белый лист без пятнышка. Захватывающее зрелище, красивая картинка оставляют неизгладимое впечатление, словно на чистом листке.

Помню до сих пор: возле кузницы среди детей, игравших в асыки¹, был и я. Лучи заходящего солнца были пурпурно красными, казалось, они способны растворить снежные вершины Таласских Алатау. А над Терискейским Каратау, словно нависли стаи красновато-голубых птиц. Я, конечно, понимаю, что это тучи, но они мне напоминают гусей, засевших на Кошкарату.

Ощущение, будто горы плавают, но тепла нет. Мороз, словно целующий в алые щёки, есть только в нашем Жуалы, Мынбулаке.

Старший из ребят, Сейсенбай, всё время помогает мне, заставляя других возвращать мои асыки даже в случае моего про-

¹ Асыки — национальная казахская игра, наподобие бабок.

игрыша. Хотя ребята постарше, кажется, побаиваются меня. К чему бы это?

С наступлением сумерек все расходимся по домам. Перед неказистым домом, где расположена кузница, остаются только плуги и железные грабли. Они не мёрзнут, им здесь всё равно что дома.

Не знаю, какой чёрт меня дёрнул, вбежал домой, выпуская изо рта клубы морозного пара. С разбегу плюнул на стекло керосиновой лампы, которую зажгла Айша. Естественно, лампа треснула и разбилась. Огонь на фитиле заплясал, словно вот-вот потухнет, но не погас. Резко запахло керосином.

Увидев это моё беспардонное действие, Айша дёрнула меня за ушко, и без того опухшее от трескучего мороза. Я почувствовал как бы сильный укол, и тут же из ранки побежала кровь. Я давай реветь во весь голос.

Услышав мой плач, с улицы вбежал Муртаза. Увидев кровь, тут же начал ругать Айшу. Что было дальше, не помню, видимо, уснул.

Проснулся глубокой ночью от крика Айши. В свете фонаря без лампы были видны чьи-то длинные силуэты. Они, подталкивая в спину, вывели Муртазу на улицу. За ними, крича, выбежала Айша. Задрожав, неизвестно от чего, вышел и я. Несколько человек пошли в сторону ущелья. За ними, не отставая, бежала и Айша. Заскрипел мост над ущельем. Тут я ясно услышал голос Муртазы:

— Возвращайся назад! Дети испугаются!

Ночной мороз словно вторил этим звукам. Шаги начали удаляться, ясно был слышен только шум под ногами Айши.

Айша подняла меня, стоявшего, словно призрак, у дверей, прижала к груди и, глядя на полную луну, сказала:

— О Всевышний! Чем же провинились перед тобой эти трое птенцов?

От её голоса луна словно перевернулась.

Я мигом повзрослел.

Видимо, осознал, что теперь нет отца, который заступится за меня.

Только что сиявшая луна скрылась за тучи. Со всех сторон на меня наступала первая ночь сиротства.

Айша завела меня за руку в осиротевший дом.

Это была лютая зима 1937 года.

Заиндевшим сизым птенцом был я.

С тех пор я всё время проигрывал в асыки. Никто, как раньше, не заступался.

ОБОЛОЧКА ПРОСА

Неизвестно почему, но у всех солдат глаза гноились, лица были отёкшими, серыми. Возможно, не спят денно и ночью, бдительно охраняя «врагов народа».

Народу прорва, видимо, стекаются не только из Мынбулака.

Наверное, «врагов народа» по Жуалинскому району не так уж и мало. Все хотят увидиться с заключёнными, проронить хоть словечко.

— Говорят, их повезут в Аулие ату — шепчет кто-то.

— Нет, расстреляют у реки Карасу!

— Прекрати! Скорее всего, сошлют в Сибирь.

— О Боже! Спаси и сохрани!

Хоть я и пятилетний ребёнок, от этих перешёптываний у меня стынет кровь.

В здании тюрьмы одна-единственная дверь. На двери небольшой глазок, словно глаз верблюжонка. Тысячи людей с надеждой смотрят на него. Ощущаешь, что за этим глазком бурлит жизнь.

Из дырочки высовываются чьи-то пальцы. Так больше же ничего и не пролезет. Странно, почему заключённые высовывают пальцы? Наверняка думают, что родные узнают по пальцам. Да это ж напрасные хлопоты. Разве можно узнать человека по единственному пальчику?

А ощущение такое, словно пленники насмежаются над теми, кто на воле. Ясно, что им не до насмешек, однако данное неуместное действие похоже наводит на такую мысль.

Возможно, они ожидают от нас, дышащих воздухом свободы, стоящих под ясным небом, поддержки и помощи? Ведь утопающий хватается за соломинку. У них, наверное, те же ощущения.

Иногда палец исчезает, блеснёт чей-то зрачок. То гаснет, то блестит. По моему предположению, узники по очереди смотрят на своих родных и близких.

Кажется, слышны задыхающиеся, гомонящие звуки. Стены тюрьмы очень толстые; звуки оттуда доходят до нас плохо. Наверняка каждый зовёт своих ближних, прощается с ними. Но ничего этого мы не слышим.

Айша потянула меня за рукав:

- Жаке здесь, внутри.
- Почему? — спрашиваю я.
- Не знаю.

— Что, подойти мне туда? — Я гляжу в лицо Айше. Она смотрит на милиционеров, стоящих, как истуканы, с ружьями наперевес. Стража начеку. Все смотрят на нас.

Как только милиционер с загноившимися глазами, стоявший перед нами, наклонился, чтобы прикурить, я живо оказался у дыры на тюремной двери. Но ростом я не доставал до неё, и приподняв пятки, закричал:

— Жаке, Жаке!

Послышался чей-то приглушённый голос:

- Эй, Муртаза! Муртаза! Сын твой пришёл.
- Отойди, отойди в сторону! Дай дорогу Муртазе!

Видимо, Муртаза находился далеко от двери.

Дошёл наконец-то!

— Барсхан! Барсхан! Это ты?

— Да, Жаке.

— Айналайын!

— Пойдём домой, Жаке! Айша плачет. Ты больше не ругай её, хорошо?

— Скажи, чтобы не плакала. На, держи! — Отец протянул мне маленький бумажный свёрток. В этот момент кто-то, словно коршун, схватил меня и отшвырнул от двери. Я упал в сугроб головой. Меня подняли и начали отряхивать одежду, очистили мою кроличью ушанку от снега.

— Не плачь, ты молодчина!

— Нет, я не плачу, — говорю я.

Подошла Айша, очистила моё лицо от прилипшего снега и, прильнув щекой к моей щеке, задрожав, заплакала, всхлипывая. Засунув мне в рот указательный палец, стала мять нёбо. Так она как бы избавляла меня от испуга.

— Не плачь, — молвил я, повторив чьи-то сказанные мне слова.

Милиционеры начали кричать:

— А ну, разойдись! Уходите! Иначе будем стрелять!

¹ Ласковое обращение к младшему, означает «милый мой», «светик мой».

Один раз пальнули в небо. Начался шум-гам. Казахи, которые не боятся даже дракона, услышав ружейный выстрел, разбежались кто куда.

Мы вернулись в аул. Я отдал Айше отцовский свёрток, который зажимал в ладони. Айша развернула его, в нём оказались четыре иголки. Иголки от швейной машины. Люди, шедшие с нами, были удивлены. На бумаге не было никаких записей.

— И где же, интересно, Муртаза взял эти иголки? — спросил кто-то.

— В этом есть какой-то смысл, — сказал другой.

— Какой смысл?

Айша сказала:

— На прошлые выходные он был на базаре, тогда, возможно и купил, да забыл отдать.

У нас дома была швейная машинка «Зингер», оставшаяся после бабушки Куникей...

На одиноком дереве, съёжившись, сидели воробьи. Они словно делили скорбь людей. Одна из женщин, не помню, кто, затянула песню: «Родная страна, будь благополучной до встречи». Мотив был похож на поминальную песню по усопшему.

— Да прекрати, не травми душу! — сказал один из путников.

— Почему же Муртаза дал иголки, в этом есть смысл, — всё никак не успокаивался кто-то.

Я до сих пор не понятно, какой в этом был смысл.

ГЕРОЛЬД БЕЛЬГЕР

ДЕДУШКА СЕРГАЛИ

Пришло от отца письмо. Как всегда обстоятельно, по пунктам изложены все аульные, совхозные и районные новости: сведения о сенокосе, о надоях молока, об обязательствах, неизменно повышенных, о ремонте тракторов, о строительстве родильного дома, о последнем собрании сельского актива, на котором с радикальными предложениями выступил мой активный отец, и все эти новости подтверждены вырезками из районной и областной газет. И, как всегда, ни слова о себе, о матери, о доме. А в конце письма приписка: «Умер дедушка Сергали. За несколько дней до смерти я навещал его, и он интересовался тобой, спрашивал, пишешь ли ты и передаёшь ли ему приветы...»

За окном тосковала глубокая осень. Серая промозглая мгла плотно окутала дома, деревья, горы. Зябко поёживались ветки на обезлиственных тополях. И я подумал, что летом, когда приеду в аул, уже не зайду в маленький приземистый домик у дороги и не услышу больше стихов дедушки Сергали.

...Мы, аульные мальчишки, называли его ата. За домом дедушки тянулся огромный пустырь, на котором малышня резвилась, играла в чижик, гоняла мяч с ранней весны, когда на заснеженной земле едва появлялись тёмные проплешины, до глубокой осени, когда пустырь заметали снежные сугробы. Иногда, выходя из дома, дедушка Сергали наблюдал за нашей вознёй, потом вдруг подзывал нас к себе. И мы знали, о чём он начнёт сейчас спрашивать.

— А ну-ка, малец, скажи, как тебя зовут?

Первым отвечал Аскар, самый бойкий, самый смышлёный среди нас. Вопросы шли всегда в одном и том же порядке. А сколько тебе годков, балакай¹? Так. А как зовут твоего отца? Так, так. А

¹ Балакай — детка, дитяtko.

деда? А отца твоего деда? Очень хорошо. А отца прадеда? Э, молодец! Джигит! Аскер отвечал без запинки: он знал своих предков до седьмого колена, а дальше дедушка Сергали уже не спрашивал. Он считал, что из человека, знающего своих предков до седьмого колена, непременно выйдет толк.

И остальные мои сверстники без особых затруднений отвечали на немудрёные вопросы дедушки, хотя иные и путались в именах своих прапрадедов. Моя очередь всегда была последней, наверное, потому, что я держался в сторонке и страшно волновался, как, впрочем, и потом, когда отвечал на экзаменах, которых в моей жизни было великое множество.

— Ну, а тебя как зовут, Сары-бала?

Видно, среди моих скуластых, черноголовых сверстников я казался дедушке рыжим, потому он и называл меня Сары-балой.

Я, запинаясь, называл своё имя, столь непохожее на имена моих приятелей. Дедушка задумывался, жевал губами, прикидывая, как бы переделать его на казахский лад: «Керойт, Карра, Керой, Керей... — шептал он и, наконец, останавливался на совершенно неожиданном для меня варианте: — Кира».

— А теперь, Кира, скажи, как зовут твоего отца?

Я называл.

— А дедушку?

И имя дедушки я называл.

— А отца дедушки?

Тут у меня вспыхивали уши, и голова моя невольно опускалась. Уже с третьего колена предки мои погружались во мрак неизвестности. Обласкав нас по очереди, одарив курт¹ и иримчиком² из кармана своего камзола, дедушка Сергали уходил по своим делам.

Рассказывали в ауле, что в молодости ата был лихим джигитом, весельчаком и акыном³. Вскоре мы в этом сами убедились.

Как-то по аулу прошёл слух, что в нашей школе состоится айтыс — поэтическое состязание акынов нашей области. И вот в один прекрасный день перетаскали из интерната в школу все сто-

¹ Курт — казахское национальное блюдо, сушёный сыр.

² Иримчик — творожный шарик.

³ Акын — поэт-импровизатор, исполнитель собственных произведений.

лы, соорудили сцену, застелили её коврами. Народу наехало — тесно во всех домах стало. Просторный зал и коридор школы были битком набиты людьми. Мы ещё в полдень прокрались в класс и присидели, затаившись под партами, до самого вечера.

Начался айтыс. Акыны, человек семь, сидели на сцене полукругом, поджав ноги. Все были одеты ярко и пышно. На коленях акынов лежали красиво отделанные домбры. Первым запел седобородый грузный старик. Он вяло пощипывал струны домбры, долго-долго тянул: «О-о-о-о-о-е-е-е-ай!» — и, перестав вдруг играть, заговорил что-то быстро и отрывисто, и борода его при этом смешно подрагивала. Потом, когда у старого акына уже кончилось дыхание, и он перешёл почти на шёпот, он как-то странно дёрнул плечом, мотнул головой, набрал побольше воздуха и снова затанул своё бесконечное «Э-э-э-о-о-о-ей...» и опять, как бы нехотя, побренчал на домбре. В зале раздались одобрительные выкрики.

Вторым запел молодой черноусый акын, сидевший на краю сцены. Он встал на колени, весь преобразился, сверкнул глазами и запел сразу же во весь голос — увлечённо, заразительно, страстно. Зал всколыхнулся, пришёл в восторг.

— Уа де!

— Ай, джигит! — неслось со всех сторон.

Сильный у него был голос, звучный, да и сам он был красив в своём вдохновении, и мы, мальчишки, решили, что этот певец, несомненно, займёт в айтысе первое место.

Дедушка Сергали пел третьим. Он пел совсем не как первые два акына — пел тихо, протяжно. И голос у него был слабый, с хрипотцой. Видно, для него важным было не само пение, не голос, а слова, смысл. В зале стало тихо, старика не подзадоривали так рьяно, как того черноусого, а слушали внимательно, напряжённо, и кивали при этом. Нас как-то незаметно оттеснили, мы очутились вдруг у самого прохода и почти не слышали, о чём поёт наш ата.

Говорили тогда, что в айтысе победил дедушка Сергали. Что значит побеждать в айтысе, мы представляли плохо. Думали, что побеждает тот, кто просто громче и дольше поет, кто не устаёт и запросто складывает стихи в то время, когда остальные акыны уже выдохлись, иссякли. Но, оказывается, в поэтическом, словесном состязании побеждают настоящие акыны — те, кто понимает

силу и значение истинного, умного красноречия. Впрочем, этого я тогда не знал, понял это значительно позже.

А потом был День Победы — самый яркий, самый памятный день нашего детства. Великую долгожданную новость узнали с утра, а уже в обед, после шествия с флагами и песнями, весь аул собрался на широком открытом лугу возле Ишима. На свой страх и риск зарезал тогда председатель колхозную овцу. И закипел той. Все были в тот день счастливы: и старики, и дети. И всё же как-то тихо было вначале. Отвыкли, должно быть, люди за долгие годы войны от шумных и весёлых тоев. И тогда поднялся дедушка Сергали и объявил, что в такой счастливый день он покажет народу оин — игры. Ему подвели лучшего колхозного коня. Крепко-накрепко затянули подпруги. Сел дедушка в седло, приник к гриве, гикнул, пустил жеребца вскачь. Он сделал два-три круга и вдруг начал резко наклоняться с седла то в одну, то в другую сторону так низко, что руками касался земли. Кто-то бросил на обочину тропинки платок с кольцом, и ата, разогнав коня, ловко нагнувшись, поднял его. Потом так же, на всём скаку, перелез под брюхо чубарого жеребца. Толпа ликовала.

— Сейчас он будет скакать стоя на седле! — закричал кто-то.

Но на этот трюк дедушка не отважился: ему шёл тогда уже шестой десяток.

Мы, мальчишки, восторженно глядели на лихого наездника.

А потом, отдышавшись, ата взял домбру, ударил по струнам, выпрямился, расправил плечи и, глядя куда-то вдаль, неожиданно зычно пропел зачин, чтоб овладеть вниманием собравшихся на лугу аулчан. Запел дедушка Сергали. Слова той песни не остались в моей памяти. Я ещё слишком плохо знал тогда казахский язык. Но я увидел странно притихших аулчан, слёзы на запавших лицах вдов, ещё не успевших выплакать своего горя. Видел, как закрывали старухи рты кончиками жаулыков¹, как застыли вдруг с разинутыми ртами мои сверстники. Слышал, как вздыхали старики. Видел, как гневно пылали глаза фронтовика-бригадира, и в этот первый мирный день не слезавшего с кургузой лошадёнки. Пел дедушка Сергали, и тихо было вокруг, даже Ишим внизу, под обрывом, не ярился, не швырял пену на камни Тас-уткеля. Я не по-

¹ Жаулык — платок.

нял тогда слов. Но смысл той песни ощутил всем своим мальчишечьим сердцем. И запомнил на всю жизнь.

Когда я окончил десять классов аульной школы и собрался поехать в Алма-Ату на учёбу, отец зарезал овцу и пригласил всех стариков аула. После трапезы дедушка Сергали позвал меня к столу и сказал, что хочет мне дать бата — благословение. Он обвёл глазами комнату, ища домбру, но домбры у нас не было, и тогда он попросил балалайку. Осторожно коснулся струн и прислушался к непривычному звуку. Потом быстро отпустил струны, чтобы балалайка звучала глуше, и, слегка пощёлкивая по ним, произнёс бата в стихах. Старики провели ладонями по лицам, сказали: «Аминь». С полевой отцовской сумкой за спиной, набитой книжками и бельишком, и с благословением дедушки Сергали я покинул ранним летним утром родной аул.

С тех пор я каждый год неизменно приезжаю домой и, поздоровавшись с отцом и обняв мать, бегу скорее с салемом к дедушке Сергали и к другим старикам.

Любая весть распространяется в ауле мгновенно. И если я почему-то не захожу к дедушке Сергали в день приезда, то уже на следующее утро после намаза и чая он спешит ко мне. Он идёт мелкой старческой походкой, далеко вперёд закидывая посох, и издали кажется, что впереди вприпрыжку несётся чёрный посох, а уж его, протягивая руку, догоняет сухой поджарый старик с белой острой бородой. Он без стука открывает дверь, снимает галоши с мягких сапожек, кричит слабым, надтреснутым голосом:

— Где Кира? Он приехал, что ли?

И, деловито постукивая посохом, не оглядываясь по сторонам, идёт напрямик через все комнаты в зал. Я бросаюсь к нему навстречу, протягиваю обе руки, смущённо бормочу извинения. Но дедушка суров и сдержан, смотрит на меня испытующе строго, медленно опускается на диван, ставит посох к стенке.

— Ну как? Жив-здоров? Руки-ноги целы? Аул-то не забыл? Э-э, жаксы, жаксы.

— А вы как, аке? Как здоровье?

— Э, дорогой. Какое у нас может быть здоровье? Ноги ещё немало ходят, глаза ещё чуть-чуть видят. Ну и ладно.

— А бабушка?

— Ну и бабушка, слава богу, ещё шебуршит в своём углу.



Дедушка Сергали прищуривает глаза, смотрит куда-то поверх окна. Я знаю, что сейчас он сочинит стихотворение.

— Э, вот, слушай:

*Подкралась старость и зубы источила,
Лишила бодрости, кровь выстудила в жилах,
Глаза ослепли, в руках нет прежней силы,
А скоро и меня, родной, запрут в могилу.*

Вот так-то, дорогой Кира...

Сидит он недолго. Коротко расспросив обо всём, берёт посох, встаёт:

— Ну, ты здоров, и я рад. Пойду-ка домой. Ты, однако, заходи. Бабушка тоже видеть тебя хочет.

И, всё так же постукивая посохом, мелкой суетливой походкой спешит к выходу.

Есть какая-то непостижимая, удивительно обаятельная доброта, мудрость, человечность в натуре казахских стариков. Я не знаю, что это, откуда, но всей своей жизнью, добротой и ласковой внимательностью заронили эти старики в наши души что-то хорошее, доброе. Вот придут они к нам, спросят о том, о сём, и у нас уже щемит сердце, мы становимся серьёзней, взрослей, что ли. И нам становятся ещё дороже, ещё роднее наши земляки, наши старики, наш аул.

Казалось бы, кто я и что я для дедушки Сергали или для других стариков. Аульный мальчишка, к тому же не смуглый, круглоголовый соплеменник, а, как говорится, иной по природе и языку. Ну, играл, бегал с их внуками, по аулу мотался, в школе учился, а теперь живу в городе, работаю где-то, ну и бог со мной... Так нет, он пристально и ревностно следит за каждым моим шагом, он знает обо всех моих делах, он считает себя ответственным за каждый мой поступок или проступок, радуется моей радости, сочувствует моей беде и искренне желает, чтобы я был хорошим человеком, добрым и честным, и к тому же не забывал свой край, свой родной аул.

И эти старики становятся в чём-то мерилом твоей жизни, твоей совестью и честью. И надо ещё заслужить их благословение. А потом попробуй обмани их надежду, их доверие... Тебя всю жизнь будет сжигать стыд, будто ты предал родного отца.

Прошлым летом, приехав в аул, я узнал, что дедушка Сергали занемог. Я зашёл к нему домой. Он сидел, по обыкновению, у окошка передней комнаты на старенькой алаше¹ в чёрных плюшевых штанах и камзоле, в неизменных мягких сапожках. Рядом лежал чёрный посох. Старушка жена, обложенная подушками, восседала на кровати, вязала пуховую шаль, держа спицы у самых глаз. На стене потикивали почерневшие от времени часы. На потускневшем циферблате сиротилась одна часовая стрелка.

— Эй, глянь-ка, кто к нам пришёл, а? Проходи, проходи, дорогой. — Дедушка Сергали чуть подвинулся, показал на место рядом с собой.

Старуха заулыбалась, отчего её маленькое личико, сплошь покрытое морщинками, ещё больше сморщилось, и, постанывая, держа одной рукой за поясницу, прошаркала в угол, где у неё испокон веков стоит такой же древний торсык². Я, как положено, отдал дедушке салема. Он расспрашивал о моём здоровье, потом о здоровье дочери, всех родных и знакомых. Старуха поднесла мне большущую деревянную чашу с кумысом.

Я пил кумыс, а дедушка Сергали уже в который раз начал рассказывать о том, как я в детстве здорово бегал, был настоящим жел-аяком — быстроногим как ветер, и однажды во время игры, должно быть, чем-то недовольный, выхватил из рук обидчика мяч и побежал во весь дух в сторону Ишима. За мною с криком и улюлюканьем погналась ватага мальчишек вместе с собаками, но никто, даже аульные собаки, не могли меня догнать. Рассказав об этом случае, который почему-то в моей памяти не остался, дедушка вздохнул и, как всегда, заметил: «Сглазил тебя кто-то. Да, да, точно, сглазил».

Я осилил лишь половину чаши и отставил её. Дедушка Сергали удивился:

— Что так? Или кумыс нехорош? Или у вас, городских, кишка тонка стала, а? Э, плохо, плохо... А знаешь, сколько мы, бывало, в молодости за день кумыса выдували? По пятнадцать чашек. Что, не веришь? Утром встанешь — одну-другую выцедишь. По-

¹ Алаша — палас.

² Торсык — сосуд из козьих шкур для жидкости.

том соберёмся — мальчишки, подростки — и айда на стригунках в соседний аул. И там угощают кумысом. Поиграем, порезвимся и давай скакать в следующий аул. Там тоже опрокинешь пару чашек. За день обскачешь пять-шесть аулов. Приедешь вечером, посчитаешь, бог ты мой, пятнадцать чашек — целое ведро кумысу за день выпил! Каково? — и дедушка весь затрясся, радостно рассмеялся.

— Почитайте, аке, стихи Шал-акына, — попросил я.

— Э, — почему-то грустно улыбнулся дедушка, — большой акын был Шал, большой... Много мудрых слов нам оставил. — И, глядя по-старчески затуманенными глазами куда-то вдаль, часто покашливая, дедушка Сергали начал читать мне Шал-акына.

Акын Тлеуке, прозванный в народе Шалом, жил двести с чем-то лет назад на берегу Ишима, в каких-нибудь тринадцати верстах от нашего аула. Его стихи о быстролётной юности, о тоскливой старости, о смерти, о женщинах знают в наших краях все старики.

— А теперь прочитайте что-нибудь своё.

— Я прочту тебе только одно стихотворение. А ты запиши, запиши.

Дедушка Сергали извлёк из-за пазухи знакомую мне пухлую записную книжку вместе с какими-то квитанциями и рецептами, полистал пожелтевшие странички, заполненные арабской вязью, и откашлялся.

— Вот, записывай. «Слово старца Сергали, обращённое к молодым».

В «Слове» говорилось о том, что молодость подобна яркому цветку, её нужно беречь и ценить, ибо она полна радости и счастья. В молодости нужно учиться, стремиться к знаниям, не прожигать впустую жизнь, потому что не успеешь оглянуться, как подкрадется беззубая старость, похожая на заросший жимолостью глухой овраг.

— Ну как? — спросил он.

— Верно говорите, аке. Очень верно.

Дедушка помолчал, полистал свою затрёпанную книжицу-не-разлучницу, показал её мне.

— Вот это всё, что я после себя оставлю. Состояния никакого не нажил. А жить осталось уже немного...

— Ну что вы, аке...

— Нет, нет, я точно говорю. Скоро уже, скоро, я чувю... Здесь записаны два дастана¹ и некоторые мои стихи. Не все, конечно. Кому нужен бред старика? А кое-что, может, и пригодится. Может, почитает кто и скажет: вот так, бывало, говаривал старик Сергали...

Дедушка уронил голову на грудь, зашёлся в кашле, потом задышал тяжело, хрипло. Задумался.

Одинокая стрелка на часах незаметно переползла на соседнюю цифру.

— И-и, ал-ла-а... — вздохнула старуха. Дедушка очнулся.

— Надолго приехал?

— Недельки две, пожалуй, побуду.

— Э, хорошо... Захаживай, кумыс пей, дорогой. Спасибо, что нас, стариков, не забываешь...

Грустно как-то стало. Я простился, встал, тихо прикрыл за собой обитую войлоком низенькую дверь.

И вот — письмо...

Уходят старики от нас. Нет уже в живых Жайлаубая, Сейтходжи, Нуркана, Абильмажина. И с их уходом всё более пусто становится на душе, вместе с собой забирают они в чёрные объятия земли и частицу нашей души.

Приеду летом в аул, пройду мимо опустевшего приземистого домика у дороги, постою молча у чёрного холмика с серым камнем-стояком. А потом пойду по широкой аульной улице, и навстречу мне выйдут из домов юноши, подростки и совсем ещё малыши, которых я узнаю лишь по сходству с их отцами. Они учтиво протянут мне обе руки — почтительный салем.

— Здравствуйте, ага!

А иные эдак солидно, врястяжку, ломающимся баском скажут:

— Ассалаумагалеюк²!

«Вот, я уже ага этим юношам», — думаю я и грустно и радостно улыбаюсь.

— Алейкум салем, мой дорогой. И тебе мир, аул мой!

¹ Дастан — поэма.

² Ассалаумагалеюк — радушное восточное приветствие.

НЕМАТ КЕЛИМБЕТОВ

НЕ ХОЧУ ТЕРЯТЬ НАДЕЖДУ

(отрывки из повести)

Вот уже более двух месяцев лежу в этой больнице, как заживо погребённый в могиле. От жизни остались только мысли. Они, как последняя ниточка, как мостик, соединяют меня с миром. Не сравнивай меня с птицей, попавшей в силки, Гаухар. Моё положение в тысячу раз хуже. У птицы есть крылья, они вынесут в небесный простор, если удастся вырваться из плена. А у меня нет крыльев, нет простора, и остаётся только слабая надежда, что всё утрясётся.

Но самое главное — у меня есть ты! Как я благодарен судьбе, что она подарила мне тебя! Если бы не было тебя, никакие мысли не смогли бы утешить меня. Мысли — спасительный мостик в жизнь. И этот мостик — путь к тебе.

Гаухар! Сегодня во всём огромном мире только ты понимаешь меня. Только ты меня слышишь, только тебе открыто моё истерзанное сердце. Но когда ты навещаешь меня после работы и мы сидим в саду на больничной скамейке, я держусь отстранённо. Пытаюсь оставаться мужчиной. Не хочу, чтобы ты жалела меня, ведь твоя жалость отличается от жалости всех остальных людей. Твоё сердце истекает кровью, ты теряешь здоровье, силы, ты таешь, как воск. И я стараюсь не показать, как мне тяжело, шучу и бодро на тебя поглядываю, но ты ведь и так всё видишь и понимаешь.

О, проклятая болезнь! Почему она пришла именно ко мне? Какой враг сглазил нашу жизнь? За что нам, родная, такая участь?!

Я никогда не боялся боли, и не в боли здесь дело. Подлость этой болезни в том, что она сковала моё тело. Сто крат тяжелее осознавать своё бессилие, чем просто страдать. Чувствовать себя живым трупом, неподвижной колодой. Ты знаешь меня, Гаухар. Ты никогда не считала меня слабаком. Тем обиднее, тем ужаснее сознавать, что каждый раз ты воочию убеждаешься: прежнего

меня уже нет. А есть развалина, у которой от прежнего Ержана осталось только имя. Но, поверь, я не из тех, кто при малейшем дуновении ветра падает и поднимает вопль до небес. Меня, любимая, сломала не буря жизни, а чёрные думы, обступившие со всех сторон...

Единственная надежда — что ты, Гаухар, выдержишь, не покинешь меня, не сломаешься. Держись, милая! С твоей помощью я одолею проклятую болезнь, сохраню свою честь, свою жизнь. Только вместе мы удержимся. Пусть весь мир отвернётся, вынося мне окончательный приговор, — мне нет дела до этого мира, но если отвернёшься ты, такого удара я не вынесу. Когда тебя долго нет, когда ты опаздываешь, я жду и беспокоюсь, как жеребёнок, оставленный людьми на далёком жайлау. Как боюсь, что ты не придёшь больше никогда...

Гаухар! Во время болезни начинаешь понимать, как счастлив человек, не знавший телесных недугов. Какое это благо — быть живым, здоровым, бегать, веселиться. Но, с другой стороны, люди, не испытывавшие боли, много лишены, много не понимают, о многом не догадываются.

Я понял, Гаухар, что в каждом из нас таятся бездны нетронутых чувств, переживаний, порывов. И раскрываются они во время страданий, которые выпадают на человеческую долю. Сейчас я нахожусь под спасительным покровительством пробудившихся сил, идущих из глубины моей души. А сколько бодрых, здоровых, весёлых людей и не подозревают о существовании такого источника. Им это неведомо, Гаухар! Пусть я прикован к постели, но это не мешает мне размышлять, не мешает рассказывать тебе о моих переживаниях и ощущениях.

Будь я здоровым как прежде, мне бы это и в голову не пришло. И вот, как говорится, «повезло».

Это, Гаухар, не чёрный юмор. Это действительно так. Я поднялся на новый уровень понимания всего, что происходит в мире. И скажу тебе откровенно, Гаухар: именно здесь, в больнице, а не в читальном зале научной библиотеки, я дошёл до некоторых истин.

И подумал: не схожу ли с ума?

Если бы ты увидела меня вчера, ты была бы поражена, закружилась бы: «О чём он думает?»



Я думал о тебе.

О детях.

О нашем будущем.

Это ведь естественно, правда?

Вчера меня мучила бессонница, мне долго не удавалось заснуть.

Я, Гаухар, сделал открытие. Жизнь — это река. И мы с тобой плыли по этой реке десять лет. Всё у нас было в порядке. Работали, родили детей, дети подросли... Мы радовались нашим радостям и переживали неудачи. Всё у нас было как у всех. А Река Жизни текла. Она всегда течёт. А ты, Гаухар, задумывалась, куда она течёт? Куда несёт нас на своих могучих волнах? Честно скажу, я не задумывался. Пльвём, ну и пльвём. Как все. Как тысячи, как миллионы. А ведь путники, идущие по степи, время от времени поднимаются на холмы и оглядываются, куда их привела дорога, сколько они прошли и сколько ещё вёрст впереди? Так и нам, плывущим по Реке Жизни, следует иногда оглядываться назад и внимательно смотреть вперёд. Ведь человек не щепка, ему небезразлично, куда его влекут волны. Казалось бы, мысль-то не такая уж сложная. Но это на первый взгляд, дорогая Гаухар. Одно дело размышлять о Реке Жизни здоровому, краснощёкому весельчаку, а другое — жалкой развалине, в каковую сегодня превратился твой дорогой муж. Ты только подумай, Гаухар. Я лежу, приговорённый к неподвижности, а может, и к смерти. Да, да! И рассуждаю о каких-то заумных вещах.

Я нахожусь в отделении для очень тяжёлых. Тут никакого секрета нет. Это — нейрохирургическая больница. Здесь делают самые трудные, самые опасные операции. Вторгаются в святую святых — в человеческий мозг.

А у меня болен спинной мозг.

Даже подумать страшно, не то что подвергнуться такой операции. Вот тебе вскроют череп. Станут очищать мозг, как орех от скорлупы. Потом будут резать по живому, соединять клеточки, сращивать нервы... И ведь немало людей проходят через этот ад. Я сам каждый день вижу тех, кто вступает в схватку со смертью. Мне тоже предстоит выдержать такую схватку.

И когда думаю об этом, становится страшно.

Но ты запомни, Гаухар! Ержан, твой муж, так легко не простится с жизнью.



Я буду бороться с этими мучениями, с горькими думами, с печальными предчувствиями.

Не поддамся унынию.

Буду изо всех сил сопротивляться болезни, отчаянно цепляться за жизнь.

Я не из тех, кто опускает руки, сдаётся без борьбы.

Трусов презираю.

Если уж пришла беда, то я достойно встречу её.

А ведь страшнее всего — печальные мысли. Они овладевают мною, скручивают тело, и мир превращается в горошину...

Гаухар! Никогда раньше мне не хотелось увидеть тебя так, как сейчас. Тоскую по твоим тёплым глазам, по белой лебединой шее, по чёрным, как смоль, волосам. Грущу по тебе. Ещё давным-давно твой образ навсегда пленил меня. И сейчас он кружит мне голову, уносит в горячечном вихре.

Возможно, другим ты не представляешься такой уж неотразимой. Возможно, такая ты существуешь только в моей измученной фантазии. Но это неважно, потому что для меня ты — самое дорогое существо на свете. Моё чудесное сокровище.

Я знаю, милая, сейчас ты на работе. Тебе некогда предаваться праздным мыслям. С тех пор, как я в больнице, заботы о доме, о детях сполна навалились на тебя.

Сегодня вечером, как всегда, пойдёшь в детский сад, заберёшь Кайрата. Из школы вернётся Мухит. И вы втроём сядете ужинать...

Я сейчас лежу на кровати, не двигаясь, безучастный к миру, погружённый в свои мысли.

Но знаешь, Гаухар, сегодня я всё же не та глухая развалина, какой был вчера. Сегодня я словно цветок, напоённый влагой.

Спросишь, почему? А вот послушай.

Только мы начали обедать, как в палату вошли врачи. У меня упало сердце. Обычно они не совершают обход в обеденное время. Среди вошедших была профессор-нейрохирург, ты её знаешь. Я сразу понял, что комуто из нас троих в палате предстоит срочная операция.

Кому?

Почему они не говорят?

Ещё недавно мы шутили между собой, смеялись. А увидели профессора — и всё наше веселье мгновенно оборвалось.



Мне не терпелось узнать: кого? Но я лежал неподвижно, боясь шелохнуться. Мои соседи тоже молчали. Никто не решался нарушить гнетущую тишину.

Но вот профессор стала перелистывать историю болезни. Неужели мою? В этот момент она показалась мне председателем суда, который спустя секунду вынесет мне суровый, не подлежащий обжалованию приговор.

Профессор повернулась в мою сторону.

Я старался уклониться от её взгляда.

Но спасения не было.

Она произнесла мою фамилию. Потом быстро посмотрела прямо мне в глаза и сказала: «Завтра будем вас оперировать».

Когда она вышла из палаты, уводя с собой коллег, мои соседи одновременно выдохнули: «Ух!», словно опустили на землю тяжёлые мешки. А я, как рыба, выброшенная на берег, ловил пересохшими губами воздух.

В ушах страшный звон.

Что поделаешь?! В одно мгновение всё изменилось в моей жизни. Я сник, сломался, как карандаш в тяжёлой руке.

Только что палата была освещена полуденным солнцем, а теперь затянулась серым, погрузилась в какой-то душный сумрак. Сердце моё билось, рвалось наружу, предвещая беду.

Что со мной происходит?

Почему я так испугался?

А может, это не я, а только моё бедное сердце боится завтрашней операции?

Гаухар! Ты ведь знаешь нашего профессора. Она полная, немного сутулая, пожилая. Её манеры, походка, голос, движения больше пристали бы мужчине, чем женщине. В клинике никто не обращается к ней по имениотчеству, никто не говорит: «Елена Андреевна». Все называют её — «Профессор».

В отличие от других врачей, Елена Андреевна не жалеет больных. Она выкладывает всё напрямик. Наверное, поэтому больные и верят ей, не сомневаются в правильности её диагнозов.

Профессор никогда не баловала тяжелобольных тёплым обращением, особенно туго приходилось тем, кому сегодня-завтра предстояла операция. С ними разговаривала, сурово нахмурив

брови. Правда, потом, спустя время, я понял, что в такой манере заключался особый смысл.

Кому, скажи мне, понравится разговор, когда каждое слово вколачивается, словно гвоздь? Слова-гвозди звенят в ушах, не знаешь, куда спрятаться, начинаешь думать, а чем заслужил этот недовольный, сердитый тон?

Но она поступает так осознанно.

Когда солдаты готовятся идти в смертельный бой, их нужно разозлить, растравить им душу. Для этого нужны особенные слова — зажигательные, воинственные, резкие. Перед битвой командир никогда не станет обращаться к солдатам: «Милые вы мои!» Нет! Грозным голосом будет выкрикивать проклятия врагу. Будет подстёгивать бойцов, хлестать их словами, как разгорячённый всадник хлещет лошадь перед скачкой. Каждое командирское слово раскалённым клинком вонзается в сердца бойцов. Праведный гнев командира передаётся им — и вот они уже готовы броситься в адское пекло.

Наша профессор тоже считала, что человек идёт на операцию, как на смертный бой. Себя ощущала командиром, ведущим бойцов в атаку. А мы, пациенты, естественно, обязаны беспрекословно выполнять её приказы. Она часто повторяла: «Чтобы победить болезнь, вы должны сражаться за свою жизнь изо всех сил».

И вот, Гаухар, я начал исполнять её приказы, внимать каждому движению её нахмуренных бровей. И так преуспел в этой науке, что теперь, увидев человека, могу безошибочно определить, о чём он думает. Не ошибусь. Вообще же, пришёл к выводу, что люди, не умеющие читать по лицам, — счастливейшие создания. Какой прок следить за потаёнными движениями человеческой души, подобно вору высматривать чужое добро сквозь замочную скважину?

Но здесь, в больнице, прок в этом был.

Мы давно заметили, что редкие проявления профессорской симпатии относились как раз к тем больным, для кого положительный исход операции не представлялся очевидным. С ними она разговаривала доброжелательно, даже душевно. Помню, как-то в обеденное время появилась в нашей палате, посмотрела на меня с теплотой, о чём-то спросила и улыбнулась.

Это показалось мне подозрительным. Да что там подозрительным! Это насторожило и испугало меня.



Признаться, испугался не столько операции, сколько неожиданного участия и жалости во взгляде профессора.

Конечно, известие об операции не было для меня новостью. Люди, входящие в дверь, над которой аршинными буквами написано «Нейрохирургия», знают о том, что им предстоит. И прежде чем переступить этот порог, они много дней и ночей раздумывают, ищут выход, страдают и отчаиваются, но, в конце концов, приходят сюда.

Потому что другого пути у них нет...

Сколько бравых джигитов теряются, превращаются в испуганных детей, стоит им только приблизиться к этой двери.

Мы все входим в неё со страхом.

Ты спросишь, почему?

По сравнению с другими направлениями медицины, имеющими многовековую историю и традицию, нейрохирургия ещё сравнительно молода. Исследует нервные центры, управляющие телом человека. Эти центры таят немало секретов, пока ещё недоступных учёным.

Однажды профессор сказала мне, смеясь: «Сейчас люди больше знают о космосе, чем о собственном позвоночнике». Получается, что никто, в том числе и знаменитый профессор, не может знать, кто из отправившихся на операционный стол останется в живых?

Люди, перешагнувшие порог «Нейрохирургии», одновременно живут верой в науку и... готовятся к худшему.

Я — один из них.

Невыносимо ощущать себя узником, приговорённым к смерти. Одно дело ждать её через месяц-другой и совсем иное — вдруг, неожиданно. Человек не так боится операции, предстоящей через месяц или через год. Утешает себя: «Есть ещё время!» Приговорённые сооружают из оставшегося времени что-то вроде крепости и укрываются за её призрачными стенами. Но когда человек слышит, что операция назначена на завтра, он похож на солдата в открытом поле. Со всех сторон летят пули, рвутся гранаты, а он совершенно беззащитен.

Теперь и я услышал это роковое слово: «Завтра»...

Страх парализовал сознание. Я как будто оглох и ослеп.

Но вот чёрный занавес всё же раздвинулся.

Почему я так испугался?

Чего боюсь?

Операции?

Или смерти?

Что такое страх?

Вопросы вертелись в голове, я не мог избавиться от них.

Я должен был найти ответ.

Что может быть лучше правды, высказанной прямо, честно?

Наша профессор — замечательный специалист, талант от Бога. Многих безнадежно больных вырвала из когтей смерти. Даже инвалиды, пролежавшие без движения много лет, выходили отсюда на своих ногах.

Однако человеческое ухо устроено так, что плохие известия долетают до него быстрее хороших. То, что люди выходят из больницы здоровыми, кажется привычным, обыденным. А вот если врачи не могут помочь и случается трагедия, известие об этом молниеносно разносится среди больных.

Вчера троим сделали операцию.

Одному не повезло: скончался на операционном столе.

Когда об этом стало известно, мы все были потрясены. Но после обеда немного успокоились, а к вечеру уже шутили, даже смеялись.

Когда в палату неожиданно вошли врачи, мы сразу замолчали, вспомнили о джигите, который умер на операционном столе. А профессор и не пыталась никого утешить. Стояла перед нами, словно ангел смерти Азраил.

Мысленно я упрекал её, упустившую чужую жизнь, а она, пристально на меня посмотрев, сказала: «Завтра будем оперировать вас». Да, для меня это прозвучало как приговор: «Теперь — твоя очередь». Врачи продолжили обход, а мы трое лежали, не решаясь смотреть друг другу в глаза.

Умерший вчера парень не выходил у меня из головы. Как жестоко иногда поступает судьба с человеком! Он младше меня лет на десять, наверняка не успел как следует пожить. Конечно, человек и сто лет прожив, не скажет, что этого достаточно, но нет ничего печальнее безвременной кончины...

Соседи по палате сказали, что у парня была такая же болезнь, как у меня — эпиндимома, нарост на спинном мозге. Тяжёлая форма: ноги, и руки не двигались.

...Сам-то я, как ты помнишь, начал хромать только полгода назад.

Ты повела меня к врачу.

Врач сказала: «Вы должны показаться профессору» — и назвала фамилию нейрохирурга.

И когда мы пришли на приём, и она меня осмотрела, я спросил:

— Скажите, доктор, вы будете оперировать мою ногу?

— Нет, — резко ответила она.

— Как же так? Ведь нога болит.

— Нет! Дело не в ноге, дорогой! Дело скорее всего в позвоночнике, а точнее, в вашем спинном мозге... — Она положила ладони мне на спину и стала медленно водить ими вдоль позвоночника. — Вот это — позвоночный столб, — говорила она, — на нём держится жизнь человека. Внутри столб полый, но не пустой. В нём лежат продольные волокна, в них и находится мозг. Понимаете? Спинной мозг состоит из миллиардов крошечных частичек. Каждый нерв тоньше волоса в десять тысяч раз, но играет в жизни человека огромную роль. Если откажет один нерв, вы не сможете закрыть глаза. Откажет другой — перестанет двигаться нога, как в вашем случае. Внутри вашего позвоночника образовался нарост. Он придал тот нерв, который управляет движениями ног. Поэтому нарост надо устранить.

— А как вы его устранили?

— Очень просто. Разрежем позвоночник, раскроем и устраним.

Что говорила профессор дальше, я уже не слышал и не понимал. В ушах гремели слова: «Разрежем. Раскроем. Устраним».

Я онемел, можно сказать — окаменел.

Кулагер, жеребёночек мой!

Я в твоём позвоночнике — мозг спинной...

Так горевал знаменитый Ахансере, когда погиб его друг-тулпар¹.

Спинной мозг — самое дорогое, самое сокровенное — у казахов называется жулун. Не зря старики, когда случалось с человеком

¹ Тулпар — крылатый конь.

несчастье, говорили: «Попал в жулун». Самое скверное проклятие в народе: «Да оборвётся твой жулун!»

Гаухар! Только когда над человеком нависнет угроза смерти, можно выяснить, храбрец он или трус.

Страх породил во мне мучительные раздумья.

Сейчас я никому не верю.

Даже к тому, в чём я прежде не сомневался, стал присматриваться с опаской.

Что происходит?

Может быть, страх превращает человека в мыслителя?..

Неужели только оказавшись в беде, человек способен задуматься над этими вопросами?

Боюсь ли я завтрашней операции или не верю в её добрый исход?

Один мудрец сказал: «Страх — ожидание беды, горя, несчастья, мучений, которые могут свалиться на нас совершенно неожиданно». Иначе говоря, люди боятся лишиться своего счастья. Но что такое это самое счастье, о котором мы слышим всю жизнь, с самого детства?

Самообман?

Воплощение мечты?

Но ведь мечта не одна, мечты неисчерпаемы...

Неужели счастлив лишь тот, кто осуществил все свои мечты?

А так как всем мечтам не суждено осуществиться, то, значит, нет и счастливых людей? Нет, не так...

Счастье — не постоянная величина. И тот, кто счастлив сегодня, завтра может оказаться несчастным.

Итак, счастлив я или несчастен?

До сегодняшнего дня эти мысли не приходили мне в голову. Всё было как у всех. Сначала отец с мамой заботились обо мне. Нужды я не испытывал, горя не знал. Учился. Стал инженером-строителем. Делал карьеру. Создал семью. У нас светлый красивый дом. И ты, Гаухар — душа нашего дома. Радость переполняла меня, когда вечером я возвращался с работы и сыновья бросались мне на шею. У меня немало хороших друзей, много родичей...

Но разве только об этом я мечтал? Естественно, нет! Были и другие мечты, может быть, и они когда-нибудь осуществятся.

Но для этого нужно выдержать завтрашнюю операцию, остаться живым.

Боюсь, что лишусь тебя, сыновей, друзей, родичей.

Но если бы у меня всего этого не было, разве пошёл бы я на завтрашнюю операцию так решительно, с таким мужеством?

Нет!

Но есть ещё одна вещь, которая даже дороже всех названных.

Это — жизнь.

Я долго думал, взвешивал все «за» и «против».

И, наконец, принял окончательное решение.

Но мне страшно.

Делать операцию или нет, как ты считаешь, Гаухар?

Быть инвалидом — это ведь не конец жизни?..

Что это со мной?

Сомнения или страх?..

На дерево, растущее без солнечного тепла, набрасываются черви.

Излишне подозрительные люди подобны таким деревьям.

Мне должны были делать операцию через месяц.

А профессор категорически заявила: «Завтра».

Я понял, что у неё на душе.

Вчерашний парень, сегодняшний мертвец, страдал от той же болезни, что и я. Вскрывая его позвоночник, профессор думала и обо мне: если помедлить, болезнь будет прогрессировать, через месяц окажется слишком поздно.

В ту самую минуту она, наверное, и приняла решение: не оттягивать, немедленно делать операцию!

...Я скрыл от тебя, что операция назначена на завтра...

Профессор говорила: «Пусть ваша супруга обязательно придёт ко мне».

Это я тоже скрыл.

Почему?

Отвечу.

Если операция опасна для жизни больного, если исход её сомнителен, доктора берут у родственников расписку, что те предупреждены и дают согласие на операцию. Если бы ты, Гаухар, подписала эту бумагу, то как знать, чем бы это обернулось для тебя завтра? «Ну, зачем, зачем я это сделала?» — терзалась бы, проклиная себя. Слезам твоим не было бы конца и края.

Поэтому я сам поставил подпись в кабинете профессора.

— К сожалению, жена ваша сегодня не пришла.

— Она всё знает, — ответил я.

Иного выхода у меня не было.

Я хотел, чтобы сегодня ты спала спокойно.

А сам так и не смог заснуть. Долгой, утомительной, полной горьких раздумий была для меня эта ночь...

Я странствовал в мире фантазий и сомнений, не смыкая глаз.

Гаухар! Всегда ли радуемся мы, когда наступает утро и поднимается солнце? Если мы не радуемся, то будь, уверена, мы лишаем себя замечательных мгновений. Разве есть большее наслаждение, чем наблюдать, как на небе рождается золотая заря? Той ночью я впервые осознал это. Погружённые в повседневные дела, мы пропускаем удивительные и великие вещи.

Не всякий человек может оценить красоту и благодать солнечного восхода. Не каждому это доступно. Эту красоту в наибольшей степени может понять только тот, кому вскоре предстоит встретиться со смертью, кто глухой тёмной ночью с трепетом ожидает утра, быть может, последнего в своей жизни...

Мне вдруг открылась таинственная связь между ночью, непроницаемо чёрной, словно толстое одеяло, и смертью, которой может закончиться завтрашняя операция.

Непроницаемая тьма и смерть похожи, как две сестры.

А восход солнца приносит радость.

Караван жизни движется от восхода к восходу, не останавливаясь, не зная усталости...

Но грядущие годы, возможно, не принесут мне ни света, ни тепла, и золотого восхода я уже никогда не увижу, пребывая в вечной могильной темноте и сырости. Какая мне радость от того, что на голубом небосводе будет сиять солнце для других людей?

Живых людей.

Смерть — конечная истина...

Никто этой ночью не ожидал утреннего солнца с таким нетерпением, с такой тревогой, как я. Другие люди спокойно спали и не гадали, что принесёт им восход — жизнь или смерть? Они знали, что, проснувшись утром, обнимут детей, мать и ласковую жену. Потом пойдут на работу и встретятся с товарищами. Будут спокойно делать своё дело, заниматься тем, чем занимались всегда.

А у меня на шее — ярмо страха.

Гаухар! Я лежал с открытыми глазами, смотрел в окно. На дворе тьма. Мои соседи по палате спят, каждые три часа им делают успокаивающие уколы.

Неожиданно раздался удар грома, всё осветилось в блеске молнии. Караван моих мыслей вдруг остановился. От молний в палате стало светло. Дождь барабанил по карнизам. «Завтра, наверное, зацветут яблони, — подумал я, — неужели я больше никогда не увижу их цветы?»

Как ни старался отвлечься, сомнения и тоска не оставляли меня.

Как было бы хорошо забыть, хоть на время, про свою болезнь, про жуткую операцию, просто лежать и думать... Почему раньше, когда был здоровым и времени у меня было предостаточно, я ни о чём таком не мечтал?

Я разучился мечтать.

Наверное, в детстве я был разумнее. В детстве у меня хватало времени и на игры, и на учёбу, и на домашние дела. Находилась и время помечтать, пофантазировать. А повзрослев, стал оправдывать свою лень, равнодушие к миру нехваткой времени.

В детстве ночь казалась более удивительной и таинственной, чем день.

Мы жили в невысоком домике с плоской крышей. Летом я не слезал с этой крыши. Бывало, вечером, поужинав, брал постель и по лестнице забирался наверх. Лежа на спине, смотрел в ночное небо, усыпанное степными звёздами. Сначала пересчитывал уже знакомые звёзды и, убедившись, что все они на месте, считал дальше.

Небесный мир казался книгой, от которой невозможно оторваться. Читая эту книгу, я попадал в мир мечты — посещал далёкие звёзды, был капитаном космического корабля, летящего на Луну, открывал неведомые планеты, давал им имена...

В народе говорят: «Человек без мечты — как земля без леса». Люди, разучившиеся мечтать, много лишаются в жизни.

А если бы все люди вдруг забыли, что такое мечта, что произошло бы с миром?

Разве можно жить без фантазии? Ведь именно мечта ведёт нас вперёд, вдохновляя на великие дела и свершения.



Разве летали бы ракеты и космические корабли, если бы человек с глубокой древности не тянулся к звёздам, не мечтал побывать на далёких планетах, не сочинял изумительные истории об этих путешествиях? Полёты в космос как раз и начались с этих историй. С мечты. Нет, мечтать — это не бесполезное занятие!

Мечта — крылья человека. Но почему, став взрослыми, мы не желаем больше предаваться грёзам? Напротив, нередко высмеиваем людей, способных фантазировать, считаем их глупыми и пустыми.

Было время, отдельные смельчаки-мечтатели, привязав к спине крылья, пытались взлететь. За это их сжигали на костре. А ведь в известном смысле и учёные, открывшие законы физики и биологии, относятся к таким же «фантазёрам» и «сумасшедшим».

Все достижения культуры есть, в сущности, плод человеческой фантазии.

...Тучи рассеялись, и окно в палате стало пропускать бледный свет.

Наступает ещё один день.

Лежу в больнице, и сегодня мне предстоит операция. Но я рад, что хоть на короткое время отвлекся и забыл о предстоящем испытании.

...Для врачей самое трудное — психологически подготовить больного к операции. Это целая наука. Ведь человек, которого ожидает сложное хирургическое вмешательство, нуждается в моральной поддержке. Я давно понял, что труднее всего убеждать людей с устоявшимися взглядами, бывалых, тёртых. Иногда профессор говорит в сердцах: «Ей богу, мне легче провести операцию, чем уговорить вас согласиться на неё».

Часто все усилия докторов оказываются напрасными. Больного уговаривают, убеждают, вот он уже и согласен, но в самый последний момент почему-то вдруг отказывается от операции. Часто это происходит потому, что кто-то сбивает его с толку.

Один такой человек лежал в соседней палате. Лет ему было немало, и походил он на колотушку. Личико маленькое, поместится в ладони, щёки впалые, смотреть страшно! Он словно соткан из подозрительности, недоверия и страха. Не доверял никому и ничему. Не верил докторам, не верил в правильность поставленного диагноза, не верил, что кто-то может выздороветь.

Этот человек ни днём, ни ночью не знал покоя, слонялся по больнице, не жалея ног. Не было палаты, куда бы он не заглядывал, не было двери, в которую не входил бы. Всё вынюхивал, разузнавал, допытывался и записывал в толстую тетрадь, с которой никогда не расставался. Помнил, кому, когда и какую операцию сделали, кто выздоровел, а кто скончался — уж это запоминал с особой твёрдостью.

Но прославился он не этой своей летописью. Его конёк был в том, чтобы подойти к человеку, решившемуся на операцию, и начать убеждать того в её опасности и безнадёжности. Был великий мастер пугать людей. Человек становится внушаем, когда чего-то боится. Этот «осведомлённый» получал удовольствие от чужого страха. Во время очередного «сеанса» внушения напоминал змею, уставившуюся немигающими глазами на птичку. Когда его слова действовали на жертву, мерзавец преображался, наполнялся торжеством, от него исходили лучи победоносного триумфа. Входил в раж, доказывая правоту своих выдумок, даже сам начинал в них верить.

Он и ко мне заявился. Видимо, пронюхал о готовящейся операции. Увидев его, я как будто одеревенел, кровь застыла в жилах. Он почувствовал моё отвращение и, как вороватая кошка, выскользнул из палаты.

А я почему-то вспомнил одного своего родича, Бакира, и задумался о подлости человеческой.

Бакир был почти карликом. Телосложением, фигурой напоминал семилетнего ребёнка. Часто я думал про себя: «Наверное, мать его не доносила».

Но сколько гонора, апломба, капризов! Найдёт на него стих, и он ни за что не станет разговаривать с вами. По улицам Бакир передвигался виляющей походкой, ступал тихо, осторожно. Можно подумать, что если он сильнее наступит на землю, она, бедная, не выдержит и провалится. И он очень этого опасается. Где-то работал, но и на работу ходил крадучись, и возвращался таким же манером.

Когда он входил в дом, то всегда оглядывался, не следит ли кто за ним? И во двор выходил не как все. Сначала высовывался за дверь. Голова размером с кулачок, с застывшими, глупыми глазами поворачивалась в разные стороны, озирая окрестности. Когда

убеждался, что вокруг ни души, неуловимым движением выскальзывал за дверь. В эти моменты он напоминал мне мышь, которая перебегает из одной норки в другую.

Помнишь, однажды к нам приходила жена Бакира, изливала своё горе, жалуясь на мужа и свою проклятую семейную жизнь? С тех пор, как поженились, они постоянно ссорятся, дерутся, готовы убить друг друга. Даже сидя за столом в гостях, всегда выясняли отношения, говорили друг другу колкости и гадости, изливали злобу. Но не разводились. Они, очевидно, поставили перед собой цель прожить всю жизнь вместе, терзая и мучая друг друга. Я запомнил, как, выслушав его жену, ты с удивлением произнесла: «Самто он с ноготок, как в нём умещается столько ненависти?»

Бакир всё время повторял: «Бережёного Бог бережёт», всех поносил, и сам ждал какихто неведомых бед. Ни с кем не дружил, в гости почти не ходил. А если ненароком куда и попадал, сразу шептал хозяину на ухо: «О моём приходе никто не должен знать, особенно такой-то». И ведь такие люди живут в каждом ауле, попирают самое святое в людях — веру в других. Бакир сомневался даже в том, что за ночью следует утро, записывал в негодьяи не только живущих с ним рядом, но и будущие поколения людей...

Или взять одного молодого врача в нашей больнице. Он невропатолог, знает свою специальность не хуже других. Коллеги его уважают, но одна чёрточка его характера неприятно удивила меня. Этот врач просто ненавидит разговоры на медицинские темы. Нескольким раз я был свидетелем, как он, осматривая больных, буквально затыкал им рот.

Гаухар! Сегодня в больницах лежат достаточно образованные люди. Смотрят телевизор, читают книги, в курсе новостей и последних технических достижений. Естественно, что они хотят побеседовать с врачом о своём недуге, узнать причину, пути лечения. Но этот молодой врач совершенно не расположен к таким дискуссиям, на вопросы отвечает односложно, а то и резко их пресекает. И с другими врачами старается не общаться.

И ещё одна деталь. Давая советы, выписывая рецепты пациентам, он производит впечатление не профессионала, досконально изучившего своё дело, а поверхностного новичка, который и самто в свои слова не верит.

Странным показалось мне и то, что вне больницы, скажем, во время обеденного перерыва, он мог быть откровенным, общительным с совершенно незнакомыми людьми. Становился душой компании, напоминая призывую лошадь на байге, забывал о своей замкнутости, неуверенности. Вне больницы преображался, становился другим человеком.

Особенно вдохновляла этого врача... археология. Когда речь заходила о последних открытиях, он слова никому не давал сказать, рассуждал о раскопках с удивительным знанием дела. В нём просыпался оратор, он говорил убедительно, доказательно, приводил интересные факты. В области археологии знал абсолютно всё.

Тайну молодого врача я узнал несколько позже, когда сошёлся с ним, и мы стали часто беседовать. Оказывается, мой друг доктор с юных лет мечтал стать археологом, но мечте не суждено было сбыться. Дядя хотел видеть его врачом и чуть ли не насильно привёл в медицинский институт. Юноша не решился перечить дяде, расстраивать его. Институт окончил, получил диплом, и вот уже несколько лет работает в больнице. Пользуется авторитетом, коллеги его уважают и ценят. Но сам он не считает себя врачом, не верит в своё призвание. Год от года теряет веру в себя.

Вот так-то, Гаухар! Мир для человека должен быть наполнен радостью от исполнения желаний. Если рождён быть археологом, должен стать археологом. Не имеешь права не быть археологом. Это — обязанность, долг, не зависит от личности. Если нет таланта, призвания, стремления, то, как ни обучай, как ни тяни человека в медицину, настоящего врача из него не получится.

Вера — великая сила.

Только тот, кто верит в себя, в свои силы, сможет подняться к высотам мечты, достичь поставленной цели.

«Мама, я обязательно отыщу древнюю Троя!» — обещал матери Генрих Шлиман. Он дал эту клятву, когда ему было восемь лет. К его словам никто не отнёсся серьёзно, но мальчик вырос и удивил весь мир своими открытиями...

Правда, на поиски города, воспетого Гомером, ушла вся его жизнь. Ещё бы! Все ведь думали, что Троя — вымысел поэта. Мог-



ло оказаться и так, и тогда дело Шлимана пропало бы даром. А что может быть печальнее поисков того, чего нет, погони за химерами? Восемилетний Шлиман верил в реальность Трои, с возрастом укрепился в своей вере.

Кто в целом мире может быть сильнее человека, безгранично верящего себе?!

А я, Гаухар?

Есть ли у меня вера в себя, в своё предназначение на земле?

...Мой отец всю жизнь выращивал деревья, был садоводом от Бога. Когда сердился на кого-то или просто переживал, то всегда уходил в сад. Бродил между деревьями, гладил их стволы, словно делился своим горем.

Почему отец уединялся в саду, где знал каждое деревце, каждую веточку? Может, хотел не только успокоиться, но и лишний раз убедиться в правильности избранного пути, в том, что труды его нужны людям? Когда человек попадает в беду, его уверенность в себе тает. И у моего отца, как у каждого в этой жизни, случались неприятности. Его друзьями и утешителями были яблоневые листья, ветви урюка...

А у меня есть такая вера?

Если бы не верил сам себе, разве был бы так привязан к жизни?

Человек не может искренне любить то, к чему не привязан душой.

Нельзя любить другого человека отдельно от мира, в котором тот живёт.

В капле морской воды отражается весь мировой океан.

Вот и я природу веры и любви узнаю через тебя, Гаухар!

Если бы я не любил Жизнь, разве мог бы так любить тебя?

Разве скучал бы так по друзьям, интересовался бы так окружающими людьми?

Разве могла бы меня радовать, опьянять своей красотой родная природа?

...Только перед рассветом я сомкнул глаза.

Но утро слишком быстро одолело ночную тьму.

Я вздрогнул и проснулся.

До рокового момента ещё два часа.

Чем я заполню это время?

Два часа времени — два часа жизни...

*...Дорогая! Родная! Я жив! Я здоров!
Получил я прекраснейший дар из даров!
Я сражался со смертью и Жизнь отстоял.
Потому что Тебя оставлять не желал!*

Очнувшись от наркоза, приоткрыл глаза и обнаружил, что лежу в своей палате.

Жив! Жив! Остался жив после операции!
Думать о чём-то другом не было сил.

Через несколько секунд почувствовал, что мне сдавило дыхание, словно кто-то нажал на кадык. Кровь как будто свернулась. Воздух вырывался из груди огненными толчками. Губы пересохли, слиплись. Язык распух, нёбо высохло, жажда, жажда...

Я то терял сознание, то приходил в себя.

Какое сейчас время суток?

День или ночь?

Как ни пытаюсь, не могу открыть глаза, не хватает сил. Ресницы словно чугунные. Нет сил поднять веки, они примёрзли, как в январский мороз. Нужны невероятные, гигантские усилия. Какое ужасное мучение! Наконец, удаётся. Но теперь другая беда — не могу их закрыть. Глаза у меня, как у мёртвого барана, выпучены. Невыносимая резь! Бедные мои глаза — словно солью посыпаны.

Палата погружена в полумрак. Вижу только контуры предметов. Тело горит, я в огне. Такое ощущение, что весь мир охвачен пожаром. Даже тонкое одеяло обжигает раскалённым углем. Всё превратилось в огонь, даже дыхание моё кажется пламенем.

Но вот предметы как будто поднимаются в воздух. У человека, очнувшегося от наркоза, кружится голова, — подумал я.

В ушах звон. Мне кажется, сотня кузнецов трудится у меня над подушкой. Стучат, стучат, не зная отдыха.

Но я в сознании!

Я жив!

«Хоть разбита голова, да под шапкою она», — гласит пословица.

Но следовать этой пословице, скрывать свои страдания, не всякому под силу. Человеку хочется кричать, плакать, стонать, чтобы облегчить боль. Стоит ли изображать мнимую стойкость? Не лучше ли выплакать горючими слезами горе, освободиться от леденящей скованности, подавленности? Всегда ли слёзы чело-



веческие — признак слабости и бессилия, а твёрдокаменный характер — героического мужества?

Дышать становится всё труднее.

Я задыхаюсь.

Мучает жажда.

Хочу попросить воды, но сил говорить нет.

Не могу пошевелить ни рукой, ни ногой.

Что случилось?

Почему мои руки и ноги мне не подчиняются?

Я беспомощен. Мне хочется плакать навзрыд, но я не могу.

Кто поверит в такое?

Наши аульные старики, встретив человека, охваченного горем, говорили ему: «Плачь, родной! Слезами освободи тяжесть души, а иначе с ума сойдёшь от горя».

В этих словах скрыта глубокая мудрость.

Выплаканные вместе со слезами горестные мысли освобождают человека, и он снова способен жить.

Я это испытал.

Долгое время лежал, как изваяние, ни на что не реагируя, не испытывая никаких волнений, равнодушный ко всему окружающему. Обычно я очень живо отзывался даже на пустяки, а сейчас — словно камень. Похож на вечный лёд, которым скованы горные вершины.

Вдруг мне показалось, что соседи смотрят на меня с жалостью. Меня охватило негодование.

Я снова ощутил себя слабым и жалким.

О, Боже! Нет на свете счастливее того, кто может плакать. Если бы из моих глаз хлынул поток горячих слёз, я бы избавился от мучений. Когда человек истекает потом от тяжёлой работы, ему становится легче. То же самое происходит, когда охватывает печаль. Только здесь вместо пота — слёзы.

В голове неразбериха. Горло пересохло. Губы слиплись. Но вдруг я догадался, что это не губы, не язык. Это — застыли мои челюсти. В таком положении я не смогу проглотить даже каплю воды. Не только напиться, я даже не смогу попросить воды!

Размышляю, как разжать окаменевшие челюсти. Чувствую, что окаменело всё тело, каждая мышца, каждое сухожилие.



Я уже давно пытаюсь привлечь внимание сидящей рядом со мной сестры, молоденькой девушки, показываю ей глазами на графин с водой. Но она, видимо, недавно работает в больнице. Не понимает меня и сама теряется. Она что-то говорит, но я не слышу.

Как зачарованный, не отрываю глаз от графина. Но вот она уловила направление моего взгляда. Не торопясь, вышла из палаты, через какое-то время вернулась со стаканом и чайной ложечкой. Потом из ложечки накапала мне на губы воды. Но вода не попала в рот, а скатилась на подбородок. Сестра удивленно смотрит на меня. Откуда ей знать, что я не в состоянии сделать глоток?

В этот момент в палату вошёл дежурный врач Мейман Кожеков — любимый ученик профессора. Он улыбается. По его виду не скажешь, что он сильно переживает за меня, сочувствует, что огорчён или озабочен моим состоянием. Но Мейман без объяснений понял, что я прошу воды, понял даже, почему я при этом не могу проглотить ни капли. Подсел ко мне на кровать, стал массировать мои скулы своими длинными пальцами. Возился со мной целых полчаса. Старался изо всех сил. Но его старания ни к чему не привели. Застывшие скулы невозможно было расшевелить.

Тогда он позвал старшую сестру Мейркульапай.

Эта добрая, милосердная, участливая женщина работает здесь долгие годы. Если бы все медсёстры были такими...

В больнице нет человека, который не испытывал бы благодарности к Мейркульапай. Она озабочена вещами, которые даже не входят в прямые обязанности медсестры. Казалось бы, разве трудно подать «лежачему» больному стакан чая в постель, помочь ему сменить сорочку, прикрыть одеялом? Но когда человек не может шевельнуть ни ногой, ни рукой, такая забота для него — дар небес. Мейркульапай чувствует это лучше, чем кто другой. Её ни о чём не нужно просить дважды. Она всё понимает без слов. Мейркульапай с первых дней становится родной и близкой каждому больному.

Этой женщине уже далеко за сорок, а она всё ещё одинока. Мне жаль её, сердце щемит какая-то грусть. Говорят, в молодости Мейркуль очень сильно любила одного джигита и продала его всю жизнь. А недавно мы узнали, что этот джигит — Акылбекага! Мы были так удивлены, что не знали, верить этому или не верить. Их

история удивительна! Вот вернусь домой и расскажу её тебе, не упуская ни одной детали, ни одной подробности.

А сейчас Мейиркульпай сидит в изголовье и вытирает капли пота с моего лба. С материнской нежностью гладит моё лицо. Её мягкие ладони и впрямь напомнили мне маму, перед глазами возник материнский образ, и вдруг свершилось чудо... Я сам не заметил, как из глаз хлынули горячие слёзы! Я плакал беззвучно, долго, плакал, не стесняясь, не скрывая слёз. И чем дольше плакал, тем легче становилось на душе.

Понемногу ушла скованность. С большим трудом я, в конце концов, произнёс: «Вода». Мейиркульпай налила в стакан воды из графина и стала поить меня с чайной ложечки. Но влага не попадала в горло, исчезала где-то во рту. Я не утолял жажду, а ещё сильнее хотел пить.

Молоденькая сиделка стояла со шприцем в руке. На её лице крайнее изумление. «Да вы просто волшебница!» — будто хотела она сказать Мейиркульпай. Стена глухоты внезапно рухнула. Люди вокруг меня, оказывается, громко разговаривали друг с другом. Я услышал, как дежурный врач сказал: «Это психологический фактор».

...От этого врача я и узнал обо всём, что произошло вчера. Операция длилась пять с половиной часов. Под действием наркоза я проспал ещё около шести часов. Профессор похвалила меня, сказав, что сердце у меня крепкое, а лёгкие — чистые. Но больше ничего не сказала.

Встану ли я на ноги?

Смогу ли самостоятельно ходить?

Почему у меня не двигаются руки?

На все эти вопросы могла ответить только она.

Теперь я должен во что бы то ни стало дожидаться её прихода.

Как медленно тянется время, когда чего-то ждёшь!

Совсем недавно весь мир, казалось, перевернулся, а теперь у меня снова появилась надежда.

Я не стал спрашивать у других врачей, что говорила насчёт меня профессор, не задал я этих вопросов и Мейиркульпай. Если мне вынесен приговор, то лучше услышать его от профессора.

Головная боль не проходит, позвоночник ноет. Тело — как вяленое. Пот льётся градом, сорочку и одеяло меняют каждые пол-

часа. Кто-то положил мои часы рядом с кроватью, чтобы я мог следить за временем.

Приближался час обхода.

Что она скажет?

Раньше на все расспросы она отвечала: «Скажу после операции!» Теперь у меня появилось ощущение, словно две противоположные силы тянут меня в разные стороны. С одной стороны я слышал: «Ержан! Ты перенёс сложнейшую операцию и выжил! Так радуйся! Ты видишь солнце, ты дышишь, чего тебе ещё надо?» А с другой — доносится злой шёпот: «Ты теперь калека, не сможешь двигаться, пролежишь неподвижно всю оставшуюся жизнь. Зачем тебе такая жизнь, а, Ержан?»

«И вправду, если я стал калекой, не смогу сам ходить, то зачем мне такая жизнь?» — подумал я. Меня передёрнуло от испуга и отвращения, а перед глазами встали безногие инвалиды...

Через тридцать минут должна прийти профессор, и тогда всё станет ясно. Одно плохо — она не любит ходить вокруг да около. Рубит правду сплеча, даже не пытаюсь смягчить. Не одобряет врачей, которые напрасно обнадёживают больных. Одним говорит: «Ты будешь ходить», — а другим: «Ты никогда не встанешь на ноги».

Скажет — как отрежет.

Некоторые больные не выносят правды, начинают плакать. Тогда она повышает голос: «Прекратить немедленно! Ты же мужчина, в конце концов! Посмотри, сколько инвалидов, и ничего, живут, работают».

Что предстоит услышать мне?

Когда у человека что-то болит, кажется, что в этом месте находится его душа. Позвоночник у меня ноет, словно кто-то водит по нему тупой пилой. Как будто стонут все сто тысяч волокон мозга и бесчисленные нервы! Каждый нерв решил мучить меня как-то по-особенному. Кажется, что они соревнуются — кто причинит мне больше мучений?

Я не могу ни о чём думать.

Впадаю в беспамятство.

Да, я вышел из тёмного леса живым.

Но меня поджидает новая напасть, которая хуже смерти!

Смогу ли я ходить на своих ногах?

Гаухар! Какие бы трудности не стояли передо мной, какие бы муки душевные и телесные не пришлось мне испытать, я всё преодолею. Терпеть для меня — значит хранить надежду. Если выйду из больницы на своих ногах, в мире не будет человека счастливее.

Чтобы хоть на минуту избавиться от страданий, я попытался отвлечься, подумать о чём-нибудь приятном.

Меня спасли мысли о тебе, Гаухар!

Помнишь, как познакомились, как дружили, говоря твоими словами, всего три дня? А на четвёртый прямиком из города направились в мой аул. Ты стала моей женой. Закончилась твоя беззаботная девичья жизнь. Я вспоминаю те чудесные, неповторимые, безвозвратные три дня, заново их переживаю.

Три дня! Всего только три дня. Могут ли люди узнать друг друга за три дня? Конечно, всему в жизни нужен свой срок... Но когда речь идёт о любви, тут смешно говорить о времени. Его Величество Время становится бессильным, теряет своё могущество.

Один мой друг назвал меня легкомысленным и долго оставался при своём мнении. Сам он три года сидел на одной студенческой скамье со своей невестой. Дружили они долго, он ухаживал несколько лет. Они хорошо изучили друг друга. Мы были на их свадьбе, помнишь? Произносили тосты, пожелания. А чем всё закончилось? Не прошло и трёх месяцев, как семья распалась. Все были поражены...

Да, Гаухар, нам повезло. Мы создали хорошую семью. Вспыхнувшая любовь не обманула нас. Мы уже десять лет вместе. Живём душа в душу. И всё же иногда задаюсь вопросом: «А не поторопились ли мы стать мужем и женой?» Подумай, всего три дня! Ведь можно было продлить прекрасные мгновения, отведать из волшебного источника «земзем»¹ сладостного напитка страсти, сближения душ и тел, охваченных любовным пламенем. Неужели мы лишили себя чудесных дней? Неужели эти мгновения никогда не вернуться?

А может, вода источника «земзем» показалась мне такой сладостной, именно потому, что я вкусил её совсем немного?

¹ Земзем — священный для мусульман источник, находящийся во дворе Каабы в Мекке.



Друзья постоянно говорят, что мне повезло с семьёй. Но я не задумывался над этим всерьёз. Зачем счастливому человеку задумываться? Он напоминает пьяного, идёт себе, пока не споткнётся о камень и не свалится...

Кто знает, много я выпил вина счастья или мало? Трезво смотреть на правду моё сердце не хочет.

Но чего я боюсь?

Угроза смерти сверкнула, как меч, над моей головой — я выжил.

Теперь мне угрожает инвалидность. Ведь если я не поправлюсь, если болезнь неизлечима, зачем, спрашивается, была нужна эта операция?!

Пока не пришла профессор, судьба моя неизвестна. А человек, как я заметил, связывает с неизвестностью скорее плохое, чем хорошее. Сейчас больше всего боюсь стать инвалидом, попасть в число неполноценных, беспомощных людей.

Но почему я думаю о плохом?

Ничего не поделаешь, человек всегда много думает о том, чего боится.

Я посмотрел на часы, лежавшие рядом с подушкой. Время, когда профессор должна прийти, давно минуло. Но её до сих пор нет. Почему? Может, совершает обход других палат? Нет, такого быть не может. По твёрдо заведённому правилу она приходит в первую очередь в ту палату, где лежат больные, перенёвшие операцию. Значит, сначала должна была зайти ко мне, а потом уже осматривать остальных.

Почему тогда её нет? Неужели не решается прийти и сказать правду? О нет! Она ничего не боится!

Терпение моё на исходе.

Наконец, я не выдержал и спросил: «А почему профессор задерживается?»

Мейиркульпай ответила, что Елена Андреевна сегодня не придёт. Её вызвали на консилиум в другую больницу.

Вот мучение! Умираешь от ожидания, а профессор задерживается ещё на сутки. Ещё целые сутки! Они станут для меня вечностью!

Будь ты проклята, неизвестность!

Встану я с постели или нет?!



Это знает только профессор...

Самым главным в моей жизни теперь стало Время.

Гаухар! О чём ты думаешь сейчас? Ты ещё не знаешь, что я перенёс операцию. Или, может, приходила в больницу вчера, и тебе об этом сказали? Тогда, естественно, ты в тревоге, может быть, обиделась за то, что я не сказал об операции? Но обиды твои проходят быстро, ты не умеешь долго сердиться...

С тех пор, как пришёл в сознание, у меня держится и не спадает высокая температура. Сестра каждый час ставит градусник. Ну да ладно, я не обращаю внимания. Меня тревожит боль в позвоночнике. Душа готова вылететь из несчастного, истерзанного тела. Невозможно высказать словами мои мучения, страдания. Это может понять только тот, кто сам перенёс подобное.

Если бы ты сейчас была рядом, мне бы, наверное, стало легче. Ты моя самая надёжная опора, Гаухар!

КАЛИХАН ИСКАКОВ

ЗАПАХ МОЛОКА

Приезд Аяна в этом году был непохожим на прежние. Почему-то он не известил родных ни письмом, ни телеграммой.

Смеркалось, когда Аян сошёл с автобуса. Он приехал из Алматы налегке, а было ветрено, и холод мгновенно пробрал его. То ли после дождя, или это опустилась уже роса, но придорожная трава была мокрая.

Стояла тишина. Словно сырой холодный ветер заглушил все звуки. В темнеющем небе дрожало несколько звёзд. Из зарослей, растущих вдоль шоссе, тяжело вылетел могильник и тут же пропал.

Аян вспомнил свою попутчицу — симпатичную девушку. Им было весело в дороге, они как-то быстро разговорились, шутили, болтали. Тёплый автобус, беспечный смех... Он подумал, что эти несколько часов, пока он ехал в автобусе, были заполнены ею, а теперь, может быть, они никогда не встретятся больше. Вдруг стало грустно. Он оглянулся — автобус катился вдаль, подмигивая двумя красными фонариками, словно насмехаясь над его грустью. Чернела лента асфальта.

Со стороны аула донёсся приглушённый рёв осла. Наверное, бабушка сейчас неторопливо разжигает в очаге огонь, а чуть дальше стоит арба, к которой дедушка на ночь привязывал осла. «После смерти деда, наверное, осла продали», — подумал он.

Аян мельком взглянул на свои чёрные остроносые туфли и сошёл с дороги. Земля была сырая и мягкая. Впереди мелькали огни аула, лаяли собаки. Он шёл, не глядя под ноги, отгадывал по огням дома знакомых, соседей, узнавал по лаю собак, и перед его глазами возникали далёкие картины, лица. «Наш Сырттан... — вспомнил он о псе. — Жив ли ещё?»

Он быстро прошёл первые дома, обогнул чью-то изгородь, отмечая, что её тут раньше не было, и, ускоряя шаг, направился к своему дому напрямик через кусты. Впереди лениво забрехала со-

бака, и он узнал Сырттана. Одряхлевший, без единого клыка, Сырттан тоже узнал его и быстро-быстро забил белым, облепленным репейником хвостом. Пёс по привычке потянулся к рукам, и Аян почувствовал ладонью его холодный и мягкий нос. «Да, одряхлел», — подумал он, не останавливаясь. Только сейчас, подходя к дому, он вспомнил, что приехал с пустыми руками. «Стыд какой! Не мог даже индийского чаю бабушке захватить...»

Пока добирался до крыльца, наступил на свежий коровий помёт. Шагнул было в сторону, наступил ещё и, совсем расстроившись, стал чистить туфли пучком травы. Из дома доносились говор, звон посуды, детский плач. Раздражённо ворчала Алуа — жена брата: «Что прикажешь делать? По мне, хоть сегодня сдай их в детдом». В ответ Кошкар только кашлянул. Аян не услышал голоса бабушки. «Бабушка очень скучает по тебе. В последнее время она часто болеет». Он вспомнил эти строки из письма Кошкара, и сердце его замерло. Он разогнулся, посмотрел на очаг и радостно засмеялся, увидев дымящийся белый самовар.

В этом доме самовар ставила только бабушка.

...Аян проснулся от резкого звука. Спросонья пошарил рукой у изголовья. Открыл глаза, приподнялся. Поперёк его подушки лежал самый младший племянник — Машкар. Разбудил Аяна не будильник, а кричавший за окном осёл. Он вспомнил, что находится в ауле, а не в Алма-Ате, что не надо ему спешить на работу, и улыбнулся. Положил ножку Машкара себе под мышку, подтянул одеяло, чтобы укрыть мальчонку. Но с другого края показались чёрные, в саже, ноги четырёхлетнего Баскара. Баскар тотчас задёргал ногами, отыскивая одеяло. Аян проснулся окончательно. Справа он увидел малышку Жулдызай, слева спала Умсинай, на постели бабушки посапывали Алтынай и Кумисай. В общем, под двумя одеялами вместе с ним оказалось семь человек. «Когда они успели пробраться сюда?» — удивился он. Вчера ночью перед сном дети подняли невообразимый шум, каждый хотел спать только рядом с бабушкой. Он поймал было троих и выдворил в другую комнату, к родителям...

На стене в деревянных рамках висел длинный ряд портретов. Все фотографии выполнены в одном стиле, стёкла потемнели. С краю — дедушка с задумчивым спокойным лицом, рядом — бабушка, такая, какую он запомнил в детстве, дальше отец, мама,

Кошкар, он сам... Каждый раз, когда Аян видел эти портреты, он долго смотрел на отца и маму. Он знал их только по этим фотографиям и рассказам, и какая-то щемящая грусть охватывала его. Что-то смутное, далёкое вставало перед глазами... Аян прикрыл веки. Со двора доносились стук вёдер, звонкое жужжание сепаратора. Он будто ощутил во рту вкус тёплых свежих сливок. «Бабушка, — пробормотал он, — бабушка...»

— Бабушка, бабушка... где ты?.. — раздалось вдруг рядом.

Аян вскочил, увидев, как Баскар, держа ручонками трусики, бежит в сени; Аян ринулся за ним, у двери сорвал со стены тазик...

Солнце поднялось уже высоко над землёй, туман ещё не разошёлся и розово светился в его лучах. Дым плохо разгорающегося сырого кизяка стлался по двору. У крыльца на нарах бабушка размеренно крутила ручку сепаратора. В сумерках она показалась Аяну прежней: тот же ласковый голос, те же мягкие тёплые руки, а сейчас, он отметил, сидела постаревшая, какая-то маленькая, и белый кимешек¹ на её голове казался огромным. Этот кимешек словно придавил её к нарам. В трёх шагах от неё сверкал боками самовар, с другой стороны, рядом с бабушкой, сидел, позёвывая, Сырттан. Невдалеке дымилась сырая лепёшка коровьего помёта. За дувалом беспокойно подавал голос бело-серый бычок, вертелся, тёрся о стену. Корова облизывала телёнка и иногда, отрываясь от этого занятия, равнодушно прислушивалась к зову. Телёнок же смотрел на бабушку не отрываясь, видимо, ему перепал обрат. Из сарая с кудахтаньем выбежала курица; петух, чуть не опрокинув чашку со сливками, перелетел через нары, нагнал и схватил её.

— Кыш! Проклятые, кыш! Готовы из рук чашку выбить! — замахала руками бабушка. Она ещё что-то пробормотала, но, услышав шорох за спиной, обернулась, увидела Аяна. — Жеребеночек мой, разбудили тебя сорванцы? Худенький ты мой! Что же вышел раздетым? Простынешь...

Аян накинул на плечи старый халат, висевший на дверном косяке. От халата пахло молоком, значит, его надевала бабушка. По-

¹ Кимешек — традиционный головной убор казахских замужних женщин.



том засунул ноги в новые кожаные бабушкины калоши и, волоча их, подошёл к ней. Бабушка надевала калоши зимой на валенки.

— Длинноногий мой, — заворковала она, целуя его в лоб.

От неё пахло молоком, Аян даже чуть не задохнулся. Он вспоминал этот запах, когда ему было тяжело, когда скучал по дому, по бабушке.

— Худенький мой, ягнёночек мой! Выпьешь сливок? Выпей до чая. Не думай, что в этом доме можно собрать всех на завтрак. Алуа с утра бежит на работу в школу, Кошкар торопится в контору.

Она подала Аяну чашку со сливками.

Пока бабушка говорила, в дверях показались малыши. Кто вывалился из дверей, кто выкатился — на покрытом инеем крыльце отпечатались следы босых ног. Первым добрался до бабушки Баскар. Почёсывая живот — холод, видно, ему нипочём, — подошёл, уцепился за подол, задёргал:

— Это моя чашка, моя! Зачем отдала ему?..

— Ах, дай бог тебе много лет! Отстань, отпусти меня! — Бабушка с трудом отцепила его от себя.

— Это моя бабушка! Моя! — подступил к Аяну Машкар, воинственно выпятив круглый подбородок.

— Ох, хитрец! Смотри, как может обвести вокруг пальца! Ты сын Алуы...

Но никто из малышей не слушал её, словно птенцы, окружили её, затеребили.

Аян глотнул сливки и, оставив чашку, стал наблюдать за детьми. Он ревновал к ним бабушку. Было грустно и за себя, что он вырос, и за бабушку, что так постарела, изменилась, что не знает ни минуты покоя. Бабушка снова взялась за сепаратор. Внутри него забулькало, залопотало; светлая вязкая струйка потекла из трубки в чашку. Ребятишки подставляли ладошки, срывали струйку пальцем. Бабушка наклонялась и выпрямлялась, вращая ручку, выражение её лица постоянно менялось, морщины то и дело сбегались, тонкие потрескавшиеся губы ушли внутрь, и подбородок от этого казался ещё острее, костистее. На запястье руки позванивал серебряный браслет, он сидел теперь совсем свободно и в такт движению вращался вокруг руки. Кисть была сухая и тёмная, как ветка саксаула... Сколько ещё работать этим высохшим руками?

Долго ли звенеть браслетам? Словно отсчитывая мгновенья жизни, вращается рукоять, и кладутся поклоны, и текут в разные стороны струйки сливок и обрата. Молоко. Вечный запах молока.

Бабушка смотрела на Аяна. Взгляд несколько удивлённый: она заметила перемену в его лице. Потом показала подбородком на сливки, Аян покачал головой, отказался. Бабушка взглянула на него ещё раз и понесла бело-красному теленку ведро обрата. Ребяшки завозились у сепаратора с новой силой...

...Он был, кажется, ростом с Баскара, а может быть, ещё меньше, и так же стоял когда-то у сепаратора. Жался к бабушке, озираясь вокруг. Молока было много, десятки вёдер, женщины целыми днями устало таскали их во двор, а потом со двора. Иногда его ругали: «Когда он напьётся? Вечно путается тут!..» Он даже не вкусил материнского молока. Может, Кошкар, тот был старше... Оба знали только две пожелтевшие фотографии на стенке. На них показывали пальцем и объясняли: «Это ваш отец, а это мать...» Но смысл этих слов он осознал уже потом... А тогда ещё не понимал, что такое отец и мать, он просто не знал их, и представлялось, что они уехали куда-то далеко и не вернулись. Кошкар и он надевали одежду, и бабушка говорила, что это одежда отца и мамы... Что же ещё? Что ещё было? Молчаливый, печальный дедушка, бабушка, ласковый её взгляд, пальцы, украшенные кольцами, звенящие браслеты, ручка сепаратора, струйки сливок и обрата... Запах молока...

Бабушка тогда работала на колхозной маслобойне. В те дни с утра после первой дойки здесь собирался весь Шолактан. Целый день клочкотала маслобойня: крики детей, перебранка, неумолчное жужжание сепаратора... Голова шла кругом. Расходились поздним вечером: в руках женщин по ведру, на доньшке два-три литра обрата; хныкающие, усталые дети цепляются за грязные подошвы. Последними уходили с маслобойни Аян с бабушкой...

Иногда к вечеру Аян засыпал, не обращая внимания на шум, крики, на мух, тотчас облепивших лицо, глаза, губы. Уставал очень. Но просыпался он мгновенно, только дотрагивалась до плеча знакомая рука. Вскakiвал, смотрел на сепаратор: разобран или нет? Он старался сам разобрать маслобойку; бабушка сливала в ведро, на обрат, остатки сливок, и он становился хозяином машины. Снимал с тонких тарелок пальцем сливки, собирал в чашку,

выпивал. Потом тщательно облизывал пальцы и, аккуратно промыв, расставлял детали и части сепаратора на просушку.

Он любил работу и огорчался, когда бабушка будила его перед самым уходом, промыв всё сама. Но самое страшное случилось тогда, когда приходила заведующая маслобойней Алиман — жена председателя колхоза. Она часто ругала доярок, придирчиво осматривала обрат, уносимый женщинами домой: не слишком ли много уносят, не добавили ли сливок? Она не любила Аяна. И он знал это и старался не попадаться ей на глаза.

— Что ты приводишь мальчишку сюда?

— Алиман, где я оставлю его? Где, скажи?.. Старик и Кошкар на уборке свеклы. Дома никого нет, — оправдывалась бабушка.

От голоса Алиман он тоже просыпался мгновенно.

Дедушка и Кошкар работали по другую сторону аула, домой они возвращались раньше. Серый осёл дедушки протяжным громким криком сообщал об этом: он кричал всегда в одно и то же время; бабушка и Аян переглядывались между собой, услышав его рёв, а если находились в это время в пути, то прибавляли шаг. Ранним утром — чуть свет — серый осёл будил весь аул. Никто теперь не сердился на него, как бывало раньше; шла война, в ауле мужчин почти не осталось, а женщины и старики вставали рано.

Только однажды, возвращаясь домой, Аян и бабушка не услышали знакомый крик. Бабушка что-то бормотала на ходу, и Аян еле попевал за ней.

Перед раскрытыми настежь воротами, всё ещё запряжённый в арбу, стоял серый осёл. Обычно в это время он находился во дворе, у стойла, полного свежего, сочного клевера. Со двора доносился раздражённый хриплый голос бригадира Озенбая.

— Почему ты не хочешь понять меня? На свёклу пошлём женщин, а ты пойдёшь на сбор солодки. Сын будет копнить. Понял?

— А почему ты не хочешь понять меня? — отвечал ему дедушка усталым глухим голосом. — На что я годен, кроме как подбирать свёклу? Как будто не знаешь, что я болен. Где мне держать вилы?..

— Ты брось мне это! Слышишь? Я вас живо заставлю шевелиться!.. — Он оглянулся по сторонам, увидел вошедших бабушку и Аяна, сорвался с места. — В трудармию захотел?! — бросил

он, выбегая из ворот. Поравнялся с ослом, ударил его камчой по голове.

Старик остался сидеть у очага. Согнулся, опёрся о колени, вцепился кривыми, посечёнными пальцами в бороду. Глазами неподвижно уставился в огонь. Казалось, он вот-вот заплачет, ударит кулаком о землю. Слёзы навернулись на глаза Аяна, защемило в горле. Бабушка неслышно двигалась по двору, готовила ужин. Становилось темно. Дедушка сидел всё ещё неподвижно, и по морщинистому его лицу ходили блики огня. Он очнулся, когда с шипением на уголья пролился обрат, поставленный бабушкой в котелке.

— Эй, снимите молоко, — поднял он голову. — Всё ведь прольется! Всё!..

Потом погладил волосы Кошकारа, прикорнувшего рядом. И снова задумался.

Никто из них — ни дедушка, ни бабушка — не делили между собой детей. Но Кошкар всегда находился с дедом, а Аян с бабушкой. И имя шестилетнему Кошкару дал когда-то сам дедушка. Аяну потому, наверное, и не удавалось ездить верхом на сером осле, и на свёклу он не ходил. Он, Аян, был бабушкин. Так он и назывался, когда его спрашивали чужие. «Я — бабушкин». Аян смотрел на дедушку, чувствуя какую-то беду и не зная, как помочь.

— Не огорчайся, старик. Не трать на этого Озенбая здоровья. Поешь. — Бабушка поставила перед дедом шару с едой. В шаре — деревянной чаше — кукуруза с обратом.

— А?

— Я говорю, забудь об Озенбае.

— Э! — дёрнулся дедушка. Потом ткнул концом палки в очаг. — Всё сгорело.

— О чём ты? — Бабушка посмотрела на уголья. Посмотрел и Аян.

— Сгорело, говорю! — Дед всё ещё тыкал палкой в очаг. — Всё сгорело!

Догадавшись только теперь, бабушка быстро разгрела щипцами красные уголья, нашла и выкатила три-четыре свёклы. Аян обрадованно отставил чашку. Свёкла! Разве сравнить кукурузу со сладкой как сахар свёклой? И сейчас бабушка и дедушка, как

всегда, отдадут всю свёклу им — Кошкару и ему. Но дедушка отодвинул в сторону шару, стоявшую перед ним, и стал читать Коран. Аян, торопливо счищавший со свёклы обгорелую корку, только поднёс было её ко рту, как заметил сердитый взгляд дедушки. Он положил свёклу на колени и поднял, раскинув перед лицом, ладони.

— Не четверг сегодня, не святая пятница, что ты придумал, — проворчала бабушка.

Дедушка, не обращая внимания на её замечание, неторопливо, глухим голосом бормотал слова молитвы. Аяну были непонятны эти слова, как непонятна и «чёрная бумага», и многое другое в жизни. Он вспомнил, что забыл сообщить новость.

— О Жакие старика Мусрепа пришла чёрная бумага, — объявил он.

— Хоть бы знать, живы или нет, — пробормотала бабушка, и глаза её наполнились слезами. — Видно, даже весточку, даже чёрную бумагу бог считает для нас многим. Где они, что с ними?..

— С кем? — спросил Аян.

— Твой бог, наверное, давно свихнулся, — ответил дед бабушке.

— Замолчи! Не богохульствуй! Ты же только что читал Коран!

— Е-е, я просто так читал. Ни Коран, ни бог не оживляли ещё людей. Не видел я такой милости.

— Ты сошёл с ума!

— Ладно, хватит! Заболталась. — Дедушка сердито повернулся к ней.

Бабушка отвернулась. Посидела немного молча, потом взяла свою чашку, медленно начала есть. Дедушка некоторое время смотрел ей в спину, потом начал потихоньку гладить голову Кошкара. Молчали долго. Аян знал, что дедушка теперь не станет кушать. Он знал, что это очень плохо, когда дедушка не кушает, потому что он может заболеть. Так всегда говорила бабушка. За дувалом закричал серый осёл, и дедушка, словно ждал этого, торопливо встал. Снял с себя купи, свернул одну половину и подложил под голову Кошкара, другой половиной укрыл его.

— Что же ты не привёз клевера? — спросила его бабушка. — Заберётся куда-нибудь, где будешь его утром искать?

— Вёз. Встретил председатель, велел выгрузить.

— Завтра пойдёшь на сбор солодки?

— Если бы это было делом Озенбая, — ответил дедушка. — Война... И старухи работают, и дети... Из-за одной вши шубу не жгут, сама знаешь. Из-за какого-то подлеца позориться не стану... Пойду утром с Кошкарком.

Дедушка не возвращался долго. Становилось холодно. Аян всё ближе и ближе подбирался к очагу, но тепла от затухающих углей было мало. Бабушка постелила деду во дворе под двумя карагачами, перенесла туда на руках Кошкара. Потом за руку повела в дом Аяна.

Аян долго не мог заснуть. Настойчиво звенел в углу сверчок, умолкая ненадолго, словно для того, чтобы набраться сил; с тихим шорохом влетел в щели окна ночной ветер. Тихо скользило по стене пятно от далёкой луны. Иногда со двора доносился надрывный кашель дедушки. Аян подумал, что у дедушки, наверное, снова ноет поясница. Потом он вспомнил, что дедушка не ужинал, а завтра у него тяжёлая работа. А Кошкар будет копнить. Будет сидеть на сером осле и подтаскивать вороха сена, пока не наберётся копна. Или пока верёвка не соскользнёт с вороха. Тогда Кошкару придётся слезать и снова накидывать верёвку. Но дело не в этом. Главное, Кошкар целый день будет кататься на осле! Целый день!.. «Вот счастье какое, — подумал он с завистью. — Если б хоть на один день дали мне осла. Я бы устроил скачки. Только скачки! Посмотрел бы тогда, где останется на своём осле курносый Совхозбек. Вот только серолобый Аскарбека опасен. Резвый уж больно. Но дед Аскарбека ведь забирает осла на уборку свеклы!.. Да-а-а!..»

Бабушка зашевелилась во сне, зачмокала губами. Пробормотала вдруг: «...обрат это, не видишь, что ли, какие сливки?» И Аян представил Алимана. Представил, как она ругается и как бабушка показывает ей ведро, и как молча вокруг стоят усталые женщины.

Он лежал и думал ещё, что пора бы уснуть, иначе он не выдержит завтра целый день. Но сон словно улетел куда-то. Вдруг донеслась птичья трель. Во дворе пел соловей. Аян заслушался. Соловей пел красиво, по-разному: то звонко и долго, то переходя на мягкий говор, как будто успокаивая кого-то. Внезапно он замолчал, словно испугавшись. Аян стал ждать, когда соловей запоёт снова. «Чего он испугался? — подумал он. — Или упорхнул куда?»



А может быть, он перелетел во двор к Озенбаю?..» В комнате было тихо. Будто он лежал в пустом доме. Он не заметил, когда исчезла луна.

Кто-то резко толкнул калитку. Во двор зашел Озенбай. Это было неожиданно, Аян и бабушка переглянулись.

— Бабушкин сын приехал? — начал Озенбай ещё у калитки. — Здоров, цел? Вижу, вижу, вытянулся, вырос... Знаю, работаешь на большом посту... Правильно, правильно... Молодец!.. Ну, что, старуха, — обратился он на ходу к бабушке, — сын приехал. Рада ты, конечно, а?.. Правильно...

Ожиревший, с одутловатым, заплывшим лицом, Озенбай был неузнаваем. На толстые плечи накинута халат из чёрного сатина, пояс перехвачен серым широким кушаком. Тяжело передвигая ноги, он подошёл, наконец, к Аяну и, кряхтя, взгромоздился на нары.

— Э-эх, э-эх... правильно, — повторил он. — Всё верно... — Озенбай тяжело и шумно дышал. Грудь его ходила ходуном. — Уф-ф!.. И наш... наш непутёвый тоже... позавчера приехал... Он ведь в Чимкенте... в пединституте... завернул домой... У-уф!.. И не расскажешь ничего толком...

Озенбай сдвинул на затылок тюбетейку, вытер концом кушака мокрый лоб. Немного ослабил пояс. Пока Аян прикуривал, ёрзая по нарам, вплотную придвинулся к нему.

— Вот-вот. Потому и тощие, что курите. Курят словно едят.

— Сам разве не курил? — подала голос бабушка, убирая посуду.

— Мы тоже курили... Э-э-э... Курили, да бросили. А теперешние считают, что прежде всего надо уметь курить... — Озенбай рассмеялся, заколыхался всем телом. — Смеёмся... Да-а... Вот такие дела, Аян... Доживаем жизнь... В этом году должна была быть пенсия, в райсобесе сказали, что не хватает ещё шести месяцев. Как будто отрезали мне пуповину... Шестьдесят мне, понимаешь, уже шестьдесят!..

— А как по документам?

— Кошкар как будто всё собрал. Может, чего не хватает в документах, не знаю. Ты в газете работаешь, э-э-э... Посмотрел бы, проверил. Моему длинноногому и дела нет до этого... А у меня сердце... два шага не ступишь... Доктора нашли какой-то ожирай...

— Ожирение, наверное.

— Э-э-э... чёрт его знает. Спасибо Кошкару помогает, не забывает стариков. То сторожем тока устроит, то сторожем склада... Всё лёгкая работа... Недавно уговорил перейти в бригаду. Урожай хороший, платят на свёкле неплохо, почему бы не подзаработать к пенсии?.. Утром встретил его, узнал, что ты приехал, а то ведь здесь некому и барана прирезать. Кошкар попросил зайти. Эй, старуха, — обратился он к бабушке, спохватившись, — овец ещё не выводила? Кошкар сказал, чтобы рыжего валуха оставила...

В это время у ворот остановился синий «Москвич». Вместе с Кошкаром во двор зашёл длинный смуглолицый парень. По чёрной шевелюре и вздёрнутому носу Аян узнал в нём Шамиля.

— Э-э-э, вот и мой длинноногий, — воскликнул Озен-бай, увидев сына...

* * *

— Аян, может, пойдём погуляем? — предложил Шамиль. Ему, видно, надоели бесконечные «мой длинноногий», «наш непутевый». Озенбай свежевал валуха.

Бабушка ему помогала.

— Пойдём.

На улице они пошли вдоль огорода.

— Давай присядем здесь, — обратился Шамиль к Аяну через десять шагов. — Жаворонок над головой, арык звенящий — вот он.

Аян согласился.

Роса уже высохла, и травы выпрямились. Запах полыни был резкий, освежающий.

— Как хорошо здесь! В городе тоскую по аулу. Приезжаю словно в другой мир — чистый, широкий...

Аян молча кивнул.

Солнце слепило глаза. В безоблачном небе плавали два ястреба. Ниже тянулись недвижные разноцветные столбики дыма: голубые, бурые, серые, желтоватые... По ним можно было угадать, что где-то только разжигали очаг, где-то во дворе он горел вовсю, а в чьём-то доме огонь потух, наверное, сидят уже за дастарханом¹ и завтракают. Как будто и запах еды примешивался к воздуху,

¹ Дастархан — скатерть; сервированный стол с угощением.



словно каждый столбик дыма излучал свой аромат: запах жареного лука, запах масла, запах молока... Аян обернулся в сторону дома.

— Не торопись, — сказал Шамиль. — Бабушка, должно быть, всё ещё опаливает голову рыжего. Ах, как хорошо в ауле!

Вдалеке, за пустыми жёлтыми полями зарокотали тракторы. После уборки кукурузы поля казались ровными, широкими, тянулись до горизонта. В ауле, заглушая шум моторов, подал голос осёл. Разноголосо запели петухи.

Шамиль вынул из правого кармана пиджака бутылку вина «Казахстан», из левого — рюмки.

— Как на это смотришь? — спросил он. — Конечно, не «Хванчара», но ничего.

Аян взял рюмку. Вино было хорошее. Он долго держал влагу во рту и смотрел, как на воду, медленно кружа, падают жёлтые листья.

— Аян, я хочу прочесть тебе пару стихотворений. Скажи своё мнение как критик.

— Читай.

Шамиль вынул из нагрудного кармана пиджака блокнот и начал читать:

*С кем пошло я привет
В мой далёкий аул?
Чтобы полный конверт
Мне прислали в ответ.
Помню отчий я дом,
Жду поддержки от вас...
Не забудьте!
О том Вам сыновний поклон...*

— Всё?

— Нет, есть ещё.

— А как ты смотришь на эту вещь?..

*В платье милое ты одета
И молчишь...
Что ж, уйду без обид:*

*На любовь мою нет ответа.
Мне пора... Что ж душа-то болит?*

— Неплохо. Давно пишешь стихи?

— Не пишу, — ответил Аян.

Он не собирался отвечать Шамилю стихом, просто прочёл то, что пришло в голову. Тем скорее должен был понять Шамиль, что всё это очень глупо. Аян вспомнил многих пишущих парней из столицы, не очень-то отличающихся от Шамиля. «Уроды, — подумал он, чувствуя, как наплывает обида... — Склоняют имена классиков, спорят о них: тот такой, тот сякой... тот ничего, тот плох... Ах, уроды! Литераторы, тоже мне! Знать Пушкина и Есенина, Маяковского, Пастернака, знать Абая и Махамбета, и вдруг! «Чтобы полный конверт...» Чего это я разошёлся?» Но успокоиться уже не мог. Какие-то душевные споры всплывали в памяти, ожесточённые споры в клубах папиросного дыма, споры то у одного писателя, то у другого, каждый из которых считал себя сложившимся классиком, гением, а в сущности был никем. Он никогда не хвалил их, всегда видел в их произведениях несовершенство, и это заслоняло всё остальное. Он говорил всегда об этом резко, в глаза. И не удивился, когда на страницах журналов и газет появились статьи о нём; они обрушивались на него с грохотом горных камней. «Аян стал знаменит не критикой своей, а тем, как его критикуют», — говорили о нём. «Ах, чёрт! С чего это я разошёлся? — подумал он снова. — Что это со мной?..» Состояние, подобное тому, которое охватывало его после тех изнурительных споров, было невыносимо. Тогда он уходил, запирался в своей маленькой комнатке. Стол, заваленный книгами, исписанными листками, железная кровать, обшарпанный пол, тоже засыпанный книгами, бумагами... И чтобы успокоиться, он вспоминал родной аул, бабушку, детство... Он вспоминал, перебирая в памяти далёкие дни, каждое происшествие, каждую обиду и радость; вот бросит всё — и незаконченную книгу, и диссертацию, споры, и город этот шумный — и уедет домой, в Шолактам. С этой мыслью он ложился, а воспалённый мозг работал и работал всю ночь. И внезапно как спасение ударил в нос запах молока...

— Ты можешь идти сам? Вечно цепляешься за подол... Аян очнулся от голоса бабушки, раздавшегося за кустами.

— А как оценишь это стихотворение? — спросил его Шамиль.

*В Шолактаме озеро святое,
И месяц над ним ясен, светел.
Моё сердце налилось здесь болью:
У озера красавицу встретил...*

— Уф-ф!.. Вот вы где, мои хорошие! Только зачем на землю сели? Простудитесь...

Бабушка появилась перед ними со связкой хвороста. Из-под кимешека выбилась прядка белее самого кимешека. Рядом стоял маленький Машкар.

— Бабушка, конфету хочу, — напоминал он своё.

— Ой, отстань ты от меня наконец!.. Горе моё!..

— Ах, бабушка, как будто дома не хватает топлива, — пробормотал Шамиль, укрывая полою пиджака наполовину опорожнённую бутылку и рюмки.

— Топлива хватает, сынок, — ответила бабушка. — Да вот хочу Аяну заготовить копчёное мясо. Чтобы товарищей угостил по приезде, да и самому ему нужно будет... А коптить лучше хворостом. Ну, пойду, вы, наверное, проголодались. Приготовлю сейчас поесть.

Аян подбежал и взялся было за связку, но бабушка не отпустила верёвку.

— Нет-нет, — запротестовала она, — костюм испачкаешь. Столько несла, осталось три шага — донесу...

— Дайте мне, бабушка.

— Нет, жеребёночек мой. Не надо. Мне не тяжело, донесу.

Она так и не позволила Аяну помочь ей, взвалила связку за спину и зашагала домой.

— Ах, как хорошо в ауле!.. — проговорил Шамиль, наливая в рюмки вина. — Давай выпьем за его благополучие.

Аян не ответил. Он смотрел вслед бабушке, которая, волоча ноги, медленно шла домой, придерживая одной рукой хворост, другой маленького Машкара. Время от времени она рывком перекидывала связку по спине, и каждый раз при этом Аян вздрагивал, словно у него ломило под ребром. Лицо его горело то ли от выпитого вина, то ли от стыда перед Шамилем, который видел, как он неловко пытался помочь бабушке.



— Ах, как хорошо в ауле!.. — повторил Шамиль.

Он начинал действовать ему на нервы, и Аян крепко сцепил пальцы. Старушка уже вошла во двор, долетел шум брошенной на землю связки. Аяну показалось, что он услышал и тяжёлый вздох бабушки.

— Интересная пора — детство, — снова заговорил Шамиль. — Ты помнишь, мы частенько дрались? Ты побеждал, везло чаще тебе. Чего это ты молчишь? Может, из-за моих стихов? Брось!.. Я не поэт, читал просто так. Знаешь ведь, как я люблю, когда ты злишься... Хотел разозлить.

Вино уже кончилось. Аян взял пустую бутылку, намереваясь закинуть её в сторону, но Шамиль поймал его руку.

— Не кидай! Какой-нибудь сорванец купит себе сто граммов конфет.

— Брось. Мы, что, тоже жили на копейки с пустых бутылок? Не стыдно так говорить?..

— Не болтай. Тогда и пустых бутылок не было. Некому было оставлять бутылки.

Шамиль вырвал из рук Аяна бутылку и прислонил её к стволу дерева. Потом они долго молчали. Каждый думал о своём, но отлично знал мысли другого. Такое приходило к ним редко после того, как кончилось детство. Редко встречались они теперь.

— Как с диссертацией? Не кончил? — нарушил тишину Шамиль.

— Дела мешают, да и настроения нет.

— Статьи твои читал. Все читал. Мне понравилось. Рано или поздно эти вопросы были бы подняты. Но и ты, Аян, витаешь в облаках. Тебе надо многое переосмыслить. Может, следует начать с произведений, подобных моим «стихам». Бей Шамилей! Они наводнили литературу разной дрянью, издаются, выискивая любые пути. Но в последнее время ты, наоборот, замолчал, притих. Это нехорошо.

— Давай! Бей, бей теперь ты!.. — Аяну захотелось поговорить с Шамилем, они бы многое сейчас поведали друг другу. Но когда говорил один, другой всегда молчал. И он слушал теперь Шамиля и повторял про себя: «Давай, Шамиль! Это здорово! Бей за то, что я не понял, не захотел понять тебя!»

— Я не хочу с тобой ссориться. Говорю, что думаю.

— Ты молодец. — Аян, улыбаясь, хлопнул по спине Шамиля. — Не таких уж плохих ребят выдаёт наш Шолакам.

* * *

Накрапывал мелкий дождь. Ветерок разбросал жёлтые листья по двору, они лежали огромными мохнатыми кучами, и капли громко стучали по ним. От ворот до дома чернели следы огромных кирзовых сапог Кошкара.

— Ах, как хорошо в ауле! — вновь восклицал Шамиль.

— Бабушка, уберите отсюда этих щенков! — закричал Кошкар, открывая капот синего «Москвича».

Бабушка, не выходя из дому, заступилась за детей:

— Что, съедят твою машину? Вечно кричишь на них... Что они тебе сделали? Пусть играют...

Дети внимательно выслушали бабушку и снова облепили машину. Открыли дверцы, с криком полезли внутрь.

Кошкар, навалившись животом на радиатор, молча начал подсос.

За время работы управляющим отделением совхоза он пополнил, стал грузнее.

— Наш старик тоже накопил на машину. Давай, говорит, купим «Москвич», — сказал Шамиль, ударяя ногой по баллону.

— Послушайте моего совета, — подал голос Кошкар из-под капота, — лучше ездить на осле. Поверьте мне. Этот год ещё поезжу, а потом отдам Аяну. Намучился.

Аян не вмешивался в разговор. Мысли его были о предстоящей дороге. До шоссе его собирались проводить Кошкар и Шамиль, а там много проходящих автобусов. В одном из них он уедет. А здесь...

Осенний дождь словно ждал этого дня, тихо и ровно сеял. Аян посмотрел в открытую дверь: бабушки не было видно. Он знал, что она сейчас тоже думает о нём, о том, что он уезжает, и бог знает, когда снова приедет домой.

Днём он наконец решился и спросил:

— Бабушка, поедемте со мной в Алма-Ату? Поедемте!..

— Ой, жеребёнок мой, как я брошу их, — показала она на малышей. — Без меня и дня не проживут. Может, я и поехала бы... — и бабушка взглянула на Кошкара и сноху, собиравшуюся в школу.

Алуа тотчас забеспокоилась и, скрывая недовольство, заметила шуточно:



— Бабушка и нам нужна. Езжай сам. Так тебе удобнее. Вдруг встретишь в пути девушку. А старуха помешает...

Дождь все усиливался, осенний мелкий дождь. Слово́но белый туман повис над землёй. Жёлтая степь, начинающаяся от ворот, редкие на пашне трактора — всё понемногу исчезало за водяной пылью. За огородами прокричал осёл. Послышался гул самолёта, пролетающего над аулом. И снова дождь...

— Ну, поехали, — скомандовал Кошкар. Аян вздрогнул от его голоса. — Ах черти! Марш к бабушке! Давай-давай, промокнете!

Мокрая дорожка змейкой уходила вперёд. Аул уменьшался, дома сливались друг с другом, удалялись. Аян, обернувшись, смотрел на бабушку: кто-то из малышей у неё на спине, кто-то на руках, остальные рядом, словно прилипли к ней.

— Аул, аул родной! — Это Шамиль.

Машина запрыгала на ухабах, и Аян потерял из вида бабушку.

— Чёрт, дорога тяжёлая, — заворчал Кошкар, выкручивая баранку. — Дорога плохая...

Плохая... Разве есть в жизни лёгкая, удобная дорога? Лишь бы человеком был, настоящим человеком, идущим по земле. Только о потерях дозволено говорить, ибо это твоё развитие. И только то, что вошло в тебя с первых дней твоей жизни, то дорогое, что с тобой, пока ты идёшь и дышишь, — поможет тебе. Детство, бабушка, запах молока... Вечный запах молока...

ОРАЗБЕК САРСЕНБАЙ

ЗА ПУСТЫННЫМ ГОРИЗОНТОМ

На знаменитой во всей округе Каратау летовке «Майши» проходил областной слёт чабанов. Вдоль берега излучистой степной речки, заросшей по краям зелёным кураком, выстроилось восемьдесят юрт. Гремело тысячеустое торжество. Вслед за прославленным трудовым людом съехались сюда со всей области акыны и сказители, певцы и кюйши¹, весельчаки-затейники и острословы, и каждый норовил ошеломить взбудораженную толпу своим искусством. Не щадили струн домбры, не жалели глоток, и казалось, не выдержит голубое, чистое как шёлк небо жаркой поры шильде, расколется и обрушится на безбрежную южную степь. И каждый раз толпа возбуждённо гудела, колыхалась, когда в круг, сменяя друг друга, выходили вдохновенные певцы-акыны с разукрашенными домбрами. Особенно в ударе был сказитель Абилькас из Чиили. Ещё молодой, рыжеватый, полнолицый джигит смахивал со лба обильный пот, быстро-быстро, речитативом проговаривал слова и вдруг срывался на мощный, ликующий крик, от которого толпа, горячо поддерживавшая любимца, приходила в неистовство.

В шумной толпе находился и Мысыр, фельдшер. Уже лет пятнадцать он мотается по степи, обслуживает чабанов на далёких отгонных пастбищах. В бескрайней долине между Телькулем и Сарысу не найдёшь скотовода, который не знал бы Мысыра. Он давно уже сдружился и породнился с исконными степняками, закалёнными на ветру, на стуже и нещадном солнце. Он всем сердцем привязался к могучему чабанскому племени, представления не имеющему об уюте и покое. Он чувствовал себя причастным к их радостям и горестям и всюду держался вместе с ними отнюдь не для того, чтобы начальство обратило на него свой благосклон-

¹ Кюйши — исполнитель кюев, казахских музыкальных произведений.

ный взор. Когда горластый сказитель Абилькас из рода Кипчак воспевал, не жалея красок и восторженных слов, земной рай — зелёные просторы пастбищ и верных сынов степей — чабанов, зимой и летом не слезающих с седла, Мысыр радовался и хлопал в ладоши громче всех.

Он был весь во власти сказителя, когда подошёл к нему шофёр Дильдабай.

— Ага, вас Ачке зовёт...

Мысыр поморщился. Шофёр раздражал его. Не джигит — тюфяк, зануда. Вернулся в прошлом году из армии, слонялся по аулу, пока не попался на глаза Аяпбергону. Тот мигом взял его к себе шофёром — редакторская машина без толку пылилась в гараже. У Аяпбергена почему-то шофёры не задерживались. А этот слюняй, к тому же мелочный, жадный — без рубля и шагу не ступит — приглянулся Аякену. Как же, не пьёт, лишнее не болтает, за девками не бегаёт, брани, бей его — не икнёт, — где ещё такого найдёшь. Для редактора районной газеты, у которого своих забот хватает, это не шофёр, а сущий клад.

Сказитель как раз завёл искромётную песню Нартая, прославленного акына присырдарьинских степей, отчаянно похлестал струны домбры. Уйдёшь разве... Когда Абилькас под одобрительный гул, наконец, умолк, Мысыр неохотно направился к большой белой юрте, отведённой для особо почётных гостей.

Человек пять сидели кругом и, побрякивая, посапывая, увлечённо ели из огромной крашеной чаши.

— А, проходи... Вовремя пришёл.

Гости заёрзали, подвинулись, выказывая радушие.

Мысыр присел с краю. Куырдак¹ был отменный: нежное мяско ярочки, с печёнкой, с сердцем, с курдючным салом, и всё это круто посолено, поперчено — язык проглотишь. На дастархане вокруг чаши густо стояли белоголовки. Они соблазняли, невольно притягивали взор, но Мысыр только мельком покосился на них. Когда-то он был на короткой ноге с Акмаганбетом Ерофеичем. Но в последние годы неожиданная хворь — гипертония — разлучила их.

Наевшись куырдака, он вытер губы, отодвинулся. В углу бугрился чёрный бурдюк. Он развязал ремешок, налил из него в боль-

¹ Куырдак — традиционные казахские блюда из мяса.

шую чашу пенистого кумыса, залпом выпил. Мгновенно выступила холодная испарина.

Остальные доели куырдак, поскребли донышко и теперь дружно потянулись к белоголовкам.

Все издавна и хорошо знали друг друга. На почётном месте, в середине, восседал чернявый, дородный Кунтуар, начальник районного объединения «Сельхозтехника». С Аяпбергенем они давнишние приятели. Всю войну, говорят, прошли бок о бок, вместе пережили все радости и горести. Не отставая от Кунтуара, хлестал водку плотный, почти квадратный старик с длинной сивой бородой. Это Карамерген, знаменитый охотник Чиилинского районного «Охотсоюза». Почти всю жизнь провёл он в степи, в горах и ущельях. Сам господь бог не знает, сколько он на своём веку истребил волков и корсаков. И сколько сдал шкурок. Поговаривают, что старик деньги едва ли не лопатой гребёт. Ну, а этот, неутомимый говорун, которому, однако, никто не перечит, — сам Аяпберген. Он приходится Мысыру дядей по матери, так сказать, нагаши¹. Долгие годы он работал где-то по части торговли, а лет пять назад окончил Алма-Атинскую Высшую партийную школу и с тех пор бесценно редактирует районную газету «Вперёд». Изредка в своей же газете Аякен публикует язвительные фельетоны. Мишенью для его насмешек и издёвок служат обычно малограмотные муллы, баксы-лекари², доживающие свой век в далёких аулах. Писания учёного братца не восхищают престарелую мать Мысыра. «И что ему сделали эти почтенные люди?! — недоумевает каждый раз она. — Их и так осталось, что волосинки на голове плешивого. Или еда ему не еда, если он не поглумится над стариками?!»

Нижняя кошма юрты была приподнята, а с речки струилась приятная прохлада. За юртой взад-вперёд носились люди, мчались мальчишки на призовых скакунах. После обеда должна состояться байга, и опытные лошатники заранее разогревали коней, готовились к предстоящим скачкам. Молодёжь столпилась вокруг охрипшего магнитофона, извергавшего неистовую какофонию. Автолавки гостеприимно распахнули двери, продавцы раз-

¹ Нагаши — родственники со стороны матери.

² Баксы — шаман.

ложили товары, зычно зазывали покупателей. Неподаляку стояла небольшая юрта с красным флагом. Перед ней, на зелёной лужайке, с безразличным видом сидели старики и старухи. Тощий, длинноволосый джигит, размахивая газетой, читал лекцию. Скорее всего, о международном положении. Аульные старики не прочь послушать о том, как израильские агрессоры измываются над потомками пророка. О том и Мысыр читал чабанам не одну лекцию.

А этим, в юрте, ни до чего не было дела. Куырдак и арак разморил их, и теперь они, рыгая и поглаживая животы, громко, вразнобой говорили о том, о сём. И только двое не принимали участия в бестолковой беседе: шофёр Дильдабай, с унылым видом сидевший у порога, и фельдшер Мысыр, чутко прислушивавшийся к шуму за юртой.

Белоголовки одна за другой исчезали с дастархана, и друзья-приятели горланили всё громче. Мысыру это надоело, он потянулся было к выходу, но нагаши Аяпберген сделал рукой неопределённый жест и прокричал визгливым женским голосом:

— Стой, племянник! Не уходи. Поедем, козочек постреляем.

Мысыр не сразу понял.

— Какие ещё козочки?!

— Обыкновенные. Дикие, горные. — Аяпберген залиvisto рассмеялся, хлопнул Кунтуара по бедру. — Верно я говорю, а?..

— Так точно! — Кунтуар поднялся вперёд всем тучным телом, юлой закрутил опустевший стакан. — Давай, наливай!

Маленькой пухлой ладошкой Аяпберген прикрыл горлышко бутылки.

— Эй-эй-э!.. Хватит. Сейчас поедем.

— Ну, и что? Жалко тебе?! Наливай, говорю!

— И не подумаяю.

— Чего кочевряжишься? Душа просит.

— Пей, но тогда с нами не поедешь.

— Это ещё почему?!

— С пьяным какая охота?

— А... Ну, ладно, не буду.

Судя по разговору, об охоте они договорились заранее. Неспроста прихватили с собой старого охотника. Ведь ружьё-то его. Но что за охота с одним ружьём? Должно быть, поразвезаться ре-



пили, позабавиться к началу скачек. Но дядя развеял все его сомнения: к обеду, к скачкам, они обязательно вернуться, а полакомиться свежим мясом дикой козы и он, наверное, не против... Мысыр только повёл плечом и заметил:

— Что ж... Только уж больно печёт сегодня, надо питьё прихватить.

В спешке никто его не послушал. К чему, думали, ещё лишний груз: через час-другой снова примчатся сюда.

Дильдабай молча потоптался вокруг машины, налил в радиатор воды, попинал на всякий случай баллоны.

Аяпберген по привычке сел рядом с шофёром, остальные разместились на задних скамейках. В юрте было прохладно и уютно, а в «виллисе», крытом брезентом, воздух накалился как в бане. Стоял нещадный июльский зной, и все мгновенно стали исходить потом. Грузный, рыхлый Кунтуар задышал тяжело, с хрипотцой, обмахиваясь платком.

— Ойбай, дорогой, — прохрипел он шофёру. — Гони скорей! Не то задохнёмся в твоей душегубке.

* * *

Юркий «виллис» долго шнырял по увалам и лощинам, но охотники не заметили ни одного зверька. Тогда помчались в пустынную степь, простирающуюся к северу от Чёрных гор. Прошло часа два, как они выехали из летовки «Майши», а Карамерген ни разу не вскинул ружьё. В газетах часто звучала тревога по поводу того, что в степях почти не осталось зверя и дичи. Мысыр видел теперь это собственными глазами. А ведь совсем ещё недавно, когда он был мальчишкой, сколько водилось вокруг разной живности! Бывало, фазаны стайками взлетали из-под каждого куста. Прямо под носом проскакивали степные зайцы, то здесь, то там пламенем мельтешили лисьи хвосты. А косули и антилопы, спасаясь от низовой метели, иногда табунами врываются в аулы. Перепуганное животное становилось лёгкой добычей не только опытным охотникам, но даже аульным сорванцам и собакам. А теперь у каждого ружьё, машина. Сиди себе на мягком сидении, мчишь по долинам и по взгорьям и постреливай по живым мишеням налево-направо. Порой раздаются голоса в защиту затравленного зверя, но многим не под силу противостоять соблазну популять из кабины по оша-

левшему от страха животному. Куырдаком от жирной ярочки полакомились власть, теперь захотелось отведать мясца и дикой козы...

Тоскливо было на душе Мысыра. Вокруг, куда ни посмотри, простиралась бурая голая степь. Она словно очерствела, помертвела под нещадно палящим солнцем. Жгучие лучи солнца слепили глаза. Унылая, однотонная степь, вернее, полупустыня, сливалась у горизонта с выгоревшим, таким же унылым небом.

Изредка то здесь, то там вздымается, клубясь, густое облако пыли, но тут же оседает на лиловую корявую полынь и чахлый типчак. Воздух раскалился как пламя. Ни ветерка, ни дуновения. Но норов степи известен Мысыру: тишина эта обманчива. Иногда всё вокруг замирает, ни один листок на чахлых кустах не шелохнётся. А потом вдруг обрушится смерч, поднимет облако пыли и песка, закроет солнце и беснуется неделями. Не одно русло в Голодной степи засыпало песчаной бурей. В древние времена здесь бурлили полноводные реки, на зелёных лугах побережья пасли скот. Нынче, в половодье, река Сарысу вышла из берегов, залила долины, сразу же в рост пошла трава. Благодать скотине! И травы, и воды вдоволь. Не стало привычной толкотни возле артезианских колодцев, не ссорились колхозы из-за насосов. Эх, напоить бы эту иссохшую от жажды степь!..

Худо без воды. Вот и они, едва выбрались в пустыню, как почувствовали неодолимую жажду. При одном взгляде на выгоревшую под палящим солнцем степь хотелось пить. Первым не выдержал тучный Кунтуар.

— А, провались! Поехали назад. Во рту пересохло.

Аяпберген язвительно хмыкнул:

— Надо было ещё одну бутылку вылакать... Как поедешь с тобой, так и неудача.

— Ладно, не подохнешь, если мяса киика не поешь. Эй, шофёр, поверни назад!

Шофёр, однако, и ухом не повёл. Машина мчалась по бездорожью пустынной степи. Гнев обуял Кунтуара. Почтенный человек, во всем районе его знают, а какой-то мальчишка, сопляк, его не слушает?!

— Эй! Кому я говорю?! Поворачивай, давай!

Он задохнулся, закашлялся, посинел весь. Дильдабай молчал, будто и не слышал ничего. Кунтуар достал огромный, как полотенце, платок, вытер лицо, голову, унял кашель, угрюмо уставился на спутников. Старик-охотник сидел безразличный, отрешённый, всё поглаживал бурую бороду, щурился. Мысыр наклонился к толстяку:

— Зря стараетесь. Кроме Аяпбергена, никто ему не указ.

— Как это?! — воскликнул Кунтуар. — Он же не пёс на привязи, который слушается только хозяина!

Дильдабай, должно быть, услышал: он резко свернул в сторону, прибавил газу. Машина бешено запрыгала на ухабах.

Кунтуар с силой стиснул плечо Аяпбергена, невольно повернул к себе.

— Эй, этот балда убить, что ли, нас собрался, а?! Уйми же его! Аяпберген ослабил белые зубы, хохотнул по-бабьи:

— Отвяжись от парня!

Коренастый старик-охотник вдруг встрепенулся.

— Вон киики!

Спутники вытянули шеи, повертели головами туда-сюда, но ничего не увидели.

— Какой там киик?! — буркнул Кунтуар. — Померещилось тебе, старина... Дьявольское наваждение.

— Смотрите вперёд... вон туда.

— Ни черта там нет... Наваждение дьявольское.

— Постой, постой... — Аяпберген весь подался вперёд, припал к стеклу. — Вон там вроде что-то чернеет...

В самом деле, там, где бурая степь сливалась с бесцветным небом, зыбились едва заметные чёрные точки.

— Дьявольское наваждение, говорю вам, — упрямо твердил Кунтуар.

Ему нестерпимо хотелось пить, и никакая охота его уже не привлекала.

— Нет, это косули, целый косяк, — уверенно сказал Карамерген. — Но очень далеко. Из-за миража кажется близко, на самом деле на лошади не доскакать.

— Но под нами ведь не лошадь. Машина! Может, рискнем, старик?

— Воля твоя, дорогой. Только вряд ли догоним.

— Э, как сказать! А ну, Дильдабай, жми!

Приказ начальника как бы подстегнул шофёра: машина рванулась из последних сил, взревела, словно хотела разбудить сонную степь, зайцем запрыгала на кочках. Кунтуар тяжело задышал.

— Ты, что, паршивец, совсем угробить нас хочешь?! Все внутренности отбил...

Конечно, для тучного человека такая езда — не радость.

Вихрем мчались по голой степи более часа, однако косулей и след простыл. Вскоре и мираж исчез, словно ничего и не было.

Все угрюмо молчали. «Виллис» на всём ходу вдруг вздрогнул, будто побитый зверь, мотор поперхнулся, чихнул раза два и заглох. Машина по инерции ещё сделала круг и остановилась. Первым выскочил Аяпберген.

— Что такое? Что случилось!

Шофёр откинул капот, начал копать. Кунтуар, постанывая, пытая, отстранил его, заглянул вовнутрь, что-то потрогал, пощупал. Начальник районного отделения «Сельхозтехника» кое-что понимал в машинах. Решение его было суровым.

— Хана аккумулятору. Сел намертво. Теперь в этот драндулет хоть быков запрягай, с места не сдвинешь.

Аяпберген вытаращил глаза.

— Ойбай! Как же так?! Да мы же околеем здесь. Ты уж постарайся, сделай что-нибудь...

Кунтуар презрительно глянул с высоты своего громадного роста.

— Эх... «Постарайся». А куда шофёр твой смотрел? Почему он не заменил аккумулятор до сих пор?!

— Ойбай-ау, да что же это получается?!

— А то получается, что в этой чёртовой степи все мы пятеро скovyрнёмся. От жажды подохнем. До гор пешком нам не добраться. Верно, старина?

Все вышли из машины. Старый охотник приставил ладонь ко лбу, долго вглядывался в окрестности. Двустволка висела на плече.

— Пожалуй, ты прав, дорогой. Если никого не встретим, дела наши плохи.

После этих слов Кунтуар умолк, подошёл к машине с теневой стороны, плюхнулся на песок, опёршись спиной о баллон. Соло-

менную шляпу бросил рядом, стал обтираться платком. Голову он побрил недавно, на затылке бугрились жирные складки. Просторный лавсановый камзол повис мешком.

— Болтайте теперь, сколько вам вздумается. А я буду спать.

Он опустил голову на грудь и закрыл глаза. Рядом с ним расположился Аяпберген. Он тоже упитан, ухожен, но низкоросл, рыжеват. Редкие, с заметной проседью волосы зачёсаны на правую сторону. На нём коричневая нейлоновая сорочка с короткими рукавами, широкие вылинявшие брюки, на ногах — насквозь пропылённые кирзовые сапоги.

Дильдабай попытался было пристроиться рядом со своим начальником, но Кунтуар глянул на него искоса, брезгливо буркнул:

— Брысь отсюда! Для тебя в тени места нет. Иди, с аккумулятором повозись. — И повернулся к Мысыру: — Эй, фельдшер, приядь рядом, отдохни. Ты нам сегодня ещё пригодисься.

Тень от машины — так себе, одно название. Солнце едва перевалило зенит. Дышать нечем. Раскалённый воздух обжигал лёгкие. Мучила жажда, противная горечь во рту. Мысыр, однако, чувствовал себя сносно: его спасением была большая чаша холодного кумыса, которую он выщедил перед выездом. Но спутникам было очень худо. Сказывались острый, солёный куырдак и горькая водка. Внутри у них теперь пылал огонь. Языки распухли, не вмещались во рту. Одно желание, одна мысль назойливо сверлила их мозг: пить, пить, пить. Но где вода? Где люди? Где аул? Кругом безмолвная, бездушная пустыня...

Молчали удручённо, угрюмо. Каждый думал о своём. И только старик с двустволкой за спиной по-прежнему терпеливо обзирал окрестности.

А солнце жжёт немилосердно. Вокруг ни былинки, ни кустика — голь и тишь. От песка идёт жар, словно от раскалённой добела чугунной печки. В тени не менее сорока градусов, определил Мысыр. Сколько же на солнце? На жарком солнце пустыни?.. Мысыр пригляделся. Степь была только с виду мёртвой, на самом деле она вся изрыта норками. Значит, под этими песками затаилась жизнь. Эти норки кишмя кишат зверьём. И как только зайдёт солнце, многоликая живность выползает наружу, начинается ночная, таинственная жизнь степи. Но ведь всему живущему

му на земле нужна вода. Без воды нет жизни. Где же, однако, это бесчисленное зверьё находит влагу в пустыне, похожей на высохшую до звона старую шкурку? Должно быть, глубина этих норок не одна сажень. Лежат их счастливые обладатели в прохладе, насладившись ледяной подземной водой, и горя не знают. Мысыр усмехнулся. Кому он завидует? Мышам, сусликам, кротам? Позавидуешь поневоле, если уже сил нет проглотить горький комок в горле. Жирный куырдак дает о себе знать. Если через час-другой не придёт им помощь, они здесь прожарятся, как грешники в аду. Испепелит их солнце пустыни. Помощь... Откуда ей быть? Поблизости и дороги-то нет. Птицы и те здесь редко пролетают.

Пожалуй, хуже всех чувствовал себя нагаши Аяпберген. Он расстегнул сорочку, раскидал руки-ноги, тяжело вздыхал, охал. Дильдабай делал вид, что копается в машине. Из-за него беда случилась. Заменял бы вовремя аккумулятор, не торчали бы теперь здесь.

В радиаторе есть вода. Только толку от неё нет: горячая, ржавая. Да и посуды у них никакой. Правда, у Мысыра в медицинской аптечке лежат десять флаконов разведённой глюкозы. Это уже на крайний случай, для тех, у кого помутится в голове.

Более недели он не был дома. Соскучились, должно быть, детишки. Жена привыкла к длительным поездкам фельдшера по отгонным участкам. А вот старая мать и сорванцы-погодки всегда ждут его с тоской. Сам он, Мысыр, один рос. Едва не оборвался на нём род. Теперь, слава богу, четверо сыновей у него. Все в отца пошли: большеглазые, носатые. Мысыр не имел возможности долго учиться. Еле на фельдшера вытянул. И потому мечтал выучить всех сыновей. Старший нынче пойдет в школу. Уже сейчас вызубрил всю азбуку и даже таблицу умножения наполовину одолел...

Апырмай, видно, начинает сказываться гипертония. В глазах потемнело и в голове шумит.

— Вот так и околеем ни за что, ни про что, — донёсся вдруг жалобный голосок Аяпбергена. — Горю, ойбай, весь горю... Племянник, где ты?..

Мысыр придвинулся к дяде. Аяпберген судорожно царапал себе грудь.

— Не отчаивайтесь. Потерпите немного.

— Не могу больше терпеть... Умираю. Пить...

Побелевшим языком он облизнул сухие потрескавшиеся губы.

Тень от машины стала темней. Кунтуар застыл, отрешённый, безмолвный. Старый охотник сидел в сторонке, обхватив обеими руками двустволку. Изредка он поднимал голову, оглядывался, прислушивался. Дильдабай залез под машину и лежал ничком, положив голову на руки. Видно, надежда окончательно покинула его.

Мысыр открыл аптечку, достал флакон глюкозы, ножницами ловко отбил острый кончик и влил прозрачную жидкость в рот дяди. То жадно проглотил и невнятно попросил:

— Ещё...

— Нельзя.

— Почему?

— Не вода ведь — лекарство. Потом и другим может понадобиться.

— Зачем тебе другие? О дяде своём позаботься, дурень!

Мысыр смутился. В уме ли Аяпберген? Значит, другие пусть пропадают, лишь бы он в живых остался? Так, что ли, получается?

— Нет, вам пока достаточно.

— Но я же от жажды умираю...

— Вздор... Потерпите!

Кунтуар, оказалось, не спал, всё слышал. Приоткрыл покрасневшие глаза, брезгливо буркнул:

— Да отдай ты ему всё. Пусть живёт. А то — не дай бог — рухнет опора казахов.

Мысыр молча сел на своё место. Ему стало неловко за своего нагаши. Да как он мог такое сказать? Может, у него рассудок помутился? Никогда он малодушным не казался. И горечь, и сладость жизни изведал. В трудное время, бывало, и Мысыру помогал, да не один раз. Именно благодаря ему удалось окончить медучилище. Постеснялся бы товарища своего, Кунтуара. Как завтра ему в глаза посмотрит? Или думает, что уже пришёл конец? Какое малодушие! Что за безволие?! А ведь какой говорун! Как он красуется в компаниях! Как хохочет! Любого за пояс за-

ткнёт. Мысыр впервые видел своего нагаши в таком жалком состоянии.

Шофёр под машиной тоже не подаёт признаков жизни. Уж не обморок ли с ним? К парню этому душа не лежит, однако фельдшеру нет дела до личных эмоций. Мысыр подскочил к Дильдабаю, рванул за плечо.

— Эй, вставай! Что с тобой?

Дильдабай лежал как колода. «Э, действительно, худо с парнем».

Мысыр сунул руку под грудь шофёра, перевернул его на спину. Потом склонился над ним и... Дильдабай, что называется, дрых без задних ног! Мысыр, пожалуй, впервые проникся к нему уважением. Все вокруг задышались, ловят воздух, словно жабы, а этот безмятежно храпит, позабыв обо всём на свете. Ну, не молодец ли? Такие легко выдерживают испытание пустыни.

Кунтуар сорвал с себя всю одежду.

— Горю весь... Может, так легче станет...

— Ай, вряд ли...

— Ну и пусть! Хоть и подохну, так по крайней мере тело не стесню.

— Оставьте, почтенный! Неужто какая-нибудь машина не проедет?

— Какая ещё машина?! Разве что торгаши с дынями проедут в сторону Джекказгана...

— Вон посмотрите: самолёт летит.

— Ну и что? Чихать он на нас хотел. Увидят нас и подумают: чудаки какие-то, бездельники по степи шляются.

— Можно помахать, дать ему знак.

— Так и поймут твои знаки. Глупости...

Кунтуар похлопал ладонями по тугому, необъятному брюху, всерьёз спросил:

— Как думаешь, с таким бурдюком сала я долго продержусь?

Мысыр невольно расхохотался.

— Как же тогда быть нам, отощавшим овцам?! Или вы с Аякен договорились только вдвоём выжить?

Кунтуар почесал мощный, в толстых складках затылок, слегка смутился.

— А, один чёрт... Кого мы облагодетельствуем, если даже в живых останемся?.. — Повернулся всей тушей, увидел Карамергена. Старик трухлявым пнём торчал в голой степи. Мерлушковую шапку низко надвинул на лоб. — Эй, старина, сюда иди. Что сидишь на отшибе, словно старая ворона на навозной куче?

Охотник, помешкав, подошёл. На нём были стёганные шаровары, толстая фуфайка, на ногах — изношенные громоздкие сапоги. Как он терпит в такой одежде! Ещё и подпоясался туго-натуго широким сыромятным ремнём. Губы старика посинели, глаза ввалились.

— Садись вот сюда, в тени, — по привычке властно сказал Кунтуар. — Сколько тебе лет?

— Э, милый... семьдесят пятый ныне стукнет.

— О, пожил, значит. Хорошо! И пережил, перевидел, должно быть, немало, а?

— Э, что там говорить...

— Хорошо! И эти места, горы, лощины на зубок знаешь, а?

— Конечно, дорогой. Считаю, сорок лет по степи этой мотаюсь.

— Хорошо! Тогда скажи: где мы примерно сейчас торчим?

— Э, далековато забрались, сынок, далековато.

— Не Сорочья ли эта долина?

— Какой там! Мы ушли в глубь верховья.

— Ну и что ты посоветуешь, старина? — Кунтуар схватил охотника за рукав. — В трудный час наши предки всегда обращались за помощью к мудрым старикам. Давай, говори!

Охотник снял ружьё, швырнул его к норам. Потом достал огромный кисет, высыпал на клочок бумаги махорку, свернул «козью ножку». В каждом движении была степенная медлительность.

— Выход у нас только один. — Он сощурился, сигаркой показал на северо-запад. — Отсюда на расстоянии однодневного пути есть озеро, камышом, осокой заросшее. Вода в нём пресная. На берегу озера живут скотники с верховья. Если до них доберёмся, спасем наши души...

— Тогда какого дьявола сидим?! Пошли!

— Нет, дорогой. При такой жаре далеко не уйдём. Свалимся в пути. Подождём, пока солнце зайдёт.



— Ойбай, меня... меня доставьте первым, — прохрипел еле слышно Аяпберген. — Мне совсем плохо.

Кунтуар едко хмыкнул.

— Не беспокойся. Персонально для тебя заказан вертолёт. Разве можно допустить, чтобы казахи лишились такого замечательного фельетониста?

* * *

Взошла молочно-белая луна. На небе появились редкие и лёгкие, как растеребленный пух, облака. С севера подул прохладный ветерок.

Ночью по пустыне плелись пятеро. К их счастью, светила луна и было не очень душно. Но идти по бездорожью было утомительно. Спотыкаясь о кочки, о корни пересохшей полыни, падали и вставали вновь. Жажда не проходила, язык во рту словно одревенел. Мысыр истратил почти всю свою глюкозу. Аяпбергена уже не держали ноги. Огромный и толстый, как одногорбый верблюд, Кунтуар взвалил вконец ослабшего редактора на спину. Впереди, волоча ноги, брёл старик-охотник. За ним неотступно следовал Мысыр. Шофёр Дильдабай верной тенью маячил возле своего начальника.

Время было далеко за полночь. А озера всё не видать. Распласталась бескрайняя степь и нет ей дела до чьих-то горестей и бедствий. Столько она перевидала за тьму веков, что очерствела, ко всему стала равнодушна, безразлична. Когда-то она, эта дряхлая степь, вся цвела, сияла, словно невеста на выданье, потом по ней промчались свирепые полчища, здесь кипели страсти, царствовали могущественные владыки, крушились полудикие державы. Всё терпеливо сносила степь и теперь будто окаменела. Старики говорят: «Ночью степь сбрасывает пути». Видно, имеется в виду, что ночной путь кажется всегда длинней и изнурительней.

В аптечке Мысыра остались два флакона глюкозы. Это его доля, вполне законно и справедливо. Уже не раз он намеревался проглотить спасительную жидкость, но каждый раз сдерживал себя. Ведь она может ещё больше понадобится кому-нибудь из его спутников. Они вконец измучены и обессилены жаждой.

Шли молча, понуро. Вдруг вместе с Аяббергеном за спиной грузно рухнул Кунтуар. Упал ничком, как подкошенный. Остальные спешно подбежали к нему. Мощный, выносливый верзила Кунтуар терял последние силы. Он бугрился на песке, точно кит, выброшенный штормом на берег. Еле прохрипел, просвистел:

— Оставьте нас... Идите дальше. Потом подберёте... найдёте, если сами уцелеете...

Конечно, что же ещё делать... Вполне разумно. Пришлось оставить двух старых приятелей в пустынной степи. Мысыр на прощанье влил каждому в рот по флакону глюкозы.

Пошли дальше. Ноги переставляли с трудом. Порой казалось, что топчутся на месте. Шли на север, раскрыв рот против ветра. Но и это облегчения не приносило. Тогда сбросили с себя одежду. Перед глазами плыли чёрные круги, сердце колотилось, подташнивало. Эх, обрушился бы вдруг с неба ливень! Какое бы это было наслаждение! Только, кажется, за всё лето не выпало здесь ни одной дождейки.

На востоке начал алеть горизонт. Короткая летняя ночь была на исходе. Если по прохладе им не удастся добраться до жилья, считай, конец. Никакой надежды тогда уже не останется.

Шли. Ещё шли. И ещё шли. Впереди по-прежнему Карамерген, охотник. За ним, след в след, — Мысыр. Значительно поотстав, брёл Дильдабай.

— Караке, как по вашему, скоро? — спросил, зайдя сбоку, Мысыр.

— Уже немного, дорогой. Да вся беда, что с места почти не двигаемся...

— Давайте, прибавим ходу.

— Ойбай... дяденьки-и-и — раздался сзади дурной голос.

Оба оглянулись. Дильдабай сидел на корточках, прижав руки к животу. Голова поникла.

— Что случилось?

— Ты что, бедный?

— Горит все... внутри, дяденьки... Не могу больше... Кажется, умру сейчас... умру...

— Брось, не говори глупости, милый. До озера уже рукой подать. Вставай. Крепись! Ты ведь джигит, молодой совсем... Вот я, старик дряхлый, и то иду, держусь...



Однако ноги уже не держали Дильдабая. Пришлось и его оставить. А через некоторое время выдохся вконец и старый охотник. Он стал всё чаще спотыкаться, потом упал возле чахлого куста полыни. Мысыр растерянно опустился рядом.

— Прости меня, старика, дорогой... — произнёс охотник. — Видишь, не могу... сил нет. Но ты не мешкай. Держись справа Полярной звезды и иди всё время вперёд. Вскоре выйдешь к старому зимовью. Сразу же за ним пойдут барханы. А в барханах — озеро. Вокруг камыш, куга... Там люди. Возьмёшь подводу и приедешь за нами... Ну, иди. Да поддержит тебя дух добра — Кыдыр Алейкисалам!..

Получив благословение старика, Мысыр отправился в путь один. Он потерял представление о времени, ему чудилось, будто он идёт целую вечность. А зимовья всё не было. Может, давно прошёл мимо! Взошла заря. Звёзды поблекли. Еле заметна ещё Полярная звезда. А, может, это и не она вовсе... Надо спешить. Надо собрать все силы. А то собьюсь с пути, и тогда они все погибнут. На ногах будто колодки. Велик был соблазн снять ботинки, но он приказал себе не делать этого. Не дай бог, ещё занозишь ногу. На брюхе далеко не уползёшь. Глаза словно пленкой затянулись: всё вокруг зыбится, как в тумане. В ушах шумит. Мысль отступает. Идёт, тащится, точно в бреду. Вот померещилось огромное море. Он купается, плывет по волнам, размашисто загребаёт. Вот он вышел на берег. Стоит лодка с парусами. Она полна воды. Господи, да она сейчас перевернётся, затонет...

Он напрягается, скрежещет зубами, лишь бы не потерять сознания. Очень тускло, смутно сообразил, что дошёл до древнего развалившегося зимовья. Где-то лениво, сыто брехали собаки. Или ему только кажется... Нет, кажется добрёл до жилья, до людей. Значит, ушёл-таки от смерти... Жив, жив, жив...

Он ещё нашёл в себе силы обойти зимовье, дотащился до бархана, заросшего чахлым кустарником, но подняться на него не мог. Последняя преграда, последний перевал. Руки, ноги задрожали. Мutilось сознание. Он падал. Поднимался. И вновь падал. Полз упрямо, зло, на животе, упирался ногами, откатывался назад, вниз, опять и опять лез на гребень бархана, цепляясь за колючки, за кусты, полз по-черепашьи. Песок забил ему рот, попадал в глаза. Колючие кусты в кровь изодрали руки, лицо. Но



он ничего не замечал, не чувствовал боли. Он кричал изо всех сил, звал на помощь, но не слышал собственного голоса, ибо голоса не было.

Наконец-то после долгих и невероятных усилий он всё же вскарабкался на вершину песчаного перевала и его глазам открылась прозрачная гладь воды. На берегу озера стояло пять-шесть аккуратных юрт — маленький аул скотоводов. Перед юртами, возле продолговатых ям с крутобокими казанами, возились, хлопотали женщины. В лучах раннего солнца необычно белели их жаульки, а голоса в утренней тиши слышались далеко-далеко...

АБИШ КЕКИЛЬБАЕВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

С самого раннего рассвета он ехал по безлюдному пустынному плоскогорью. И только теперь смог напоить коня, спешившись у древнего колодца в каменистой ложбине. Видно, давно в этих местах не появлялись люди. Кое-где вокруг колодца валялись на земле засохшие овечьи катышки. И астау, деревянное корыто, рассохлось и потрескалось. Сюда, видимо, иногда заходят проходящие мимо караваны и случайные путники, под астау нашлось припрятанное старое кожаное ведро.

С южной стороны колодец оброс низкими кустиками верблюжьих колючек, с северной стороны далеко протянулась ложбина с крутыми склонами; в её густой кустарниковой растительности могли спрятать кто угодно — и воры, и волки, и мелкие звери. Тщательно просматривая все укромные места этой ложбины, путник поднялся по тянущейся вверх тропинке, и она привела к колодцу. В ложбине было много мест, где могли бы схорониться лишние люди, но ничего особенного не бросилось ему в глаза.

Крупного сложения чернобородый путник ехал на приземистом вороном с густой гривой, толстыми ногами, время от времени оглядываясь назад, словно прослеживая за камчой, слегка оглаживающей круп коня. Спешившись у заброшенного колодца, путник некоторое время внимательно оглядывал местность своими большими, покрасневшими от степных ветров и пыли глазами. Айкел, каменный оклад вокруг колодезного устья, был едва заметен, глубоко уйдя в истоптанную землю. Напив коня, путник поехал дальше.

Вороной шёл спокойной размеренной рысью. Как ненадёжны дороги безлюдной степи! После того, как путник отъехал от колодца, узенькая тропка скоро затерялась в густой заросли тугая, и он заблудился. Невозможно было отыскать дорогу на этом диком плоскогорье, куда словно бы не ступала нога человека.

Похоже, недавно прошёл дождь. В блеклой от пыли степи, выжженной иссушающим солнцем, появились редкие яркие зелёные ростки. Стелющийся жусан, корнями вцепившийся в землю как ящерица, вновь чуть приподнялся над землёй. Дружно поднялась мелкая травка, вдоволь впитавшая влагу с тех пор, как прошёл дождь, а со вчерашнего дня пришло ведро.

Путник спешил, взял в руки удила, отвязав от седла тёмно-коричневую домбру, откинул её на траву. Сейчас лучи солнца приятно греют. Несколько дней перед холодами октября простоят вот такие тёплые дни бабьего лета. Путник подошёл к своей домбре и лёг на спину. Вороной, пущенный пастись, хрумкает, щиплет траву, изредка пофыркивая. Путник поднёс широкую, как лопата, руку к подбородку и длинными, набухшими в суставах, покрасневшими пальцами прошёлся от виска до шеи по густой, спутанной бороде. Он заметил на краю синего неба клочок полупрозрачного белого облачка. В эту пору уже нет обманчивых миражей, витающих над степью. Горизонт отдалился, всё ясно видно. Оказывается, душа человека, вышедшего из тесной тюрьмы на широкий простор, радуется свободе чистой радостью, как то белое одиноко летящее облачко в небе.

Теперь, добравшись до вольной, безлюдной степи с серым типчаком, он наконец обрёл душевный покой. И конь скачет исправно, и дорогу почти всю осилил. Он спешил к своей трёхканатной лачуге, расположенной далеко от жилья других людей. Раньше, в смутные времена, когда жил беспокойной жизнью, он и не замечал, что есть в его доме, а чего нет. Когда он находился далеко в изгнании и тосковал по дому, то перед глазами представало в первозданном виде всё — белые, гладкие барханы Азгыра, зелёные высокие травы между Едилем и Кигаш, твердь Устюрта с чёрным жусаном. Но он не мог представить себе толком никаких вещей в своём доме — ни убранство юрты, ни одеяло, ни посуду — словно не было и одного дня, который бы он провёл в семье, с детьми.

Когда высылали его в Сибирь, то среди родственников, пришедших проститься, в широкоскулом мальчишке с большими, выпуклыми глазами он узнал своего сына Кази. Удивился, что тот так вырос. Оказывается, он и не заметил, как рос его сын, когда начал ходить, разговаривать. Он месяцы и годы проводил вне



дома, и когда, соскучившись, возвращался домой, даже ни разу не погладил сына по голове.

При воспоминании об этом его покидает обычное спокойствие, и в душу вселяется покаянная слабость. Но это не раздражающее отчаяние, которое, словно острый коготь, терзает сердце. Внутри воцаряется пустота, у него тускнеют глаза, и вся его крупная заметная фигура сникает, как будто съёживается. Большие глаза сужаются, словно от внезапной боли, и он пристально вглядывается вдаль, словно на самом краю земли видит свою одинокую лачугу. Но не может вспомнить ничего из того, что было в этой лачуге.

Он начинает прислушиваться, и словно слышит вой сибирской пурги. Но лютый сибирский мороз поглощает все звуки этого мира, даже вой пурги. Не слышно каркающих ворон. Сквозняк выдувает всё тепло через щели деревянного барака. И вот уже нет ветра. Один мёртвый холод. И лишь крикливые жандармы от рассвета до поздней ночи не закрывают рты. Но люди в бараках острога к этому привыкли. Молча слушают, о чём кричат те, кому положено кричать по службе.

Сосновая домбра, которую он смастерил, когда оказался на торговле в сибирских краях, всегда стояла в углу барака возле его нар. Он не часто брал её в руки. Но если брал, — этот мёртвый дом острога, в котором обычно не раздавалось ни единого радостного звука, вдруг оживал и ярко освещался музыкой... В его груди рождались мелодии, заставлявшие забыть всё на свете. В таких случаях ему казалось, что иной мороз — степной, лютый — щиплет его лицо, вонзает в тело свои синие когти. Только что спокойно лежавшая под ногами белая пороша взлетает, клубится и летит в лицо. И слышится шелест — шелест оставшегося в безлюдной степи ивняка на ветру. Слышится вой голодного волка, появившегося на вершине холма. Слышны гулкие, хлёсткие звуки соилов, с силой скрецающихся в воздухе... Ржание лошадей. Много разных звуков, гулов, шумов. Он всё это степное, знакомое, слушает внимательно, с интересом.

И вдруг снова ослепительно белый снег, дремлющая сибирская пихта в снежной шубе и сосны — и опять всё это преобразается в глазах, плывут перед ними дождевые облака, закрывающие всё широкое степное небо и проливающиеся сильным ливнем на степь. Вот пронесется табуны испуганных лошадей; топот их ко-

пыт слышится в ночи, когда нападает враг. Он словно видит и взмахи курука, и торчащие, покрытые инеем усы, со злостью уставленные на него глаза. Эти звуки и видения доходят до него, то смешиваясь, то вдруг вырываясь отдельным одиноким звуком. Он словно начинает дремать, веки опускаются. И те сбивчивые видения, и многообразный шум всё больше проясняются в звуках домбры и раздаются всё более отчётливо. Скачут лошади. Бежит горная река. Путник едет по бесконечной дороге.

Стоило ему только остаться наедине с собою в острожном бараке, как его одолевали самые разные мысли. Когда острожники возвращались в казармы с лесоповала, то не было никого, кто держался бы стойко и не унывал. А у него сразу распрямлялись плечи, он и шутить принимался, и громко смеялся, поблескивая чёрной, как сибирский каменный уголёк, окладистой бородой. Он какое-то время согревал, засунув за пазуху, застывшую в промёрзлом бараке домбру, у которой на холоде оседал звук. Потом сосредоточенно принимался её настраивать. Все острожники, молча лежавшие на нарах и смотревшие в потолок, при первых же звуках домбры, поворачивали головы к нему. Он сначала резко и гулко ударял по струнам. И только тогда, когда дека начинала отзываться живым тёплым звуком, он, повернув к острожникам длинный гриф, прокашливался, прочищал горло. Несколько раз пробегал кончиками пальцев по струнам. И вот рождалась музыка. Словно боясь спугнуть чудесную мелодию и желая поддержать её голосом, певец негромко начинал напевать. Присутствующим, услышавшим его тихий, взволнованно звучащий голос, казалось, что этот огромный матёрый человек чист душою, как ребёнок. «Эх, красный изень Арки!» Хотя лишь немногие понимали, а остальные вовсе не понимали слов песни, но у каждого затуманивалось лицо, на глаза набегала печаль. В холодном бараке, провонявшем едким запахом махорки, становилось тихо. А певец всё пел и пел. Через какое-то время голос смолкал, и принималась говорить домбра.

Он играл печальную, задушевную мелодию, понятную всем. Чем дольше он играл, тем более светлело его лицо. Ресницами прикрыты глаза. Теперь только стало видно слушателям, что его широкий лоб покрыт множеством морщин, следами бурно прожитых дней и лет, что волосы на висках поседели, горестно об-

висли уголки губ. Руки с набухшими венами, сморщенные, кажутся усталыми, будто они вот-вот опустятся без сил. Вдруг музыкант широко открывает глаза. На кончике усов повисает едва заметная лукавая усмешка. Пальцы начинают быстрее перебирать струны. Когда он резко поворачивает голову, видно, как торчит его острый кадык, и под горлом набухают вены. В больших глазах вспыхивают искорки. Мелодия набирает силу, нависшие, косматые брови на его лице бойко шевелятся. Он весело, молодецки водит глазами вокруг, будто собирается каждого прожечь насквозь взглядом. Отёкшие большие пальцы пробегают по струнам, извлекая неистовые звуки, которые льются и льются, словно водопад. И вот через какое-то время быстрые пальцы замедляют бег, словно их покидают силы. Снова слушатели видят множество морщин на лбу, возле глаз, проседь на висках певца. Кюйши отбрасывает домбру на свой матрац, набитый стружками. Души суровых каторжников, слушающих кюй, растревожены, растроганы, и кажется, что вот-вот они разразятся слезами. Кюйши остаётся сидеть с безразличным видом возле тускло светящейся лампы.

Как-то после такого вечера ему приснился сон. Теневая сторона его юрты. Мать наливают и подают ему айран¹. Дубовая кубы, кадка с двумя ручками, в котором квасили айран, остро пахнет кислым обратом. К нему подошёл маленький сын, Кази. Он хотел понюхать его лоб, вдохнуть запах родной плоти, поцеловать взлохмаченный маленький чубчик. Волосы мальчика, постоянно бегающего без головного убора, пропахли солнцем. Он хотел прижать его к груди: «Жеребёночек мой!..» Но чёрный тулуп, которым он укрывался, сполз на пол, и острожник проснулся оттого, что замёрз. Поднял тулуп, он снова укрылся. От засаленного ворота тулука несло терпким потом.

С тех пор в его душу закралась тюремная тоска, он ходил сам не свой. От той тоски избавился, только выйдя на свободу. Раньше он чувствовал душевную подавленность от вида беспредельных, безлюдных далей Арки. Бескрайняя степь, бесчисленные стада овец, скромный чабан, не сразу бросающийся в глаза среди всего этого громадного простора. Однообразная жизнь без всплес-

¹ Айран — традиционный напиток тюркских народов.

ков, без перемен. Кажется, что в этой степи уже иссякли все песни и кюи. Даже свежий степной ветерок, и тот порою пропадал, иссякал. Но именно в такие мгновения его грудь распирали кюи, наполненные гневом, досадой. И именно эти гневные кюи отдалили его от людей, они же дали властям повод для надзора и слежки за ним...

С тех пор, как он вышел из острога, на душе стало чуть легче. Но не так, как бывало раньше, когда приходило вдохновение. Тогда он обострённо, ясно слышал шелест сухой травы в осенней степи под копытами коня и посвист степных тушканчиков, греющихся в лучах последних солнечных дней. Оказывается, в безлюдной степи так далеко разносятся все звуки. Он словно теперь только понял, что в жизни степи таится своя мелодия. До сегодняшнего дня он не замечал этой музыки, довольствуясь напевами, звучащими в его собственной груди. И в косяке лошадей, прошедших длинным строем на водопой, и в овцах, пасущихся на склоне врасыпную, и в одиноко стоящем в стороне от отары чабане — во всей этой картине степи скрывается до сих пор не замеченная им гармония, особое течение жизни. И равнина лежит величаво. Волнообразно колышутся, радуя глаз, верхушки трав, которых ещё не касались зубы и копыта животных.

С тех пор, как вышел в дорогу, он оглядывал окрестности, не отрывая взгляда. Вчера после полудня пришла новая мелодия, которую он не знал раньше, не слышал. Она не похожа на прежние мелодии, страстные, бурные, внезапно сменяющие темп и ритм. Спокойная мелодия, не быстрая, словно разглаживающая и врачующая расцарапанную гортань, задетую злым отчаянием, ключей тоской. Проявляется мелодия постепенно, течёт тихо, а не выливается-выплёскивается бурно, как раньше. Он посмотрел в сторону Кыблы. Державшаяся весь день завеса тумана к вечеру стала постепенно рассеиваться. Сквозь эту рдеющую завесу стало что-то виднеться, белея. Не в одном месте белеет, и не в двух. Если некоторые белые пятна были мелкими, то другие несравнимо крупнее. Все белеющие пятна объединяет воедино густо-синее сплошное марево. Он подумал: «Уа, это, наверное, горы. Похоже, это и есть Алатау». С детства он слышал много старых дастанов «Алатау Азирета». Он долго смотрел на высокую вершину, куда не добралось густое синее марево, глаза заслезились... Но прерва-

лась мелодия, которая только-только начинала зарождаться в сердце. Он ещё долго смотрел в ту сторону пространства, не отводя взора.

В состоянии глубокого раздумья он проделал довольно значительный путь. Через какое-то время, когда очнулся от своих дум, то заметил, что просторный окоём ещё больше расширился. Мареву в стороне гор сгустилось и припало к земле. Исчезли белеющие снежные вершины. Солнце уже давно село. Сплошное марево, обступающее со всех сторон горы, стало сливаться с сумерками неба. Кюйши вздохнул. Не прикоснулся камчой к крупу медленно бредущего коня, не побеспокоил ни его, ни своих мерно текущих мыслей. С наступлением сумерек вороной сам прибавил шагу. Почувствовалось и дуновение свежей предночной прохлады. В сердце вновь вернулась та прервавшаяся мелодия. Вроде бы и не совсем такая же, как днём, однако в той же теме, — не столь спокойная, умиротворённая, но в этот раз грустная, словно глубокий вздох тихой печали. И напев не прежний, но чуть более светлый и плавный. Обернувшись в седле, посмотрел на домбру, притороченную сзади. Ему не терпелось взять её в руки. Наиграю в том месте, где остановлюсь на ночлег, решил он.

На закате вдаль он увидел пасущуюся отару овец. Значит, где-то близко аул. Торопливо поднявшись на вершину холма, бросил взгляд окрест. Вороной под ним без конца фыркал и прядал ушами. Но не видать ничего. Кажется, не слышно даже собак. Сейчас такое время года, что огонь не разжигается снаружи, возле дома. Он принялся, нет ли запаха дыма. И запаха не чувствовалось. Вдруг вороной зафыркал сильнее. Показалось, что впереди что-то чернеет. Он поехал туда, несмотря на то, что вороной пугливо озирался. Верблюд. Тот повернул голову на длинной прогнутой шее и посмотрел на него. Путник подъехал ближе и подал голос. Верблюд сошёл с места и направился в сторону. Путник последовал за ним. Верблюд шагал широко и протяжно ревел. Оказалось, дойная верблюдица.

Маленький аул из трёх-четырёх юрт приютился на южной стороне чёрной гряды. Аруана подошла к средней серой юрте и остановилась, широко расставив ноги. Он тоже подошёл к той юрте и крикнул:

— Э-э! Есть кто-нибудь?



Из дома доносятся невнятные голоса. Вдруг, откинув скрипнувший полог, кто-то вышел из юрты. Женщина. В руках ведро. Подойдя к брюху аруаны, прежде чем нагнуться, спросила у человека, кто он.

— Путник, случайный гость, посланный богом.

Женщина сказала:

— Тогда спешивайтесь, переночуйте.

Внутри юрты, войлок которой ещё не успел прокоптиться, оказалось просторно. Он остановился у порога, поначалу ничего не различая из-за дыма очага. Только после того, как несколько голосов со стороны тора ответили на его приветствие, он воткнул камчу за деревянную решётку кереге, разулся у порога и прошёл к тору. Домбру прислонил возле себя к стене. Пока развязывал пояс и устраивался поудобнее, глаза постепенно привыкали к едкому дыму. Он огляделся вокруг. Повыше него кто-то лежал, подложив под бок пуховую подушку. Рядом с ним сидел аксакал в бархатной тубетейке и пристально всматривался в него. Кто-то подбросил под треножник с висящим казаном сухого хворосту, пламя взметнулось выше крышки казана и ярко осветило всё вокруг. Со стороны кухонной утвари он увидел байбише в высоком, остроконечном жаулыке. Она повернулась к старому потёртому кебеже с давно потускневшим узором, и стала копошиться в нём. С правой стороны от очага, возле чёрного чайника, приткнувшегося боком к огню, сидел мальчик одиннадцати-двенадцати лет. Он завернул штанины шаровар выше колен. Подбрасывал в огонь сучья из сложенной рядом кучи. Байбише повернула голову от кебеже, открыла крышку казана, подула на сразу же вырвавшийся пар и с плеском сбросила что-то в кипящую воду с тёмного блюда.

Старец в тубетейке, суетливо пошевелившись, молвил:

— Э-э, путник, рассказывай, кто ты, откуда.

Вошла женщина, подоившая верблюдицу. Она поставила ведро возле байбише, взяла кумган, тазик и подошла к сидевшим, чтобы полить им на руки. Путник, чуть приподнявшись и присев на одно колено, вымыл лицо и руки. Вытираясь, сказал, откуда держит путь. Перед ними расстелили дастархан. На остальные вопросы старика ответил, когда стали пить чай. Человек с чёрными усами, сидевший со стороны старика, молча слушал. Изредка при-

хлёбывая чай, поглядывал на него. По открытому вороту, по чёрному плюшевому приталенному бешмету, по тубетейке с кисточкой было видно, что он не из местных степных казахов. Он не раскрыл рта, с тех пор как пришёл гость. Сидит важно. И взгляд надменный. Когда путник сказал о том, что он возвращается из тюрьмы, светлолицая байбише, не поднимавшая глаз от своей кесушки, вскинула голову. Она пристально взгляделась в него, вытаращив глаза и отодвинув край платка, спадающего на глаза. Когда он сказал, что его родина там, на западе, она безмолвно прищёпнула губами. Та женщина, что поливала на руки, оказалась келин этого дома. Заняв место мальчика, поддерживавшего огонь под очагом, она стала разливать чай. Келин сидела боком и была единственным человеком, кто не принимал участия в разговоре. Мальчик подошёл и присел возле байбише. Вытягивая из сложенной кучки один сук, он тоже удивлённо поглядывал на гостя. Похоже, что парнишка никогда не видел такого путника, одетого с ног до головы в серо-жёлтую мешковину. Смотрит на него пристально и наклоняется к никак не разгорающемуся огню, начинает дуть и сопеть, словно соревнуясь в терпении с влажным шипящим суком.

— Расскажите о себе тоже, — попросил путник.

— Э-э, мы из обычных стариков этой местности, — ответил аксакал, усмехнувшись, надкусывая овечий сыр с дастархана.

Только теперь вмешался в разговор смуглый человек с чёрными усами.

— Имя этого человека — Донбай. Наши люди называют его Донбай-би. Вы из дальних краёв, наверное, поэтому не слышали о нём.

Старик снова усмехнулся. Подняв голову от кесушки в руках, произнёс:

— Как-то раз участвовали мы по-родственному и в разрешении спора между двумя большими аулами. Если в те времена мы были уважаемыми людьми степи, теперь стали товарищем кочерге и крутимся возле своей бабы.

Путник внимательно посмотрел на старика. Видно, что светлолицый старик когда-то был красивым. Из-за седых бровей, редких усов, удлинённой реденькой бородки трудно определить его возраст. Лицо ещё чистое, если не считать нескольких морщин под

глазами. В карих глазах, не смотрящих на собеседника прямо, чувствуется, что он человек сдержанный. Изредка сам себе чему-то усмехается. В облике чувствуется присущая тем, кто постоянно находился на людях, уверенная властность, теперь, впрочем, сменившаяся на холодное равнодушие. Все движения вялые. И кесушку подносит к губам нехотя. Но держится с достоинством. Сидевший рядом с ним смуглый человек с чёрными усами всё время шевелится, вертится, гоняясь за пуховой подушкой, что уходит из-под его локтя. А светлолицый старик ни разу не шевельнулся на своём месте. И к кесушке с чаем, которую подает ему келин, протягивает руку, не наклоняясь, не сгибаясь.

— А этот джигит... — хотел, было, задать очередной вопрос путник.

Старик сам подхватил:

— Это тоже один из наших родственников. Его имя — Аурен. Он один из видных джигитов этого аула. Работает в городе. Приехал на отдых и зашёл ко мне.

Снаружи раздался лай собаки. Слышен был топот лошади. Подъехав вплотную к юрте, всадник остановился.

— Это сын Койгабар подъехал. Наверное, заехал, чтобы поесть, — сказала байбише.

Келин насыпала чай в заварной чайник. Вошёл человек в верблюжьем чапане и тымаке. Еле-еле пошевелил губами. Похоже, он так поздоровался. Остановившись у порога, стал развязывать пояс. Затем бросил его за женщину, разливающую чай, послышался мягкий стук. Повесил лисий тымак у порога, а чапан кинул на кучу хвороста возле входа. Вымыл руки. Рыжеватый, узколицый. Вёл себя по-домашнему. Потом прошёл на тор и сел чуть повыше женщины, разливающей чай. Погладил налысо выбритую гладкую голову, и вдруг, широко раскрыв рот, жарко зевнул. Уши торчат. До гостей ему нет никакого дела. Сразу же молча приступил к чаю. За кесушкой чая не стало видно его мелкого, узкого лица.

— Ну что, скот в порядке? — спросила его байбише, нарушив тишину, установившуюся после того, как он вошёл.

Койгабар, выпив чай и передавая кесушку, еле слышно произнёс:

— Всё в порядке.



Потом бросил испытывающий взгляд на смуглого человека с чёрными усами и на незнакомого гостя. Вновь ему подали кесушки. И маленькое узкое лицо вновь исчезло за тенью кесушки.

Смуглый человек с чёрными усами, показывая, что больше не будет пить чай, прикрыл ладонью кесушку. И дальний гость, видимо, не охотник был до чая, он тоже похлопал рукой по краю кесушки.

Старик, допив свой чай, подвернул край дастархана.

Келин, разливая чай, долила заварной чайник и вытащила большой чайник с кипятком из очага. Оставив расстеленным только край дастархана, где сидел её муж, она свернула остальную часть. Светлолицый старик протяжно произнёс: «Я, алла», — и замолк. Смуглый человек с чёрными усами, сцепив пальцы рук на животе, откинулся на свою подушку. То ли от коряги, горевшей, потрескивая, то ли от прокоптившейся крышки казана ощущался запах остывшей гари. Сизо-серый пар, вырывающийся из казана, поднимался до отверстия тундика, и исчезал, уходя в черноту ночи. Женщина, разливавшая чай, начала вытирать освободившиеся кесушки и убирать их. В доме ни звука. За пёстрой кесушкой раздаются лишь только звуки глотков рыжего.

— Путник, наверное, не зря носишь с собой это, — сказал старик, указывая на домбру, прислоненную к стенке, — бог прислал тебя, и нам хотелось бы увидеть твоё искусство. Сделай одолжение, поиграй.

Путник снял мешок-чехол с домбры. Вытащив из кармана кобылку, установил его. Начал настраивать домбру, расстроенную во время долгого пути. Пощипывая каждую струну, внимательно прислушался к звукам. Затем, подвернув край постеленного под ним корпе, несколько раз вытер о старый потёртый ковер сначала ладонь правой, затем левой руки, которой перебирал лады домбры. Проверяя звук, прошёлся раза два по ладам вверх и вниз. Отёкшие пальцы, с самого утра державшие поводья, ещё толком не слушались, не сгибались. Теперь только все домашние присмотрелись к домбре. Смуглый с человек чёрными усами, поправив подушку под локтем, повернулся боком. Байбише, как только собрали дастархан, взяла в руки тёмную миску, налила в неё остаток тёплой воды из чайника, насыпала соли и приготовилась, было, замешивать тесто. Она повернулась к пузатому поло-

сатому мешку с мукой в кебеже, но, услышав звуки домбры, оставила миску в сторону. Мальчик, следящий за огнём в очаге, сидел с раскрытым ртом и кочергой в руках, глядя на гостя. Женщина, разливавшая чай, делая вид, что откидывает назад край жаулыка, спадающего на лицо, скользнула лучистым взглядом по лицу кюйши. Только её рыжий муж проглатывал большими глотками полуостывший чай и время от времени вытирал рукавом выступившие капельки пота со лба. Старик, до сих пор не отрывавший взгляд от притолоки юрты, только теперь повернулся к нему.

Из крепко установленного на большом очаге тай-казана поднялся пар с приятным, вкусным запахом варившегося мяса. От этого запаха, от тепла огня очага, поддерживаемого с самого утра и распространяющегося по юрте, казалось, что в доме все повеселели. Дыхание и запах обычной спокойной жизни. Путник вспомнил удивительную мелодию, пришедшую ему в дороге. Его длинные пальцы, перебирая струны вдоль ладов домбры, наконец, нашли ту мелодию. Он не ударял по струнам так быстро, как прежде. Мелодия вышла плавной. Спокойно начатая, постепенно усиливалась в размеренном, ровном темпе. Успокаивающая мелодия, похожая на колыбельную, которую поёт бабушка шаловливому внуку, укладывая спать. Ласкает слух, берёт за душу. Словно вышел путник в дорогу в прекрасный, ясный день, когда вокруг всё цветёт. Любуясь красивой природой, красивой мелодией, быстро скачет по степи, радуясь доброму коню под собой. Видит вокруг только благодатную красоту и наслаждается ею.

Трогательная мелодия, проникнув в душу, умиротворяла. Медленно лилась-лилась и, наконец, завершилась. Тёмная домбра упала на колени кюйши. Все молчали. Только горело, потрескивая в очаге, сухое корневище. Вдруг в золе что-то треснуло, словно выстрелило. Тогда только люди подняли головы. Рыжий, пожёвывая губами, вытер остатки насыбая о колени и облокотился на подушку.

— Чудесный кюй! — воскликнул светлолицый старик, накручивая на палец конец реденькой бородки.

— Услаждает слух, — с этими словами смуглый человек с чёрными усами потёр онемевший локоть правой руки и, повернувшись, улётся на подушки.

Мальчик у очага только теперь вспомнил про кочергу в своих руках и торопливо перевернул угли.

Молодая женщина, сидевшая, положив обе руки на колени и делая вид, что разглядывает дробру, слушала кюй с глубочайшим вниманием. Она не сразу пришла в себя от потрясения и повернулась к огню только тогда, когда светлицы старик вытащил из-под корпе костяную шакшу и спросил:

— Келин, нет ли в очаге золы от изеня или от кизяка?

Её тело под шёлковым платьем ожило, шевельнулось, и она обернулась на голос свёкра. Тут же выхватила щипцами истлевающие, покрытые золой маленькие угольки, положила их на дно перевёрнутой кесушки и подала старику. На её светлом лице полыхал румянец. Рукав просторно скроенного шёлкового платья обнажил белоснежную руку и соскользнул дальше к локтю, когда она подавала свёкру золу. На округлом запястье с гладкой кожей блеснул серебряный браслет с самоцветами.

Кюйши убрал с колен дробру.

Старик спросил:

— Как называется этот кюй?

Кюйши ответил коротко, прикручивая колок дробры:

— «Алатау».

Ему вспомнился другой кюй, который он сыграл одной девушке, когда до каторги находился в своих краях. Та тоже была такой же белокожей, у неё тоже вмиг запылали щёки, когда точно так же рукав её шёлкового платья соскользнул и обнажил сильную округлую руку до локтя, в то время, когда она подавала ему чай. Тогда он находился в бегах, о нём ходили разные кривотолки, и когда молодая, красивая девушка из незнакомого дома, где он остановился, налила ему чай, у него поднялось настроение, и он сочинил этот кюй. Он назвал его «Балкаймак», — мёд и сметана, то бишь... Постеснявшись теперь лишний раз посмотреть на красивую женщину, он отвернулся к тору.

Полилась задумчивая мелодия, оправдывающая своё название. Люди снова слушали его, как заворожённые. Кюйши открыл глаза, и взор его остановился на смуглом человеке с чёрными усами, лежавшем на торе на пуховых подушках. Тот сцепил пальцы обеих рук на животе. Небольшой животик, похожий на ягнячье брюшко. С ожесточённым усердием подминает под себя пуховые

подушки. Красиво изогнутые брови, круглые карие глаза прикрыты длинными ресницами, он внимательно смотрит в сторону красивой женщины. Подбородок, ещё не успевший сделаться двойным, но уже заметно провисающий, едва заметно вздрагивал. Лоб гладкий. Важный, надменный ага. Кого он напоминает? Да, тот человек вот так же, облокотившись на пуховые подушки, лежал на торе. У того усы были не такие короткие. Когда баловень-кюйши, которого не могли заполучить к себе в дом гостем многие знатные люди, хотя по несколько раз посылали гонцов, вдруг появился сам; все, находившиеся в доме, наперебой стали здороваться и освободили ему место на торе. Не сдвинулся с места только тот человек с усами. Сцепив пальцы рук на животе, лежал не шелохнувшись. Не шевельнулись и выпяченные мясистые губы. На губах застыла самодовольная улыбка. Кюйши, рассердившись на этого надменного мырзу, схватился за домбру. Не глядя ни на кого, решительно прошёл к месту, где сидел тот мырза и сел рядом. Несколько раз пройдясь пальцами по домбре, начал кюй.

Этот смуглый с чёрными усами был так похож на того самого бая Аубакира, сына того самого Акбая...

Кюйши стиснул зубы, напрягаясь, боясь сбиться с мотива. На висках выступил обильный пот. Концовка красивого кюя вышла несколько суровой. Кюйши вновь бросил домбру на колени, взял полотенце и вытер пот. Люди всё ещё оставались под впечатлением мелодии. Даже у рыжего Койбагара, переставшего сосать табак, насыбай остался торчать в уголку рта, свисая хвостиком.

— Как ваше имя, айналайын? — спросил светлолицый старик.

— Курмангазы.

Человек с чёрными усами, словно желая спросить: «А что, мол, есть и такой кюйши?» — недоумённо посмотрел на старика. Тот сделал вид, что не заметил его взгляда и не отводил глаз от гостя.

Кюйши вновь взял домбру в руки. Прошёлся по верхним ладам. Его широкий, спокойный лоб собрался морщинами. Словно прислушиваясь к своей игре, повернул голову в сторону. Сидел, прислонившись к стенке, закрыв глаза. На шее вздулись вены. Брови были приподняты. Лицо отрешённое. Только длинные пальцы нечасто, сильно ударяют по струнам. Печальная мелодия. Не тоскливая, не жалобная, а скорбно-возвышенная. Светлолицый старик слушает по-прежнему внимательно.



Когда-то Аубакир, прослушав этот кюй от начала до какого-то места, вдруг закатился грубым смехом, оскалив зубы. Человек же с чёрными усами равнодушно лежит, глядя на шанырак. Байбише принялась месить тесто. Молодуха, взяв в руки кочергу, стала ворошить угли под очагом. Рыжий сын хозяина улёгся у огня, повернувшись лицом к жене. Неизвестно, слушает или спит. Мальчик не сводит глаз с кюйши. Ему кажется, будто здоровенный гость с чёрной бородой, прикрыв глаза, плачет. Печальная мелодия берёт за душу. У светлолицего старика, до сих пор сидевшего прямо, голова тихо склонилась на грудь. Сжав в кулак бородку, он без конца разминает её. Кюй, начавшийся печалью, постепенно восходит к гневу. словно горькие слезы подкатывают к горлу. Но вот кюйши резко обернулся, в глазах нет слёз. Глаза с длинными, изогнутыми ресницами уставились в пространство. Они покраснели. Вдруг с правой стороны от него кто-то всхрипнул. Гладкая, бритая голова рыжего сына хозяина соскользнула с подушки и упала на руку. Он заснул, свернувшись калачиком, подтянув под себя ноги. Байбише, попросив келин попрiderжать крышку казана, кидает в бульон тесто. Глаза человека с чёрными усами всё ещё уставлены в шанырак.

Кюйши стал неистово ударять по домбре. Звук усилился, ускорился темп. Пальцы скользили по ладам... Тот давнишний Аубакир в этом месте поднял голову с подушки, лицо его побледнело. Эта печальная мелодия теперь обрела полную мощь. Она будоражит воображение, призывает к чему-то. Светлолицый старик приподнял голову. Пальцы кюйши снова задвигались медленно. Кюй закончился. В этот раз никто не проронил ни слова. Никто не спросили, как называется кюй. Светлолицый старик, глядя в притолоку, задумался. Только мальчик, сидевший у огня, вопросительно посматривал то на кюйши, то на остальных взрослых.

Кюйши зачехлил домбру и прислонил к стенке. Байбише сняла казан с огня. Молодуха принесла тазик и полила на руки. Человек с чёрными усами приподнялся и сел. Рыжий Койбагар тоже поднял голову. Посредине дастархана поставили блюдо, полное варёного мяса. Рыжий окончательно проснулся, вынул из ножен нож, ополоснул под струйкой воды из чайника и начал резать мясо. Все теперь смотрели на его руки.



После еды рыжий снова надел верблюжий чапан и лисий тымак. Стоя у порога, подпоясался.

Байбише взяла отставленные заранее на другом блюде несколько костей с мясом, завернула в тряпку и отдала сыну:

— Пойдешь в ночное? Возьми для чабанов.

Рыжий, взяв свёрток, засунул его за пазуху и вышел из дома.

Когда стелили постель, путник вышел из юрты, снял седло с коня. Отведя вороного подальше от аула, стреножил и отпустил пастись. Потом долго стоял в ночи, следя за лошадьё. Темнота, хоть глаз выколи. Только в шаныраке средней юрты виднеется тусклый, едва заметный просвет. Путник постоял немного, затем направился к дому. Постели были готовы. Молодуха, указав гостю на постель с правой стороны, оставила корпе в изножье. Выходя и закрывая за собой полог, она бросила на него ещё один взгляд. Позванивающие звуки шолпы раздались за стенами юрты и удалились в направлении другой юрты, находящейся со стороны восхода солнца. Значит, юрта молодых была там.

Кюйши наутро проснулся рано. Вороной, оказывается, ушёл от аула недалеко. Он привёл его, оседлал и привязал возле юрты. Байбише уже встала и велела келин вскипятить чай. За чаем молодуха ни разу не повернула голову в его сторону. И когда собрали дастархан и стали прощаться, она под предлогом, что надо вынести золу, вышла из юрты.

Ему снова стало тоскливо, как только он выехал из аула. С тех пор, как вышел из тюрьмы, ему ни разу ещё не было так тоскливо, как сегодня. Он поглядел окрест, кругом — бескрайняя степь. За одной грядой дорогу вдруг перебежал заяц. При каждом прыжке у яловой зайчихи белым пятном мелькало брюхо.

Кюйши подумал: «Эх, хоть бы встретился волк!» Ему вспомнилось, как он когда-то вместе с джигитами гнал волка. Серый, вначале бежавший наискосок по холмам, сменил направление, когда усилилось улюлюканье, и свернул к густой чаще тугая. Кюйши тогда тоже скакал во весь опор, глаза его слезились от встречного ветра. Скакал впереди, не уступая никому. Погоня за матёрым степным волком вводит в бешеный азарт тех, кто обычно находится, словно в спячке, в безмятежной лени аульной жизни. Когда, наконец, догнали и свалили соилами жожака-арлана и взвалили добычу на лошадь, джигиты бурно радовались, шумели и галдели.

Это ему нравилось. Простоватые, нерасторопные джигиты становились в такие моменты неузнаваемыми. Казалось, они смогут одолеть что угодно. Довольный удачной охотой, он, поравнявшись с джигитом, приторочившим волка к седлу, с удовольствием pokrutil длинное ухо мёртвого волка-вожака с раскрытой оскаленной пастью. Выехав вперёд группы всадников, которые весёлыми возгласами подбадривали его, он начал свою песню «Аш бори».

*Голодный волк, берегись! Там, где я, ты обагришься кровью.
 Не вышел из оврага голодный волк, я его застрелил!
 Бабы казахские родят сынов охотно, с любовью,
 Но не родить им такого батыра как я,
 который лютого зверя убил!*

Несколько дней длилось веселье, затем всё стихло. Джигиты отложили соилы, взяли в руки пастушеские посохи, кожаные бадьи, и вновь занялись скотом, хозяйством. Кюйши, не находя себе дела, сел на коня и поехал по аулам. Он думал, что если бы не волки, иногда нападающие на загоны с овцами, ничто не нарушало бы дремучий сон степи.

Кюйши сегодня ехал сильно опечаленный, даже ожесточённый. День стоял тихий. Ни дуновения ветерка, что пошевелил бы верхушки трав. К полудню впереди зачернел глубокий овраг. Повернув, он спустился туда. Казалось, не было конца этому длинному оврагу. Он тщательно осмотрел все укромные места, но без толку. В этой степи даже волки попрятались. Да, в этой дремотной степи даже звери больше не рыщут, не попадают на глаза.

Кюйши вспомнил дом, в котором переночевал. Сейчас тот смуглый человек с чёрными усами гостит в другом ауле, пригнувшись к подножью соседней чёрной гряды. Рыжий чабан с довольным видом посматривает на коричневую дойную овцематку, жадно набросившуюся на осеннюю траву. Светлолицый старик не отрывает взгляда от притолоки юрты. В голове, в мыслях его — тот давнишний спор меж двух аулов, в разрешении которого он был бием, судьёй. Изредка усмехается, вспоминая, как тогда был красноречив. Байбише сидит на солнечной стороне юрты, чуть придерживая крутящуюся прялку, иногда зевает, широко раскрывая рот: «О алла, благодарение тебе за всё, что ты дал» — и

снова зевает. Светлоликий мальчик вместе с щенком ходит по вершине холма. Оглядывается окрест с детским интересом. Молодуха, устав от нескончаемой домашней суеты, сидит в юрте, обхватив колени руками.

Кюйши прислушался к звукам вокруг. Невдалеке, оказывается, есть нора. Степные тушканчики, в досталь натаскавшие в свои норы семян с колосков трав, греют на солнце спины в эти последние солнечные дни и, довольные, перекликаются между собой.

Кюйши, прищуриль глаза, посмотрел на горизонт и увидел, что солнце садится, бросая багровый отсвет на степь. Встал с места, взял домбру в руки и подошёл к коню. Вороной, жадно пощипывающий траву, нехотя поднял голову. В душе кюйши в эту минуту зарождалась новая мелодия.

КОГАБАЙ САРСЕКЕЕВ

ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ СТАТЬЯ

Давно уже НКВД держит Есенея в поле зрения. Прошлой ночью опять получил повестку. Велено «срочно явиться». Поэтому с рассветом Есенею отправился в путь.

Ни у одного председателя в округе, кроме Есенея, машины нет, полуторку колхоза «Карабидайык» здесь знает каждый. Аульный люд, у которого ещё не угасло любопытство к автомобилю, всегда выбегал наружу, заслышав шум мотора. Вот и сегодня по дороге через селения их всюду, как обычно, провожали удивлёнными взглядами местные жители.

Едва машина перевалила мазар¹ Боктыбая, город открылся как на ладони. Растянувшийся снизу от возвышенности, он, оказывается, довольно неплохо сложен. Прямые, как полёт пули, улицы и невысокие, стоящие друг от друга на расстоянии дома, похоже, нетрудно и пересчитать. Среди них Есенею сразу узнал громоздкое здание НКВД. Стоит на самом видном месте, подавив своими размерами окружающие постройки. С крытой кровлей — таких домов в Тургае единицы. Подумалось: «От названия этого учреждения холодом веет, да и от вида тоже».

То обстоятельство, что НКВД стал часто тревожить его, сильно беспокоило Есенея. Хотя поначалу и держался — мол, ничего не «съел», не присвоил, происхождения бедняцкого, — но позже всё-таки струхнул и на вопросы отвечал с опаской. Одолели бесчисленные кляузы, поди разберись, кто на кого пишет. От этих мыслей голова шла кругом.

Есенею, молча дремавший всю дорогу, вдруг окликнул шофёра:

— Эй, Тайкара!

— Да, Есеке?

— Отчего молчишь? Где твоя обычная словоохотливость?

¹ Мазар — надгробное купольное сооружение, мавзолей.

- Да что зря болтать... Хотел, чтобы вы немного соснули...
- Ладно, дуй-ка сразу в райком! С райкома и начнём свои дела.
- А в НКВД потом? Лишь бы как в прошлый раз не вышло, смотрите, разорётся опять...

Есенею человек искренний и простодушный, наивен, доверчив. Поэтому сразу согласился со словами водителя:

— Да-а, правильно, что напомнил. Упаси Аллах от гнева Галиева — он не пожалеет. Ладно, где наша не пропадала! Никуда не сворачивай, жми прямо к нему!

— В такую рань? Может, сначала где-нибудь чайку выпьем?

— Это мысль, а куда подадимся?

— Разве вы не гостите обычно в доме Бейсеке?

— Бейсенбай? Да, верно, в дом Бейсенбая! Езжай туда!

Тем временем подъехали к бревенчатому мосту на въезде в город и покатали над Тургаем. Река, сияя, разливалась вниз. Спустившись с деревянного настила, полуторка «Карабидайыка» въехала в центр и вскоре остановилась перед домом Бейсенбая.

То ли услышал шум мотора, то ли сам собирался выйти на улицу, но Бейсенбай встретил вылезшего из кабины Есенею прямо перед воротами. Рыжеватый, приземистый, коренастый, он, точно заподозрив что-то в раннем приезде нежданного гостя, обеспокоенно поинтересовался:

— Всё в порядке, надеюсь? Когда из аула выехали?

— Сегодня. Как домашние, живы-здоровы?

— Слава богу...

По давней своей привычке подтрунивать над Бейсенбаем, Есенею перешёл на шутливый тон:

— Зятёк, что, ещё не проснулся — толком на приветствие ответить не можешь. Ай, да что возьмёшь с этих горожан, знай себе дрыхнут до обеда.

— Да какой там сон!.. — отмахнулся Бейсенбай и пригласил гостей в дом: — Ну, проходите!

Неизвестно почему, но вид у него был грустный, говорил он без настроения, как человек, у которого что-то болит.

— Ну, что там в ауле, как люди?

— Пока нормально... А у вас какие новости?

— Да какие могут быть новости — всё по-прежнему... всё та же кутерьма...

— Неужто? Ещё не прекратилось?

— Какое там! Кажется, даже хуже стало... Тюрьмы переполнены!

У Есенея дрогнуло сердце.

— Говоришь, тюрьмы переполнены?.. И что за напасть такая... Куда райком смотрит?

Бейсенбай пожал плечами:

— Ай, Есеке, странный ты всё-таки, одно слово, дитя малое, ну как тебя ещё назвать?..

— Возмущён до предела, вот и говорю. Да кто ж поверит, что советский человек — враг своему государству?! — стал горячиться Есеней.

— Тс-с! — остановил его Бейсенбай и спокойно пояснил: — Осторожнее, Есеке, нынче и словцо лишнее бедой оборачивается, к чему нам это?

Жена Бейсенбая Аклима, разливавшая чай, вмешалась в разговор, как будто тоже испугавшись:

— Да, дядя, зачем это вам, ведь многие на этом погорели, разве не так? Нужно быть настороже, чтоб чужие уши, не дай бог, не услышали, иначе нельзя.

— Но ведь здесь, кажется, нет чужаков?!

— Всё равно — язык у казахов длиннее кнута.

— Ладно, хватит! — остановил Бейсенбай жену и обратился к гостям: — Есеке, вы слышали? Айсу Нурманова выслали, вчера только в Кустанай погнали.

— Что ты мелешь?!

— Да ну?! — ошарашенно воскликнул и Тайкара.

— Да, так получилось...

— Ау, и как ты мог молчать об этом до сих пор?! Надо же! — Есенею показалось, что у него волосы на голове зашевелились. Его смуглое лицо побледнело. — Да что он мелет, повтори, несчастный! Боже мой, ведь это страшное известие!

— Говорю, что видел...

— И в чём же вина Айсеке?

— Откуда мне знать, — пожал плечами Бейсенбай и, как обычно, напрямик бухнул: — Кто на кого сейчас обращает внимание? Попался — считай, пропал!

— Дожили!

Есенею не ожидал услышать подобное. Кто бы мог подумать, что случится такое. Когда впервые задержали Айсу, он примчался в органы вслед за ним. И потом не раз пытался с ним встретиться. В то время никаких дел с НКВД у Есенея ещё не было. Помнится, ему тогда принялись втолковывать: «НКВД не задерживает безвинных людей, есть некие обстоятельства, требующие уточнения, выясним — отпустим. Уйди подобиру-поздорову!» Позже, когда заинтересовались им самим, заговорили совсем по-другому: «В период коллективизации твой подзащитный занимался вредительством, выражал недовольство советской властью, во время строительства плотины разбазарил государственное имущество...» Словом, навалив на Айсу кучу грехов, отправили Есенея восвояси. А теперь вон их куда занесло...

Есенею надолго замолчал.

— Ладно, начну собираться, — засуетился хозяин. — Сами знаете, я на службе. Хоть и невелика должность моя на почте, но тем и кормимся. Если кто-нибудь сболтнёт, что вы останавливались в нашем доме, и на меня глаз положат... Я слышал, Есеке, на тебя донос поступил. Не зря говорят: пара глаз, и те друг другу враги... Ну, я пошел...

— Что ты несёшь, никак, опасаясь меня? Да ладно, прости, разве ты виноват... Кстати, что слышно насчёт Байтена Омирбекова и Нурбая Миржакыпова? А что с Абилем Толешевым? Как Бужай? Что-то долго несчастных держат.

— Ни слуху ни духу, никаких известий о них. Есеке, ты только на меня не обижайся, время такое, — ответил Бейсенбай и начал одеваться.

— Ну что ж, нам тоже пора вставать! — поднялся из-за стола Есенею. — Тут новый хан объявился — Галиев, он опозданий не терпит.

— На машине поедете, Есеке? — привстал с места Тайкара.

— Не знаю даже, как лучше, в прошлый раз, завидев, как я подкатил к НКВД на полуторке, Галиев от души надо мной поиздевался.

— Тогда лучше пешком идите, — посоветовал Бейсенбай.

— Ладно, так и сделаю. А ты жди меня здесь!

Оставив Тайкара в доме Бейсенбая, он поспешил в НКВД.



* * *

Когда Есенеи вошел в здание, часы показывали девять. Дежурному у дверей объяснил, что прибыл по вызову. Галиев был у себя и сразу его принял.

С начальником НКВД председатель «Карабидайыка» хорошо знаком. С Галиевым ему доводилось встречаться довольно часто: то на бесконечных собраниях в районе, то на затянувшемся бюро райкома, то на сессии райисполкома, а то Галиев к ним сам являлся в составе разного рода комиссий, непрерывно посещавших колхоз. Бывало, и за одним столом угощались. Возможно, поэтому Есенеи смело вошел в кабинет, куда люди боялись даже поступаться.

Надутый, словно наглотавшийся гальки степной рябчик, толстый, рыжий, с холёным круглым лицом, Галиев, по своей давней привычке стоя здороваться с посетителями, встал с места и холодно принял приветствие председателя «Карабидайыка». Его острые, круглые, как у филина, глаза так и вонзились в Есенея, толстые губы вытянулись, и он угрожающе заговорил:

— Э-э, что-то спозаранку заявился, похоже, начинаешь признавать порядок!

— Приходится привыкать...

— Привыкнешь, товарищ, ещё не к тому приучим! НКВД не ест людей, раз вызвали — значит, надо явиться. Это — закон!

Есенею не понравился суровый вид Галиева. «Какое страшное лицо у этого дьявола!» — подумал он и не стал препираться. Выжидал молча.

— Чуешь, зачем вызвал? — натянуто спросил хозяин кабинета. — Заметил, что-то наши с тобой беседы слишком затянулись, а?

— Откуда ж мне знать, вы вызываете — я являюсь...

— Так, значит, не знаешь, зачем вызываем, да?

— Зеке, что бы там ни было, лучше сразу убейте, но скажите, в чём дело, если хоть чуточку виноват, объясните... иначе уж немоготу.

— Говоришь, хоть чуточку виноват?! Ладно, пожалуй, не стоит сразу так жёстко, все мы люди, давай попробуем начистоту.

— Зеке!..

— Товарищ председатель, человека, который стоит перед тобой, ты должен воспринимать как начальника здешнего районно-



го НКВД! Казахский национализм начинается с этих самых «Зеке», если хочешь знать, я человек государственный, понял?! Действительно, меня зовут Зейнелгабиденом, но в данный момент я нахожусь при исполнении своих служебных обязанностей. Значит, здесь не пройдут всякие там «Зеке-Меке»!

— Ау, Зеке, но разве это не в традициях нашего народа, и если снова назвал вас Зеке, то по той же причине, вы уж простите...

— Похоже, насчёт этого мы договорились. Если б встретились где-то вне службы, другой разговор...

— Ладно, не будем больше.

— Так, — приступил к делу Галиев, — если мне не изменяет память, то в твоём колхозе есть машина, да?

— Есть...

— Как ты её получил?

— От товарища Сталина! — выпалил Есеней, задетый за живое.

— Как-как?

— Говорю же, от товарища Сталина.

— Да ты что тут, шутки шутить изволишь?

— К чему мне шутить, разве я виноват, если правду сказал?

— Может, хватит насмешничать? Что, имя товарища Сталина для тебя игрушка?

— Какая же тут насмешка? Колхоз у меня в округе самый передовой. То ли повезло, то ли счастье выпало мне, только о том, что нищая голытьба в передовики выбилась, весь район, все люди знают, мало того, и в области об этом известно. Оттого и машину получили — как приз на слёте, а выслали её нам из самой Москвы. Вот поэтому и говорю, что получили от товарища Сталина. Да вы и сами знаете. Зачем же тогда спрашиваете?.. Ну а ежели речь обо мне, то я голый бедняк. Самый настоящий голодранец! Какую ж вину вы мне пришить хотите?

— А-а, вон ты как заговорил! Выходит, я тебе вину шью?! А вспомни-ка, с кем ты якшался?! Как заступался за «врага народа» Оймаута Дабылбаева? А как оказался в числе приближённых Султана Досжанова? Да что там, расскажи-ка лучше, как перед коллективизацией ты разъяснял народу пользу ТОЗов — первоначальной формы колхозной кооперации?

— А как я разъяснял? Все эти ваши недомолвки я воспринимаю как обыкновенный оговор!

— Оговор?! А вот это кто написал? На, смотри! — Галиев вытащил из ящика стола какую-то папку и, перелистывая странички, начал читать: — «Нынешний председатель «Карабидайька» в своё время был против ТОЗов (товариществ общего землепользования). Это двуличная душа, спрятавшаяся под овечьей шкурой. Он заодно с теми, чьи помыслы чужды Советам... Классовое сознание крайне отсталое. Колхоз его ничем не отличается от родового объединения: вокруг себя он собрал только близких, с кем имеет общих предков...» Хватит? Или ещё почитать?

Есенею не верил своим ушам.

— Агатай, да что я слышу? Кто всё это наплёл, ведь враньё сплошное!

— Враньё, говоришь, да?! Тогда вот это послушай! Твои же аулчане написали. Вот: «Хоть Есенею и доверили колхоз, но он не оправдал надежды колхозников. Вокруг себя собрал людей своего рода. Колхоз «Карабидайьк» состоит только из представителей рода Даулетбике. Как-то он даже сказал, что и сам колхоз собирается переименовать в «Даулетбике»...

— Вот те на! — воскликнул Есенею и усмехнулся. — Такое нормальному человеку в голову не придёт. В это и поверить трудно — сплошная напраслина!

— Выходит, я всё выдумал?

— Откуда мне знать.

— Ладно, тогда ответь мне на один вопрос. Можешь перечислить, кто входит в Даулетбике — твой род?

— Нет, я человек несведущий в родословных.

— Не спеши с ответом, не смущайся, возможно, и вспомнишь. У нас времени много.

— Всё равно не знаю, а если не знаю, что вспоминать?

— Не говори так, товарищ председатель, помни, где находишься, — это место не терпит упрямства. А теперь скажи-ка, кто такой Досым?

— Вы про какого Досыма спрашиваете?

— Вас, кажется, «детьми Досыма» называют?..

— Зачем это вам?

— Значит, нужно.

— Сказал же: мне насчёт этого ничего неизвестно.

— Почему же неизвестно? Неправда. А если и в самом деле не знаешь, тогда послушай: у Досыма было четыре сына — Мурат, Мамбет, Касым и Конакбай, не так ли?

— Может, и так, но какое отношение это имеет ко мне?

— А-а, про это позже узнаешь! Чувствую, нарочно вид делаешь, будто ничего не знаешь. А этот факт имеет самое прямое отношение к нашему делу. Даулетбике, оказывается, была женой Мурата. Он рано умер. Тогда Даулетбике вышла замуж за своего деверя Мамбета. От Мамбета она родила четырёх сыновей, их имена Кеншим, Серим, Жаубори и Кенжебай. От Кеншима родились Койкара, Коки, Жылкайдар; от Серима — Жаймашуык, Жанысбай, Есжан, Амирали, Байзак; от Жаубори — Сутемир, Айбазар, Кобеген, Кобек; от Кенжебая — Майемир, Тай и Мырза. Люди нынешнего твоего «Карабидайыка» — их прямые потомки. Правильно говорю?

— Мне важны рабочие руки, а не то, кто от кого произошел. Это раз. Во-вторых, я никого не приглашал со стороны, все они местные жители. Они же и колхоз создавали. Мне что, гнать их надо было?

— Вот-вот, в районе-то сорок девять колхозов. Ну-ка, посчитаем: первый аул, второй аул, твой — четвёртый... кстати, а куда подевался этот второй аул?

— Э-э, у второго аула своя история. Они ведь в памятный год Обезьяны с голоду сгинули. Вот и пропал аул.

— Прекрати! Что значит «с голоду сгинули»? Подбирай слова, когда говоришь, товарищ председатель! У нас никто не умирал с голоду, да и голода никакого не было, понял? Это — клевета! Клевета на Советскую власть!

— Я говорю о том, что видел собственными глазами, люди жили по соседству, всё и произошло на наших глазах. Зимой тридцать второго года из «Аккума», аула, о котором вы говорите, в пункт продпомощи «Тамкамьыс» скопом двинулось около трёхсот человек, а вернулись весной лишь одиннадцать. Их приютили в нашем колхозе.

— Кто они?

— Китабинцы, к примеру, присоединились и дети Кобека — племянники наши.

— Продолжай.

— Что продолжать, так и сгинул на корню колхоз, про который вы спрашивали. Вернее было бы сказать, что второй аул пал жертвой той страшной години.

— Перестань болтать! Ишь, куда тебя занесло! Да ты, оказывается, настроен против властей? Теперь понятно. Проясняются твои пристрастия. То-то же, выходит, не зря тебя в родовых привязанностях обвиняют, ревнителем рода называют. Итак, ты знаёшь, что организовал колхоз из людей одного рода?

— Трудно утверждать такое, — начал было оправдываться Есенеи, но начальник НКВД снова вытарашился на него и заорал:

— Я ведь уже говорил, что здесь не место, где можно вилять хвостом. Лучше покайся, товарищ! Теперь перейдём ко второму вопросу. Вина твоя классифицируется пятьдесят восьмой статьёй. К тому же предупреждаю: показания свидетелей трактуются как доказательство вины обвиняемого.

— А как вы поступите, если я скажу, что всё это провокация? — Есенеи пошёл напролом. — Ничего не признаю, всё, что вы говорите, — ложное обвинение, клевета! Освободите меня, пойду сейчас же в райком и доложу!

— Зря пугаешь, товарищ. На меня не распространяется их власть. НКВД всё известно. Тебя поддерживает товарищ Башаев? Первый секретарь? Сильна опора, ничего не скажешь — ладно, не будем спешить. Ещё один вопрос. Я ведь недавно приезжал к вам в аул... конечно, за то, что встречали с распростёртыми объятьями, признателен. Так вот, как зовут того парня, который пел тогда?

— Который пел, говорите?

— Да...

— Вы про Жусипназара, наверно? А отца его зовут Байтурсыном.

— Да-да, Жусипназар! То есть Байтурсынов. Мне нужен этот Жусипназар. Помнишь, он пел тогда «Трёх чалых» — «Уш бурыл»?

— Ну и что?

— В том-то всё и дело! Эта песня — чужеродная песня! Я тогда промолчал, но исполнять её нельзя, она запретная. И эту песню, тоскующую по ханству, песню, восхваляющую баев и манапов¹,

¹ Манап — представитель привилегированного сословия.

вы преподнесли мне в подарок?! Мало того, твой певец, раззадорившись, и вовсе понёс:

*Сердце израненное болит,
Мысль словно в тюрьме сидит,
Путами лжи язык мой повязан —
Вот и рыдает душа навзрыд.
Жизнь бестолкова, и сам не рад
Тот, кто решится взглянуть назад.
В прошлом, как в сказке, сокрыт секрет,
Но на вопросы ответов нет.¹*

Отчего его сердце так страдает?.. А нашу новую жизнь он сравнивает с тюрьмой. В настоящем совершенно разочарован, тоскует по прежним временам. Когда думает о прошлом — рыдает...

— Мы ни о чём таком не думали, разве не ясно, что просто пели в вашу честь?

— Нет! Таких почестей не бывает. Это — провокация.

— Откуда нам знать...

— Работник НКВД честен перед Родиной! В твоём колхозе созданы условия для политического предательства. «Я криком изойду, но нет уж Бога, я брошу клич — кипчаков больше нет!» — кому принадлежит этот призыв? Опять же людям из «Карабидайыка». Именно в твоём колхозе выискался сочувствующий «врагу народа» Кеншиму Бухарбаеву, что работал первым секретарём Мендыкаринского райкома и не оправдал доверия партии: его потом так и обвинили, «как не внушающего доверие». Этот твой колхозник Ожан Байшокатов в письме Бухарбаеву писал: «Свергнем Советы и уничтожим! Объединимся!» Его не зря арестовали. А разносчики этой идеи Айса Нурманов, Умбетей Тлеугабылов и Мырзагали Омаров тоже сидят в кустанайской тюрьме. К ним присоединится теперь и твой певец!

— Не дай бог! — отпрянул Есеней. — Уважаемый, прошу, не включайте в этот список Жусипназара, он никому не причинил вреда!

¹ Здесь и далее в рассказе переводы стихов Л. Степановой.

— Не ужасайся, председатель. Лучше о себе подумай: человеку дороже собственная голова.

— Что толку, если уцелею: человек мирно спит только тогда, когда спокойно всё вокруг него.

— Нет, ошибаешься, для благополучия Советов мы сперва должны избавиться от всех врагов, только тогда воцарится покой. НКВД за это и борется. Мы всех врагов народа до единого с землей сровняем, всех уничтожим! Наша цель — честно служить бдительному НКВД под руководством сталинского наркома товарища Ежова! — Галиев в этот момент словно вовсе взбесился. — Мы должны, не жалея сил, бороться с такими явлениями, как «рыскуловщина», «хожановщина», «садвакасовщина», «мендешевщина».¹ Партия в данный период требует от нас именно этого. Долг казахских большевиков бороться против казахского национализма. Как работник НКВД я не сойду с этого пути! Вот моя ноша! — дравший глотку до хрипоты, вконец разошедшийся, Галиев неожиданно обрёл хладнокровие и спокойно продолжил: — Ладно, хватит, слишком далеко зашли, а тебе, товарищ, вот что скажу: видно, ты уже заметил, что курук² у НКВД длинный — никто не убежит. Хорошо уясни для себя это. Второе: не ищи поддержки ни у кого, считай, что твоя защита — это только я. Третье: всё, что увидишь или услышишь подозрительного, будешь доносить лично мне. Четвёртое: сейчас я тебя освобожу, на нашем языке это называется ручательством. Но учти, для ареста уже есть санкция, а в моём столе полно ордеров: сам заполню — сам посажу! Запомни это. Люди из НКВД тоже существа из плоти и крови, я всё понимаю, ты человек наивный, точно дитя, а такие безалаберные чаще других в огонь попадают. Попадёшь в огонь — дорога известная, легко и золой обернуться.

Есеней был ошеломлён. Наяву ли это, во сне ли? Что он слышит? Куда тот клонит? Раз отпускает, зачем ручательство? Выходит, опять затаскает?.. Спустя минуту Есеней, у которого голова шла кругом от этих вопросов, услышал голос Галиева:

¹ От фамилий крупных партийных и государственных деятелей, подвергшихся репрессиям и расстрелянных в 1938 году.

² Курук — длинный деревянный шест с верёвочной петлёй на конце, который используют для ловли лошадей.

— А теперь свободен, можешь идти, разрешаю. Понадобишься — сообщу сам.

* * *

Из НКВД Есене́й вышел шатаясь. Хоть бы что-то понял. Совсем запутал его Галиев. Все грехи, какие есть в мире, свалил на него и тут же будто забыл. Или всё это уловка? Но ему-то к чему хитрить? Кто такой Галиеву Есене́й? Судя по словам начальника НКВД, он и райком не признаёт, даже «первого» за человека не считает. Ухитрился прокурора Айтжанова посадить. Кругом такая неразбериха!.. Вспомнил ведь только что Дабылбаева. Эх, самым достойным среди джигитов он был... И как только Галиев сумел свалить второго секретаря райкома, заведующего орготделом?! А разве не засудил по пятьдесят восьмой статье Султана Досжанова — одного из крупных руководителей района скинул с поста, словно мяч какой-то! Как же это было? Да, всё началось с коня. Досжановский Султанкок — скакун, никому не уступавший в бегах, на беду приглянулся Галиеву — о, этот бранный мир!.. Действительно, Есене́й с Султаном всегда друг другу сочувствовали, сюда ведь Галиев клонит. Подлец, всё он знает...

* * *

На сердце у Есене́я тревожно. Скорее бы дойти до дома Бейсенбая, а оттуда, не задерживаясь, отправиться прямо в аул, да пропади пропадом такая жизнь! Голова человека, оказывается, всё равно что мяч. Эх, несчастный Ахан — наш Ахмет-ага, сын Байтурсына¹, как он сказал в своё время сильно:

*Сели в лодку утлую без вёсел,
Много испытаний в море ждёт...
Если ураган нас в бездну бросит,
В чём душа спасение найдёт?*

¹ Ахмет Байтурсынов — известный казахский учёный-лингвист, литературовед, тюрколог, педагог и просветитель, государственный и общественный деятель, один из лидеров Алаш-Орды. Трижды подвергался репрессиям, в 1934 году был освобождён из тюрьмы по ходатайству М. Пешковой, жены Максима Горького, в декабре 1937 года расстрелян как «враг народа».

*Без надежд живём уже давно мы —
Свищет буря и грохочут громы!
Оглянуться нам всё не с руки —
Распри, ложь, сердец ожесточенье
Вас погубят, горе-рыбаки!*

Разве это не наше нынешнее положение? Милый Жусипназар, как ты проникновенно пел, как вдохновенно, с какой горечью! Твой голос, переключаясь с зовом белых лебедей в синеве, так услаждал слух... Неужто и над твоей головой нависла опасность? Выходит, человек повинен и в том, что поёт. Эх, и сам каюсь, зачем полез тогда на рожон? Навлѣк на тебя беду, решив угодить Галиеву. Не надо было посылать за тобой пароконную, когда он приехал, зря приняли с почѣтом невежу, который и уважения не ценит! Кому же пришло в голову тебя очернить? Как бы теперь, подобно Ахану, тебе не пришлось, душа моя, сказать:

*Не оттого гнетѣт меня тоска,
Что от петли иль пули смерть близка,
Всего страшней, что лают и кусают
Свои же псы меня, как чужака.*

Нет, надо пораньше попасть в аул, надо предупредить Жусипназара... Разговоры насчѣт родовых пристрастий — ерунда. Есеней не стал даже думать об этом. Не зря говорят: «Собака лает — караван идѣт!» «Пустые слова, бред Галиева», — только и подумалось. Тяжело и страшно на сердце у Есеней от другого: выходит, в этом краю нет ни одного неопасного человека? Все либо враги, либо люди сомнительные... Тогда как же, для кого Советскую власть устанавливали, где народ? Знает ли об этом великий Сталин или закрывает на всё глаза? Почему?.. Вон какое руководство в правительстве — сплошные «исты». Страницы газет и журналов пестрят лозунгами — стрелять призывают, уничтожать... Когда же всему этому придѣт конец?

Есеней с тяжѣлыми мыслями вошѣл во двор Бейсенбая. Вид у него был такой, будто тушил пожар, — все, кто был в доме, ужаснулись.

— В конечном счете, всё вроде бы благополучно?



— Что?! — Есенеи опустился на стул в углу. — Дайте воды, есть вода?

— Сейчас, сейчас...

После краткого молчания Есенеи кивнул шофёру:

— Ну, теперь поехали! Нужно быстрее добраться до аула.

* * *

Люди в ауле сразу заметили, что Есенеи, который обычно бывает весел, вернулся из района мрачным. Жена Шалкен, ступая на цыпочках, стала тут же накрывать стол для чая.

— Шалкен, а, Шалкен!

— Ау, — откликнулась жена и тотчас предстала перед мужем.

— Наверно, не обойдётся, ты постели мне, что-то сердце выскакивает из груди, и голова кружится...

Есенеи как упал в тот раз будто подкошенный, так и остался в постели. Он всегда так болел — разом валился с ног.

* * *

Пока Есенеи болел, явился сотрудник НКВД, обыскал дом Жусипназара в Каракоге, перевернул всё вверх дном, а самого хозяина посадил в тюрьму.

«Покладистость» Галиева оказалась, конечно, уловкой — вскоре был арестован и сам Есенеи. Позже открылась причина, почему председателя «Карабидайька» не посадили сразу. В тот раз первый секретарь райкома не дал на это согласия, считая, что «необоснованно сажать в тюрьму председателя передового колхоза — настоящее преступление». Его мнение поддержали и члены бюро. Теперь же сам секретарь был признан «врагом народа», а по приезде в область арестован как «человек политически неблагонадежный». Руки Галиева стали свободны, и с клеймом «приближенный Башаева» Есенеи вошёл в камеру, где сидел Жусипназар, тринадцатым арестантом.

* * *

Мир, казалось, завертелся волчком. Ползли слухи. Сегодня один, назавтра другой оказывался в тюрьме. За что, за какую провинность? Никаких обвинений, говорили, позже поймёте. Привезут, посадят в камеру, запрут — на этом всё. Мало кто из аресто-

ванных мог точно объяснить, за что его посадили. Кто-то донёс, есть свидетели — вот и схватили. Бужай заведовал колхозной фермой. Коровы его остались яловыми. Вот и вся вина. Ясно — вредитель! Иманкула посадили за то, что не организовал у себя в хозяйстве кроличьей фермы из степных зайцев; Ерден провинился потому, что «забил колхозного коня на зиму и сделал сыну обрезание»: будучи сам сотрудником органов, остался, мол, верен отсталым дедовским традициям. А «преступление» Амира и вовсе тяжкое — он братишка Ахмета Байтурсынова, а значит, враг. Арестовали, привезли, заперли — «переписывался с братом»; в отдельной камере сидит его мать Айпан.

Жусипназар... Не сам, а искусство его повинно. Посадили за то, что пел. К тому же при обыске у него в доме обнаружили стихи Ахмета Байтурсынова, Миржакыпа Дулатова, Магжана Жумабаева и Шакарима, старинные сказания и поэмы, ну а самое крамольное — на дне сундука нашли Коран. «Выходит, лживыми оказались слова Сталина о том, что дети не отвечают за отцов», — сказал Есенею Жусипназар и усмехнулся: «У меня статья тяжёлая». Тринадцатый заключённый помнил, что и сам подлежит, по словам начальника НКВД, наказанию по пятьдесят восьмой статье.

У всех арестованных дела похожие. Сокамерники стараются друг друга успокоить, отвлечь. Жусипназар же, похоже, и вовсе не унывает: обмотает шею пуховым платком и начинает петь. Песни Кюйика! Конечно, среди узников хватало и пессимистов, и людей малодушных, а самое ужасное — попадались и галиевские шпионы, но такие в камере подолгу не «гостили». Как только они исчезали, число обитателей камеры заметно редело: кого-то из заключённых либо переводили в другое место, либо..

* * *

Сегодня начальник НКВД лично вызвал Жусипназара и допросил. В общем-то, недостатка в допросах Жусипназар не испытывал: беспокоили каждый день, и о чём только не спрашивали.

— Давно поёшь?

Жусипназар удивился:

— О чём вы?

Галиев, похоже, немного растерялся, замялся с ответом:

— Да так... как бы сказать... хотел тебя спросить, давно ли ты пение своим ремеслом избрал?

— Я никогда не считал пение ремеслом, вернее было бы сказать, что пение — это вся моя жизнь.

— Пах-пах! Не слишком ли вознёсся? Значит, пение — это твоя жизнь?

— Да, это так.

— Ладно, тогда перейдём к другой теме, а тема такова... — Галиев задумался. — Да, эти данные потребуются. Твой отец Байтурсын был арестован в двадцать восьмом году как бай и феодал, так?

— Трудно согласиться с вами, отец не был ни феодалом, ни баем, имевшим тысячи голов скота... как бы там ни было, его угнали с той огромной толпой, а что дальше — одному Богу известно...

— Как, как ты сказал?! — Начальник НКВД посуровел. — Что ещё за «огромная толпа»? Получается, по-твоему, его ни за что выслали?

— Думаю, да, иначе разве бы сослали в «край собачьих упряжек» человека среднего достатка?

— Так-так, понятно. Ты и здесь на Советы клеветешь! А твоё сравнение советской колонии с «краем собачьих упряжек» и вовсе неуместно. Если не укоротишь язык — тебе же хуже будет, предупреждаю!

— Что делать, коли истина такова: если силой увели беспомощного старика, дескать, бай он, манап, а весь дом и имущество конфисковали, что же может быть ещё большим насилием?

— Ладно, перейдём к твоей семье: кто у тебя в доме проживает? Перечисли всех родных и близких, никого не пропуская.

— У меня семья небольшая. Жена да двое детей.

— Как зовут жену?

— Хадиша.

— Назови имена детей.

— Шоптибай семи лет и грудной Жеткер.

— Кто ещё?

— Всё.

— А из братьев и сестер?

— Братьев нет, я единственный сын. Две старшие сестры, Марзия и Урзия, замужем.

— Какие ещё родственники есть?
 — Больше никого.
 — Хорошо-о! — протянул Галиев, записал сказанное Жусипназаром, а потом долго молча ходил по комнате.

И тут Жусипназар, будто у него иссякло терпение, поинтересовался:

— Зеке, зачем вам все это, объясните, кому понадобились мои домашние, родные и близкие?

— А-а, да это просто так, в конце концов, пригодится, — и начальник НКВД подошёл вплотную к Жусипназару. — Если я попрошу о чём-то, исполнишь?

Жусипназар в недоумении: «Какая просьба? Что ещё за хитрость всемогущего начальника кроется за ней?»

— ?!

— Не понял, да? Ладно, сядь. Я ведь тоже существо из плоти и крови. Ты неподражаемый певец, а душа у меня совсем опустела, спой-ка какую-нибудь песню! Передохнём немного.

Чего-чего, но никак не ожидавший подобного предложения, Жусипназар растерялся:

— Песню, говорите, ну и ну, какое может быть у меня сейчас настроение, а песня требует особого состояния... Не ожидал, неужто и вы умеете песни слушать?

— Ладно, браток, я всё понимаю, только не унижай такими словами. Ведь это время во всём виновато, а так... сколько песен всё ещё звучат вот в этих ушах! Послушай, творец, не отказывайся, начни какую-нибудь песню!

— Я поражён вашей просьбой, почтенный, песне приличествует место, а здесь... с каких таких радостей я должен запеть? Не шутите так, не издевайтесь надо мной, ведь песня для казахов священна!

— Люди говорят, что ты и в камере поёшь...

— А-а, так это песни протеста — возмущённое сердце о чём только не застенает, о чём не заплачет...

— А чья это песня, что начинается словами: «Эй, хан Турсын Катагана, кто подл, пусть клятвой будет поруган! Кто безвинный народ рыдать заставил?»

— Так ведь это Маргаска-жырау, и слова, и мелодия его.

— А где он?

— Кости этого человека обратились в прах ещё в незапамятные времена.

— Так-так, а чья песня «Унижение от врага»?

— Тоже старых акынов.

— Тогда ты вот эту спой! Спой «Ржанье коней», ту песню, что всю тюрьму всколыхнула, народ взволновала.

— Почтенный, я ведь попросил, не мучайте меня без надобности.

— Нет, споёшь, если не станешь — силой заставлю!

— ?!

— На, возьми домбру! Все равно споёшь!

Жусипназар больше не стал противиться. Взял домбру и с тоской и горечью запел «Ржанье коней» Актамберды:

*Под ржанье встревоженных коней
Кобылу тёмно-рыжую седлаю.
Какая упряжь знатная на ней!
Пускаюсь вскачь я по степному краю.
На берегу сойду, потом шатёр
Поставлю на зелёной луговине,
И вспыхнет ярким пламенем костёр!
Придёт пора, и весь степной народ
Вслед за дружиной верною пойдёт.
Проляжет путь его прямой стрелы
К вершинам Кулаты в песках Бетпакдалы.
Батыры смелые нас поведут вперёд.
Глухая степь жарой изнурена,
Дорогой жизни станет ли она?
Озёра счастья заблестят повсюду,
И гордой песней огласят округу.
Поселимся мы у подножья гор,
И сразу вспыхнет праздник небывалый.
Пусть молодость свой выплеснет задор!
А за порядком пусть следит, пожалуй,
Судья, что возведён на торь¹.
Джигитов верных вкруг себя собрав,*

¹ Торь — почётное место.

*Шатры на солнечных холмах подняв,
 Гостей бы щедро угощать мы стали
 И казана с огня бы не снимали.
 Вокруг — народ, и каждому несут
 Такое блюдо, что, наверно, тут
 И десятеро б справились едва ли.
 Старейшины расположатся в ряд,
 Вниманью и почёту каждый рад.
 Нукары¹ жадно слушают их речи.
 Видны их спины — словно ряд холмов,
 И шеи мощные, как у быков,
 И руки богатырские, и плечи.
 Здесь ювелиров труд особо чтят,
 Стрелков, что цель без промаха разят...
 Весна благая к нам идёт спеша!
 И вот как лебедь раненый стенает,
 Как ледоход могучий громыхает,
 Как над домброй Кайрауык рыдает —
 Полна молитвой каждая душа...*

Если он и начал по принуждению песнь, ставшую его вечной спутницей, то теперь постепенно расслабился. В какой-то миг, будто напрочь забыв, что стоит перед собственным следователем, Жусипназар вдохновился и запел ещё свободнее. Пел не останавливаясь, как лилась мелодия. Сердце, созданное для стихов и музыки, переполняли чувства, и оно едва не разрывалось от их избытка. Страдания и печаль, слёзы, которые душили грудь, рыдающая домбра, казалось, затопили всё вокруг...

Каменный взгляд Галиева наткнулся на Жусипназара и тут же ускользнул. Взор певца затуманили слёзы, но они не пролились: глаза узника были полны, как озёра, и лишь поблескивали. О жизнь!.. Начальник НКВД — и он ведь человек — опустил голову. Когда через некоторое время поднял её, вконец испугался. Голос, видно, слышен был далеко. Собралось множество людей, в том числе и собственные сотрудники. Во дворе толпятся, на улице, у окон... Видимо-невидимо! Люди, окаменев, слушали певца. Ник-

¹ Нукер — представитель личной охраны правителя.

то не шелохнётся. Что он наделал?! Быстро вскочив с места, приказал:

— Прекрати! Немедленно прекрати!

Певец на Галиева и внимания не обратил, продолжал петь.

Руки начальника НКВД потянулись к звонку. В дверях показался старшина в милицейской форме.

— Уведи арестованного! Немедленно уведи! Сомнения рассеялись. Он настоящий вредитель. И идеи его теперь ясны. Пятьдесят восьмая статья! Нашёл! — закричал он. — Политические песни! Настоящая отсталость и чистый феодализм!

Песня оборвалась. Жусипназару было радостно. Кажется, он будто и не слышал слов Галиева — спокойно зашагал впереди старшины.

* * *

...Не прошло и недели, как разнёсся слух, что Жусипназар с Есенеем этапированы в кустанайскую «белую тюрьму». Позже стало известно, что осудили их по пятьдесят восьмой статье.

ТУЛЕК ТЛЕУХАНОВ

ОТЕЦ И МАТЬ БЕЙСЕНА

Если бы кто-то поинтересовался, зачем он встаёт ни свет, ни заря и, наскоро попив чаю, сразу же садится за работу, старик не нашёлся бы что ответить. Быть может, оттого, что не понял бы вопроса. Деньги? Да нет, ведь он берёт за свои труды сущие гроши, а с иных и вовсе ни копейки не требует. Слава? Какая там слава у аульного сапожника! Впрочем, определённую известность его мастерство и всё ещё верная рука имеют. Достаточно прочную и почётную: соседи к нему тянутся с заказами не потому, что кроме него в ауле никто не шьёт, не чинит обувь. Время-то нынче — почти у каждой семьи автомобиль, мотоцикл, да и на рейсовом автобусе до города путь недалёк. Казалось бы, чего уж проще — езжай туда, да и заказывай себе обувь по вкусу. Но искусству городских мастеров односельчане предпочитает работу своего старого, надёжного сапожника. А он держит марку, старается так, словно для выставки готовит каждую пару обуви. Отсюда и требовательность, с какой относится буквально к каждой мелочи. Вот он придирчиво не просто осмотрел, а прощупал каждый лоскуток кожи, потом взялся за жилы. И сразу же недовольно нахмурил брови, сокрушенно покрутил головой.

— Эй, старая, тебе, видать, на покой пора, а? — бросил он жене, своей единственной помощнице. «Подмастерьем» её не назовёшь, за мужское дело она и не пыталась браться, но очень многое зависело и от неё — как она попотеет над заготовками. — Давно ли тебя упрекнуть было не в чем? Ведь как ты старалась: возмёшь в руки кусок кожи — приятно! Хорошо жёнушка постаралась! А жилы, тобой обработанные?! Ровные, гладкие! Не вру, ей богу, впереди иглы бежали! А сейчас? Ну вот взгляни-ка хотя бы на эту: местами толстая, а местами тоньше волоска. Разве так можно?

Старуха, перебивавшая возле печи жилы, устало подняла голову.

— Скажи спасибо, что хоть такая получилась, — спокойно сказала она.

— Где ты набрал такого добра? Видать, вконец заезженной кляче принадлежали и шкура, и жилы...

— Конечно, конечно, — притворно согласился старик. — Это же первое дело любого лентяя — обвинить во всех бедах кого-нибудь другого, свалить свою вину на что угодно, только бы себя обелить...

И хотя подобный разговор возникал каждое утро, старуха не могла привыкнуть к несправедливым обвинениям. Она даже работу прекратила.

— Да ты сам попробуй, а потом уж говори, — обиженно сказала она. — Вот помни хотя бы эту жилу, посмотрим, что у тебя получится!

— Да уж, конечно, придётся самому, — ворчит старик. — Если уж жена мне досталась безрукая, помощи ждать нечего. Хотя могла бы взять молоток, да на наковальне хорошенько простучать.

— Спасибо, что подсказал, язвительно, — поблагодорила жена. — А то я без тебя не знаю, как поступить. Только эту распроклятую жилу и молоток не берёт. Я ведь пробовала, разве не слышал?! Или оглох уж совсем...

Старик, не обращая внимания на нападки, берёт жилу в руки, долго мнёт её крепкими толстыми пальцами.

— Н-да, подарочек, — бормочет он и кладёт жилу на наковальню. Бьёт потихоньку большим молотком, но не поддаётся ударам жила. Лишь слегка пружинит. — Тьфу ты, ну ничто её не берёт. Или и у меня уж силёнки нету...

— Ну вот, — удовлетворённо говорит старуха. — А ты набросился — лентяйка, лентяйка. Теперь убедился, что дело не во мне?

— Ничуть ни бывало, — усмехается старик. — В тебе и есть загвоздка. Вечно ты споришь, вечно с больной головы да на здоровую пытаешься всё свалить. А люди тебя ещё простодушной считают! Это потому что видят редко. Прожил бы кто-нибудь с тобой под одной крышей хотя бы день, вмиг бы переменил мнение! Ведь тебе даже не важно чего ты добьёшься — лишь бы против чего-нибудь возразить.

— О-о, оседлал любимого конька! Теперь тебя не остановишь. Ну ладно, я хозяйка плохая, помощница никудушная, а задумайся хоть на минутку, ну что ты будешь делать без меня?!

— Что буду делать? — переспрашивает старик очень серьёзно, будто и впрямь его заставил задуматься этот вопрос. — А чего тут голову ломать, я от тебя не скрываю, что имею виды на Жамиш. Два года уже женщина вдовствует, поди уж осточертело ей одиночество. И стоит мне лишь посвататься, как вдовушка потеряет голову от счастья...

— Велико счастье — старая развалина, — насмешливо щурит глаза жена.

— Ну, не такая уж я развалина, — возражает старик. — Кое на что ещё способен. Единственное, что я не смогу — так это устоять против огненных взглядов Жамиш! Как она глазками стреляет, когда к нам приходит!

— Я эту бесстыдницу больше на порог не пущу, — вскипает старуха. — Но и ты хорош...

— Да, ещё ничего, вполне готов в женихах ходить, — соглашается старик. — А что? Главное, все будут довольны. Я наконец-то обрету ласковую, послушную жену, добрую помощницу и хорошую хозяйку. Не останется внакладе и Жамиш — в годах, правда, чего уж скрывать, её муженёк будет, но ещё крепок. Ещё как крепок! Но больше всех выгадаешь ты: от забот подмастерья освободишься полностью. Хочешь, радио слушай, хочешь, сама песни пой! По дому дел значительно поубавится: за мной-то ухаживать Жамиш будет, готовить тебе тоже только для себя. Ну и ворчать-поучать после нашего развода на тебя уж некому. Вот жизнь настанет!

Старуха обиженно поджимает губы, подслеповато моргает глазами от обиды. Явно не находя слов.

— А как ты дом собираешься делить? — наконец спрашивает она. — Или выгонишь меня за порог?

— Ну, зачем же, — старик видит, что задел за живое жену. — Бессердечным я никогда не был, верно? Оставайся здесь, а я к Жамиш жить перейду.

— Позор-то какой! Что люди скажут — пришлый зять!

— Это для молодого обидно. А мне, старику, наплевать. Пусть болтают, что хотят.

— Ойбай, а сына её куда денешь?!

— Думаешь, ему отец не нужен? Он хоть и сам взрослый, а вот посмотришь — обрадуется.

Старуха опять замолкает. Разговоры про развод, про сватовство старика к вдове Жамиш ведутся чуть ли не ежедневно. Женщина понимала, что всё это не просто несерьёзно, а даже беззлбно. И всё же каждый раз непритворно сердилась, переживала. И радовалась, когда старик прекращал делиться с ней своими планами.

— Ты не видела, где мой оселок? — как ни в чем не бывало спрашивает старик.

— У меня одна забота — смотреть за твоим инструментом, — отвечает старуха, и голос её дрожит от обиды.

— Да я и прошу, чтобы ты следила, но каждый день умоляю — не прикасайся ни к чему! — голос старика непритворно строг. — Дело даже не в том, что я зря время теряю. Настроение, понимаешь, портится, а шить сапоги в скверном расположении духа...

Старый сапожник не договаривает, лишь безнадежно машет рукой.

— Поклясться могу, не брала я твой оселок сегодня, — скороговоркой заверяет старуха. — Посуди сам — ну зачем он мне?!

— Вот-вот! Как вещь бесполезную ты его затолкала куда-нибудь, теперь с собаками не найдёшь, — говорит старик, но похоже, гнев его начинает стихать.

— Ойбай, с этими глупыми разговорами про развод и сватовство я ведь чуть не забыла про просьбу Жамиш, — старуха горестно взмахивает руками, Она уже поняла, что гроза миновала. — Совсем из головы вылетело, как же это я?

— Ну что ты тянешь, не можешь сказать сразу, — старик ворчит больше из желания показать, что до конца старуха не прощена. — Чего же хочет от меня это вдовушка с огненным взглядом?

— Неужели не догадываешься, откуда этот огонь? — торопливо, опасаясь, что разговор вновь войдёт в неприятное для неё русло, сказала старуха. — Хотя и грешно про мертвецов говорить плохое, но покойный Онгарбай... ты ведь и сам хорошо знаешь... в общем, помучилась с ним Жамиш. Только-только в себя приходит.

— Выходит, избавилась от жестокого мужа и, хотя и поздновато, на склоне лет, почувствовала, как прекрасна жизнь, — хмыкнул старик. — Не удивлюсь, если услышу от тебя признания, что единственное твоё желание — овдоветь как можно скорее.

— Ну что ты за человек, — всплескивает руками старуха. — Приписываешь мне мысли, которых у меня нет, да такие чёрные...

— Почему же чёрные, — не соглашается старик. — Тебя ожидает светлое будущее. Представляешь, сама себе хозяйка...

— Опять о своём, — перебивает его старуха. — Заладил — «сама себе хозяйка, сама себе хозяйка»... Какая же в этом радость?

— Огромная! — уверяет старик. — Сейчас тебе это понять трудно, а вот похоронишь меня, справишь семь дней, затем сорок, вот тут и почувствуешь...

— Ничего я не почувствую, — грустно и серьёзно сказала старуха. — После тебя я и дня не проживу.

— Тьфу ты! — старик в сердцах даже заготовки для подошвы, которые он старательно перебирал, бросил обратно в ящик. — Ну что вы, женщины, за народ такой? Ну откуда такая уверенность?! Послушаешь, и впрямь поверишь, что так оно и будет. А пораскинь мозгами — разве это возможно? Ты что же, руки на себя наложишь? Повесишься, утопишься?

— Желание моё чистое, Создатель сам исполнит его, — так же серьёзно и так же уверенно отвечала старуха.

— А-а, ну если ты Создателя в союзники избрала, тогда конечно, — делает вид, что отступает, старик. — Тогда действительно, как жизнь прожили вместе, так и уйдём из неё. — Жаль вот только...

Он не договаривает, но жена прекрасно понимает, что хотел сказать старик.

— Нынешней ночью опять Бейсена во сне видела, — почему-то шёпотом говорит она. — Всё такой же молодой, каким на фронт уходил.

— Ну перестань, — мягко просит старик.

— Не верю, что он погиб, — упрямо продолжает старуха. — Если бы так, то почему он так часто ко мне во сне приходит? Должно быть, живёт где-нибудь далеко-далеко...

— Всё может быть, всё может быть, — голос старика задрожал. — Да что с тобой сегодня, ты словно решила... Это самое... С

одного на другое перескакиваешь. Начала говорить про просьбу Жамиш, а что нужно вдове, так и не сказала.

— Ах, да, совсем забыла. Просила Жамиш починить её ичиги, — спохватилась старуха. — Говорит, что после смерти Онгарбая рассчитывать на обновку ей не приходится, придётся носить старенькие ичиги.

— Вот, — удовлетворенно сказал старик, обрадовавшись, что тема разговора сменилась. — Вот! Пока мы, мужья, живы, вы, то есть жёны, нас не цените. А стоит нам только переселиться в мир иной, как тут же начинаются жалостливые охи, горестные вздохи...

— Ну, Жамиш не очень-то жалуется на судьбу, — возразила старуха. — И что мне особенно понравилась, так это её поведение. Она не просила починить, а приказала починить. Как будто мы у неё в долгу неоплатном!

— Ты же знаешь пословицу: «Муж да жена — одна сатана», — усмехнулся старик. — Столько лет они прожили с Онгарбаем, вот и научилась она у муженька кое-чему.

— Я думала, ты давно простил и забыл...

— Простить-то я действительно простил, но с какой стати буду забывать, — буркнул старик.

...Разумеется, в те далекие времена они были иными. Она — смешливой девушкой с озорными глазками; он — стройный джигит с чёрными, как смоль, усами. Был у него нежный, бархатный баритон, а песен он знал великое множество. Он был нездешний, и в этот аул приехал погостить у родственников, но как-то сразу стал своим среди молодежи. Была ли тому причиной внешность или умение петь вдвоём... — кто знает. Ещё презжий джигит прославился тем, что никто не мог соперничать с ним на алтыбакане¹ — этих качелях, с которых иных вовсе не робких и не слабеньких джигитов приходилось снимать и уводить под руки... А черноусый гость раскачивал качели так, что даже у наблюдавших за ним дух захватывало!

...Через несколько дней презжий почувствовал, что озорные глазки красавицы выделяют его в толпе джигитов. И с той минуты всё стал делать для неё: если пел — то как для неё одной, если схва-

¹ Алтыбакан — национальная казахская игра на качелях.

тывался бороться с местными силачами, то, после того, как противник был повержен на лопатки, отыскивал среди девушек её глаза — видела, какую победу ради тебя я одержал?

А однажды подошёл и пригласил на алтыбакан. Подруги долго не пускали её — с этим сумасшедшим на качели?! Но она освободилась из их рук и шагнула к джигиту. Укачало же её! Правда, потом те же подруги удивлялись: что-то случилось с джигитом, на этот раз он вроде как оробел и сильно не раскачивался. Или и без того у него голова кругом шла?!

...Они встретились дня через три. Девушка сразу же сказала, что она уже просватана, её жених живёт в соседнем ауле, свадьба — дело решённое. А джигит в ответ на это пристыдил её и всё призывал оглядеться вокруг. Время-то какое — женщин наконец-то вызволили из кабалы. Что значит «просватали»? Сама-то она жениха любит, или хотя бы принимала участие в выборе будущего супруга?! Сейчас поддаться воле родителей и родственников легко, да не пришлось бы потом сожалеть всю оставшуюся жизнь... Девушка не возражала — да и чем тут возразишь! — однако и на уговоры джигита уехать вместе с ним не соглашалась. И всё-таки ещё через три дня она решилась...

— До сих пор удивляюсь, — вздохнула старуха. — Ну откуда в ночи взялся Онгарбай? Я так испугалась, когда увидела его на дороге... Как он мог знать, что именно здесь мы поедем?

— Следил за нами, вот и весь секрет, — пояснил старик. — Он же тогда в «активистах» числился, а активистам до всего есть дело и всюду они вмешиваются, лишь бы власть свою показать.

— Может, ты и прав, — старуха в сомнении покачала головой, — только активист настоящий нам бы помогал. Ведь мы старые устои рушили своим поступком. А Онгарбай, наоборот, пытался вернуть меня к родителям.

— Душонка у него такая мелкая и завистливая, — усмехнулся старик. — К тому же жаден безмерно.

— Ой, не надо столько плохого про покойника, — запротестовала старуха.

— Может, он не знал толком, как правильно поступить?

— Да уж нет, как раз это он очень хорошо знал...

...Да, выросший будто из-под земли Онгарбай преградил им дорогу. И сразу же начал вести допрос: куда путь держите, почему

так поздно, знают ли родители девушки, что она ночью одна в степи с чужаком...

Поначалу опасность не показалась им значительной. Ну кто такой, в самом деле, Онгарбай? Их сверстник, значит, должен понять и одобрить смелый по тем временам поступок. Они и таиться не стали — рассказали всё как есть, ничего не скрывая. Онгарбай слушал, хмурия брови, вздыхал, досадливо кричал. По лицу его (ночь хотя и лунная, но всё-таки ночь) нельзя было понять, тронул рассказ влюблённых его сердце или нет. Когда беглецы умолкли (а говорили они, перебивая друг друга, довольно долго, джигит не забыл пожаловаться, что несколько вечеров тратил своё красноречие впустую, никак не мог уговорить девушку на решительный шаг), активист посмотрел в сторону аула, откуда доносился приглушённый лай собак.

— Значит, насильно увозишь дочь бедняка, — сделал неожиданный вывод из рассказа джигита Онгарбай. — А ты подумал, какое это горе, какой позор для родителей? И так, несчастные, ничего светлого в своей жизни не видели, а теперь и дочери лишили.

Джигит и девушка вновь принялись наперебой убеждать активиста, что всё далеко не так, что они любят друг друга, и их совместная счастливая жизнь как раз обрадует, а не огорчит родителей девушки. И позора никакого в их поступке нет — они же с обоюдного согласия решились на побег. На все доводы Онгарбай отвечал односложно — поворачивай, дескать, назад в аул, там соберём людей, решим. Верить вам или нет, И вдруг девушку осенило: она сняла с пальца серебряное колечко и протянула его Онгарбаю.

— Возьми на память, — попросила она. — А встретишь девушку, полюбишь её, тебе колечко поможет добиться взаимности...

— Ну зачем же, — сделал вид, что смутился, Онгарбай. — Кольцо-то, наверное, дорогое... Ну, если как талисман, тогда возьму...

Но с дороги не съехал, словно окончательно не решил для себя — отпускать влюблённых с миром или выполнить свой долг «активиста».

— Хорошо сплетена твоя камча, сказал он наконец джигиту. — Я ещё днём любовался ею и понял, что большой мастер над ней трудился...

Толстую камчу-восьмиплётку джигиту подарил его отец, который умел не только превосходно шить сапоги. Ручка из боярышника обшита мягкой чёрной кожей, в трёх местах медные кольца украшали и укрепляли плетение. Джигиту было жаль камчи не только потому, что она — предмет зависти сверстников, но и потому, что подарил её отец, велел беречь. Поколебавшись мгновение, он протянул камчу Онгарбаю. Лишь тогда тот оставил их в покое и даже пожелал счастливого пути. Однако прошло совсем немного времени, как они услышали, что их догоняют. На этот раз они испугались — кто же на этот раз преследует их? Оказалось, всё тот же активист.

— Стыдно стало, — пояснил он, приближаясь. — Как же мог продаться за такие пустяки — колечко и камчу!

— А если бы подарки наши были подороже, — наливаясь гневом, спросил джигит, тогда бы совесть тебя не грызла?!

— Что рассуждать, когда вы решили заткнуть мне в рот бездельщиками, — усмехнулся активист. — Вот если вам не жалко чего-нибудь подороже...

А что было взять с беглецов, когда у них за душой — лишь вера в счастливое будущее? Джигит чувствовал, что ещё минута — и он уже не сможет сдерживать себя. Распалаяло не только наглое вымогательство, но и факт, что исходило оно от жалкого, тщедушного Онгарбая. Такого даже не кулаком, щелчком из седла выбить можно. А то просто взять за шиворот, потряхнуть хорошенько, да потом к кусту боярышника привязать, чтобы не напакостил, не привёл погоню...

— Ну, джигит, неужели из-за какого-то чапана со своей любимой расстанешься? — издевательски поинтересовался Онгарбай. — Зачем тебе — ты уже завоевал сердце красавицы. А мне ещё предстоит искать себе невесту. Вот в этом чапане...

Бархатный чапан, который достался отцу в уплату за работу, был для джигита и своеобразным капиталом, и единственной в ту пору справной одеждой. Да и стоил немало: отец для дочери бая сделал замечательное седло, уздечку, камчу, трудился долго и с душой. Но делать было нечего, не убивать же вымогателя! К тому же, до того как удастся его прикончить, он такой визг поднимет, что всполошатся не только в ближайшем ауле девушки, но и, пожалуй, в других, за десятки километров отсюда...

— Скажи, старик, если уж ты действительно помнишь каждую мелочь тех дней, не жаль тебе было отдавать чапан? — спросила старуха.

— Скажу не жаль — не поверишь, скажу жаль — обидишься, — уклонился от прямого ответа старик. — Но ведь тогда-то выбор у меня тоже невелик был: сохряню чапан — потеряю тебя, тебя с собой увезу — чапан придётся прежде отдать. Ты, видать, в те годы грела меня лучше, чем бархатный чапан, вот я и сделал выбор.

— Бессовестный, — улыбнулась старуха. — Мог бы и покрасивше ответить. Сказал бы: «А кто бы мне тогда родил Бейсена?»

Старик морщится, потому что разговор грозит вновь вернуться к болезненной теме. Он что-то бормочет и делает вид, что полностью погрузился в дело. Отвлекать его в такой момент опасно, старуха это знает, поэтому она прикусывает губу. Но и старику неловко, что он прервал разговор.

— Скажи своей подруге Жамиш, — произносит он как бы между прочим, — пусть принесит ичиги. Так уж и быть, залатаю как следует. Никто и не подумает, что обувка старая: постараюсь, чтобы у вдовушки и крепкие, и красивые сапожки были.

Старуха одобрительно кивает головой и молча любит работу мужа. Вот он берет уже почти готовое голенище, острым сапожным ножом проводит по шву, и все неровности тонкими спиральками падают на фартук. Сапожник шкуркой, словно полируя, приходится по шву, затем чёрной ваксой закрашивает надрезы. Ни одного лишнего движения, ни малейшего признака суеты либо поспешности — красиво работал старый сапожник! Бережно положив заготовку на столик, он с наслаждением распрямил спину, потянулся и задумчиво посмотрел в окно.

— Надо бы в лес сходить, — как бы советуясь с женой или просто рассуждая вслух сказал старик. — Погода позволяет... Вообще-то гвозди деревянные у меня ещё есть, но чего ждать? Потом приспичит, и обязательно, как назло, дожди зарядят. А в дождь рубить березу...

Старик безнадёжным взмахом руки закончил фразу, мол, это же совсем пустое дело — ходить на рубку в непогоду. Старуха не возражает, потому что знает истинную причину сборов: для мужа поход в лес не просто смена занятия. Несколько раз она тоже ходила в ближайшую рощицу — не помогать, а просто из интереса.



И каждый раз старый сапожник из казалась бы простой и тяжёлой работы устраивал представление. Он обходил не спеша рощицу, изредка шершавой рукой глядя стволы берёзок, казалось, что цепким взглядом он примечает всё на облюбованном дереве: количество веток, толщину ствола, белизну бересты. Вот уже вроде облюбовал деревце, прикинул, с какой стороны начинать рубить, куда рухнет ствол. Но вдруг старик недовольно морщится и бормочет что-нибудь вроде: «Э-э, знаем мы тебя, ты только с виду ничего. А внутри-то, пожалуй, труха трухой... Какие же колодки или гвозди из трухлявого ствола изобразишь? Только на дрова и годишься». Иногда старик явно хитрит — красивые, стройные березки он обходит стороной, и не потому, что сомневается в крепости красавиц, просто на красоту у него топор не поднимается...

— Ну что же, раз считаешь нужным, сходи, конечно, — после долгой паузы соглашается старуха. — Да и я, пожалуй, пройду с тобой, косточки разомну, лесным воздухом подышу...

— Ой, вот так не договаривались, — старик насмешливо щурит глаза. — На обратном пути мне же придётся тащить и чурбан, и тебя...

— Дожила, — горестно замечает старуха. — Раньше ты меня с чурбаном не сравнивал...

— Я и сейчас этого не делаю, — примирительно возразил старик. — Но что ты обидного нашла в том, что я тебя, как прежде, готов носить на руках?

— Вместе с чурбаном, — мстительно напоминает старуха. — Вроде как обузу...

— Да ну тебя, — отмахивается старик, довольный, что ему удалось опять задеть жену. — Придираешься к словам, хотя и знаешь, что у меня и в мыслях нет желания обидеть тебя.

— Конечно, конечно, — насмешливо говорит старуха. — Ты не хотел меня обидеть, только ласково напомнил, что я до того немошна, что уже ни на что не гожусь...

— Да что ты, в самом деле, с утра взялась ворчать? — старик начал сердиться. — Или во сне что-то ужасное привиделось?!

— Я же тебе говарила — опять Бейсена видела, — напомнила старуха. — Весёлый такой, задорный. Он всегда таким был — наверное оттого, что когда я его ещё в утробе носила, у нас всё ладно...



лось, всё получалось. И достаток в доме был, и соседи уважали. Помнишь, даже Онгарбай — он к тому времени успел жениться на Жамиш — появился в гости.

— Как я тогда удержался? Столько лет прошло, а до сих пор не пойму своего поступка, — старик сокрушённо качает головой. — Ведь хотел прямо на пороге его спросить — что, мол, чапан мой назад принёс или жене решил колечко возвратить?

— Ну перестань, — мягко укорила старуха. — Ты же понимаешь, что человек — раб времени. А Онгарбай в ту пору вёл себя как многие другие, ничего зазорного в своих поступках не видел.

— Эй, а ну-ка напomini мне, когда это я подличал, кому это — родственникам, соседям пакости устраивал? — старик от возмущения прекратил работу. — Человек — раб времени, так любую подлость оправдать можно!

— О тебе и речи нет, — улыбнулась старуха. — Ты у меня... Хорошо, что я сразу почувствовала какой ты, ну и без оглядки на родителей, на подруг и соседей убежала с тобой. Сейчас-то можно признаться — Создателя благодарила, что на мне остановил ты свой выбор. Ведь сколько в нашем ауле красавиц было, могла бы понравиться не я, а другая девушка.

— Старуха, ты на старости лет становишься мудрой, — старик молодцевато приосанился. — Теперь вот за верный глаз меня хвалишь, за правильный выбор.

— Ой, какой ты у меня ещё молодой, — старуха смеялась, прикрыв рот ладонью. — Нет, вы только на него поглядите: спину не горбит, плечи широкие, глаза как у юного джигита блестят...

— Остановись, совсем захвалишь, — расхохотался старик. — Ты учти, во всём нужна мера — ни больше, ни меньше. Я ведь на лесь слабый, вдруг поверю тебе, да распущу павлиний хвост, да отправлюсь вместе с молодыми на танцы в клуб.

— Запрещать не стану, — сказала старуха. — Хоть в кино, хоть на танцы — иди, пожалуйста.

— Вот спасибо! — прижал руки к груди старик. — А уж если так добра, разреши после танцев ещё и на гуляние сходить. Глядишь, тряхну стариной, на алтыбакане с какой-нибудь молодухой покачаюсь...

— Давай, давай, — притворно радостно говорит старуха. — только тогда мне тебя придётся домой тащить...

Они представили себе эту картину — маленькая сухонькая женщина несет на спине крупного, потерявшего в развлечениях силы мужа. Соседи, кто сочувственно, кто осуждающе кричат вслед каждый своё... Оба смеются от души, до слёз...

— А ты слышала, что Жамиш своего внука женить собирает-ся? — став серьезным, спрашивает старик. — Уже будто бы и девушку сосватали...

— Да я же тебе первой и принесла эту новость, — напоминает старуха. — Но это же что получается? Выходит, и нашему Бейсену подошло бы время становиться дедом?

— Конечно. Считаю сама — когда родился Бейсен, тебе было девятнадцать, а мне двадцать три года, — рассуждает старик. На фронт он ушёл, когда ему только-только восемнадцать исполнилось, с той поры прошло ровно тридцать лет. Вполне возможно, что Бейсен поджидал бы сейчас внуков. А тебе бы, старая, пришлось возиться с правнуками...

— Тоже, нашёл обузу, — старуха мелко-мелко заморгала, губы её задрожали. — Да я бы и с внуками, и с правнуками...

— Эй, ты чего это, мокроту разводить собралась?! — деланно строго прикрикнул старик. — Будешь слюни распускать, так я мигом переведу разговор на голенища и дратву.

— И охотником он был удачливым, — спокойно сказала старуха. — Совсем ещё маленьким затравил лису...

Свою первую добычу Бейсен подарил старейшине аула. Соседи гурьбой повалили в их дом, пришлось быстренько в большом котле варить бесбармак. Мужчины удивлялись удачливости юного охотника, наперебой поздравляли его с «почином». А Бейсен только болезненно хмурился и, казалось, был вовсе не рад своему трофею. Мать, улучив минутку, спросила его, в чём дело. Лису жалко, признался Бейсен, ведь она так прекрасна, грациозна, когда была живая, а сейчас... И больше никогда Бейсена ни взрослые, ни сверстники не могли сманить на охоту. Та лиса была первой и последней его добычей. А может, они невольно приукрашивают своего сына? Память воскрещает только хорошие дела Бейсена. Как он по хозяйству помогал. Каким ласковым и добрым был, как искусно на домбре играл. Соседи его любили, многие девушки аула поглядывали на него, а иные и заглядывались. Что же, и внешностью Бейсен удался: высокий, стройный, широкоплечий. Под-

купала и его почти детская искренность в разговоре. Он никогда не отводил взор в сторону, смотрел прямо в глаза собеседнику, и верилось, что такой юлить, врать, прятать истинный смысл за красивыми лживыми словами не станет...

— Тебя я проводила на фронт и в тот же день получила первое письмо от Бейсена. С фронта. Как же так жизнь устроена! Понимала, что глупо рассуждаю, но так хотелось, чтобы вы были рядом, в минуты опасности выручали друг друга.

— Всё это от невежества, — мягко усмехнулся старик. — Ведь линия фронта — тысячи километров, это же какую счастливую звезду нужно иметь, чтобы попасть пусть не во взвод, пусть даже не в батальон, а хотя бы в одну дивизию с сыном...

Как только отец узнал номер полевой почты Бейсена, они начали переписываться. И в каждой весточке уговаривали друг друга почаще писать ей, жене и матери. Им-то тут нелегко, а каково ей там, за тысячи километров?! Оба воевали хорошо, подтверждением чему были боевые награды. Однако в душе отец понимал, что очень многими до безрассудства храбрыми своими поступками он обязан сыну: столько раз жертвовал собой ради жизни Бейсена! Сейчас бы он не смог объяснить, откуда у него появилась эта мысль, но он был твёрдо уверен, что двоих из одной семьи война поглотит. И лез под пули там, где следовало бы побережиться. Не страсть отличиться, а та самая уверенность, что если убьют его, Бейсен останется жив, придавала в каждом бою его поведению оттенок бесшабашной отваги. В какой-то мере расчёт, если это ни на чём не основанное убеждение можно было назвать расчётом, подтвердился: один остался навечно в чужой земле, другой вернулся домой. Но в главном не сбылось: ушёл из жизни юный сын, а не его отец. Жертвы, как бы ни благородны, ни чисты они были, иногда не помогают тем, кто их приносит...

— А помнишь его последнее письмо... — начала старуха, но вздрогнула и замолчала.

Старик, что бывало с ним крайне редко, скомкал кусок кожи и со злостью бросил его в ящик. Резко снял с себя фартук и не сложил аккуратно, как всегда это делал, а швырнул в угол.

— Помнишь, помнишь... — передразнил он жену. — Устроила день воспоминаний! Конечно, всё помню, каждую мелочь. Но нельзя же с утра до вечера говорить об этом! Или думаешь, что от



старости у меня сердце окаменело?! Я ведь работаю, а что под такой разговор у меня получится? Всем всего не объяснишь, скажут люди, что без души работал. И откуда им знать, что душу заняли воспоминания.

— Разговаривал как человек, и вдруг... — старуха удивлённо прищёлкнула языком.

Старик хотел и на это что-то возразить, но махнул рукой и вышел на улицу.

Ничего, подумала старуха, он долго не сердится, скоро у него пройдёт ярость. Ведь сына своего они помнят всегда, а разговаривают о нём вот так, как сегодня, редко. Очень редко...

МУХТАР МАГАУИН

АРХИВНАЯ ИСТОРИЯ

Мы с ним случайно встретились на улице. Хотя и живём в одном городе, не виделись уже около года. Всё такой же. Не в смысле, как в прошлом году, как в позапрошлом. Такой же, как десять лет назад, когда мы учились в аспирантуре. Фетровая шляпа со сломанным передним полем, надвинутая на глаза. Чёрно-белый шарф, небрежно обмотанный вокруг шеи. Короткое демисезонное пальто. Узкие брючки. Туфли на толстой подошве. В левой руке как бы между прочим зажаты чёрные кожаные перчатки. Мода меняется, сменяются времена года — Сембек неизменно одинаков. И в осенний дождь, и в зимние морозы он одевается в одно и то же. И не только в одежде он постоянен. Нисколько не изменился он сам: тот же нелюдимый характер, та же манера говорить — всё как десять лет назад.

А в первые месяцы знакомства с этим парнем я ничуть не сомневался, что он человек необыкновенный, что его ждёт большое будущее — будущее великого ученого. Было ему тогда двадцать два года. Закончив с отличием исторический факультет, он по решению учёного совета был оставлен в аспирантуре. Казахским и русским языками он владел одинаково превосходно. Недурно знал английский и немецкий. И ещё, я слышал, делал успехи в изучении персидского и арабского, а в перспективе у него был и китайский. Мне тоже в ту пору едва перевалило за двадцать. Я тоже с отличием закончил университет. Я тоже, я тоже... Словом, я считал себя чуть ли не гением. Но всё же, познакомившись с Сембеком, должен был признать его превосходство. Причём признал я это без всякой внутренней борьбы, потому что преимущество его было просто бесспорно — он и в самом деле был каким-то сверходарённым. Правда, специальности у нас были разные, кроме того, способность к языкам ещё не есть способность к научной деятельности. Но меня в Сембеке поражала не сама хватка его, а



глубина знаний — во всём, чем он когда-либо занимался. Поражала его бескрайняя, безграничная эрудиция. Дело дошло до того, что в его присутствии я уже не решался говорить ни о чём по своей специальности — филологии. И не один я — вся аспирантская братия в общезжитии буквально поклонялась Сембеку. Никто не сомневался, что кандидатскую диссертацию он защитит раньше срока и, пока мы будем возиться со своими, подготовит и докторскую. Молодость — та пора, когда человек более подвластен чувству, нежели разуму. Можешь в одно мгновение влюбиться или возненавидеть, и так же в одно мгновение разочароваться в том, во что веровал; потерпишь неожиданное крушение каких-то надежд — и тут же отрекаешься от прежних пристрастий. Прошёл год, другой, и мы начали сомневаться в гениальности, да и вообще в какой-то особой даровитости Сембека. А к середине третьего года просто убедились в том, что он такой же смертный, как и мы, и даже не потягается, пожалуй, со многими из нас. За всё это время Сембек сдал лишь кандидатский минимум. Ни одной публикации за душой. И ни строчки диссертации не написано. Скажете, заленился, запил или загулял... Нет, нет и нет! Днями и ночами просиживал он в библиотеках и архивах. Съездил два раза в Казань, по разу — в Москву и Ленинград. Но всё равно ничего не сделал. И в конечном итоге, когда его товарищи, закончив аспирантуру, одни защитив диссертации, другие вплотную подойдя к этому, разлетелись кто куда — кто в академию, кто в высшие учебные заведения, — получил всего лишь жалкое свидетельство о прохождении теоретического курса аспирантуры и устроился рядовым сотрудником в Центральный архив.

Мы не были закадычными друзьями, но приятельские, добрые отношения сохранили. Во всяком случае, при встречах на улице мы не ограничивались простым кивком головы, а останавливались, здороваясь за руку. Расспрашивали друг друга о доме, о детях, о работе. Впрочем, если быть точным, останавливался и протягивал руку для приветствия я, а уж расспрашивал потом обо всём он. То ли Сембек смотрел на всех свысока, то ли впрямь не замечал никого вокруг себя, но никогда не здоровался первым, даже если ты и шёл прямо на него; только после твоего приветствия: он вдруг вздрагивал, словно ты разбудил его, и поспешно протягивал руку. Тут же начинал дотошно расспрашивать тебя о

здоровье жены, детей и, как следователь, выпытывал, в каком состоянии твоя докторская. Ну, а ты, разумеется, подобных вопросов ему не задавал, не решался. Жены у него нет, а раз нет жены, то нет и детей. Кандидатскую он ещё не защитил, а потому ни о какой докторской не может быть и речи. Раз спросишь, другой спросишь, третий спросишь, а потом и самому неинтересно становится. Трудно разговаривать с человеком, который живёт бобылём, всех сторонится. Люди, не добившиеся того, чего желали, потерпевшие неудачу в жизни, очень обидчивы. И если тебе выпало на долю начать свой жизненный путь рядом с таким человеком, тебе, считай, весьма не повезло. Совсем не разговаривать с ним невозможно, а расспрашивать его о том, о чём тоже нельзя. Ты чего-то добился, а у него вот не вышло. Решит ещё, что, расспрашивая, упиваешься достигнутым. В общем, как говорится, палка о двух концах.

Правда, если ты хорошо знаешь этого человека, тебе бывает достаточно при встрече буквально одного взгляда, чтобы определить, о чём спрашивать, а чего в разговоре лучше избежать. А Сембека за десять лет я изучил хорошо.

Поздоровавшись, сказав два слова о том, что давно не виделись, оба мы на несколько секунд умолкли, и в это короткое мгновение я вдруг понял, что в Сембеке произошли значительные перемены. Худое лицо его осунулось ещё больше. Необычно тонкие губы были сурово сжаты, в правом углу рта залегла морщина горькой усмешки. Глаза потухли, нос словно бы заострился. Между густыми бровями появилась складка, рассекавшая лоб почти до середины. Он не стал, как прежде, расспрашивать меня о здоровье моей жены, которую никогда не видел, интересоваться, какие языки изучают мои дети (ещё дошколята) и к чему их, собственно, влечёт. Он снова молча взял мою ладонь в свою, сжал её так, что я почувствовал, как напряглись все мышцы его сухой, костистой руки, и внимательно посмотрел мне в лицо. Казалось, он хотел мне сказать что-то. Я замер в ожидании. Но Сембек ничего не сказал. По его невидяще уставившимся на меня глазам я вдруг понял, что мысли его сейчас далеко отсюда, на иной земле, на другой планете, и, кстати, он и меня, стоящего напротив, не видит. Неожиданно лицо Сембека, точно он насмеялся надо мной, искривилось какой-то дьявольской усмешкой и застыло в



ней, тонкие его ноздри сжались. Но мысли его по-прежнему были далеко отсюда.

— Так как дела-то? — спросил я, не выдержав больше молчания.

— А? — Сембек вздрогнул так, что вздрогнул и я сам.

— Ты очень похудел, — сказал я, пытаюсь высвободить руку из его клещей.

— Самет-аксакал изволил отбыть в мир иной... — глухо ответил он.

По-видимому, это был какой-то его родственник. Я выразил Сембеку соболезнование.

— Да нет, он мне не родственник, — сказал Сембек. — Ты его знал. Он в архиве работал. Был там один старичок, маленький такой, ещё прихрамывал на одну ногу, помнишь? Так это он.

Я помнил этого старичка. Была у него привычка глядеть на человека, прищулив глаза, как бы испытующе, с видом сознающей своё превосходство надо всеми личности. Шустрый, живой старичок был. С песочными такими волосами. Щупленький. Но ведь его...

— Так он же давно умер.

— Верно говоришь. — Сембек наконец отпустил мою руку. Надо же — худющий, а силы в нём хоть отбавляй. — Он умер, когда мы ещё в аспирантуре учились. Вот сегодня ровно семь лет, десять месяцев и двадцать дней.

Кожу на голове мне обдало холодом. Ещё в аспирантуре доходили до меня слухи, что Сембек, говоря по-народному, заучился, и на этой почве тронулся умом. Я не верил в это, но подспудно какое-то подозрение жило в душе всегда.

— Он испугался меня, — сказал Сембек. — Почувствовал, что проиграет. Потому и замёл следы. Но я уже сейчас могу смело говорить, что сделал не меньше, чем он. А ведь он был великим учёным. Всё-таки я сумел сравняться с ним. Во многих местах он так и не побывал. А я там побываю. Ты знаешь, какие это места? Библиотека Стамбульского университета. Потом Британский музей...

Я закивал головой, делая вид, будто соглашаюсь с ним, и собрался уходить. Но Сембек неожиданно взял меня за плечо, с сомнением поглядел мне в лицо и расхохотался.

— Ей-богу, ты сейчас наверняка подумал, что я пьяный или ещё что. А может, ты поверил уже в слух, что я, дескать, умом тронулся?

Я стал поспешно разуверять его в этом. Сказал, что иду в библиотеку, что спешу. А ни о чём подобном и думать не думал.

— А, пусть! — Сембек перестал смеяться так же неожиданно, как начал, словно обрезал свой смех ножом. — Пусть болтают, что угодно — мне всё равно. Но ты мой старый приятель. И мне бы хотелось, чтобы ты знал. Ты должен знать. Кто я такой. Чем занимался эти долгие десять лет. Я провожу тебя до библиотеки. Весь мой рассказ — на десять-пятнадцать минут.

— Что я собой представлял при зачислении в аспирантуру, ты знаешь сам, — начал Сембек. — Все ждали от меня больших дел. Я и сам не сомневался, что блистательно войду в науку и будет это, довольно скоро — через два-три года. У меня всего достало бы: и знаний, и ума, и воли. Не успел я узнать, что зачислен в аспирантуру, как уже сидел в архиве. Я спешил. Я очень спешил. Я не знал, что такое выходные, что такое кино, театр, не знал никаких увлечений. Я работал по пятнадцать-шестнадцать часов в сутки, работал каждый день. А кроме того, ты знаешь, я ведь за час мог сделать столько, сколько другой за пять часов, за пять дней и даже, если хочешь, за пять месяцев.

С самого первого дня, как пришёл в архив, я заметил, что за мной наблюдает один человек. Какие бы дела я ни запрашивал, какие бы ни просматривал бумаги, что бы ни читал и ни выписывал — ничто не ускользало от его внимания. Сощурит свои старческие выцветшие глаза и поглядывает на меня украдкой, а то проходит мимо, даже вроде головы не повернёт, а я уже знаю, что за эти считанные мгновения он получил все необходимые ему сведения обо мне. Сначала всё это меня удивляло, потом стало забавлять, но со временем эта повторявшаяся из дня в день, из месяца в месяц картина стала меня, в общем-то, раздражать. Чего я только не делал, чтобы сбить с толку моего преследователя, да не просто сбить с толку, а ещё и посмеяться над ним, поиздеваться. Я брал совершенно ненужные мне дела, раскладывал их перед собой по две, по три папки сразу, но он, тем не менее, безошибочно определял, что я ищу, что мне надо и что я уже нашёл. Ты сам знаешь, что такое работа в архиве. То из-за какого-нибудь пустяка возишься

дни и даже недели, а то за один день найдёшь материал, которого хватит на год работы. Так вот, я заметил: в неудачливые дни мой негласный опекун не подходил ко мне вовсе. Он даже на глаза мне не показывался. Ну, а когда мне везло — это просто удивительно! — он обязательно околачивался рядом. Я чуть ли не начал верить, что этот тщедушный старик, словно привязанный ко мне какой-то невидимой нитью, обладает даром провидения.

Где-то к весне судьба улыбнулась мне. Я нашёл никогда, нигде не публиковавшийся, не известный науке документ, имевший прямое отношение к казахской истории. Вне всякого сомнения, этот документ немедленно был бы опубликован на страницах солидного издания, и я благодаря ему получил бы признание и славу. Как и все молодые люди, только вступающие на стезю науки, я был тогда чрезвычайно честолюбив. Старался любым способом обратить на себя внимание, старался вырваться вперёд. Я верил, что удача улыбнётся мне, что я открою нечто такое, благодаря чему возвышусь над всеми, проложу в науке свою тропу. И найденный документ я воспринял как некую закономерность, как естественный залог будущих моих успехов. Но всё же радости моей не было границ. Я внимательно изучил материал. Снял с него копию. Выписал необходимые мне места. Набросал вчерне небольшую сопроводительную статью. И когда всё было готово, мне, наконец, пришлось столкнуться с этим человеком, всю зиму неусыпно следившим за каждым моим шагом, лицом к лицу.

То ли я привык к его постоянному присутствию около себя, то ли так меня увлекла работа, что я просто забыл о нём, но я совершенно не никакого значения тому, что старик в последнее время как-то необыкновенно заинтересовался мной, что один раз, забыв про осторожность, он даже остановился у моего стола. И я очень удивился, выходя из архива после дня напряженной работы, когда увидел у дверей старика, явно поджидавшего меня. Подобного никогда прежде не случалось, он никогда даже не пытался заговаривать со мной. Я не имел понятия, где он работает и чем занимается. И сейчас я хотел было пройти мимо него, но старик протянул ко мне обе руки сразу и произнёс напевно, по-домашнему: «Ассалау-магалеико-ом!» Чуть ли не в течение года мы виделись с ним каждый день и никогда не здоровались. И весь тот долгий день мы просидели в одной комнате и ни разу не кивнули друг другу.

Смешно! Но на приветствие старика тем не менее я ответил. Мне даже неловко стало. Это бы мне, как младшему, следовало почтить его приветствием. Хотя он мне и не друг-приятель, но ведь знакомый всё-таки человек, а я за всё это время не смог сообразить, что следовало бы приветствовать его. И сейчас я подумал, что аксакал собирается пожурить меня.

Если б так — это было бы хорошо, но старик заговорил совершенно о другом.

— Вы в последнюю неделю неплохо поработали, — сказал он. — Я вас поздравляю. Вы нашли очень ценный документ.

Я ничего не смог ему ответить. Только подосадовал в душе на свою неосмотрительность. Подобное можно было предотвратить — стоило лишь запретить лишь подходить к моему столу.

— А теперь что вы намерены делать? — спросил старик. — Опубликуете это?

— Разумеется, — ответил я и пошёл к автобусной остановке. Мне хотелось как можно поскорее избавиться от него.

Но старик, припадая на хроющую ногу, заковылял за мной и, поравнявшись, попытался остановить. Тут уж я разозлился по-настоящему.

— Чего вы от меня хотите, аксакал? — спросил я. — Скажите!

— Сначала остановитесь, — ответил старик. Я остановился.

— Ну, говорите. И попрошу убрать потом от меня подальше.

— Простите, простите... — Старик всё не мог унять одышки. — Вы не имеете права так со мной разговаривать, я тоже, как и вы, человек науки! К тому же и возрастом старше. Где уважение к седине?

Я извинился. Сказал, что спешу.

На эти мои слова старик не обратил внимания. Он ухватил меня за лацканы пальто белыми, бескровными руками с неприятно чистыми длинными когтями, словно боялся, что я убегу, и почти вплотную приблизившись своим лицом к моему, заглянул мне в глаза.

— Вы уверены, что про этот документ, — он указал подбородком на портфель у меня в руке, — никто, кроме вас, ничего не знает? Можете ли вы, положив руку на сердце, сказать, что первооткрывателем являетесь именно вы?

Ответить сразу я не смог.

— Ага! — выдохнул старик. — Не можете. Потому что этот документ был известен и до вас.

— Где и когда он был опубликован? — спросил я. Хотя я и был уверен, что нигде никакой публикация не было, у меня болезненно зашло сердце, под ложечкой появилось какое-то странное ощущение — будто я переел чего-то жирного.

— Нигде и никогда документ этот опубликован не был, — сказал старик.

Неожиданно в голову мне пришла нелепая мысль.

— Вы? Стало быть, вы открыли его?

— Я, — горделиво произнёс старик.

Он весь так и распрявился, скрестил руки на груди, и перевёл дух. Нижняя губа у него была злорадно закушена, в сощуренных маленьких карих глазках прыгала злая усмешка.

— Понятно, — выдавил я из себя. — Вчера вечером вы его открыли — вот когда. Да мне надо было просто-напросто запретить вам подходить к моему столу. Я не сделал этого из-за ваших седых волос.

Старик покачал головой.

— Какой вы горячий! Совершенно чуждая казаху черта. Но я вас понимаю. Понимаю — и прощаю вашу горячность. Однако ваше обвинение придётся взять обратно. Вы сами убедитесь, что не правы. Пойдёмте ко мне домой.

Некоторое время я стоял, раздираемый самыми противоречивыми чувствами. Потом всё-таки последовал за стариком.

Он занимал комнату в коммунальной квартире с общей кухней. Первое, что бросилось мне в глаза, когда я зашёл в комнату, — это газеты. Настланные на пол подобием дорожки, от порога до самого окна напротив. Вместо настоящей дорожки. Газеты лежали, наверное, в пять, десять, а может, и в двадцать-тридцать слоев. Видимо, по мере того как изнашивался верхний слой, на него настилали новый. А если менять весь этот настил, сколько бы килограммов газет приходилось покупать ежедневно? Старик снял у порога войлочные ботинки на резиновой подошве и, вытащив из внутреннего кармана пальто несколько газет, принялся стелить их на пол. От порога до окна вполне хватило четырёх развёрнутых газет.

— Проходите! — пригласил старик после того как его «ковёр» был готов.

Сняв обувь и пройдя в комнату, я с любопытством огляделся. В углу возле окна торчал один-единственный на всю комнату стул со спинкой, обмотанной проволокой, рядом стоял маленький обшарпанный стол. Справа у стены — длинная, узкая железная кровать. Остальные стены в комнате от пола до потолка были заняты книжными полками. Но ни одной книги на них я не увидел. Полки были сплошь заполнены тесно, впритык друг к другу стоявшими папками. Здесь были папки с твёрдыми, картонными, и мягкими, матерчатыми корешками, голубые, серые, коричневые, красные, полинявшие и вообще потерявшие всякий цвет, тонкие и толстые — неизвестно откуда взявшиеся и неизвестно сколько времени здесь стоящие.

Старик усадил меня на стул, сам нашёл на полке у двери тоненькую папку, обтянутую голубым ледерином, вытащил её и пошёл ко мне. Повернувшись спиной, он порывлся в папке И, видимо, нашёл то, что ему было нужно.

Вот!.. Это были фотокопии тех самых найденных мною неизвестных материалов. Всего-то несколько листочков бумаги... Пошла прахом вся работа последних шести дней, да и не только их — пошли прахом все шесть месяцев моего напряжённейшего труда.

— Несколько минут назад вы произнесли слова, которые оскорбили меня не только как учёного, но и как человека, — сказал старик с особым достоинством. — Всю последнюю неделю дело находилось в ваших руках. Когда, скажите, мог я успеть снять с этих бумаг фотокопии? Конечно, и в этом можно сомневаться. Ведь я — сотрудник архива...

Последнее его признание было для меня новостью. Мне как-то и в голову не приходило, что старик может работать в том самом Центральном архиве, который я посещал каждый день.

— Вполне можно допустить, — продолжал старик, — что я узнал о вашем открытии, а затем вечером, после работы совершил своё чёрное дело. Но посмотрите, на эту фотобумагу. Она не похожа ни на отпечатанную сегодня, ни на отпечатанную вчера. Она уже желтеть начала. Конечно, и это не доказательство. Я мог бы специально подобрать старую бумагу. Как видите, вы можете предполагать что угодно. Но, дорогой мой, — он перешёл на «ты», — ты и сам хорошо знаешь, какие в архиве порядки. Можешь про-

верить, кто и когда просматривал эти папки. Это ты. И я. Только мы с тобой. Но против твоей фамилии стоит дата «4–10 апреля 1963 года». Ну, а против моей... как вы думаете? — он снова перешёл на «вы». — Против моей — «7–25 марта 1956 года». Семь лет. Этот документ был открыт мною ровно семь лет назад. Ясно? Вы поняли?

Я был уничтожен. Я не знал, что и сказать, так я был подавлен. Мне даже не пришло в голову попросить у старика прощения за брошенное ему недавно оскорбление.

— Почему же вы не опубликовали этот документ вовремя? — спросил я после некоторого молчания, признавая тем самым перед стариком своё поражение.

— Времени не было, — ответил он, забирая у меня фотокопии и пряча их обратно в папку.

— Как это не было времени? Целых семь лет. Такой важный материал...

— Дорогой! — Старик покровительственно похлопал меня по спине. — Это ничего не стоящая вещь, поверь моему слову. Ничего не стоящая. Я не хочу сказать, что документ не имеет никакой цены. Он ценный. Это очень значительный документ. Но, как говорил принц Датский, «есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам»! Эти тайны и во сне нам не снятся, куда же нам ещё размышлять над ними. Так и в науке. Особенно в казахской науке, которая только-только начинает развиваться. Где уж на каплю обращать внимание, когда рядом целое море?

— Так, стало быть, по поводу этого материала вы не написали ни статьи, ни исследования, ни даже краткой справки?

— Нет, — ответил старик. Голубую папку он обеими руками прижимал к груди. Точно любящий отец обнимал сына.

В глубине души у меня затеплилась надежда.

— Хорошо, вы первым открыли этот документ, — сказал я. — Но гласности его не предали. Никто так и не узнал об этой тайне, кроме вас. Никто — за все долгие семь лет. Ну а теперь этот документ открыл я. Без вашей помощи. Самостоятельно. Так ведь? Я имею право утверждать это?

— Разумеется, разумеется.

Тлевшая во мне надежда стала разгораться.

— У вас, вы говорите, не было времени, чтобы опубликовать этот документ. Вы только знали, что он хранится в таком-то деле под таким-то номером. Но ничего по этому поводу не написали...

— Говорите, говорите, не стесняйтесь, — подбодрил меня старик.

— Я и говорю. Статью, которую не написали вы, написал я. Я выдвинул свои предположения по поводу содержания этого документа. Я собираюсь вынести на суд общественности действительно научные заключения. Всё это — только мой труд. — Старик помахал руками, словно хотел мне возразить что-то, но я не стал его слушать. — Да, это мой труд. Никто с этим спорить не будет. Но, учитывая то, что документ первым открыли всё-таки вы, я намерен сделать вам предложение. Просмотрите мою статью. Если пожелаете что-то добавить — подумаем. Предложите какие-то изменения — обсудим. Но я полагаю, в ней нечего ни убавлять, ни добавлять. Вам надо лишь внимательно прочитать. А потом поставить свою подпись. Статья будет опубликована как наша общая.

Старик по-мефистофельски усмехнулся. Точно боясь, что я соверху какое-нибудь насиле, он отнёс голубую папку, которую продолжал прижимать к груди, на место и с силой задвинул стекло полки.

— Нет! — Он заложил руки за спину и, как был в носках, зашагал по газетной дорожке от двери к окну, от окна к двери. Газеты так и зашуршали у него под ногами, — Нет! Нет! Нет!

— Почему? — спросил я и поднялся со стула.

— Я не могу подписываться под статьей, написанной другим человеком.

— Тогда напишите сами. И мы объединим наши статьи.

— У меня нет времени, — сказал старик. — Я... — замымлил он, — я... мне не хочется писать.

— Тогда прощайте. Я опубликую статью за своей подписью.

— Вы не имеете на это права! — закричал старик. Голос его был пронзительно тонок и остр. Мне показалось, у меня разорвутся барабанные перепонки.

— Почему?

— Первым открыл я.

— А я говорю — я.

— Но ведь это не так. Вы же сами видели. Ты же сам видел, голубчик, — теперь он поочередно называл меня то на «ты», то на «вы». — Только что убедился. Открыл я. Я первооткрыватель.

— Как и кому вы сможете доказать это? — спросил я. — Кто поверит, что вы, вот именно вы зачем-то держали всё это в тайне столь долгое время?

Старик не ответил. Плечи его обвисли, голова беспомощно свесилась на грудь. В одно мгновение он вновь превратился в жалкого, сморщенного старичка, каким я привык его обычно видеть.

— Если бы вы были способны на такое коварство, я бы не встал на вашем пути, но вы... — Старик снова своими длинными худыми пальцами коснулся ворота моего пальто. — Вы очень порядочный и трезвый молодой человек, к тому же глубоко образованный. Не подумайте, что я лщу. Я наблюдал за вами все эти шесть месяцев. Вы чисты и благородны. Скажите, скажите, пожалуйста, разве это достойно человека — втоптать меня в грязь, как червяка какого-нибудь, как козявку... присвоить себе документ? Конечно, юридически вы правы. Но как это всё будет выглядеть с моральных позиций?

Старик был прав. Да, я сам нашёл этот документ, но у меня не хватил совести обнародовать его без согласия человека, обнаружившего его первым. Однако своего решения я менять не стал. Дал старику две недели. Пусть напишет статью. И тогда мы опубликуем материал под двумя фамилиями. Ну, а если не напишет — что ж, тогда у меня руки развязаны.

Так я познакомился со стариком Саметом. Так мы надели обшей хомут, доставивший потом нам обоим много страданий.

В молодости человек часто бывает жесток. Безжалостен. Самет-аксакал и без того-то был плох здоровьем, страдал сердцем. Сейчас как подумаю, так это, пожалуй, я виноват, что болезнь его обострилась, я повинен в том, что он раньше положенного сошёл в могилу.

Так получалось, что до последнего времени мне часто отказывали в нужных папках, причём в таких, в которых, как мне казалось, я мог бы найти для себя много интересного. Почему-то именно этих папок не оказывалось на месте. То у них корешок меняли, то переплёт. В общем, находились причины, по которым папок я не получал. Естественно, после того как я узнал, что Са-

мет-аксакал работает в архиве, у меня не могло не возникнуть подозрений.

Без лишних выяснений я отправился прямо к начальству. Все папки оказались на месте. Самету-аксакалу как следует выговорили за невыполнение требований заказчика, а я, получив наконец пропылённые папки, направился в зал.

Теперь Самет взял себе за правило каждый день к концу работы архива поджидать меня у выхода. И всякий раз, как я видел его, у меня холодело сердце. Мне не хотелось верить в то, что произошло, но как тут было не верить — ведь я видел. Однако от приглашений зайти к нему домой я отказывался наотрез. Избегал разговоров с ним, только спрашивал коротко:

— Написали?

У Самета тотчас начинал дрожать подбородок, он буквально утрачивал дар речи.

— Хорошо, — говорил я. — У вас осталось ещё три дня. Три дня проходили, и мы снова встречались у выхода.

— Закончили? — спрашивал я. — Ладно. Даю вам ещё пять дней. Не от любви к вам. Просто мне сейчас самому некогда. Я нашёл кое-что весьма интересное. Тот материал по сравнению с этим — ничто.

Через пять дней происходило то же самое.

— Добавляю вам ещё семь дней, — говорил я. — Не от почтения к вашему возрасту, а оттого, что занят. Сегодня я ещё кое-что нашёл. Погодите! Это только начало. Я весь ваш архив переверну вверх дном. Посижу ещё с полгода, так другим здесь и делать будет нечего. Будьте здоровы. И про статью не забывайте.

Не жалел я его. Не обращал внимания ни на годы его, ни на болезнь. Но уж он отыгрался на мне!

Осень едва наступила, а я уже закончил сбор материалов для диссертации. И вот тогда-то старик снова привязался: пошли да пошли к нему домой. Что говорить, беспокойно было у меня на душе. И я пошёл. Не сомневался, что некоторые незнакомые науке факты, которыми я располагал теперь, окажутся в папках старика. Но — о ужас! Чтобы он знал обо всём моём материале, который по крохам, по крупичкам я собирал целый год! Всё опять оказалось у Самета, всё ему уже было известно.



Я не знал — удивляться мне или огорчаться... Мозг отяжелел, голову ломило так, что казалось — череп вот-вот расколется. Я был близок к помешательству. Но я не сдался. Я запел ему свою старую песенку. А он затянул свой старый припев. Лишь в одном не оставалось сомнений: в этой нашей схватке победил он, а я был побеждён.

Разумеется, я мог бы написать диссертацию. Никто бы не помешал мне в этом. Работа, построенная на неизвестных науке фактах, дала бы мне не только обычный диплом кандидата наук, она бы принесла мне и славу, и почёт, она открывала дорогу к докторской диссертации, а затем, соответственно, — к званиям профессора, академика... Но — и это мне было известно! — сведения, которыми я располагаю, не новы, все эти многочисленные материалы, которые я буду преподносить как открытия, вовсе не открытия. Все они найдены до меня. Их переписал, сделал с них фотокопии и микрофильмы человек по имени Самет. Трудно было примириться с этим, но что поделаешь, горькая правда была именно такова.

Я разочаровался во всех радостях жизни. Мне хотелось умереть. Покончить с собой. Но, к несчастью, я слишком верил в себя. Я никогда не сомневался в том, что я великий человек, что на мне от рождения — печать гениальности. Я должен был, не обращая внимания на все насмешки судьбы, на все удары жизни, невзирая ни на бури, ни на снег, невзирая ни на что, совершать великие дела. Я был рожден для великих дел. Это меня обязывало. Поэтому я не умер. Я вынужден был жить дальше и таскать по земле своё брненное тело.

Я взял новую тему. Очень перспективную. Она была посвящена очень сложной проблеме. Необходимые материалы я мог получить лишь вне Казахстана — в архивах Министерства иностранных дел Российской империи, Коллегии внутренних дел, в книгохранилищах Москвы и Ленинграда. Я снова проработал всю зиму. Один год в аспирантуре пропал даром, и, чтобы наверстать упущенное, я просиживал за работой дни и ночи. Не хватало времени на то, чтобы обобщить, обдумать материал, выбрать из него нужное, я решил сделать это после, и потому брал всё, что попадало под руку. С наступлением лета я наконец-то перевел дух, и оказалось, что бумаг с различными отрывками, сносками, цитатами, а

также фотокопий, ксерокопий, микрофильмов набралось у меня два больших чемодана. Материалы, которых вполне хватило бы не на одну кандидатскую диссертацию. Я навьючил на себя свой багаж и сел в поезд «Москва — Алма-Ата».

Поезд прибыл в Алма-Ату с опозданием часа на три-четыре, где-то около полуночи. Я поймал такси, погрузил в него чемоданы и поехал прямо к Самету-аксакалу. Он ещё не спал. Лежал уже в постели, но не спал. И вообще был болен. Но, несмотря на это, встал и оделся. Глаза его глубоко запали, углы рта опустились вниз. Казалось, он сделался выше ростом. Живой скелет, громахающий костями. Я был весь как натянутая струна. Хотя и был уверен, что уж на этот-то раз не попаду к старику в когти.

Напрасные надежды! У Самета-аксакала оказался весь найденный и привезённый мною материал. То с одной, то с другой полки снимал он папки. Фотокопии... ксерокопии... Громадное количество всяких копий — можно завалить ими небо и землю. Правда, кое-чего, чем располагал я, у Самета-аксакала всё-таки не обнаружилось. Но то, что оставалось у меня, было материалом незначительным, второсортным — мелочь, словом. Я не смог сдержать себя, разрыдался так, будто тридцать моих сыновей погибли в один день.

Старик успокаивал меня:

— Не огорчайтесь, филателисты всю жизнь проводят в поисках какой-нибудь одной марки. Бывает, что так и не находят её. Потому что эта марка у другого человека. Надо её или выкупить, или выменять. Ну, а мы? Мы сами себе хозяева. Что может помешать нам? Всё зависит от нас самих, от того, сколько ты вложишь труда. В этом-то и преимущество нашего дела. — Потом он, видимо, решил подбодрить меня, в голосе его появилась назидательность, он заговорил громче: — Вы очень талантливый молодой человек. То, над чем я корпел долгие семь лет, вы осилили за какие-то двадцать месяцев. Темп у вас просто потрясающий. А я всё это собирал всю жизнь по малым крохам. Эти полки — результат моего неустанного труда в течение сорока двух лет. Ну, а вы с вашими темпами, с вашими-то возможностями, всё, что я узнал за сорок лет, освоите за пятнадцать-шестнадцать. Вам будет лет тридцать восемь — тридцать девять максимум. А сколько вам ещё

после этого жить?! Вы переплюнете меня! Это точно. Время на вашей стороне.

Он много ещё наговорил мне хороших слов. Но что толку от слов, если он обобрал меня до нитки? Самет-аксакал был человеком чести, благородным человеком. Никаких условий на сей раз он мне не поставил.

— Если ты боишься, что не выдержишь выпавшего тебе испытания, ты свободен. Выходи из игры. Объявляй, что первооткрыватель всех этих материалов — ты. Публикуй их, защищай свою диссертацию, я тебе поперёк дороги не стану!

Да он и не смог бы стать мне поперек дороги. Я повторяю: если бы не моральная сторона, то юридически я был бы полностью прав. Но я отказался продолжать работу. Новая тема потеряла для меня всякий интерес. Каково бы было тебе, если бы ты влюбился в девушку, видел в ней ангела и, лишь женившись, случайно узнал о её бывшей греховной связи с развратным стариком? Прости за грубое сравнение. Но именно такое чувство я и испытал. Я попросил третью тему. Третий год аспирантуры. Третья тема. Профессор очень расстроился. Ругал меня. Уговаривал. Но я не поддался. Профессор любил меня, верил мне. И в конце концов согласился. Насколько он уважал моё мнение, настолько же велик был его авторитет в учёном совете. Отклонив все возражения, он добился, чтобы мне утвердили новую тему. Через два дня после решения об этом, не откладывая дела в долгий ящик, я отправился в Казань.

«О Казань! Казань больная! Казань печальная! Казань светлая!»¹ Казань — один из важнейших культурных центров тюркских народов. Э-эй, братец! Чего там только нет! Всего полным-полно. Всего в изобилии. Я с головой окунулся в работу. О, сколько всего попадалось мне на удочку, сколько нового извлекал я из архивного забвения на свет божий, и беспрестанно сопоставлял, сравнивал, анализировал данные... Что и говорить, попил я тогда живительной воды из разлитого того моря, всю осень и всю зиму не существовало для меня мира вокруг, кроме архива. В Алма-Ату я вернулся ранней весной. Работа ещё не была закончена, следовало кое о чём посоветоваться с руководителем. И, что

¹ Строки из стихотворения классика татарской литературы Г. Токая «В путь».



греха таить, я хотел заглянуть к Самету-аксакалу. Пожалуй, в тот момент это было для меня самым важным. Но здесь меня поджидала неудача, даже не неудача, а несчастье. Самет-аксакал скончался. Мне он оставил записку. На листке бумаги косой строчкой были написаны только лишь две фразы: «Всё это у меня есть. У меня — всё!»

Я поверил ему. Я ни секунды не сомневался после этой записки, что нашёл бы у Самета-аксакала, всё, что ценой такого напряжения сил было собрано и накоплено мною в течение целого года. Однако следовало, конечно, убедиться в этом собственными глазами. Я поинтересовался библиотекой покойного. Как сообщил, сосед, Самет оставил её родственнику, жившему неподалёку; родственнику эти вещи были не нужны, и он сдал их в комиссионный магазин. Не библиотеку, конечно же, а полки. Про папки, стоявшие на полках, сосед ничего определенного сказать не мог. Полки, когда их выносили из дома, были пусты — это точно. Видимо, Самет-аксакал, поняв, что силы оставляют его, несколько дней подряд рвал, жёг свои бумагами всё уничтожил. А после этого уже написал записку. Мне не оставалось ничего другого, как просто поверить ей...

Ты, конечно, можешь подумать, что, избавившись от соперника, я испытал облегчение. Как бы не так. Наоборот! Уж лучше бы он был жив. Я теперь совсем потерял покой. Что бы нового ни находил теперь, уже не мог выяснить, знал ли об этом Самет-аксакал. На какой бы свежий материал ни выходил, не мог с достаточной уверенностью считать себя первооткрывателем. Жизнь снова потеряла для меня всякий интерес. Мне снова захотелось умереть. Уже второй раз за три года. Но, говорят, только шайтан живёт без надежды, а я всё-таки ещё очень многого ждал от будущего. Я не умер, Не смог умереть. Меня осенила мысль, что должен же быть предел собранному Саметом-аксакалом. Одному человеку, каким бы он гением ни был, практически не под силу собрать все сведения по истории, этнографии, искусству, литературе целого народа. Я тоже наверняка не осилю всего этого богатства. Но я ничуть не сомневался в своём преимуществе перед Саметом-аксакалом, в своих больших возможностях и способностях. Тот громадный материал, который покойный собирал по крохам сорок два года, я мог бы отыскать за какие-нибудь пятнадцать—двадцать лет.

И я взялся за осуществление этого грандиознейшего дела, пожертвовав ради него всем. Все вы за прошедшие годы успели жениться, получили просторные квартиры, обзавелись, так сказать, семейным очагом, детишек нарожали, а у меня ничего этого нет. Все вы сейчас кандидаты, некоторые уже и на доктора идут, а у меня никакой степени. Но я счастливее вас всех. Всех вас выше. Пока вы гонялись за обманчивыми учёными степенями, я познал вкус настоящей работы. Я обладаю сейчас несметным богатством! Ведь всего десять лет, как я занимаюсь наукой, а сколько уже собрано! Да. Не через пять-шесть лет, а через какие-нибудь три-четыре года материал, который я соберу и обработаю, уравниется с материалом, собранным Саметом-аксакалом. По количеству сравняется, по объёму. Ну, а по качеству... по качеству мой материал намного выше. И я не ограничусь тем, что сравниваю. Я пойду дальше. Потому что столько ещё нераскрытых тайн, столько ещё загадок кругом. Какие сокровища таятся в архивах мира!.. Нет им цены. Э-эх, дружище, посидеть бы годок в книгохранилищах Стамбула и Лондона!..

Мы, оказывается, уже подошли к Центральной публичной библиотеке. Сембек заканчивал свой рассказ. Я чувствовал себя как-то очень странно. Я не знал, как отнестись ко всему этому. Не знал, что сказать.

— Всё это, конечно, хорошо, — выдал я из себя наконец. — Но почему ты ничего не публикуешь? Ничего не пишешь?

— Ой-ёй, дружище, да где же время на это? — сказал Сембек. — У меня в самом разгаре сбор материала. Я уже почти дошёл до намеченной межи. Ещё лет семь-восемь, ну, самое большее, десять посижу. Вот тогда и возьмусь за писанину.

Ответ его не удовлетворил меня.

— Так что же ты ищешь в конце то концов? И что ты находил до сих пор?

— Всё нашёл! — воскликнул Сембек. — Я даже не знаю, кто я сейчас такой. Пожалуй, всё-таки историк. Но вместе с тем и фольклорист, и этнограф, и искусствовед. Потому что у меня есть всё!

— Что значит — всё? — вскричал я, подумав, не разыгрывает ли меня Сембек.

— Я аккуратно читаю то, что ты иногда тискаешь в печати. Разбираешься во многом, я это подметил. Но вот скажи, коли ты



такой специалист: какие отношения существовали между Русским государством и Казахским ханством в начале шестнадцатого века?

— Во времена хана Касыма между Казахской ордой и Москвой были чисто дипломатические отношения, — ответил я. — Но какого уровня были и как осуществлялись, не скажу, да этого и никто не скажет. Все документы по этому вопросу сгорели...

— ...Во время пожара Москвы в тысяча восемьсот двенадцатом году, — продолжил Сембек и усмехнулся. — Самолетов с фугасками не было. Артиллерию с современной не сравнить. Сам же знаешь, как проходила эвакуация, кто поджог город и когда он загорелся. Так что невозможно, чтобы такие ценные бумаги были уничтожены...

— А что, ты нашёл их? — спросил я.

— Дипломатических бумаг было очень много, и все они, кроме того, были написаны на казахском языке, — уклонился Сембек от прямого ответа. — Сам, надеюсь, понимаешь, какое значение имеют эти документы не только для истории, но и вообще для нашей культуры?

— Так где они? Ты действительно нашёл их? — нетерпеливо перебил я.

— Надеюсь, ты достаточно осведомлён о жизни казахского султана Ораз-Мухаммеда Ондановича, который при царе Борисе Годунове правил городом Касимовым на Рязанщине? — невозмутимо продолжал Сембек, словно бы и не слышал моего вопроса. — Так знаешь ли ты о том, что у этого Ораз-Мухаммеда была богатейшая библиотека и что в ней, помимо сочинений арабских, персидских и тюркских учёных, помимо русских летописей, хранились ещё и книги казахских авторов, писавших на родном языке? Где она, эта библиотека? В восемнадцатом веке по заданию хана Аблая была написана казахская история. Где она, эта история?

Сембек буквально засыпал меня вопросами, а ни на один из моих встречных вопросов не ответил.

— Ну ладно, — сказал он наконец, собираясь уходить. — Отнял у тебя время пустой болтовней. Прости. Гуд бай.

Но мне не хотелось оставаться в дураках. И я не отпустил его. Однако чувствовал, что задавать какие-то вопросы совершенно бесполезно. Поэтому решил сманеврировать, пошёл в обход:

— Где ты работаешь?

— На прежнем месте, — ответил Сембек, зевая. Но, видно, он мне совсем задурил голову — я никак не мог вспомнить, где он работал прежде.

— Ты похудел, — уже в который раз сказал я, не в состоянии придумать что-нибудь другое. — Тебе отдохнуть бы.

— Это не от усталости, — отозвался Сембек. — От любимой работы человек не устает. Это не от усталости...

Он оглянулся по сторонам и спросил, не знаю ли я такого-то молодого человека. Я знал. В последнее время он опубликовал в печати несколько очень приличных статей о казахском фольклоре. Насколько я помнил, он нашёл более древний и более совершенный, ещё не известный науке вариант одного героического эпоса.

— Нехороший он парень, — сказал Сембек. — Я его к себе домой пригласил. Показал. Предупредил. Он не имел на то никакого права. Никакого морального права не имел. Но нынешняя молодежь груба, невежественна. На всё ей наплевать. Ничего не стыдится. Взял да и опубликовал. А сейчас снова каждый день в архив ходит. Я за ним наблюдаю, смотрю, что он там делает. Всё, что он «открывает» сейчас, у меня уже давным-давно лежит. Всё у меня есть. Я его снова предостерег. Объяснил ему. Но он бессовестный парень. Снова проигнорировал меня. Вот хорошо, что вспомнилось про него к слову. Я тебя попросить хочу. Мы ведь старые друзья... Этот юнец ещё не защитил диссертацию, но она у него уже готова. Тянуть дальше просто нельзя. Очень тебя прошу, у тебя есть ученая степень, он тебя должен побаиваться. Пойди, поговори с ним, а? Может, наставишь его на путь истинный? Ведь всё это первым открыл я. Где же тут справедливость? Честность где?

Я не знал, что мне сказать. С одной стороны, в словах Сембека был резон. Ну, а с другой стороны, парень тот был по-своему прав. В конце концов я сказал Сембеку, что вмешиваться в это дело не буду.

То ли Сембек воспринял мой отказ как предательство, то ли и без того мысленно много раз спорил со мной, и я был для него привычным, не представляющим опасности противником, но он весь так и вспыхнул и набросился на меня с обвинениями:

— Вы все как сырой, недоделанный кирпич, отштампованный в одной форме, Вы все невежи, вы не нюхали запаха науки. Вы ничего не знаете. Вы даже того не видите, что у вас под ногами

лежит. И смеее ещё при этом учёные степени получать! Но и со степенями вы дрожите со страху — как бы вас, да кто бы вас... У всех вас заячьи сердца. У меня нет никакой степени, но я ничего не боюсь. Потому что я верю в себя. Знаю себе цену. Я человек, любящий во всём откровенность и прямоту. Вот ты, к примеру, готовишься стать доктором наук. Не отрицай. Люди-то ведь говорят. А я ещё не встречал случая, чтобы слухи когда-нибудь бы да не оправдались. Другой цели, иного интереса у тебя нет, я знаю. Лишь бы стать доктором... стать доктором! А стоишь ли ты этой степени? Ты задумывался над этим? А? Не стоишь! Потому что ты не знаешь...

И на меня обрушился целый водопад фактов, сведений, имён, о которых я действительно ничего не знал.

— Послушай, — сказал я, когда Сембек, захлебнувшийся собственным красноречием, остановился на мгновение, переводя дух. — Ты пиши об этом, пиши... — Я обнял его и дружески похлопал по спине.

— Как ты думаешь, — сказал Сембек, — ведь тот парень не прав?

— Сембек! — Мне показалось, я знаю, как переубедить его. — Я тебя понимаю. Но сам ты не понимаешь одной вещи. Для чего всё то, чем ты занимаешься? Во имя какой цели? В чём твоё отличие от скупого Карабая, который имел девяносто тысяч лошадей, но никогда в жизни не носил незалатанного чапана? Карабая можно простить. Эти лошади — его собственность. Ну, а материалы, лежащие в твоём шкафу, чьи они? Какое ты имеешь право держать всё это взаперти? Ведь это — сокровища твоего народа, твоих братьев казахов. Значит, ты преступник, намеренно заперший ворота к этим сокровищам. Наука — не филателия.

Сембек пропустил мои слова мимо ушей.

— Этот парень неправ, — только и сказал он.

— Прав, — возразил я. — Или ему нужно ждать, пока ты всё накопленное тобой добро изорвёшь, сожжёшь, пустишь по воде, а? Прав он.

Нашим приятельским отношениям, длившимся долгие десять лет, пришёл конец. Я понял это по выражению лица Сембека.

Но всё же я почёл своим долгом высказаться до конца. Я говорил о необходимости публикации найденных документов, о том, что по некоторым материалам вовсе нет нужды писать простран-

ные статьи, достаточно краткой сопроводительной записки, я говорил о чести учёного, о долге перед народом и о прочих высоких материях. Короче, в азарте наговорил много чего. Но Сембека это не проняло. Он сказал, что разочаровался во мне. После такого заявления пыл мой иссяк сам собой. Расстались мы весьма холодно.

Прошло несколько дней. О многом передумал я за это время. Сначала, в общем-то, был уверен, что всё, рассказанное мне Сембеком, — правда. Но когда сгладились первые впечатления, то постепенно пришёл к убеждению, что всё это сущий бред. И тогда пришёл в себя. Улучшился испортившийся было сон, наладился аппетит. Я снова стал самим собой. И мало-помалу стал забывать так взбудораживший меня рассказ про маленького, щедедушного старика Самета, безвылазно просидевшего сорок два года в архиве, сделавшего великие научные открытия, но не нашедшего времени написать о них ни единой строчки и путившего перед смертью все свои бесценные материалы по ветру. Я стал забывать и про его наследника, самой логикой вещей призванного, казалось бы, не просто продолжить, но и направить его дело в новое русло — своего старого приятеля Сембека, растратившего попусту данный ему талант. Так забывается старая сказка, рассказанная в далёком детстве любящей бабушкой, сказка, когда-то так взволновавшая...

Но вчера, вернее, позавчера, я убедится, что все мои мысли о невозможности рассказанного Сембеком — самообман.

Только я вышел с толстенным своим портфелем из архива, как натолкнулся на него. Не на Самета, конечно. На Сембека. Моя попытка пройти мимо незамеченным не удалась. Он остановил меня, громко окликнув по имени. Не поздоровался, не стал ни о чём спрашивать, как раньше, а с ходу приступил к делу.

— Я знаю, — сказал он, — ты собираешься засесть за большой труд. Сбор материалов ты закончил. Особенно успешно работал последнюю неделю, в частности сегодня после обеда. Но торжествовать тебе рано. Всё это — давно открытые вещи, уже известные... У меня всё это есть. Не веришь? Можешь поглядеть собственными глазами. Пошли ко мне домой.

...Всё во мне перевернулось. Рассудок мой помрачился. Но огромным усилием воли я взял себя в руки, не поддался дьявольско-

му искушению. Не помню, как дошёл до дома, — в общем, добрался. Жена, увидев меня, испугалась.

Но, слава богу, судьба обошлась со мной милостиво: я не свихнулся, не заболел, не умер. Однако то, что я услышал и что увидел, так и выпирало из меня. Казалось, что лопну, как чрезмерно надутый мяч, если не поделюсь с кем-нибудь всем тем, что было у меня на душе. Я лёг в постель, но сон мой был невыносимо тяжёл, несколько раз среди ночи я просыпался от кошмаров и, решившись наконец — чтобы раз и навсегда избавиться от всего этого, — встал, выпил три чашки крепкого чая с молоком и сел за стол. Весь день я писал, как будто кто-то гнался за мной по пятам, потом всю ночь переписывал написанное днём и к её исходу закончил наконец этот рассказ. Жена отпечатала его на машинке, вычитала и выправила опечатки. Я чувствовал потребность отнести его в редакцию тотчас же, во что бы то ни стало успеть до конца рабочего дня. Я торопливо собрался и пошёл. А по дороге подумал: «Вот ты написал рассказ. Добро. Предположим, когда-нибудь ты добьёшься его публикации — тоже хорошо. Но что тебе делать с полным сундуком материалов, которые ты кропотливо и жадно собирал долгие пять лет?! Что делать с наукой?»

В конце концов, переступая порог редакции, я нашел выход. Оставляю науку! Не потому, что вдруг разочаровался в профессорстве. И не потому, что вдруг испугался трудностей. Не потому, что Сембека испугался. Не его самого. А его облика. Испугался, что сделаюсь его двойником.

Аминь!

САБИТ ДОСАНОВ

НА ОБОЧИНЕ

I

Удушливый зной плыл по городу дымкой, окутывая всё, что попадалось по пути. Он забивался в нос, обжигал грудь, заставляя её ходить ходуном, но не давал столь чаемого живительного вдоха. Каждый новый глоток воздуха вместо облегчения приносил лишь новую порцию жара. Ни ветерка, ни дождя... Уже месяц... Раньше времени пожелтели под палящим солнцем листья. Земля потрескалась, высохла и даже под деревьями казалась жухлой и безжизненной. Асфальт плавился — ноги увязали в топком болоте. Красавец-город у подножья Алатау стал покрываться слоем тяжёлой серой пыли. Только ранним утром с гор тянулся еле ощущаемый свежий ветерок.

С утра пораньше, до начала липкой духоты, Айдын по обыкновению побегал к газетному киоску. Многолетняя привычка — начинать день с газет. Белокурая русская женщина в киоске хорошо его знала. У пенсионерки, несмотря на возраст, была отличная память. Знала даже, какие он покупает газеты. Не отходя далеко от киоска, он начал листать газеты, как вдруг услышал знакомый низкий, с особенной хрипотцой, голос:

— Айдын!

Резко обернувшись, не поверил своим глазам.

— Айдын, ты?! ...Не узнал меня? — неуверенно сказал подошедший смуглый джигит среднего роста и с кругленьким животиком. Лукаво прищуренные глаза изучающее глядели на Айдына.

— Почему же не узнал? Гафур! — Искренне обрадовавшись встрече, Айдын протянул было руку, но, повинуясь импульсу, крепко обнял друга.

— Вот уж не ожидал!.. Пропал на долгие годы и вдруг объявился вот так, неожиданно! — Клокочущий голос Гафура уже привлекал внимание прохожих.

Айдын показал на стоящий рядом пятиэтажный дом:

— Что же мы тут-то стоим? Пошли ко мне?

Гафур сразу понял, что Айдын живёт один. В квартире было чисто, даже слишком, но не было ощущения женской руки, того, что называется семейным уютом. От обшарпанных, когда-то выкрашенных в синюю краску стен, пустого серванта, по-армейски заправленной кровати веяло холостяцким духом.

— Извини... А где Рымжан и Айбар? Почему ты один?

— Я... потерял... и жену, и сына, — после недолгой паузы сказал Айдын, еле сдерживая слёзы, навернувшиеся на глаза. — Четыре года назад, — вздохнув, Айдын еле слышно добавил: — Автокатастрофа. Рымжан и Айбар поехали в Шымкент погостить. На Кордайском перевале автобус перевернулся, и они погибли... — комок в горле не дал ему договорить.

Гафур дотронулся до руки друга.

— И с тех пор ты один? Не женился?

— Не хотел жениться... Ты же знаешь, как я любил Рымжан и как на ней женился... Ты, наверное, помнишь?.. — в голосе Айдына послышался упрёк. — Ты же был на нашей свадьбе дружкой?

— Конечно, помню! Я помню и грандиозные тои по случаю рождения Айбара и начала его школьной жизни...

— Айбар скончался сразу. А Рымжан умерла в районной больнице Георгиевки, куда её привезли после аварии. Перед тем как закрыть глаза навеки, её последними словами были: «Как трудно теперь будет Айдыну. Он во всём полагался на меня...»

Оба замолчали. Чай давно остыл, но Гафур, знавший толк в чае, любивший пить его хорошо заваренным и горячим, а потому всегда требовавший наливать его ровно на глоток, на донышко, с деланным удовольствием пил холодный светленький чай из большой пиалы.

— Да... А как с работой? Работаешь там же?

— Нет, попал под сокращение.

— Как это? Кто-кто, а ты не должен был попасть под сокращение! — Гафур от возмущения даже привстал.

Айдын невозмутимо кивнул головой:

— Ты думаешь?

— Ты и институт окончил с красным дипломом, и всё время работал только в одном месте. Трудового стажа достаточно... Мы — совсем другое дело. Нет, что ни говори у тебя-светлая голо-

ва. Помню, при Советской власти ты участвовал во Всесоюзном совещании изобретателей в Москве. Разве не так? Разве много в Казахстане таких талантливых инженеров, как ты?

— Остались те, кто пришёл позже, а мы ушли, — Айдын, казалось, был абсолютно спокоен.

— Это же несправедливо. Тебе же далеко ещё до пенсии?

— Боюсь, что пенсии не дождусь, — тихо сказал Айдын. — Знающие люди говорят, что для начисления пенсии берётся заработная плата последних пяти лет. А я сижу без работы уже два года. А до пенсии ещё двенадцать лет.

— Тогда тебе надо браться за любую работу, не выбирая должность.

— А разве сейчас время выбирать должность? Работал в одном месте вахтёром, недавно и этой работы лишился, — и на его лице появилась горькая усмешка: — Кому-то и это работа оказалась нужной.

— Ладно! Не унывай!.. Тебя за бортом не оставим. Если найду работу, согласишься переехать в Астану? Можешь эту трёхкомнатную квартиру поменять?

— Я не смогу оставить свою Рымжан и своего Айбара, — прервал друга Айдын. — Боюсь, меня понять трудно, но... — у Айдына перехватило дыхание.

Снова наступило молчание. Гафур начал собираться.

— Подумай, — сказал он уже не так настойчиво. — Я поищу тебе работу в Астане. В крайнем случае, обращусь к своему шефу.

— Подумаю, — Айдын дружески улыбнулся.

— Приезжай в Астану, погости. Вот тебе мои координаты.

— О-хо! — воскликнул Айдын, взглянув на визитку Гафура. — И сотовый у тебя есть!

— Ой, не нужны мне ни эта визитка, ни сотовый. Это мой шеф делает всё это... Да, кстати, а что с твоей диссертацией? Защитил?

— Не защитил.

— Почему? Ты же её давно закончил?

— Ты знаешь, не люблю я всякие там звания и шумиху, — усмехнулся Айдын.

— Знаю, конечно. Но я от многих слышал, что как специалист ты за пояс заткнёшь даже академиков. Если бы у меня были твои знания, я бы мир перевернул.

- Сейчас не знания, а деньги правят миром.
- Да! К сожалению, ты прав!.. Ладно, я пойду. Шеф будет беспокоиться.
- Сколько ещё будешь в Алматы?
- Сегодня вечером рейсом улетаем с шефом в Москву. Он отправляется дальше за рубеж на отдых. А я пригоню в Астану новый джип.

Айдын проводил Гафура до автобусной остановки. Утро было жаркое, небо ясное. Но погода в Алматы — как настроение капризной женщины, сорок раз за короткий день может резко измениться. Откуда-то налетевшие тяжёлые свинцовые тучи вдруг скрыли солнце. Духота усилилась, и даже ветер, неожиданно подувший с юго-запада, только поднял пыль с асфальта и обжёг лицо. Тяжёлые тёплые капли дождя медленно застучали по земле...

Не зная как толковать такую перемену погоды, Айдын долго стоял, погружившись в раздумья.

II

Мучил ли его голод или тяжёлые, как тучи, мысли не давали покоя, наплывая одна на одну? А может, духота материализовалась и свинцом легла на грудь? Либо встреча с Гафуром так разбредила душу? Он не смог в этом разобраться и ночью долго не засыпал. «Боже, когда покинет меня чёрная полоса?.. Неужели, Господи, ты не видишь, как опутывает и сжимает меня тяжеленная цепь неприятностей?.. Помогите мне, Боже!.. Дай поддержку! Не отворачивайся от меня совсем! Ведь я всё старался делать по твоим заповедям!» Ворочаясь, он только под утро сомкнул глаза, и встал не отдохнувшим, а разбитым. От ярких лучей высоко поднявшегося солнца, проникающих через дыры старой шторы, в маленькой комнате бетонного дома стало невыносимо жарко.

Еле передвигая почему-то трясущиеся ноги, шатаясь из стороны в сторону, он открыл окно. На улице было ещё жарче, и горячий воздух ворвался внутрь, как будто сам скрывался от обжигающих лучей. Сердце вновь защемило, глаза затуманились. Только теперь он вспомнил, что два дня почти не ел. Подумал о бульоне, который сварил на случай, если сильно проголодается. «Кажется, в холодильнике было ещё что-то», — опираясь о стены, он дошел до кухни.

Открыл дверцу холодильника и остолбенел. Все полки были пусты. Лишь в углу заметил кусочки хлеба и жёлтую кастрюлю с бурыми от гари пятнами. Съел, подогрев, оставшийся на доньшке бульон, и отключил холодильник. «Надо его помыть и почистить, масла же нет, чтоб там хранить... Нет даже чашки молока к чаю... Наступит ли день, когда я не смогу варить бульон из костей?.. Дома ничего не осталось на продажу. Может быть, кто-нибудь купит по дешёвке этот холодильник?»

Съев полтарелки бульона и два куска хлеба, Айдын немного ожил. Выступила испарина. Теперь попить бы... Он не захотел использовать остаток заварки. Вскипятив воду, заварил высушенную накануне траву и выпил травяной чай. Чтобы чай не горчил, положил туда щепотку соли, так как сахара давно не было, и чай приобрёл вкус заквашенного напитка-коже¹.

Построенный сорок лет назад девятый микрорайон находился на окраине города, с ветреной стороны. Айдын жил на верхнем этаже обветшалой пятиэтажной «хрущобки». Войдя в гостиную, обратил внимание на чёрное пятно, величиной с пуговку, на трубе, идущей от потолка к батареям. Только сейчас вспомнил, что весной труба в этом месте прохудилась и оттуда капала вода. Он потрогал пятнышко и понял, что дырка сама собой закупорилась от образовавшейся накипи. «Бог на стороне бедных», — мелькнуло в голове.

Лёжа на диване, Айдын теперь стал думать о завтрашнем дне и пище. «Вот и сегодняшний день наступил, а что ждёт меня завтра? — подумал он. — «Вчера на чёрном рынке просидел с утра до вечера, разложив своё последнее богатство — антикварные книги, а заработал всего триста тенге. Десять отдал за проезд. Газеты купил... На сколько же дней хватит оставшихся двухсот семидесяти? Люди такие странные!.. Не берут за цену, дешевле в десять раз, книги, которые при Советской власти были в дефиците и продавались только из-под прилавков. Последняя надежда — тридцатитомный медицинский справочник. Если повезёт, на вырученные деньги можно прожить некоторое время...»

¹ Коже — традиционный казахский напиток; жидкое кушанье, приготовляемое из пшена, риса, пшеницы или другого дроблёного зерна на молоке, на мясном бульоне или на воде.

Телевизор давно вышел из строя. Как назло и радио замолчало!.. А на что покупать газеты? Айдын, почувствовавший себя на необитаемом острове, новости о происходящем в мире, стал узнавать у соседей. Стоячая вода, наполняющая пруд, по истечении времени становится затхлой. Так и человек, если он ни с кем не общается, со временем становится сам не свой. Неделями, месяцами не разговаривая ни с одной живой душой, Айдын чувствовал, что превращается в нелюдимого, замкнутого, угрюмого отшельника. Стали меняться характер и привычки, и сам себе он становился противен. Испугавшись, Айдын, для которого одиночество было страшнее бедности, стал по возможности больше общаться с соседями. Но порой бывало, что и обмолвиться словечком не с кем. Наступило время «ты — мне, я — тебе». И люди, видать, стали расчётливее в выборе собеседника. Пока только двое охотно разговаривают с Айдыном. Один — пенсионер-полковник из квартиры напротив, другой — хозяин первой квартиры, журналист, оставшийся раньше времени безработным.

Когда жара спала и тени стали длиннее, Айдын вышел во двор, но там никого не было. Не зная, куда себя девать, и уже подумывая о том, не вернуться ли обратно, он внезапно увидел соседа, молодого татарина. Раньше тот здоровался только кивком головы, но сегодня поздоровался особенно вежливо, протягивая руку:

- Как вы, ипташ? Вас не было видно давно. Куда-то ездили?
- Куда мне ехать-то? Дома сижу.
- А я вас искал.
- Зачем? — удивился Айдын.
- Вы говорили, что сидите без работы. Я хотел вам помочь и поговорил со знакомыми насчёт работы для вас.
- Да? — Айдын насторожился.
- Одна работа есть... Настоящая работа! Тяжеловато, но плата немалая, — он хитро улыбнулся.

Айдын нетерпеливо прервал соседа:

- Рафикжан, что это за работа, скажи, наконец!
- Вы же хорошо водите машину? Завтра утром ждите здесь. Водительские права и паспорт возьмите с собой, и...
- А потом? — Айдыну поскорее хотелось узнать, что это за работа.

— Потом я познакомлю вас со своими джигитами. Их шестеро братьев. Вы будете седьмым. Полетите в Объединённые Арабские Эмираты.

— Зачем? — Айдын сник. Он понимал, что за границу нужно ехать с деньгами.

— Они бизнесмены. Занимаются торговлей автомобилями. Там они купят несколько иномарок. Вы просто вместе с ними пригоните одну из этих машин.

— На какое время едем?

— Каждая поездка длится семь или десять дней. За каждый день заплатят сто долларов. Авиабилет, проживание, даже питание они берут на себя.

— Надо же! Отличная работа! — сказал Айдын. Сердце чуть не выскочило из груди от радости: «Бог не оставил меня! Не зря я надеялся!!!»

— Говорят ведь: «Ради соседа жертвуй и намазом». Я постарался для вас и нашёл эту работу, — Рафик довольно улыбнулся.

— Ой, Рафикжан, никогда не забуду твою доброту. Спасибо, айналайын¹.

— Одного спасибо недостаточно. Хорошо обмоете, когда вернётесь.

Айдын понял намёк и рассмеялся:

— Конечно, конечно, обмоем!

— Хорошо, до завтра.

Голубые глаза Рафика радостно засверкали, щёки на рыжем толстом лице порозовели, и он быстро удалился. «Бог мне устроил эту встречу. Надо же, сон это или явь?» — Айдын потёр глаза. И убедившись, что не спит, долго стоял перед дверью, постепенно приходя в себя.

III

Погрузив на паром купленные в Дубае машины, они доставили их в Иран. На следующий день, с утренней прохладой, двинулись в путь. Шестеро водителей сели за рули шести автомобилей, и машины помчались по гладкой асфальтированной дороге. Один из

¹ Айналайын — миленький, голубчик; ласковое обращение к младшим.

шестерых — Айдын. Седьмой джигит — их руководитель — устроился на заднем сидении передней машины.

Выехав из Бандрабата — портового города Ирана, они остановились на короткое время, — поспешно перекусили. За обедом руководитель объяснил дальнейший путь: «Проехав тысячу семьсот километров, прибудем в село Сирак на границе Ирана с Туркменистаном. Затем, через города Мары, Чарджоу доедем до границы Узбекистана. Следующая остановка — в селе Фарат в Узбекистане. Дальше будут Бухара, Навои и, наконец, — родной Казахстан. Жара стоит, дорога трудная! Но до Сирака останавливаться не будем! Кто устанет-скажите, не стесняйтесь! Я сам подменю, дам передохнуть. Давайте, джигиты, по коням!»

Они завели машины и поехали. Айдыну было поручено вести «Ауди», пробег которой — всего два года. Со стороны посмотришь — как новая. Салоны чистые, будто только с конвейера завода. И моторы безупречны. И вправду, новая машина — как хороший конь. Несмотря на жару, Айдын не чувствовал усталости. Наоборот, с приподнятым настроением нажимал на газ. Мысли мчались в голове быстрее машины. Он представил себе зелёные бумажки, которые получит по приезду в Алматы. «Избавлюсь и от замучившего голода, и от угнетающей бедности». Мечты взлетели к небесам. Сердце выпрыгивало из груди от радости.

«Какая природа! Такая разная! От тропической зелени до жёлтой пустыни!.. Но всё равно настолько красивая везде, что глаз радуется! Боже, спасибо тебе за всё!» Впервые за последние годы захотелось петь. Любуясь и бросая взгляды по сторонам, он запел «Хусни-Хорлан» Естая. Рымжан любила слушать эту песню. Конечно, он не певец, но голос его приятен. В те годы, когда Рымжан была жива, он не раз пел на вечеринках. Да, беззаботное было время, не думалось о завтрашнем дне, о том, что нечего будет есть или одеть. Когда Рымжан и Айбар были живы, и Айдын был самым счастливым человеком! Но жизнь его разделилась на «до»... и «после»... Мир обманчив!.. Не успел и глазом моргнуть, и та жизнь прошла быстротечно, началось просто существование... Теперь сердце ноет, тоска сжимает по безвозвратно ушедшему счастью. Но продолжать существование приходится...

Добрались в Фарат поздно вечером и остановились в доме одного узбека. Перед тем, как ложиться спать, их собрал руководитель:

— Джигиты, вы устали с дороги. Осталось немного... Теперь хорошенько отдохните. Я сам разбужу вас утром.

После его слов Айдын крепко заснул. Проснувшись утром, обнаружил, что нет ни машин, ни спутников. Стал спрашивать у хозяина, а тот начал причитать, как будто оплакивает умершего:

— Ой-бай-ау! Они оказались мошенниками. Мало того, что не заплатили за вчерашний плов и ночлег, они у меня забрали два тюка ткани. Мы шили из этой ткани одежду, и этим сводили концы с концами. Что теперь будем делать?

— Машина? У вас есть машина? — Айдын ничего не мог понять: «Ведь хорошие парни! Не могли они так поступить!..»

— Да, есть машина. Но всё бесполезно — их не догнать!..

— А если догоним? — «Нельзя смиряться, надо действовать» — стучало в голове.

— Это невозможно. Если даже догоним, ничего не добьёмся. Свои же казахи тебя и угробят в степи.

— Что теперь будем делать?

— Что делать?! Мы-то как-нибудь прокормимся. А ты что будешь делать? Вернись на родину, пока цел.

— Как я доберусь до родины, если карман пуст?

— В таком случае найди здесь какую-нибудь временную работу и заработай на дорогу.

— У меня нет документов, — вдруг с ужасом вдруг вспомнил Айдын. — Руководитель забрал у всех документы, сказал, что лучше их держать в одних руках.

— Пропал ты, парень.

— Да, пропал окончательно! — он произнёс эти слова, даже не вдаваясь в их страшный смысл.

Безмерность человеческой подлости и предательства потрясли его. Он ощутил боль. Боль жгучую, бесконечную, всеобъемлющую! Она пронзила его насквозь, рвала душу, жгла нутро. Почти потеряв рассудок, он некоторое время сидел неподвижно. В глазах потемнело, он не видел ничего вокруг. Когда судьба хочет нанести удар, она бьёт наотмашь, неистово. Придя в себя, оглянулся по сторонам, старика-узбека давно и след простыл. Со слабой надеждой потянул ручку ворот дома, где ночевал. Ворота не открывались. Нажал на кнопку звонка. Никто не ответил. Не зная, что делать, он поплёлся куда глаза глядят.

IV

Пока весь исхудавший, потерянный Айдын добрался до Алматы, прошло три месяца. А перед квартирой, где он прожил столько лет, его ожидала ещё одна беда. Деревянную дверь заменили железной. Вместо одного замка врезали два. Не понимая, что произошло, Айдын нажал на кнопку звонка. Дверь с железной движкой приоткрылась.

— Вам кого? — спросил толстощёкий парень с растрёпанными волосами.

— Откройте дверь, — сказал Айдын. — Это моя квартира.

— Вы с своём уме?.. Убирайтесь немедленно! Не то позову полицию!.. — дверь закрылась перед самым его носом.

Сердце Айдына забилося, кровь вскипела, и он пошёл к соседу-татарину. Дверь открыл сам Рафик. Айдын сказал, что его квартирой завладели чужие люди.

— Да, — невозмутимо сказал Рафик. — После вашего отъезда пришли какие-то люди и начали делать капитальный ремонт. Недавно заселились. Я спросил, что да как, они ответили: «Мы купили эту квартиру».

— Что мне делать?

— Идите в милицию.

Айдын пошёл в отделение милиции. Спасибо молодому милиционеру, тот при нём стал допрашивать толстяка с большой башкой. К удивлению, документы оказались в полном порядке. Потом они вдвоём пришли в КСК. И там документы оформлены должным образом.

Эти документы подтверждали, что Айдын через маклера продал свою квартиру за три тысячи долларов.

— Аксакал, извините, я ничем не могу помочь, — сказав это, молодой милиционер пошёл своей дорогой.

«На бедного Макара все шишки валяются, беда не приходит одна», — подумал Айдын. Разум отказывался понимать происходящее: «Не может быть!!! Неужели я останусь на улице?.. Кто я теперь?.. Нет предела людской бесчеловечности! И Бога не боятся! Почему?! Почему это случилось именно со мной? За что? О Всевышний Боже, почему ты меня так наказываешь? Что плохого я тебе сделал? Неужели ты можешь оставить человека в такой си-

туаации?.. Неужели я в чём-то так провинился, что нет мне прощения? За что?.. За что?..» От тяжёлых мыслей голова закружилась, глаза затуманились. Коленки дрожали, еле передвигая ноги, он добрался до скамейки и опустился без сил.

Солнце садилось...

V

С утра пораньше разбегаются они в разные стороны и собираются лишь вечером. Полный интернационал, представители разных народов, эта группа была очень колоритна. Иван, вечно пьяный, с сизо-красным огромным носом, явный лидер сборища — русский. Его правая рука — коренастый, кривой на левый глаз татарин Шавхат. Среднего роста, весь в угрях синюшного оттенка Тохтахун — уйгур. Низенький коренастый Пак — кореец. Худощавый, мосластый болтун Юлдаш — узбек. Самый высокий, длинноногий, получивший из-за худобы прозвище Антенна, Тимофей — украинец. Вот с ними вместе и обитал светлолицый когда-то Айдын.

Их нынешнее жилище — небольшой подвал одного из домов, который раньше использовали как склад. Своих друзей, ночевавших раньше на крышах домов или в подземных канализационных люках, сюда привёл Шавхат.

— Собака с нюхом, — сказал тогда Иван Шафхату. — Чего ты только не находишь! Если бы не ты, никогда бы не нашли такой хаты.

— Правильно говорит, — поддакнул Юлдаш, привыкший поддакивать главарю. — Разве найдёшь угол лучше этого?!

— На хрена нам лучше?

— Почему?

— Не дадут нам жить в лучшем.

— Да, это правда.

— Коммерсанты отберут.

— Хватит! Заткнитесь! Баста!.. — сказал Иван, его лицо стало чернее тучи.

Сборище, гудевшее как улей, сразу замолчало.

У этих людей свои неписанные законы. Зная, что пропадут в одиночку, они живут общиной. Днём обшаривают все уголки по-



луторамиллионного города, а вечером собираются в подвале. Для бездомных бродяг это жилище не хуже ханского дворца.

Каждодневный ритм их жизни и в тот день не нарушился. С наступлением вечера, в сумерках один за другим они стали возвращаться к себе «домой».

— Эй, Алик, зажги свечу, — приказал сидевшему ниже казаху Тохтахун, громко высморкавшись, зажимая ноздри короткими толстыми пальцами.

— Меня не Алик зовут, а Айдын, — буркнул тот.

— Заткнись! Иван идёт, и если не будет света, он покажет тебе, где раки зимуют! Имя своё вообще забудешь! — угрожающе скал Тохтахун.

Только Айдын успел зажечь свечу, вошёл Иван, потирая указательным пальцем горбатый нос.

— Как вы тут, соколы мои, все в сборе?

«Да сегодня у него настроение хорошее, — подумал Айдын. — У него привычка: если удастся выпить, начинает называть нас «соколы мои», а если не повезёт с выпивкой, тогда кричит, обзывает собаками-свиньями».

— Все в сборе, — сказал Шавхат, облизывая большим языком потрескавшиеся губы.

— Ну, что добыли?.. Бросай в общак на серёдку!.. Сядем!.. Антенна, там кран как бы не вышибло?.. Ты же сантехник?! — Иван громко расхохотался. — Не бомбанёт?..

— Да, я работал в КСК сантехником, — Тимофей приосанился. — Не бойсь, не бомбанёт!..

— Чё же ты ушёл?

— Платили копейки, да и то не вовремя!.. Я и взял пару счётчиков, загнал их... Ну и дали мне четыре года. От звонка до звонка... Жена, стерва, продала дом, нашла хахалю и укатила в другой город. Так и стал бичевать...

— А я не нашёл работу в Татарстане, приехал в Казахстан. Мне говорили, что здесь заработать можно... — поддержал разговор Шавхат. — Вот и верь кому... Правда, в первый год удалось сесть за «Камаз». В Китай цветной металл возили. Но выдоили всё проклятые таможенники, и пошло всё прахом — и работу, и документы потерял.

— Значит, бизнес хотел сделать? — Пак хмыкнул. — Я тоже занимался бизнесом, даже дом заложил. Дело прогорело, и дом мой — коту под хвост!.. Вернее, одному хмырю! Он и бабу мою прибрал!.. Да!.. Бабы все стервы! Им только деньги нужны!..

Юлдаш поддакнул:

— Эти колбиты правильно говорят, — и показал на Айдына указательным пальцем. — «Не надейся на жену и коня». Я вернулся из Сибири, а моя лежит с любовником. Оба голенькие в спальне.

— А чё потом? — спросил Тимофей.

— Эй, не перебивай, — набросился на него Шавхат.

— Какой мужик потерпит такое унижение? — продолжил Юлдаш. — Я за нож, хотел их обоих зарезать. Но эта стерва, шустрая, выбежала, спряталась в соседской квартире. А тот ублюдок, её любовник, коньки и откинул. И меня в тюрягу упекли...

— А зачем ты ездил в Сибирь? — спросил Пак.

— О, безмозглый, как не можешь понять? Ездил зелень продавать.

— Что скрывать, я пострадал от водки, — сказал Тохтахун. — Не могу без неё, родимой!..

— Иван, а ты сам... — Тимофей приксуил язык.

— Ты чё ж, допрос с меня снимаешь?! Много хочешь знать!.. — рыкнул Иван.

— У казахов есть пословица: «Если народ пожелает, то хан и верблюда зарежет», — сказал Шавхат, который был у Ивана за подручного, позволяя иногда себе вольности.

Подогретому водкой Ивану понравилось слово «хан».

— Если хотите знать, чего мне не рассказать-то, — сказал он, поглаживая двумя пальцами горбинку носа. — Будь я трижды проклят! Век воли не видать! Моя жизнь похожа на судьбу Лопуха. Водка — мой друг и мой враг.

Зная, что Лопух — прозвище Тохтахуна, остальные поняли, почему Иван опекает его.

— Ладно, хватит на сегодня. Отбой! — раздражённо сказал Иван.

В тот же миг все попадали на сено и тряпье, не раздеваясь.

Вскоре стало слышно, как соревнуясь друг с другом храпят бедные бродяги, оставляя позади ещё один день.

В этом логове Айдын находился ещё два месяца как бедный родственник. Среди тех, кто сильнее его, ему пришлось быть тише воды, ниже травы. Но всё равно и эта группа его не приняла, не смог он там прижиться. В конце концов его выгнали.

И если раньше было только мучение, то теперь жизнь превратилась в ад.

Однажды он нашёл кошелек. Нетерпеливо открыл и не поверил своим глазам, увидев совершенно новые пятисотки. От счастья, обрушившегося на него, у него чуть не закружилась голова. Придя в себя, посчитал деньги — оказалось, пять тысяч тенге! Давно не видевший горячей еды, он почти бегом направился к столовой напротив, уже ощущая вкус пищи. В этот момент его догнали двое бродяг, у которых на плечах были пёстрые китайские сумки.

— Эй, ты, козёл, — сказал один, приближаясь к нему. — Отдай деньги!

— Какие деньги? — спросил Айдын, засуетившись.

— Мы видели, как ты нашел деньги на дороге, — двинулся на Айдына второй.

Айдын побежал. Два громалы мигом настигли и вцепились в него. Как он ни сопротивлялся, силы были неравными. Свалив с ног, они стали его избивать. Но Айдын всё равно не выпускал кошелек из рук, который держа его мёртвой хваткой. И вдруг резкая боль заставила его разжать руки. Острым лезвием они порезали пальцы... Заполучив кошелек, оба растворились в толпе... И никто не пришёл на помощь! Никто даже не попытался вмешаться...

Помыв в арыке окровавленную руку, Айдын упал под высоким тополем во дворе. В это время наступила темнота, люди уже ложились спать. Но Айдын долго не мог уснуть. Все мытарства, издевательства, которые ему пришлось пережить в последние месяцы, проходили перед глазами. Он вспоминал, как стоял вместе с безработными на улице Сейфуллина перед тем, как присоединиться к бомжам, и как его оттуда прогнали с шумом, натравив собаку.

Месяц назад он нашёл в мусорном ящике жестяную банку и обрадовался своей находке как маленький ребёнок. Но и эта радость не была долгой. Быстро открыв банку с надписью «Паштет»,

он немножко успокоил свой желудок, но потом чуть не умер от отравления...

И после этого он немало повидал. Однажды среди страшной ненастной ночи, когда, как говорят, хороший хозяин и собаку из дома не выпустит, его разбудили пьяные, возвращавшиеся из гостей, пиная ногами.

— Ах, мерзавец, вставай и уходи, — сказал косоглазый толстяк, подойдя вплотную. Откидывая назад волосы, падавшие на глаза, он стоял над Айдыном и угрожал.

— Агатай, дайте мне поспать тут до утра.

— Уходи немедленно! Уходи, я говорю! Испачкаешь подъезд!

Выходя из подъезда, он услышал слова женщины, которая была вместе с косоглазым толстяком:

— Тьфу, какой вонючий этот бомж!

Железная дверь захлопнулась. Обуреваемый сном Айдын постелил грязную газету на земле недалеко от гаража во дворе и заснул.

В тот день Айдын, копаясь в мусорном баке, собирал бутылки. Услышал позади себя знакомый голос женщины. Он не посмел прямо посмотреть, бросил взгляд краешком глаз и сразу узнал: эта была Нагима, подруга Рымжан, с которой она вместе училась в институте. Айдын не мог поднять головы, пока она не отошла далеко. Так он долго стоял как страус, что прячет голову в песке. Вонь из мусорного ящика и раньше ему была знакома, но сегодня он её особенно остро чувствовал, и его тошнило. Глядя на свой старый пиджак и грязные брюки с дырками на коленках, проведя потрескавшимися ладонями по небритой щеке, он почувствовал себя загнанным зверем. Всё вокруг обложено красными флажками, и нет пути, и некуда больше бежать. Повсюду дула ружей и злые прищуренные взгляды сквозь прицелы, откуда летит шквал убивающих наповал пуль.

Презирая себя, он проклинал свою несчастную судьбу. Хотелось плакать, но не было слёз.

VI

Уже год, как Айдын принял статус «бомжа», стал бродягой, но об этом он вспомнил только сейчас, когда наступила холодная осень. Люди говорят: «Человек через три дня и к могиле привыка-

ет», и это правда. Оказывается, и к собачьему бытию, казавшемуся вначале очень трудным, он тоже постепенно привык. Терпел голод и унижения. Но всё равно не хотел расстаться с этой проклятой жизнью и жил как мог. Теперь же она начала надоедать...

Понимая, что суровая жизнь его не пощадит, он терзался больше и больше. Сердце ныло, душа плакала кровавыми слезами. «Кому я нужен на этом свете? Я уйду — и никто этого не заметит... Может, даже чище будет на Земле, меньше грязи!.. Никчёмный я человек оказался, никому не нужный и никого теплом не одаривший. Каждая букашка имеет свою норку, своё обиталище, своё потомство... А что я оставляю в этой жизни, каков смысл моего существования? Никаков! И всё тут! Хватит просто существовать! Хватит! Надо уходить, пока я ещё человек!!! Сколько же можно терпеть этой грязи и унижений?! Лучше умереть, чем терпеть все это», — думал он. С этого дня Айдына не оставляла навязчивая мысль: «Когда и как умереть?»

Раньше, особенно в первые годы совместной жизни с Рымжан, Айдын страшно боялся смерти. А с тех пор, как потерял свою Рымжан и своего Айбара, стал смело смотреть смерти в глаза и перестал её бояться. А в последнее время мысль, что смерть лучше, чем проклятая собачья жизнь, начала целиком подчинять его себе.

Кто знает, может быть под влиянием этой мысли он видел Рымжан во сне. Как и прежде, во времена своих счастливых дней, они гуляли в Медеу¹. Айдын хотел обнять и поцеловать Рымжан, но она убежала. Айдын побежал за ней. Они шли по грязной воде. Через некоторое время, обойдя Коктюбе², подошли к Кенсаю³. Дойдя до крайней могилы, Рымжан упала. Айдын хотел поднять Рымжан, и в это мгновение проснулся. Правая нога сильно болела. Он выбежал на улицу. Присмотревшись, увидел, что на правой голени появилась глубокая, с куриное яйцо, рана. Он понял, что это крыса откусила кусок плоти с его ноги.

¹ «Медеу» — спортивный комплекс, в одноимённом горном урочище реки Малой Алматинки, на высоте 1691,2 м. над уровнем моря.

² Коктюбе — гора, высшая точка г. Алматы, с вершиной на высоте 1100 м. над уровнем моря.

³ Кенсай — кладбище в восточной части Алматы на вершине горы; в переводе с казахского означает также «большое ущелье».



Едва наступая на больную ногу, Айдын сел на скамейку во дворе. Не зная, что делать и откуда ждать помощи, он огляделся по сторонам. Увидел газету под ногами. Неохотно взял её в руки. Это был номер «Алматы акшамы»¹ от пятого мая двухтысячного года. Без интереса просмотрел первые две страницы, потом взгляд задержался на короткой статье: «Бродячие бомжи». Начал читать: «В настоящее время много стало бомжей без жилья, без средств к существованию и работы. Не все эти крепкие мужики — алкоголики или наркоманы. Они отстранены от общества в связи с тяжёлыми реалиями социального бытия. Из-за отсутствия жилья вынуждены жить в подвалах, на крышах и влачить жалкое существование. В нашем обществе не хватает социальной заботы и сострадания к таким людям. Беря во внимание это, профессор Ярославского университета имени П. Демидова в России Фёдор Завьялов и кандидат экономических наук Елена Спиридонова взялись изучить проблему бомжей. В результате их кропотливого труда отыскались родственники у 83 процентов, родители — у 27 процентов, братья и сёстры — у 64 процентов, дети — у 54 процентов бомжей. Из этого следует, что у людей не хватает благородства. Как определило исследование, у многих бомжей есть образование, они могут устроиться на работу на любом предприятии водителями, машинистами, слесарями, операторами, токарями, электриками. Хотят они жить как нормальные люди, но из-за неимения жилья не прописаны нигде. А причина лишения жилья — судимость. На что они живут: 43 процента перебиваются случайными заработками, остальные собирают бутылки, металлолом, сырьё, а в летнее время торгуют украденными овощами-фруктами. Из числа бродяг только пятая часть получает пенсию по возрасту или инвалидности. Их доход, добываемый с трудом, уходит на питание, выпивку и сигареты. Помимо этого, сколько ещё нужно на лекарства, одежду, мыло? Что хорошо: установлено, что бомжи тратят 17 процентов дохода на газеты и журналы! И на этом спасибо!»

Айдын положил газету на скамейку, посмотрел по сторонам. Утро давно наступило, но никого во дворе ещё не видно. Когда он читал газету, нога вроде не болела, а сейчас боль усилилась.

¹ «Алматы акшамы» — казахстанская общественно-политическая газета.



Айдын некоторое время сидел в раздумье. Лицо его окаменело. Он вынул из кармана расчёску, причёсал волосы на голове и торчащую на щеках щетину. Посмотрел вокруг и решительно вытащил нож, который всегда держал в кармане. Сильная его рука не промахнулась. Засверкавшее в лучах только что поднявшегося солнца острое стального ножа вонзилось в мягкое тело. Закрыв глаза, Айдын острым лезвием вспорол себе живот...

Айдын прикрыл руками вываливающиеся кишки, и стал медленно оседать. Глаза полузакрылись, на губах выступила пена. В этот миг только что спрятавшееся за тучами солнце выглынуло вновь, и вокруг стало светло. Боль ушла... Перед взором Айдына появился ослепительно сияющий мираж — из прозрачной дымки медленно выплывала белая лебедь. Оплакивая свою половину, она летела к нему. Печальная мелодия — то ли стенания, то ли тихий плач. Эта лебедь вскоре обратилась в Рымжан, одетую в длинное белое платье. Айдын хотел обнять свою любимую и подался вперёд, но упал. Взмахнув крыльями, отчего повеяло прохладой, Рымжан улыбнулась ему. Её чарующая улыбка наполнила его необыкновенной радостью, несказанным счастьем и долгожданным покоем. Все его чёрные дни и ночи, принесшие столько горя, остались позади.

Внезапно Айдын поднялся и наконец прикоснулся к Рымжан. Тело его стало лёгким, и он растворился в сияющем блеске миража.

А жизнь на земле, где ему не нашлось места, и потому она отравила его на небеса, как ни в чем не бывало, продолжалась. И обманчивая её красота сверкала, и светило солнце, и восходила луна, и день сменялся ночью.

Такая короткая быстрая жизнь со своими нескончаемыми заботами...

БЕКСУЛТАН НУРЖЕКЕЕВ

ЗА ЧТО?!

Было уже довольно поздно, когда дремавший во дворе крупный сторожевой пёс почуял чужого. Он встрепенулся и зло, недовольно зарычал. В следующую минуту из темноты вынырнул всадник, и собака тотчас же остервенело бросилась ему наперерез. Ночь стояла безмолвная, глухая, и оттого тишина взорвалась так неожиданно, будто неосторожный пёс зацепил хвостом бездонную тьму и громыхнул всей её тяжестью.

Всадник подпустил собаку ближе, быстро и ловко свесился с неосёдланного коня и намертво схватил пса за загривок, оторвав от земли его огромное, вдруг разом обмякшее тело. Потеряв опору, собака жалобно заскулила. Но жестокая рука не дрогнула. Одним движением всадник перерезал псу горло, тщательно вытер нож о его шерсть и только тогда разжал свои сильные пальцы.

Ночной гость спешился, накиннул повод на кол, торчавший из стены хлева, и направился к дому. Дверь, наспех сколоченная из сосновых досок, была заперта, и он чуть замешкался, раздумывая, как поступить. Стучаться не стоит — в такой поздний час это заставит хозяев насторожиться. Лучше действовать внезапно. Наконец, напрягая силы, он резко дёрнул дверь на себя, и она раскололась надвое. Разбуженный треском ломающегося дерева, хозяин тут же вскочил с постели. Он ничего не успел понять спросонок, не успел даже испугаться, как вдруг чьи-то сильные руки железными тисками сдавили горло. Незвестный действовал в кромешной тьме быстро и уверенно, словно дело происходило днём.

— Ойбай, ойбай!.. — заголосила беременная жена хозяина. Страх парализовал её, она не нашла в себе сил поднять своё отяжелевшее тело и теперь беспомощно жалась к краю постели. Да и сам хозяин оцепенел от ужаса. Наконец, вошедший гневно, сквозь зубы произнёс:

— И дружбе, и вражде бывает предел.



Хозяин узнал его по голосу и понял, что живым из этих рук ему не выбраться. Усилием воли заставил себя собраться, чтобы всё-таки попытаться выскользнуть, и сдавленно прохрипел:

— Одумайся, конец наступит и тебя.

— Разве я убил твоего отца, что ты пророчишь мне возмездие?! — взорвался тот. — Ты сам напрашивался на вражду. Солдат на меня натравил, думал за жену отомстить, да? Запомни, если тебе всё ещё мало, — твоя вторая жена сейчас тоже будет подо мной.

— Я это чувствовал — подлец не может поступить иначе. Ты всю жизнь тешишь себя охотой на диких зверей да безвольных баб и думаешь, что тебе всё дозволено. Разве дано такому понять, что кровь не приносит славы. Куда сложнее уладить наши отношения миром.

С этими словами он расцепил сжимавшие его руки, ринулся было на улицу, но выбежать не успел: под левую лопатку вошёл острый нож, и ледяной холод сковал сознание.

...Убийца выскочил во двор.

Он понял, что близится рассвет, и поспешил к коню.

Только звёзды, как ошалелые, смотрели с неба широко раскрытыми глазами.

* * *

Жумекен был всеобщим любимцем. Его уважали не только в Джуанагаше, но и по всей округе Коктала и Джаркента. Он умел многое, что не под силу простым смертным — в этом, наверное, и заключался секрет его популярности. Шумные споры и передраги, в которых доводилось участвовать Жумекену, тут же подхватывали любители посудачить, разносили окрест, щедро расписывая, словно захватывающие легенды. Был он не просто силачом и смельчаком, каких мало; о Жумекене ходила слава, как о непревзойдённом охотнике. Что и говорить, в роду Суан по пальцам можно сосчитать тех, кто своими глазами видел медведя, а уж стрелять почти никому и вовсе не приходилось. У Жумекена на счету было целых семь медведей. Не только детвора, но и видавшие виды аксакалы сравнивали его Кобыланды-батыром. Да, в самом деле, никогда не бывало в этих краях такого меткого стрелка. Пуля его, будто заговорённая, разила наповал. Когда на джай-



ляу¹ он метил лошадей, с расстояния простреливая ухо, люди от изумления раскрывали рты. Очевидцы не верили своим глазам, а те, кто знал о необыкновенных способностях Жумекена понаслышке, поговаривали о чуде.

Добрая слава порой смягчает недостатки. Ко всему прочему Жумекен был неисправимым распутником. Хоть джигит он не женатый, по ночам в одиночестве никогда не изнывал. Не раз и не два залезал он под одеяло к красавицам молодухам, но, как ни странно, они не только не гнали его от себя, а наоборот, охотно принимали в жаркие объятия, словно как раз и ждали его одного. Что заставляло их поступать так: то ли страх, то ли грешная страсть... легче вызнаться у них самих.

У людей давно вошло в привычку растолковывать непонятное на свой лад. Поэтому про Жумекена вечно ходили нелепые слухи. То будто он с рождения знает язык животных, птиц, то, как клятвенно уверяли, будто он привораживает женщин, как колдун... Неважно, была ли в этом доля правды или нет, только людская молва лишь раздувала шумиху вокруг него. Жумекена хвалили наперебой, и, если прислушиваться к досужим разговорам, выходило, что нет дела почётнее, чем лазить в постель к чужим бабам. Видно, людям просто не хватало смелости осудить беспутного.

Были, конечно, у Жумекена и враги, ведь у каждой опозоренной им женщины имелись заступники, да и сам Жумекен не очень-то скрывал свои похождения. Однако в открытую враждовать с ним редко кто отваживался. Если кому и приходило в голову ссориться с Жумекеном, он только смеялся над дурнем и наслаждался своей безнаказанностью.

Внешность Жумекена под стать характеру: брови почти срослись у переносицы и вечно нахмурены, как будто джигит копит между ними свою ярость. И если человек слишком угрюм, в Джуанагаше ему скорее всего скажут так: «Э, брат, характер у тебя мрачный, точно брови Жумекена». Да, что только не болтали про эти самые знаменитые жумекеновские брови.

Вот, к примеру, один случай. Рассказывают, что однажды Жумекен, возвращаясь с охоты, проезжал мимо баймухановского дома, когда тот куда-то отлучился. Увидел он молодую жену Бай-

¹ Джайляу — летовка; летнее пастбище.

мухана да тут же воспыал страстью к белотелой стройной красавице. Слабая женщина вынуждена была уступить грубой силе. Но за первым сближением неминуемо последовало другое, она уже не в силах была отказать любовнику и заботилась лишь о том, чтобы не предать грех свой огласке. Через некоторое время жена родила Баймухану сына, и всё бы забылось, если б тайна года через три не всплыла сама собой. Подрастая, сын всё более походил на Жумекена и сам стал свидетельством совершённой некогда измены. Ребенок был поразительной копией своего отца, особенно выдавали его вечно нахмуренные брови. Баймухану временами казалось, будто обидчик открыто плюет ему в лицо — так действовал на него облик мальчика. Старания ничего не замечать были напрасными. Даже жена не посмела ничего отрицать. Снедаемый позором и оскорблённой честью Баймухан бросил её и женился на другой.

* * *

А времена были тревожные. Волнения, смута вихрем кружили над степью. В аулах власти сменялись по три-четыре раза. Но Жумекену всё было нипочём. Он по-прежнему охотился, путался с бабами — в общем, жил в своё удовольствие. И всё-таки, как ни старался он остаться в стороне, как ни хотел соблюсти желанный нейтралитет, тридцатый год для него оказался крепким орешком. Колхозы появились в степи недавно, но процесс коллективизации принял необратимый характер, вовлекая в свой круг всех и вся. Когда в 1927 году Баймухана выбрали председателем аульного Совета, Жумекен опасался в душе, что теперь на него надвинется какая-нибудь беда. Но поскольку сам Баймухан не предпринимал ничего враждебного, он на время забыл о своих опасениях и старался не ворошить в памяти давнюю историю. А нынче уверился в том, что Баймухан прятал свои когти до поры до времени. Его теперешние выпады — не что иное, как взрыв старого гнева. При встрече он не церемонился, и вид у него был самый решительный, как у человека, готового к схваткам.

— Ты охотишься не в интересах коллектива, а ради собственного удовольствия. Это занятие одиночника. Записывайся в колхоз. Если узнают, что ты записался, народ к нам валом повалит. Колеблющихся ещё много. Они послушают тебя, да и новой власти услужу окажешь, — предложил Баймухан.



Жумекену не понравилось, что Баймухаи разговаривает с ним как-то снисходительно, и ответил ехидно, с издёвкой:

— Строишь колхоз, так и строй себе на радость, а меня в это дело не путай. Тебе ль не знать, как мало пользы там, куда я вхожу в пайщики. Знаю, ты хочешь, чтобы я был от тебя в зависимости. Хитришь, но я понял, куда ты клонишь.

— К чему зря царапаться, — попробовал урезонить его Баймухан. — Время сейчас такое, что люди тебя не поймут, если не пожертвуешь личным спокойствием. «Гнев доброго человека пройдёт, пока сохнет шёлковый платок; гнев дурного не остынет, пока он не стукнется лбом о землю», — говорят в народе. Я думаю, у нас достаточно рассудка, чтобы понять это.

— Если у тебя и в самом деле хватает ума, отстань от меня. Мне твой колхоз даром не нужен.

— Нет, Жумекен, личные счёты — одно, но не стоит из-за них пренебрегать интересами общества.

— Что ж, по-твоему, ради общественных интересов мне следует кое-что отрезать?!

Не выдержав последней реплики Жумекена, Баймухан выругался и набросился на него. Их разняли с большим трудом. И хотя они не успели друг друга вздуть, старая вражда вспыхнула с новой силой. На следующий день после ссоры Жумекена вызвал в Джаркент его старший брат.

* * *

Абдикен — старший брат Жумекена. Несмотря на некоторую внешнюю схожесть, они были совершенно разными. К тридцати годам Абдикен увлёкся политикой. С детства он батрачил у русских кулаков Коктала, новую власть принял сразу же. Его друг по батрачеству Саша Южании постепенно посвящал его во всё, что происходило вокруг, терпеливо разъяснял пролетарские идеи, учил политической грамоте. В роду у Абдикена никто никогда не имел власти. Отец Шымырбек не отличался ни знатностью рода, ни богатством — так, бедный дехканин. Сторонником Советов Абдикен стал благодаря русским, таким как Южанин. В двадцатые годы возглавил комсомольскую организацию Джаркентского уезда. Он прекрасно владел казахским и русским, а так как сам был уроженцем тех мест, всем хорошо знакомым, люди прислу-

шивались к нему. Это помогло создать в нескольких аулах комсомольские ячейки. Абдикен участвовал в подавлении банд атаманов Дутова и Сидорова и попортил немало вражеской крови. Но пули не щадили и его. В жестоких боях был трижды ранен, нога искалечена...

В те годы в пограничных районах было неспокойно. Зверствовала, отступая к далёким рубежам Семиречья, банда Сидорова. Она то ускользала в Китай, то неожиданно объявлялась в Джаркенте или Кургасе. Стоило потерять бдительность, как банда совершала новые набеги, заливая кровью мирные аулы. Границы были беззащитными, красноармейцев не хватало, поэтому вся тяжесть борьбы с бандами легла на плечи гражданского населения. Обнаглевшие налётчики вырезали целые аулы. Особенно жуткая резня произошла в Буртане. За одну ночь бандиты перебили всех жителей и сровняли с землей большой аул в пятьдесят дворов.

Абдикен с Южаниным приехали в Буртан для выяснения картины налёта и подавленно отвернулись, не в силах вынести тяжелого зрелища.

— Пожалуй, теперь долго казахи будут враждовать с русскими, — сказал Абдикен товарищу.

— Да, — ответил Южанин, — они не только устроили резню, но посеяли недоверие между нашими народами. Вот тебе и повод для бредней Алаш-Орды.

— Чтобы разжечь междоусобицу, достаточно убить двоих-троих... А они стёрли с лица земли весь аул...

— Что толку сетовать, надо действовать, Абдикен!

— А что мы можем — склонить головы и прочесть молитву над убитыми?..

— Но у нас есть сила! Хотя большинство из нас и не знает военной науки. Над нами просто довлеет страх. Многих напугали эти страшные убийства. Бандиты действуют внезапно и пока безнаказанно. Но если мы наконец не наберемся мужества и не разобьём их наголову, то никогда не развеем страх у людей, не вернем доверия.

Десять дней спустя они устроили засаду в селе Дубур. В сумерках, слившись с темнотой, вооружённый отряд неслышно вошел в село. Он был малочислен, чтобы не вызывать подозрений. Но допустить численное превосходство бандитов было бы безрассуд-

ным, поэтому договорились, что десятка два местных джигитов присоединятся к отряду у конторы. Однако никто не рискнул, видимо, хорошо помня трагедию в Буртане. Подождав немного, отряд спешился. Нарушенный уговор немного расстроил ребят. Пока они стояли в нерешительности, из переулка хлынул большой отряд всадников. Это были враги, и бойцы отряда Абдикена бросились к коням. Сам он, поняв, что до коня добежать не успеет, рванул к зданию конторы. Разбил окно и ввалился внутрь. С криками, руганью, бешеной пальбой бандиты выехали на улицу, всё круша на своём пути. Многие товарищи Абдикена не успели скрыться. Бандиты мчались за ними. Ими двигала одна страсть: догнать, убить... Абдикен и сам не успел понять, как нажал на курок и выстрелил в бандита, скакавшего мимо окна. Вслед за этим отправился к праотцам второй, третий. Бандиты почувствовали опасность и принялись обстреливать окно конторы. Абдикен яростно отстреливался, перебегая от одного окна к другому, и заставил завопить ещё двух-трех врагов. Он не знал, убил ли их или только ранил, но был уверен — пули даром не пропали.

Стрелять вдруг стали со всех сторон, и Абдикен догадался, что у бандитов появился какой-то хитрый план. Он лихорадочно думал, что делать. В конторе три комнаты, в каждой — окно. Сам он находился в дальней. Видимо, враги решили забраться в окно из-за спины. Он отскочил в сторону, озираясь то на окно, то на дверь. Он один, врагов много. Но он думал не о том, как спастись; сколько ещё бандитов можно уничтожить — вот что его волновало. Сзади раздался треск. Абдикен прислушался, так как ничего не было видно из-за дыма. Со лба его струился холодный пот, руки дрожали, и он некоторое время не мог преодолеть слабость. Перестрелка шла к концу. Вдруг ему показалось, что дверь приоткрывается. Он выстрелил. Дверь распахнулась настежь, и кто-то грузно рухнул на пол. Он забыл про окно, а когда обернулся, увидел лишь взметнувшийся сноп огня.

Если бы не подоспевшая группа Южанина, лежать бы Абдикену завёрнутым в саван. Когда сзади раздалась стрельба и началась погоня, Южанин поначалу растерялся, не разобравшись что к чему. При переключке недосчитались троих. Среди них и Абдикена. Не задумываясь, Южанин повернул отряд назад. «Нам их не одолеть. На верную погибель идём», — попробовал было возра-



зить какой-то парень. «Кто боится за свою жизнь, может остаться здесь! — отрезал Южанин. — Там трое наших товарищей сражаются с целой бандой, а нас двадцать — и вы ещё раздумываете», — и нерешительности был положен конец.

...Пуля попала Абдикену в грудь. Он был без сознания, когда вернулись товарищи. Отряд напал в то время, когда враги ринулись в умолкшее окно, и начал их косить.

Эта ночь принесла пограничникам славу и долгожданный авторитет. А дружба Абдикена с Южаниным стала ещё крепче. Они походили на два дерева, выросших на одном корню. И не однажды каждому из них доводилось своей грудью закрывать товарища. Когда на отвесной тропе на склоне Коргас им повстречались бандиты и Абдикен получил пулевое ранение, Южанин целых семь вёрст нёс на плечах своего друга...

* * *

Едва Жумекен переступил порог, Абдикен в сердцах отругал его.

— Если хочешь знать — это вовсе не прихоть Баймухана, а требование времени. Разве ты не видишь, что многие вчерашние властители смиреннее овец. А кто таков ты, чтобы не признавать ту силу, которая даже их скрутила в бараний рог? Колхозники — почти все бедные люди, безлошадные крестьяне, примкни к ним. Будь вожаком, учи уму-разуму.

— Лучше откажусь от хлеба, чем, глотая пыль, буду пахать землю. Предоставь мне возможность пойти туда, где много мяса, кумыса и айрана. Бьюсь об заклад, я не умру от этого. Как-нибудь проживу не хуже своих предков.

— Муки человека удесятерятся, когда он слышит из уст близкого слова, достойные врага. Ты выступаешь против колхоза, не разобравшись в том, что же такое народ, родимый край, его благосостояние, его будущее. Разве можно, к примеру, охаивать человека, с которым незнаком? Так и ты: бранишь колхоз, мелешь какую-то ерунду, а сам ничего о нём толком не знаешь. Мне горько и стыдно за тебя.

— Только не упеки меня сразу в тюрьму, товарищ пограничник. Я приехал по вызову брата не для того, чтобы просить защиты. Я надеялся, что ты не оставишь на высоком посту моего закла-

того врага, потому что думаю: мой враг — твой враг, и ты сможешь мне свалить его.

— Детский лепет. Если ты мой кровный брат, то колхоз для меня — семья. А Баймухан — одна из её многочисленных веток. Так за кого ж, по-твоему, я проливал кровь, ради чего покалечил эту ногу? Брось, Баймухан не преследовал личных целей, он только передал тебе волю властей. Лучше поучись у него. Даже твой образ жизни вызывает у меня отвращение. Как-то мелко ты живёшь, браток. Создал бы семью вместо того, чтобы болтаться по аулам да балбесничать. Или ты хочешь искоренить род Шымырбека?

— Если ты так печёшься о продолжении рода, сначала отделись от своей порожней бабы. Неужели всё ещё надеешься, что она за один присест наплодит тебе всех детей, которых не смогла родить за десять лет?! Тебя смущает, что ты хромой? Не переживай, найдётся какая-нибудь покладистая бабёнка — всё-таки ты начальник, лицо авторитетное. Неужели тебе ни разу не пришло в голову, что даже скакун не позарится на нежеребую кобылу?

— Меня это не волнует. Если у тебя появится то, чего не имею я, всё равно это принадлежит роду Шымырбека.

— Никакая печаль-забота тебя не берёт. Что ты за мужчина?! Ни гордости у тебя нет, ни чести, и мсть в тебе не разожжёшь. Когда коза не приносит двойню, люди и то плачут.

— Ты соришь такими высокими словами, как «гордость», «честь». Если б ты понимал их истинное значение, не употреблял бы всуе. И о какой мести ты болтаешь? Вот бесишься из-за Баймухана, но можно ли его винить за то, что советует тебе записаться в колхоз и приносить пользу обществу? Нет, он достойный человек, если желает тебе добра вместо того, чтобы мстить за личное оскорбление.

— К сожалению, не все столь великодушны, как вы с Баймуханом. Коль я вражду с кем-то, душа моя не потерпит, чтобы враг мой чувствовал себя счастливым. Лучше так: когда мне весело, он должен рыдать. Но я никогда не позволю, чтобы я плакал, а он улыбался.

— За что ты так его ненавидишь?

— Ты живёшь среди русских и чувствуешь так же, как они. Для тебя что я, что Баймухан — все родня. Но ты не поймёшь ни черта, пока не уйдёшь от русских.

— И ты повторяешь алаш-ордынский бред. Уже наслушался националистической белиберды. Настоящую жизнь несёт казахам Советская власть. Только она им нужна. Ты ещё убедишься, что жестоко заблуждался, ещё не раз упрекнёшь себя за то, что не внёс вовремя в фонд колхоза своё ружьё и своего коня, а заодно и свою нелепую голову.

— Пусть я умру, но в своей вере, не надейся, что запугаешь. А умирать, о чём-то сожалеть... — так это закон жизни. Но я не уподоблюсь тебе. Хоть из одного источника берём начало — мы два ручья с разными руслами.

— Ах, это твоё проклятое упрямство! Это дешёвенькие, ничего не значащие фразы! Не потрудился узнать, где лево, а где право, — прёшь вслепую. Пропади твоя сила и меткость глаз, если они не управляются умом.

— Довольно, а то и свой ум истратишь на меня впустую. Не будем спорить, иначе между нами может встать стена. Колхоз — не твой отец, алаш — не мой. Давай же не будем ссориться из-за них!

* * *

Первые налоги напугали тех, кто хотя и записался в колхоз, но не понял ещё его целей. Местные власти определили размер налогов по поставкам мяса, молока и масла для каждого аульного совета. Раскладка на каждый двор оказалась внушительной. Равные налоги и для бедняков, и для людей зажиточных обеспокоили крестьян. Поползли слухи один страшнее другого. Чтобы избежать обещанной «расправы», многие с воплями и рыданиями резали единственных коров. «Это ещё не всё, самое страшное впереди, — злобствовали враги. — Тех, кто не уплатит налоги, расстреляют». Распускающим нелепые слухи удавалось оставаться в тени. А их клевета казалась людям вполне обоснованной. И началось повальное бегство: баи бежали, спасая скот, бедные — в страхе за свою голову. Граница была не за горами, за какую-то неделю за кордон ушли сотни коктаьцев и джаркентцев. Поредели густонаселённые аулы суан, на месте белоснежных юрт, что, как гуси-лебеди на зеркальной глади озёр, расположились в урочищах Уйгентас и Аяксаз, остались покинутые выюки, пепелища костров.

Пограничники были в смятении. Коммунисты, комсомольцы, местные активисты объединились в комотряды, и подключались к пограничникам. Но число покидавших родину не уменьшалось. Стало известно, что провожает беженцев через трудные перевалы Жумекен.

Самым безопасным маршрутом Жумекена была дорога через Казанколь, огромный котлован высоко в горах. Но перевал здесь трудный, отводных троп нет, а единственный проход ведёт через самую вершину и известен лишь опытным охотникам. Живописный лес и буйные травы создали почти непроходимую чащу. В лесных дебрях хозяева — медведи, и не всякий смельчак решится потревожить эту вековечную тишину. Сама краса-природа, казалось, спряталась в маленьком урочище от жизненных невзгод и опасностей. Чёрные силуэты деревьев, покрывающие склоны горных отрогов, похожи на сказочных батыров. Величественность соседствует с хрупкой красотой. Густые раскидистые ели, пышные альпийские травы волнуются мелкой рябью таинственно и пугающе, словно прячут от посторонних глаз что-то страшное. Редкие вскрики лесных птиц будто предвещают беду.

Жумекен не подозревал о погоне. Стреножив коня, прилёт отдохнуть на самом гребне перевала. Вдруг конь тревожно заржал. Жумекен вскочил на ноги и увидел, что его окружают.

Зоркие глаза сразу же выделили из группы Баймухана, который вёл за собой отряд. Жумекен взлетел в седло. Со всех сторон раздались выстрелы. Он ответил, но второпях вместо Баймухана попал в другого. Он уже мчался во весь опор по склону и вот-вот должен был скрыться в чаще, когда его конь перекувырнулся через голову. Он хотел было залечь, чтобы вести стрельбу, но не успел. С десяток человек навалились на него и связали до рук и ногам волосяным арканом.

— Душегуб, ты же человека убил! — гневно воскликнул Баймухан и огрел его плетью. Это был первый в жизни удар, испытанный Жумекеном. Боль и ярость наполнили все его нутро нестерпимо горьким ядом. Он застонал от гнева и бессилия. Но кто станет жалеть человека, который убил твоего товарища? Каждый боец отряда хотел хотя бы раз ударить Жумекена плетью, а когда он потерял сознание, его положили поперёк седла и поздней ночью доставили в Джаркент.

* * *

Придя в себя, Жумекен продолжал нарочито громко бредить. Своими притворными стонами он разжалобил часового, выпросил у того воды и так слабо цедил её сквозь зубы, будто терял последние силы. Несколько глотков он растянул на добрых полчаса. Не столько пил, сколько проливал.

Часовой задремал. Но арестованный метался как на смертном одре: икал, издавал дикие звуки, агонизировал. Часовому стало жаль заключённого, да и ушам нужно было наконец дать покой. Он принялся уговаривать:

- Потерпи маленько, скоро рассвет.
- О-хо, тамыр¹, разреши на двор!
- Нельзя. Не могу.
- Я уже не жилец на этом свете, так дай хотя бы умереть в чистоте.

Голос был настолько слабым, что часовому опять стало совестно. Он приподнял Жумекена, помогая встать, но тот неожиданно вцепился ему в горло. Часовой захрипел, а рука арестанта сжимала горло всё сильнее и сильнее...

Вырвавшись из тюрьмы, Жумекен погладил лезвие ножа, за сунул его за голенище, спрятал за пазуху наган часового и опоясался патронташем. Потом принялся тщательно обшаривать дворы. Наконец ему повезло: он услышал конский храп и тут же юркнул за плетень. Собаки не было. Распатав замок на двери, вытащил его вместе со скобой и вывел коня из стойла. В следующую минуту Жумекен уже мчался в сторону Джуанаша. И вид у него был такой решительный, что всякий бы растерялся. Он наслаждался мыслью о том, как завтра люди будут охать и ахать от ужаса, когда узнают, что он натворил. Он летел как на крыльях и представлял, как будут передавать из уст в уста: «Кто поссорится с Жумекеном, у того навсегда погаснет звезда жизни». Даже ради одного этого стоило совершить задуманное! Внушить людям страх...

Зарезав Баймухана вместе с его женой, Жумекен направился в сторону Казанколя через урочище Осек, чтобы той же ночью уйти за кордон.

¹ Тамыр — друг; приятель; побратим.

Абдикен не мог смотреть людям в глаза. Становилось неловко и оттого, что родной брат бандита всё ещё работает в отряде пограничников. Посоветовавшись с Южаниным, он сослался на боль в покалеченной ноге и отправился в аул. Отца и мать Абдикен застал в слезах. Отец, хоть и робко, но всё же сообщил ему о своём решении:

— Малюсенькое существо воробей, но и тот печётся о своих птенцах. А я человек. Мне безразлично, кем твоя власть считает Жумекена, другом или врагом. Для меня он сын и даже больше — он продолжатель нашего рода, единственная надежда, что имя моё не будет забыто. На тебя уже нет надежды. Мы не смогли уломать тебя, когда ты ещё был в расцвете лет. Теперь ты хром, да и немолод, так что не тебе бросать жену. Ты спелся с русскими и забыл наши обычаи. Но это ещё полбеды, если бы нас печалило только твоё одиночество. Речь идёт о продолжении рода моего праотца Судалы — что если вы окажетесь его последними ветвями? Вот почему меня так волнует судьба Жумекена. Почти все суаны перебрались в другие края. И беда не страшна, если встретил её не один — так люди говорят. Давай-ка и мы уедем отсюда. Заживём вместе с Жумекеном. А здесь люди сторонятся нас, даже дети при встрече плюются. Как же мы сможем жить под проклятием?

— Зачем ты говоришь мне об этом? Я не могу покинуть родину лишь потому, что этого хочется Жумекену. Я же не перемётная сума...

— Тебе виднее. Я знал, что ты так ответишь. А наше решение вот — в следующий понедельник уйдём за кордон. Помоги, это будет твоей последней услугой, которой ты отблагодаришь нас за всё. Но напоследок хочу сказать, эта власть не сделает тебя счастливым. Если сегодня по наговору Баймухана травят Жумекена, то завтра по навету других будут преследовать и тебя. Ещё не раз ты ощутишь на себе клеймо «брат бандита».

— Что ж, по-твоему, надо бежать куда глаза глядят, испугавшись клеветы? Человек может выйти живым даже из огня. Зачем тебе я, подумай лучше о своей судьбе. Ты покидаешь в страхе землю отцов с одной только целью продолжения рода, но разве ты убеждён, что попадёшь в рай?



Нет, но душа — весы справедливости. Мне не нужно другого счастья, если у меня будет внук от Жумекена.

* * *

Те, кто уходил горами, по пути угоняли скот. Вот почему отряд не выпускал из поля зрения перевалы. Но застигнуть кого-то врасплох было чрезвычайно трудно. Люди, пережившие страх и горе в 1916 году, научились разным хитростям и ловко заматали следы.

В воскресенье отряд пограничников из пятнадцати человек, возглавляемый Абдикеном и Южаниным, выехал в горы. Прочёсывая скалистые берега реки Осек, они наткнулись на временные стоянки беженцев. Горько было видеть этих заблудших. Они покидали родину, наслушавшись грязных слухов, клеветы, испугавшись угроз. Кое-какие рассказы вызывали грустный смех. Седобородый старец, вожак кочевого каравана, жаловался на судьбу и безутешно плакал: «Дети мои, не возвращайте нас назад. Не можем мы вступить в вашу коммунию. Старух уже не жалко, но как же мы, ещё живые, передадим в общественное пользование родных дочерей. Это же неслыханный позор! Лучше уж пристрелите на месте!» Дико, но старик поверил в этот абсурд.

Поздним вечером отряд повернул назад. Лошади выдохлись, люди смертельно устали. Доехали до входа в ущелье и по пологому берегу Осека направились в сторону джаркентской дороги. Абдикен задумался: «Сегодня уже воскресенье, неужели завтра вся наша семья уйдёт из родных мест?» Как бы ни был он твёрд духом, но расстаться с родителями навсегда ему было тяжело. Чтобы как-то отвлечься от мрачных дум, Абдикен принялся разглядывать склоны.

Можжевеловые рощи, сумрачные очертания скал навевали в этот вечерний час тоску и смутную тревогу. Солнце ещё не закатилось за горизонт, но в ущелье было темно. Лошади то и дело спотыкались на скользких валунах, погружались по грудь в воду и устало выкарабкивались. За ними брели вконец измотанные, полусонные пограничники. Все угрюмо молчали. Неожиданно раздался выстрел. Боец, который первым добрался до противоположного берега, рухнул в воду. Пули полетели одна за другой. Пока отряд выбирался из воды, стрелявшего и след простыл. Несом-

ненно, он всё время следил за пограничниками с другого берега и специально подстерёг их у брода.

Трое убиты, двое ранены. Тяжело ранен Южанин. Когда его перевязали, он на какое-то мгновение пришёл в себя и молча взглянул на бледного как полотно Абдикена.

— До каких пор он будет истреблять нас безнаказанно?! — гневно шевеля губами, спросил второй раненый, Володя. Сжатые кулаки его задрожали и медленно разжались. Пограничники подавленно молчали. Они не сомневались, что стрелял Жумекен. Ни один из пяти выстрелов не был сделан вхолостую.

— Прощай, Володя!.. — сказал какой-то кудрявый паренёк.

Южанин стиснул зубы, слабо застонал и открыл глаза. Абдикену стало не по себе. Он приподнял голову Южанина и, с трудом сдерживая слёзы, прошептал:

— Не жить мне на белом свете, если не отомщу за тебя! Эх, Саша, мой верный друг!..

Темнота сгустилась. Стонала и всхлипывала река...

* * *

Когда на востоке заалело, Умбет с Абдикеном сели на коней. Склоны гор ещё чернели в тени, в ущелье было темно, и глаза ничего не могли разобрать за этой сумрачной завесой. Всадники по минутно озирались по сторонам. Раза три они тщательно обследовали скалы. Но Жумекена нигде не было.

Первые лучи озарили вершины. Склоны и отвесные скалы в солнечных бликах напоминали пёстрые лоскутные одеяла. В горах началась утренняя жизнь. Густые леса волновались от ветра, шуршали крыльями птицы, отрывисто, без усталости рокотал Осек. Абдикен слез с коня и кивнул Умбету. По росистой траве они поднялись на холм.

— Вон на той скале, — показал Абдикен, — на открытой поляне он делает привал во время охоты. Я выйду туда обходным путём. Ты же будь осторожнее. Если он заметит нас первым, мы пропали. Спрашивать не станет. Увидел — и дело кончено. Даже если узнает нас. Дай-ка свою шапку. Положи сюда, пусть думает, что засада здесь. А мы в это время будем действовать.

Пройдя несколько шагов, Абдикен обернулся. С его бледного, обескровленного лица глядела смерть. Умбету стало страшно.



— Умбет, ты, наверно, презираешь меня. Но я не имею права смотреть в глаза родственников тех, кто погиб от его руки, пока он находится среди живых. Меня бросает в дрожь, когда я подумаю, что должен убить последнего мужчину в нашем роду. У меня нет больше брата... Но есть Родина и товарищи, такие же, как ты.

Чем дальше уходил Абдикен, тем тревожнее становилось Умбету. Хромой человек может выдать себя любым неосторожным движением. А Жумекен, возможно, наблюдает за ними из укромного места. Не зря говорят о нём, будто сердце его поросло щетиной. Мол, не знает он страха и жалости, и пуля его не берёт. Сколько раз его почти настигали, а он не получал и царапинки. Со стороны реки раздался треск ветвей. Умбет вздрогнул и плотнее прижался к земле. Тело его похолодело. Он никак не ожидал, что Жумекен окажется так близко. Снова послышался треск и шаги... человека... Может, удастся опередить. «Кто кого первым увидит, тот того и убьёт», — вспомнил он слова Абдикена. И решил: «Коли суждено умереть, надо хоть пострелять напоследок». Упёршись локтем в землю, он хотел приподняться, чтобы как следует прицелиться, но тут грохнул выстрел. Он упал, но понял, что жив. От страха даже не заметил, откуда стреляли. Стоило ему шевельнуться, как раздался новый выстрел. На этот раз слетела шапка, вспыхнув клочьями шерсти. Умбет вскочил на ноги и направил дуло перед собой, но увидел только коня. Осознав, что обманут, он оглянулся и заметил на скале Жумекена. Когда Умбет в страхе бухнулся оземь, грохнул третий выстрел.

* * *

Не успев пройти и нескольких метров, Абдикен заметил коня Жумекена. Ползком Абдикен выбрался в противоположную сторону и, прячась за валунами, выглянул вперёд. Человек на скале безмятежно спал. Скорее всего, он решил проспать до вечера. Абдикен обдумывал свой план: «Вряд ли человек, пробуждённый от глубокого сна, определит, откуда раздался выстрел. Тем более, если стрелять с близкого расстояния. К тому же эхо... Выстрел непременно встревожит его. Вскочит на ноги, на худой конец шевельнётся, чем-нибудь да выдаст себя».

Он спешил, пока натянутый до предела гнев не ослаб. Направил дуло туда, где предполагал найти Жумекена, выстрелил. Но



никто не вскочил, и Абдикен выругался с досады: «Чёрт поberi! Если он спрячется в другом месте, мы пропали». Грохнул новый выстрел, и из-за скалы по пояс высунулся Жумекен. Он смотрел вперёд, не беспокоясь о тыле и беспечно подставив Абдикену спину. У Абдикена потемнело в глазах. Он ничего не видел, кроме этой огромной, широкой спины. По телу скользнула холодная дрожь, он чуть не выронил винтовку. Наконец овладел собой, внимательно взгляделся и понял, что Жумекен берёт на мушку Умбета. Времени на раздумье не было, он выстрелил не целясь. Жумекен подался всем корпусом назад, вскинул руки, словно хотел что-то спросить, и боком упал на землю.

* * *

Абдикен лежал в беспамятстве. Ему, казалось, что Жумекен сейчас вскочит, подбежит к нему, закричит: «За что, за что?!» Но безжизненное тело лежало на холодных камнях, и не было его роднее и ближе. Горькие стоны рвались из груди Абдикена, перебивая дыхание. Не в силах стерпеть боль утраты, он смахнул слёзы и приставил дуло к своей груди. Но тут краем глаза заметил мелькнувшую тень и вспомнил: «Ах, чёрт, со мной ведь Умбет!..»

Умбет никак не мог поверить в то, что он не убит. Тут и солнышко выглянуло, будто его испугнул ото сна грохот выстрела...

КАДИРБЕК СЕГИЗБАЙУЛЫ

ПОСЛЕДНИЙ РЫВОК

Снежные вершины Сайкан окутались предрассветной дымкой, когда двое верховых, одолев перевал, спустились вниз, в долину. То были старый Нурым и его уже ставший джигитом сын Касымбек. Путь их лежал к равнине Койбас, где должно было состояться празднество.

Накануне вечером заведующий фермой подошёл к Нурым и сказал:

— Нуке, съездили бы на той, отдохнули. Отару несколько дней и Кали может попасть. Пусть и Касым прогуляется. Молодой ведь — небось, тоже хочется туда, где его сверстники на торжестве развлекаются? Глядишь, размечтается парень, а волк овечку из отары умыкнет. Надо ж иногда и о молодых заботу проявлять, а то, глядишь, от рук отобьются, а?

Нурым, всю свою жизнь не отличавшийся особенным пристрастием ко всякого рода увеселительным мероприятиям, на сей раз почему-то воодушевился, испытывая странное желание попасть на той. Но сыну Касымбеку, который вот уже несколько дней грезил предстоящим торжеством, желая принять участие в кокпаре, не решался сказать: «Ты оставайся с овцами, а я съезжу». Неудобно ему было переходить дорогу сыну — веселье всё же для молодых. Предложение завфермой окрылило его, пробудив надежду на участие в тое. К тому же и Касымбек, как получалось, мог сопровождать его — нашёлся человек, который проследит за отарой.

И вот в назначенный день отец и сын оседлали коней — тех, что давно уже были спутниками Нурыма в его нелёгкой чабанской жизни. Под Нурымом — вислобрюхий Месторы, на котором чабан сопровождал обычно своих овец; неприглядным он был с виду, ни один человек ещё не отозвался о нём хорошо. Но сам Нурым не променял бы его на лучшего из тех скакунов, про кото-

рых говорят: «Ноги — как лук, копыта — точно отлитые». Заурядная рысь давнего, старого друга импонировала незлобивому по характеру чабану, тем был и дорог Месторы хозяину. А ещё — это был очень смиренный конь: не шелохнётся, когда ребятня шумно возится под его брюхом. К тому же неприхотлив: все двенадцать месяцев в году не снимай с него седла, и он покорно будет нести требующуюся от него службу, довольствуясь самым малым — верхушками трав, которые можно срывать на ходу. Для человека, который далеко уже не молод, такой неприхотливый конь — сущий клад.

Акжал, что был сейчас под Касымбеком, не отличался покладистостью Месторы. Немолодой уже жеребец, но всё ещё норовист, отчаян временами; случится, крикнешь на него — так понесёт, что и остановить нельзя. За эти его качества Нурым недолюбливал лошаадь. Имея под рукой двух совершенно разных животных, Нурым убедился лишний раз, что и четвероногие, как и люди, могут обладать схожими с человеческими свойствами характера: и среди них, получалось, есть спокойные и беспокойные, неприхотливые и привередливые. Стоит сойтись в одном месте Месторы и Акжалу, как последний, подобно заправскому тулпару, начинает грызть удила, рваться куда-то, будто должен вот-вот принять участие в байге. Старик определял это как дурость лошади, в которой, как он считал, нет-нет да и поднимают голову остаточные проявления былой молодой горячности. Попробуй два дня кряду не снять седла с Акжала, держа его на ходу — шерсть, обычно гладкая, лоснящаяся блеском, вдруг теряет вид и становится тусклой, неопрятной, как у скотины, которую содержали на такыре — голом, лишённом всякой растительности участке, — а сам конь на глазах лишается сил и прыти. Поэтому Нурым особенно-то и не загружал Акжала работой, ухаживал за ним, окружал вниманием, содержа, в основном, для сына, Касымбека, который уже подросток и вполне был в состоянии пугать по ночам собак в ауле, когда требуется, скажем, вызвать на свидание какую-нибудь девушку. Акжал в таких «походах» незаменим, поскольку конь — крылья джигита. А Акжал к тому же красивый конь! Белая шелковистая грива спадает чуть ли не до земли, таз широк, уши торчат остро, бег изящен — самый что ни на есть сказочный аргатак! На таком коне и гарцевать жениху перед девушками!

Но больно уж самолюбив Акжал. Особенно это на дороге проявляется: ведёт себя так, будто ни одна другая лошадь не должна идти впереди. Поведёт своими выпуклыми глазищами и начинает пятиться вбок, не желая видеть соперника. До того изнервничается — весь белой пеной изойдёт, будто кто его в мыльный раствор окунул.

Самолюбивый нрав Акжала и его безукоризненные формы привлекали внимание многих знатоков лошадей. Бывало, что и выпрашивали они коня у Нурыма, на что старик отвечал неизменно:

— Бросьте, уважаемые, это же моего Касымбека конь. Стригунком ещё Акжала осёдлывал. Для него, для парня, и держу, а иначе на кой мне, старому, такой красавец-конь? Не собственность он, конечно, продать можно бы, но ведь привязан к нему сын, как родной он ему, потому не могу. Не обессудьте...

Несмотря на такую популярность Акжала, сам Нуке не был о нём высокого мнения: держал на подножном корму, пользуясь в основном для поездок на дальние расстояния.

С приближением ноября Нуке обычно начинал тренировать Акжала для скачек: а вдруг да придётся его Касымбеку в байге участвовать или в игре кыз-куу? Не мог он позволить осрамиться сыну — конь под ним должен быть подготовленным. Такую цель и преследовал старый Нурым, начиная тренировки. Но нынче Акжал не оправдал его надежд. «Состарился, видно», — подумал хозяин. Прежде, бывало, конь, пропотев, обретал лёгкость и стремительность движений, нынче случилось обратное: понику, как ягнёнок, наевшийся ядовитой травы. Тем не менее, влекомый неясной надеждой, старик всё же оседлал коня. Как знать, может, и улыбнётся сыну удача в кокпаре? А он, отец, не прочь понаблюдать за зрелищем... Очень уж оно занятное...

Полные неясных предчувствий и ожидания чего-то хорошего, отец с сыном ехали на той.

Всю дорогу отец наставлял сына. Сказал, что не следует злоупотреблять горячностью Акжала — надо избегать скученности, когда всадники сшибаются в одном месте, норовя утянуть козлиную тушу. Акжалу, при нынешних его возможностях, нелегко будет вынести напряжение боя. Легче выждать момент, когда счастливчик с козлом оторвётся от остальных — нагнать-то Акжал

сумеет, а дальнейшее уже от Касымбека зависит: перехватит или не перехватит он добычу. Если, скажем, Касымбек выиграет коппар, то тушу можно преподнести тому же Тойжану — самому старшему в селе. Глядишь, и одарит старый человек Касымбека своим благословением.

— Большой ожидается той, — говорил Нурым. — Помимо нашего, ещё два колхоза — «Карабулак» и «Айнабулак» — собираются в урочище Койбас. — Сын промолчал, и Нурым продолжил: — Вчера только Молдагали сказал: «По десять скакунов выставляет каждый колхоз. А наш председатель в своей десятке на Актангера рассчитывает. Опытный скакун, не раз призы брал...

Немногословный Касымбек, возбуждённый предстоящим торжеством, тоже разговорился. Вспомнил про деда Козы, который некогда тренировал Месторы для байги. Тогда коню три года, кажется, было.

— Интересно, чем его Месторы прельстил? На что он рассчитывал, тратя время на него? — рассмеялся Касымбек.

— Да, времени на него он потратил немало. Это интересная история, — подхватил воодушевленно Нурым, отсыпая из рога козла — своего рода табакерки — насыбай и закладывая его под язык. Уставился на гриву Месторы, неспешно трусившего под ним, и замолк. Улыбнулся, будто вспомнил о чём-то приятном. Такая у него была привычка. Сын, знакомый с этим, не торопил отца, а тот явно получал удовольствие от паузы, зная, как Касымбек ждёт его рассказа.

— Да, интересная это история, — повторил он, — и... печальная.

К тому времени путники поднялись на гребень Сардонгала. Глазам их открылась широкая равнина внизу. Койбас... Белые юрты, выстроившиеся в ряд, издали напоминали яйца гигантской птицы, оброненные ею в степи. Между юртами во множестве сновали люди — конные и пешие. Муравейник и только. Оживление, царившее в ауле, дало путникам возможность лишний раз проникнуться атмосферой предстоящего торжества, они ясно услышали, как забились их сердца, а ноги сами прижались к бокам лошадей, как если бы они приготовились скакать. Отсюда, с высоты Сардонгала, аул казался им более чем праздничным — во всём свете, как подумалось им, не было, наверное, более оживлённого места. Что Касымбек — молодой, полный сил джигит, — когда и Нурым, не-

смотря на то, что стар, ощутил вдруг азарт, знакомый ему с тех, теперь уже далёких лет, когда он мог ещё и сам гарцевать по-молодецки на коне! Говорят, «если буря лишь качает верблюда, то козу ищи на небесах». Если уж старый так разволновался, то чего от молодого ожидать?! Касымбек изошёл нетерпением. Разве что крыльев не доставало ему, а то мигом подлетел бы к аулу. Но не зря ведь говорят, что крылья джигита — это добрый конь! Потому он, стегнув коня по крупу, с места взял в карьер, успев крикнуть отцу:

— Я уж поскачу. Кажется, кокпар затевается... А историю Месторы вы мне в другой раз расскажете...

— Да, народ, гляжу, собрался! — сказал Нурым, всматриваясь вдаль из-под руки, приставленной козырьком.

Нетерпение овладело и им, и он тоже стегнул лошадь. Месторы, имевший обыкновение после камчи махнуть хвостом раз-другой и вскинуть задом, и на сей раз проделал то же самое, а потом перешёл на галоп.

Вскоре Нурым добрался до людей, столпившихся на равнине. Завидев группу конников в стороне, Месторы повернул к ним. «Не борцов ли встречают?..» — подумалось ему. — «Ещё ведь и той-то не начался...» Но борцов там не оказалось. Народ любовался скакунами, отобранными для байги, строя прогнозы относительно возможностей каждого из них. Прекрасные кони, один лучше другого, нетерпеливо грызли удила, вытягивая длинные шеи. Хвосты и гривы расчёсаны, шерсть лоснится — невозможно отвести глаз! На каждом из них по мальчугану. Ребятам стоит немалых усилий держать в повиновении животных — последним будто не терпится выступить в состязании.

— Ай, нету здесь скотины, что сравнялась бы с нашим Актангером! Как он сложен-то, братцы, — сокол и только! Вы на грудь обратите внимание, на грудь — широка, широка... А крестец? Одно заглядение! Ох ты, животина моя, скажи, до победного часа сражаться будешь! С тебя станется. Не зря ведь в тебе кровь алтайского аргамака и казахской лошади, что шесть месяцев кряду может нести на себе седока и не сдать при этом. Нет, братцы, наш Актангер недосыгаем. Если я, Садык, понимаю что-нибудь в лошадях, приз — его!

Рыжебородый тщедушный старичок на все лады восхваляет Актангера, коня председателя колхоза — Амиртая. Послушаешь

его, так подумаешь, что именно в дифирамбах коню старик видит сегодня своё предназначение. Председатель, похоже, глубоко убеждён в справедливости пророческих слов старика, поскольку Актангер, действительно, два последних года не даёт обогнать себя никому. Так почему бы не выиграть ему байгу и в третий раз?! Держится Амиртай гордо, поглядывая на всех с некоторой снисходительностью, будто говорит этим: «Я — хозяин лошади, я!..»

Завидев Нурыма, председатель воскликнул:

— О! С прибытием вас на той, аксакал! Уж кому я доверяю в нашем колхозе, так это Нуке!

«Доверие» председателя насторожило Нурыма. «Не иначе как поручить что-то хочет...» — подумалось ему.

— Кони готовы к забегу, аксакал! — провозгласил Амиртай как ни в чем не бывало.

— Э, бог в помощь! Пусть повезёт твоему жеребцу! — откликнулся в тон ему аксакал.

— Если б вы за мальчишками, что скачут, присмотреть взялись, в дорогу их проводили, вот бы дело было, а? Назад у моста Сарыбулак повернуть можете.

— Верные слова, дорогой. Но вот на той я на своей клячонке потому прибыл, что на всякие зрелища хотел полюбоваться, на старости лет и это — для глаз отрада. А ты будто лишить меня хочешь такого удовольствия, а? Так тебя понимать, да? А я вот не могу быть уверен, что мой Месторы не подведёт меня на пути...

Не хотелось Нурыму предложение председателя понимать, но тот взял его в оборот, льстя самолюбию старика — дескать, не каждый может с обязанностью погонщика лошадей справиться, что, давая такое задание, он, председатель, всецело полагается на него, на Нуке, пообещал даже машину за ним отправить, когда тот возвращаться станет. В конце концов уговорил старика.

Не осталось Нурыму ничего, как повернуться огорчённо к Месторы, который в это время старательно щипал траву под ногами. Верхняя губа, размером с два детских кулачка, забавно топырилась каждый раз, когда конь тянулся к земле.

— Э, несчастный! — проговорил старик. — Всё желудок набить не можешь... Не нам бы на старости-то лет по тоям разъезжать. Сидели бы дома, да овец пасли, все покойнее было бы...

Подтянув подпруги, он сунул ногу в стремя.

Тридцать всадников, а с ними тридцать первый — Нурым, не задерживаясь, понеслись вперед. Не без сожаления покинул аул Нурым, завидуя нарядно разодетым гостям, которые, конечно же, будут наслаждаться зрелищем сами, без него.

Всю дорогу он наставлял мальчишек, оседлавших отборнейших скакунов. Не ленился стремя в стремя подъезжать к каждому из них и каждому повторял: «Не погоняй коня, пока тот не прольёт весь свой пот. Животное само поскачет, когда надо. Пятками в бока не бей, иначе конь задохнется станет. Лучше покрикивать время от времени или рукоятью камчи понукать. Поймёт животное, чего от него требуют...»

Каждого мальчугана Нурым вразумлял так обстоятельно, что какой-нибудь посторонний человек, послушав его, подумал бы: все они возьмут приз, если будут придерживаться советов старого человека.

— Вот так, милок, желаю удачи! Надеюсь увидеть тебя первым!.. — с такими словами прощался с каждым из наездников Нурым, готовясь повернуть коня обратно.

Всадники одолели немало выцветших за лето, поросших грубой степной травой перевалов, немало ковылистых, потонувших в пыли долин, пока не достигли Сарыбулака, точки, откуда Нурым мог возвращаться. Был уже полдень.

Месторы выдержал путь стойко, будто задался целью на деле оправдать приставку «мес» к своему имени — ненасытный и не теряющий упитанности. Не было необходимости Нуке подгонять животное в бок своими тяжёлыми сапогами-саптама, с которыми он не разлучался круглый год.

Все всадники сошли с коней, чтобы дать им размяться и охладиться на ветру, расседлали их. Затем лошади снова были приведены в боевую готовность. Мальчишки живо вскочитли на коней. Подпруги на сей раз малость высвободили.

Месторы, у которого брюхо обычно едва не касалось земли, как у кобылиц в определённое время года, теперь выглядел довольно сносно. Нуке отнёс это на счёт недавней долгой езды.

— Ну, ребяташки! — скомандовал он. — А теперь выстраивайтесь в цепочку! А то ещё потеряют прыть ваши лошади... Ветер, чуе, есть, так что держитесь каждый той стороны, с какой ваш

соперник коня нахлѣстывает, иначе камушки от копыт могут угодить кому-нибудь в глаз.

Широкий большак, разделявший степь надвое, протянулся вперѣд далеко-далеко. Юные наездники выстроились в цепь по обе стороны дороги. Все наготове, крепко держат в руках поводья — как соколы перед взлѣтом. Стоит погонщику, который чуть приотстал от них, крикнуть: «Ну!», как заиграет камча на боках лошадей — и все сорвутся с места. Нурым понимал состояние мальчишек. Понимал и... немного завидовал им. «Какое счастье — в байге участвовать!» — думал он. Будучи мальчиком, не раз испытывал удовлетворение от скачки. Сколько уже лет прошло, одни воспоминания остались от любимой игры. Последнее время он лишь за Акжалом и ходит, тренируя его для байги, но опять же не ради себя, а ради Касымбека. Байга... Полный азарта и радости миг испытания удачи, миг, когда на карту ставится честь джигита. Э-эх!..

Глянул на камчу, свитую из восьми сыромятных ремней. Тугая, тяжелая камча. Алы́й платок, вдетый в петлю на рукояти, трепещет на ветру. Поднял камчу вверх. Все глаза устремлены на платок — мальчики застыли в ожидании момента, когда платок, вскинувшийся кверху, упадет вниз. Боятся перевести дыхание. Такое впечатление, что если сейчас, сию минуту, этот флажок не прочертит дугу в воздухе, наездники не выдержат и сами сорвутся с места.

— Счастливого пути!

Дрогнула камча в руке старого человека, и земля тотчас затряслась от грома множества копыт, разом врезавшихся в неё. Кони рванули с места сплошной тёмной массой. Сначала Нурым ничего не смог разобрать. Знай заслоняется рукой от гальки, брызнувшей разом из-под копыт — будто сработала гигантских размеров праща, — и пыли, заслонившей всё перед глазами. Ещё через мгновение увидел, что кони ушли. Так уменьшаются в размере камни, которые мечет какой-нибудь озорник. Месторы, будто оскорблённый тем, что остался, замотал головой, будто умолял хозяина отпустить поводья.

Нурым огляделся — ничего-то кругом, кроме выжженных солнцем холмов, на которые оседает пыль. Вдали, на горизонте, лошади темнели точками. Доли минуты потребовалось старику, чтобы

осознать это, но и за такой короткий миг он успел ощутить перемену в себе. Какое-то нетерпение, что ли... Может, состояние Месторы передалось ему? А может... азарт погони проснулся? Сам не понял, как каблуки тяжёлых сапог-саптама врезались в бока Месторы. Как знать, может, то была дань извечной слабости, жившей в нём, — не мог он быть спокойным, когда земля гудит под копытами, а может, старая привычка подняла голову — сколько уж раз скакал он в байге, правда, в молодые годы, но всё же... Короче, оставшись один, он издал вдруг клич, давний и желанный ему — клич этот вырвался сам собой — и стегнул лошадь. Месторы, почувствовав, видно, сколь решающий час настал для него, поскакал. Старик на ходу успел запахнуть разлетающиеся в стороны полы чапана и завязать тесёмки тымака¹.

Далеко позади остался Сарыбулак. Нурым почувствовал, как ему стало легко. Прояснился и затуманенный азартом скачки мозг. «Что это я? — подумал он, придерживая поводья. — Увидит кто — срам-то какой!.. Успокойся, гнедой, успокойся. Не нам бы, старым, которым и до могилы уже недалеко, надеждами на приз себя тешить... Успокойся, успокойся, милый, сбавь ход...» Но Месторы, как ни странно, не желал слушать хозяина. В его поведении было нечто новое, что насторожило и удивило старика. Приятно удивило. На скорости, с какой взял разбег, Месторы продолжал следовать за теми тридцатью скакунами, что исчезли в пыли. «Э, ну и давай! Сам же скоро выдохнешься. Куда-а тебе!..» — утешился Нурым, предоставляя коняге полную свободу. «Бедняга! — подумал потом. — Хочешь то, что упустил когда-то, сегодня наверстать? А ведь как рассчитывал на тебя покойный Козы! Как рассчитывал...»

Оставив в стороне большак, Месторы довольствовался тем, что брал один перевал за другим. Каждый новый приближал их с хозяином к участникам забега — Нурым уже видел последних седоков, но на каком отрезке пути первые, не мог ещё определить. В первый момент успел отметить, что пять или шесть из них сразу вырвались вперёд.

Месторы мало-помалу начал задыхаться, бока его заходили часто, круто. «Ну вот — самый раз и придержать животное, к чему

¹ Тымак — национальный казахский головной убор.



грех на душу брать?» — с грустью подумал старик. Но... Месторы оставался неуправляемым, он рвался вперёд, будто хотел сказать хозяину: «Буду скакать до последнего!.. Не мешай!» Вскоре скрылся из виду и тридцатый жеребец, последний из тех, что были только что в поле их зрения. Доскакав до очередного перевала, уже почти достигнув вершины, Месторы вдруг остановился, точно его обухом по голове огрели. Лошадь была вся в поту, ни одного сухого места. Бока ходуном ходят. Расставив ноги, конь обильно помочился. Знатоки лошадей не зря говорят: «Моча у коня — яд, следует вывести её перед скачкой, иначе, выделяясь с потом, она перебьёт дыхание животному». Это незыблемое степное правило знал прекрасно и Нурым — недаром ведь доверили ему судьбы тридцати скакунов, претендовавших на приз в байге. Поэтому к поведению Месторы он отнёсся как к чему-то само собой разумеющемуся, решив, что теперь-то он успокоит дыхание.

Спешившись, надел на коня удила, из-за отсутствия которых, как он полагал, лошадь не слушалась его. Но стоило только ногам хозяина коснуться стремян, как Месторы понёс снова. Как ни натягивал узду Нурым, конь не сбавлял скорости. Понял седок, что, хоть пасть порви коню железными удилами, тот от своего не отступится. «Ну и ну!» — выдохнул старик.

В беге Месторы Нурым ощутил лёгкость, как если бы с коня скинули груз. Ноздри раздулись, земля стремительно неслась под копытами. Вскоре Месторы как бы вытянулся в сплошную линию, казалось, что не скачет он, а летит. Снова пот прошиб его, но это уже был не прежний пот, солёный, тяжёлый, застилавший глаза; чистыми, прозрачными струйками стекал он с боков, и чувствовалось, что лошади становится легче. Опять Нурым вспомнилось незыблемое в своей категоричности степное изречение: «Скакун дышит не через ноздри, а через кожу. Чем обильней пот промывает дыхательные поры на коже, тем большее расстояние за короткое время может покрыть скакун...» Понял Нурым, что гнедой в состоянии проскакать ещё многие километры. Скорость росла на глазах. Будто почувствовал старый конь, что это последняя для него возможность отличиться, будто понял, что именно сейчас, сегодня может явить великие, заложенные в нём ещё с молодых лет качества, которыми в своё время ему не довелось удивить мир. Всю свою веру, последнюю спасительную веру,

окрылявшую его, вложил Месторы в эту выдавшуюся ему на старости лет возможность.

Второй раз за всю жизнь Месторы испытывал себя. Сейчас он стар, у него сбиты копыта, притупились зубы, но, подчиняясь страстному порыву, он кинулся, очертя голову, в бой, исход которого, наверное, не под силу предрешить и хозяину, поскольку тот тоже стар. Но тогда, в первый раз, Месторы было всего три года, и участвовал он в состязании, полный сил и энергии. Неизвестно, сколько он проскачет сегодня, но в тот далёкий злополучный день не оправдал надежд аксакала Козы, пришёл последним, а старик так верил в него, в его необыкновенные бойцовские качества. Сказалась закрытая наростом на бабке старая рана — боль в ней притупила желание вырваться вперёд, а желание это бушевало в нём, как огонь. С тех пор прошло много лет — казалось, Месторы смирился с участью смиренно следовать за овцами, заворачивая их туда, куда велит хозяин, но, выходит, живёт ещё в нём свойственное всему лошадиному роду стремление настичь кого-то, и не только настичь, но и обогнать. Вот и несётся он, летит по степи, точно желает исправить ту давнюю ошибку.

Так, не сбавляя скорости, Месторы подключился в конце концов к основной группе лошадей, растянувшихся по степи на расстоянии двух-трёх метров одна от другой. Гнедому до них было ещё далековато, но то, что кони наконец-то появились в поле зрения, радовал.

И Нуке был уже другой. Обычная выдержка изменила ему, уступив место воодушевлению, какого он давно уже не испытывал. Азарт погони захватил его так, что он уже и не мыслил ни о чём другом, как нагнать того, кто скачет впереди, а настигнув, опередить следующего... Подчиняясь неведомой силе, будоражившей кровь, наполнявшей его желанием победить, он уже не сдерживал, как недавно, гнедого — понукал пятками в бока.

Когда Месторы довольно-таки легко обошёл шестерых коней, скакавших впереди основной группы, Нурым, не выдержав, издал воинственный клич, а голос у него оказался надтреснутый, сиплый. Мальчики, которых он только что поучал, держитесь, мол, при обгоне той стороны, с какой соперник коня нахлёстывает, потому что галка-де, летящая из под копыт, может угодить в глаз, завидев сейчас Нурыма, изумлённо смотрели на него. Взгля-

ды их говорили: «Сам-то не больно разбираешь, где скачешь, где напрямик режешь». Нурыма эти взгляды сейчас не волновали, он не замечал их, не мог заметить, потому что всё его внимание было сосредоточено на том, что было впереди. Вот уж, действительно, наслаждение — догонять и опережать соперника! Не раз за долгую жизнь приходилось ему переживать сладкий, щемящий сердце миг победы, но нынешнее состояние было особенным. Такого ликования, когда душа птицей рвётся из груди, когда поёт сердце, когда теряется всякое ощущение времени, он не переживал никогда.

Впереди было четыре скакуна, Месторы рвался из последних сил, желая нагнать их. Но кони маячили впереди, точно призраки. Не было, казалось, ни малейшей надежды, что удастся их обойти.

«Вперёд, мой конь, вперёд! — шептал в забытии Нурым. — О, покойный Козы! Благодарю тебя, ясновидца! Знал ведь, тогда уже знал, какой это необыкновенный конь — Месторы. А я-то дурак, столько лет вынуждаю его за овцами трястись, э-эх!..»

Вспомнилась история, которую он так и не успел рассказать Касымбеку. Поскольку относилась она непосредственно к Месторы, к которому он питал сейчас самые нежные чувства, он представил её так, если бы, скажем, всё это случилось вчера. До мельчайших подробностей запомнил, как появился у них Месторы. Если не запомнил, сыну уже лет восемнадцать-девятнадцать, да, Касымбек тогда только родился. Аксакал Козы, будучи в гостях у племянника в Чилике, обратил внимание на Месторы, тогда ещё глупого, необъезженного. Так и сказал старый человек, глянув на лошадь: «Конь что надо! Хоть и неказист, а скакун из него такой будет, что и ветру не обогнать. Такие крылатые кони раз в тридцать-сорок лет рождаются». Вот и пристал к племяннику, отдай, мол, гнедого. Дошло до того, что взамен Месторы дед оставил серого иноходца со всем снаряжением — с седлом и сбруей. А иноходец-то тоже из редких был — ширококостный, большой, похожий на корабль... И вот, когда гнедому исполнилось три года, привёз его Козы на байгу. Состязание должно было состояться на следующий день, и какой-то злоумышленник, из чёрной зависти к явному сопернику, взял и сбил коню колено. Сделал это грязное дело ночью. Нурым собственными глазами видел, как плакал тогда Козы. На следующий год аксакал попробовал гнедого на скач-

ках, и тот не сумел развить скорость из-за раны. С тех пор перестал рассчитывать на него Козы. После смерти хозяина лошадь перешла к Нурыму в качестве обыкновенного средства передвижения. Сейчас, пожалуй, никто в округе и не подозревает, что старый Козы некогда возлагал на Месторы надежды как на особенно-го, призового скакуна. Не ошибся, выходит, Козы. Уж если в старости Месторы являет такое искусство, считай, загубленными были его молодые годы, загубленными..

Воспоминания старика оборвались из-за восклицания, раздавшегося рядом. Месторы обходил одного из четырёх жеребцов, скакавших рядом, а восклицание, надо полагать, исходило от наездника.

Тридцать километров для Нурыма показались тридцатью метрами. Недалёк был и финиш. Отцепив подпруги, Нурым ухватился за гриву гнедого, а тяжёлое деревянное седло ухитрился сбросить на дорогу. «Для худой клячи и камча тяжела», — говорят казахи. Это было всё, чем Нурым мог помочь своему питомцу.

Помощь, как видно, оказалась кстати. Месторы обошёл ещё одну лошадь, а остальным стал, как говорится, наступать на пятки. Впереди всех нёсся Аркаркара из «Карабулака», следом — Актангер Амиртая. Аркаркара был великолепен — не скакал он, а летел над землёй.

Месторы прилагал отчаянные усилия, чтобы хоть как-то сократить расстояние между собой и Аркаркарой. Но пока что его усилия были тщетны, хотя разделяли-то их, примерно, сто шагов — не больше. Через две-три минуты должен был наступить момент, который удивит всех, и Нуке, представляя уже себе его, готов был отдать всё, чтобы только обойти лошадь, идущую впереди. Сгорая от желания хоть как-то помочь усилиям своего любимца, он припал к гриве. Так старый сокол подбирается, чтобы ухватить добычу. Глаза Месторы застил пот, и старик то и дело утирал его носовым платком. Последний километр. Показались всадники, скакавшие навстречу.

Расстояние между Месторы и Аркаркарой сократилось, но и до финиша — чёрт бы его побрал! — осталось совсем немного. «Надо успеть, успеть во что бы то ни стало!» Беспокоя память всех своих предков, старик выкрикивал клич, который про себя повторил уже, наверное, раз сто. Вон какая толпа зрителей наступает спере-



ди! Что ж! Прелюбопытнейшее зрелище, выходит, представляют конники...

Месторы почти упёрся мордой в хвост Аркаркаре. Но почти следом фыркал Актангер, Нурым ясно слышал перестук его копыт. Сбросил с себя чапан и тымак. Он кричал:

— Аруах-аруах! Санияз-Санияз! Духи предков, поддержите нас!

Месторы сравнялся с Аркаркарой. Мальчуган на Аркаркаре, забеспокоившись, стал безжалостно стегать животное. Не хотелось ему, конечно, в решающий миг упускать из рук приз.

— Абырой, абырой — Хвала, хвала! — вопил старик.

Он и сам не понял, как переменял клич. Когда до финиша остались считанные метры, гневой вырвался вперед. Каких усилий стоило это Месторы, знал, видно, только он сам. Надо полагать, — невероятных.

Нуке в эту секунду лишился способности различать что-либо. Он ничего не видел. Он весь был во власти необъяснимого чувства, всё смешалось в нём — радость, волнение, смятение, расстерянность. Перехватило дыхание. Повлажнели глаза — не то от слёз, не то от пота. Не увидел Нурым ни Касымбека, подскакавшего к нему на Акжале и взявшего под уздцы Месторы, ни Амиртая, который следовал рядом и, забыв про своего Актангера, искренне болел за «клячу» погонщика. Нурым лишь повторял в упоении одно: «Абырой, абырой!..»

Состояние Месторы было более чем плачевным. Если минутой раньше им двигало стремление во что бы то ни стало перегнать соперника, то теперь, когда цель была достигнута, силы, чудодейственным образом поддерживавшие его, вдруг стали иссыхать, катастрофически иссыхать, это чувствовалось по глазам, которые застилала усталость. Разве что голос хозяина, хрипло выкрикивающего что-то, заставлял его нестись вперёд. Мелькали четвероногие собратья, люди. Всё замельтешило, закружилось перед глазами. Небо и земля будто начали меняться местами — на какой-то миг он перестал ощущать твёрдость под ногами, точно не земля под ними была, а невесомые облака, и он растворился в них, став таким же невесомым. Где-то рядом со свистом расскла воздух камча. И этот звук обжёг Месторы пламенем. По телу разлилась истома... Так бывало, когда после трудного дня он возвращался к себе в стойло...



Распоров толпу пополам, Месторы грохнулся плашмя на землю. Не то от старости, не то бабка опять подвела — неизвестно, но не смог он удержать своего тела. Нуке, перелетев через коня, вскочил все же и, подбежав к Месторы, поднял ему голову, которой тот бился о землю. Глаза животного застлала влага. Несколько крупных бусин скатились на ладонь хозяина. Как знать, возможно, лошади и плачут...

Солнце к этому времени склонилось к закату, край его зацепился за макушку Кишкенетау...

* * *

...После того случая Нурым частенько вспоминал Месторы. И каждый раз имел обыкновение говорить:

— Акжал у меня хорош, все его прелести на виду. Всяк любит-ся им. Но Месторы был другой. Его достоинства внутри хоронились. Он — как вода, которая течёт тихо, без плеска, но способна в один прекрасный день буйно обрушиться на берег, явив свою силу. Человек, который хоть раз в жизни, подобно моему Месторы, сумеет открыться людям всем хорошим, что есть в нём от рождения, должен, я думаю, быть счастливым...

БАХЫТЖАН МОМЫШ-УЛЫ

БЕССОННАЯ НОЧЬ

Малыш, ты готовишься стать музыкантом, но мне, отцу твоему, кажется гораздо более важным, чтобы прежде всего ты вырос Человеком. Сейчас нам с тобой пока ещё трудно говорить об этом, но прошу тебя запомнить, что настоящий человек живёт для других людей, и ещё я уверен, что только настоящий человек и сможет стать истинным музыкантом. Тебе, конечно, всё это скучно слушать сейчас, но придёт время и ты узнаешь о Моцарте и Сальери...

Во дворе ребяташки играют в хоккей. Ты слышишь перестук клюшек и ёрзаешь на стуле, готовый сорваться с места и лететь к ним, вступить в жаркую битву за шайбу, как только я отстану от тебя. Но сегодня ты такого разрешения не получишь. Не думай, пожалуйста, что это наказание. Это моя обида на тебя. Даже не одна обида, и не только за себя. Ты уж постарайся понять. Я вижу недоумение в твоих глазах и, признаться, ждал этого. Так вот, вчера ты разбил домбру. И сделал это сознательно. Я уж не говорю о том, что это подарок бабушки, но это ещё и труд многих и многих людей. За что же ты их обидел? Знай, что тот, кто не уважает чужую работу, не любит и свой труд. Я вижу у тебя слёзы на глазах? Не надо плакать, сын, надо думать и учиться уважать людей.

Глаза у твоего отца красные от бессонной ночи. Я не спал, всё решал, как найти дорогу к твоему сердцу. И долгая ночь вылилась вдруг в легенду, которую я поспешил записать для тебя. У меня разборчивый почерк. Может, тебе станет интересно, а я пока оставлю тебя одного... Ничего, домбра не хоккейная клюшка. Домбру надо беречь, малыш.

Мальчик смотрел в окно, и пальцы его быстро бегали по столу. В словах отца было что-то обидное. Сумерки уже густели на дворе. Пацаны перестали орать. Матч, видно, кончился, и все разбежались по домам — лепить из пластилина, рисовать, готовить уроки, смотреть телевизор... Мальчику надоело перечислять все



возможные дома развлечения, и он вздохнул. Как это сказал ему отец? «Домбра — не клюшка». И глаза у него были грустными. Санжар улыбнулся, представив себе, как гоняют по льду шайбу, а вместо клюшек у игроков в руках домбры, скрипки, балалайки... Треск ужасный стоит, лопаются струны. Но улыбка медленно сползла с лица мальчика, бледного в синеве вечера. Он вдруг увидел груды разбитых в щепки инструментов и услышал гнетущее мир молчание. Вечная тишина, глухая, без музыки. Человеку приходится слушать разве только рёв автобусов. Картина, которую Санжар нарисовал себе, была настолько ужасной, что ребёнок закрыл лицо руками и долго сидел так в темноте. Потом он вспомнил про тетрадь, оставленную отцом, и включил настольную лампу. Нет, не даром был печальным отец. Здесь кроется что-то серьёзное, может, ещё не понятное ему. Мальчик придвинул ближе к свету кресло, удобно устроился на нём с ногами, подпер рукой щёку и раскрыл тетрадь...

* * *

Хвостатые знамёна полощутся на горном ветру. Под боевыми сёдлами идут невысокие кони, не знающие усталости. Им нет покоя в степи, и они мчатся туда, где кровь заливает белые бороды старцев, где плачут женщины, где кричат дети. Этот летучий отряд всегда в пути. В него вошли воины, которые поклялись не сходить с коней, пока хоть один захватчик топчет родную землю.

Самого юного воина звали Орт. Он был стремительным и горячим, как пожар. Его вскормили молоком могучей белой верблюдицы, когда враги увели за горы его мать. Старец был ему другом и наставником, потому что в этом кочевье у мальчика не осталось сверстников. В играх с жеребятами научился Орт понимать и любить природу. Тогда прикрыл спокойно глаза старый учитель, потому что был сделан первый шаг к тому великому, что называется любовью к родине.

Для мести растил ребёнка учитель, но мальчик мести не понимал. Орт знал, что убить коршуна, чтобы защитить слабую птаху, — справедливо, но у него никогда не было желания разорить гнездо хищной птицы и передуть её птенцов. Если боги создали её такой злой, то, видно, нужна была в мире и эта птица. Коршуна не переделаешь. Вырастут его птенцы и тоже станут нападать на

беззащитных птиц. Вот тогда следует убить зло. А пока пусть растут птенцы. Совсем запутался мальчик. Наставник говорил, что зло следует убить в зародыше. Но есть нужно и коршуну. Впрочем, Орт не заглядывал глубоко. Ему претило всякое насилие.

Мальчик стал юношей. Пора было заводить ему свою белую юрту. Но Орт равнодушно смотрел на девочек своего племени. Ровно горел огонь в его сердце, не вспыхивая жарко при виде степных красавиц, которые с пронзительными криками пронеслись на молодых кобылицах мимо шатра, где он занимался с наставником. Морщился Орт, вздыхал учитель. Тесно было воспитаннику в кочевье, а не хотелось отпускать его в широкий мир, где мальчик мог легко заблудиться. Ладно бы на детскую потеху просился, но ведь возомнил себя мужчиной. Хочет силы испытать. Не знает, что люди часто побеждают не честным оружием в поединке, а умеют бить в спину, но ещё искусней сражаются языком, с которого каплет яд. Страшен мир...

Прошли недавно слухи о том, что какой-то храбрец собирает воинов под свои знамёна. Говорят, кипчаки дали ему бойцов, персы — оружие, курды привели коней-кихеланов. Матери благословили их своим белым молоком, потому что на щитах было начертано «Мир». Воины поклялись защищать самое нищее кочевье, мстить за каждого обиженного, будь он почтенным старейшиной или беззащитным бродягой. Кроме оружия и пищи, ничего не разрешал брать начальник у поверженного врага. «Кто нуждается в золоте, пусть уйдёт и возьмёт сам, став недругом нашим. Не в разбойники звал я вас». К нему-то и просился Орт. Вздыхал и кряхтел наставник. «Пока молод воин, доволен жёстким седлом и просяной болтушкой, но подходит осмотрительная зрелость, тогда начинает роптать усталое сердце на судьбу. Хочется покоя, почёта, достатка. Начинает воин задавать себе трудные вопросы. За кого воюет? За неблагодарных? Всё тело иссечено шрамами, всё труднее садиться в седло, а когда ехал по душной степи и ржавый песок перекатывался в горячем горле, никто не вынес напиться ключевой воды. Или нанялся он оберегать от врагов чёрные кибитки?

Благородное дело — защита слабых, только обернётся оно злом. А что, если во время беды мальчик будет в отряде? Нет, надо уговорить его остаться! Старик готов и солёную воду пустить из глаз, лишь бы остался с ним малыш. Нет, не думает его к кибитке при-

вязывать, как женщину. Учитель сам пошлёт его мстить врагу. Но лучше всего это делать ночью, чтобы о мести не знали ни друг, ни враг. Ах, как хороша ночь! Днём бы Орт притворялся мирным и слабым, торжествуя в душе. Он бы чувствовал себя вершителем судеб, героем, чья власть не знает границ. Тогда бы старец мог доверить ему оружие предков. А какая тайна может быть при свете дня, при беспощадном солнце! И рано ещё мальчишке видеть кровь. Да хранят его духи!

Время шло. Всё упрямей становился Орт, и по-другому стал думать учитель.

«Надо... придётся отправить его в отряд, чтобы сама жизнь открыла ему глаза на человеческую низость. Когда вернётся домой Орт, обозлённый и усталый, тогда старик поведёт племя далеко от людей в недоступные горы. Мудрость в том, чтобы не бороться за людей, а избегать их и презирать. Пусть будет счастлив один небольшой род, если не может быть счастливым всё человечество. Пусть едет».

Вздохнул учитель и положил тяжёлую ладонь на круглую голову юноши...

Высокий конь перебирал светлыми ногами, косил лиловым оком. Вот он шагнул с дороги на луг и потянулся губами к холодной траве. Заиграли разноцветные огни на рукояти меча, и одна, рубиновая, искра больно выцветила все вокруг.

— Проснись, дитя!

Орт открыл глаза. На него с непонятной суровостью смотрел начальник по имени Миндет. Было это настоящим именем сардара или сам он назвался так, после того, как выбрал свой путь в бескрайней степи, этого не знал Орт. Но означало оно — долг.

— Проснись, дитя! — повторил воин.

Орт легко поднялся на ноги.

— Приготовься выслушать меня, брат, и не урони ни слова в чужие уши.

— Я готов, мой старший брат и начальник.

— Страшное злодеяние произошло в степи. Узкокобые воины налетели на наши границы, пожгли кочевья, убили всех, кто имел счастье родиться мужчиной, даже если ему не было от роду и месяца. Тех, кого боги создали женщиной, угнали враги в холодные степи, нам незнакомые. Ты должен догнать их. Узнать их не труд-



но: мужчины носят косицы на висках. Ты догонишь и проследишь их путь. Потом вернёшься, ничем не выдав себя. Узнай о них больше. Наш отряд слаб против этого врага. Мы не можем выступить тотчас. От твоего благополучного возвращения зависит спокойствие нашей земли. Тем временем я соберу людей и вооружу их.

— Я понял твои слова. Когда мне выезжать?

— В эту ночь, чтобы не видели тебя даже наши. На рассвете ты уже должен быть далеко. Только четверых могу дать тебе под руку. Сам их выбери и тайно шепни.

— Сделаю всё, как велишь.

— Прощай! До твоего возвращения мы не должны видеться больше.

— Будь здоров, мой вождь!

Орт снова улёгся на землю и накрылся шерстяным плащом. Седло было под головой, и оно помогало думать.

«Кого взять? Пятеро заметны на степных дорогах, и всё равно не сила. Впятером не отбиться от сильного врага, а слабого одолеть можно и вдвоём, если надёжен второй. Вот и легче, слава богам! Теперь нет нужды думать сразу о трёх спутниках, а лишь одного выбрать следует. Пусть это будет Салык. Он смел и горяч, но умеет быть и холодной змеей, и рассудительной черепахой. Он может быть стремительным, как орёл, и юрким, как ящерица. До вечера следует поговорить с Салыком...»

— Тенгри! — прошептал дозорный, когда мимо него мелькнули две безмолвные тени верхом на призраках, потому что не стучали копыта, обёрнутые войлоком...

Рассвет застал разведчиков у Жёлтой реки, где водилась чёрная усатая рыба, похожая на злого духа. Говорили, что рыба эта утаскивает в воду неосторожных детей и пожирает их. Усы у неё висят и крутятся, как у кочевников, чьи глаза узки и презрительны, а кожа похожа на перезревшие хорезмские дыни. Сердца же их как дым.

Орт знает их. Приезжали в кочевье они и просили наставника выдать какую-то древнюю тайну. Но учитель отговорился тем, что давно умер последний бахсы, который унёс с собой великий секрет. Помнил Орт, что злы были гости, и остро, как от диких зверей, пахло от них жестокостью. Тайну же не доверил и Орту старый учитель. Те неприятные гости были злы и узколобы, но кос не

заметил у них Орт, потому, может, что ни на миг не снимали они высоких чёрных колпаков. Не о них ли говорил Миндет? Если так, то легко найдут дорогу к их пастбищам. Учитель знает путь в холодную степь, что лежит дальше великой реки киргизов Енесая. Он говорил, что там растут деревья — красивые и белые, с женской кожей.

Мыслями своими Орт поделился с Салыком. Тот помолчал и потом круто повернул коня к кочевью Орта:

— Мы потеряем день, если ты ошибся. Зато выиграем недели, если ты прав. Даже не увидев в лицо врага, мы узнаем о нём многое от твоего учителя.

Орт молча кивнул, соглашаясь с другом, притушил ресницами глаза, чтобы Салык не заметил в них невольную радость. Орт уже успел соскучиться по своему кочевью...

— Ты приехал вовремя, мой жеребёнок! — встретил его наставник. — Я чувствую, что скоро боги призовут меня и не хотел уносить с собой тайну. Веди меня в чёрные пещеры, там передам тебе сокровище, оставленное дедами.

Медленно поднялись к скалам учитель и ученик. У входа в одну из пещер сели на камень, нагретый солнцем.

— Каждый народ старается уберечь для потомства самые дорогие сокровища. Знающие тайну письменных знаков, прячут от врага книги, в которых собрана вековая мудрость. Скрывают великое умение своих мастеров. Ну, пойдём, мой мальчик! Час настал. Я передам тебе самое дорогое, что доверили мне. Друг твой предупредён, что ты не спустишься вниз три дня и три ночи.

— Учитель, нас ждут с нетерпением...

— Я не привык оставаться в долгу, и эти три дня верну, проводив вас козьей тропой, подарив ещё неделю.

— Прости меня, неразумного, забывшего о почтительности.

— Ты хорошо сказал, и я доволен, но нас с тобой зовет долг.

Запалив смолистую ветку, старик вошёл в пещеру. Холодное и затхлое дыхание вырвалось из её пасти. Молодой воин почувствовал волнение. Сейчас откроется тайна.

— Поклянись, что не во зло употребишь моё доверие!

— Клянусь солнцем!

— Будьте свидетелями, усопшие! Я верю! Нашему сыну передаю вашу тайну! Отодвинь камень, дитя!

Задрожавшими руками сдвинул в сторону тяжелую глыбу. Под ней чернела яма, на дне которой лежало что-то, запелёнутое в войлок. Старик встал на колени, взял в руки этот свёрток, поднёс к губам и только тогда начал разворачивать. Бесконечные слои тонкого войлока падали под ноги. Ожидание достигло предела, когда с коротким криком старец обнажил странную деревянную коробку.

— Вот она, которую мы сохранили для детей наших! Имя ей — домбра!

Орт почувствовал себя жестоко обманутым и усталым. Зачем воину эта забава: дерево, извлекающее разные приятные звуки? Он думал, что там чудесное оружие, волшебный меч, кинжал... Эх!

— Садись и слушай! — строго сказал старик.

Орт нехотя опустился на землю, а учитель, покрутив колки, принялся рассказывать о давних битвах, о могущественном народе, о победах и поражениях.

«Почему он раньше не рассказывал?» — успел удивиться Орт, но тотчас забыл об этом. Губы старца были плотно сжаты. Не он, а домбра говорила. Много было печали в её рассказах о прошлом, но много было и гордости. Так прошёл день и улетела ночь.

Второй день и другую ночь домбра учила его сердце нежности и любви. Она говорила о счастье, которого не бывает без мира. Весь третий день и третью ночь наставник учил играть на домбре своего Орта. Потом они завернули домбру в те же войлоки, спрятали в яму, завалили камнем и спустились вниз.

Салык ждал. Он держал коней наготове, и обида тлела в его глазах. Понапрасну потеряны драгоценные дни.

— Я подарю вам больше, — поняв его состояние, снова сказал старик. — Когда спустится прохлада из ущелий, я выведу вас на козью тропу.

Повеселел Салык, и погас в его глазах красный нехороший огонёк.

— Я провожу вас и умру, — решил старик. — Орт, ты владеешь тайной. Береги её, иначе тебя проклянут боги!

— Я слышу тебя, отец!

Ночью воины гнали уже коней по чужой холодной степи, где плакали шакалы. Звёзды, как светлые пауки, бежали по небу. Сухие студёные ветры обжигали лицо.

А днём была жара. Мёртвыми казались травы. Ровно шумели каменистые реки. Усталая и скучная тропа катилась из-под копыт. Наконец сказал Салык:

— Там за седловиной должны быть шатры узколобых. Так говорил старец.

— Оставим коней внизу. Ящерицами побежим по камням, всё высмотрим сверху.

Они спрыгнули с седел и пустили коней пастись среди редких и тонких берёз, а сами полезли в гору по острым камням.

Шатры стояли кругом, а второй круг образовывали повозки на высоких колесах. Сновали люди из кибитки в кибитку. Воины в лохматых треухах несли дозор. Разведчики всё высмотрели. Но тут кони почуяли чужих. Тревогу пропищала дудка, и стан взял в руки оружие.

— Нам надо уходить, — с беспокойством сказал Салык.

— Но где пленные наши сёстры? Их мы не видели, — отозвался Орт.

— Мы вернёмся ночью, — скрипнул зубами Салык. — Они обнаружили нас.

Разведчики поползли, прячась за камнями. У поворота, где круто падала тропа, замерли они в глубокой тоске. Их кони рвались из волосяных петель, а вокруг разъезжали воины на низких лошадях. В отчаянии потянулся за стрелой Орт, но его схватил за руку Салык:

— Не поступай опрометчиво, брат. Они нас ещё не видят. Будем к реке пробиваться. Пойдём под высокими берегами. Там много зарослей. За три рассвета дойдём до твоего кочевья, возьмём коней.

Орт кивнул и собрался встать, но тут на него навалился кто-то тяжёлый и грузный. Орт рванулся, но ему заломили руки за спину и ловко скрутили верёвкой.

— Брат, беги! — услышал он крик и увидел Салыка, который размахивал кинжалом, пробиваясь к нему. Не понял Орт, что это кричал он сам. Ещё раз рванулся из цепких рук, но из-за каждого камня выползали чужие воины и тут же бросались в свалку. Последний раз махнул кинжалом Салык и бросился к краю обрыва:

— Прощай, Орт! Отомсти!



Отчаянно закричал Орт, но друг уже исчез в пропасти. Тучи заворчали грозно. Тусклым стало солнце над головой. На миг затвердела камнем река и волны её замерли...

В шатре, куда приволокли Орта, горело масло в плошках и кругом сидели могучие мужчины с хитрыми и злыми глазами, как вода зимой. У старшего лицо было словно корень чёрного дерева. Он узнал юного пленника.

— А-а-а, мальчик, мы гостили у тебя, теперь ты решил нас проведать? Похвально! У тебя хороший наставник, научивший тебя вежливости. Только зачем ты прятался за камнями? Сестёр искал, ну! Они давно гостят и пока не жалуются на хозяев. Может, среди них есть, что тебе по сердцу? Так возьми её и поезжай домой. Соседам ссориться не к лицу, — так говорил старый вождь на языке Орта. — А может, ты хочешь узнать наши военные секреты? Построение войска? Число воинов? Несение караула? Ты не стесняйся, я тебе всё расскажу, хоть и выдам большую тайну...

Растерянно и неодобрительно смотрели на вождя собравшиеся начальники. Но молчали.

— Сын мой, — сокрушённо продолжал старик. — Помни только, что за разглашение тайны меня тоже ждёт смерть. Не мной этот закон принят, не мне его отменять. И ты умрёшь. Так какая же польза, скажи? Какая корысть? Ладно, я своё пожил, достаточно зим холодал на свете, могу и поделиться всем, что знаю. А я знаю многое. Только и ты не умрёшь. Я тебе это могу обещать, мой гость.

Орт молчал. Гордое сердце видело издёвку. Он молчал, плохо слушал врага, но вдруг напрягся и весь обратился в слух. Вождь рассказывал тихим голосом, как побеждают они врагов своих. Слушал его Орт, боясь пропустить хоть слово, потому что знал: правду говорит вождь. Окаменев, подобно идолам степным, сидели злые и растерянные полководцы. А старик так же тихо закончил:

— Слабость наша и сила в том, что собственное построение пробить не можем, только не ведают того недруги. Ну, мальчик это всё. Если бы ты пришёл прямо, не прячась, подобно шакалу, ты все это узнал бы раньше, и друг твой был бы жив. О боги, какая гордая смерть! — старик прикрыл глаза. — И ты вернулся бы к Миндету, довольный нашим гостеприимством. Ох-хо, совсем стал болтливым на старости лет и забывчивым. Позор моим сединам! Гостя забыл угостить, — глаза старика сверкнули. — Эй, стража!

Накормите нашего гостя языком и глазами! Тем языком, которым хотел предать нас! Теми ясными глазами, которыми высматривал нашу беду! Прочь его! Завтра дайте ему коня! Пусть скачет к своим и выдаёт наши секреты!

В восторге ревели воины, довольные столь неожиданной развязкой, и ещё больше любили своего старого вождя.

...Голова была как раскаленный казан. Погасло для Орта солнце. Слова его умерли для людей. Ему пришлось съесть собственные глаза и проглотить язык, иначе не соглашался отпускать узколобый своего пленника. Сердце горело тайной врага, но как донести её до Миндета?

...Воины проводили его до самой границы холодной степи. Там они простились с ним, похлопав по спине. Это были простые пастухи и они жалели молодого разведчика.

Дальше конь шёл сам. Тихо сидел в седле Орт, слушая горы. Медленно шёл конь, останавливаясь пощипать траву. Не трудной короткой дорогой шёл, а покатою, долгой. Наконец привёз он слепого и немого в родное кочевье. Плакали и дрожали женщины, глядя на изуродованное его лицо. А Орт сидел тихо, не зная, как спросить, где наставник.

— Он умер, — сказал кто-то. Орт услышал его и вышел из кибитки. Тайна жгла сердце. Что-то надо придумать...

И он пошёл к пещерам. Его возвращали, но он упорно шёл туда, откуда ветер доносил затхлые запахи подземелья. Наконец его поняли и повели в пещеру. Он погладил камень и знаком велел отодвинуть его, потом встал на колени, достал свёрток и поднес его к губам. Люди плакали. Тогда сорвал войлок с домбры Орт, подкрутил колки и заговорил. Он рассказал обо всём своему племени, и люди гордились им. Орт просил дать ему провожатого, чтобы добраться до Миндета. Начальнику помогут секреты, которые вызнал у врага Орт. Наши воины налетят, как буря, и разобьют узколобых их же боем. Так утешал сородичей юноша.

Ему дали провожатого. Теперь быстро ехал по степи Орт. Он ликовал. Нет больше тайны у врагов...

— Брат! — вскричал Миндет. — Что они с тобой сделали, брат?!

Орт открыл рот, показав вождю чёрный обрубок языка. Задрожал Миндет и молча поклялся страшно отомстить. Орт поднял руку, прося внимания.



«Несчастный, — подумал Миндет. — У него от страданий помутился рассудок!»

Но уже рассказывала домбра, как прыгнул в пропасть Салык. Потом тихий голос вражеского вождя заговорил о военных тайнах. Дорогу показали струны. Потом домбра крикнула: «Отомсти, но не обижай простых людей, Миндет!»

Тогда вождь встал с войлока, подошёл к Орту и прижал к губам его обезображенное лицо.

Войско ушло в поход. Слепой ждал его возвращения, перебирая камушки. Когда вернулся с победой Миндет и привёл освобожденных сестёр, вся степь вышла встречать его.

Взял Орта за руку вождь и повёл на холм. Внизу шумели воины и пастухи.

— Люди! — крикнул Миндет, и голос его прервался. — Он ради... вас... солнце своё отдал. Пусть оно светит вам вечно!

Молчал стан, приветствуя своих героев. На холм поднялась самая красивая девушка племени. Её добивались храбрейшие. Она встала рядом с Ортом и сказала:

— Орту давно пора завести свою кибитку, белую, как его душа. Если он согласен, я войду в неё хозяйкой.

И снова зарокотала домбра. Она говорила, что не хочет быть людям обузой Орт и не примет жертвы девушки. Задумавшись, стояли люди, и тогда вскричала девушка:

— Пойми, Орт, что ты видишь больше и лучше иных зрячих, чьи глаза тусклы оттого, что нет огня в сердце. Их глаза не освещают лиц. Ты для всех, как солнце горячее! Разве безумна я, чтобы самой отказаться от солнца? Зачем же ты отталкиваешь меня?

На этот раз домбра промолчала...

Санжар притих. Он понял, что прошла для него пора легких сказок, что к чему-то большому и светлому хотел приобщить его отец. Он не зря провёл трудную бессонную ночь. Он хотел, чтобы ясным пришёл рассвет для сына. Когда Санжар вышел из комнаты, глаза его были взрослыми.

СОФЫ СМАТАЕВ

ПЕСНЯ

До чего же печальна была эта песня!

...В такие минуты глаза её обволакивала синеватая туманная дымка. Она незряче смотрела перед собою, медно-рыжие ресницы её вздрагивали, и тогда казалось, что влага, заволакивающая размытый остановившийся взгляд, вот-вот прольётся. Но слёз её не видел никто. Бесприютная, оборванная девчонка, дрожащий голос которой вызывал озноб в наших мальчишеских душах, всецело подчиняла нас себе, не позволяя шелохнуться.

Эх, если бы хоть одно слово понять из её песни! Мы робко и невпопад пытались подпевать, подбирали что-то близкое по звучанию из родных казахских песен — и вразной замолкали, стыдясь осипших от волнения, срывающихся голосов. Чуждая слуху странная узорчатая мелодия, возносящая к пасмурному небу непривычную картавость чужого языка, зачаровывала и вдруг больно отзывалась в нас, и уже говорила открытому сердцу о чём-то близком, родном и понятном.

До сих пор не могу понять этого чуда...

Девчонка всегда приходила с другой стороны арыка. Она шла вброд по студёной воде, зябко окуная багровые от холода босые ноги в тёмное ледяное течение, придерживая рукою обтрёпанный подол, и только ступив на заснеженный берег, опасливо, искоса взглядывала на нас, и приближалась, боязливо сутулящаяся и недоверчивая. И сейчас, через много-много лет, идёт она через мою память по той тёмной воде, идёт вброд, идёт по белому снегу, идёт ко мне...

* * *

Стояла поздняя осень сорок восьмого года. Разве уставали тогда мы, ребяташки, носиться с криком и шумом меж домов аула! С

самого бледного рассвета и до закатных сумерек не находили мы времени передохнуть в этой неуёмной беготне, забывая подчас вытирать носы рукавами выдавших виды курток. В такую вот шустрюю и полную ко всему интереса пору детства мы повстречались с ней.

Я хорошо помню то далёкое утро. Оно началось с ликующих криков, лавиной пронесшихся мимо окон вдоль нашей улицы.

— Алакай!¹ Снег пошёл! Ура!

— Вот это повалил! Снег! Снег!

Первые хлопья снега, первый дождь, первая трава... всегда и повсюду радуется им детвора, и буйная эта радость одинаково беспредельна, где бы ни жил человек по законам ясного мира детства. Эта радость не знает границ во времени, и нет для неё границ территориальных и прочих, придуманных людьми в разные времена и по разным причинам.

Сверкнув чёрными пятками, выскакиваешь за порог — и вот он, первый пушистый снег! Невесомо кружащиеся, ослепительно белые бабочки опускаются из глубины затянутого серой мглой неба. Торопливо тянешь вверх ладони — они доверчиво опускаются в твои руки, и тают, едва коснувшись их. Ты наклоняешься и хватаешь снег с земли, и с силой сжимаешь его в горсти, смеясь от счастья. И поднимаешь к небу разгорячённое лицо, и широко раскрываешь рот — щёки и лоб обдаёт холодом, а кончик языка ощущает лишь пресную свежую влагу. Праздник детства — снегопад!

Кидая друг в друга снежками, мы забыли обо всём на свете, потому что на всём белом свете для нас царила одна-единственная, несказанная, сошедшая с небес радость — снег! снег! снег!

И вдруг послышалась песня. Внезапно и неожиданно. Голос, полный тоски, тонкий детский голос плыл издалека, но был различим и реален, и незнакомый напев не смолкал, а только набирал свою силу, и печалился, и томился.

Всё так же щедро падали ослепительные хлопья снега. Но в ту минуту мы уже не видели его. Игра остановилась. Беспokoйно переглядываясь, мы замешкались на минуту — и кинулись со

¹ Алакай — возглас ликования.

всех ног туда, откуда доносилась песня. Мы бежали, боясь не успеть и пропустить что-то важное. Боясь остаться обделёнными. Мы боялись, как бы мелодия не смолкла. Как бы она не ушла куда. Как бы не пропала навеки для нас. Мы так боялись не успеть!

И вот мы обступили со всех сторон эту незнакомую девчонку. Она стояла в полной неподвижности. На плече её был дорожный мешок. И подол ветхого платья висел ключьями. Девчонка стояла босая, что несколько нас не удивило — в ту пору наши крепкие пятки не касались ничего, кроме земли — раскалённой под солнцем, или подёрнутой первой изморозью, или запорошённой снегом. Не удивила нас и её одежда — в те послевоенные годы мы были одеты ненамного лучше. Но песня!.. В дрожи тонкого скорбного голоса вдруг пробивался знакомый сердцу ритм, и чуждые слуху слова выпевались-выговаривались и звенели как серебро, и высвечивали нашу собственную, ещё неузнанную, но уже угадываемую предчувствием боль. Тогда-то я увидел заволакивающую её взгляд подрагивающую влагу — и поразился. Будто захворавшая, страдающая детская душа стремилась вылиться из этих широко распахнутых, напряжённых глаз — и не могла, и оттого мучилась и звучала, звучала в прекрасной этой песне. Когда мелодия слегка замедлялась, по сероватому лицу девчонки словно пробежала тень, но вот песня взлетала вновь, и неумытое лицо певуньи запрокидывалось и светлело.

Мелодия вознеслась до чистейшего звона. И сорвалась, будто отсечённая ножом.

Песню прервал Тлеукор. Задира Тлеукор. Наш храбрец и заводила. Мы не заметили, как он нагнулся, как зачерпнул снег ладонями. Мы только увидели, как мелькнул этот крепкий снежный ком, который запустил Тлеукор в затылок девочке.

Недопетая песня оборвалась, будто сама по себе — девчонка не шевельнулась.

Мы разом повернулись к Тлеукору и исподлобья смотрели на своего вожака. Тлеукор опустил голову. И спрятал руки за спину. Но мы ждали объяснения. И всё так же неподвижно стояла среди

нас, раскосых и смуглых, она, бледная, с чуть вздрагивающими рыжеватыми ресницами.

Тлеукор в ту же минуту поднял голову и усмехнулся.

— Я знаю её! — сказал он и помолчал.

Он был старше нас всех, этот Тлеукор. И он знал всё и всегда. Он нарочно не торопился выложить то, что ему было известно.

— Эта девчонка — немка! — выкрикнул он наконец, — Я её вчера видел... У Андрея. В доме у них. Это она!

Мы хорошо знали, кто такой «немец». Одноглазый, с кривыми клыками, див. «Немец» — это война. «Немец» — это смерть. Это каждодневный плач, и причитания, и рыдания, среди которых мы выросли.

Бледное лицо девчонки с впалыми щеками, с выбившимися на висках бесцветными космами вмиг стало похоже на личину дивова отродья.

— Смотри-ка ты, выставилась! — цедили мы сквозь зубы. — Так вот ты кто такая? А-а, молчишь?!

Мы переглянулись — и разом поняли друг друга: рядом, в котловане, откуда брали глину на кирпичи, было много снега! Много снега, которого хватит на целую войну. Войну с этой немкой. Мы кинулись в котлован. И в висках у нас горячо билось одно и то же: «немка»! «немка»! «немка»!

Снег! Снег выше щиколоток! Снег почти по колено!

...Но почему она не бежит? Дорожный мешок сполз с её плеча. Девчонка стоит, и на ослепительно белом снегу багровеют два резких, как кровь, пятна — ступни босых её ног.

И вдруг наш главарь, наш храбрец Тлеукор, махнул рукой. И вяло сказал:

— Пошли!.. Ну её!

И первым вылез из котлована.

В тот же миг девчонка улыбнулась. Тряхнув головой, откинула со лба кудрявую чёлку и громко запела. Ту самую песню. Но только звонче стал её голос. И неведомая тоска — нежнее, и печаль — прозрачнее и легче. Мы стояли на краю котлована, раскрыв рты, и девчонка опять была с нами: мы уже не помнили прошлого.

Безотчётно я взглянул вправо — и наткнулся взглядом на Тлеукура, безмолвно стоящего рядом. Лицо его было мокрым от падающего снега. И в ту же минуту я понял. Что это не снег. Подбородок у меня задрожал. И я почувствовал, что вот-вот зальюсь слезами. Я не помнил отца Тлеукура, погибшего в первый год войны, и не знаю, отчего бы заплакал я — от жалости к Тлеукуру, или от жалости к себе, или от песни этой бесприютной девчонки, но только, едва сдерживая себя, я потянул Тлеукура за рукав — и в тот же миг его кулак с треском врезался в мою скулу.

Свет схлынул, померк, голова пошла кругом. Я упал.

Когда я оторвал ладони от пылающего лица, то увидел, что кроме девчонки никого возле меня нет.

Девчонка стояла совсем рядом и теперь улыбалась мне. Я опускал тяжёлую голову, поднимал — и её лицо, синюшно-бледное от холода, всё возникало и возникало перед взглядом и непонятно улыбалось надо мной.

Меня бросили все. Меня оставили с немкой. Я не плакал. А она улыбалась. Как будто вовсе не из-за неё досталось мне ни с того ни с сего. Смешно, конечно, смешно ей, немке...

Стараясь унять дрожь, я едва поднялся и со всего размаха ударил в маленькое лицо. Рука словно наткнулась на камень. В тот же миг... увиденное навсегда осталось в моей памяти. У девчонки из носу хлынула кровь. В бессмысленно расширившихся глазах — ни испуга, ни обиды. Только удивление. Тупое удивление. И сочащийся кровью нос, и искривившийся неким подобием треугольника жалкий рот — всё это было ничто в сравнении с глазами, в которых не было боли. Я понял, что с такими глазами человек никогда не сможет петь. Никогда! Никогда!

Плечи мои затряслись от громкого, безудержного вопля.

* * *

В тот день у меня поднялась температура. Я слёг. Болезнь вцепилась в меня крепко — почти всю зиму я провёл в постели. Взрослые, те, что помоложе, решили, что у меня простуда. Старики же определили, что меня сглазил какой-то недобрый человек. В сумраке низкой комнаты было совсем тихо. Сверстники не бывали у

меня. И только временами с улицы доносились едва различимые, приглушённые голоса ребят и разудалые выкрики катающихся на ледяной горке друзей.

Я до сих пор радуюсь тому, что в ту зиму я узнал, какая великолепная сказочница моя мать. Управившись вечером со скотиной, загнав и накормив её, она подбрасывала угли в печь, ставила на плиту чугунок и, улыбаясь мне, спешила присесть на мою постель. И прежде чем начать новую сказку, неизменно затягивала потуже на затылке свой белый платок. До сих пор я помню этот милый сердцу жест и её привычный низкий, монотонный голос.

Конечно же именно тогда садился я на верблюда-иноходца Желмая вместе со странником-мудрецом Асан-Кайгы — мы объездили с ним все страны — мы всё искали и искали землю обетованную... Иногда я отправлялся на охоту с самим Куламергеном, не знавшем промаха. И ещё была одна странная сказка у моей матери. Сказка про плач сироты Марии. И в этой сказке я знал то, чего не могла знать моя добрая мама: я знал, как звучит плач этой неведомой Марии. Он звучит на незнакомом языке оборванной девчонки. И плач этот — песня. Та самая, которую уже никто и никогда не услышит.

Но я ждал её, жадно прислушиваясь к едва различимым детским голосам за окном. Эта песня слышалась мне во сне. Иногда мне снились глаза бесприютной девчонки. Я просыпался в испуге и подолгу смотрел во тьму перед собою, боясь сомкнуть веки и вновь увидеть её равнодушно-удивлённый, лишённый боли взгляд.

Но как бы я ни вслушивался, мелодия не звучала больше на нашей улице. И девочка-сирота не переступала нашего порога и не появлялась рядом со мной.

Вместо неё всегда приходили другие. Приходили родственники, приходили соседи, приходила аульная медсестра-молодуха. Поначалу она осматривала меня, и что-то говорила матери уверенным шёпотом, а мама терпеливо слушала и кивала, покорно вздыхая. Но медсестра приходила всё реже и реже, а потом и вовсе перестала появляться у нас. А я всё лежал на скрипучей кровати и день-деньской смотрел в окно, перечёркнутое крест-накрест — в

покосившееся, давно нечиненое окно, затуманенное осевшей на стекло влагой.

И вдруг там, на улице, совсем неподалёку, послышалась песня. Я приподнялся. Тонкий голос поначалу всё пытался унять дрожь, потом справился с ней и зазвенел громко и чисто.

— Апа-а-а! — закричал я в тоске, — Апа-а-а!

Но матери не было в доме.

Я не знаю, как мне удалось ухватиться за спинку кровати, за дутые металлические её шишки. Едва передвигаясь на подгибающихся ногах, спотыкаясь и переводя дух, я стал искать одежду. Сунув босые ноги в подшитые резиной пимы отца, неверным шагом я направился к двери.

День ослепил меня. Я зажмурился, чтобы унять головокружение. И, преодолевая слабость, сделал шаг. Я не упал.

И вот уже песня с неудержимой силой тянет, тянет меня вперёд. Я обогнул угол дома — и увидел ту самую картину, что и прежде: я увидел тощую маленькую певунью в кругу своих сверстников.

Когда я, задыхаясь, с трудом волоча тяжёлые пимы, подошёл к ней вплотную, девчонка съёжилась и смолкла. Дрожащими пальцами я взял её руку. Она посмотрела исподлобья — и с силой толкнула меня в грудь. Я упал навзничь.

Одним прыжком подскочил Тлеукур к девчонке, но я закричал в ужасе:

— Не трога-а-ай! Не трога-а-ай! — и едва расслышал собственный крик.

Я вглядывался в лица столпившихся и поднимающих меня с земли товарищей — и смеялся. Как же легко мне стало теперь! Она толкнула меня! И я больше не был виноват перед нею! Это она избавила меня от поедавшей поедом вины. Я слабею от безудержного смеха, от предвесеннего солнца и вольного ветра, я уже не могу стоять, но сверстники крепко держат меня под руки. И я едва выговариваю:

— Пой! Пусть она поёт...

Девчонка опустила голову. Но вот губы её дрогнули — и песня, медленно поднявшись, понеслась ввысь. И вдруг я увидел, как сильные мужские руки подхватили девчонку и подняли к небу. В больном моём воображении с отчётливостью необычай-



ной явилось незнакомое женское лицо, с материнской любовью и жалостью глядящее на певунью. Мне открылись незнакомые края, в которых не бывал я ни разу, а песня всё увлекала в неведомое, всё вела меня в невиданные никогда дальние-дальние дали...

* * *

Она всегда приходила с той стороны арыка. Мы издали замечали её тонкую фигурку и мчались навстречу.

С того самого дня здоровье моё пошло на поправку. Я быстро присоединился к весёлым, полным шума и крика, играм ребят.

Взрослые решили, что организм мой справился с болезнью, старики же возблагодарили Всевышнего за милость его, увидев в этом божье предопределение, но никто, кроме меня, не знал о могучей силе прощения, избавившей меня от болезни.

И пришло благословенное лето, золотом и голубишной безудержно сияло небо, и посреди неуёмного нашего веселья, в центре его, стоит, улыбаясь, в памяти маленькая поющая девочка — Эмма.

Мы уже знали, что её отец, немецкий коммунист, геройски погиб в битве под Сталинградом, а мать ранней весной сорок шестого года замёрзла в степи, спасая отару овец в жестокую пургу. И наверно вполне понятно то, что в трагические, тяжёлые дни чаще раскрываются ласкающие людские ладони. В ауле привыкли к Эмме. Я вижу тёмные руки односельчан, глядящие белокурые волосы маленькой Эммы, я вижу руки чужих матерей, моющих ей голову, я вижу руки, протягивающие ей кусок хлеба, полгорсти зерна... С каждым ударом сердца я всё больше осознаю, что до последнего своего вздоха я в долгу перед односельчанами — в бесхитростной простоте обыденной своей жизни они будут для меня вечным примером доброты и сострадания.

Мы никогда не вспоминали про сиротство Эммы — для нас она ничем не отличалась от других ребят, росших после войны без отцовской ласки. Такая доля выпала многим моим сверстникам...

Эмма уже не была той бесприютной одинокой девчужкой, которую, будто перекасти-поле, гнал по степи послевоенный ветер сиротства. Лицо её ожило, резкие тени на нём пропали, в глазах заиграли искорки, мы слышали теперь её смех, звонкий и напев-



ный. Она уже умела, не перевирая слов, петь казахские песни, и лучшими её друзьями были мы с Тлеукором.

Однажды мы всей ватагой лежали на горячем берегу речушки Карасу, подставив солнцу пупырчатые от долгого купания медно-коричневые тела. Тлеукор ткнул меня босой пяткой в бок:

— Эй! Смотри, твой отец идёт...

Я вскочил и кинулся бежать, подворачивая на ходу штанины длинных портков: отец мой — машинист паровоза, иногда он уходит в двух-трёхдневные рейсы, и за это время я успеваю сильно соскучиться по нему.

И вот я кидаюсь отцу на шею, и тычусь носом в его форменный китель, с жадностью вдыхая удивительный, крепкий запах угля и мазута, пропитавший его одежду.

— Хватит, сынок. Смотри, нос как измазал...

Отец всегда говорит мне эти слова, а сам утыкается лицом в мои вихры. Он заглядывает мне в лицо, карие глаза его смеются, но говорит он очень строго:

— Бегаешь день-деньской. Забыл, небось, что осенью в школу?

— Помню! Помню! В школу!

— Ну так вот, держи. Не потеряй.

И отец вытаскивает из кармана два удивительных карандаша — синих с одного конца и красных — с другого. Слово все богатства мира вручили мне одному! Даже простой карандаш было трудно купить в то время. Ошалев от счастья, я несколько раз высоко подскочил на месте.

— Ну, беги... — подтолкнул меня в спину отец, — Беги, купайся!

Боднув головой отца, я помчался к товарищам, чувствуя, как он смотрит с улыбкой мне вслед, но обернуться уже нет сил, и я кричу на бегу во всю силу лёгких:

— Вот! Вот! Карандаши-и-и! Красный-синий! Цветные-е!

Ребята всё это время не спускали с нас глаз. И когда я подбежал, никто из них не выразил ни малейшей радости. Одни перевернулись на другой бок, даже не взглянув на удивительные мои карандаши, остальные поднялись, но не сразу, и подошли лениво, будто нехотя. Только Тлеукор протянул руку, осторожно потрогал красный конец карандаша и сказал ненатуральным голосом, по-взрослому прикашлянув:



— Ну вот, теперь учишь хорошо.

Я обернулся к Эмме. Она вовсе не смотрела в мою сторону. Белокурые волосы её были рассыпаны по плечам, не убирая пряди со лба, она неотрывно глядела в спину уходящему моему отцу и молчала. Только тогда я, кажется, понял их отчуждённое молчание. Можно забыть про сиротство другого, можно не замечать его, однако много есть причин на свете, не позволяющих забыть об обездоленности своей самим сиротам.

Я обомлел от своей догадки. И, не зная, что делать теперь, робко потянул Эмму за плечо.

— Учиться будешь? — безразлично поглядев на меня, спросила она.

— Да! Я буду учиться! И ты будешь учиться! Все будем учиться! Скоро в школу пойдем. Сидеть вместе будем, ладно?

— У меня нет бумаги, карандашей... — равнодушно сказала она и отвернулась.

— На! Один твой! А один мой. Бери, Эмма!

Эмма, не веря своим глазам, зажала в руке карандаш, тряхнула головой и тихонько засмеялась. Она запела ту самую песню, но быстро и шаловливо и, задохнувшись вдруг, смолкла, подняв лицо к небу и улыбаясь. В бездонной небесной лазури кружила и кружила высоко над нами белая птица, совсем крошечная, едва различимая в вышине...

Вечером, когда мы уже расходились по домам, Эмма несмело приблизилась ко мне и, глядя в сторону, вложила в мою руку тот самый карандаш.

— Зачем? — не понял я.

Она стояла, не оборачиваясь. И наконец сказала:

— Пусть у тебя побудет. Я его потом заберу. А то потеряется ещё.

— Ладно! Я их вместе спрячу. Твой и мой. Я беречь их буду! — пообещал я.

— Спрячь, — сказала она, так и не обернувшись.

* * *

Прошло десять дней.

Рано поутру, когда на середину парадной комнаты был выдвинут круглый стол и вся наша семья сидела за чаем, дверь распах-



нулась. Запыхавшийся Тлеукор кивнул мне и тут же скрылся в сенах. Я поставил пиалу, которую уже было поднёс ко рту, и выскочил за ним. Таким растерянным Тлеукора я ещё никогда не видел.

— Эмма уезжает...

— Куда?!

— Говорят, из города приехала какая-то м-м-м... — Тлеукор загнулся и с трудом выговорил русское слово, — ...ко-миссия. Вот.

Я ничего не понимал.

— Эмму забирают, в детдом.

— Сейчас... Я сейчас... — забормотал я, не трогаясь с места.

Когда я, наконец, вбежал в дом и в спешке раскидал одеяла, одежду, подушки, карандашей нигде не было. Я шарил под кроватью, на столе, кидался из угла в угол — все тщетно.

— Что ты ищешь, сынок? Случилось что?

— Ты можешь объяснить, что произошло?

О, я не в состоянии был вымолвить и слова в ответ родителям!

Наконец, зажав карандаш в руке, я опрометью выскочил на улицу, даже не закрыв за собою дверь.

Мы побежали к станции. Она находилась всего в километре от нашего аула, но какое это было большое расстояние в те минуты!..

У моего друга длинные ноги — умчится вперёд на длину аркана и, видимо, из жалости остановится, ждёт меня.

— Скорей! — кричит он, — Да не плетись же ты, быстрее! Эх, опоздали...

Ноги уже не подчиняются мне. Я задыхаюсь от бега. И солёный пот горячей волной заливают мне глаза.

Внезапно вдалеке, на фоне горбатого склона горы, показался поезд. Его зелёные, весело поблескивающие на утреннем солнце вагоны, всё приближаются. Пассажирские поезда стоят на нашей станции не больше двух минут. В те две минуты я понял, что иногда человеческая жизнь измеряется мгновениями.

Поезд едва приостановился и промчался мимо, оставив на нашей станции лишь клубы чёрного паровозного дыма. Так и не добежав, я упал в бессилии на полдороге, царапая ногтями светлую степную глину. Я слышу растерянный, утешающий голос драчуна Тлеукора — и этот голос отдаётся у меня в ушах многократным эхом, я слышу пронзительный вскрик паровоза — и своё собс-



твенное прерывающееся дыхание. В какой-то миг происходит чудо — я слышу песню Эммы, она звучит во мне как тоска по мечте, которой никогда не суждено исполниться, как последнее «прости» неповторимому детству, и её призрачный отзвук будет звучать в моей жизни долго-долго. Но песню Эммы я уже не услышу.

...Я буду садиться за свой письменный стол и всякий раз, выдвигая ящик, подолгу смотреть на карандаш — красный с одного конца и синий — с другого, которым я за много-много лет не написал ни строчки. Это карандаш Эммы. И всякий раз буду думать одно и то же: сложится ли мною когда-нибудь песня, которую я смог бы посвятить маленькой певунье из моего детства, посвятить Эмме?..

БЕРИК ШАХАНУЛЫ

СКАЗ О ВОРОНОМ

Так заведено, что если кому-то везёт, то везёт во всё. Он сам себя не помнит от счастья, всё витает, окрылённый, под небесами, а на грешную землю ему и взглянуть недосуг. Да хоть того же Таурбая возьмите. Он подрасти толком не успел, едва, считай, до гривы коня дотянулся и сел в седло, как назывался уже почти-точно «Тауке». К таким сам господь бог благоволит. Не скупится, отваливает одному столько, что с избытком хватило бы на десяток обездоленных. Наделил его талантами несметными — это ли не милость Всеблагого?

Искусством красноречия, в котором не было ему равных, выдвинулся Таурбай, — но ещё и твёрдостью характера. Потому заметил его в юные годы и приблизил к себе волостной управитель Бекболыс. А покровительство влиятельного вельможи, прославившегося мудростью и благородством далеко за пределами земли казахской, надёжно защищало Таурбая от житейских бурь и невзгод.

Уверовав в его деловую хватку и прозорливость, в острый язык и зоркость, волостной назначил джигита аульнаем, сделал своей правой рукой, вручил бразды правления. Потому ли, что смолоду не знал Таурбай неудачи и вскружила ему голову рановато полученная власть, или дремала в его жилах, ожидая своего часа, заложенная от рождения порочность, кто знает, но как только стал он вершить судьбы человеческие, так проснулась в нём дикая гордыня, и возомнил он себя владыкой земным. Понемногу привык Таурбай не считаться с теми, кто у него в подчинении. Открылось в нём и корыстолюбие великое, и искал он в любом деле для себя только выгоду. Уже не совестился Таурбай совершать насилие, заключать подлые сделки. День ото дня становился он грозней и немолимей для беззащитного, зато стада его множились с завидной быстротой.



Кое-кто о чём-то догадывался, но всего, что творит Таурбай, не знал никто. Тому, кто смел усомниться в его честности, Таурбай не подавал руки. Между тем в мире всё шло своим чередом. Постепенно народ притерпелся к его притеснениям: «Что делать, раз его поддерживает сам Бекболыс?» Никто даже не пытался перебить Таурбаю.

С годами стареющий Бекболыс отошёл от дел, полностью доверил их Таурбаю. О мошенничестве и преступных делах своего любимца не подозревал. Чему тут удивляться? С сотворения мира злодейство происходит ежечасно, а добро встречается редко, поэтому и помнится долго. Алчный же страшней голодного, ибо никогда не знает насыщения. От безнаказанности своей, от покорности людской Таурбай совсем обнаглел. И ум свой, и смекалку, и дарования многообразные поставил на службу одному — своей ненасытной утробе.

Род этот занимал обширнейшие пастбища в степном краю, где издревле обитал кочевой парод. Не было у заправил рода иных забот и печалей, как соперничать друг с другом в богатстве и знатности. Любили они пышные пиры и веселье, избегали трудов и треволнений.

Было Таурбаю где разгуляться при таких порядках. Приглянётся ему чужой скакун — непременно будет ходить у него под седлом. Понравится красавица — и её сумеет заполучить в свои руки. В мире много соблазнов, разве за всем угонишься? Но легко ли остановиться, если не вразумит тебя сам Создатель? Глаза — завидущие, душа — падкая до удовольствий. Не знает грешный утоления, сколько ни вкусил бы он радостей. Жадность его и губит.

В захудалом бедняцком ауле в той же волости жили трое братьев-сирот: Тамаш, Жагаш и Алмас. Особой нужды они не знали, ни от кого не зависели, держались со скромным достоинством и честь свою берегли, как зеницу ока. В наследство им досталось небольшое состояние, которым они владели сообща. Пуще всего они дорожили своим вороным конём, слава о котором гремела на всю округу. А он действительно был хорош, этот конь, прозванный «вороним Тамаша». В тех краях и самый старейший из аксакалов не упомнит такого коня, который превзошёл бы вороного в красоте и ходкости. Тот вороной и запал в душу Таурбаю. Поначалу самодовольный богач был уверен, что братья уступят ему коня без

разговоров. «Пойду к старшему, Тамашу, — думал он. — Предложу свою дружбу, если не пожалеет своего коня для меня. Конечно, он с радостью ухватится за возможность сблизиться со мной. Он же понимает, что я не останусь в долгу». А когда Таурбай пришёл к Тамашу со своей просьбой, тот, против ожидания, сказал совсем обратное:

— Нет, Тауке, вы мне в самое сердце нож всадить хотите. Конь дорог не только мне. Всем нам троим дорог. К тому же я не единственный хозяин. Если и был бы хозяином, не стану обманывать, и тогда не исполнил бы вашего желания.

Прямо так и сказал. Таурбай не привык, чтобы ему отказывали, пустил в ход сперва свой медоточивый язык, улещал всячески Тамаша, потом разыграл обиду смертную. Убедился, что сломить упорство джигита ему не удастся. Выиграло в нём самолюбие, отступить от своего, хоть убей, не может. Во что бы то ни стало надо ему добиться своего. На какие уловки он ни пускался, а Тамаш не поддается. И чем больше тот упирается, тем сильнее в Таурбае разгорается желание завладеть вороным красавцем. Ни о чём другом уже думать не может.

Настоящая страсть жаждет утоления, а если к ней примешается ещё упрямство, то человек не угомонится, пока не достигнет цели. Призвал Таурбай всех троих братьев к себе и предлагает:

— Берите из моего табуна на выбор любой косяк, а вороного отдайте.

Братья и целым косяком лошадей не соблазнились.

— Кто знает, разбогатеет мы с твоего косяка, нет ли... Надо довольствоваться тем, что имеешь. Покаже мы, вороного из рук не выпустим. Не будем продавать. Что нам целый косяк, когда видеть вороного — для нас большая радость.

Таурбай понял, что разговор окончен. Уходил злой, раздосадованный. Вороной всю дорогу не шёл из головы, стоял перед глазами, как наяву.

Ох уж этот вороной! До чего же он хорош! Разве даром им дорожат братья?! Холят и нежат, как дитя малое. Как верблюжонка берегут от сглаза. Взлелеяли чудо-коня на зависть всем. Кто мог думать, что в животном может быть столько красоты и благородства? С какой горделивой важностью он вскидывает свою красиво посаженную некрупную голову! Подойдут к нему — он, выгнув

стройную, как у лебедя, шею, косит лиловым глазом, и едва седок коснётся ногой стремени, плавным, размашистым шагом устремляется вперед. А как мягок его ход! Куда до него иноходцам! Он идёт, подставляя высокую, широкую грудь встречному ветру, и чёрная, как смоль, шелковистая его грива так и развеивается. Ах, какая в нём грация, какая пластика! Как прекрасен он в движении! Да, о таком коне Таурбаю остаётся только мечтать.

Вот ведь интересно, конь тот не был ни слишком рослым, ни слишком долгоногим; тело его, собранное, лёгкое, пружинистое, поражало соразмерностью частей. Спина в меру широка, круп, словно литой, живот подтянут, ноги — тонкие, стройные, а грудь — крепкая. Гладкая шерсть поблескивает, как кора таволги. Глаза сверкают алмазами. Зоркий и чуткий, вороной чует опасность за версту: стоит вдали мелькнуть какой-то точке — он настораживается, нервно перебирает ногами, пугливо пятится вбок, пофыркивает, готовый умчаться.

Большинство степняков ценили вороного не столько за скорость, сколько за отличную выездку и редкую красоту. Братья, правда, ни разу не выставляли его на больших состязаниях. Но, бывало, он приходил первым на скачках между аулами да ещё где-нибудь на охоте мог помериться резвостью с зайцем или лисой. Возможно, вороной и не способен был выиграть приз в представительной байге. И скорее всего, хозяева его знали об этом. И всё же кто только не заглядывался на вороного, кто не мечтал о нём.

— Чего ещё желать джигиту от жизни, если он владеет вороным, — вздыхали с завистью одни, которым будто бы тоже грех было сетовать на судьбу: и сыты они, и одеты, и радостями не обделены.

— Много хотите! Этого коня не то что вы, сам Таурбай заполучить не смог, — насмешничали над ними другие.

Среди оживлённого разговора кто-нибудь замечал:

— Надо же, а? Всё-таки силён этот Тамаш, раз от целого косяка отказался.

— Ой, а как он, по-твоему, должен был поступить? Разве можно такого коня кому-то отдавать? Да ты и сам на его месте ни за что не отдал бы вороного.

— По-моему, этот вороной не местной породы.

— Да, кажется, так. Какой-то купец с юга следовал в Акмолинск, останавливался в ауле. Пожаловался отцу Тамаша, что взял в дорогу жеребую кобылу. «Боюсь, — говорит, — не выдержит долгой дороги». Покойник был добрый человек, пожалел кобылицу, обменял её купцу на верховую лошадь. Этот вороной от той самой кобылы родился.

— Ладно, пусть вороной не местных кровей, но всё равно это обыкновенная лошадь. Что ж в ней особенного? Внутри, как у всякой животины, навоз, снаружи — шерсть. Кабы голова у ней была золотая, а зад — серебряный, тогда другое дело. А так что ж её не менять на косяк-то? Тамаш чёрт знает что воображает! Пожалел какого-то коня для Таурбая. Мог бы и за так отдать, — пренебрежительно говорил кто-то из собеседников.

А обозлённый Таурбай дни и ночи размышлял, как бы отомстить Тамашу за обиду. Придумывал разные способы мести, один страшнее другого. «Не быть мне Таурбаем, если не оседлаю вороного», — поклялся он себе. Одному богу известно, когда ему выпадет счастье держать в руках поводья вороного. Это зависит не только от изворотливости Таурбая. Если бы всё упиралось в него самого, он и дня не медлил бы. Но делать нечего, надо дожидаться удобного случая. А без толку суетиться незачем. Много ли, мало ли, но придётся терпеть.

Хотя Таурбай в глубине души решил не торопиться с мезтью, но его ненависть к Тамашу была столь велика, что, задавшись целью сломить противника, он не упускал ни одной возможности навредить ему.

У среднего из братьев — Жагаша, была невеста. Уже и сватовство состоялось, и калым, правда, небольшой, был уплачен, даже день свадьбы успели назначить: до него оставалось каких-то полгода.

Таурбай довольно часто бывал в том ауле, где жила невеста Жагаша, но не знал даже, как она выглядит. Раньше ему и в голову не приходило интересоваться ею. А тут он приехал в аул к ней нармерно.

Аркуль никого не могла бы затмить ни умом, ни красотой, но была довольно мила, сложена недурно, хорошо одета. Судя по всему, в семье её любили и баловали. Возможно, поэтому в ней пока живы были и детская шаловливость, и детские причуды, которые



с возрастом, конечно же, забылись бы, и стала бы она верной и любящей женой.

Переступив порог дома с коварным замыслом соблазнить чужую невесту, какой бы она ни оказалась, Таурбай был приятно удивлён, увидев, что эта девушка, достигшая полного расцвета, очень привлекательна. По душе пришлись ему и игривый взгляд чёрных глаз, и яркий румянец щёк, и молодое, упругое тело, что так волнующе покачивалось при каждом её шаге.

Он и сам уже готов был поверить в то, что увлечён всерьёз, и будь человеком менее испорченным, не помнил бы о причинах, побудивших его искать её благосклонности. Чем больше он смотрел на Аркуль, тем сильнее распалялся от бесстыдных желаний, тем становился нетерпеливей. Среди женщин аула он без труда разыскал сводницу, которая взялась заманить девушку на свидание.

Когда Аркуль поняла, что попала в ловушку, она испугалась. Но как воробей бывает бессилён перед завораживающим взглядом змеи, так и она оказалась неспособна устоять перед вкрадчивыми речами бывалого искусителя, не могла стряхнуть с себя наваждение и уйти. А он, почувствовав свою власть над ней, не жалел слов.

— Это истинная страсть, — божился он. — Все мои помыслы, все желания — о тебе.

Таурбай говорил, что он забыл и о своём высоком положении, и об имени, которое носит.

— Я, Таурбай, склоняю свою гордую голову перед тобой, — льстил он девушке.

Его, как он утверждал, не пугают ни людские пересуды, которые неизбежны в таких случаях, ни осуждение близких. Он знает, что у Аркуль — прекрасная душа, способная оценить человека по достоинству, верит, что не будет отвергнут. Разве Таурбай не нашёл бы другую, если бы захотел поразвлечься? Ему нужна только она — Аркуль.

«У женщины волос долог...» Злополучная девчонка жадно впитывала каждое его слово. После его пылких признаний она вместо решительного «нет» сказала смущённо:

— Я ведь просватана. Если кто-то узнает о нас, позора не оберёшься. Как мне быть тогда, что делать?



Для того, чтобы осуществить задуманное, Таурбай ничего не пожалел бы. Удача сама шла ему в руки, и он, чтоб не спугнуть её, клятвенно заверил в случае огласки немедленно жениться па девушке. Он и сам не желал бы уступать её этому голодранцу, который еле концы с концами сводит. На жизнь впроголодь обречь её не хочет.

— Я тут же пришлю сватов. Ни скота не пожалею, ни другого добра. Всё, что отец твой запросит, — отдам. Поставлю белую юрту для тебя, и будет у меня ещё отдельный отау¹.

Видимо, Аркуль прозябанию рядом с человеком незнатным и небогатым предпочла жизнь в достатке, какую сулила ей роль токал² именитого бая. Она уступила Таурбаю.

В ту же ночь, дождавшись, когда все в доме уснут крепким сном, Таурбай приподнял низ белого полога и прополз на четвереньках к постели, где его приняла в объятия чужая невеста.

Первый пыл любовной страсти угас довольно скоро, и Таурбай оставил её. Больше он в том ауле не появлялся. Разумеется, слухи о его связи с Аркуль быстро дошли до ушей Жагаша. Братья сочли за благо расторгнуть помолвку, и Аркуль осталась вековать в родительском доме.

Нанеся братьям кровную обиду, Таурбай праздновал победу. Но и то огромное наслаждение, которое испытал он, опозорив невесту Жагаша, не утолило жажду мести. Он не успокоился тем, что расстроил чью-то свадьбу, главный удар приберег для будущего. В голове его созрел хитроумный план, который, он был уверен, поможет ему завладеть вороным конём Тамаша. Таурбай вплотную подошёл к его исполнению.

В поведении Таурбая появилось что-то новое и неожиданное, чего никто не мог разгадать. В прежние времена в роду его был заведен обычай отправлять гурты скота па продажу в Акмолу или Караоткел раз в год — поздней осенью. Это был лучший сезон для торговли скотом. Нагулявшую на летних пастбищах жир скотину можно было сбывать по хорошей цене, а вырученных денег хватало на закупку годовых запасов зерна, сахара, чая, мануфактуры. Потом до следующей осени никто о базаре не помышлял.

¹ Отау — юрта для молодожёнов.

² Токал — младшая жена.



С недавних пор Таурбай то и дело затевал поездки на базар. Из преданных ему людей составлял караваны три, а то и четыре раза год и ходил с ними не только в близкие города, но и в места более отдалённые

Многие недоумевали:

— К чему это Таурбаю? Чего ему не хватает?

На что самые дальновидные из его сородичей отвечали:

— Видимо, он решил заняться торговлей.

Разве Таурбай проговорится, что у него на уме? Никто не подозревал об истинной причине его поездок. Он скитался без устали по базарам, а зачем, почему — о том, кроме него самого, ни одна душа так ничего и не знала. Бывал Таурбай с караваном и в Акмолле, и в Караоткеле, добирался до Туркестана и ещё дальше — в Аулие-Ата. Между тем пролетело два-три года, а Таурбай упорно мотался по степным дорогам. И вот, наконец, он нашёл то, что искал. После долгих, неутомимых поисков Таурбай оказался на рыночной площади в Ташкенте. Хмурого туркмена богатырского роста он увидел сразу. Да и немудрено было его не увидеть, раз он возвышался над толпой на целых две головы. Таурбай отметил мельком и смуглое его лицо, окаймлённое бородой, и острый взгляд из-под бровей. Но не внешность туркмена его интересовала. Интересовало его совсем другое.

— Эй, приятель, что на базар привёл? Продавать думаешь? — жадно спросил он.

То ли туркмену не понравился хищный блеск в его глазах, то ли поспешность, с какой он задал вопрос, но в ответ Таурбай услышал:

— А зачем я его привел, по-твоему, если не на продажу? Или я задолжал тебе и ты ждёшь, что я отдам его тебе в уплату долга?

Голос джигита прозвучал холодно и презрительно.

Ни грубый ответ туркмена, ни его надменный тон не произвели на Таурбая ровного впечатления, он был весь поглощён созерцанием коня, которого тот держал под уздцы. Таурбай оглядел коня со всех сторон. Радости его не было границ, а безграничной радости было удивление. Он сам не верил своим глазам. Это действительно было чудом из чудес. Как тут не поверишь в могущество природы?



Конь был точной копией вороного Тамаша. Даже между близнецами не встретишь такого сходства. И силуэт коня, и его поза, и резкость движений, посадка головы и горящие чёрные глаза, чутко настороженные уши и гладкий круп. И, главное, масть — конь от макушки до хвоста весь чёрный, без единого пятнышка. Шерсть переливается на солнце, вспыхивает бликами. Надо же, всё у него точь-в-точь, как у вороного Тамаша.

— Сколько твоему коню? — поинтересовался Таурбай. Туркмен нехотя назвал возраст коня и добавил:

— Что ж ты сам в зубы не посмотришь?

Таурбай подошел к коню, протянул руку. Тот фыркнул недовольно, вскинул голову, стукнул раз-другой литым копытом, взрывая землю.

— Так-так¹, жануар², так-так, — увещевая его, ласково приговаривал Таурбай. Он погладил коня по шее, подбираясь к зубам. Слова хозяина подтвердились. Выходило, что конь этот — почти ровесник вороному Тамаша.

— Ну-ка, садись на коня, посмотрим, каков ход, — сказал Таурбай одному из сопровождавших его джигитов. Джигит взлетел на коня, проехал метров десять. Таурбай, остолбенев, не мог выговорить ни слова. Он узнал мягкий, размашистый шаг вороного Тамаша! Подумать только! Даже выездка — та же! Ни в чём ни малейшей разницы. Или это наваждение?

Именно такого коня он разыскивал на всех базарах. Большого сходства между двумя лошадьми быть не может. Он нашёл то, что нужно. Какую цену ни запросит хозяин, он купит этого коня.

Страстный лошадиник, Таурбай хотел понять, как хозяин может расстаться с таким конём.

— Хороший у тебя конь, — сказал он. — Что же ты его продаёшь?

Джигит, и без того раздражённый, сказал неприязненно:

— Эй, путник, к чему лишние разговоры? Хочешь купить — покупай, не хочешь — так не морочь голову!

Судя по его ответу, джигит и сам был не рад, что продаёт коня. По-видимому, слова Таурбая задели его за живое. Потому он и не

¹ Так-так — слова увещевания.

² Жануар — «живая душа», ласковое обращение к животному.

пожелал ответить покупателю. «Выходит, его вынуждают крайние обстоятельства, а иначе он ни за что не расстался бы с ним. Или, может, это краденый конь. Оставить у себя не может, вот и продаёт. Одно из двух. Иначе этому джигиту такой конь всегда пригодится», — заключил Таурбай.

— Ну, герой, называй цену, — сказал он.

Не торгуясь, отсчитал запрошенную хозяином сумму и взял поводья в свои руки.

— Владей на благо, — искренне пожелал ему джигит. — Тебе не придётся жалеть, что ты купил его. Такие кони не часто рождаются на свет.

Он посмотрел на коня долгим тоскующим взглядом и с грустью сказал: «Прощай, жануар».

Таурбай, ведя коня в поводу, двинулся через базар, а тот, натянув узду, вдруг обернулся и фыркнул так, будто бы тяжело вздохнул.

Когда Таурбай вернулся к своим людям, те все разом охнули:

— Надо же, а! Это же ни дать ни взять — вороной Тамаша! Он самый и есть! Бывает же такое! Ну и ну! — восхищаясь, цокали они языками. — Таурбай просил ведь когда-то Тамаша уступить ему своего вороного, да тот отказал ему. Стало быть, этот конь так запал ему в душу, что он все эти годы рыскал по базарам, всё такого коня искал. Видишь, цель у него какая была: непременно ездить на точно таком же коне. Да, если деньги позволяют, чего только человек не сделает, — так рассудили люди.

То же самое говорили и в ауле. Слух о приобретённом Таурбаем коне разнёсся по всей округе. Больше всего судачили о поразительном сходстве коня с вороным Тамаша.

Всю дорогу от Ташкента до аула этого коня ни разу не седлали, а вели в поводу, накрыв одной легкой попоной. И дома, после долгого утомительного перехода, ему дали отдохнуть, несколько недель держали в отдельном сарае, ходили за ним, как за малым ребёнком, причём Таурбай зорко следил, чтобы всё делалось как нельзя лучше. Лишь после этого Таурбай впервые выехал на своём вороном. Никто, кроме него самого, на того коня не садился. Да и сам Таурбай седлал его по торжественным случаям. Первое время только и было разговоров, что о «туркменском» вороном, как его

прозвали в ауле, потом люди постепенно привыкли к коню, и шум улёгся сам собой.

Была уже середина зимы. Как-то Таурбай, закутавшись в одеяло, залёг с вечера пораньше в постель, но проворочался без сна до глубокой ночи. Маясь тревогой, он полежал ещё немного, потом грубо разбудил лежавшую рядом жену.

— Эй, встань-ка. Разожги очаг. Разводи курт с сурпой¹, подогрей да подай мне, — бросил он жене и начал одеваться.

Жена в испуге вскочила, подобрала под платок растрёпанные волосы, засустилась:

— Собрался, что ли, куда?

— Да, давай быстрей!

— С чего это вдруг? Вроде ночь ещё на дворе. Что ты задумал?

— Какое твоё дело? Сказано тебе, согрей сурпы. До чего же ты болтлива. Кто спрашивает у мужчины, куда и зачем он едет? — прикрикнул он на жену, и та сразу присмирела, робко сказала:

— Разбудил вдруг, кричишь... Откуда мне знать? Напугалась я...

Жена принялась разжигать очаг. Задать мужу вертевшийся на языке вопрос она уже не решалась, но то и дело поглядывала на него, пытаясь разгадать, куда он собрался в этот поздний час. А когда он уже был у порога, подавая камчу, спросила всё же:

— Далеко едешь? Когда воротиться?

— Никуда не еду. Вот встречусь с одним человеком и тут же вернусь, — ответил ей муж спокойным тоном.

Таурбай сел на осёдланного с вечера коня, приладил под колено берданку и, ведя в поводу своего вороного, быстро выехал в дорогу. Высоко в небе тускло поблескивали редкие звёзды. Ущелье словно вымерло. Ехать Таурбаю было недалеко. Если бы он даже не погонял коня, и то до предрассветной мглы был бы на месте. А ему важно быть там именно в этот час, когда ночная тьма ещё не рассеялась, а народ погружён в сладкий предутренний сон.

Те, кто зимует в песках, селятся небольшими аулами среди гребней барханов. Скот на низинных пастбищах не содержится по дворам. Крупный обычно пасётся па воле. Для мелкого ставят за-

¹ Сурпа — бульон.

гоны из саксаула, шингиля или тростника. На стойловом содержании у степняков только верховые лошади.

Таурбай знал, что Тамаш для своего вороного соорудил заготовку из связанного в снопы камыша, а на крышу пошёл обычный дёрн. Подъехав к аулу, Таурбай обогнул его стороной и оказался как раз напротив сараюшки Тамаша. Если собаки почуяли бы верхового, они подняли бы лай, поэтому он спешился, берданку повесил через плечо, взял под уздцы обоих коней и тихо двинулся к сараю. Всё же собаки заметили его, вынеслись с громким лаем навстречу — сука с тремя щенятами весеннего помёта и большой лохматый кобель. Таурбай запустил руку, вытащил несколько кусков варёного мяса и бросил на мёрзлую землю. Собаки кинулись на приманку, замолкли.

Таурбай беспрепятственно добрался до сарая, привязал в сторонке коней и подошёл к двери. Как и следовало ожидать, плетёная камышовая дверь была закреплена обыкновенной верёвочкой. Он развязал узел, отворил дверь и вошёл внутрь. Постоял, ожидая, пока глаза привыкнут к кромешной тьме, а конь, потревоженный его появлением, успокоится. Через несколько минут нашарил узду и, приговаривая: «Так-так», стал осторожно поглаживать коня по шее, по крупу. От привычных прикосновений конь притих и стоял покорный, смирный. Тогда Таурбай нагнулся и нащупал кисен¹ на передних ногах вороного. Он был готов к этому. Извлёк из голенища сапога прихваченные на такой случай отмычки и попробовал, не подойдёт ли какая-нибудь к запору. Одна из отмычек пришлась впору, и цепь, тихо звякнув, упала на пол. Опасаясь, что конь может заржать, Таурбай перетянул ему морду ситцевым платком и осторожно вывел из сарая. Вместо него поставил в стойло своего вороного, спутал ему ноги, затем плотно прикрыл дверь и даже завязал верёвочкой, после чего достал из-за пазухи огниво и подпалил камыш сразу в нескольких местах. Сухой камыш занялся огнём, вспыхнул в мгновение ока. Таурбай быстро подхватил поводья вороного и заспешил прочь.

Уже через минуту-другую, взметнувшись, загудело пламя. Таурбай, нахлестывая коня, быстро уходил. Он успел скрыться за

¹ Кисен — железные путы, надеваемые на передние ноги лошади.

песчаной грядой, когда до слуха его донёлся взвившийся до небес пронзительный звук, от которого его бросило в дрожь. То было предсмертное ржание туркменского вороного. Таурбай невольно вздрогнул. В багровых клубах дыма метались языки огня. Среди покоя и тишины они, казалось, кричали всему миру о подлом преступлении Таурбая. Он поёжился, стегнул что было силы коня под собой, чтобы оказаться как можно дальше от этого жуткого костра и забыть о нём навсегда.

Весть о гибели вороного Тамаша на другой день разнеслась по всему песчаному краю. Сородичи на то и сородичи, чтобы посочувствовать, если с тобой стрясётся беда.

— Какая жалость, — искренне огорчились одни.

— До чего же был хорош этот вороной, жаль его, конечно, — вздыхали другие.

— Надо же такому случиться! — горестно восклицали третьи. — И откуда только напасть эта на них свалилась?

И если кто-то задавался вопросом: «А не злой ли умысел тут кроется?», то помалкивал, потому что не мог обосновать свои подозрения сколько-нибудь вескими доводами. Не затевал разговора из боязни прослыть пустословом.

Долго ещё вспоминали в ауле этот случай. Особенно то, как оплакивали братья своего коня, когда из-под золы были извлечены его останки, как после утраты много дней не могли прийти в себя, жили замкнуто, из дома не выходили.

А Таурбай как ни в чем не бывало гордо разъезжал на вороном. Однако остерегался слишком пристального внимания к своему коню, старался выпастать его подальше от людских глаз. В глубине души он не мог натешиться своей победой и с самодовольством думал: «Ну, отважные молодцы, каково связываться со мной?»

Лишь одно его беспокоило. Нет-нет, да приснится ему сарай, объятый огнём, где мечется среди алых языков пламени вороной конь, и слышит он пронзительное ржание и просыпается в испуге. Сердце будто обрывается, а потом начинает неистово биться. Вспомнит иногда про дурной тот сон и думает: «К добру ли это?» Но власть и богатство заставляют забыть о многом, забылось и это, и дни его, как и прежде, потекли безмятежно и счастливо.

Слава его не только не убывала, а возрастала с каждым днём. Недостатка в чём бы то ни было он не испытывал. И, как всегда, имя его произносилось не иначе, как с почтением.

Между тем колесница времени совершила ещё один круг, оставив за собой целый год. Следующей зимой кочевое племя, как и много веков назад, снова переселилось в пески. Первые недели прошли в хлопотах по починке сараев и загонов, по забою скота. Управившись с делами, досужий народ предался зимним утехам. Устраивались гуляния, игры, охота с гончими псами.

Таурбай собирался как-нибудь проверить, так ли хорош вороной в скачках, как в езде. В ноябре выпал первый снег, и Таурбай разослал владельцам лучших коней и гончих приглашения: «Вместе с косулями с гор спустились и волки. Давайте выедем на охоту».

Собрались быстро, Таурбай, облаканным вниманием, ехал в центре.

— Ты вроде в первый раз выезжаешь на охоту на своём вороном, — громко перешучивались его товарищи. — Если вернёшься не с пустыми тороками, то заколем для нас самую жирную овцу.

Вдруг впереди на пустоши из шингилевой кущи выскочил волк и пустился наёмом к барханам. Таурбай, заметив его, вскричал:

— Уходит! Спускайте собак!

— Где? Где? — заволновались охотники.

Он взмахнул рукой, указывая на бегущего зверя, охотники, увидев, растерянно засуетились.

— Я погонюсь за ним, а вы следите, куда он завернёт. Завернёт — скачите наперерез. Надо выгнать его на равнину, если удастся. Да спускайте же поскорей собак! Ну, я пошёл. Чу! — выкрикнул Таурбай и пустился вдогонку за волком.

Опасаясь, что борзые притомятся, бегая за каждым встречным зайцем пли лисой, охотники всю дорогу не спускали их с поводка. Теперь они поспешно отвязали их, но те бестолково крутились на месте, пока, выбросив руку вперёд, один из охотников не крикнул:

— Ату! Возьми его!

Оба пса ринулись в погоню. За ними, нахлёстывая коней, помчались и всадники. Барханная степь, которая минуту назад мирно дремала, наполнилась топотом и гиканьем, свистом и улюлюканьем.



Вскоре волк исчез с глаз. «Неужели скроется? — встревожено подумал Таурбай. — Это было бы обидно». Но одна из гончих оказалась столь резвой, что стрелой пронеслась мимо Таурбая и ушла далеко вперед. Таурбай почувствовал, что серому не уйти от гончей, и, немного успокоенный, весь отдался азарту погони. Охота обещала быть интересной. Он с наслаждением отметил плавный бег вороного. Казалось, его любимец не в пример другим коням, на которых ездок ощущает каждый толчок, словно бы скользит по воздуху. Чем сильнее покрывался вороной испариной, тем становился легче и стремительней.

— Чу, жануар, чу! — крутя камчой над головой, весело орал Таурбай.

Прошло совсем немного времени, ровно столько, сколько бы понадобилось, чтобы вскипятить молоко, и Таурбай увидел, как вдвали, растянувшись цепочкой на длину аркана, несутся волк и обе гончие. К сожалению, расстояние между ними не сокращалось. Обернувшись, Таурбай заметил, что его товарищи, рассыпавшись полукругом, скачут за ним. Их разделяло не больше чем полверсты. Таурбай не без самодовольства подумал, что настигнет зверя гораздо раньше других охотников.

Чуя приближение всадника, гончие осмелели, сделали сильный рывок и пошли за серым след в след. Стоило бы Таурбаю догнать их, они тут же вцепились бы в глотку волку. И, разумеется, Таурбай первым нанес бы удар по нему. Хмелея от предвкушения близкой добычи и подогреваемый честолюбием, он нетерпеливо прищипорил коня и возбуждённо закричал:

— Куси его, куси! Ату! Ату!

И в этот самый миг весь мир вдруг опрокинулся. А потом всё обратилось в густую, вязкую черноту. То конь, мчавшийся во весь опор, попал передней ногой в вертикальный ствол норы и полетел кувырком.

Подоспевшие первыми товарищи Таурбая позаботились о том, чтобы прирезать коня, пока тот не испустил дух, после чего отправили в ближайший аул человека за верблюдом, на котором перевезли домой бездыханного Таурбая. Обо всём этом он узнал через несколько дней, когда пришёл в сознание.

Долго он был прикован к постели. Одно слово, что жив остался. Однако не роптал. Благодаря тщательному уходу понемногу



поправлялся. Раздробленный таз, переломанные руки, ноги, рёбра срослись. Он заново научился ходить. Со временем и вовсе вошёл в силу. Наверное, по истечении какого-то срока память о перенесённых муках улетучилась бы, как туман, забылись бы и адская боль, и бессонница. Но уже какой-то недуг, сродни припадкам, незаметно для окружающих постепенно завладевал им.

Иногда, устав или расстроившись, Таурбай чувствовал упадок сил, неясная тревога сжимала сердце, к самому горлу подкатывала дурнота. Он бледнел и обливался потом. Бывало, помучается так, помучается, потом боль и отпустит.

— Уф! — переведёт он дух. — Как тяжело!

А в другой раз такое начнётся, что лучше бы ему умереть. Начинается приступ как обычно, потом вдруг накатит слабость; в этот самый миг перед его глазами запылывает всё алым светом; заиграют-запляшут языки пламени; голова его наполняется звоном, слышится ему предсмертное ржание мечущегося в огне вороного, и охватывает Таурбая неопишуемый ужас. Он вздрогнет вначале, потом затрясётся, как в лихорадке. Задыхаясь, ловит ртом воздух, а руки и ноги начинают непроизвольно дёргаться. Он валится в забытьи на пол и больше уже ничего не помнит. Сколько длится это забытьё, он не знает. После таких приступов он вынужден проводить в постели дня два, а то и три.

Болезнь эта стала отныне неразлучной его спутницей. Каждый припадок повергал родных и близких Таурбая в смятение, а сам он приходил от них в отчаяние. Так и жил в вечном страхе.

За всю оставшуюся жизнь он так и не признался никому, в чём причина постигшего его несчастья. Да и как он признался бы? Как разоблачил бы себя? Разве мог он назвать себя преступником? Допустим, рассказал бы о совершённом злодеянии, что это изменило бы? Не вернуть то, что безвозвратно. Что было, то прошло. Ничего Таурбаю не осталось, кроме раскаяния. До самой смерти лежала мертвым грузом в его душе та распроклятая тайна. И если случалось ему снова забиться в припадке, близкие его сочувственно говорили:

— Он этим страдает с тех самых пор, как упал с вороного.

Таурбаю было под семьдесят, когда он серьёзно захворал. Болезнь разом уложила его в постель и впоследствии протекала очень тяжело. Месяца три он находился между жизнью и смер-

тью, а в последние недели лишился дара речи. При нём неотлучно были люди, не оставляли его ни днем, ни ночью. Больной в течение недели ни разу не приходил в сознание, лежал неподвижно, и если бы в нём ещё не теплилась жизнь, его можно было бы считать мёртвым. Но неожиданно он вздрагивал, а потом долго мучился в корчах. Смотреть на это было невыносимо.

— За что Создатель так истязает раба своего? — хватаясь за ворот, шептали сидящие. — За какие грехи? Что за страшная мука?

— Цыц! Как вы смеете осуждать действия Всевышнего? Значит, ему на роду написано принять такую муку. На то воля Аллаха, — осаживали их почтенные аксакалы.

А в затухающем сознании неподвижного и безгласного Таурбая то и дело вспыхивала яркая картина гибели вороного. Вновь и вновь полыхало красное марево пожара, метался среди языков пламени вороной и, вздымаясь на дыбы, испускал жуткое ржание. И от того звука умирающий вздрагивал и начинал биться в судорогах. Один из припадков стал последним в жизни Таурбая.

ТОЛЕН АБДИК

ТАЛАСБАЙ

Когда времена меняются, злодеяния, совершённые при прежней системе власти, подвергаются критическому анализу. В смутные периоды истории сколько безвинных людей было осуждено, расстреляно, сколько имущества, скота было насильно изъято — масштабы материальных потерь ещё возможно подсчитать. Не поддаются подсчёту духовные потери. В мире не существует мерил или прибора, которым можно было бы измерить душевные страдания. И твоя духовная сущность живёт в тебе самом и как бы не является особо важной для окружающих. Впрочем, во все времена находились люди, жертвовавшие собой ради своих убеждений и веры.

В старинных поэмах и легендах о любви судьба героев, принёсших себя в жертву, тесно связана со свободой непреклонного духа. Их безграничная вера в истинную любовь растоптана. И только своей смертью они могли противостоять чудовищному злу и насилию.

Вероисповедание подобно любви. Невозможно подсчитать, сколько людей испытывало духовные страдания во времена тоталитарной системы, когда тысячи мечетей были разгромлены, а десятки тысяч духовных лиц были убиты или сосланы в Сибирь.

Хотя моя матушка Разия не знала наизусть сур из Корана, но она всю жизнь поклонялась Аллаху. Каждый день она просила Бога: «О Всевышний! Только Ты один надежда и опора моему единственному сыну!»

Наше детство совпало с расцветом атеизма. Учителя повторяли нам, что вера в Бога — удел невежества. Сама жизнь, даже сам воздух был пропитан идеологией атеизма. Мне было интересно наблюдать, как мать начинала пугаться, когда я прибежал к ней и внезапно выпаливал: «Матушка! А Бога-то нет!» Она вела себя так, будто ничего не слышала и старалась выйти из дому. А я дого-



нял её и кричал: «Матушка, а Бог ведь не существует!» Моя бедная мама менялась в лице, сердилась, но, не смея ругать единственное чадо, с мольбой просила меня: «Дорогуша, скажи что-нибудь хорошее, доброе!» А другое говорить мне было неинтересно. Мне, глупому мальчугану, было важно моё превосходство над старшими, когда они не могли перечить или возразить мне по поводу существования Бога. Мы были несмышлёнными сорванцами идеологической системы того времени. Нам внушили, что религия — это опиум для народа, правоверных людей мы считали неугодными. Но жизнь не всегда соответствовала нашим понятиям.

В нашем ауле жил почитаемый всеми мулла по имени Таласбай. Его длинная белая борода серебрилась, и от него исходил лучезарный свет. Когда он читал молитву, нас поражал его пронзительный, завораживающий голос. Кстати, в нашем ауле был ещё один мулла, по имени Мейрам. У него тоже был чудесный голос. По характеру он был эмоциональным и активным человеком и не мог спокойно сидеть на одном месте. При чтении молитв он покачивал головой из стороны в сторону, словно исповедовал Всевышнему свою неизлечимую душевную боль и печаль.

А звуки молитвы из уст Таласбая несли в себе торжество вечных ценностей, душевное умиротворение и благодать. Закрыв глаза, он погружался в прекрасный, неведомый нам мир, из которого не хотел выходить. Закончив суру, он безмолвно продолжал сидеть с закрытыми глазами. Для него чтение Корана являлось не просто религиозным обрядом, а смыслом всей жизни. Сельчане считали, что в голосе Таласбая есть волшебный, завораживающий звук. Не помню от кого, но позже я услышал о Таласбае интересную историю которую и хочу рассказать.

В смутные времена известный на всю округу мулла Таласбай попал под волну репрессий. Говорят, что вначале он отбывал срок в лагерях Казахстана, затем его депортировали на Колыму. Сколько лет он пробыл в ссылке неизвестно, но в те годы сроки получали немалые — по 20–25 лет. Сам народ переживал тяжёлые времена, а положение ссыльных было и того хуже. Днём осуждённые работали в забое, расположенном в десяти километрах от лагеря, а с закатом солнца возвращались в лагерь. Надзиратель — жестокий человек, неугодных ему осуждённых ставил на самые опасные

участки забоя. Работящий, дисциплинированный Таласбай благодаря своей силе и стойкости особого гнева начальства не испытывал.

Как-то в забое произошла авария, и ссыльные возвращались в лагерь раньше времени. В тот день они проходили мимо кладбища, где как раз шли похороны. Несмотря на тяжёлое, голодное время, мусульмане не хотели забывать свои обычаи. Высокий мужчина в красной шапке, с проседью в бороде, распорядился процессом похорон: «Кто будет читать Коран, тому приготовьте садаку!» Сердце Таласбая защемило, когда он услышал слова «читать Коран». Сколько уже лет он не слышал чтения молитв. Тяжело вздохнув, он осмелился подойти к надзирателю и попросил его:

— Дорогой, здесь провожают в последний путь покойного. Разреши присутствовать на похоронах! Чуть погода я догоню остальных...

Надзиратель был поглощён своими мыслями и, даже не посмотрев на него, сказал:

— Ладно, не опаздывай.

Таласбай отделился от группы осуждённых и отправился на кладбище. Он расположился в сторонке от сидящих. Худощавый старик, вполголоса прочитав суру «Кулхуалла», взял положенный ему свёрток. Это, видимо, была садака.

Вслед за ним другую суру почти беззвучно читал другой старик. Слов молитвы не было слышно, шевелились только его губы, и никто не мог определить, что он читает. Ему тоже вручили свёрток. По окончании ритуала мужчина в красной шапке громко спросил: «Кто ещё желает прочитать?» — и, не дожидаясь ответа, отвернулся и поднял с земли верхнюю одежду. В это мгновение Таласбай понял, что наступил момент исполнить своё давнее желание. Если он не использует эту возможность, то вряд ли такая удача подвернётся ему ещё раз. Почувствовав это, он рискнул и начал во весь голос читать суру «Иасин». Эту долгую, сложную по напеву и словам суру муллы читали редко. Таласбай настолько соскучился по этой суре, что при первых же её звуках у него потекли слёзы.

Закрыв глаза, он с таким воодушевлением и упоением читал аяты, что все вострепнулись. Его завораживающий голос становился всё сильнее и величественнее. Из его уст лились таинствен-

ные, особенные, будоражащие душу звуки. В эти чудодейственные звуки слились все человеческие страдания, потери, желания и мечты. Сквозь эти аяты каждый прочувствовал свою судьбу. Все смотрели на незнакомца с умиротворением и надеждой. Таласбай по привычке сидел с закрытыми глазами. Он пытался на миг забыть свои страдания, своё мучительное существование. Ему не хотелось завершать суру.

Молитва теребила души родных покойного, которые молча глотали слёзы, ведь по мусульманской традиции во время молитвы нельзя плакать в голос, чтобы не беречь душу покойного.

Каждому, кто был тогда рядом, вдруг открылась простая истина, что человек по божьей воле познаёт смысл жизни, и служение Всевышнему является главным его предназначением.

Когда Таласбай прочитал «Субыхан», все подняли вверх ладони. Таласбай, внезапно замолчав, обратился к старцу напротив:

- Как звали покойного?
- Исмайыл, — ответил тот.
- А, как звали его отца?
- Иманбай, — ответил кто-то.

Таласбай, раскрыв ладони, громко произнёс: «Эту молитву читаем за упокой души Исмаила, сына Иманбая. Пусть она найдёт покой и смирение! И пусть Аллах дарует его потомкам мирную и праведную жизнь. А также эти суры посвящаем Пророку (мир ему и благословение) и сподвижникам, всем святым и мученикам, павшим на пути Господнем. О Всевышний Создатель, прости покойных за грехи их в мирской жизни, спаси души их от мучений и страданий! О Всевышний Аллах! Убереги ныне живущих от злодеяний и рабства, от тщеславия и лицемерия, от зависти и мести, от земных катастроф, от тысяч бед и невзгод!»

Завершив молитву, Таласбай ладонями обвёл лицо. Все, кто слушал его, притихли — они были глубоко потрясены.

— Светоч мой! Откуда ты родом? В нашей округе нет человека, который так проникновенно читает молитву, — с нескрываемым удивлением спросил его старец.

— Мы оказались здесь по воле судьбы, — ответил Таласбай, опустив глаза. — Пятый год пошёл, как я нахожусь вдали от дома, от родной земли.

— Ты находишься в ссылке? — настороженно спросил старик.

Таласбай, не зная, что сказать, умолк. Немного погода, прервал тишину:

— Да, старейшина. Мои прадеды были правовеерными. Я тоже был муллой в мечети. Но с нами расправились таким образом, что мы оказались неугодными. Честно признаться, даже не знаю, где сейчас находится моя семья. По распоряжению власти оказался в столь отдаленных местах. Человек со многим смиряется. Но сердцу не дает покоя другое. Запрет на вероисповедание — вот что убивает душу. Иногда мне снится, как я сижу за чтением Корана. А сегодня мне выпала возможность исполнить своё желание.

— И голос твой, и слова твои особенные. Видно, хороший ты человек. Слава Аллаху, что ниспослал тебя нам. А как тебя зовут, сынок?

— Таласбай.

Старик встал и, указав рукой, сказал:

— Вон наш аул. Мы просим тебя почтить наши поминки. Не можем тебя вот так просто отпустить. Обратнo тебя проводят джигиты.

— Да, да. Наш аул здесь совсем рядом, — поддержали старика другие.

— Для нас большая честь, что вы пришли на похороны, мы благодарны вам, что вы с нами почтили покойника. Вас пригласил Абекен, уважаемый старейшина нашего рода. Мы тоже будем признательны вам, если вы проедете с нами в аул и отведаете наши скромные приготовления! — сказал мужчина в красной шапке.

Как бы ни торопился Таласбай, но не мог отказать, и вместе со всеми отправился в аул. Хозяева дома с пониманием отнеслись к положению Таласбая и скоро накрыли дастархан. После трапезы все взоры вновь повернулись к гостю. Таласбай на этот раз читал суры из Корана более спокойно и сосредоточенно. Присутствующие с упоением слушали милые сердцу забытые интонации. Доселе аулчанам не доводилось слышать такого чудесного трепетного пения и испытывать такое блаженство души. Люди стали делиться охватившими их чувствами, бурно обсуждать между собой свои впечатления. Человек в шапке утихомирил их:

— Уважаемые сородичи, всем нам хорошо известен нрав местных надзирателей. Как бы не попасть под их гнев. Пусть наш Абекен благословит почётного гостя, и мы с Богом проводим его.



Старец Абекен поднял свои худые и жилистые ладони:

— Дорогой мой! Ты находишься на истинном пути. Ты мне годишься в сыновья, поэтому даю тебе отцовское благословение! Пусть Всевышний примет твои молитвы, поддержит твои деяния и помыслы, осветит твою праведную жизнь! Пусть Господь уберёжёт тебя от непредвиденных невзгод и потерь! Крепкого тебе здоровья и скорейшей встречи с родными и близкими. Аминь!

— Ауминь! — вторили ему остальные.

Таласбая решил проводить человек в красной шапке. «Я поеду в сторону Тайсойгана, а вас оставлю по дороге», — сказал он Таласбаю. Они сели на лошадей и тронулись в путь. На краю аула их ждал мальчуган с привязанной козой. Сопровождающий Таласбая прихватил животное с собой. За беседой они и не заметили, как добрались до лагеря. Сопутник спешился и обратился к Таласбаю:

— Меня зовут Бейсенбай. Я тоже очень рад тому, что с вами познакомился. Желаю вам быстрее возвращения домой. А это — примите как милость божью, — и протянул ему верёвку от связанной козы.

— О Создатель, что мне с ней делать?! Да нам в лагере и не положено... — отказывался Таласбай.

— Ничего. Таке, рядом с вами столько народу, пусть отведают мяса, заодно и помянут покойного, — сказав это, Бейсенбай сел на лошадь и повёл за собой на поводу другую. — Прощайте, уважаемый! — крикнул он, повернувшись напоследок.

Таласбай, оставшись наедине с животным, почувствовал волнение и неловкость, но успокоив себя, повёл козу к бараку. Привязав её у входа, он зашёл внутрь и увидел, как начальник лагеря отдавал поручения дежурному. Таласбай подошёл к начальнику, но тот выразил недовольство:

— Ты обещал возвратиться быстрее.

— Прошу прощения, гражданин начальник. Если разрешите, хочу вам показать кое-что...

Начальник посмотрел на него с подозрением.

— Не сердайте, гражданин начальник, — стал успокаивать его Таласбай. — С позволения надзирателя я отправился на кладбище и присутствовал на похоронах. По просьбе местных жителей прочитал молитву за упокой души. По традиции, тому, кто это сдела-

ет, определяют долю, которая называется «садака». Это животное и есть «садака». Доставил, чтобы разделить с вами этот дар.

— А нам что-то нужно делать? — с непониманием спросил начальник, далекий от народных традиций.

— Требуется только зарезать эту козу, — ответил Таласбай.

— Да что ты говоришь?! — заулыбался подобревший начальник. — Это же трофей! Тебя и впредь стоит посылать в такие места.

Одному Богу ведомо, сколько времени не пробовали вкуса мяса не только осуждённые, но даже и надзиратели. Животное зарезали и мясо отправили начальнику. Тот смягчился и передал часть в общую кухню. В тот вечер в бараке был настоящий праздник. Правверный Таласбай приобрёл уважение в лагере.

После окончания Великой Отечественной войны Таласбая реабилитировали. Он возвратился из ссылки и приступил к своему заветному делу, продолжал служить в мечети. Мы, неоперившиеся сорванцы, не понимали, почему простой народ уважал и почитал муллу Таласбая, ведь нам всё время внушали, что религия — это опиум для народа...

Повзрослев, я уехал из аула и не часто получал известия из родного края. Позже слышал, что Таласбай умер от аппендицита. Говорят, что он отказался от операции.

«На всё воля Аллаха. Наша судьба, все наши деяния, болезни и излечения от них в воле одного Всевышнего. Одному Создателю ведома моя жизнь...» — успокаивал он своих близких.

И со временем образ Таласбая сохранился в моей памяти как образ стойкого и честлюбивого человека, правверного мусульманина, покорного и милосердного раба Божьего. Его возвышенный дух, убеждённость и глубокая вера во Всевышнего помогли ему выстоять в трагические годы репрессий. До конца своих дней он сохранил чистое сердце и трезвый разум, на которых лежала печать провидения.

ДУЛАТ ИСАБЕКОВ

СТРАЖ ПОКОЯ

Стоило кому-то лишь выдохнуть: «Ох, Демесин идёт!» — как любой аульный сопляк тотчас прекращал плач, а сорванцы постарше прятались в какой-нибудь закуток, куда только удавалось втиснуться, сопели носами и прислушивались к малейшему шороху, с ужасом и любопытством ожидая появления Демесина в дверях. Да что ребятишки: при встрече с ним и многие взрослые — даже те, кто не прочь пичкать своих детей поучительными байками о собственной храбрости, — порой не могли связно говорить.

Во всём облике Демесина, особенно во взгляде его, было нечто настораживающее, что холодило даже самые бесстрашные сердца. Он не был богатырём, но был достаточно ширококостен и плотно сбит, и не каждый мог похвастать такими бугристыми мышцами — так что и в толпе его фигура сразу выделялась. Всегда красноватые, будто налитые кровью его глаза под тымаком, который он зимой и летом не снимал с головы, таили взгляд, от которого мог вздрогнуть любой: насквозь пронзал этот взгляд. Такие глаза загораются обыкновенно у полного плотской силы верблюда во время гона, и не дай бог встать у него на пути...

Боялись Демесина — так трепещут при опасности неизвестной и необъяснимой, которую всегда лучше обойти стороной или переждать. Вот кто-то послал соседу громкий попрёк: «...Как этот псих Демесин», — а то и ещё чище: «...Э-э, болтаешь — будто наш безумец!» Но объявись вдруг Демесин рядом, тот же ругатель первым бросался ему навстречу и помогал сойти с коня, кося красноречивым умоляющим взглядом на собеседников — не проболтайтесь, мол, как тут я его поминал...

Вырос Демесин в этом ауле, здесь и старился, но для аулчан вся жизнь его всегда оставалась загадкой. Ни с кем он не сблизился, и

не было в ауле человека, который решился бы с наступлением сумерек перешагнуть порог его дома. Больше похожий на крытую землянку, приземистый домик Демесина, построенный наверняка ещё за полвека до появления теперешнего нелюдимого хозяина, стоял на западной окраине аула; домишко тот словно влился в подножие холма, готовый в любой момент в нём раствориться. Он и сливался с тем холмом, как только темнота сгущалась над аулом: невзрачная, никогда не знавшая извёстки лачуга во тьме преображалась в устрашающее людей строение, мутной своей насупленностью отпугивала она даже детей. И хотя в ночи уже невозможно было различить её, у каждого она порой выплывала перед глазами. Это было как наваждение...

По рассказам всё замечающих стариков, незнакомый юноша прибудил к аулу в начале тридцатых годов... не то с Сарыарки... не то из Каракалпакии... Времена были смутные, многие искали по белу свету пристанища, кто, думаете, тогда интересовался друг другом? Приняли парня как и других пришельцев — живёт, и пусть себе... Было ему в ту пору лет пятнадцать-шестнадцать, можно сказать, почти взрослый, он и рассуждал-то уже совсем не по годам трезво. Одно настораживало: исчезал куда-то регулярно и так же неожиданно объявлялся. Так было каждую неделю.

Время шло, а Демесин оставался всё тот же: словно что-то не давало ему покоя, словно спешил он вечно куда-то, всегда сосредоточенный на каких-то своих мыслях, серьёзный, угрюмый. Как же было не поинтересоваться причиной такого его состояния, но в ответ на расспросы он лишь бормотал что-то невразумительное и ещё больше замыкался. Людей аула образ жизни парня смущал, вот и приставили к нему однажды соглядатая, чтобы проследил, чем занимается «приблудный». Через неделю тот человек сообщил: «Ничего особенного. В прошлую пятницу побывал он на старом кладбище в Еспесае, сидел долго у могилы. Совсем свежая могила. Никуда больше не отлучался, а больше ничего странного нет, и опасаться, видно, его не стоит...»

Свежая могила на старом кладбище притягивала к себе, словно накладывая печать печали не только на память Демесина, но и на всю его жизнь. Потому он и осел в ауле, что в пути смерть унесла сразу и отца, и мать; юноша смог поначалу выкопать одну на двоих временную яму. Над этим неожиданным захоронением к

нему, наверное, и пришла зрелость. Оторваться от дорогих останков Демесин не смог уже никогда, он и нового света впустить в свою жизнь не сумел — будто остановилось для него здесь время любви, время улыбки, слёз и душевной близости... Позже, найдя себе пустующую лачугу в ауле, вырыл Демесин новую могилу, куда перенёс родителей, и теперь каждую пятницу читал молитвы над их изголовьем — сколько знал или запомнил из священных книг.

Причина внезапной смерти его родителей кроме него никому так и не стала известна; она ли потрясла его так — потеря отца и матери разом, или то, что он сам, один копал для них могилу и навсегда прощался с ними, а может быть, всё это вместе сложилось в его душе, только время не смогло избыть утраты: Демесин становился всё резче, всё рассеянное и замкнутое на одном ему известных мыслях. Всё чаще случалось, что оставлял он незавершённой работу, уже почти сделанную, хотя поначалу довольно споро зарабатывал свои трудовни. Люди вскоре попривыкли к неожиданным сменам его настроения, притерпелись к внезапным поворотам его мыслей — хоть, бывало, и вовсе чепуху он начинал нести несусветную. Впрочем, людям что, если их напрямую не касается: посмеются, отнесут на счёт чудачеств, молодости-глупости, да и забудут. А глядь — молодость-то уж давно миновала, и поправить ничего нельзя, и с «чудачествами» мириться надо...

Впрочем, странности Демесина были в общем-то невинны и служили разве что предметом удивления да пересудов. Как-то, перед войной ещё, вывез он на базар три мешка пшеницы из своих запасов, а сбыв их, накупил с пуд конфет да и отдал всё ребятишкам. Часто ли на селе такое бывало? Дети, естественно, потянулись к щедрому взрослому. Может, он себя на их месте помнил, принося каждый раз подарки, свою обделённость во взрослой заботе возмещал? Кто в чужую душу заглянет... А только слух о его удивительной тороватости покатился и по соседним колхозам — кто ж из сорванцов не разинет рот, представляя себе такого доброго дядю...

Доверие к Демесину, несмотря на его пугающее одиночество, жило в детях аула до середины военных лет и оборвалось разом — одним зимним вечером...

В дома аула стучалось горе, много слёз лилось по мужчинам что ещё недавно ушли на неведомый фронт, а возвращались домой лишь именем своим в похоронке...

Демесин тоже переживал эту чёрную печаль аула, и надолго застался в себе — его и не видно было; но однажды он, схватив ружьё, взлетел на лошадь и поскакал в степь. Перевалив через холм, начал палить в воздух, всполошил всех от мала до велика. Когда ему показалось, что наконец-то «отогнал врагов», суровый безумец вернулся в свою нахмуренную лачугу.

А назавтра он снова раздаривал конфеты ребятишкам, собрав их на равнине за аулом; хотя и с опаской после вчерашнего, но те подошли к нему. Удивив детей несказанной радостью — откуда только он добыл эти конфеты, — Демесин вдруг посерьёзnel и сказал:

— Теперь вы все... будьте немцы... в меня стреляйте — все! А я один сражаться буду...

«Быть немцами» мальчишкам не хотелось, но игру они приняли, раз Демесин так захотел. Из-за сугробов они «обстреляли» Демесина снежками. Тот в ответ обрушил на «противника» град увесистых ледяных комьев. Игра была как игра, кого из ребят не захватит она, если даже взрослый хмурый человек уворачивается от снежков и носится по полю.

Вскоре Демесина пробила испарина; азарт шуточного боя полнотью захватил его, даже глаза налились кровью. Вместе с криками мальчишек, которые продолжали забрасывать его снежками, ему отчётливо вдруг услышались рыдания женщин аула: в какой-то момент снежной схватки почудилось, видно, Демесину, что и в самом деле... фашисты, что они уже здесь, и только он сейчас, немедленно, может их остановить. Стоило лишь мелькнуть этой мысли, обернувшей мальчишек в настоящих врагов, как взбешённый Демесин был уже на коне, и тот в мгновение ока вынес хозяина к «врагам». Дети, увидев скачущего Демесина, поначалу решили, что он закончил играть, и покинули свои места. Но, увидев, как всадник летит им навстречу, не щадя коня, переглянулись настороженно.

— Спасайтесь! Бегите! Сдурел Демесин!.. — завопил кто-то.

Не сразу поняли ребята, что происходит, а тех секунд, что они мешкали, Демесину было достаточно, чтобы его длинная сыро-

мятная камча полоснула несколько спин. Загнав разбежавшихся малышей в сугробы, куда коню не было ходу, безумец повернул назад — к тем, кого только что отстегал. Они всё ещё оставались на прежнем месте, рыдающие от неожиданной обиды, не в силах опомниться и защититься...

— Пашисты! — орал Демесин. — Будьте вы прокляты, пашисты! Увидите у меня сейчас! Вы за кого меня принимаете, а?..

И на полном скаку, вопя ещё что-то нечленораздельное, вновь прошёлся камчой по спине мальчугана, который успел ничком рухнуть в снег, почуввав приближение коня. Возбуждённое ездоком и скачкой животное пронеслось мимо, но твёрдая рука развернула его назад.

Ясно, взбудораженный больным воображением, Демесин в эти минуты не задумываясь растоптал бы детей, попадись, не дай бог, кто-то на пути. Всадник уже и камчу вновь вскинул для удара: вот-вот обрушит её на очередную жертву. На счастье, один из мальчишек в отчаянном порыве вдруг скинул с себя телогрейку и взмахнул ею перед мордой коня. Испуганный конь, всхрапнув, резко рванул в сторону, и Демесин не удержался в седле.

— О-о, будьте прокляты... пашисты! И меня, стало быть, докопали!.. — Его крик придал прыти онемевшим от ужаса мальчишкам, а сам слетевший с лошади всадник застыл без движения, точно и впрямь умер. Бедняга наверняка в этот миг полагал, что сражён вражеской пулей...

После этой истории дети уже не приближались к нему.

После этой истории Демесина ещё больше стали опасаться взрослые.

В один из морозных зимних вечеров вырвались плач и причитания из дома солдатки Жамал: пришла весть о гибели мужа. А жила семья в центре аула, и было в ней семеро малых детей-погодков. Старшим был тот самый Мутан, что прошлой зимой спас маленьких «пашистов» от расправы Демесина, замахнувшись на его коня телогрейкой. Этому Мутану пришёлся последний удар камчой по голове в той безумной игре, после которой храбрец неделю провалялся в бреду.

К дому, откуда выплеснулся плач, Демесин примчался, будто чёрная весть пришла к нему первой. Даже в раннем вечернем сумраке можно было различить, как валил от коня пар — так нёсся

всадник. И так, не спешиваясь, долго темнел вместе с лошадьёю перед домом.

Женщины, что торопились к вдове с соболезнованиями, вскрикивали испуганно при виде, недвижно застывшего на коне перед порогом Демесина и лишь за дверью возобновляли причитания с новой силой. Кто-то из них, видно, шепнул аксакалам в доме о Демесине, потому что вышел старик Акмолда с учтывим вопросом:

— По делу, Демесин... или как?

Всадник не ответил.

— Что же ты... на коне? Проходи... в дом... — неловкость молчания ошарашила старика, и он боялся осердить седока.

— ...А Мутан? Он что — тоже плачет?! — Демесин произнёс это так торопливо и неожиданно, что Акмолда вздрогнул.

— Кто это — Мутан? — переспросил старик, в голосе его слышалась дрожь. Благо, темно было и седок не мог видеть испуга; старик, что и говорить, был рад этому.

— Да Мутан же! Почему Мутана не знаешь?! — рявкнул Демесин, и старый Акмолда, готовый со страху провалиться сквозь землю, заикаясь, пролепетал:

— Д-да... плач-чет... т-тож-же...

Что Мутан был в доме и рыдал, было правдой.

Словно Демесин ждал только этого подтверждения: повернув коня, он пустил его в степь; топот копыт потряс тишину. К онемевшему Акмолде долетели брошенные седоком слова: «Пашисты пришли! Пашисты!..»

Всю ночь носился Демесин вокруг небольшого аула...

И с той ночи, стоило закатиться солнцу, Демесин выезжал за аул на «охрану покоя», как предположил кто-то в шутку. Для Демесина же, как оказалось, это стало делом серьёзным...

Люди, в полночь или предрассветную рань вышедшие во двор, слышали голос Демесина, его покрикивания и фыркание его лошади. Если Демесину почему-то представлялось, что аулу грозит опасность, он стрелял в воздух, и шарахалось от аула всё живое, будь то человек, зверь, птица или приблудившаяся скотина...

Странности Демесина всегда давали пищу для пересудов, а здесь — шутка ли, в пору, когда все безмятежно спят, взрослый сильный человек ночь напролёт шныряет по округе верхом!.. Когда же самые упрямые скептики уверились в правдивости слухов,

людьми овладел прямо-таки мистический страх. Мало, что над каждым домом и так нависало тревожное ожидание беды, а здесь ещё этот ночной всадник, к тому же вооруженный...

Страху добавляла ещё и непонятность ночных бдений: сначала Демесин сторожил аул чуть ли не каждый день, потом — через день, через три-четыре, а то и неделями не выезжал, что-то только ему известное толкало его на эти объезды. Частота или наоборот, спад ночных метаний всадника, были замечены, и это связали с приходом в аул похоронок — «чёрными бумагами» называли здесь похоронки. В дни, когда не слышалось в ауле плача, был спокоен и Демесин; но стоило вырваться из какого-то дома причитаниям, он садился на коня и скакал в степь. Порой эта связь между его ночной скачкой и плачами утрачивалась, менялась местами, и многие разбуженные в ночи криками или внезапными выстрелами не могли больше заснуть, с ужасом думая — в чей же дом ещё нагрянет беда...

Слухи о Демесине разнеслись по соседним колхозам, и путников к аулу в неурочное время стало совсем немного. Кому выпадала нужда завернуть сюда — родственников ли повидать, дело ли неотложное заставляло, — поспеть старались до захода солнца, а то и вовсе назад поворачивали, слух ведь загадочностью обрастает, и встретиться с непонятным всадником ночью находилось мало охотников...

Как-то, в самый обед, явно чём-то взвинченный, злой да ещё, видать, продрогший на морозе, Демесин ввалился неожиданно-негаданно в кабинет председателя колхоза. Хорошо, что тот был не один, проводил совещание с активом. Колхозный председатель — хромой и однорукий Ормантай, а актив — сплошь женщины...

В этот самый актив появление Демесина внесло, конечно, смятение, которое нельзя было скрыть робкими заискивающими восклицаниями: «А-а, кайнага-а¹...» В соответствии с возрастом женщины спешили оказать внимание неожиданному посетителю, а сами как бы между прочим старались придвинуться к Ормантаю поближе; их взгляды, обращённые к председателю, выражали беспокойство.

¹ Кайнага — старший брат мужа или жены; здесь — традиционно-вежливое обращение замужней женщины к старшему по возрасту мужчине.



Да и председатель не сразу нашёлся — мало ли что пришло в голову блаженному Демесину, и кто знает, чем чреват этот неожиданный визит?

— Т-тебе... что, т-товарищ Д-демесинов? — Он и сам, пожалуй, не заметил, как имя посетителя обернулось в его устах фамилией.

Тот уставился в упор, кажется, готовый расплющить взглядом.

— Я — не товарищ... Демесин я! — пробасил как-то предупреждающе.

— Да... Демесин... прости! Н-ну, и что надо?

— На фронт меня отправляй! Я пашистов уничтожу — всех!

— Н-нет... нельзя т-тебе... нельзя ехать, — сказал, мало-помалу приходя в себя, Ормантай.

— Почему — нельзя?

— Вот так. Нельзя.

— Так я спрашиваю — почему? — При последних словах глаза Демесина потемнели, совсем запали, на скулах заходили желваки.

Женщины сейчас были подобны камышинкам в ветреный день и так же, в зависимости от тона Демесина, клонились то в одну, то в другую сторону. На сей раз дружно подались они в сторону Ормантая. Но председатель молчал. И чем дольше затягивалось это молчание, тем большим беспокойством веяло от «актива»: следя краешками глаз за приближающимся к столу Демесину, женщины умоляюще смотрели на Ормантая; а на кого ещё им было надеяться, — скажи, дескать, этому... хоть что-то!

— Ты не поедешь... Ты здесь... нужен! — выдавил наконец Ормантай, словно давая женщинам хоть на время перевести дыхание.

— К-как? — теперь пришёл черёд заикаться Демесину, видно, ничего ещё не понимающему.

Хоть женщины тоже ничего не поняли, растерянность утраченного человека позволила им прийти в себя и выпрямиться.

— А так, — сказал уже уверенно Ормантай, довольный действием своих слов на Демесина и оттого тотчас осмелевший. «И этого тронутого, оказывается, можно пронять!» И, глядя тому прямо в глаза, повторил отчётливо: — Ты здесь нужен. Ты наш покой охранять должен.

Случайные слова, что пришли Ормантаю на ум, — надо ж было что-то ответить! — и в самом деле произвели впечатление на Демесина. Он остановился в паре шагов от стола, который отделял его от сгрудившегося возле председателя актива; остановился Демесин с выражением величайшей ответственности на лице, мгновенно посуровевшем. Взгляд его впился в председателя, который словно читал в этом взгляде: «Это правда? Я и впрямь нужен вам? Вы и в самом деле не заснёте ночами, если я сторожить не буду?..» И виделось в его глазах волнение — то, что сродни гордости: вот-де и я, выходит, понадобился людям...

— Да, ты нужен нам! — поспешил ещё раз подтвердить однурукий председатель, радуясь такой перемене в буйном посетителе.

Демесин застыл истуканом. Казалось, он не собирался уходить, перемалывая какие-то свои мысли, и женщины вновь опасно покосились на председателя. Вновь потянулось мучительное безмолвие, минута которого для беззащитного актива казалась годом.

— Ну, что ещё скажешь? — первым заговорил Ормантай, как бы ещё раз демонстрируя женщинам непреложность истины, что мужчина всё-таки всегда мужчина.

— Сани мне дай! — потребовал Демесин, неожиданно чём-то раздражаясь.

— Сани? Ах да, сани... сани... — Ормантай смешался.

Женщины рядом тоже знали, что сани в хозяйстве сейчас, когда мужчины на фронте, не безделица, ими особо не раскидаешься. Но они понимали, что ответа Демесин ждёт немедленно — иначе ведь не уйдёт! И такого ответа ждёт, чтобы он удовлетворил его.

— Хорошо! — бросил Ормантай, наверняка ещё и сам не сознавая, как он выполнит это многообещающее «хорошо». Рассчитывал, похоже, что с тем и повернётся Демесин.

Но тот уточнил: «Когда?!» — чем поверг председателя в смятение.

— Когда?.. — повторил Ормантай, чувствуя закипающее раздражение от безвыходности и готовый взорваться, но встретился с взглядом безумца и сник, забормотал: «Когда... когда...»

Демесин подался к нему — видно, хотел что-то ещё сказать.

— Хорошо, приходи завтра!.. — опередил его Ормантай и хлопнул по столу единственной рукой для пущей убедительности.

Демесин всё же подскочил к самому столу, схватил лежащую на зелёном бархате стола руку и затряс её, словно вещь, он и отбросил тут же председателю руку, как будто вещь эта оказалась ненужной, и устремился к выходу так же резко, как вошёл. Хлопнула дверь, и председатель смог прийти в себя.

— Уф-ф! — выдохнул он, поднимая глаза на сгрудившихся вокруг женщин. — Где ж сани-то ему раздобыть?

— Раздобудем, — кругленькая, как калачик, симпатичная молодуха с краю стола тоже облегчённо вздохнула, всем своим видом говоря: всё, мол, ничего — придумаем, главное, что обалдуи ушёл...

Сани в самом деле нашлись, председатель и актив даже разрешили пользоваться сеном с базы. И Демесин в самом деле начал бдительно охранять аул, считая это святой своей обязанностью. Теперь в «ночное» он выходил не случайно, под настроение, а строго каждый день, выполняя с примерной добросовестностью работу, «наконец-то поставленную на должные рельсы», — как утверждал председатель на следующем заседании актива.

...Солнце клонится к закату, когда Демесин впрягает лошадь в розвальни. Затем натягивает на ноги поверх сапог собственноручно сшитые из старой кошмы громоздкие байпаки, один из которых заметно больше другого. Надевает поверх телогрейки тулуп и потуже затягивает у горла тесёмки тымака. Выпивает большую чашу разведённого в бульоне курта, горсть курта запикивает на всякий случай в карман. Переваливаясь на ходу, словно большой медведь, несёт из сарая немного клевера и подстилает в санях — может пригодится для лошади. И с легким «чу!» трогается с места.

Для стороннего глаза всё это презанятнейшая картина.

«Чу!», — подрагивает морозный воздух.

Багровея, садится солнце. От нахмуренной неказистой лачуги, стоящей в стороне от скученных домов аула — можно подумать, дома нарочно собрались вместе, испугавшись и отвергая чужака, — от лачуги той отлетают сани, поскрипывая полозьями на снегу и, поворачивая на дорожку, ими же вычерченную, начинают скользить вокруг аула. Оранжевый свет низкого холодного солнца рыжим пламенем падает на человека в санях, то и дело замахивающегося камчой на лошадь, окрашивает и пушистый

лёгкий снег, взметённый полозьями; а вот уже сани с лошастью превращаются в чёрную движущуюся точку на плоскости белой равнины.

Скольжение саней особенно красиво в первые минуты — бег коня великолепен! Да и то сказать — за день отдохнул жеребец, накормлен, напоен вовремя! С охотой, с азартом и лёгкостью необыкновенной увлекает он за собой сани с ездоком, только снег серебристо вихрится по обе стороны дороги! След в след бегут копыта вчерашней дорожкой, ими же проложенной, а сани увлекаются так легко, что кажется, будто не по снегу несутся они — по смазанной маслом поверхности; стремительное и неслышное, завораживающее глаз скольжение! Белый пар клубами вырывается из ноздрей лошади и быстро растворяется в морозном воздухе...

Аул расположился правильным кругом — словно взяли да и выстроили домики под огромной-огромной юртой, а потом эту юрту унесли, оставив домики среди снега. Из низких труб голубой дым идёт к небу прямо-прямо, без малейших отклонений в сторону, — и каждый голубой столб на мгновение скрывает сани от наблюдателя, пока не объявляются они у другого домика и пока очередной голубой столб вновь не скроет их...

И всё же картина эта, несмотря на красоту свою, поначалу наводила страх на людей.

Страх вызывали не сани, ночь напролёт поскрипывающие снегом и скользящие вокруг аула, ночь напролёт взвихривающие снежную пыль полозьями, — нет, не сани и не лошадь, фыркающая в ночи на морозе; жуток был человек к саням, и не только он сам — все обстоятельства, связанные с его жизнью, с его характером, с его загадочной «службой». Невиданным и неслыханным явлением предстала ежевечерняя картина взору аулчан. И сознание, что кто-то в пору общего сна без усталости объезжает и объезжает село, — это, посудите сами, насторожит любого; людям грезило в ночи, что вершится некое таинство, не подвластное ни человеку, ни самой природе, и многие просыпались в страхе.

Многоопытные аксакалы и старые женщины пытались даже собраться вместе и внушить Демесину: «Кончай, мол, ты такую службу — всех детей перепугал...» Но, хотя каждый день они и договаривались собраться в каком-нибудь доме и Демесина пригла-

силь, не находилось в конечном счёте человека, который осмелился бы пойти за ним.

А Демесин тем временем всё так же объезжал и объезжал ежедневно аул. Особых происшествий не случалось, и страх, поселившийся было в сердцах, мало-помалу стал рассеиваться; реже стали собираться и «официальные» представители, которым вменили было переговоры с Демесином. Через три-четыре недели «официальные люди» вовсе перестали собираться, и хлопоты с переговорами улеглись сами собой. А женщины и дети, покой которых и был, собственно, причиной предполагаемых переговоров с блаженным объездчиком, перестали пугаться ночных бдений Демесина; мало того — они с нетерпением и сами уже ждали его появления за аулом, ведь немного в ту пору выпадало людям развлечений... И, кажется, многим нравилась картина вылетающих в ясный зимний вечер саней, да и было ведь на что поглядеть — стремительный бег лошади в лучах заходящего солнца, серебристая пыль, взметающаяся позади упряжки, право же, вызывали восхищение. Даже самые ворчливые старики взяли себе за правило вечерними часами любоваться этой картиной. Тем более, что этот почти сказочный выезд молчаливого бессонного стража становился своего рода приметой села: слух легендой разлетался по округе. Из соседних колхозов стали даже специально заворачивать любопытные, чтобы убедиться в услышанном и поглядеть на поистине небывалое зрелище, увидеть, как скользят сани с блаженным возчиком в лучах угасающего солнца.

Аул привык к ночным бдениям Демесина.

Жители аула спали теперь спокойно, не тревожимые ни предчувствиями, ни ночными шорохами. Человеку свойственно быстро забывать собственные страхи, привычное скоро становится само собой разумеющимся. И в самом деле — если раньше здесь непременно запирали на засовы двери хлевов и сараев, то теперь эта забота в хозяйстве, можно сказать, стала второстепенной, и быстро обернулась беспечностью. В иных домах и двери оставались незапертыми: кто, дескать, вломится, когда там Демесин... И встать-то лишний раз попросту ленились некоторые, чтобы всё же набросить крючок...

И прозвище Демесина — Блаженный — стало забываться, всё более уступая место уважительному — Страж.



Коль случилось кому среди ночи выйти на мороз, первым делом было затаить дыхание и прислушаться к шорохам степным. И когда в шорохах тех улавливали поскрипывание санных полозьев по скованному холодом снегу, или доносилось усталое пофыркивание прибывшегося в беге коня, или долетало приглушенное «айт!» возчика, которым тот изредка понукал животное, люди удовлетворённо переводили дух — дескать, всё в порядке, на месте Демесин...

— О Создатель... ездит всё... бедняга... — бормотал человек спросонок, испытывая нечто более тёплое, нежели простую благодарность, к тому, кто за своё бескорыстное бдение, конечно же, заслуживал большего, чем вырвавшееся снисходительное «бедняга»; но другого слова применительно к Демесину как-то не находилось, и потому, теряясь, умолкал человек... лишь вздыхал сожалеюще да возвращался в сонное тепло...

Прежний источник страха, которым представлялся ещё недавно Демесин жителям аула, в такие минуты оборачивался благодетелем, ниспосланным свыше, что жертвует своим покоем ради спокойствия сельчан, — не каждому, согласитесь, под силу противостоять в ночи стуже да одиночеству, когда другие в это время в тепле, в милой сердцу близости родных людей да светлых снов...

Что там воры, когда и заплутавшая скотина теперь не могла приблизиться к аулу ночью, а вскоре те коровы и овцы, что имели обыкновение уходить в степь, даже прекратили бродяжничать!.. Не обходилось и без курьёзов. Замешкается кто или ещё какая причина, скажем, заставит хозяина выгнать скотину в степь в неурочное время, как остановит их на невидимой границе окрик Демесина. «Куда?! Днём надо было выгонять!» И хоть в первые дни трудно было смириться с подобной властью, но разве ему что объяснишь?.. Так и заворачивали обратно, бормоча что-то под нос и задыхаясь в бессильной ярости. Завернул Демесин одного, второго, третьего... А вскоре люди и сами привыкли к новому «распорядку»; и если кто-то из особо настырных и забывчивых пытался и не мог проскочить ночную охрану, назавтра становился он предметом шуток да подковырок своих соседей.

Смех смехом, а за полтора месяца «службы» Демесин схватил-таки пятерых воров, которых и сдал молчком с рук на руки пред-

седателю колхоза и активу. Впрочем, четверо из них сбежали, оставив похищенное — угнанную было скотину да несколько мешков пшеницы.

Теперь уж случайная «служба» Демесина стала окончательно считаться колхозной, на очередном заседании актива даже было записано соответствующее решение по этому поводу: Демесину разрешалось менять лошадь, чинить сани в колхозной мастерской, пользоваться кормами из хозяйственного фонда, а также получать раз в месяц пять килограммов пшеницы.

— Нелишне бы и трудодни ему выписывать... — предложила всё та же кругленькая симпатичная молодуха, что так желала ухада Демесина в первый его налёт к председателю; сейчас она видела, как благодушно настроен Ормантай, довольный ночным объездчиком, потому и заговорила о трудоднях, чтобы потрафить его настроению.

Ормантай задумался.

— Закон на это есть?.. — спросил он, засовывая в карман пустой левый рукав.

— Нет — так не придумаем, что ли? — улыбнулась молодуха.

Реплика и улыбка женщины словно говорили: «Разве не всё в ваших руках здесь?» — и председатель, не желая признавать, что не все ключи от мира у него в руках, и расписываться в беспомощности, поморщив для пущей важности лоб, бросил:

— Посмотрим...

Дня через два он всё же решил начислять Демесину трудодни. «Следует наконец узнать его фамилию, да и поздравить официально, чтобы поощрить, значит...» — озаботился председатель. Однако ни одна живая душа в ауле, как выяснилось, не знала фамилии Демесина. Но отступать перед новой сложностью председателю не захотелось. Получалось, что спрашивать придётся самому. А кто ж отважится на это? Отказались все, даже мальчишки, что прежде водились с ним, — никакие посулы не помогли. Старики — те и вовсе чуть не оскорбились, сделали вид, что не слышат просьбы.

Актив всё же решил проблему: под его нажимом ответственное задание возложили на ту же кругленькую милую молодуху, благо она же предлагала начислять трудодни Демесину. В протоколе записали, что она «официальный представитель» колхоза. А устно

добавили, что справедливо переговорить с Демесином во время его службы.

Солнце краешком своим коснулось горизонта, и Демесин уже разок объехал аул, когда кругленькая как пончик молодуха, молясь всем святым, села на лошадь. К тому времени, как добралась она до Стража, солнце скрылось за крайней чертой белой-белой равнины и всё вокруг застлало сумеречные тени. Демесин давно и с нетерпением поджидал всадника, приближавшегося к нему: он остановился, как только заметил движение. Белизна снега рассеивала темноту, и дома за спиной всадницы казались нарисованными.

— Здравствуйте, Демесин-кайнага! — приветствовала возницу молодуха.

Что Демесин не терпит официального обращения, она поняла ещё прежде — уж так-то он осердился в тот раз на активе, едва председатель назвал его «товарищем Демесиновым», — поэтому и начала так разговор, по старинной вежливости величая этого непонятого человека «кайнага».

Встретил её долгий и пристальный взгляд Демесина, пронзивший женщину ужасом: словно размышлял Страж, можно ли съесть эту неожиданную наездницу. Укутанной платками молодухе в холоде страха показалось, что её горячее молодое сердце вдруг обложили льдом.

— П-поздравляю тебя... в-вас... с вашей новой работой, кайнага!.. — проговорила как можно вкрадчивей, будто кошку погладила.

— Что-о-о? — поднявшийся ей навстречу Демесин в своём тулупе показался женщине громадным медведем, вставшим на задние лапы. Неверный, чуть рассеивающий темноту снежный отсвет усиливал это впечатление.

А в отдалении под укрытием какой-то сараюшки любопытный колхозный актив во главе с председателем зорко наблюдал за происходящим. «Никак разговорились, а?..» — «Да-а, кажется, разговорились...» — обменивались они догадками соответственно жестам или движениям участников действия возле упряжки Демесина. «Точно, разговорились!» — заключила одна молодая женщина, глаза которой, надо полагать, оказались острее, чем у остальных.

— Тебе... да, вам со вчерашнего дня мы решили трудодни выписать... за охрану... — говорила между тем Демесину кругленькая молодуха.

— Коня куда навострила? — оборвал её Демесин.

— А? Коня? Как это — «навострила»? — сердечко члена актива подступило к горлу. — Ойбай, кайнага... лошадь моя... то есть... колхозная...

Демесин, ничего больше не говоря, сорвал с плеча ружьё и выстрелил поверху головы женщины. Та пала ниц. Так и лежала, не двигаясь и почти не дыша. Только когда Демесин, ухватив её, как мешок, поволок с лошади, она пришла в себя. Забилась в сильных руках, заверещала отчаянно:

— Това... эй, да что это такое? Я — жена человека... он на фронте воюет! За издевательство вы... перед судом ответишь!..

Демесин подтащил её к саням, грубо поставил на ноги, а затем концом повода так спутал лошадь, что передвигаться она смогла бы лишь воробыным шажком. Плюхнулся в сани и готов был отъехать.

— Товарищ... кайнага... а как же я? — пролепетала молодуха в ужасе от ожидающей её туманной перспективы.

— Будешь стоять, пока не придут. Не придут — до рассвета простоишь... не шевелись. Зашевелишься — пристрелю. — Взгляд впалых глаз Демесина был мертвенно-холоден, и бедная женщина не сомневалась, что он действительно пристрелит, коли что...

— Бог ты мой... И зачем только понесло меня сюда!.. — расплакалась она и запричитала. — На смерть и на муки пришла-а я...

Демесин уехал. Темнота быстро поглотила его, а вскоре перестало слышаться и поскрипывание полозьев. «Полномочный член актива» — пустой звук для этого блаженного! — осталась в степи одна. Лишь стреноженная лошадь шумно всхрапывала рядом, перекладывая тяжесть недвижимого тела с одной ноги на другую.

Первой мыслью женщины, едва Демесин исчез, было распутать лошадь и убраться восвояси. Разве ж не будет она уже дома, пока этот обалдуй обернётся?! Дом — родной, милый дом... он сейчас представлялся ей недостижимым раем... Совсем рядом... Но... нет, не посмела она даже сдвинуться с места. Демесин, он на то и Демесин, попробуй угадай, какая блажь ему в голову стукнет?! Объявится на завтра в конторе и при всём активе вlepит ей заряд в



лоб. С него, с чёрта, станется... Не-ет, лучше дождаться — будь что будет! Как он велел... Не шевелись, говорит... Хорошо, не сдвинется она с места, хоть околет, лишь бы обалдуй этот убедился в её покорности... Может, и смилостивится?..

Скрипнули полозья, фыркнула лошадь. Демесин! Женщина ждала этих звуков, но, заслышав, вдруг испугалась ещё сильнее. Страх пронизал её до самых пяток. Мороз, казалось, был ничем по сравнению с тем холодом, что заледенил изнутри. «Да ведь и сани-то, — мелькнуло тут же в голове, — не обычные сани... Это ведь Демесина сани... они и скользят по-другому. Аул, видите ли, от фашистов защищать... попусту лошадь гоняет!.. А ни один человек не смеет и подступиться, а она... одна... здесь, ночью... что ещё ему взбредет?..»

Демесин и внимания на неё не обратил. Лошадь его иноходью проплыла мимо, мелькнули сани. И не подумал заметить, что бедняжка, оставленная на морозе, точно выполнила его приказ — даже на шагок не отступила в сторону. «Поделом тебе за твою исполнительность!» — в сердцах попеняла себе женщина. Она поняла, что он просто забыл о ней — слышала, когда проезжал, его горячее возбуждённое бормотанье: «Вон они! Там, там...» Своими видениями жил безумец...

Оскорблённая, продрогшая на холоде, она снова расплакалась от бессильной злости. Чего ждать — вскочить на лошадь и мчаться в аул, пока жива, но мысль о двустволке Демесина, готовой тотчас разрядиться, удержала. Хорошо соседям, сидят себе в тепле... Помянула и актив, всё ещё хоронившийся в своём укрытии — нет, чтобы забеспокоится... небось, если и проберёт мороз, так на месте можно попрыгать — разогнать кровь, можно в конце концов и домой сбегать... а она... Дернула ж её нелёгкая просить за Демесина, трудодни ему, видите ли, выбивать!.. Ездил бы себе...

— Если я закоченею тут, — прокричала наконец ему вслед, — ты ответишь! Лучше отпусти, а то сама распутая вот коня и сбегу!

Когда это женщина у них кричала? Разве что во сне могло ей такое присниться — и сама, наверное, не заметила, как вырвался из неё этот крик: то ли страх докопал, то ли мороз... «А может, — решила она про себя, и ей стало теплей от такой решимости, — это смелость во мне проснулась... Природа всех оделяет смелостью!»

Только вот...» И чуть ли не над самым её ухом прогремел громовый окрик вернувшегося с очередного круга Демесина: «А-а? Где? Где?!» Молодуха вздрогнула, разом забыв о смелости, возможно, дарованной ей природой.

— Ты кто? — заорал Демесин, срываясь с саней совсем рядом.

— Жена красноармейца — Орынша! Член актива колхоза! Не воровка, не думай... — женщина торопилась, словно боясь упустить эту неожиданную возможность растолковать наконец безумцу, кто она и зачем оказалась здесь.

— Что тут делаешь?

— Фамилию вашу хотела спросить...

— А?

Лишь закрыв рот, Орынша поняла, как не вовремя брякнула о цели приезда. Но слово — не воробей... что сказано — то сказано. Теперь жди, чем дело кончится...

Демесин вглядывался так, точно и правда хотел увериться, в самом ли деле это женщина его аула... «Да не: «пашистка» я, — хотелось крикнуть, — я ж по-казахски разговариваю!» В темноте он, похоже, не сумел её рассмотреть и зажёл спичку. «О, господи...» — чуть не застонала Орынша, пугаясь новых неожиданностей.

— Э, видел я тебя! — проговорил он. — Только когда — вчера или сегодня?

— Сегодня! — вскричала женщина, чувствуя перемену в настроении Демесина.

— Не-ет! — пророкотал бас. — Вчера!

— Ну пусть будет по-твоему... вчера, вчера... — залепетала Орынша, не представляя себе, куда повернется мысль дикого Стража.

— Верно! Вчера я тебя видел. А лошадь твоя где?

— Вон она... — одеревеневшей от холода рукой Орынша махнула в сторону чуть различимого в темноте животного.

— Верно. Ступай!

О, какое счастье, оказывается, приносит человеку освобождение! Никогда Орынша не осознавала этого так ясно. В эти минуты она не помнила ничего — ни войны, где-то далеко гремевшей; ни того даже, как сиротливо её ожидание, как ждёт не дождется часа возвращения мужа, как молит Создателя, чтобы он вернул его домой живым и невредимым... Исчезнуть с глаз долой, скрыться,

пока этот чёртов Страж не передумал, — эта единственная мысль сделала проворными даже онемевшие на холоде пальцы, когда она снимала путы с лошади. «Скорее... скорее...» Демесин развалился в саях и не сводил с неё глаз — может, просто хотел дать передохнуть коню, может, ещё что. Кто разберётся, что там творится под этим неснимаемым треухом...

Стараясь не глядеть на Стража, Орынша взобралась на лошадь и, сдерживая себя, ещё до конца не веря удаче, стала медленно удаляться от этого злосчастного места.

— Эй, погоди! — вдруг услышала она, уже порядочно отъехав.

Сердце готово было разорваться в отчаянии, она даже дышать перестала. Разве есть на свете женщина несчастнее её... Придержала лошадь и обернулась: Демесин сидел всё в той же позе, она почувствовала, что он... улыбается.

— Я тебя не вчера, а сегодня, оказывается, видел! — прокричал он, довольный, и бас его далеко раскатился по безмолвной равнине.

Сердце Орынши, подступившее было к самому горлу, вернулось на место. Она дала лошади свободу. «О, господи! — пробормотала она, чтобы перевести дыхание, и радуясь, что Демесину только это сказать и потребовалось. — Не всё ли равно, когда ты меня видел... вчера! сегодня!.. По мне — хоть в прошлом году, пусть!..»

Только добравшись до ближнего дома, женщина ощутила настоящее избавление — здесь, не в силах сдерживаться, дала волю слезам. От обиды и страха, который претерпела, от унижения и слабости, чисто бабьей слабости, расплакалась она... Тут и актив во главе с председателем сбежался на плач. Они только-только приняли отчаянное решение пойти на выручку Орынши — ждали лишь сигнала, ещё одного выстрела... Но раз Орынша сама объявилась, разумеется, надобность в вылазке отпала...

— Так какая ж его фамилия-то? — поинтересовался кто-то из актива, когда Орынша немного отогрелась в доме председателя, куда её привели.

— Пёс его фамилию знает! — огрызнулась Орынша и принялась рассказывать о своих злключениях.

Все слушали её со вниманием, каждый переживал, и никто, думается, не хотел бы оказаться на её месте.

— Как же мы напишем его фамилию? — с улыбкой спросил председатель, когда рассказ был закончен и все — каждый по-своему — пережили его.

— Сами и узнайте! — отвернулась от всех Орынша.

Молчание нарушила смуглая мужеподобная женщина, гревшая у печи спину.

— Э, других забот у нас мало, что ли? Оставьте и фамилию, и этого придурка, будь он неладен! — Она в сердцах махнула рукой. — Может, ещё кого собираетесь отправить... с поздравлением?..

— И правда, может, сама сходишь... Слава богу, скроена богатырски! — пошутил было председатель, но женщина приняла его слова за чистую монету.

— Ну да, — тут же взорвалась она, — всем колхозом теперь на поклон к нему, как же!.. И без того уж сердце не на месте... — Глаза её в возмущении сощурились так, что стали треугольными. — Так и запишем в бумаге — Демесин. Пять кило зерна, ему положенных, он и так получил, без фамилии. Кто ж его тут не знает?! Небось, не ошибутся...

На том и порешили. И в официальных бумагах колхоза стало значиться: «Демесин — Страж покоя». С той поры его так и звали — Страж покоя...

Шло время. До самого конца войны нёс Демесин свою «службу». Зимой — сани, летом — арба, круг за кругом объезжал он аул, ночь за ночью не смыкал глаз.

От принятого раз и навсегда распорядка своей «службы» Демесин не отступился бы ни перед какой силой, и он не раз удерживал на «границе» до рассвета самого председателя колхоза, а однажды — и представителя из района, которому вдруг в полночь потребовалось выехать из колхоза по неотложному делу. Наутро взбешённый до потери важности представитель, не пожелав вникать в суть дела, категорически потребовал у председателя «гнать «этого» со службы в три шеи». И чем, дескать, скорее, тем лучше... Ормантай, конечно же, произнёс: «Добро!» — и тут же, на глазах начальства, оформил письменный приказ на Демесина: освободить, мол, такого-то от работы...

Но Демесин продолжал «работать». Теперь он охранял аулчан без чьёго-либо приказа.



Шёл последний год войны. С фронта приходили ободряющие новости, и народ воспрянул духом в преддверии победы. Демесин, надо думать, ощущал это настроение: он, как бывало, сбыл на базаре зерно, полученное на трудодни, и на все деньги нашёл-таки конфет, которые и раздарил ребятишкам...

Однажды, близко к полудню, в контору председателя ворвалась взволнованная Орынша. Все радости, как и беды, у людей связывались в ту пору с событиями на фронте. Потому председатель с замершим сердцем тотчас вскочил с места.

— Что с тобой? Что-то случилось?

— Идите сюда! — Орынша потянула его за пустой рукав.

Она подвела Ормантая к окну и показала на сани, отчётливо чернеющие на снегу, на лошадь, понуро стоящую перед ними. Солнце уже ярко освещало склон, на котором была упряжка, и оттого всё просматривалось чётко.

— Ну, сани... и что?

— Демесин никогда не ездил до сей поры, он с рассветом всегда возвращается...

Председатель, почуяв неладное, попятился от окна. Быстро вышел к привязанному у порога коню.

Когда они подоспели к накатанной дороге Демесина, лошадь, которой наскучило, видно, стоять на месте, уже увлекла за собою сани по кругу, знакомому и привычному. В санях, нацелив вперёд ружьё, сидел недвижимый Демесин. Председатель с Орыншой подолись ближе.

— Демесин, а Демесин? — тихонько позвал председатель.

Демесин не откликнулся.

— А где же его тулуп?.. — испуганно шепнула Орынша. Ормантай потянул за узду лошадь Демесина и остановил её.

Демесин в санях застыл — мёртвый, с полураскрытым ртом, словно желал прокричать что-то напоследок...

Так и отправился он в своё последнее путешествие, не пропустив в аул ни «пашистов», ни других грабителей...

Хоронили Демесина всем аулом через два дня на вершине самой высокой сопки за селением. Чуть в стороне от набитой им за зиму кольцевой дороги. Когда тело Стража опускали в землю, за спинами провожающих раздался отчаянный юношеский крик-плач.

— Кокема-а-ай!..

От неожиданности все обернулись на голос. Это был Мутан, три дня назад уехавший на дальнюю колхозную ферму, — тот самый Мутан, которого так безжалостно огрел Демесин камчой в придуманной несколько лет назад игре и который после провалялся неделю в постели. В день, когда мальчишке надо было ехать на ферму, Демесин принёс, оказывается, ему свой тулуп...

Страж покоя окончил свои дни за три месяца до Победы.

После его кончины люди аула ещё долго не могли свыкнуться с ночной тишиной и просыпались, тревожимые чем-то...

ДУКЕНБАЙ ДОСЖАН

КУМЫС

— Далабай... дорогой мой... — тихо сказал дядя.

Последние два месяца он не вставал с постели. Руки его высохли, почернели. Голубоватая жилка у запястья билась еле заметно. Глаза у моего приёмного отца глубоко запали, но сейчас были чисты и странно блестели. Я обрадовался: наверное, дяде стало лучше.

— Поезжай к Актате... кумысу привези.

Я задумался. У изголовья стояла полная, нетронутая чаша кумыса, а дядя посылал меня на расстояние дневного пути, к устью Куланши, в урочище Каратау, за кумысом из аула табунщиков. Конечно, я знал, что есть разница между кумысом пригородным и степным. Кто из казахов этого не знает?! Дядя пожелал настоящего — добрый знак. Может, и в самом деле степной кумыс ему поможет?

— Хорошо, — сказал я.

...Жеребец шёл крупной рысью по неглубокой ложине, уже чувствовалось прохладное дыхание близких гор.

Не только я соскучился по раздолью летовки. Конь пофыркивал от удовольствия, рвал поводья. Тропинка уносила нас всё выше и выше. Песок скрипел, потрескивал под копытами. Надвигались сумерки, но на гребне увала я ещё застал заходящее солнце. Шея Актанкера взмокла, и я откинул гриву на другую сторону. Вскоре сбоку поднялся молодой месяц, похожий на серебряную подкову. Он слабо освещал рыжеватую тропинку, камчой обвивавшую крутые склоны. А потом стало темно, скалы обступили с обеих сторон. Вдали прогремел гром, и уже на перевале я увидел несколько далёких белых молний. Тропинка пошла вниз, а справа была пропасть. Конь упирался передними ногами, седло скользило вперёд, к шее, а я откидывался назад, помогая Актанкеру. Снизу из мрака доносилось слабое журчание воды. Там бежит в скалистых берегах род-

ная речушка Куланши. Здесь, в старом зимовье у реки, я родился, в этом ущелье прошлое моё детство. Каждый камень этих мест мне дорог. Гром ещё поворчал, немного покашлял мне вдогонку. Я всё же обрадовался, что ушёл от ночной грозы.

Помню, как здесь, в верховье, проходил однажды кокпар. Дядя тогда заведовал конной фермой. Волчком крутились в узком ущелье разгорячённые всадники. Моему дяде никак не удавалось дотянуться до тушки козла. Возбуждённые борьбой и араком, длинные джигиты, надрывая глотки, ловко перекидывали друг другу тушку и всё дальше удалялись в степь. Горцы растерялись. В степи джигитов-степняков уже не достигнешь. Только накроют удрушливым облаком пыли. Ох, и разъярился, рассказывают, тогда мой дядя! Пустил коня во весь опор, опрокинул двоих, безумным рывком выхватил тушку и тут же понёсся вниз, наискосок по страшной крутизне... Джигиты ахнули, осадили коней. А дядя домчался по крутому склону до подошвы горы и оттуда напрямик к юрте молодой тогда Актате. Вскоре по окольной дороге и остальные подскакали. Актате приветила удалых кокпарщиков и получила благословение. Джигиты низовья спешили, правильно рассудив, что лучше пить кумыс, чем мотаться по горам, где неумудрено и шею свернуть.

И всю ночь, рассказывают, степные удалыцы наслаждались хмельным кумысом...

А потом поползли по аулам разные слухи. Про моего женатого уже дядю и про Актате. Нас, мальчишек, это не интересовало. А был этот кокпар лет, наверное, через пять после войны.

В аул табунщиков я приехал на рассвете. Казалось, все ещё спали. Даже дойных кобылиц ещё не пригнали с выпаса. Трава была вытоптана, земля разворочена, пахло кизяком. Чёрный волкодав с треском разгрызал большущую кость. Увидев меня, хрипло взлаял. Тут же, откинув полог юрты, вышла Актате. Вот уж кого верно называли. Актате! Белая тётушка! Светлолицая, всё ещё стройная, статная, хоть на исходе пятый десяток, в белом опрятном жаулыке. Казахи говорят: красивая чаша может потускнеть, но прелести своей не теряет. Это о таких, как Актате, сказано. Она приставила ладонь ко лбу, прищурилась и сразу же меня узнала.

— О Аллах! Ведь это мой братишка-грамотей! — Она обняла меня, а я почтительно поцеловал краешек её жаулыка.

Зашли в юрту. Актате расстелила для меня стёганое одеяльце, дала и подушку.

— Отдыхай, отдыхай, — то и дело приговаривала она. — Ласковый ты мой... милый... Тётушку свою проведать приехал. Хозяин-то у меня сейчас на озере. Да лучше бы, если б ты его и не видел. Отдыхай пока.

Я знал, слышал, что Актате не повезло с мужем. Говорили, что этот человек мог, по пословице, сузить до мерлушки весь огромный мир.

Актате открыла тундук, подвязала к притолоке полог, и в юрте стало совсем светло.

Табунщики живут на летовке скромно, налегке. Так что кровать — чуть ли не единственная мебель в юрте. С кереге свисали, туго выпячивая бока, два вместительных саба — кожаных мешка: один из шкурки жеребёнка, второй из шкуры лошади-трёхлетки. Снаружи мешки лоснились, блестели, точно выдра осенью. Такие мешки шьют только мастера из Туркестана. Свежую шкуру сначала высушивают в тени, в прохладе, потом вымачивают полторы недели в старом, прокишем и прогорклом кумысе, затем скребком тщательно счищают мездру, долго мнут податливую зеленоватую шкуру и лишь после этого принимаются шить из неё саба. Потом разводят нежаркий костёр из веток таволги, коптят изнутри саба на густом едком дыму. Прокоптив, наполняют свежим кумысом, долго полощут, мешают и сливают. Потом опять коптят и опять полощут, отмывают кобыльим молоком. Вот так рождаются вместительные крепкие мешки — саба, в которых подолгу хранят медовый кумыс.

Рядом и чуть пониже висел турсук. Этот мешок тоже шьют из лошадиной шкуры, но только из шейной её части. Турсук готовят таким же примерно способом, что и саба. Костёр, однако, разводят не из таволги, а из ветвей урючины и горной ветлы. В турсуке кумыс три недели не портится. Батыры, отправляясь в дальнюю дорогу или опасный поход, неизменно брали с собой турсук кумыса.

Ближе к выходу на доске я увидел круглый, золотистый, с постепенно сужающейся горловиной кавак — высокую тыкву, что выращивают присырдарьинские дехкане. Они высушивают эти тыквы на солнце до звона и ещё слегка прокаливают на горячей золе. И крышку для этого сосуда вырезают из кавака.

— Слышала, что дядя твой болен, а вот никак не могу проведать. Ты чуть свет нагрянул, ласковый мой. Это к счастью. Теперьто вместе и поедем...

— Меня дядя и прислал. Просил привезти турсук кумыса.

От этих слов вздрогнула Актате, выронила деревянный половник и поспешно вытерла уголком заурька нахлынувшие слёзы. И тогда стала заметней на её круглом полном лице мелкая сетка морщин. У меня сжалось сердце. Да, постарела моя белая тетушка. Ни прежнего звонкого смеха, ни доброй шутки, ни насмешливого, шаловливого взгляда.

Вдали послышались голоса. Наверное, подходили табунщики. Актате подала мне кумыс в небольшой деревянной чаше, отделанной по краям блестящим рогом.

— Как жалко! — заговорила она. — Сейчас ведь месяц только народился, в эту пору кобылье молоко жидковато. Вот в полнолуние кобылицы широко разбредаются по выпасу, выбирают самые сочные травы и цветы, поэтому и молоко густое. К концу месяца молоко опять похуже, а кумыс из него хмельной, как арак.

Так говорил, бывало, мой отец...

Я выцедил мягкий сладковатый кумыс и почувствовал, как мгновенно прошибла меня испарина. Между тем все звуки вокруг перекрыл чей-то визгливый голос:

— У, язви твою!.. Вяжи! Держи! Вали, мать его!.. Кумыс ласкать все охотники, а строптивую заарканить ни одной собаки не найдёшь! И выгонять, и пригонять, и привязать, и доить только я! Один я! Везде я! Паразиты! Дармоеды! Эй, гони паскуду сюда!..

Тут я понял, что это голос хозяина, и сказал:

— Не беспокойтесь, Актате. Даже свежее кобылье молоко из ваших рук — услада!

— Что ты, ласковый! Оно ведь слабит, его только недругам и дают. Или ты не знаешь?

Я смутился. И зачем только я сказал о саумале — свежем кобыльем молоке?

— Ещё налить, ласковый?

Я понял, она спросила только из приличия, а сама даже руки не протянула к моей чаше. Я прикрыл её ладонью, вежливо поблагодарил. Лишнее не на пользу. Кумыс нужно пить в меру.

Актате внимательно посмотрела на меня, улыбнулась. Потом поправила жаулык, поднялась устало.

— Ну и крикун! На весь аул разорался. У соседей молодая невестка, у нас гость — по твоему коню мог понять, — а вот ни стыда, ни совести. Матерщинник старый!.. И когда только образумится?! Ладно, пойду.

Она вышла из юрты. А я всё вертел в руках свою чашу, светло-коричневую, выточенную из урючины... В те годы, когда я ездил на стригунке в школу, каждый раз на обратном пути останавливался у Актате, чья юрта стояла тогда неподалёку отсюда. Она и тогда готовила кумыс землепашцам. Облизывая пересохшие губы, я робко поглядывал в угол, где стояла посуда, и терпеливо ждал, когда же тётя возьмётся обеими руками за кавак. Мне подавала она кумыс всегда в простой кесушке.

Отдуваясь, вошёл хозяин, сутулый длиннорукий старик, лицо в оспинах. Я поздоровался, протянул ему обе руки, он вяло подал кончики пальцев. прошёл в глубину юрты, стянул там сапоги и улёгся на кошме. Спросил неприязненно:

— Ну что? Какие новости в низовье?

— Ничего особого нет, — тихо сказал я.

— Да ну! Газеты читаете, кино смотрите, а, говоришь, новостей нет. Как же так?! Вот мы — другое дело. Живём как кроты. Ничего не видим, ничего не слышим. Растащат по камням гору Каратау, и то ничего знать не будем.

— Вам же газеты доставляют.

— Э, сказал! Мы, кроме районной газеты, ничего не читаем. А если читаем, не понимаем. Да вот давно собираюсь спросить у такого грамотея, как ты. Сколько у нас этих газет, журналов, книжек разных, радио орёт с утра до ночи. Скажи, откуда столько слов берут? Разве не кончатся они когда-нибудь, а?

— Пожалуй, не кончатся!

Хозяин махнул рукой, промычал что-то, отвернулся от меня и вскоре захрапел.

Пришла Актате. Я успел убрать дастархан, вымыл и поставил на место свою чашу. Актате это заметила и рассмеялась тихонько. Потом взяла подойник, и я, догадавшись, что она идёт доть кобылиц, вышел вслед за ней. Коня моего не было видно, значит, о нём позаботились.

Актате долго скоблила и мыла подойник, который и без того, по-моему, был чистый. Потом, ещё раз ополоснув, поставила на солнце сушить. Пояснила:

— От одной капли воды кумыс уже не тот становится. Доить надо только в сухой подойник.

Смотрю, Актате доит не всех кобылиц подряд. Старых она пропускает, всё больше подсаживается к молодым, норовистым. Строптивные кобылицы никак не могут устоять на месте. Надо помочь, думаю я, но Актате не подпускает меня близко.

— От чужого духа они и вовсе ошалеют.

Повесив подойник на левую руку, она ласково цокает языком, подогнув колени, пристраивается к брюху кобылицы, успокаивающе похлопывает по крупу, по ляжке, потом осторожно тянет за нежные сосцы. Тонкая белая струйка цвиркает о край подойника. Молодой кобылице щекотно, она вздрагивает, круто поворачивается. Актате ловко отступает на шаг и вновь подходит, вновь цокает, опять приседает, пристраивается, успокаивает кобылицу, гладит её, уговаривает, за сосцы тянет. Та опять шарахается. И так снова и снова... Долго это было. Я понял, что она старается ради моего дяди. А то ведь можно было позвать табунщика-соседа, заставить его держать кобылиц, чтоб они и шелохнуться не посмели, и доить спокойно.

— Что ты, ласковый, — возражает Актате. — Когда кобылу держат, она боится, у неё от страха и молоко другое бывает. Для хорошего кумыса надо, чтоб она молоко по своей воле давала.

— А почему вы не доили смирных, старых кобылиц?

— У старых молоко закисает скорее, и вся сила у него наверху, вроде бы в сливках. А кумыс из молока молодых кобылиц получает настоящий вкус и силу только на третьи сутки. Он и есть самый целебный. Какая кобылица — такой и кумыс. Если от молодой кобылицы — человек словно молодеет...

Приехал на телеге с озера повар косарей, вошёл в юрту. Актате налила ему из турсука в чёрную деревянную чашу. Повар выпил, и глаза его сразу повлажнели, усы встопорщились. Он закурил и долго молчал, клубы табачного дыма уплывали наверх, в открытый тендык.

Между тем проснулся хозяин, протёр глаза и сразу набросился на повара:

— Ты что, на поминках сидишь?! Расселся тут... Вчера только три саба кумыса увез, а сегодня опять припёрся. Или вы кумысом деревья поливаете? Или рыбёшек в озере травите? А? Что молчишь?!

Повар тяжело поднялся и вышел. Не по себе мне стало...

Оставшийся в турсуке кумыс Актате вылила в кавак, заметив при этом:

— Теперь, мой ласковый, буду готовить кумыс для твоего дяди...

Сказала она это нарочно громко, чтоб услышал хозяин, и тот в самом деле услышал, ещё больше ссутулился, но промолчал.

Актате вылила кумыс из турсука, но, оказывается, не весь, оставила немного... Понятно, остаток послужит хорошей закваской. Потом, встав на одно колено, левой рукой расширила горловину турсука, а правой перелила в него молоко из подойника. Крепко-накрепко завязав турсук сыромятным ремешком, положила его себе на колени и начала легонько покачивать, будто убаюкивала малыша. Тихо стало в юрте. Даже молоко в турсуке не булькало. Она качала турсук на коленях так долго, что, я видел, начала уже задрёмывать. Потом, очнувшись, приподняла угол текемета — кошмы с узорами, положила турсук на сырую землю, на пожелтевшую редкую траву, и тщательно укрыла сверху. Кумыс так и должен был выдерживаться — согреться сверху и охлаждаться земляной сыростью снизу.

Молодой сосед-табунщик внёс кипящий самовар, свободно расположился у дастархана. Видно, две семьи столовались вместе, а когда приезжал гость, и вовсе всё становилось общим. Табунщик принялся разливать чай. Актате достала из ларя и выложила на дастархан курт — сушёный творог, сыр, связки сушёной дыни, урюк, масло.

Хозяин съязвил:

— Не приехал бы племянничек баскармы, жевали бы один хлеб.

И сосед-табунщик ухмыльнулся:

— В ларе у Актате только птичьего молока нет.

Я смотрел на эти вкусные вещи, но есть вроде и не хотелось, я сыт был от недавно выпитого кумыса. Осилил пиалушку чая и отодвинулся от дастархана, Актате удивлённо глянула на меня и начала ворковать-приговаривать:

— Почему не ешь, ласковый? Масло свежее. Курт из неснятого молока. С мёдом. Потом ещё сварю огузок жеребёнка. С зимы храню в муке. Ешь, ласковый! Ещё проголодаешься, пока мясо сварится. Уважь! Давно ведь не потчевала тебя...

Я начал благодарить Актате, но опять выступил хозяин:

— Чихать он хотел на твоё угощение. Ему арак подавай, водку, да побольше! Вот что ему по душе! Знаю я их, молодых! И огузка ему не надо. Ему бы эти городские... ну, как их... длинные, мокрые... Сосед-табунщик подсказал:

— Да, да... они самые... сосиски свиные. Народ нынче учёный пошел. Он сосиску жуёт, а от копчёного-вяленого морду воротит.

Всем стало неловко. Актате выручила, обратилась ко мне:

— Ласковый мой, сделай милость, переверни турсук.

Я откинул край кошмы, перекатил турсук на другой бок, но, должно быть, что-то не так сделал, подошла Актате и очень осторожно — даже всплеска не послышалось — покачала турсук. И так же аккуратно прикрыла его текеметом. Потом принялась закладывать мясо в казан.

Наступило время дойки. Не глядя на меня, хозяин схватил ведро и вышел. За ним последовал сосед-табунщик. Он засучил рукава, будто готовился к драке. Колхозных кобылиц доили обычно четыре раза в день, но сегодня не управились. Под длинным куруком молодого табунщика кобылицы испуганно храпели, дрожали, тяжело поводили боками. Хозяин погромыхивал ведром, отчего жеребята-сосунки на привязи от страха кидались в дыбки.

Получив наконец свободу, весь косяк трусой подался в степь на выпас. Сзади на тонких точёных ножках, развевая хвосты и гривы, мчались, точно игрушечные, жеребята.

Уже садилось солнце, когда я принялся за огузок, заботливо сохранённый Актате с зимы в муке. Хорошо просоленный, ровно провяленный, сочный кусок золотился в закатных лучах.

В юрту робко заглянула жена табунщика, совсем юная женщина.

— Я учу сношеньку разливать кумыс, — заметила Актате. — Дай срок, из её рук будут пить кумыс почтенные люди. Вот увидишь, большой мастерицей станет.

Приятно было наблюдать за лёгкими, ловкими движениями молодницы. Начала она с того, что перетёрла сухим чистым поло-

тенцем всю посуду на полке. Актате между тем говорила неспешно:

— Уж так издавна повелось, что разным людям подают кумыс в разной посуде. Простому человеку — в кесе. Случайным гостям, путникам — тоже. Обжорам и торгашам наливают в большую деревянную чашу — тостак. Ведь для них главное — залить толстое брюхо. А вот дорогим друзьям подают в расписанных, средней величины чашах — зеренах. Правда, и зерены бывают разные. Вот этот выточил из урючины и расписал золотом знаменитый мастер Акадиль. Влюблённым предлагают кумыс в изящных козе — маленьком узкогорлом сосуде с золотыми каёмками. Из серебром отделанных козе пили акыны — певцы, тонколицые щёголи — серэ. Батырам и борцам-палванам обычно подносили кумыс в высоких кувшинах.

После ужина жена табунщика принялась разливать хмельной успокоительный кумыс. Сначала она слегка взболтала его мутовкой в каваке. Потом перелила в деревянный тазик, придвинула на край дастархана. Взяла в левую руку раскрашенную чашу — зерен, правой рукой приподняла черпак, осторожно, по стенке чаши, беззвучно наполнила её, при этом не до самого верха.

Принимая чашу, я заметил, как чуть дрогнула рука молодки. Она смущалась, робела под внимательным взглядом.

Я с наслаждением пил бархатный кумыс. Хмель забирал мягко.

Постелили мне на дворе. Я долго не мог уснуть. Внизу, в долине, бормотала речушка. Струились запахи природниковых цветов и трав.

Прохладный ветерок оведал лицо, норовил юркнуть под одеяло. Подо мной чуть покачивалась, убаюкивая, земля.

Под утро приснилось, будто меня дядя зовёт. Я спешу на тревожный зов, бегу, но голос всё тише, тише...

В ужасе я проснулся, вскочил с постели, Актате с арканом стояла возле юрты. Я подбежал к ней.

— О Аллах, что с тобой, ласковый?! На тебе лица нет!

— Дядя болеет, а я...

— Сейчас и поедем, сейчас. Чаю только пошьём.

Она повела меня в юрту. В той же красивой чаше подала кумыс. Но я пить не мог. И к чаю не притронулся. От хозяина я узнал, что Актате ночью без конца вставала и переворачивала тур-



сук. Теперь он лежал на деревянной решётке. Актате развязала сыромятный ремешок, приоткрыла горловину, дала кумысу глотнуть прохладного утреннего воздуха. Потом, снова завязав, обернула турсук влажным полотенцем и положила в корджун — перемётную суму.

— ещё бы одну ночку, и славный получился бы кумыс, — заметила Актате. — Да вот, заспешил ты.

— Ничего! Пока доедем, пробултыхается, в самый раз будет, — пытался я её успокоить.

— Что ты, ласковый! — возразила тётушка. — От долгой качки кумыс норовистым становится, злым. А тот, что закисает в тишине, спокоен, покладист.

Актате вытащила из ларца небольшой узкогорлый кувшинчик. Он был выточен из цельного бруска красной джиды. Ни единой щербинки по краям. Привлекал внимание плотный выпуклый сучок, нарочно оставленный мастером. Через этот блестящий глазок словно выглянула наружу душа дерева.

Я вспомнил: в ауле поговаривали, что Актате хранит кувшинчик, из которого когда-то пил кумыс прославленный акын Нартай. Наверное, я видел сейчас этот драгоценный сосуд. Однако спросить не решился. Актате бережно завернула его в полотенце и тоже положила в корджун...

Солнце едва поднялось из-за гор, когда мы выехали из аула табунщиков. Отпустили поводья, и кони зарысили ровно по знакомой дороге. В пути Актате всё время старалась держать турсук на теневой стороне. К обеду мы добрались до Архарова родника. Спешились. Актате опустила турсук в холодную воду, потом ещё раз дала кумысу подышать воздухом, а перед тем, как завязать горловину, сказала:

— Понюхай, ласковый мой. Запах-то какой!

Я наклонился к горловине турсука, и острый запах пронзил меня всего, даже слёзы хлынули из глаз. Густой аромат, чем-то схожий с запахом зрелой дыни, будоражил, возбуждал. «Такой кумыс и мёртвого поднимет», — подумал я. Актате заметила сдержанно:

— С восходом Венеры я налила в турсук немного гусяного жира...

Она намочила полотенце, обернула турсук и вновь положила его в перемётную суму. Мы поехали дальше.

Вечерело. С выпаса возвращался скот. В центральной усадьбе колхоза было шумно, многолюдно. В воздухе висела густая пыль. Лошади начали пофыркивать. Босоногий малец ворвался в отару и отогнал десяток овец и коз. Послышалось жалобное блеяние ягнёнка-сироты. Измученные духотой и пылью, овцы мелко-мелко перебирали копытцами и спешили к колодцам и по домам, в прохладный привычный хлев.

Впереди, понукая пятками толстобрюхого осла, ехал пастух. Увидев нас, он вместо приветствия снял войлочную шляпу, потом стянул прилипшую к черепу засаленную тюбетейку. От бритой головы шёл пар. А где-то всё блеял тоскливо, надрывая душу, ягнёнок-сирота. Мы приближались к высокому с огромными воротами дому дяди. Возле дома толпился народ. Я тихо вскрикнул и сполз с лошади.

Ягнёнком-сиротой оказался я...

...Актате, рыдая, вылила кумыс на свежую могилу дяди.

Прошли годы. Я часто тоскую по Актате и её кумысу. А драгоценный сосуд стоит у меня на столе — маленький кувшинчик из красной джиды...

РАФАЭЛЬ НИЯЗБЕК

БЕЛЫЙ КОНЬ НАДЕЖДЫ

Тучи войны всё ещё застилали небо, и отзвуки чёрной беды глухо докатывались порой и сюда, в отдалённый и тихий аул. Тень смерти витала над каждым домом, грозя переступить порог и вонзиться недоброй вестью в сердце. Мужчины ушли на фронт, а женщины и старики, казалось, и дыхание своё умерили в тревоге и надежде перед известием оттуда...

Асия засветло начала прибираться в доме, чтобы успеть до работы. Вынесла и перетрясла дорожки, одеяла, подмела и вычистила пол так, что и самый придирчивый глаз соринки не найдет. Всё споро, словно между делом, напевая нехитрый мотивчик, весь дом в порядок привела. С малолетства проворством да аккуратностью отличалась.

Свекровь давно прибалывала, нынче и вовсе слегла. Чуть приподняла голову, чтобы выпить горячего чаю, и вновь уронила на подушку. Рука снова потянулась к левому боку: «Не к беде бы — сердце вниз тянет, тревожно что-то...»

Асия остановила встревоженный взгляд на старом лице. Всё в морщинах лицо свекрови, словно любое переживание оставляло здесь свой след. А разве их мало у матери, теперь же особенно — сын на фронте.

— Светик мой, ведь на работу опоздаешь, — охнув, повернулась старуха к невестке. — Не осерчал бы председатель, ещё прицепится... Иди же, иди, спасибо, милая! И куда это старик наш окаянный запропастился? Ох, тяжко! Голова разламывается... о, Аллах, за что же так, и не заберёшь меня, и в покое не оставишь... У-у... ым-м...

— Он, наверное, в контору пошёл... с председателем поговорить собирался, — ответила Асия.

Обе замолчали. Старуха укрылась с головой стёганым одеялом, невестка торопливо одевалась. С улицы донёсся шум, кто-то громко и раздражённо крикнул.

Старуха оторвала голову от подушки, отбросив одеяло.

— О, алла! Это наш старик ругается. Что он там ещё натворил? — глянула она тревожно на Асию.

Не впервой между председателем и их стариком возникает спор, и женщины знали, что они недолюбливают друг друга. Неизвестно, откуда это, но коса на камень нашла. Ни председатель не остановится: «Ведь младше я, совестно ведь кричать на старого человека». Ни старик не опомнится: «Удобно ли мне с бородой моей седой унижать скандалом на виду у всех младшего, выбранного руководителем?» Ни один не уступал, только бы повод нашелся зацепить друг друга острым словом, не стало ладу меж ними...

Вот и сейчас схватились, будто верблюды взбешённые, друг в друга слюной стреляют:

— Не дам!

— Дашь!

— Через труп мой переступишь к тому белому жеребцу.

— Эй, старый хрыч! Смотри, чтобы не переступил!

— Я этого коня не на годовщину памяти своего отца беру — для фронта!

Ощутил ли беду старый Мусакул в грозном лице своенравного председателя, понял ли, что разрастающийся скандал, уже привлёкший людей, только укрепит председателя в решимости идти до конца, только всё же умерил пыл. И попытался смягчить Байбакира.

— Мы ведь одного рода-племени, одни предки у нас. Нужно ли нам гневить их перебранкой? Зачем тебе обида такого слабого старика, как я? И разве не всё равно: белого ли ты коня на фронт возьмёшь, или того гнедого белолобого? Оба ведь одного года, из одного табуна, какая тебе разница...

— Есть разница! И вообще, моё слово — закон. На фронте тоже нужны хорошие кони, понял? Родственные связи мы до лучших времен оставим. Давай, освободи дорогу...

Но старик Мусакул вновь заупрямился, не удержался:

— Потому, видно, тебя и не взяли на фронт. Должно, порода у тебя неважная. Так, что ли?!

— Эй, старик, — у Байбакира кровь вмиг ударила в голову, он задохнулся. — Не твоего... не твоё дело!

- Почему ж так?
- Я — казённый человек. Не себе принадлежу! А ты...
- А мы? Незаконные, что ли?!

Едва сдерживая бешенство, председатель отвернулся от язвительного старика и взмахом показал своему помощнику на сарай. Выводи, мол, быстрее того жеребца.

Мусакул повис на поводьях. Белый конь, оседая тонкими ногами на месте, испуганно косил на людей лиловые глаза.

— Хоть меня самого забирай! Оставь, прошу, оставь этого белого. Он, он весь табун водит... я сыну его посвятил, возвращению единственного сына, пойми... — Старик почти рыдал, всё не выпуская поводьев. — Весь скот заberi, а этого оставь, мой свет!

От этих причитаний посмурнели лица подошедших на крики аулчан, кто-то попробовал поддержать Мусакула, но суровый взгляд председателя мигом притушил слабенькую решимость. В душе Байбакир наслаждался этой своей властью, но сурово и важно сводил брови, показывая, что он выполняет долг и чувства здесь ни при чём.

— Эй, председатель, — вмешалась Асия, вонзив свой взгляд в глаза Байбакира. — Разве для того тебя поставили, чтобы слезами умывались семьи фронтовиков? Да покарает тебя Аллах за эти слезы! Коли все твои дела встали из-за этого белого коня, так что ж не возьмёшь его за узду и не уведёшь. Тебе поиздеваться нужно! Но попомни мои слова: вернётся мой муж и сполна расплатится за обиду. Посмотришь!

Как только Асия вышла из дома, Байбакир укрепился в надежде, что уж теперь-то строптивая молодка не ускользнет. И за свекра своего бранчливого заступится, и за оставленного мужем коня умолять станет, в ноги со слезами бросится...

— Эй, болван! — гаркнул он на стоящего рядом мужчину, не призванного в армию по слабоумию. — Что ты стоишь, будто столб — уводи коня!

Вырвав у старика повод, мужчина повёл коня прочь.

Обезумевший Мусакул схватил прислонённый к поленнице лом и забежал вперёд:

— Ну-ка, остановись, пока жив! Тебе ли хвататься за повод такого коня, захудалая собака, — бормотал он в гневе.



Властный председатель, привыкший с коня приказывать покорным аулчанам, не ожидал такого сопротивления своей воле. Скоро и вовсе на голову сядет старик: накануне словами при всех унизил, а теперь вот уж и ломом его человеку угрожает... Это сегодня, а что выкинет ещё, когда сын его вернется? Дай волю, он весь аул всполошит, как потом с ними сладишь, если каждый нос задирать станет...

Он уже не мог совладать с собой: ухватив старика за ворот, толкнул его на землю и принялся пинать.

Собравшиеся на шум и крики стояли, не осмеливаясь вступить за Мусакула. Гнев председателя сбил людей в кучу, никто и не мыслил вмешаться. Разве что окаменевшие лица их выказывали замешательство. Кто ж ввяжется — давно все уяснили силу Байбакира.

Одна Асия не могла стерпеть бесчинства. Подбежав, оттолкнула Байбакира и загородила старика.

Здесь только чуть остыл председатель, махнул рукой и повернулся, чтобы уйти.

Старик, казалось, и не ощутил побоев: вскочил и вновь ухватился за чёрный лом, валявшийся рядом, пытаясь догнать обидчика. Асия вцепилась, повисла на руках свёкра.

— Отец, прошу вас! Беды потом не оберёмся из-за этого типа!

Байбакир услышал последние слова. Усмехнулся зло: «Меня... — «типом»? Назовёшь, могилу отца твоего... Завтра же приползёшь... как скулящая сука, ноги лизать будешь!»

— Не перестану! — старик дрожал и рвался. — Пусти! Расколю его пустую башку... А то что ж он, этот боров... чем больше умоляешь, тем спесивее становится — не продохнёшь. Пусти, девочка!

Люди окружили Мусакула, успокаивая его.

— Довольно, уважаемый! Начальник есть начальник: весь колхоз ему в поводьях держать надо. У нас не будет спрашивать, что взять, что дать, на то и поставлен. Спрашивал бы, так какой же он тогда председатель... Сцепишься с ним из-за одного коня — себе ж дороже выйдет... чего там!

Отродясь Мусакул такого оскорбления не получал. «Был бы здесь сын, опора моя...» — простонал он и обвёл людей взглядом.

— А вы... вы... — будто в помрачении постоял, раскачиваясь, и присел на корточки, пряча лицо в ладонях. Рыдания сотрясали его



плечи. Нет, не оттого, что Байбакир оскорбил белую бороду Мусакула, даже не по уведённому белому жеребцу плакал. Их покорность была горше председательских пинков — ни одного человека не нашлось, чтобы воспротивиться унижению, никто не решился вмешаться...

Люди же, постояв, всё так же молча разошлись, отнеся эти старикивские рыдания на счёт обиды и слабости его.

* * *

Через два дня приехал из района милиционер и срочно вызвал Мусакула в контору.

«Услышал бог мою обиду, — обрадовался старик, когда мальчик сообщил ему о вызове. — Поставят хулигана на место».

Однако, увидя спину и заложенные назад руки человека в форменном кителе, непроницаемо-важно стоящего у окна, Мусакул немного оробел. Он почтительно кашлянул в руку, увидел начальственное лицо со сведёнными бровями, красный ворот мундира, взмах руки, показывающий ему на старый коричневый стул перед председательским столом. Он сел на краешек этого стула и ощутил холодный взгляд на своём осунувшемся лице. Почтительно утишил дыхание, пока тот человек с важным то ли вздохом, то ли стоном опускался на стул — словно весь этот мир прижал своим задом. «Ишь, сколько спеси у него», — подумал старик, уже не предвидя для себя ничего хорошего, однако вида не подал.

— Почтенный, — произнёс человек, наваливаясь всей грудью на стол и придвигая к себе бумагу с карандашом. — Расскажите-ка по порядку, как всё произошло.

Мусакул почувствовал, что рот его внезапно одеревенел и слова не идут с языка.

— Начнем с имени и фамилии, — жёстким голосом поощрил его человек за столом.

Старику вдруг неудержимо захотелось заупрямиться, встать и уйти отсюда, но он сдержался.

— Зовут Мусакулом, имя отца — Сугирали...

Человек усмехнулся так, словно понял его сопротивление и вот теперь переломил его, заставил-таки покориться...

— Ну, а теперь — всё с самого начала, — сказал он.



Мусакул во всех подробностях описал столкновение своё с председателем. Милиционер сидел, постукивая остро отточенным карандашом по столу, слушал не перебивая. Задумался, поднявшись с места, походил по комнате мимо старика, снова устроился на своём месте.

— Трудно, почтеннейший... — произнёс раздумчиво, но с некоторой угрозой. — Трудно с вами.

— Что-о?.. — Мусакул не ждал, видно, подобной реакции на свои слова, ведь он так подробно всё объяснил.

— Положение ваше тяжёлое, почтенный! Тяжкое!

— Да отчего же? Ничего... в толк не возьму! — Мусакул помял в руках старую шапку, посмотрел на потёртости в недоумении, потом поднял недоумевающий взгляд на милиционера.

— Вы, оказывается, заявили, что не дадите коня для фронта. Или вы... — не продолжая, он холодно поглядел на старика.

— Не-ет.

— А вот в этой жалобе так и указано. Так почему? И кому прикажете верить?

— Милый, я ведь не говорил, что не дам коня, — заторопился Мусакул, подаваясь вперёд. — Это председатель со зла на меня напраслину плетёт. Из вредности одной — чего бы ему не привередничая, увести того гнедого белолобого? Без шума и скандала увёл бы, я ему так и сказал сразу...

— Наверное, стар был тот гнедой, негодный, раз председатель...

— Ничего подобного, — заторопился Мусакул, — старый-нестарый — одного года с тем белым, что Бай-ба... председателю приглянулся! Резвый... только пусти — стрелой не догонишь!

— Чего ж председатель так настаивает на белом жеребце? — голос милиционера был доверительный и любопытствующий, обыкновенный человеческий.

— Как бы тебе объяснить, дорогой, — вовсе расслабился старик. — Надо его знать, завистливый он человек. Не пройдёт спокойно, если у человека, на его взгляд, что-то лучшее увидит. Уж пристанет обязательно, если не ему, то хоть с глаз долой! Да как покориться такому?

Тут милиционер бухнул по столу увесистой ладонью так, что сухая чернильница подпрыгнула, а Мусакул вздрогнул и от неожиданности оглянулся на дверь, втягивая голову в плечи.

— Эй, старик! Почему такие слова о государственном человеке говоришь? Кто тебе дал право так говорить?! Хочешь панику посеять, делу помешать — на председателя, который колхоз ваш в гору тянет, поклёп возводишь? Смотри! Берегись, смотри!

Он погрозил пальцем. И Мусакул спасовал. Громкий голос словно придавил старика на жёстком стуле.

— Мало того, — милиционер потряс бумагой у самого носа Мусакула. — Так ты ещё... почтенный, с колом набросился и выгнал со двора, избив при всём народе! Безобразие! За это бесчинство завтра заберу тебя в район. Судить будем!

Старый Мусакул заворожённо смотрел в гневное лицо, глаза его застилал туман. А рослый милиционер уже крепко взял под локоть и вывел старика на улицу. Мусакул не сопротивлялся, ноги вдруг ослабли, попавшиеся навстречу люди расплывались неузнаваемо, будто в тумане. «Запрём тебя, чтобы не скрылся!» — услышал он как бы сквозь пелену и пришёл в себя уже в амбаре. Глаза понемногу привыкали к сумеречному свету.

Весть о том, что милиционер из района запер старого Мусакула в амбаре, быстро разлетелась по аулу. «Решил, верно, председатель постращать вздорного старика, — решили многие. — Подержит денёк-другой, пообломает рога, да и отпустит — чего с него возьмёшь, со старого...»

Строгость и даже гневливость Байбакира жители аула принимали как необходимый знак власти председателя; объективность, которую малыми дозами умел отмерить, особенно в речах, руководитель колхоза, принималась ими за справедливость. Что говорить, ловок был и умел подать себя председатель, иначе и не попасть бы ему в круг избранных: пусть и хрипит-завывает в груди у него степной буран, а ходить будет с приветливой улыбкой — будто галстук наденет, и уж постарается не показать, что галстук тот давит ему... Короче, зря не отпугнёт от себя, а уж коль затаит на кого злость, то повод благопристойный для счёта всегда найдётся.

Уже на второй день своего приезда и избрания председателем Байбакир собрал людей и показал себя красноречивым оратором, сознающим и свой долг, и благо людей колхоза «Талапты». Их труд, говорил он, — это тот вклад, который укрепляет армию и помогает нашим родным, ушедшим на фронт, сломать врагу хребет... Хорошо говорил, прослезились многие, вспомнив и тех, кто вою-

ет, и тех, кто уже никогда не вернётся — за них тоже надо работать, верно...

А уже вечером шёл он от тракторного стана и нагнал по дороге Асию. Здесь, видно, и подставил Аллах ловушку осмотрительному председателю. Красива была Асия, грусть и тревога-ожидание по мужу сделали её лицо ещё привлекательнее. Вызнал и умело посочувствовал молодке Байбакир: и тому, что с мужем мало пожила, и что единственный ребёнок пока у её родителей, свекровь болеет, да и работы невпроворот, считай, и за ушедших мужчин всё делать надо...

Сердце же Байбакира с первой минуты встречи рвалось, как конь необъезженный. Казалось, что никогда не знал он чувства более обжигающего, чем то, которое вдруг взметнулось в нём при встрече с Асией.

Не находил себе с того вечера покоя Байбакир, хотя и понимал, что не так-то легко будет подобраться к наивной молодке, что нужна ему в обращении с ней и кошачья мягкость, и лисья тонкость, и, наверное, волчья настойчивость. Пока же, чтобы она была поближе, освободил Асию от чёрной работы по нарядам и посадил в конторе кассиром-учётчиком. Пусть привыкает.

Он словно шаманил вокруг Асии, стараясь не вспугнуть, бросал на неё лукавые взгляды, вовлекая в разговоры, когда распекал кого-нибудь; проходя, ненароком находил повод положить руку ей на плечо и пошутить, вызывая её улыбку. Конторскую работу молодуха освоила быстро, сметлива и догадлива была, так что здесь беспокоиться стало не о чём. А вот перешагнуть желанный барьер всё не удавалось, хоть и был убеждён Байбакир по опыту своему прежнему, что перед ласковыми словами да красивыми посулами с подарками никакая женщина не устоит. И он терпеливо делал круги вокруг заманчивой красавицы, выжидая лишь удобного момента, когда отступать ей будет некуда. И раздражаясь порой непонятной недоступностью молодки.

Он ещё дорожил авторитетом и потому сети плёл осторожно, словно шутя, так что и Асия никакого коварства не предвидела, услышав однажды о поездке к чабанам.

— Завтра соберись, объехать отары нужно, посчитать овец, чабанам кое-что отвезти. Нехорошо подолгу их без догляда оставлять, — словно советуясь с ней, говорил председатель.

— Хорошо, — легко согласилась она и прошла мимо Байбакира, заставив трепетать его ноздри. Дело шло к вечеру. — Я соберусь...

Наутро они выехали, приторочив к седлам полные коржуну — что чабанам деньги, им важнее чай, да сахар, да мука — хоть понемногу. Встречали их роднее родных, с ближних кочёвок съехались: председатель рассказывало фронте, о победах и горестях — как газету читал. Здесь он мог позволить себе и своё внимание к Асии подчеркнуть, и говорил, бросая на неё искрящийся взгляд, будто красуясь перед женщиной. И хоть настораживало её немного это подчёркнутое внимание, но какой же молодке не польстит оно? Тем более, что уже к вечеру тронулись они в обратный путь, отказавшись даже от позднего чая на дороге...

Поя коней в Таласе, председатель махнул рукой в сторону темнеющего впереди тугая, похлопав для убедительности по влажной шее своего рослого мерина.

— Вон там передышку сделаем, лошадям отдохнуть немного дадим...

Перейдя в удобном месте через реку, они направили лошадей к середине зарослей. Здесь ветер почти не ощущался. Уже выплыла половинка луны, день ото дня набирающей полноту. Стрекотала приподнявшаяся цикада. Байбакир легко спрыгнул с седла, блаженно покатылся по зеленой траве.

Эта неожиданная вольность насторожила вдруг Асию, но пока она раздумывала, сходить ли и ей с коня, Байбакир стремительно вскочил, и был уже рядом, придерживая коня за повод. Не успела Асия и глазом моргнуть, как крепкие мужские руки обхватили за талию, приподняли и легко опустили на землю. Она заметила вмиг налившиеся кровью и жаждой глаза, ощутила задышливое дыхание, а Байбакир молча повалил её на траву. Здесь и понимать было нечего, а сопротивлением она лишь разожгла бы его страсть и самолюбие, это она понимала. Как понимала и то, что ей не устоять перед силой, а потом — какое будет ей оправдание?..

— Миленький, подожди немного, — стараясь не впустить нотки отвращения, ласково сказала Асия. — Задыхаюсь я, не то ропись...

«Куда она теперь денется... так-то лучше», — заключил про себя Байбакир, ослабляя объятия. Однако ещё минуту спустя ощутил

сильный толчок в грудь, а вскочившая молодуха в несколько шагов добежала до своего коня и вскочила в седло. «Хорошо, подругу не отпустил», — мелькнула у неё мысль, когда она пустила коня вскачь в сторону аула.

— Эх, подругу надо было отпустить, — бормотал, поднимаясь, председатель, руки которого ещё ощущали округлость женского тела, а злость от такой потери чернотой накатывала на сердце. Он легко поймал своего мерина, но женщины уже и след простыли...

Потом он ещё раз нашёл время впрямую намекнуть строптивой молодой на желанную близость, но получил такой отпор, который не оставил никаких надежд. Зато добавил злости, для которой нужен был лишь подходящий случай.

— Председатель, кажется, должен поддерживать сирот, защищать солдаток, а не на юбки их коситься, — отбрила его Асия.

«В ноги ещё сама упадешь», — бормотал он, когда женщина показала спину. И случай не заставил себя ждать: едва поступил приказ об изъятии у зажиточных колхозников коней для фронта, в первую очередь вспомнился ему белый жеребец старого Мусакула, свёкра обидчицы его. Байбакир знал, что значит тот жеребец для старика и молодой его невестки, — Асия тоже приняла того белого скакуна, как мужнин завет-доверие, и холила его, как собственную надежду... Председатель точно рассчитал удар, который нанесёт непокорным его воле, но такого сопротивления, да ещё принародно, никак не ожидал.

Печать свою председательскую, что всегда носил в кармане, не зря считал Байбакир убедительнее револьвера. И это было так, ему прежде никто не решался слова поперёк сказать, даже объятия вдов легко открывались ему — одно лишь его решительное слово, а здесь... И, когда Мусакул бросился на него с ломом, он дал раскудк подавить мгновенный гнев, чтобы теперь-то уж доказать свою силу этим упрямам. Докладная на следующий же день ушла в район — ему ли не знать власть бумаги с печатью!..

Вот так и захлопнулась за старым Мусакулом дверь в амбаре.

А Байбакир потчевал у себя прибывшего по его жалобе участкового, даже барашка зарезал. И теперь за столом всячески угождал гостю, не забывая подливать в его стакан. Хотел председатель, чтобы попрочнее замкнулся казённый замок за спиной вредного старика — глядишь, и сноха его податливей станет. Да он ещё и

посмотрит, подумает, стоит ли ей милость оказывать... Дверь распахнулась, на пороге стояла Асия, которую только что поминал про себя Байбакир, и он оторопел на мгновение. Лицо молодки не скрывало гнева, и он, чтобы не уронить достоинства, выпрямился на торе и даже постарался улыбнуться:

— Хорошо, что пришла, Асия. Вовремя. Проходи, садись...

— На торь приглашаешь, председатель! — с места в карьер начала женщина. — Как бы для нас могилой не обернулся твой торь.

— Ты что! Какую беду кличешь на свою голову... разве не лучше нам здесь, всем вместе, уважив гостя, подумать, как отвести от суда старика. Несдержан он, а попадёт в район — не скоро вернётся...

Председатель многозначительно посмотрел на разомлевшего от выпивки и еды милиционера. Тот, хорохорясь, словно поющий на рассвете петух, важно поднял красное лицо. «И такой ещё нос задирает, пропади ты пропадом...», — подумала Асия и не сдержалась:

— Уважить гостя, говоришь? Скажи уж прямо: мол, дорогая Асия, угодишь мне, ляжешь со мной, твоя судьба по-другому повернется. На вот! — молодуха сунула кукиш чуть ли не в нос ему. — На, чёрта с два ты меня получишь! Чем тебе, начальнику, хвататься за поводья белого жеребца да за ворот старика тащить из-за того, что одна из самок с длинным подолом отказала в прихоти, так лучше бы ты сдох где в дороге. Тьфу, бесстыжий! — плевок Асии точно угодил в лицо Байбакира.

Такого унижения он в жизни не сносил. Не заметил, как вскочил, ослеплённый гневом, и опомнился только натолкнувшись на бледное лицо молодки. Вспомнив о госте — блюстителе порядка, всё же заставил себя отойти на место.

— Спасовал сегодня перед бабой, знай — лишишься и положения завтра, — она хлопнула за собой дверь.

«Нет, — говорил он про себя, разливая в стаканы водку, чтобы сгладить смущение. — Не-ет! Не дать им слабины, раздавить, чтоб и другим неповадно было...»

— Такое случается, разный народ, сам видишь, — говорил он между тем, с улыбкой оборотясь к гостю. — Не придавай значения. А работать с таким народом, ты понимаешь, непросто, его в узде и страхе не удержишь — на голову сядут. Эй, Кайрақбай, так не годится, — пей! Что это для мужчины...



Им немного понадобилось времени, чтобы понять друг друга и здесь же решить участь несчастного Мусакула: и спереди, и сзади договорились они прикрыть завтрашнюю дорогу его, сузив до тропинки, над которой небо ему покажется с овчинку...

— Эй, Кайракбай, пока ты в силе, запрети старика в тюрьму! Пусть знает, кто ты такой есть! А за мной дело не станет.

— Запру, чего там, — ответил участковый. — Накрепко запрю, не вывернется! Ха-ха-ха-а-а!..

Далеко за полночь не гасла лампа в окне председательского дома.

* * *

Наутро Кайракбай открывал дверь в амбар в приподнятом настроении: хозяин и на похмелье не поспешил. С теми документами, которые составил для него председатель на старого Мусакула, ему ничего не стоит выполнить своё обещание, — думал он. А подобная дружба с председателем сулит ему не только поддержку, но и вполне ощутимые блага. Это немаловажно в нынешнее трудное время.

И всё же кошки скребут на душе. Чего ему-то опасаться: доставить преступника в район, передать документы, остальное тамошнее начальство завершит по ходу дела. Его-то задача маленькая, что может помешать — и револьвер у пояса, разве не внушает он почтение? До остального ему и дела нет, кто там прав...

Старика он увидел стоящим у оконца с решёткой, погружённого в свои тяжкие думы. Кайракбай протопал подбитыми сапогами к Мусакулу, попытался завернуть тому руки, чтобы связать их.

— Светик мой, — усмехнулся горько Мусакул. — Если даже туда поведёшь, где собак в сани впрягают, так и там руки мне связывать ни к чему: какая уж сила у старика, которому за семьдесят перевалило. Тебе ли, такому джигиту, сопротивления моего опасаться...

Кайракбаю стало вовсе неловко. Он дал полчаса, чтобы старик переоделся и поел перед дорогой.

Вскоре два верховых выехали на дорогу, ведущую в район, многие аулчане проводили их взглядом. Долго, пока не скрылись за увалом, провожали их и Асия со свекровью, вышедшей по такому случаю на крыльцо и тяжело опирающейся на палку.

— По той же дороге и ребята наши уходили... — всхлинула женщина, и старуха подхватила её рыдание.

...Кайракбай поотвык, надо сказать, от плотной пищи, так что мясо председательского барашка всю ночь не давало ему покоя. Посмеивающийся с ехидцей Байбакир приготовил ему после чая водку с солью, что помогло лишь на время. Оттого и торопился милиционер выехать, чтобы не слышать новых шуток хозяина.

Но на коне, как назло, живот опять принялся бурлить, будто котёл с брагой. Участковый терпел, сколько мог, потом осадил коня.

— Эй, почтенный, ты не сбежишь ненароком? — он напряжённо улыбнулся Мусакулу. — По нужде схожу...

— Куда же бежать? У власти разве не длинный аркан, чего ж от её представителя бегать — себе дороже! — он усмехнулся и покачал головой. — Взлечу на небо, так за ноги стянете, а под землю опущусь, и оттуда за волосы на место поставите...

«И в самом деле, куда он денется!» — подумал Кайракбай, но для острастки на глазах старика расстегнул кобуру. Подвернув коня поближе к зарослям, он торопливо сошёл на землю. Зад его сверкнул под кустом, когда Мусакул хлестнул коня и припустил прочь.

Участковый растерянно крикнул, вскочил, путаясь в штанах, выхватил револьвер и несколько раз пальнул в воздух.

Он увидел, как стремительно вытягивается в скачке белый конь под беглецом, а когда вскоре те и вовсе исчезли из виду, понял, почему так дорожит старик этим скакуном.

* * *

Когда Байбакир услышал, что старик скрылся на своём белом жеребце, он почувствовал, что мутное бешенство заливает ему голову. Добравшись до конторы, он заперся у себя в кабинете и со злобой, застилавшей глаза туманом, принялся крушить и расшвыривать всё, что попадало под руку. Опомнился лишь, увидев опрокинувшуюся на пол чернильницу, совсем недавно залитую свежими фиолетовыми чернилами. Пятно растекалось по полу. «Да что это со мной? — выдохнул он. — Так недолго сорваться и всё потерять, чего годами добивался...»

«С каким-то старым болваном не мог совладать», — думал он, вышагивая по комнате. Сейчас его раздражал даже скрип собст-

венных сапог. Сегодня один, завтра ещё несколько выйдут из-под его воли — и кошке под хвост весь его авторитет. А ведь ему надо впрягать их в работу, разве легко хозяйство вытягивать, когда мужских рук нет? А попробуй сорвать хоть что-то — каждый его шаг в районе приметен, не станут вникать в причины, а просто найдут замену и — вперёд, на фронт... Не-ет! Управлять народом, что аркан вязать: упустил одну прядь — где-то да порвётся аркан со временем. И не перетягивать, всему мера есть...

И отчего всё? Что ж с того, что Наркескена, мужа этой Азии знал весь округ Таласа, что он за особенный такой? Сам попросился на фронт. Случись, придёт похоронка — та же Асия через некоторое время забудет его, не она первая. Сколько их знает Байбакир: походят в трауре, справят сорокадневные поминки, а молодость потом берёт своё: к любому двуногому жеребцу прильнуть готовы. Он и сам от таких не отказывался...

От этих мыслей председатель разомлел. Работа, интриги, власть — что они стоят без подобных радостей. Хорошо, что есть ещё время и силы взять своё: сорок лет разве возраст для мужчины, бог ты мой!..

А он ещё переживал, когда в первый год войны его из районной конторы назначили председателем в «Талапты». Здесь он сам хозяин... да, а тот Мусакул, что и с милицией не посчитался? Пока-то он, председатель, ещё держит людей в руках, а дальше? Кто поручится, что старик не доберётся до района с жалобой, а там как ещё обернётся. Вот и ломай теперь голову, думай — откуда сильнее ветер ударит...

Тяжело вздыхал председатель, вспоминая, сколько прорех в работе допустил за суматошную своей страстью. Не дай Аллах на голову проверки какой-нибудь!

* * *

По первому порыву Кайракбай попытался найти сбежавшего старика. Объездил всё предгорье, у чабанов побывал, тугаи и овраги излазил. Но прыткий старик не то что на глаза не показывался, но и следы умело замёл. А когда измученный Кайракбай, вернувшись домой, рассказал о всех злоключениях начальнику милиции, тот неожиданно, вместо упреков, посмеялся над ним:

— А вы с председателем думали, что так уж просто справиться со стариком? Из-за чего сыр-бор, собственно? А-а... жалко, что не привёл сюда — о многом, может, по-другому узнали бы, — начальник снова засмеялся. — Сообщи-ка домашним его. Никакой он не преступник, Мусакул, понял? Пусть едет в свой аул и работает, да спорит пусть поменьше — шума от него много.

...Старик, однако, об этом разговоре не знал и всё лето не показывался в родном ауле, так и жил в бегах. И люди о том разговоре не знали: заехал как-то старик к своему старому другу на берегу Чу, а у того и глаза мимо смотрят: «Да, трудное у тебя положение, Мусакул. Дам я тебе пуд зерна и барана, а скройся ты где-нибудь в стороне, если начнут всерьёз искать, как бы не пришлось мне самому себе руку отрубить, которой на тебя укажу... Лучше бы тебе самому повиниться».

Так всё лето и провёл Мусакул в глухомани того камышового озера, что указал ему друг. Но главное, что успокаивало старика — это белый конь, который остался-таки при нём. Мусакул свято верил, пообещав сыну на проводах сохранить Белого, что этот жеребец даёт надежду на возвращение его Наркескена.

Да и почему бы не верить приметам? Когда самого Мусакула в шестнадцатом году мобилизовали на трудфронт, то мать при прощании разломила лепёшку со словами: «И в сорокалетней войне погибает лишь тот, кому это предписано, сынок. Съешь вот одну половину лепешки сейчас, а вторую съешь, когда вернёшься благополучно». И ведь вернулся! Почему ж его сыну так же не прийти домой, если он, отец, не пожалеет себя, но сохранит этого белого коня?..

Даже слеза прошибла старика при этих мыслях. «Нет, так нельзя, надо всё же съездить домой, узнать, может... и войне конец».

Он сполоснул в озере лицо, вскочил на жеребца своего и выехал на холм, чтобы получше оглядеться перед дорогой. Посмотрев в сторону своего аула, увидел автомобиль, пробирающийся по бездорожью как раз в его сторону. «Видно, на машине решили поймать меня, — подумал он. — Где вам!..»

А машина была уже совсем рядом, когда вдруг резко остановилась и из неё вышел человек. Он окликнул Мусакула. Всадник подумал, нужно ли бегать от первого встречного, так дальше жить нельзя — скоро осень, потом зима, как тогда без людей? Пропадёт.



Мусакул снял с головы белый колпак свой и помахал им, приглашая путника к себе. Тот, поняв, что всадник преклонного возраста, стал подниматься на холм к Мусакулу. Едва человек подошёл поближе, Мусакул спросил его: кто же он? «Если преследователь, что мне мешает развернуться и ускакать по тому склону. Пока они там развернутся со своим автомобилем, мой и след простынет. Ищи меня в камышах!» — старику стало даже весело от такой картины.

Когда путник назвал себя, старик задумался. Чего бы здесь делать секретарю райкома? Да он ещё и в их колхоз едет...

— Вы ведь почтенный Мусакул, если мне не изменяет память, — произнёс между тем секретарь. Был он молод, а глаза смотрели внимательно и внушали доверие.

— Допустим, — важно и в то же время настороженно ответил беглец. «Откуда этот юноша знает моё имя?..»

— Выходит, вы отец Наркескена. Вот так дела...

— Э, кто же, кроме меня, мог быть отцом этого мальчишки, — теперь старик считал неудобным пуститься вскачь отсюда. И выжидал: что же будет дальше.

— Да я же, ещё в области работая, из обкома комсомола в командировку к вам в колхоз приезжал. Ночь у вас провёл...

— А сына откуда знаешь? — как ни вглядывался старик в лицо секретаря, но припомнить не мог той ночёвки, давно, видно, было.

— А-а, с ним-то мы вместе школу кончали...

Пригорюнился на миг старик, припомнив: «Значит, мой Наркескен тоже не слабак был, раз помнят его. Эх, повредил я ему, оказывается, что дальше учиться не дал! Пусть не районом бы управлял, хоть колхозом... Уж подобные Байбакиру не посмели б не то что за повод жеребца моего хвататься, а ещё подумали бы — можно ли голову туда просунуть, где я разубаюсь...» Эти мысли придали старику решимости, и он рассказал секретарю, какие издевательства терпят они в «Талаптах» от председателя. И скитается он теперь по степи из-за него же, вот — ...этот белый конь свидетелем!..

— Что-то слышал я, — признался секретарь смущённо. — Да жатва подоспела, не до того, уж простите, уважаемый. Некрасиво получилось. Езжайте, отец, в аул и живите спокойно. Я с председателем поговорю. Да мы как раз туда и едем, так что увидимся. А где через Талас переехать, подскажете?



Мусакул указал дорогу, и вскоре увидел клубы пыли, поднимающиеся следом за несущейся к аулу машиной.

— То-то же! — усмехнулся старик, но тут же поймал себя на мысли, что кому или чему он усмехается — не разберётся и сам.

До аула он добрался в сумерках. Люди давно разобрали по домам скотину и теперь спокойно устраивались отдыхать. Конь под ним, едва повернул хозяин на аул, словно понимая, кивнул головой и сам понёс седока без понуканий. За какие-то полтора часа доскакал.

Привычно, словно и не отсутствовал столько времени, поставил коня и вошёл в дом. Сразу увидел свою старуху, плотно закутанную в одеяло, сидящую в постели. «Эта бедняжка, значит, так и болеет. Что же, старость», — подумал про себя и громко вздохнул. Встретился с ней взглядом.

— Благополучно ли вернулся, Мусакул?.. О Аллах, благодарение тебе и за это, — произнесла она негромко.

Страдание в голосе её, что ли. И где это Асия так поздно? Неужели, пока он скитался, ушла, окаянная, к своей родне, бросив больную? Но он молчал — зачем торопить события. Разделся, взял одеяло и, постелив на торе, присел.

— Э-эй, что я сделал такого, чтобы не вернуться к своему очагу, скажи-ка? — и снова замолчал, обводя всё взглядом, словно привыкая или знакомясь заново.

Старуха поняла, что он искал невестку.

Устал он, видно: сам не заметил, как прилёг было на секунду, прикрывшись чапаном с головой, да и заснул. И сон, как назло, мрачный увидел. Идёт, будто, невестка с кем-то под ручку. И его, дряхлого уже, и старуху больную оставила, и дом беспризорным бросила. Уходит. А ведь сколько лет ждала, немного же осталось... Догнал её Мусакул, за руку схватил, слёзы у него по белой совсем бороде катятся, умоляет: «Светик мой, что же ты делаешь-то? Вернётся ведь Наркескен наш, обязательно. И на белом жеребце ещё поедит... Ведь не отдал же я того коня председателю, сохранил. Как обещал Наркескелю, сохранил ведь его. Куда же ты-то теперь?..» Так он и плакал-причитал в том сне, который под конец и вовсе какой-то сумятицей обернулся.

Здесь он и проснулся, слыша голос, как сначала показалось, из того же сна.

— Ата! Отец! — невестка, оказывается, давно приготовила чай и ждала, сидя у изголовья.

Он и в самом деле плакал во сне, хорошо, что чапан закрывал голову.

Асия несказанно обрадовалась возвращению старика. Мусакул сразу забыл свои подозрения и страхи.

— Ох, светик мой, дочка, ждала ты, оказывается, своего отца?.. — он ласково погладил её по волосам.

Старик долго пил чай, наслаждаясь домашним покоем и уютom. И только дождавшись конца его чаепития, начала невестка по порядку рассказывать новости. Но не утерпела и заторопилась о главном событии:

— Обрушился приезжий секретарь в особенности на председателя, отец. За всё сразу: и за план, и за поставки, и за неоправданное доверие, и за отношение к людям. И о нашей обиде — тоже сказал. Да что говорить: при всем честном народе всю правду о Байбакире сказал...

Подробно всё рассказала Асия, каждое слово припомнить стараясь: знала, как важно старику снова услышать всё об их жизни, от которой так долго был оторван.

— По всему, снимут его... секретарь так и сказал — на бюро вопрос поставит...

А спустя неделю долетела до Мусакула весть, что кто-то, затаивший обиду, зло ли, стрелял в председателя, когда тот ехал от чабанов в предгорье. Выстрел был издалека, и пуля лишь пробила правую руку...

Старику даже холодно стало от такой вести. Как бы ни ненавидел он Байбакира, но такого зла и ему бы не пожелал. Да и как можно? Как бы ни враждовали между собой, но смерть торопить — это уж последнее дело.

Гул от догадок и домыслов пошел по аулу, да мало ли сплетен накручивается вокруг такого человека.

— Вроде, встречался он тайком с женой джигита Абыралы из соседнего колхоза. Родственники давно знали об этом. И вот, одна горячая голова решилась подстеречь...

— Да нет, не так, оказывается! Стрелял другой, когда-то они были соперниками из-за поста председательского...



Слухи, слухи... Слаб человек — не знает до конца, так хоть придумает. Этот же был самый нелепый: «Решило руководство, сняв Баибакира с поста, отправить на фронт. Вот он сам себя и подстрелил, чтобы не ехать...»

Мусакул, решив сам подробнее всё узнать, направился в контору. У дома председателя толпился народ, и старик повернул туда. Один из мальчишек, бегущих по улице, остановился.

— Ата, там два милиционера приехали. Всю ночь допрашивали председателя. Он сам признался! — выпалил мальчишка.

— В чём признался? — Мусакул был в недоумении.

— В чём же ещё! В том, что сам себя подстрелил!

Мусакул сверкнул строгим глазом на болтливую мальчишку и торопливо направился к дому Баибакира. Он почти опоздал: два милиционера, посадив председателя, собирались уезжать. Старик встал на пути, поднимая руку, потом открыл дверь.

— Эй, Байбакир, где ты? — спросил он.

Тот оглянулся на знакомый голос, они встретились взглядами, и в глазах старика прочел он и сочувствие, и жалость, и страдание одновременно. Байбакир потупился.

— Народ шумит, что якобы ты сам это... себя, — Мусакул уже понял, что так оно и есть. — Что же ты, светик мой? Это что ж за грех ты на себя принял? Самого себя?..

— Я думал, кто-то из родственников, пусть, мол, простится, — один из милиционеров, рассердившись, отбросил папиросу. — А этот старик чуть всякую спрашивает. Поехали!

Долго смотрел вслед машине Мусакул, бормоча про себя: «Это тоже, видно, веление судьбы». Потеряв автомобиль из виду, он повернулся и зашагал к дому, даже не взглянув на стоящих рядом людей.

К вечеру старик слёг.

А дня через три он позвонил к себе невестку.

— Конец мой близок, должно быть, светик мой. Пока язык слушается, хочу напомнить тебе. Если что случится со мной, — пусть белый конь при тебе останется. Глаз с него не спускай — это конь надежды нашей, святой он, поняла? — больной с усилием приподнялся и продолжал: — Думаешь, не достигает его ржание ушей хозяина, нашего Наркескена? Ещё как! Разве не приходят без задержек письма его? Так вот и считай — этот белый жеребец связан с жизнью моего единственного. Береги же...



Асия внимательно взгляделась в лицо старика. Глаза его потускнели, словно при заходе солнца. «Я всё поняла, отец», — повторила она, не помня себя.

Вечером она позвала стариков аула. С их приходом больной немного приободрился, даже попытался сесть.

Заметив, что Мусакулу лучше, старики посидели ещё за чаем, потом разошлись. Не понравился Мусакулу их скорый уход. «Не дух поддержать пришли, а дно казана подстеречь...», — бурчал он, но что делать, больной человек всегда скор на обвинения...

К ночи ему стало трудно дышать. Асия суетилась рядом, подавая воду, лекарство, ставя компрессы. Потом пришёл покой и Мусакул послал её отдохнуть.

Когда перед рассветом Асия подошла к старику, он уже не дышал, и широко раскрытые глаза в последний раз смотрели на неё, словно напоминая последний наказ.

Он и сам верил этим своим словам, и Асии внушил веру: «Глаз с него не спускай. Этот белый конь святой, да? Он надежду нашу стережёт!..» И никто, кроме Асии, не понял, как поддерживала старика всю войну эта вера. Этот белый конь их надежды...

ГЕННАДИЙ ДОРОНИН

ОТКРЫТИЕ

Я люблю её. Она меня — нет. Ничего особенного, так чаще всего в жизни и бывает. Один из двух всегда только позволяет любить. Моё положение кажется мне предпочтительнее, чем её. Какая, наверное, мука каждую секунду ожидать, что вот сейчас на тебя обрушится надоевшее, как овсянка по утрам: «Клава, ягодка моя! Цветочек мой! Маленькая моя!»

Мою жену звать не Клавой, это я для примера так сказал. Её зовут — Петрова. Просто Петрова. Не потому, что имени её я не помню, а потому, что всегда и везде её называют — Петрова. Петрова там, Петрова здесь, Петрова не подведёт, Петрова горы свернёт... Когда я делал ей предложение, то тоже сказал: «Выходи за меня, Петрова!» — и она, к удивлению, согласилась. А имя у неё обычное — Елена.

Мы родились с ней в одном дворе — квартиры были через стенку, нас водили в один детский садик, где она нещадно дралась с мальчишками, мы учились с ней в одном классе, сидели за одной партой, и я обречен был передавать ей записочки от Вадьки, Кольки, даже от лопоухого Пушкина. (На самом деле у него была фамилия Селивёрстов, но он уродился кудрявым, а в нашей школе все кудрявые и кудреватые были Пушкиными, и чтобы хоть как-то отличать их друг от друга, бедняг называли лопоухим, курносым, толстым Пушкиным. Был даже доходяга-Пушкин, прозванный так за необыкновенную длину и костлявость.) Лопоухий Пушкин был короток, толст, но и он любил Петрову.

Никто не смог устоять перед её красотой. Она ещё училась в седьмом классе, а мужики при ней уже становились слюнявыми телятами. Не буду расписывать её прелести, поверьте, что все оборачивались, когда она проходила. Даже первый секретарь обкома партии. Директор школы — Николай Иванович, когда произносил её фамилию, то всегда глубоко вздыхал, чуть не всхлипывал.



И тогда на него строго смотрела учительница астрономии — Инна Филипповна, которая учила нас, что Солнце вращается вокруг Земли, а галактика вокруг Солнца; чтобы выяснить столь непонятный феномен, некоторые её ученики подались в астрономические институты, защитились, написали гору книжек, доказывая, что Инна Филипповна не права. Впрочем, это другая история — не про Петрову.

Астрономичка очень не любила Петрову, как только сутулая, морщинистая старуха может не любить пятнадцатилетнюю красавицу. «Она даже не знает массу Земли», — может быть, говорила она вздыхающему директору, но он, наверное, молчал, вроде как соглашался, но когда говорил «Петрова», всё равно почти всхлипывал. Говорили, что до войны он любил Инну Филипповну, тогда ещё молодую и без морщин, и она была самой красивой, такой как Петрова, даже красивее, но вскоре директора, который был тогда учителем черчения, забрали на войну, и он там воевал смело и побеждал, и дошёл до самого Берлина, но Инна Филипповна его не дождалась, даже и не обещала ждать, а вышла замуж за историка. Директор вернулся с войны, а его красавица живёт с другим, только улыбается издалека. Даже в другую школу перевелась, вот так вот! Тогда он запил, как многие фронтовики, у которых только после Победы всё заболело — и души, и старые раны, а лечить всё это они умели только водкой. Пил он долго, основательно. Даже на пьяного девушки на него гроздьями вешались, а он их видеть не хотел.

Так и остался один. Постепенно разочаровался в водке, нельзя ведь жить всё время на анестезии. Пошёл учиться — фронтовикам послабления были. Астрономичка тем временем лишилась своего историка, которого однажды ночью увели куда-то трое вежливых мужчин, и он больше не вернулся. Куда не обращалась потом Инна Филипповна, везде ей говорили: «Не знаем, не числится, не поступал...» Потом, правда, дали какую-то справку, но сам он исчез. Она не долго была одной, пригласилась около редактора городской газеты. Тот был счастлив, но женат, и имел двоих детей. Вскоре жена его откуда-то приехала, и пришлось астрономичке перебираться к фотографу, у которого даже угла своего не было, и стали они жить в фотолаборатории — и проявитель, и закрепитель зеленю плескались в бутылках, и она всё опасалась — не выпить

бы отраву вместо вина. Но зато какие фотографии любимой сделал фотограф! Жанр этих фотографий он определял так: «Нюшки», но Инна Филипповна знала, что это называется «ню». Смело фотографировалась она, пока не заметила, что фигура её уже давно не та, что была на любительских карточках довоенного времени, хоть и облачена тогда была в сатиновую юбку и клетчатую трикотажную кофту.

Недолго длилась эта счастливая фотосессия, фотограф, а что возьмёшь с людей искусства, стал охотнее наводить объектив на учительниц помоложе. Она терпела, понимала, что, может быть, именно так подогревается фотографическое вдохновение, но тут по линии профсоюзов была устроена его выставка. Как раз шумели шестидесятые годы, и он выставил свои «Нюшки», и художественная общественность, а самое главное — руководители народного образования узнали, как выглядит астрономичка в стиле «ню». Скандалище мог разгореться небывалый, но не разгорелся, потому, что даже в народном образовании нашлись работницы, которые говорили: «Подумаешь...» Но Инна Филипповна всё равно перевелась в другую школу, вообще в другой район — ей не привыкать было переводиться. И туда вскоре назначили нового директора — Николая Ивановича, и они встретились спустя долгие годы.

И так случилось, что астрономичка, увидев директора, постаревшего, поседевшего, влюбилась в него без памяти. И стала сохнуть по нему не по дням, а по часам. И так подкатывалась, и эдак. А он словно гранит замёрзший. Как скала. Четырёхкилометровый ледник Перито-Морено.

Инна Филипповна в активистки подалась — семейные вечера устраивать, вылазки на природу, доставать путёвки в дом отдыха. А Николай Иванович с вечеров уходил раньше всех — сразу после торжественной части и доклада; на природу с коллективом выезжал, но не пил, собирать грибы не ходил, как астрономичка ни звала его, а дома отдыха терпеть не мог, — и ничего у Инны Филипповны не вышло. Так и состарились они, и он стал почему-то вздыхать, когда называли фамилию Петровой, а Инна Филипповна с укоризной смотрела при этом на него.

Петрову любили буквально все. Даже редко трезвый школьный дворник. Он говорил: «Ты — Петрова, я — Петрович, дочень-

ка ты моя!» — и одаривал куском сахара, обсыпанного крошками табака. Петрова сначала, когда вокруг была послевоенная бедность, отдавала эти куски мне, а потом, когда жизнь стала налаживаться, стала просто выбрасывать их. Я говорил ей:

— Лучше Шарик отдавай, ему сладкого не хватает...

Она отвечала:

— Собаки мясо должны есть, нечего приучать их к сахару.

Привыкнут к сладкому и шпионов ловить перестанут.

— Каких шпионов? — спрашивал я.

— Всяких... Вражеских шпионов...

Нет, она не верила ни в каких шпионов, просто говорила первое, что придёт в голову. Она давно узнала, что какую бы глупость не скажет, всех тут же это приводит в умиление. Никому в голову не приходило назвать её душой. Любых девчонок с удовольствием называли дурами, только не её.

В четвёртом классе она сказала мне:

— Замуж я выйду за тебя, ты честный. И рост у тебя хороший, да ещё подрастёшь маленько... Но мама правильно говорит, что ты не приспособленный...

— Сама ты такая! — обиделся я.

Она объяснила:

— К жизненным трудностям не приспособленный. Тобою руководить надо, сам ты заплутаешься.

— Что, в лесу живём, плутать я стану?

Она рассмеялась, спросила:

— Ты хоть знаешь, как муж с женой спят?.. Ночью в кровати?..

Я знал, примерно знал, но объяснить не мог. Мне недавно это объяснил Дылда с заднего двора, но я ему не поверил. Дылда даже писать и читать не умел, так откуда же он мог знать про то, что делают ночью мужчина и женщина? Поэтому я сказал Петровой:

— Эти глупости всем известны...

Она так и закатилась:

— Если б не эти глупости, то и тебя на свете не было... Дундук ты...

Летом наши родители чуть не каждый день вытаскивали во двор оцинкованные корыта, тазы, а потом начинали наполнять их водой из колодца. Значит, намечалась грандиозная помывка —

едучее «хозяйственное» мыло, кусачая мочалка, причитания «... почему у тебя чернила даже на голове?» Вода в этих ёмкостях была поначалу просто ледяной и всегда оживала надежда, что за день на солнце она не сумеет нагреться, и «банный день» будет отложен. Напрасно оживала, я помню день, когда с утра и до вечера моросил дождь, но меня всё равно загнали в оцинкованную лохань — так, должно быть, чёрен я был.

В ненавистном этом купании была только одна положительная сторона — возможность увидеть девчонок нашего двора голыми. Тазы и корыта стояли все рядом, и мы — Вадька, Колька, я и лопухий Пушкин — с интересом рассматривали необычное, по нашим тогдашним понятиям, строение девчоночьих тел. В них, по мнению лопухого Пушкина, явно чего-то не хватало. Класса до второго—третьего продолжались эти дворовые моционы, так что Петрову и других девчонок я голыми видел много раз, и вполне можно было предположить, что в вопросах пола я был дока. Но она сказала «дундук»...

Первая любовь случилась у неё ещё в первом классе. Она уступила домогательствам Кольки, его приставаниям и ухаживаниям, и пошла с ним в тёмные заросли акации и сирени на заднем дворе, и он типографской краской (ведь достал где-то!) нарисовал ей чёрный треугольник именно там, где такой треугольник должен был у девушки находиться, если верить Рубенсу, Тициану, Ренуару и другим великим художникам, рисовавшим на картонках для календарей. Когда обнаружился этот живописный шедевр, то Колька отведал отцовского ремня, а истощно орущую Петрову отмывали в лохани посреди двора, — так что её несчастная первая любовь завершилась как бы у всех на виду.

Потом она долго не влюблялась, до самого третьего класса, когда втюрилась в графа Монте-Кристо из пятого класса. Граф был троечник, хулиган и его в школе боялись, и ей очень нравилось, когда он после уроков провожал её до дома. Эта любовь продолжалась до самых летних каникул, когда выяснилось, что граф Монте-Кристо оставлен на второй год. Второгодник был тут же отставлен; троечника, которого все боялись, она ещё могла полюбить, но второгодника, над которым смеялись, — никогда.

В седьмом классе я на восьмое марта подарил ей тюльпаны, она поблагодарила, вздохнула с некоторым сожалением, и я понял:



лучше бы цветы подарил кто-нибудь другой — таинственный незнакомец или, в крайнем случае, мотоциклист в потёртой кожаной куртке с площади имени Фоменко, который каждый вечер с ревом носился на своём «Иж-49» по асфальтовым просторам площади, и его не мог поймать даже самый злобный в городе усатый автоинспектор — дядя Наган, у которого — все в городе знали — револьверная кобура пуста. Ко мне она всегда относилась с лёгкой иронией, как к давнишней некрасивой подружке, про которую всё известно, и самой этой известностью она не интересна, но и расстаться с ней не хочется — потому, что она привычна, как выключатель в квартире, который легко находишь рукой в кромешной темноте, и потому, что та смотрит на тебя с затаённым обожанием, и всегда готова выслушивать многочисленные тайны и секреты, и знает кому их потом поведать; иначе для чего секреты, если о них никто не узнает? И вообще, невозможно избавиться от той, которая навек смирилась с тем, что она всегда вторая, что она всегда только фон.

Когда Петрова перешла в десятый класс, мотоциклист с площади Фоменко всё-таки заметил её, и она прочно обосновалась на заднем сидении «Иж-49». Там, на сидении, была специальная ручка, но Петрова при езде всегда обнимала мотоциклиста за кожаные плечи. Этому моторизованному всаднику завидовала вся мужская половина города. Я сказал ей:

— Ты вся пропахла бензином, как карбюратор какой-то...

— Да ты ревнуешь? — спросила она.

Я ревновал. Я ревновал её всегда. И она всегда знала об этом. Как-то, когда мы учились в девятом классе, вечером к ней пришёл какой-то пижон в чёрном костюме, белой поплиновой рубашке, с галстуком-шнурком. Чёрные лакированные штиблеты его сверкали; и как только он сумел сохранить это сверкание, пробираясь к нашему двору по вечно грязным и засыпанным мусором тротуарам? Петрова перед этим два дня не ходила в школу, жаловалась на ангину, но к пижону вышла в коротеньком цветастом халатике (тогда была как раз очередная эпоха «мини»), и они вышли со двора, но далеко уходить не стали — всё-таки ангина, и встали у покосившегося забора в тени вязов, которыми заросла наша улица. Пижон что-то рассказывал Петровой, и та хохотала, забыв про ангину. В нашем дворе стоял старый, весь проржавевший «Студебеккер»,

неизвестно как очутившийся и оставшийся здесь. Я любил забираться в кабину грузовика и читать в этом изолированном и душном, пропахшем солидолом пространстве. Однажды я, практически за сутки, прочитал в «студере» «Трёх мушкетёров». Кузов машины был покрыт выцветшим брезентовым тентом, и здесь дворничиха Матвеевна хранила мётлы, лопаты, грабли, корзины. Я забрался в кузов, откуда мне прекрасно было видно Петрову и пижона. Хотел написать, что очутился там помимо своей воли, сам не знаю как, затащила меня туда неизвестная сила, но это неправда. Я хотел их видеть, ещё как хотел! Со мной она никогда не гуляла, иногда только ходила на танцы, а там пропадала для меня, заверченная в водоворот друзей, кавалеров. Со мной она никогда не стояла у забора, не хохотала над моими шутками, да у меня слова при ней застревали в глотке. Она только однажды целовалась со мной, когда мы все вместе затеяли игру в фантики — «тому фанту прочитать стихотворение, тому — правой рукой схватиться за левое ухо, этому — стоять на одной ноге и считать до ста...» Когда дошла очередь до Петровой, ей досталось поцеловать меня. Она поцеловала в щеку, но все закричали, что это нечестно, надо целовать в губы. Она фыркнула и поцеловала меня в губы. Несмотря на фырканье, поцелуй получился нежным, и я его не забыл. Мы учились тогда в шестом или седьмом классе.

В кузове грузовика под тентом было пыльно, сумрачно, да вдобавок ко всему я наступил на грабли, заработав приличную шишку, но зато я видел их, а они меня нет. Петрова перестала смеяться над рассказами пижона и принялась отнимать у него сиреневую веточку, а он не отдавал, и у них затеялась шуточная потасовка. Петрова раскраснелась, глаза её блестели, пижон всю лапал её, а она как будто и не замечала. А я сидел в кузове и потирал шишку на лбу.

Часа два, нет — два века — простояли они у забора. Стемнело. Я ничего бы больше не увидел, но спасла положение загоревшаяся на столбе лампочка. Пижон перешёл на шёпот и Петрова придвинулась к нему почти вплотную. Я подумал, вот была бы у меня любимая рогатка, замечательное оружие из тонкой чёрной резины и вязового обрезка, которую отнял у меня года три назад школьный физрук, то я бы точно вlepил пижону по заднице!.. Нет, лучше Петровой по... по... Нет, лучше всё-таки пижону...



Наверное, у Петровой с пижоном время летело незаметно, не то что у меня среди лопат и корзин. Но я живо забыл обо всех неудобствах, когда вдруг заметил, что у них началась новая игра: пижон обрывал со своей веточки крошечные сиреневые цветочки и кидал их в Петрову. Они попадали ей на шею и скатывались в широкий вырез халатика. Та шутливо отмахивалась, но видно было, что ей это приятно. Меня озноб пробил, когда я попытался представить, куда же попадают эти цветочки. Я готов был провалиться на месте; и надо было вылезти из кузова, громыхая лопатами, сказать что-нибудь презрительное, типа «голубки» или «воркуете, молодёжь!», или даже «надо же, ангина не мешает!», сплунуть и отправиться восвояси, гордо насвистывая «Чу-чу», но я сидел, боясь пошевелиться, придавленный стыдом и отчаянием... Впрочем, стыда никакого не было — только боязнь, что меня могут застукать, и ещё было нечто, придавившее меня к полу грязного кузова. Какое-то сладкое и болезненное чувство, которому и по сей день я не могу дать названия. Помню только, что я не мог пошевелиться, как замороженный, не мог даже моргнуть — смотрел во все глаза, и ненавидел пижона, её, а больше всего себя, но если бы я тогда умел спросить у себя и честно ответить на этот вопрос, то я, может быть, и не хотел бы, чтобы тогда игра эта прекратилась... Я сидел на полу кузова и твердил про себя: «Так мне и надо, так и надо!..» Но объяснить себе, почему же мне «так и надо», я не мог.

Наконец, «больную» позвали домой:

— Петрова, уже поздно! Совесть имей, завтра мне в первую смену!

Даже мать называла её по фамилии.

Она отлепилась от пижона, помахала ему рукой: «Завтра в Фурмачах эстрадный играет», — и лёгкой своей походочкой поплыла к дому. Потом, вдруг, резко повернула к «студеру», поскребла рукой по брезенту, сказала негромко:

— Ну что ты с лопатками обнялся, дундук!.. Лучше скажи домашнее задание.

Пришлось, полыхая ушами как первомайскими стягами, вылезать из кузова, тащиться домой, переписывать для неё задание, а она всё усмехалась, пофыркивала. Потом, спустя много лет, она спросила у меня:

— Ты ведь тогда не очень разозлился, в кузове?..

Я не нашёлся, что ответить.

Первый раз она вышла замуж ещё на втором курсе. Как-то она пришла ко мне за конспектами — вечно она пользовалась чужими записями, опаздывала на лекции, прогуливала семинары, но выходила с экзамена и показывала зачётку — «отл», и редко «хор». Она заметно нервничала. Попросила сигарету, закурила, помолчала с минуту, а потом сказала:

— Поздравь меня, замуж выхожу. Не отговаривай, всё решено... Если тебе интересно, скажу — он лётчик... Военный...

— Он что — образец честности и намного выше меня ростом? — спросил я.

— Ну при чём тут это?! — закричала она.

— Просто однажды ты сказала, что замуж выйдешь за меня, потому что я честный и высок ростом. И ещё подрасту...

— Вечно ты всё в шутку сводишь! — попыталась обидеться она, но я понял, что и она не забыла эти свои давнишние слова.

Этого летчика я никогда не видел — он то летал над облаками, то уезжал в командировки, на рыбалку или охоту. А когда был дома, то подвозил Петрову до института на своём морковном «Москвиче», но всегда не доезжал целый квартал, так что я видел только его силуэт, профиль, так сказать. Не орлиный.

Я не знаю, как они жили — дружно, с любовью или дрались-царапались с утра до утра, но она не пропускала ни одной студенческой вечеринки, притягивая к себе восторженные взгляды. Приходила она и на все вечера, танцульки, концерты и никогда не уходила с них одна, всегда находился провожатый. Несколько раз это был я, мы шли по ночным улицам и говорить, почему-то, нам было не о чём. Я тогда увлекался археологией, даже попал в экспедицию на раскопки кургана, и готов был часами говорить о старинных находках, удивительных открытиях, но рядом с ней всё казалось мелким и неважным, и нужно говорить как-то особо, находить специальные слова, а они, слова эти, как раз и выходили неуклюжими, тяжёлыми, неумными.

— Мы обнаружили парные захоронения, — сказал я. — Мужчин и женщин... Наши ученые ищут этому объяснения... То ли они умирали одновременно от каких-то неведомых болезней, то ли их умерщвляли вместе...

— Чего уж мудрёного! — фыркнула она. — Если воин погибал, то вместе с ним в царство мёртвых отправляли и какую-нибудь заложницу, чтобы ему там не очень одиноко было...

— А, может, всё-таки жену?..

— Это вряд ли, — быстро откликнулась она, — жена должна воспитывать детей, продолжать дело мужа...

— А вдруг это добровольное решение?

— Ага, конечно! — засмеялась она. — В могилу по доброй воле...

— Это сейчас кажется невероятным, — сказал я, — а в прошлые времена, наверное, никто не удивлялся, если жена следовала за мужем...

— Это археологические понятия, — сказала она, помолчала с минуту и вдруг добавила:

— Впрочем, за любимым можно и в ад... Но где он — любимый? А вот ад — на каждом шагу.

После окончания института она уехала в Восточный Казахстан, мы переписывались — не регулярно. Она писала, что скучает по нашему городу, нашему дому, что в жизни у неё все хорошо, успехи на работе замечательные, купила цветной телевизор и даже машину подержанную взяла, ходит на водительские курсы. Про лётчика не писала ничего, но кто-то из однокурсников написал мне, что тот улетел в неизвестном направлении. История там была не очень понятная — то ли она его с кем-то застала, то ли он её застукал, но они расстались.

Она тут же вышла за какого-то лесного инженера, и пропала в лесах. Несколько лет я о ней ничего не слышал. Потом получил от неё письмо, в котором она сообщила, что опять одна, и в этом повинен какой-то Медведь. Я сначала подумал, что этот медведь задрал её инженера, но выяснилось, что это фамилия другого лесного инженера, в которого она влюбилась и ради которого оставила первого инженера, но Медведь не решился оставить свою жену, — и у Петровой опять всё в жизни сломалось.

Я купил билет на поезд и поехал к ней. Жила она в тёмной комнатухе похожего на барак дома. Она не ждала меня, но не удивилась. Спросила:

— Думаешь, теперь твой выход?..

— Выходи за меня, Петрова, — предложил я. И она согласилась. Мы вернулись с ней в родной город, и на вокзале все оглядывались нам вслед, и у меня душа замирала:

— Неужели эта красавица принадлежит мне?..

Нет, она не принадлежала мне.

Особенно отчётливо я понял это на каком-то торжестве, разыгравшемся вскоре после того, как мы поженились. Вполне допускаю, что это было как раз торжество, посвящённое нашему бракосочетанию. Проходило оно в каком-то кафе. Гостей было приглашено много, почти все они были мне незнакомы. Я давно знал, что она любит бывать на людях, от них она как будто загорается, глаза её начинают искриться больше чем обычно, она вся тогда преобразается, становится ещё притягательнее, я сказал бы даже — обворожительнее.

На торжестве оказался один тип, которого она представила как старого школьного товарища. Я не очень удивился этому — чего человек не говорит на пьянках, может, он на самом деле школьный товарищ, но мы одиннадцать лет просидели с ней за одной партией, и он мне как-то не припоминался. Петрова всё время танцевала с этим типом, хотя он был с женой; в перерывах между танцами рассказывала его жене обо всяких забавных школьных случаях, которые происходили с нею и этим типом. Я слушал и пытался припомнить эти случаи, но они тоже не вспоминались. Потом она затеяла игру — мериться носами: все по очереди должны прижиматься друг к другу щеками, так что сразу становилось ясно, чей нос длиннее. Владелец самого длинного носа получает возможность поцеловать любую даму на торжестве. И затеялась весёлая возня: дамы, обсыпая пудрой кавалеров, прижимались к ним с хохотом и визгом, и в итоге, конечно же, самый большой нос оказался у того типа, и он, естественно, выбрал для поцелуя мою жену. А что, я бы тоже выбрал, но у меня не было такого примечательного носа, как у её старого школьного товарища. Они вышли в центр зала и, окружённые гостями, стали целоваться, а окружившие их зачем-то принялись считать: «один, два... четыре... семь», — как на свадьбе. Петрова, заметив моё недоумение, весело подмигнула мне, махнула рукой, дескать, всё это игра, флирт, понимать надо — не напрягайся, дундук.

Я расслабился и отправился курить на улицу. Было темно, тихо и сыро после дождя. Музыка из кафе сюда почти не доносилась, только окна заведения ярко светились, и всё происходившее внутри было как на ладони. Стояла поздняя осень, но деревья

пока не расстались со своим пожелтевшим нарядом. Я сорвал один листок, и дерево окатило меня целым водопадом брызг. Я подошёл ближе к окну, закурил. Был один из тех моментов жизни, которые запоминаются. Так иногда бывает, что понимаешь — вот это обязательно запомнится, и не знаешь, почему. Забываются долгожданные события — получение двухкомнатной квартиры с протекающими батареями отопления или покупка машины — какого-нибудь горбатого «Запора», но никак не идёт из памяти, что, когда я учился во втором классе, мне купили настоящие маленькие кирзовые сапоги — чёрные, как ночь, остро пахнущие ваксой и скрипящие. Долго поносить их не пришлось. Чуть не на второй день после покупки я забрался в лужу — проверить, насколько водонепроницаема моя новая обувь — и зацепился голенищем за кусок стальной и острой как нож проволоки — и разорвал голенище. Я ревел тогда в голос, так нравились мне мои сапоги, и откуда-то знал, что запомню это на всю жизнь. Сапоги потом починили, но я их разлюбил, старался почти не надевать, а вскоре и вырос из них.

Отлично запомнился мне день приёма в пионеры, когда в пионерской комнате мне повязали красный галстук, и я очень гордился этим, даже дома не снимал его. Но запомнился день не столько галстуком — новеньким, шёлковым, необычайно приятным на ощупь, — а огнём в печи, который развела к моему приходу из школы бабушка Саша. Я заледенел на ноябрьском ветру, пока шагал домой с распахнутыми полами пальто, чтобы все видели на мне этот замечательный алый кусочек ткани. Я ворвался домой как раз в тот момент, когда бабушка открыла чугунную дверцу печки и орудовала кочергой. Огонь трещал среди сосновых и березовых поленьев, и казалось, что готов выпрыгнуть из тесного своего обиталища, чтобы согреть меня. Я снял пальто и присел на крошечную табуретку у открытой дверцы — и мне стало тепло. Я сидел и смотрел на языки огня, и мне становилось всё теплее.

— Скажи, галстук у меня зашибись? — спросил я у бабушки. И тогда она погладила меня по голове, вздохнула и сказала:

— Лишь бы войны не было...

Тогда я не знал, что революция, гражданская война подрубили под корень почти весь наш род, так что бабушке не было причин радоваться моему красному галстуку.



Помню, как я плакал, стоя у красной старинной стены, в которую на века было вделано чугунное кольцо. Шёл-шёл вдоль старинной стены какого-то полуразрушенного дома в Уральске, и было весело, легко — день был чудесен, жизнь чудесна, но, вдруг, увидел это кольцо. Когда-то к нему привязывал коня лихой казак. В доме в тот день, должно быть, творили тесто, разогревали противни, резали осетрину, готовили вязигу, в комнатах наверху и подклете царила суета, приподнятое настроение. Сегодня праздник, пожаловали дорогие сваты, значит, скоро уралке в дорогу...

Просватали её или не успели — и казака убила беспощадная пули из большевистского маузера?.. Никто уже не ответит...

А может, здесь оставлял двуколку молодой купец, отмечавший выгодную сделку в шикарном ресторане неподалёку?..

Обо всём этом я подумал только через много лет, вспоминая тот день. А тогда только увидел кольцо, и слёзы брызнули из глаз. Я стоял и как ненормальный лил слёзы, и плакалось сладко и хотелось плакать ещё. Проходящая мимо женщина сказала тогда:

— Не плачь, мальчик. Кто обидел тебя?..

Я замотал головой.

— Взгрустнулось, да?..

Я не ответил. Да, взгрустнулось... И запомнилось.

Да, бывают такие дни...

Я взглянул через стекло в кафе. Вдоль окна там стояла длинная скамья, и на ней спинами ко мне сидели утомившиеся танцоры. Рядом с тем типом сидела его жена, а с другой стороны — Петрова. Они о чём-то весело разговаривали. Жена поправляла причёску, какие-то там заколки. Петрова ничего не поправляла, потому, что её рука гладила того типа по спине, а его жене это совершенно не было видно, а мне через стекло видно, наоборот, очень хорошо. Тип просунул руку за спину, нашёл ладонь Петровой, и так они сидели, не подозревая, что я смотрю на них с улицы — до тех самых пор, пока не грянула опять музыка, и все пошли танцевать... Больше в тот день я курить не выходил.

Прошло много лет, и много чего выпало на мою долю. Всё менялось, но не проходила моя ревность, и поводов для неё было, хоть отбавляй!

Она приходила с работы навеселе, и тут же прибежала к уловке старых пьяниц: «Не выпить ли нам с устатку?»

Она без меня ходила на корпоративные вечеринки и возвращалась за полночь, поддтая, с размазанной помадой на губах.

Она легко уезжала в командировки, звонила, озабоченная: «Варишь ли ты, дорогой, пельмени?.. Сначала давай воде закипеть, а пельмени засыпай потом...» На фотографиях, привезённых из командировок, рядом с ней присутствовали мужики без пиджаков: «Конечно же, после семинара мы ужинали в кафе! А что такое?..»

Однажды он уехала в другой город встречать новый год в компании коллег; веселье, по её словам, удалось. Вообще, всякие дни рождения, юбилеи, пьянки с поводом всегда лучше проходили, когда меня на них не было. Что поделаешь, скучный и неинтересный я человек.

Как-то её пригласил танцевать совсем мальчишка. Это тоже происходило на каком-то торжестве. Кажется, на чьей-то свадьбе. Как много в жизни, всё-таки, всяких торжеств!..

Развязно, не вынимая жвачки изо рта, он подошёл, тронул её за голое плечо, не обращая на меня никакого внимания, и она пошла с ним в центр пьяного зала, он положил ей руки на талию, ниже талии, почти на бёдра, и принялся что-то шептать ей на ухо, и она слушала, изредка отстраняясь от него, наверное, чтобы ему была лучше видна её улыбка, готовность и дальше слушать его шёпот. Мальчишка был красив — туманные глаза, чёрные брови вразлёт, молодое нахальство на тонких губах, и она прижалась к нему, и меня поразило не это объятие, а скорость, с которой оно наступило. Как будто она ждала его, как будто так истосковалась по этим танцам-обжиманцам, что не могла удержаться — жадно прижалась к этому мальчишке. Лицо её зажглось — загорелись щёки, изнутри странным матово-зелёным цветом вспыхнули глаза, смягчились черты лица — мне почти не удавалось вызвать в ней этот огонь, но я знал его...

Перед этим она заказала у дорогой портнихи платье, с десяток раз ездила к ней — примеряла, уточняла, исправляла. Казалось, что в пошив этого наряда она вкладывала какой-то неведомый смысл, она словно брала какую-то высоту, преодолевала что-то в себе. Я не вполне разобрался в этом, даже когда она привезла платье домой, натянула его на себя: «Каково? Оцени!» Платье на самом деле было замечательное — из полупрозрачной ткани, с ог-

ромным вырезом, открывавшим прозрачный кружевной лифчик. Грудь у неё на самом деле красивая. Но зачем выставлять её на обозрение — этого я не понимал. Она обиделась.

— Неужели, дундук, ты не понимаешь, что каждой женщине хочется быть привлекательной? — сказала она. — Для тебя это одежда, тряпка, для меня — доступный способ самовыражения...

— Чего? — переспросил я.

— Того самого!.. Каждая золушка мечтает о хрустальных башмачках... Моё платье, оно словно новая кожа, новое сознание... Но разве тебе понять?..

— Это ты — золушка? — спросил я.

Она только махнула рукой.

В день свадьбы я убедился, что она ещё углубила вырез...

Нигде чаще, чем на свадьбах, не говорят о счастье. Бесконечно пьют за счастье, беспощадно бьют специально припасённые бокалы, как будто боятся, что если не накликать на себя счастье, то накличетя совсем другое...

И эта свадьба кружила головы.

Молодой красавец не отлипался от Петровой, или она не отлипалась от него. Музыка добавляла действию патоки. Я сидел за столом в окружении таких же, как я, стареющих мужиков, которые давно выпили свою цистерну, и мечтал напиться, как в молодости. Но у меня были почки, давление и ещё что-то неприятное, и напиться я не мог.

Но всё-таки напился. Каким-то красным противным вином без закуски. Пошёл в туалет, и меня вырвало в раковину. Я умылся и вернулся в зал. Петрова сидела за столом рядом с мальчишкой, и они пили на брудершафт. Какая-то из многочисленных тётушек закричала, увидев меня:

— Тут кое-кто целуется!

Я и сам видел, что целуются.

Петрова вскочила и побежала навстречу мне, должно быть, я был страшен — всклокочен, бледен, пьян:

— Да вот, женщины надавали мне своих сумочек, сию, охраняю их...

Я взял бутылку, налил в стакан.

— Может, пойдёшь, приляжешь, здесь есть специальная комната для отдыха, — проявила она заботу.

Я понял: спрашивает меня. Я не сдержался тогда, жалею об этом. Что-то принялся кричать, махать руками — жалко и унизительно. Свадьба смотрела на меня широко открытыми глазами.

— Дундук, — сказала она, — ты мужик, ты меня и охраняй от других. Если хочешь — иди и дерись с ним, если кишка не тонка.

Она была спокойна, и она была права. Я был неправ.

— Что ты терзаешься, что? — сказала она несколько дней спустя. — Изводишь меня и себя подозрениями. Что, ты застал меня в постели с чужим мужиком? Застал? Невинный флирт в твоих глазах вырастает до страшной измены... А ведь доказательств никаких!..

Меня словно молнией ударило.

А тут как раз подвернулась эта дача. Можно просто сказать — удача. А на этой латифундии подвернулся Глеб — на самом деле, глыба — цельный, не сомневающийся, сильный. Стена.

Петрова давно хотела дачу — ей мнилось небываемое: гости на джипах, шашлыки, плетёные кресла, походы за грибами, тучные розы, малина в вёдрах, закатные чаепития, дорогой коньяк и сигареты с золотым фильтром... Я говорил ей, что дача — добровольное рабство: ковыряние в грядках, где в итоге вырастет пяток кривых огурцов, да расплодится ползучий горох; бесконечная нервотрёпка «нет воды — есть вода — мало воды»; злобные комары, чьи очертания подозрительно напоминают «Мессершмидт-109»; распутица, преодолевать которую лучше всего в сорокоградусный мороз в декабре и оставаться там до нового сезона, потому, что приехать туда весной можно будет только на танке; протекающая крыша, каждый очередной ремонт которой делает её ещё дырявее; электричество, которое выключается чаще, чем включается, так что кажется, что план «ГОЭРЛО» до сих пор не выполнен...

И так бы мы, наверное, долго препирались, если бы она однажды не открыла пудовую рекламную газету и не прочитала: «Недорого продаётся дачный участок с домиком и баней. Проезд автобусом до остановки «Вторая дачная», очень удобно». Таких объявлений она видела уже миллион, но её совершенно покорила приписка «очень удобно». Она тут же начала звонить, и так появился Глеб.

В самом деле, он просил за участок совсем недорого. Эта дача досталась ему в наследство не то от упокоившейся тёти, не то от

сестры, в общем, он эту дачу как палкой сшиб с дерева. А у него уже была дача, большая, заросшая, стоявшая вплитык к полученной по наследству, — и чего ему, спрашивается, делать на двух участках?.. Даже такой как он надорвётся один на такой площади.

Конечно, поехали смотреть дачу, и она понравилась Петровой. Дача требовала ещё плотников, кровельщиков, штукатуров, но была неподалёку от речки и берёзовой рощи. А Глеб обещал всяческую помощь в обустройстве, у него и знакомые строители были, и сам он был не то прораб, не то рыбоволов.

— Надо брать! Дешевле и лучше не найдёшь! — загорячилась Петрова.

И я согласился. На всякий случай покочевряжился, дескать, теперь сам смысл жизни изменится, будем служить даче. Но в душе понимал: всё складывается правильно, я сам бы так придумать не смог.

И закипели дачные работы. То завозят доски, то черепицу, то нужно ждать электриков, то готовить денежки для сантехников.

Однажды позвонили: продаются водопроводные трубы какого-то особенно замечательного качества, без них никак не обойтись при сооружении бани, а как на даче без бани?.. Нужно срочно быть на участке. А на дворе — ноябрь, снежок моросит, дороги раскисли. Я на своём диковинном «Запорожце», железном таракане семейной жизни, конечно же, туда не проеду.

Я позвонил Глебу:

— Выручай, дорогой! Трубы надо встретить, иначе без бани остаемся!.. Давай на своей «Тойоте» смотайся, да Петрову прихвати... До вечера обернётся... Зато дело какое свалим!..

Глеб согласился, заехал за Петровой. Я подумал, что к вечеру непогода ещё усилится, чёрные тучи наваливались на город, казалось, что готовы расплющить хлипкие дома. Если к ночи ещё и подморозит, то «Тойота» ни за что не выберется с участка.

Так и получилось. Туда они проехали, встретили грузовик с трубами, закрыли трубы в сарае на участке Глеба. А потом Петрова позвонила:

— Такой гололёд на дороге, ты не представляешь!.. Даже не знаю, что делать!.. Ещё и темнота кромешная!..

— Милая! — сказал я. — Я же говорил, что человек постепенно попадает в зависимость к собственности, почти наркотическую...



Но раз уж так вышло, то вам ничего не остаётся, как заночевать на даче. В домике у Глеба хорошая печка... Думаю, он не съест тебя... Можешь, конечно, растопить и нашу печку, если не хочешь быть в компании Глеба. А завтра утром распогодится, приедете...

— Ага, знаю я тебя! — сказала она. — Потом навоображаешь себе невесту что, ведь навоображаешь?..

— Не рисковать же, в самом деле, жизнью, — сказал я.

И она согласилась. Правда, сказала, что я веду себя необычно, даже подозрительно.

— Смотри, я могу внезапно приехать, — засмеялась она. — Посмотрю, не с девушкой ли ты...

В ту ночь я не сомкнул глаз.

Потом они рассказывали мне, как растапливали печку, как не хотели разгораться дрова, как пришёл строгий дачный сторож и потребовал с них документы, и пришлось ему налить водки.

«Водка была, этот славный помощник всему на свете», — отметил я.

— Проговорили почти до рассвета, — сказала Петрова. — Оказывается, сестра Глеба училась в нашем институте, представляешь?.. А его жена собиралась поступить, но потом передумала и пошла в педагогический...

— А трубы взяли хорошие, — вспомнил Глеб, — хотя и тёмные...

— То есть ворованные? — спросил я.

— Может, и не ворованные, а какие-нибудь контрабандные... но хорошие...

— В общем, Петрова тебя не обижала? — спросил я у него с улыбкой...

— Нет, не обижала, — смутился Глеба.

А весной я выпросил у начальства командировку, собирался уехать на две недели в самый разгар посевной компании. Петрова ползала по земле и сажала не то бегонии, не то бижутерию. Глеб ходил по своему участку в одних трусах, с лопатой в руках, рельефные мышцы красиво перекачивались у него под успевшей загореть кожей — на него даже смотреть было приятно.

— Уезжаешь, а тут могут привезти кирпич, — сказала она. Но я почувствовал, что сожалений по этому поводу она не испытывает.

— Что, Глеб не поможет? — сказал я.

- Глеб, поможешь ей, если что, пока меня не будет? — крикнул я.
- Конечно! — успокоил он меня.

Когда я вернулся, уже отцвела сирень. Отличная пора, когда нет ещё изнуряющей жары, не донимают комары и мошки. В общем, время долгих вечерних чаепитий, разговоров. Глебова жена — крошечная, быстрая, миленькая, с блестящими глазами, короче, мышка-норушка, у неё и имя подходящее — Милица — и где только имя такое нашли? — всё время норовила шутить. Она любила похохотать. Пила чай из крошечной чашечки, всё время просила подливать ей, как будто нельзя было пить из большого бокала, и старалась развеселить нас.

— Знаете ли вы, что такое мышь? — спросила, лучезарно улыбаясь, Милица. — Это животное, путь которого усеян упавшими в обморок женщинами... Ха-ха-ха...

«Про себя рассказывает», — подумал я, и в ответ рассказал самый бородатый из известных мне анекдотов:

— А любовь — это болезнь...

— ...которая требует постельного режима, — хором подхватили мои дачники.

И все расхохотались.

— Завтра надо картошку полить обязательно, — сказал Глеб. — На неделе обещали приехать, обработать от колорадского жука...

— У меня лично отчёт, — сказал я. И на самом деле, я был очень занят.

— Вечно всё падает на мои хрупкие плечи, — засмеялась Петрова. — Но это мои саночки, буду их возить...

— Я только до обеда могу, — сказала мышка-норушка.

— Да без тебя управимся! — махнул рукой Глеб, глыба, прораб жизни.

«Вот оно! — подумал я. — Завтра...» И, вдруг мне вспомнилось, как в средневековье испытывали жён — раскалённым железом. Попала под подозрение — бери в наманikyренные и надушенные ручки (хотя, какой там маникюр в восьмом или девятом веке) красную шипящую сталь, — и если не обожглась — значит, верна. А если задымились ладошки — в башню её на хлеб и воду, на вечное сидение...

«Ни к чему нам мучить женщин, — мелькнуло у меня в голове, — я сам за неё это раскаленное железо в руки возьму...»



На утро я проснулся раньше обычного. Петрова что-то промычала с кровати, не раскрывая глаз, типа:

— Чайник включи, колбаса в холодильнике...

Я плотно позавтракал, сделал бутерброд с колбасой, завернул его в газету, положил в портфель — бутерброд не бывает лишним в такой ответственный день. Когда подошел к остановке, там было почти пусто, так что никаких знакомых не попалось, и я благополучно добрался до «Второй дачной».

Предутренний туман висел над речкой, в ней плескалась рыбёшка, соскучившаяся по солнцу. В берёзовой роще надрывались пичуги. Тепло, уютно было на рассветной земле.

Я обошёл дачный домик, и там, где к нему примыкала баня, забрался на её крышу. Подумал: «Только бы не провалилась!», но вспомнил, что Глеб со своими товарищами делали всё на совесть, и успокоился. Потом осторожно прошёл по карнизу и толкнул створки окна на втором этаже. Ещё вчера открытый шпингалет не помешал мне проникнуть вовнутрь. Здесь была спальня, здесь стояла наша огромная кровать... Правда, я забыл, когда спал в последний раз на ней. Кажется, зимой, когда случайно надрался: встретил школьного друга, вспоминали, естественно, Петрову, как тут не надраться?

Школьный друг спрашивал:

— Не знаешь, где сейчас Петрова?

— Знаю, но не скажу...

— Врёшь ты всё! Ты сам был по уши в неё влюблен, но тебе не досталось...

— Может, тебе досталось? — спросил я.

— Мне как раз и досталось, — сказал школьный друг.

— Врёшь, собака!..

— Вру, — легко согласился он. — Но так хотелось... Жалко, что не знаешь, где она обретается...

— Жалко, — не стал спорить я. А дальше не помню, кажется, ещё пили, пытались разыскать Петрову, названивая одноклассникам. Проснулся на даче, на этой широченной кровати.

Я присел на краешек кровати, взял со столика какой-то журнал, попалась интересная статья про женщин Берия — с этими женщинами приятнее будет коротать время.



Часа через полтора подъехала «Тойота», послышались весёлые голоса Глеба и Петровой. Щёлкнул замок на входной двери:

— Я сейчас переоденусь и выйду! — закричала она. Я на всякий случай нырнул в небольшую комнатку, примыкавшую к спальне — гардеробную, хотя в ней хранились и всякие инструменты — рубанки, лопаты, корзины (опять лопаты и корзины!)

Но Петрова наверх не стала подниматься. Я подкрался к лестнице, осторожно выглянул: она надевала трикотажные брючки, балансируя на одной ноге.

— Скоро ты? — спросил нетерпеливый Глеб снаружи, и тут же вошёл в комнату. Петрова быстро прикрыла голые груди руками, но тут же опустила их. Глеб подошел к ней, наклонился и поцеловал её.

Она прошептала:

— Погоди, не торопись...

Они вышли из домика, начали протягивать шланги, включили колодезный насос и долго поливали картофельные рядки, хохоча и брызгаясь водой. Извозились с головы до пят, настоящие дети!

— Рано поливаем всё-таки! — кричала Петрова.

— Ничего, картошке влага не повредит. Весна-то какая ранняя была!..

Я подумал, что зимой не останемся без картошки, а картошка в наших краях отменная. Рассыпчатая. Вкусная.

Перед самым поливом Глеб растопил баню, запах горячего дерева, пара доходил даже до меня. Хорошая всё-таки баня получилась, золотые у Глеба руки.

Они собрали шланги, выключили насос, немного постояли под деревьями — не то отдыхая, не то наслаждаясь близостью друг друга.

— Всё, теперь в баню! — закричала Петрова. — Грязь смывать!..

Она взяла купальный халат и нырнула в баню. Глеб не спеша последовал за ней. Дверь за собой они закрыть не удосужились, да и зачем — посторонних не было. Высунувшись из окна и рискуя быть обнаруженным, я смог только увидеть, как они обнимались в предбаннике, как она гладила его спину. Потом они зашли в баню...

Я достал из портфеля бутерброд с колбасой. Времени уже прошло достаточно, и я проголодался. Да так, что подобрал все крошки с бумаги, в которую был завернут бутерброд.



Мылись они долго, тщательно. В общем-то, и вывозились порядочно.

Наконец Петрова вышла, распаренная, розовая. Купальный халат был накинут на голое тело. Мне показалось, что розовым светится её живот, грудь — вся она светится. Вслед за ней показался и Глеб — в одних плавках, с полотенцем на плечах.

Распаренные, они остановились у большой деревянной кадки. Она тихо засмеялась, зачерпнула пригоршню дождевой воды и плеснула ему в лицо. Он даже зарычал от удовольствия.

Много раз мне доводилось читать в книжках, что в сжатых кулаках от напряжения ногти пальцев могут впиваться в ладони до крови. Никогда не верил этой брехне, но вот кое-как разжал кулаки — крови нет, но болят ладони, как от порезов. А больше ничего не болит, всё тело стало похожим на старый лохматый тулуп.

— Вот твой сейчас бы нас увидел! — засмеялся Глеб. Провидец.

— Не удивляюсь, если он сейчас смотрит откуда-нибудь, — ответила она. — Из какой-нибудь кладовки... Пусть смотрит... Пошли в дом, чего зазря светиться!..

Они зашли в дом и медленно стали подниматься по лестнице. Я успел нырнуть в гардеробную.

Жалобно застонали пружины матраца. Давно Петрова собиралась купить новую кровать, да руки вот не дошли...

— Как я утомилась, милый!..

В просвет между дверью и косяком мне было видно всё.

Меня окружали, как в далеком детстве, лопаты, мётлы, корзины, и казалось, что вот сейчас она встанет, поскребет по пыльному брезенту «Студебеккера» и скажет: «Выходи, дундук!..»

— Надо идти, — наконец, сказала она. — Небось, заждались...

— Ага, — без выражения сказал он, глыба.

И они собрались, и уехали... Перед отъездом она тщательно застелила постель, осмотрела комнату. Я заледенел, когда она обнаружила бумажку, в которую был завернут бутерброд. Но она что-то хмыкнула, наподобие «сколько ни убирай, а груды мусора повсюду!» — и на даче стало тихо. Очень тихо.

Я выбрался из своего укрытия и не спеша пошёл к автобусной остановке. День выдался нелёгким.

Но зато я теперь всё знал. Всё! Я шёл и потихонечку говорил себе:

— Не бывает тайн, которые нельзя открыть... Это точно! Но больше об этом я никому не расскажу...

Приехал автобус, и со «Второй дачной» привёз меня в город. Я вышел и пошёл домой. Казалось, что я никак не могу проснуться.

И вдруг я увидел ту самую старую стену, с вделанным в неё чугунным кольцом, возле которой давным-давно я стоял и плакал без всякой причины. Я остановился, прикоснулся к холодному чугуну — не из глубины ли заледеневших времён поднимается к нам этот холод?.. Даже яркое солнечное лето не в силах растопить его?..

Ноги понесли меня дальше по улице, а в голове кружился вопрос: а чего ради я проливал здесь тогда слёзы? Ведь всё на свете хорошо. Всё на свете чудесно!..

МАРХАБАТ БАЙГУТ

КАТАРАКТА

Мэлс Туленшиев из тех, кого принято называть везунчиком. Поразительная деловитость, умение думать не только о себе, но и о близких, способность приумножать друзей, гостеприимство и щедрый дастархан дают все основания считать его родившимся в рубашке. Он выписывает несколько научно-технических, общественно-политических и литературно-художественных московских изданий, опрятен, занимается физкультурой. Всегда подтянут — нет даже малейшего намёка на брюшко, которое давно стало отличительным признаком многих его сверстников. Будучи в гостях или принимая их у себя, он довольствуется лишь тем, что немного пригубит из рюмки. На настойчивые уговоры и просьбы лишь блеснёт белозубой улыбкой, слегка сдвинет брови, и со скорбным лицом покажет куда-то в область печени.

Одно время никто не принимал его всерьёз и потому не обращал особого внимания. Весь интерес односельчан к Мэлсу Туленшиеву в ту пору был сведён до ряда дежурных фраз: «Ну, как? Учишься?» — «Учусь». — «Сколько осталось до окончания?» — «Немного». — «Кстати, а на кого ты учишься?» — «На инженера». — «Фосфорник, что ли?» — «Да». — «Значит, аулу от тебя пользы мало». — «Ну почему же? Удобрения-то нужны селу, а не городу». — «Ты на каком отделении — очном, заочном?» — «На дневном».

В вопросах этих чувствовалось пренебрежение и даже некоторая доля презрения. В многочисленном семействе Туленшиевых только Мэлс рос невзрачным, хилым и болезненным. Несмываемым пятном легло на семью и то, что он не смог поступить в институт сразу после окончания школы. В этом не было ни малейшей вины тех, кто взял на себя обеспечить поступление юноши в вуз. Просто в тот период он чувствовал лёгкое недомогание. Это и стало причиной его провала на вступительных экзаменах. А в целом,

семидесятые годы стали триумфальными для семьи Туленшиевых. Однако, в отличие от многих, они не козыряли, не хвастались этим, лишь тихонько, про себя констатируя наличие успехов, втайне радовались им. В восьмидесятые годы никто не удивлялся, если видел на табличках кабинетов руководителей больших и не особо больших предприятий и организаций, баз и складов, школ и технических училищ не только колхоза и совхоза, но и всего района, фамилию Туленшиев.

Некоторые считали, что если суждено Туленшиевым пережить провал или невезение, то только из-за Мэлса. Но вопреки всем ожиданиям, этого не произошло.

Тантею, отцу Мэлсу, не было никакого дела до того, что думают о его сыне люди. Для него с самого начала было ясно особое предназначение его чада. Всё в его манере вести себя — от походки и стиля одежды до улыбки — сформировавшись очень рано, было особенно привлекательным. Несмотря на хилость, негустые волосы, в облике сына Тантея была некая теплота, способная склонить на его сторону людей. Иногда лицо его становилось таким непроницаемым и холодным, что к нему было страшно приблизиться. Разным было его поведение в ауле и городе — в ауле это был этакый, ничего не разумеющий, простачок, в городе же он менялся так, что даже отец, Тантей, с трудом узнавал его.

Тантей был призван в армию лишь в конце войны и потому спустя шесть месяцев демобилизовался. Мэлс с помощью некоторых манипуляций раздул этот малозначительный факт из жизни отца в огромное событие и с большой выгодой для себя неоднократно использовал его впоследствии. Получил четырёхкомнатную квартиру. Без особых затруднений достал необходимые для ремонта стройматериалы. Сделал ремонт по собственному проекту, да такой, что выдавшим виды соседям было стыдно заходить в квартиру этого совсем ещё молодого, двадцатипятилетнего джигита. Кроме всего прочего, Тантей считал, что сын выбрал себе неплохую жену.

Нравилось Тантею в невестке то, что она умела быстро, в мгновение ока управиться с доставлявшейся из Сыртогая живностью и подать её на стол. Причём, не в пример многим горожанкам, невестка нарезала мясо не тонкими, просвечивающими на солнце пластинами, а крупными кусками. Что интересно, экономить на дас-

тархане пытался сын — потому, вероятно, что рос в ауле, и был затюкан и закомплексован донельзя. После нескольких замечаний отца Мэлс отдал все бразды правления по этой части невестке, переклотившись на другие проблемы.

Сегодня сын принимает у себя очередных, особо важных и дорогих гостей. Тантей Туленшиев прекрасно знает если не всех, то, по крайней мере, многих из них. Все они разных мастей, разной степени значимости и пользы. Есть среди них и такие, которые могут помочь и словом, и делом, стараются держаться поближе к сыну. Есть и такие, которые, прикрываясь мнимым родством и дружбой, стремятся лишь извлечь выгоду для себя или, на худой конец, вкусно покушать и попить. Тантей же не делил гостей. Никогда, даже в самые трудные времена, род Туленши не был лишён достатка и позволял себе быть гостеприимным.

Вот принесли голову молодого барашка, нагулявшего жир на заливных лугах Сыртогая. Тонкая чёрная кожаца под ухом лопнула, и череп отсвечивает ослепительной белизной. Такие же белые сочни теста, умело раскатанного невесткой, аппетитно выглядывают из-под кусков мяса и курдюка.

— Ну, светики мои, положить вам бешбармак в тарелки? — вопрошает Тантей, обращаясь к нетерпеливо сглатывающим при виде большого блюда с мясом слюну гостям.

— Нам всё равно, — вразной отвечают они.

— Извините меня, старого, не должен был я спрашивать об этом. Наше простодушие ничем не вытравись. К тому же я по-свойски, — оправдывается Тантей.

Старик переполнен чувством радости и гордости. Сколько людей, имеющих несметное количество скота в Сыртогае, проводят свою жизнь впустую, не в состоянии толком распорядиться средствами, принять как подобает хотя бы одного важного гостя. Слава богу, у него есть сын, занимающий далеко не последнюю должность в областном центре. Да, что и говорить, вот он, Мэлс Туленшиев, которого людская молва списала со счетов. Пошел в рост и будет расти дальше. Что эти гости?! Старому Тантею за свою жизнь приходилось встречать-привечать и не таких ещё персон. Поначалу это было руководство одной из влиятельных солидных организаций. Там сыну не очень-то везло, и вскоре он оказался в техникуме. Техникум есть техникум, и уровень гостей из числа

его сотрудников известен. Поверхностность взглядов на жизнь, повадки, речь — всё говорит о невысоком уровне интеллекта. Особенно поражало Тантея их умение, если не сказать, отточенное мастерство, брать взятки. При этом им было всё равно — они не выбирали, что, как. Лишь бы взять. В соответствии со своим интеллектом они и мыслили в масштабах небольшого городка, и, естественно, разговоры велись не о событиях, происходящих в области и областном центре, а лишь вокруг сплетен об известных в районе лицах. Прежние гости рангом повыше, из солидной организации, как правило, перемывали косточки всем без исключения руководителям области. Для техникумовских этот уровень был недостижим. Но они давали фору по части взяток. Мало-помалу, а набиралось порядочно. Тантею они напоминали ненасытного ребёнка, который одной рукой кладет в рот пищу, а второй уже тянется к тому, что лежит на столе. Впрочем, Мэлс, общаясь с ними, извлёк для себя кое-что полезное.

Настало время, когда и техникум стал одной из пройденных вех, оставшись в туманной дымке прошлого.

Надежды сбылись, расходы оправдали себя.

Мэлс Тантеевич Туленшиев не испытывал, подобно некоторым молодым людям, мук сомнений и страха перед неизведанным, а потому довольно скоро занял хорошую должность в одной из солидных организаций в областном центре. Сделал, как говорится, хорошую карьеру, но останавливаться на достигнутом они не собираются: ни сын, ни отец, ни все остальные.

Тантей никогда не уставал принимать гостей — ни в городе, ни в селе. Обуется в свои поношенные остроносые азиатские калоши и вперёд — сегодня он в Сыртогае, а завтра, глядишь, в городе. В последние годы он думал, что с возрастом начнёт стареть, утомляться. Но вопреки ожиданиям, старик посвежел, и даже помолодел. По предположениям самого Тантея, всё дело было в том, что задумки претворяются в жизнь, надежды и мечты исполняются. И всё же не переставал удивляться переменам к лучшему, происшедшим с ним — порог старости с каждым днём отодвигался всё дальше и дальше.

Следует признать, что порой были моменты, когда и Тантею приходилось несладко. С самого начала в невестке ему не понравилось её развязная, порой разнузданная манера поведения, то,



что она позволяла себе, не стесняясь старших, почтенного возраста людей, ходить неприбранной. Вскоре старик привык к этому, мысленно отмечая особенность невестки, заключающуюся в том, что она постоянно меняла свой облик. Ему же оставалось только констатировать происходившие с ней метаморфозы. Однажды, когда в доме сына, по обыкновению, принимали каких-то важных персон, Тантей вдруг заметил, что невестка осунулась, похудела, стан её постройнел. Как же это идёт молодой женщине в соку! Старик старался не думать об этом, но тут всплыла в памяти та молодка с курорта «Кзылтан», с которой у него завязался мимолётный роман. Пытаясь избавиться от назойливого наваждения, он прошёл через кухню на лоджию. Сцена, которую он увидел, ошеломила его. В тёмном укромном углу лоджии один из гостей тискал в объятиях невестку. Старший Туленшиев сделал вид, что ничего не заметил. К этому его вынудили обстоятельства. Он утешал себя тем, что сейчас такие нравы пошли. Сегодняшняя молодежь, как правило, встретившись либо в гостях, либо на улице, сразу лезет целоваться. Прощаясь, целуются ещё ретивее. Чего ж тут удивляться?

Как ни старался старый Тантей позабыть об этом случае, мысленно он ещё не раз возвращался к нему. Самое же неприятное заключалось в том, что невестка вела себя так, словно ничего не произошло. Его молчание дало жене сына повод вести себя ещё бесстыдней и разнузданней.

Сыну до всего этого не было дела. Он полностью, с головой ушел в работу, которая, по его словам, становилась все тяжелее и труднее. То ли груз ответственности давил на Мэлса, и он сильно уставал от всего — работы, приёма гостей и связанных с этим забот, стремления сохранить хорошие, приятельские отношения с нужными людьми, то ли конец восьмидесятых годов и впрямь отличался от предыдущих лет, младший Туленшиев похудел, спал с лица, ослаб так, что голос временами становился еле слышным, а талия — всё уже и уже. Тем не менее, он пытался улыбаться, вести себя по-прежнему. Отношения с женой, вроде, прежние. Воркуют словно голубки. Тантей ничего не понимал, голова его шла кругом — попробуй разберись, где она, истина. Если же быть до конца честным, Тантей давно сделал заключение, что те времена, когда грань, разделяющая истину и ложь, была чёткой и явной, в дале-

ком прошлом. Копнёшь чуть глубже, и получается, что всё упирается в тебя самого. Осталось ли в его душе нечто, что дало бы ему возможность провести черту между чёрным и белым, добром и злом? А стоит ли по этому поводу переживать? Может, гораздо лучше, если люди усвоят разницу между вредом и пользой, доходами и расходами? К какой же категории — добру или злу — отнести гостеприимство Тантея? Праведное оно или нет? Господи, о чём это он? Как можно отнести гостеприимство к добру или злу, истине или лжи? Возможно ли это? А как оценить тогда поступок невестки? «Что-то я расфилософствовался. Не к добру это», — подумал тогда про себя Тантей.

Надолго после того случая ему разохотилось приезжать в город. К тому же в последнее время чиновники, занимающие в области высокие посты и ответственные должности, стали с опаской относиться к приёмам и званым вечерам. А когда терпение иссякло и Тантей, наконец, приехал в город, сосед сына по площадке огорошил старика новостью о том, что невестка уехала на курорт.

— Аксакал, их нет дома, — сообщил сосед Тантею, утомлённому долгой дорогой из Коргантау. Старик вспотел, устал и раздражённо жал на звонок. Не понравилось ему и слово «аксакал».

— Как это их нет дома? Сегодня же выходной! — спросил Тантей.

— Ваш сын давно позабыл о том, что такое отдых, выходные. Разве вы не знаете, что невестка ваша на курорте? Проходите к нам, аксакал, выпьете чай, передохнёте, — предложил сосед старику.

— Спасибо, светик, — ответил Тантей, недовольно морщась при каждом слове «аксакал». — Я уезжаю обратно.

Спускаясь по лестнице, Тантей Туленшиев внимательно посмотрел на свою жиденькую бородку, в которой не было ни единого седого волоска. Раздражённо подумал: «Что же, он должен был называть меня карасакалом? И чего этот безмозглый отпустил жену одну на курорт?»

На работу к сыну он не пошёл, вернулся обратно в Сыртогай.

А в это время сыртогайцы ломали голову над тем, почему стало меньше гостей приезжать к Туленшиевым. В ауле всюю шли пересуды: то ли времена такие настали, то ли люди переменились. Вот и Мэлс стал редко навещать родной аул. Интересно, на пре-

жнем месте он работает или ушёл на должность повыше. Да, дал бог ему жену — и умом, и красотой вышла. Самая видная из всех невесток семейства...

Тут даже дураку ясно, с какими намерениями они об этом толкуют. Ныне толпа привыкла уважать только тех, кого боится, кто силён и в силах что-либо изменить в этом мире. И потому чернь всегда исподтишка желает, чтобы всё у тебя пошло наперекосяк, только и мечтает видеть тебя корчащимся от боли со сломанным хребтом. Разве может прийтись ей по нраву то, что Туленшиевы процветают во все времена вне зависимости от смены эпох и властителей.

Пока Тантей сидел, затаившись и выжидая, нагрянули сын с невесткой в сопровождении толпы гостей, занимавших довольно высокие посты в области. Приехали они не в открытую, а тайно, скрываясь от излишне любопытных глаз. Что ж, дети правы — топтаться на месте нельзя, надо продвигаться вперёд. Разве Туленшиевы не в состоянии обратить белое в чёрное, а чёрное — в белое?! Чтобы было бы, если бы, заметив ложь, они начали бессмысленную борьбу с ней? Ведь доподлинно известно, что в поисках истины они порастеряют всё, что имеют, что обрели за долгие годы упорного труда. И отец, и сын хорошо знают, чем кончилось правдоискательство многих сильных мира сего, оставшихся ныне у разбитого корыта.

Неожиданно свалившихся на голову гостей обхаживали всю ночь. На следующее утро всей гурьбой выехали на маёвку в Сыртогай. Молодого барашка готовили для запекания на горячих углях, джигиты колдовали над шашлыком, мясо жеребёнка варилось в большом котле. Все приехавшие из города сетовали на городской воздух, что давит на психику человека, влияет на него не самым лучшим образом и часто становится причиной ужасных головных болей, а то и мигрени. По той же причине решили идти на прогулку по одному-двое, чтобы скопившаяся в городе отрицательная энергия могла найти беспрепятственный выход.

Тантей остался, решив, что кому-то надо присматривать за невестками и молодыми людьми, приглашёнными для приготовления пищи и обслуживания гостей. Мэлс вместе с самым высоким гостем пошёл вдоль берега реки. Тантей, ожидавший, что и невестка пойдёт гулять, был приятно удивлён её отказом идти на

прогулку, однако ничем не выдал своего удивления, занявшись тем, что убрал горящие дрова из-под котла, наполнил водой самовар.

— Что-то голова у меня разболелась, ата. Я пройдусь немного, — сказала вдруг невестка.

— Хорошо, иди. Только смотри, не заблудись, — ответил Тантей, довольный, что она просит у него разрешения.

Устье ручья скрывалось в густых, непроходимых зарослях тальника. Может, поэтому туда никто не пошел. Для прогулок были выбраны открытые, красивые места в низинах, где били чистые ключи. Тантей подумал, что невестке, вероятно, необходимо тихое, уединённое местечко, где можно посидеть вдали от суеты, подумать, искупаться в родниковой воде.

Он прилёг вздремнуть. Но оказалось, что он крепко заснул и спал довольно долго, около часа. Обслуга спряталась от солнцепёка в тени. Котёл тихонько кипел, угли для шашлыка были готовы. Младшая невестка рубила зелень. Два джигита, развалившиеся было, увидев, что он проснулся, поднялись с места.

— Можете не торопиться. Хорошо, если все соберутся к двум-тремя часам пополудни, — успокоил их Тантей.

— Женеше пошла к ручью и пока не вернулась, — выложила младшая невестка, заметив, что свёкр ищет кого-то взглядом.

Тантей начал колоть щепки для самовара, но ни на секунду не забывал о невестке. Мысли о ней одолевали старика, вселяли в подсознание смутную тревогу. «Ну чего ты привязался к ней, — увещевал он себя. — Лучше бы радовался тому, что она осталась. Куда она денется? Вернётся к тому времени, когда надо будет готовить тесто. А что, если она заблудилась в зарослях таволожника и не может найти обратный путь? Или расцарапала лицо, руки, одежду о колючий кустарник? Так и опозориться недолго. Что люди скажут?»

Не торопясь, осторожно отводя в сторону колючие ветки таволги, Тантей направился к ручью. Он шёл медленно, часто останавливаясь и внимательно осматривая окрестности, чтобы ненароком не застать невестку врасплох, если она загорает на весеннем солнышке, и иметь возможность для маневра, позволяющего уйти незамеченным. Вдоль ручья не было ни души. Нет ни души и там, где, по его предположениям, могла быть невестка.



Старик не на шутку перепугался. Наверное, она забралась вглубь таволожника и заплутала. Неспроста всё это. Неспроста.

Он по-прежнему шёл осторожно, таясь в кустах, когда вдруг чуть поодаль что-то мелькнуло. Нет, не мелькнуло — сверкнуло. Тантей повалился на землю, чтобы, не дай бог, его заметили. Поднялся.

Сквозь яркую зелень колючего кустарника лился солнечный свет. Вначале он принял мелькнувшую тень за солнечные лучи или качнувшуюся от дуновения ветра ветку. Но нет, вот опять... Опять! Что-то опять сверкнуло. Старик вновь пригнулся к земле, затем поднялся на колени. Это была его невестка. Иссиня чёрные волосы были распущены. Белели оголённые руки. Но нет, кажется, оголены не только руки, но и плечи. Да никак она сошла с ума — полностью обнажила тело? «Прекрати этот срам! Не смотри! Какое у тебя право смотреть на неё, старый дурак?!» Но заставить себя не смотреть Тантей не смог. Солнечный свет лился ярким снопом сквозь зелёную листву, освещая и ещё более явно очерчивая контуры тела молодой женщины, от которого старик не мог отвести глаз. «Прекрати, старый хрыч, — мысленно костерил себя Тантей, — не смотри. Уйди отсюда. Может, она хотела принять солнечную ванну. Что в том плохого, тем более, если она одна? Не смотри! Чтоб ты ослеп, если ещё раз посмотришь на неё...»

Он не ушёл, потому что это было сверх его сил, его воли — не смог подчинить сердце разуму.

Молодая женщина, скрытая в зелени кустарника и высоких трав, освещённая яркими лучами солнца, в этот момент была для него не невесткой. Она была сродни тем безымянным, неизвестным красавицам с обложек журналов, которыми он иногда любовался. И потому он продолжал смотреть, хотя в следующее же мгновение пожалел об этом. Зря, зря... Было бы лучше, если бы он ушёл. Сам виноват, что предался постыдному чувству. Пожинай теперь плоды. Вот тебе наказание за твоё безволие, бесстыдство.

Когда он вновь посмотрел, невестка показалась уже полностью, во всей красе своего нагого тела. Но глаза Тантея наполнились кровью и ничего не видели. Да и как ему не ослепнуть, если красивое тело невестки то и дело закрывало другое тело, а потом и вовсе взяло её на руки и понесло вглубь зарослей. Или к воде. Он не разобрал. Глаза старика и впрямь ничего не видели. Он ослеп. По-

зор на его голову. Позор. Что же теперь делать? Поднять крик на всю округу? Но ведь они не первобытные люди, не животные. Она — его невестка... И рядом с ней... Рядом с ней один из гостей... Тех, ради которых он не пожалел жеребёнка, заколол барашка... Он — один из них...

Глаза еле различали то, что было перед ним. Когда-то у него была гипертония, потом исчезающая без следа. И внезапная слепота Тантя была, скорее всего, её последствием. Кто же всё-таки это был? Кто? Ну, и что с того, что узнаешь ты? Что же? Как ты поступишь тогда? Что будешь делать? Оповестишь о своём позоре всех? Выведешь на дуэль тобой взращённого и в прямом, и в переносном смысле сына?! Сына, которому ещё продвигаться по службе, который занимает высокий и ответственный пост? А уверен ли ты, что захочет он драться на дуэли?

Может, всё это неправда и только игра его воображения? Конечно же, конечно, это так. И как только он не додумался? Это видение, всего лишь видение. Всё, увиденное им доселе, ложь, неправда. Мираж. Он ничего, никого не видел. Никогда, никому не признается в этом, никогда никому не скажет. Вот она — грань между истиной и ложью. Никогда он не пытался разграничить два эти понятия. Почему бы и в этот раз не поступить так?

Он не скажет. Всё — мираж.

«Ну, всё. Нужно идти. Сейчас я поднимусь. И как это меня угораздило упасть? Надо подняться. Господи, что с моими глазами: я не вижу?..»

Между двумя и тремя часами пополудни все, кто ушёл на прогулку, стали возвращаться к лагерю, радостно-возбуждённые, с охапками цветов. Возбуждённо говорят невпопад и все разом.

Старика хватились только тогда, когда дымящееся мясо было готово к подаче на стол.

- Где же наш аксакал?
- Где старик?
- Вы не видели Такена?
- Только что ходил здесь.
- Сидел у самовара.
- Да нет, колот дрова.
- Ну да ладно, приступим к еде, не то мясо остынет. Придёт он. Куда денется?

— Наверное, и он не выдержал, решил прогуляться.

Вновь о старике вспомнили, когда на стол принесли молочного агнёнка, запечённого на углях. Во время шашлыка о нём никто уже не беспокоился.

Только во время сборов сын заволновался. Что-то было не похоже на его отца — он никогда не позволил бы себе так поступить с гостями.

Сердце Мэлса сжималось от смутной, неясной тревоги. Однако он не подал виду, сохраняя обычное спокойствие.

К счастью, младшая невестка краем глаза видела, как Тантей шёл к ручью и сказала об этом. К вечеру старика нашли. Найти нашли, но он был в ужасном состоянии — руки и ноги сведены судорогой, глаза налиты кровью, рот перекошен.

Гости, спешно погрузившись в одну машину, уехали.

Дав отцу немного передохнуть дома, Мэлс решил взять его в город на второй «Волге».

Все домочадцы и свидетели были строго-настрого предупреждены о том, чтобы не было никаких пересудов и разговоров.

Провалившись в областной больнице полтора месяца, Тантей хоть и не полностью, но вылечился. Все дефицитные лекарства были найдены. Врачи смогли вылечить больные руки и ноги, сведённый судорогой рот, но никаким светилам медицины не удалось вылечить глаза. Операция была противопоказана, поскольку слишком высока была вероятность ослепнуть совсем. Пришлось ему довольствоваться тем, что было.

Кто мог подумать, что всё будет так?

Хоть язык и не был таким послушным, как раньше, речь Тантея осталась более или менее внятной, а ум — ясным. О прежней жизни теперь и мечтать не приходилось... Всё превратилось в воспоминания, в дымку. Сыну старик не стал ничего говорить. Да и никому на свете старик не смог бы проболтаться. Мираж. Всё мираж, обман. Сейчас он не может видеть невестку. Но не потому, что не хочет — потому, что не может. Да и она не приходила к нему.

Остроносые галоши сиротливо стояли в прихожей — им больше не суждено было коснуться городского асфальта.

Спустя некоторое время, когда он уже смирился со своим нынешним положением и состоянием, Тантея подкосил второй приступ, от которого он уже не смог оправиться. Дело же было в том,

что сына, который должен был продвигаться вверх по служебной лестнице, делать карьеру, внезапно понизили в должности, и не на одну, а на две ступени. Вот и причина, и диагноз второго, ставшего для Тантея фатальным, приступа. Чего-чего, этого Тантей пережить не мог...

В жизни Мэлса Тантиевича Туленшиева особых перемен не наблюдалось — всё было, как и раньше. После похорон он с особой гордостью рассказывал о том, сколько влиятельных людей, должностных лиц пришло к нему выразить соболезнование по поводу смерти отца. Временами его беспокоило только недомогание жены — что-то связанное с внутренними органами. Других забот у Мэлса вроде бы не было. К осени, когда станет меньше посетителей, придётся, наверное, отправить её на курорт. Да, это — единственный выход. Пусть едет одна, подлечится.

Пусть. Все остальные печали будут как-нибудь пережиты.

ГАРИФОЛЛА ЕСИМ

ТАНСУЛУ

1

«Апа, апа», — раздался вдруг захлёбывающийся от рыданий громкий девчоночий голос, и байбише, путаясь в складках просторного платья, опрометью выбежала из юрты. Тансулу, её младшая дочь, любимица всего аула, бледная, растрёпанная, бежала, что было сил со стороны озера. Байбише устремилась навстречу, и едва успела подхватить обмякшее тело дочери. Прижимая Тансулу к груди, байбише шептала помертвевшими губами: «Что с тобой, солнышко моё, что с тобой?» Тем временем на шум сбежались люди и, не понимая, что произошло, стояли в отдалении и, перешёптываясь, смотрели на мать и дочь. Наконец байбише опомнилась. Глянула сурово на собравшихся, и те стали расходиться. Одна из женщин бережно взяла на руки Тансулу, внесла её в юрту, уложила в постель и тихо вышла.

Байбише опустила рядом с постелью дочери, взяла её руки, послушала пульс, который еле прощупывался. Пришёл мулла, пошентал молитву, пробормотал заклинания, окропил водою, изгоняя злых духов, но девочка не приходила в себя. Тогда байбише призвала старуху-знахарку, которая была известна в округе как ворожея и прорицательница.

Войдя в юрту, старуха обошла три раза постель Тансулу, прищёлкивая языком, как бы удивляясь красоте девочки, потом присела на корточки и, взяв больную на руки, произнесла несколько слов на непонятном языке. После этого приложила ухо к груди девочки, выпрямилась, воздела руки к небу и осторожно провела ими по телу больной. Жестом показала, чтобы байбише отошла. В другое время деспотичной и властной байбише не понравилось бы это, но тут она безропотно подчинилась.

Тансулу была последним, долгожданным ребёнком, в семье баловали её, потакая всем её капризам, надышаться на неё не могли.



Девочке шёл десятый год, росла она здоровой, крепенькой, и потому её внезапный странный недуг поверг байбише в такое отчаяние, что она готова была на всё, лишь бы девочка встала на ноги.

Ворожея раскачивалась из стороны в сторону и пела какую-то нескончаемую песню. Монотонный, дребезжащий её голос навёл тоску и уныние. Иногда старуха трогала рукой струны домбры. Раздавался резкий звук, от которого байбише всякий раз вздрагивала. Слова в песне были казахскими, но удивительным и странным было то, что общий смысл слов ускользал от внимания байбише.

Так прошло много времени. Старуха внезапно оборвала пение и, приложив ладонь ко лбу девочки, стала задавать ей вопросы.

— Куда ты ходила, Тансулу?

Девочка, не открывая глаз, прошептала еле слышно: «На берег озера».

— Взбиралась ли ты на крутой яр? Говори!

Тансулу вздрогнула: «Да».

Старуха чуть откинулась назад и опять затянула песню. И так же внезапно, как в первый раз, прервав песню, наклонилась к больной и продолжила свои расспросы.

— Что ты там видела, девочка? Кого?

— Старуху-нищенку, — отвечала девочка и, вскрикнув, опять забилась в рыданиях. Через некоторое время девочка снова впала в беспамятство.

И снова пенье ворожеи, и вопросы, вопросы...

— Кого ты видела? Какая она была? Молодая или старая? Ангел ли это был или злой дух?

— Она была страшная, апа, очень старая и страшная. Я боюсь её, апа, у неё нет носа, апа, она идёт ко мне, спрячьте меня...

— О бедная моя, о безвинная страдалница... — бормотала знахарка, и было непонятно, к кому обращены её слова: к девочке, лежащей в забытии, или к безносой старухе, привидевшейся на озере.

— Тансулу здорова, просто сильно испугалась. Когда она очнётся, не расспрашивайте её ни о чём — она должна забыть то, что ей привиделось. Кормите её получше, она ослабла. Заколите чёрного ягнёнка, приготовьте бульон.

— Да сбудутся твои слова, будь благословенна, милая.

Байбише взглянула на ворожею и удивилась необычному её поведению. Старуха явно была чем-то обеспокоена.

Она то садилась на корточки, то вставала, еле держась на ногах, дыхание её было частым, прерывистым. Она задыхалась, глаза были налиты кровью. Старуха стала рыться в своей котомке, и байбише поняла, что той хочется погадать. И так как она сама была большой любительницей всевозможных гаданий, то с готовностью уселась подле ворожеи. Старуха, разбросав фасолины, стала вполголоса говорить.

— Женщине красота приносит и счастье, и горе. Твоя дочь будет идти и дорогой смерти, и дорогой жизни. Похоже, что сегодня она увидела свою судьбу. Безногая нищенка — это Тансулу. О боже, что это я? Видно, нельзя мне предсказывать судьбу: кровь загустела в жилах, да и стара я стала. Нет, байбише, ничего не могу сказать, кроме одного: я уйду прочь сегодня же, чтобы нена роком не проговориться. С этими словами ворожея, не дав байбише и слова сказать, выбежала из юрты. С той самой минуты никто в ауле её больше не видел. Пропала, как в воду канула. Люди долго судачили по этому поводу, рядили и так, и эдак, но со временем и они забыли о ней, и память о её таинственном исчезновении стёрлась.

Одна байбише не забывала ни на минуту злое и странное предсказание прорицательницы, и мечтала как можно скорее устроить счастье своей любимицы. Объявились и сваты из крепкого рода потомков батыра Сенгира.

Когда же байбише впервые увидела будущего зятя, вздрогнула с облегчением: «Слава Всевышнему, и силен, и красив, и умён, подходящая пара моей Тансулу».

2

Сменяя друг друга, незаметно пролетали годы. Тансулу подросла и превратилась в девушку необыкновенной красоты. Под разными предложениями заезжали лихие джигиты в аул и, увидев девушку, надолго оставались, мечтая наедине перекинуться словечком и, может быть, пленить сердце красавицы, но тщетны были все их попытки и ожидания: Тансулу оставалась равнодушной и не отвечала на их чувства. Девушка была без памяти влюблена в

своего жениха, которого воображала себе по рассказам тётушки. Она повторяла про себя его имя, казавшего ей необычайно красивым: Жойкын. В девичьих своих мечтах она видела себя рядом с ним, в своём воображении рисуя картины первой встречи, его сильные руки, жаркие объятия. От этих мыслей краска стыда заливала щёки красавицы, и в сладкой истоме проводила она ночи. Однажды тётушка шепнула ей, что наречённый собирается тайно встретиться со своей невестой.

В то время, как Тансулу жила в своём сладком мире грёз, в округе произошло одно памятное событие. Многолетняя вражда с калмыками то обострялась, то шла на убыль. Наступало перемирие, и недавние враги приглашали друг друга в гости, устраивали состязания, игры.

Во время одного из таких мирных периодов отец Тансулу был приглашён в гости к соседям-калмыкам. Вернулся он довольный приёмом своих соседей и, как было заведено, пригласил их к себе. Калмыков развлекали целую неделю. Молодёжь пела, веселилась, участвовала в многочисленных состязаниях. Особенно всем запомнилось состязание по стрельбе из лука — жамбы ату. Пошла посмотреть состязания вместе с тётушками и Тансулу. На конце длинного шеста был укреплён кусочек красной ткани с нашитыми серебряными монетами. Сразить эту мишень вышло десять удачных стрелков, мергенов, — пять с казахской стороны, пять — с калмыцкой. Все стрелы, как заговорённые, не достигнув мишени, вонзились в одну точку на шесте. Толпа возбуждённо гудела, ещё бы — ведь победителя ждал приз — роскошный скакун. Его еле удерживали в поводу два джигита. Распорядитель подал знак продолжить состязание и повернулся к толпе, ожидая, кто же откликнется. Из толпы гостей на середину выступил юноша среднего роста, с сильными плечами и повадками будущего батыра. Стрелку на вид не было и двадцати лет. Был он красив и статен, держался независимо и гордо. Толпа стихла на мгновение, потом снова загудела: да это же сам бек!

— Что же он выходит, как будто нет простых стрелков?

Тансулу тоже посмотрела на бека, и вдруг зарделась от смущения. Причина её смущения была в том, что в эту минуту она подумала о Жойкыне, своём женихе, о том, как было бы хорошо, если бы он оказался таким же пригожим парнем. Потом ей стало

стыдно своих мыслей. «Что же это я сравниваю его с каким-то калмыком», — досадливо подумала она, с силой закусив нижнюю губу. Джигит калмык принял её смущение на свой счёт и воодушевился: с того дня, как он увидел впервые девушку, искал с ней встречи.

В том, что все десять стрелков не попали в цель, был тайный умысел. Накануне приезда калмыков в аул Тансулу старейшины предупредили своих стрелков, что будет невежливо взять приз за меткую стрельбу.

— Предоставьте это сделать вашим гостям. Но пять ваших стрел должны попасть прямо по мишени в одну точку, в основание шеста. Мергены так и сделали. В свою очередь калмыкам перед выездом было приказано то же самое, но это было желание молодого бека, который знал, что на состязание придут все, и Тансулу тоже.

Теперь он стоял в середине круга, молодой, красивый, статный, и посматривал на притихшую толпу. К нему, неслышно ступая и склоняясь в поклоне, подбежал один из его свиты, протягивая оружие. Но молодой бек повернулся к стрелку казаху, взял у него лук и стрелу, натянул тетиву и вдруг, резко повернувшись, не целясь, выпустил стрелу вверх. Красный лоскут с нашитыми монетами упал к его ногам. Бек поднял его, внимательно осмотрел и, подойдя к Тансулу, протянул потупившейся девушке.

Толпа одобрительно загудела, тётушки стали подталкивать девушку к молодому беку, уговаривая её принять подарок. Тансулу вышла вперёд и взяла лоскут из рук стрелка. На мгновение глаза их встретились и между ними произошёл безмолвный диалог.

— Я влюблён в тебя, — сказали одни глаза.

— Сердце моё отдано другому — сказали другие.

Бек тяжело вздохнул.

Тем временем началась другая игра, поднялся шум и гам, но Тансулу, подзвав тётушку, скрылась у себя в юрте, где дала волю слезам.

— Уж не влюбилась ли ты в бека? — забеспокоилась тетушка, обнимая девушку и заглядывая ей в глаза. Тансулу, утирая слёзы, вздохнула и, пряча лицо у неё на груди, сказала: пусть Жойкын приезжает скорей. Если я вправду его невеста, зачем же медлить? И тут только поняла тётушка, что пришла пора для её любимицы.

К жениху были посланы гонцы с приглашением тайно явиться к невесте. Жених не замедлил с ответом, и вскоре, в одну из коротких летних ночей Тансулу оказалась в жарких объятиях Жойкына. Красавица была счастлива, но всякий раз, когда перед её глазами вставал образ молодого бека, сердце её сжималось в предчувствии чего-то недоброго. Тансулу хотела даже поведать об этом Жойкыну, но тётушка отговорили её от этой затеи.

— Не раскрывай всех своих тайн, а то он очень скоро может охладеть к тебе и возьмёт токал.

Эти слова остудили пыл девушки, хотя в глубине души она не могла себе представить, как это Жойкын может её разлюбить.

Как от случайной искры загорается пламя, так и в степи от случайно обронённой кем-то фразы, неосторожного слова может совершенно неожиданно вспыхнуть пожар междоусобной войны. Это привычное дело. И прежняя дружба, заверения и клятвы, совместные трапезы и другие прелести мирной жизни — всё это исчезает в мгновение ока в новой волне взаимной ненависти калмыков и казахов. И разве до веселья тогда людям, и может ли батыр усидеть дома в такое время?

Вот и Жойкын сел на коня и с горсткой отчаянных джигитов ускакал в пылающую степь.

3

В то время как мужчины и с той, и с этой стороны гонялись друг за другом по степи, нередко случалось так, что женщины, старики, дети, оставшись без защиты, подвергались разбойному нападению.

Не избежал этой участи и аул Жойкына.

Ближе к обеду враги ворвались в аул. Их главарём оказался тот самый молодой бек, что когда-то подарил Тансулу свой трофей. Калмыки отобрали с десятков самых красивых девушек, среди которых была и Тансулу. Деверь, младший брат Жойкына, кинулся было на защиту, но калмыки, подняв его на пики, отбросили в сторону. Из горла мальчика струей хлынула чёрная кровь, и он тут же скончался. Тансулу с ужасом поняла, что причиной беды была она. Она винила себя в том, что дала когда-то молодому беку повод надеяться на взаимность и теперь про себя твёрдо решила: «Нет, клянусь, что не опущу глаз перед ним, и не буду смущаться».

Старуха-китаянка проводила осмотр пленниц. Раздев Тансулу донага, она внимательно оглядела её, потом что-то шепнула женщине, прислуживавшей ей. Та вышла и через некоторое время появилась. Китаянка вопросительно взглянула на неё. Служанка кивнула, и тогда китаянка, обращаясь к Тансулу, сказала с каким-то злорадством: «Плод, зачатый в твоём чреве, мы уберём, и ты будешь служить нашему беку, таково его повеление».

Молодая женщина, вскипев от ярости, хотела наброситься на проклятую старуху, но вовремя сдержалась, процедила сквозь зубы: «Слушай, выжившая из ума старуха, мои слова. Я должна встретиться с беком и мы с ним сами решим, оставить дитя или нет. Иди и передай ему мои слова». Старуха была в замешательстве. Кто знает, может статься, эта гордячка станет любимой наложницей бека, и тогда ей, старухе, несдобровать.

Прихрамывая, она вышла, решив, что сама должна передать слова пленницы беку.

Тансулу же, дивясь собственной решимости, вытащила из потайного кармана маленький кинжал, спрятала его в рукав. Ей вспомнилось, как упорно не хотела она принять этот подарок от Жойкына, уверяя его, что женщине кинжал ни к чему, если у неё есть заступник. Жойкын сказал ей тогда: «У красивой женщины много недругов, пусть кинжал будет всегда при тебе, и мне будет спокойнее».

Тансулу вздохнула, перебирая в памяти счастливые дни их любви, потом встала и решительными шагами направилась к беку.

Бек сидел один, в сладком предвкушении любовных утех с красавицей, которая запала ему в сердце с первой встречи.

Поглаживая за ухом собаку, расположившуюся у его ног, бек сказал: «Тансулу, кажется, так тебя зовут, вот мы и встретились». Не успел он выговорить последнее слово, как его собака, приподнявшись, лягнула челюстями и проглотила какой-то кроваво-красный комочек. Бек поднял голову и в ужасе застыл: по лицу Тансулу струилась кровь.

Опомнившись, бек подошел к Тансулу и с силой разжал её руки, которыми она закрыла лицо. То, что он увидел, было ужасным: вместе тонкого носа зияли две дыры. Значит то, что было



проглочено собакой, было носом Тансулу, который она отсекла, не задумываясь, острым кинжалом.

В бессильной ярости бек выхватил саблю, и через мгновение голова верного пса покатилась по ковру.

Не обращая внимания на кровь, заливающую лицо, Тансулу сказала слабым голосом: «Бек, у меня есть одна просьба. Разреши мне сказать». Он прервал её: «Потом. Вначале надо остановить кровь». Тансулу перевязали рану и снова привели к беку. Калмык подал знак, слуги бесшумно удалились.

— Бек, я знаю, ты благородный человек, — сказала Тансулу. И только в надежде на твоё благородство я простила не со своей жизнью, а со своей красотой. Думаю, ты поймешь меня.

— Я ведь любил тебя. Если бы ты не согласилась стать моей, я бы отпустил тебя, — ответил бек.

— Сдержат в себе желание плоти человеку не под силу, бек. Ты и сам не веришь в то, что мог бы отпустить меня.

— Тансулу, с тех пор, как я впервые увидел тебя, не было покоя душе. А когда узнал, что вышла замуж, совсем потерял голову. Прости, я заставил страдать тебя. Позволь мне теперь служить тебе. Приказывай, я всё исполню.

— Чем ты можешь поклясться, что это так?

— Своим чистым чувством к тебе, любящим сердцем своим.

— Теперь я не могу ответить на твои чувства. Каждый, кто посмотрит на меня, отныне будет шарахаться в испуге от моего уродства. Люди будут только жалеть меня.

— Готов разделить любые муки твои, Тансулу. Знай, ты теперь свободна. Всё, что ты скажешь, будет исполнено.

— Так слушай же. Мне обратной дороги нет. Я остаюсь здесь. Отпусти пленниц. Одну из них возьми в наложницы. Если она родит сына, отдай его мне, а её отправь подальше, выдай замуж. Сына твоего воспитаю я, глядя на него, буду вспоминать тебя, а ты, вспоминая сына, будешь думать обо мне. Это и будет твоей добровольной пыткой, которая охладит любовные муки. Среди тех пленниц, кого ты отпустишь домой, есть девушка по имени Сагила. передай ей мой кинжал и скажи, что меня нет в живых. Пусть она скажет моему мужу, что я приду к нему во сне и сообщу ему важную весть. И ещё об одном попрошу тебя: через пять лет выдели мне из твоих

табунов двух породистых жеребцов. Обо всем остальном позабочусь я. Верю, что ты исполнишь всё, что я прошу.

С этими словами Тансулу вышла.

5

Через некоторое время она родила сына. Бек сдержал своё слово, и сына, рождённого через год наложницей, передал на воспитание Тансулу, заложницу выдал замуж, а сам вскоре погиб в одной из схваток. В последнее время у него была странная привычка не надевать кольчуги в бою; после его смерти было сложено немало легенд, рассказывающих о лихом батыре, смотревшем смерти прямо в глаза.

Тансулу прибавила одну из легенд к дастанам о Жойкыне и часто рассказывала легенды о батырах своим сыновьям.

Прошло пять лет. Дети считали себя братьями, были на редкость дружны между собой и часто устраивали потасовки с другими мальчишками, неизменно выходя победителями. Однажды пришёл старый калмык, ведя в поводу двух лошадей.

Несколько лет он ухаживал за ними вместе с ребятами, обучал детей верховой езде, но через пару лет умер. Перед смертью он глазами отыскал Тансулу, хотел что-то сказать, но язык ему не повиновался. В отчаянии он пытался передать свою тайну знаками, но Тансулу ничего не поняла, и старый калмык унёс тайну с собой в могилу.

Прошло ещё несколько лет. Сыновья уже выезжали на охоту наравне с взрослыми, им было по пятнадцать лет. Оба они называли Тансулу «апа».

Однажды сын Жойкына увидел, что Тансулу собирается в дорогу.

— Апа, куда ты?

— Сын мой, ты вырос, возмужал, стал самостоятельным. Ты знаешь, откуда ты родом, где твои корни. Не хочу быть тебе обузой теперь.

— Апа, вы были мне второй матерью. Будет несправедливо, если вы покинете меня. Прошу вас, оставайтесь.

Тансулу растроганно сказала: «Да, это правда, ты для меня был дороже собственного сына».

— Апа, где я вас найду? Когда мы встретимся? По вашим рассказам отца-то я найду, а где мне искать вас?

— Отыщешь отца, отыщешь меня.
 — Не говори загадками, апа, я не могу всё понять.
 — Это не загадка, сынок. Позже ты сам всё узнаешь.
 — Апа, почему вы никогда не рассказываете мне о матери?
 Если вы так хорошо знали моего отца, отчего же вам ничего не известно о женщине, родившей меня?

— Нет, сынок, я ничего не знаю о твоей матери. Скажу лишь, если ты вырастешь хорошим человеком, батыром, если у тебя будет щедрая душа — значит, ты будешь достойным сыном своей матери.

— Бедная моя мать, как бы я хотел увидеть её, услышать её голос. Мне кажется, моя мать самая красивая, самая добрая женщина в мире.

Тансулу, не дослушав, повернулась и пошла. Юноша подбежал к ней, поднял её и стал кружить. Платок развязался, и юноша увидел безносое лицо. Радость его померкла, Тансулу быстро подхватила платок с земли и ушла. Юноша долго глядел ей вслед. Даже страшная рана не могла скрыть сквозь годы прекрасный облик, который на мгновение открылся ему. Почувствовав, что он смотрит ей вслед, как будто желая опровергнуть его догадку, женщина вдруг сгорбилась, захромала, засемила по-старушечьи, и появившаяся вдруг неожиданная догадка сама собой погасла.

6

Дни, сменяя друг друга, шли своей чередой, старые раны постепенно затягивались. И Жойкын, после годовичного траура и поминок женился, имел троих детей. Самому младшему, Даурену, нынче пошёл восьмой год.

Казалось, что всё былое ушло безвозвратно, душевная рана затянулась, но однажды в ауле появилась безродная старуха, и после этого стали происходить странные события.

Возможно, из-за болезни лицо её всегда было прикрыто платком так, что видна была лишь верхняя часть. Жойкын не обратил особого внимания на нищенку; мало ли бродяжек и сирот скитаются по белу свету. Но было удивительным то, что к женщине привязался его сын Даурен. Он часто видел, как они вдвоём разучивали дастаны. И, странное дело, в голосе нищей старухи было что-то до боли знакомое, родное. Завидев Жойкына, старуха, при-

храмовая, спешила скрыться. Жойкыну было недосуг думать о старухе, а странную привязанность сына он считал просто детским капризом.

Однажды утром жена заметила, что муж непривычно молчалив и задумчив.

— Что с вами случилось, отагасы¹, уж не заболели ли вы, — игриво приникая к нему горячим телом, сказала жена.

— Да так, просто привиделся тяжёлый сон, вот не по себе что-то.

— Старики говорят, сон — лисий помёт. Может, позвать старуху-нищенку, пусть разгадает ваш сон.

При упоминании о старухе Жойкын категорически запротестовал: «Нет, что ты, ни к чему это. Видать, устал я в эти дни». Утром следующего дня муж был ещё более озабочен и хмур.

— Отагасы, да что такое с вами, вы, видно, захворали, совсем с лица спали.

— Теперь уж скрывать нечего, жена, второй день снится Тансулу. Как будто всё уже давно быльём поросло, а вот поди ж ты.

— Надо позвать муллу, принести жертву её духу.

Мулла не замедлил явиться, и когда он спросил, духу какого человека ниспослана молитва, Жойкын поспешно, чуть, может, громче, чем полагалось, крикнул: «Духу Тансулу». Отведав жертвенных лепешек, которые испекла пришедшая старуха, к тому времени помогавшая по хозяйству, все разошлись.

На заре, сквозь дрему, женщина потянулась всем телом к мужу, чтобы приласкаться, но повернувшись, она обнаружила, что Жойкына рядом не было.

Ревность мгновенно обожгла сердце женщины. Не помня себя, она выскочила из юрты. Муж стоял, облокотившись на соре², и о чём-то думал. Жена хотела было подойти к нему, но он махнул ей рукой, показывая, чтобы она возвращалась обратно.

Женщина нырнула в остывшую уже постель, досада на мужа прошла, она постепенно успокоилась и тихо уснула.

У каждого свой крест в этом жестоком мире, и сколько же жизней безжалостно перемолото в жерновах неумолимой судьбы! Вот и Жойкын вступил в поединок с ней, размышляя о своей жизни, о

¹ Отагасы — традиционное обращение жены к своему мужу.

² Соре — приспособление для сушки молочных продуктов.



том, что происходило с ним последнее время. Явь и сон переплелись в его сознании, ему было странно ощущать это. Вот сейчас, например, он ощущает холодную влагу росы, может взять с цинковки кусочек завалывшегося курта и попробовать на вкус. Явь это или сон? Конечно, это происходит с ним наяву. А как же объяснить то, что три ночи подряд он видит во сне одно и то же?

Дорогой читатель, оставим Жойкына наедине с его думами, и попытаемся приоткрыть вам завесу тайны.

Вы, без сомнения, поняли, что пришедшая безродная бродяжка, появившаяся в ауле Жойкына — это и есть наша давняя знакомая Тансулу. Рассказав своему сыну обо всём, и строго-настрого повелев ему объявиться в назначенный ею срок, она отправилась в аул своего мужа. Когда же до назначенного срока осталось немного, Тансулу принялась действовать. Добавив в чай супругов снотворного, и дождавшись, когда они уснут, она подсаживалась к Жойкыну и пела ему песню о своей жизни, о том, что с нею произошло. Вглядываясь в любимые черты мужа, она не могла сдерживать слёзы, катившиеся по щекам и изо всей силы стискивала руки, чтобы не выдать себя — ей так хотелось припасть лицом к груди Жойкына, почувствовать вкус его губ, вдохнуть запах родного тела.

Муки эти продолжались три дня, но после того как она выговорила, выплакалась, ей стало легче, она как будто освободилась от многолетней тяжести, давившей грудь.

Тансулу была счастлива теперь, как когда-то в юности. Она уводила Даурена на берег озера, и там, зная, что их никто не видит, ласкала его, пела ему песни, рассказывала истории о батырах.

Тансулу знала, что Жойкын услышал её песни сквозь сон.

Но, с тех пор, как Жойкын назвал её духом, она поняла, что отныне нет ей места среди живых. Она видела, как на третий день под утро Жойкын, истерзанный видениями, вышел из юрты и долго стоял, облокотившись на соре. И она была единственным свидетелем его душевных мук, единственным человеком в мире, кто мог бы разделить их с ним. Но она уже не могла этого сделать. Днём она увидела, что Жойкын послал за Сагилой — той девушкой, что была с ней в плену у калмыков.

Сердце Тансулу билось как у птицы в силках, она не находила себе места от неуёмной радости, теснившей грудь, и бедная жен-



щина побежала в степь. Если бы кто-нибудь увидел её летящий шаг, её легкую поступь, то удивился бы такой несказанной красотой.

Но никому не суждено было увидеть эту красоту, ибо сбылись слова ворожеи, которая сказала когда-то, что красота вместе со счастьем приносит беду.

Пока Тансулу, спешила скрыться от людских глаз, в юрте произошёл такой разговор:

— Сагила, дело прошлое, и тебе, наверное, тяжело об этом говорить, но я тебя прошу вспомнить, сама ли ты, своими ли руками похоронила Тансулу, — сказал Жойкын. — Скажи мне всю правду, не скрывай.

— Ох, деверёк мой бедный, — ответила Сагила, — сколько раз уж я тебе всё это пересказывала. Много воды утекло с тех пор. Что сейчас я могу рассказать, ведь стёрлось всё из памяти. Лучше не беречь старые раны.

— И я, Сагила, забыл и не вспоминал. Но вот уже три дня, как вижу её во сне.

— Дух её, дух просит успокоения, — сказала Сагила, запинаясь.

— Нет, тут что-то другое, какая-то тайна, скрытая от меня.

— Что я могла, горемычная, поделать. Как мне сказали, так я и поступила.

— Как, как ты говоришь, кто тебе сказал?

— Да нет, ничего, я просто говорю, что все мы в руках божьих.

— Не вилай, говори прямо. Видела ли ты мёртвой Тансулу, хоронила ли ты её своими руками? Кто тебе передал кинжал?

— Кинжал? Какой кинжал?

— Вот этот, — Жойкын передал кинжал Сагиле.

Сагила, зарыдав, закричала:

— Нет-нет, нечего мне сказать, ничего не скажу.

— Сагила, грех будет большой на тебе, если скроешь тайну. Я должен знать всю правду, пойми, милая.

— Пусть простит меня Всевышний, ведь я клялась его именем.

— Кому ты давала клятву?

— Беку-калмыку, да простит мне дух его. Он погиб на поле битвы.

— Его смерть я видел собственными глазами. Наверное, он должен был погибнуть от моей руки, не вышло.



— Слушай, — произнесла наконец Сагила, — откроюсь тебе и скажу то, что скрывала все эти годы. Мертвой Тансулу я не видела, калмык дал мне кинжал Тансулу, сказал, что она убила сама себя, я должна была рассказать тебе о смерти твоей жены, будто бы я сама похоронила её. Он взял с меня клятву, я не могла её нарушить.

После долгого молчания Сагила продолжила:

— Разве я тогда не говорила тебе, что через пятнадцать лет тебе будет знак, видение. О том, что через пятнадцать лет ты увидишь Тансулу во сне, говорил мне бек калмыков.

— Я забыл про это. Да, верно, припоминаю сейчас твои слова. И ровно пятнадцать лет прошло с тех пор.

— Чудится мне, что Тансулу жива, — сказала вдруг Сагила.

— Как?

— Ведь мёртвой я её не видела, не хоронила её собственными руками. Непроста бек взял с меня клятву. Здесь есть какая-то тайна.

— Если верить моему сну, я должен встретиться вскоре с сыном. Тансулу мне сказала об этом.

— Я как чувствовала, что произойдёт что-то важное.

— Что бы ни случилось, я буду ждать своего сына. Тансулу сказала мне, что мой сын похож на меня, ведь Тансулу носила под сердцем дитя, когда мы расстались.

— Да, мне об этом тоже было известно.

— Во сне Тансулу просила меня никуда не переключиваться до тех пор, пока не объявится мой сын. Она боялась, что иначе он меня не найдёт. Вот почему я должен обязательно дождаться его.

7

Жойкын пристально вглядывался в сына, отыскивая в нём черты Тансулу, но не находил, и ему стало грустно. Мысли его прервал сынишка Даурен. Вбежав в комнату, он закричал: «Аке, аке, апа упала с берега в реку». В это время взгляд сына, который он бросил на Даурена, вдруг так напомнил ему Тансулу, что в сердце его не осталось сомнений: это точно был его сын.

Тем временем Даурен нетерпеливо тянул их к выходу.

Юноша вдруг забеспокоился: «Кто это? Откуда она пришла к вам?» Жойкын ответил, что нищенка появилась у них недавно, и



что была очень привязана к Даурену. Только зачем она прыгнула в воду, ведь вода уже холодная, да и глубоко там.

Когда они взошли на высокий берег реки, юноша побледнел, кинулся к лохмотьям старухи и, прижимая их к лицу, зарыдал. Слезы заливали ему лицо, он плакал впервые в жизни, горе его было непомерным.

Пошатываясь, все ещё всхлипывая, он подошёл к краю обрыва и глянул в воду. Внизу бушевал поток, закручиваясь в воронки.

Они стояли рядом, отец и сын, и не могли остановить своих слёз. И никто не мог упрекнуть их в слабости.

Прошли годы, сын Тансулу и Жойкына вырос, стал знаменитым батыром. В память о нём, о его подвигах сложены легенды, песни.

Мы намеренно не называем его имени, потому что наш рассказ не о нём, а о великой силе любви, которую пронесла сквозь годы в своём сердце хрупкая и нежная женщина по имени Тансулу.

АШИРБЕК КОПИШ

ТУМАН, СПУСТИВШИЙСЯ С ГОР

(отрывок из повести)

— Ой, ужас! Горим! Горим!

Горький, раздирающий душу крик потряс всё ущелье. Раздавшийся рядом с домом дробный стук копыт стал удаляться. Оторвавшись от сна, я прильнул к окну. Казалось, всё ущелье вокруг было охвачено огнём. Пляшущие языки пламени будто бросались на наше окно. С грохотом клокочущей горной реки слился испуганный вой собак, а из сарая раздавалось тревожное ржание лошадей. Устремившиеся в нашу сторону из мрака всполохи огня снова и снова сверкали вспышками в стёклах окна.

С треском отворилась дверь, и тате Загира в одном ночном платье вылетела наружу. Затем забежала назад.

— Ой-бай, пропали мы, пропали... О Всемогущий Создатель, смилуйся над нами и спаси нас от этого ада!

Едва проглядывается в темноте фигура испуганно мечущейся в поиске одежды тате. Я снова выглянул в окно.

— Тате, что случилось? Что там творится?

— Ой-бай, пропали, Аманжан. Смотри. Горит мельница моего деда.

— Мельница?

Сердце пронзило холодом. Я вздрогнул, будто меня облили ледяной водой, и выскочил наружу. Как только вышел из укрытия, лицо обдало дымом и жаром. На месте обычно чёрного силуэта мельницы на том берегу реки полыхал огромный костёр. Возле него суетливо носился какой-то человек. Похоже, он беспомощно пытался заливать огонь водой. Тем временем вырывавшиеся изнутри мельницы красные языки пламени охватили все стены. С треском горели брёвна кладки из незапамятных времен. То там, то здесь раздавался треск и, как от взрыва, летели вокруг искры.

Я бросился бегом в сторону верхнего брода. Сзади раздаются звуки каблуков бегущей следом тате. Когда добрался до брода, то

вокруг расстился поток. Ливший на протяжении двух суток тёплый дождь растопил ледники на вершине Аулиешоки, и мутные потоки талой воды вырвались наверх скованного льдом русла реки и бурлящей массой неслись по реке, круша всё на своем пути. Мощный поток, оказывается, сорвал одну сторону деревянного моста через брод и унёс его останки на самую середину течения. В это время подбежала и тате Загира.

— Аманжан, что нам делать?.. А мельница теперь сгорит полностью, — произнесла она прерывающимся от волнения голосом.

— Бежим вниз! Внизу есть переправа, — выдавил я из себя, не узнавая своего голоса. — Пойдём туда.

Но и нижняя часть реки клокотала, выйдя из берегов, и с грохотом несла камни и мутные струи грязи. Стремительные потоки воды, казалось, были готовы проглотить лежавшие вдали каменные валуны, похожие на безмятежно пригревшихся на июльском солнце барашков.

В это время со стороны Керуена показались силуэты скачущих на лошадях людей. Вскоре они пронеслись мимо нас с призывными криками «Аттан!»

— Аттан, тушите огонь!

— Возвращайтесь назад!

— Отведём беду! Аттан!

Я тоже обратился к тате:

— Пойдём быстрее.

— Подожди, я захвачу из дома аркан.

Тате Загира бросилась бегом к дому. На мгновение вокруг установилась тишина.

Мне лично казалось невозможным спасти мельницу от огня. Красные языки пламени были готовы проглотить просмоленные сосновые брёвна и сквозь бушующий огонь временами возникали знакомые мне очертания мельницы и тотчас исчезали. Словно вырвался из под земли многоголовый дракон и кровожадными красными языками был готов слизнуть и заглотить испуганно замершего в гнезде птенчика. Я поднял взгляд на крышу мельницы. Мне показалось, что через клубы чёрного дыма и искры огня кто-то пристально смотрит на меня. Да это же Жанбыралы! О, чудо, это наш Жанбыралы! Моё тело пронзила дрожь от одновременного чувства радости и страха. Он же продолжал смотреть на меня:

«Я ведь завещал тебе эту мельницу...»

Я промолчал.

«А ты знаешь, кто построил эту мельницу?»

Я не мог ответить.

«Это так ты берег её, как зеницу ока?»

Меня охватила какая-то слабость, и глаза будто застлала темнота. Стерев слёзы, посмотрел снова. Жанбыралы, точно, сам Жанбыралы. С глубокой горечью он уставился на бушевавший внизу огонь.

«Постой, Жанбыралы ага... Мы сейчас потушим пожар! Только ты не уходи. Я долго тебя ждал, ага. Только не уходи теперь. Мы сейчас потушим». Я вытер подолом рубахи струившиеся по лицу слёзы. И продолжал умолять Жанбыралы больше не покидать нас. Его глаза ярко вспыхнули в зареве огня, он быстро скинул с плеч свою шинель и начал сбивать ею языки пламени.

Подбежала запыхавшаяся тате Загира. Один конец принесенного аркана она, оказывается, уже привязала к дереву на берегу.

— Миленький мой, что говоришь? Какой ещё Жанбыралы?! Не бойся, не плачь, пожалуйста. Сейчас доберёмся, потушим пожар...

Ни капли зла не держала она на душе и за всю жизнь не обидела ни одной живой души моя славная тате. Но меня охватила злость за свою беспомощность. Сколько времени на протяжении многих дней искал я Жанбыралы, а когда он, наконец, появился, я не смог обрадовать. Как же было не сожалеть и не злиться на себя.

— Перестань, милый. Пойдём быстрее, переправимся.

Мы по очереди обвязались арканом и пустились через бурлящий поток.

— Боже милостивый, — произнесла тате, едва ступив в воду. — Не спускай аркана с пояса. Крепко держись.

Хлынувшая в сапоги ледяная вода сотрясла всё тело. Тате Загира, не издавая ни звука, потихоньку продвигалась вперёд. Я тоже старался не отставать от неё. Когда мы подошли к середине потока, нас задел плывущий по поверхности воды кусок льдины и чуть не унёс за собой.

— Держись за аркан! Не отпускай! — закричала тате.

Я невольно закрыл глаза. Никогда в жизни не ощущал такого холода. Промокшая одежда прилипла к телу, ноги тотчас одеревенели, а всё тело будто пронзали тысячи игл.

— Терпи, ты ведь джигит. Осталось немного.

Тате Загира, не освобождая привязанный к поясу аркан, не обращала внимания на несущиеся льдины и продолжала идти вперёд против течения. Взгляд мой остановился на объётой пламенем мельнице. И будто сила влилась в моё тело, не разжимая сведённые судорогой руки, я упрямо следовал за тате Загирой. А бурный поток продолжал трепать наши привязанные к аркану тела. Мои глаза на том берегу. Вон мельница уже превратилась в сплошной красный факел и начала клониться на бок. Оттуда вместе с порывами дыма и гари доносятся запахи поджаренной пшеницы и свежей смолотой муки. Теперь конец всему.

Пылающий огонь осветил ущелье кроваво-красным цветом. Почему он не гаснет?

«Куда ты бежишь непроглядной ночью, будто омытая кровью Каскасу, бессмысленно гоня неутомонный поток».

Безответен мутный поток: захватив своим течением глыбы льда, несётся куда-то в дальние края будто застывшего в тревоге мира.

«Молчаливо глядящие в бездну тьмы могучие скалы и утёсы, почему вы не прикроете своей грудью нашу охваченную огнем мельницу?!»

Но величественные скалы, то становясь красными во всполохах огня, то бледнея, беззвучно застыли на своих местах.

«Густой щетиной покрывшие горные склоны деревья, хотя бы вы набросились на огонь и смели враждебные языки пламени».

Но деревья молчали, забившись в мрачные уголки леса. И только дрожь теней выдавала охвативший их страх.

«Тушите огонь! Тушите скорее! Если вы не потушите, кто же справится с этим ужасным огнём?!» Но молча застыло небо. Молчит и земля. Всё погрузилось в тягостное безмолвие. Так кто же будет бороться с огнем? Кто потушит? Кто?

Никто не ответил. Через некоторое время из-за каменных утесов по берегам Каскасу стали появляться не похожие на людей какие-то странные существа и, показывая руками на пылающую внизу мельницу, громко смеялись на всё ущелье. Люди-звери! Откуда они взялись?! Когда эти страшные существа с красными угольками в глазах и мечущимися изо рта языками пламени издали свой раскатистый смех, то его эхо отозвалось в окружающих ущелье скалах и сотрясло всю округу: «А-ха-ха-хаа...»



Пропадите, вражье отродье! Чего смеётесь? Огонь сейчас потухнет, мы потушим его. Огонь могут потушить только люди!

В один момент среди чёрных теней показались прищуренные и чуть косоватые глаза Сексенбая, одетого во всё чёрное с головы до ног. Улыбаясь во весь рот, он показывал рукой на мельницу и тоже смеялся. Враг проклятый! Предатель! Я сжал кулаки.

...Когда стремительное течение понесло камни под ногами, я плюхнулся в воду. Несущийся по волнам кусок льда сильно задел моё ухо и висок. Захлёбываясь, я потянул аркан и вынырнул наружу.

— Милый, терпи. Вот уже и берег рядом.

Это — голос тате Загиры. Я слышу его. Только конец её слов в моей голове сопровождает какой-то тягучий звук.

А огонь, вырвавшись за пределы мельницы, будто охватил всё ущелье. Вот он, расширяясь всё сильнее, набросился на массивные камни. Словно сухие листья запылали огромные скалы. И в один миг раскололись их вершины, и их красные, как раскаленные угли, осколки полетели во все стороны. От падавших в бурлящее русло обломков поднялись огромные волны и понеслись в нашу сторону. Несутся на нас с гулом пламени. От горячего веяния огненных волн начали вспыхивать сосны, берёзы, тополя и тальники в ущелье. Конец... запылало все. Вон сиротливо застыл цветок! Сник печально. И он попадёт в объятия огня. Спасите... Спасите, люди, одинокий цветок...

Разрезая на лету полыхающий огонь, в ущелье ворвался на резвом скакуне всадник богатырского сложения. Он отсекал своим щитом набросившиеся на его лицо словно змеи языки пламени, высоко поднимая в руке сверкающую саблю. Тотчас разбежались странные, напоминавшие звероподобные существа, тени. Айбаткан батыр! Слава твоему величию, Айбаткан баба! Ты снова вернулся? Неужели мельница сгорит полностью, пока до неё дойдёт батыр в подобном месяцу шлеме? Ведь всё охвачено пламенем. Я и сам уже плаю. Всё тело охвачено жаром, и всё вокруг — небо, земля, бурлящие воды, полыхающая в огне мельница — всё плывет перед глазами, как порхающие бабочки...

* * *

Открыв глаза, я увидел свет фитиля стоявшей на подоконнике масляной лампы. Всё тело будто охвачено огнём. Свет лампы, ос-



тавляя слабый свет в полумраке, будто избегая меня, то угасает, то вспыхивает снова. Иногда под слабым отблеском света вижу худощавый печальный лик глядящей на меня тате Загиры. Вроде слышится чей-то приглушенный разговор. Эти голоса то доносятся до меня, то, удаляясь, сливаются с гулом бурлящей за окном реки. Голова будто забита ватой. Ничего не понимаю, будто нет во всём теле души. Слабый свет перед глазами иногда светит ярче и снова становится похожим на отблески полыхающего огня.

Когда проснулся снова, то через затянувшийся ущелье холодный туман проскользнул луч солнца и, найдя наш дом, пролил на него свой жизнерадостный свет. Из открытых дверей передней комнаты послышался хриловатый голос отца:

— Мало того, что сама понеслась туда, зачем ребёнка за собой повела?

— Ну как же, ведь горело всё, испугались.

— Да сгори вместе с мельницей Ералы, Бог с ними. Только ребёнка напугала...

— Да поправился ведь, мой озорник...

— Не родной он тебе, потому и поступила так.

— Что ты говоришь, коке?

— Всю ночь он повторял имя какого-то скитальца. Ты научила!

— Ничего я не научила. Он сам узнал всё...

— Перестань! Что он, святой, чтобы знать всё?! Хоть и нет его в помине, Жанбыралы всё ещё в твоём сердце. Если зайдёт сейчас, наверно, побежишь за ним, ухватившись за подол.

— И что ты хочешь мне сказать?

— Выкини из памяти поганого Жанбыралы. И чтобы этот ребёнок больше не видел его во сне.

Голос тётушки задрожал от слез:

— Истинная правда, Жуке. Как я его забуду... Да и в чём его вина?

— В чем вина, говоришь?! Если безвинный, то, иди, оправдай его. Только твоего заступничества не хватало. Я ещё тогда знал, что он не вернётся с фронта. Ты следом за ним отправилась в город на повозке, которая везла призывников на фронт. При прощании, не стесняясь, повисла на его шее со словами: «Вернись живым, Жанбыралы, буду ждать тебя». Не забыла, наверно, этого. Я тогда ещё решил, что женюсь на тебе во что бы то ни стало. В кон-

це концов, достал я тебя то страхами, то уговорами, и привёл в этот дом женой. А ты знаешь, что у одной женщины не может быть двух мужиков: один дома, другой снаружи!

— Всё равно, как скажу я вам, что забуду Жанбыралы. Я не смогу забыть его. Сам посуди...

— Заткнись! Забудешь! Заставлю забыть. А напоминающего тебе о нём Ералы сотру с лица земли вместе с вонючей мельницей! Уничтожу!

Коке в этот миг был готов разорваться от ярости, и он произнёс сквозь зубы:

— Вон и мельница превратилась в прах. Я её превратил в пепелище. Я её поджёл! Я! Я это сделал! Пошёл и пустил паводковую воду в её лоток. От трения железных колец пошли искры, и высохшая мельница вспыхнула как спичка. Я поджёл. И что ты сделаешь!

Сердце моё обдало леденящим холодом.

Я вскочил было с постели, но закружилась голова, и я снова упал в неё.

— Как? — растерянно воскликнула тате Загира.

— Да так. Рудник открывается. Ноги моей теперь в этом месте не будет.

— Почему? Почему ты сжёг мельницу? В чем виновны мой дед и мельница? — тётушка зарыдала.

— В чем виновны говоришь? Когда ты видела Журтбая, повинующегося божьей прихоти?! Если ты не знаешь, то люди знают, что я обязательно отомщу за обиды. Только ты этого не знаешь. Если бы знала, то разве стала бы оказывать внимание недавно нагрянувшему сюда с рюкзаком геологу? Или тебе не хватает Журтбая?

— Ты чего говоришь?

— О тебе говорю. До последнего дня вы оба были под прицелом моего ружья. Хотел разнести вас пулей, когда оставались наедине, да рука не поднялась. После этого, следя за ним, обрушил на него камень с обрыва. Да живучий оказался, собака, не умер. Если ещё раз нагрянет, пусть пеняет на себя.

— Кто вам сказал такое? Ложь всё это. Ложь... Не виноват он. Как ты можешь пролить кровь безвинного человека?

— Невиновен говоришь... кровь говоришь... Тогда, выходит, я виноват. Должен радоваться, что расстелил ему постель. Хоть и



косой у меня глаз, в бинокль всё видно. Всё лето следил за вами. Хоть и не снёс головы, подкосил я всё-таки его. Чтоб не появлялся здесь. Любвеобильный больно, пусть в городе своём проявляет чувства. А Журтбая никто не запугает.

— А Айбаткан? Ты не боишься святого духа Айбаткана?

— Если надо, то и Айбаткан подожгу!

— Какая ты сволочь! — произнесла тате через слёзы. — Не «вы» буду называть тебя, а «ты». Всю гадость ты вобрал в себя. Чем ты отличаешься от зверя?! Зверь ты гадкий!

— Заткни свой рот!

— Враг! Кровопийца ты! — гневный голос совсем не походил на обычно мягкий и спокойный голос тате.

— Хватит! Заткнись!..

Отец схватил висевшую на стене камчу и хлестнул её.

— Не перестану! Всем расскажу о твоём кровавом нутре. Ты и прежнюю жену свою выгнал из своей жестокости. Вот, золотой ребёнок, остался из-за тебя без матери. И меня вот ешь поедом! Пусть хоть небеса разверзнутся, скажу: ты ноготка Жанбыралы не стоишь. Жанбыралы... дорогой мой Жанбыралы...

Камча вновь обрушилась на тате. Я всё-таки сорвался с места и, преодолевая головокружение, устремился в переднюю комнату.

— Тате, тате...

Отец прервал свою ругань и побои. Бросил сердитый взгляд на меня, беспомощно застывшего у дверей.

— А, это ты. Чего стоишь, как ощерившийся волчонок. Иди, ложись в постель! — с этими словами он вышел из комнаты.

Из передней комнаты всё ещё доносились рыдания тате Загиры. Отец запряг лошадь и, повесив как обычно на плечо ружьё, исчез в густом тумане. Видимо, испугавшись густой завесы тумана, ушедшая вместе с ним борзая собака вскоре скуля вернулась назад.

В тот день в нашем доме не зажигали лампу. Плотный туман рано задвинул завесу ночи, и всё вокруг погрузилось в дремотную тишину. Временами порывы ветра с гор отзывались дрожью треснувших стёкол окна. Из глубины непроглядного мрака снова стали появляться люди в чёрных одеждах, с горящими как угли красными глазами, и я погрузился в страшные видения и мысли. Тате Загира проплакала всю ночь

Через неделю приехал её брат и забрал тате. Она долго не могла привязать тороку к седлу, так как её сотрясал плач. Человек на коне стал торопить её.

— Я сорвалась и совершила ошибку. Не уеду я, не уеду.

Человек на коне нахмурился.

— Хватит, перестань! Хватить терпеть побои Журтбая и ходить в синяках.

— Брат мой, посмотри. Ведь плачет мой озорник. Как я оставлю своего Аманжана. На кого брошу его.

— Не останешься. Уедешь со мной. Я не могу больше слышать о том, как в этой горной глуши гуляет по твоей голове камча. Хватит терпеть унижения коварной змеи Журтбая. Уведу я тебя.

— Простите, брат мой, в последний раз. Всё вытерплю теперь, буду слушаться хозяина очага. Если и умру, то на пороге этого дома. Посмотри в глаза этого нуждающегося в материнской ласке ребёнка.

— С таким отцом, чего от него ждать хорошего. Поехали.

— Не говори так, брат мой. Это ведь ангел. У ребёнка нет вины. Раскрыв объятия, тате бросилась ко мне.

— Верблюжонок мой ненаглядный. Скажи, чтобы я осталась.

Солнышко моё, тате, отзывчивая и добрая душа, почему мне приходится видеть твоё горе. Хотя бы половиной своих несчастий поделись со мной, влей их в моё маленькое сердечко. Словно разделился надвое единый родник. Как я, лишившись тебя, останусь один в этих безлюдных горах?!

Я бросился навстречу тате, чей лик виделся ярким светом через плёнку застлавших глаза слёз. Обхватил её за плечи и прижался к её груди головой, издавая громкий плач. Она без конца целовала мои руки, лицо и глаза.

— Милый ты мой озорник! Видно, Бог не дал нам до конца своих дней делить хлеб и соль. Прощай, мой светик. Стань хорошим человеком. Будь умницей... Не забывай, моё солнышко, что есть у тебя на свете одинокая и несчастная тате.

Какая-то сильная рука вырвала меня из тёплых объятий и отбросила в сторону.

— Сгинь прочь, чего так расчувствовался, будто мать она тебе родная. Пусть уезжает, исчезнет с глаз!

Это был отец.

— Коке, — бросился я к нему со слезами, — скажи тате, чтобы не уезжала. Пусть она останется!..

Он не проронил ни слова.

Посадив тате на лошадь, незнакомый мне человек отправился с ней в путь... Затем обе лошади поднялись на перевал и едва начали исчезать, как одна из них приостановилась, и тогда, не обращая внимания на сползавшую с плеч шаль, слезшая с коня тате бросилась бежать.

Моя милая тате, моя золотая тате, увидев, что я плетусь следом, с плачем и распротёртыми объятиями бросилась навстречу. Я тоже побежал. Но передний всадник повернул назад и, преградив ей путь, увёз её с собой.

Эх, милая тате, воплотившая в себе все лучшие человеческие качества, но хранившая в глазах тоску и печаль выпавших невзгод, вот и ты покидаешь наше ущелье. Почему же Создатель обделяет счастьем и радостью таких людей? Где теперь найдёт приют и утешение твоё чистое сердце? Или же так и не рассеются перед тобою тучи невзгод, и не брызнет свет надежды и утешения? Возможно и ты, как и я, будешь ждать возвращения на Айбаткан Жанбыралы. Если он вернётся на окропленную кровью своей пуповины землю, он и сам найдёт тебя. Прощай, моя золотая тате, ставившая меня выше всех в подлунном мире! Если я стану достойным человеком и достигну чего-то в этой жизни, то осуществится и твоя мечта. Прощай, золотая луна Айбаткана!

И я не отрывал взгляда от горных вершин, на которых временами показывалась пара удаляющихся всадников, пока они совсем не исчезли за одним из дальних перевалов.

В тот день, сидя на вершине одной из нависших над ущельем скал, я подумал о том, что в этом мире счастливы только беззаботно мерцающие на небосводе звёзды. Ведь видя сверху всё происходящее на земле, они сами не испытывают тягот и печалей, которые выпадают на долю людей.

ШАРБАНУ БЕЙСЕНОВА

БАБЬЕ ЛЕТО

Акжамал сегодня в приподнятом настроении, носится, как окрылённая, не чуя под собой ног. Кажется, она давно не чувствовала себя так хорошо. Встав с первыми лучами солнца, переделала уйму дел по дому. Боясь разбудить сына и невестку, ходила на цыпочках, подняла старших внучек, воркуя ласково, заботливо одела их, накормила остатками ужина и без лишнего шума вывела из дому. Завела старшенькую во двор школы, которая находилась на другой стороне улицы, среднюю внучку привезла в самый центр города в детский садик. Это её ежедневные обязанности, но сегодня всё это она делает с каким-то воодушевлением и особенной энергией.

Утренний сон ведь самый сладкий. Это она знает по себе. В молодые годы она никак не высыпалась. Рано вставала, поздно ложилась в те годы. Порой думалось тогда: «Эх, будет ли у меня такой день, когда смогу беззаботно выспаться? О чём ещё может мечтать человек, который досыта выспался?» Неизвестно, куда делась та страсть ко сну, порой до самого утра ворочается она без сна, и постель кажется ей каменной.

«Молодая же, пусть поспит», — не решалась она будить невестку по утрам. Всё же, чересчур чадолюбивая, сноха вставала рано, чтобы присмотреть за ребёнком. Вчера в разных хлопотах припозднилась она до полуночи, и теперь, кажется, не в состоянии проснуться.

Отведя детей в школу и садик, вернулась домой, заквашенное загодя тесто уже поднялось. Работая споро, умело накатала и быстро испекла семь лепёшек. Поскольку была пятница, во имя аруахов¹ прочитала положенные молитвы. Накормила сына и невестку горячими баурсаками, напоила чаем и проводила их со двора на

¹ Аруахи — духи предков.

работу. В это время пришла женщина, нанятая присматривать за маленьким ребёнком. Вверив ей дитя, сама не торопясь расчесала и уложила густые волосы, слегка подкрасила губы, надела нарядное платье, которое очень шло ей. В последнее время она больше носила брюки, так было удобнее ходить и заниматься делами. Но сегодня ей почему-то захотелось надеть именно это платье. Взяв модную сумочку, она направилась в магазин «Дастархан».

От невестки слышала, что самые вкусные торты бывают именно в этом магазине. Правда это или нет — ей надо было убедиться в этом собственными глазами. Сегодня день рождения средней внучки Толганай. Вот она и вышла с целью закупить всяких сладостей, фруктов и отвезти это в садик на праздник своей избалованной, капризной внучки. Сегодня воспитательницы собирались в группе отметить день рождения её Толганай. Конечно, это традиция в духе времени. Сыну и невестке не до этих затей, от своих дел и забот едва не валятся с ног.

— Апашка, ты сама устрой это, — в привычке было у них переключать дела на её плечи. Акжамал разве уставала от таких затей? Напротив, загоралась предстоящим:

— Миленькие мои, чего вам беспокоиться, когда я есть у вас? Главное, чтобы работа ваша шла нормально, чтобы были вы на хорошем счету. Езжайте себе! — отвечая так, она водила внучку в садик, ходила на родительские собрания в школу. Она давно взяла все эти обязанности на себя.

С рассвета вся в хлопотах и заботах, делая всё наскоро, никогда не забывала упомянуть бога. Говорят: «Счастье в дочерях». Благодарение богу, за то, что дал в потомство пышноволосях, резвых девчушек. И она приговаривала: «Слава Аллаху! Слава Аллаху!» «Благодарение богу» — не забывала говорить она.

Акжамал одинаково горячо любила всех своих внучек. Целуя Нурсаулешку, приговаривала: «Первенец мой, утешение для души, милость и утоление для любви моей, свет очей моих, поцелуй для губ моих!» Особенно нежно баловала Толганай, такими словами: «Господь бог в щедрости своей уподобил её деду». Маленькая, курносая, чёрненькая девчурка с трогательной переваливающейся походкой была — вылитый дед. Сильно напоминала его выражением глаз, движением ножек, но особенно — когда ручонками вытирала рот или глаза. «Нет предела могуществу Создателя, — думала по-

рой Акжамал. — Чем же ещё, как не чудесным провидением бога можно объяснить, что внучка, появившаяся на свет через восемь лет после кончины Секена, и движениями, и мимикой походит на своего деда?» Пусть земля будет ему пухом, бедный Секен, как он любил девочек! Дочерей ему бог не дал, так он до самозабвения умилялся дочуркам родственников, нежно балуя и лаская их. И вот, как будто во исполнение мечты Секена, по милости вышней к невестке, очастливлена она желанными внучками.

Едва ли не до потери памяти радовалась Акжамал рождению каждой внучки, сожалея порой, что Секен не видит этого. Как бы то ни было, таяла та горечь, уходила в глубину, когда в дни счастливых хлопот, не чуя ног, носилась она меж роддомом и базаром, таская сурпу и соки своей невестке. Разве мало таких, кто сокрушается: «Молил о сыне, не дал Господь даже дочери?» А как же иначе, не делая этого, разве не оказалась бы не в милости у бога и аруахов, — опасалась она. А маленькая Ардак — это разговор особый. Это дитя, благоухающая млеком, с лепетливым языком, подобным мёду. Будучи крохотной, девчушка ещё как умела заставлять старших сестер выполнять её прихоти. Как-то раз Акжамал упрекнула Нурсауле:

— Есть ли предел твоим неуместным капризам? Всё выпрашиваешь то, чего нет, наверное, у самого бога? Ты уже большая девочка, когда наберешься уму-разуму?

Айжан, невестка, смеясь, сказала:

— Апашка, разве не имеет права она что-то попросить, когда даже крохотная Ардак, топя ножками, добивается у вас своего?

Да, скажите-ка! У каждой девчурки свои причуды на свой манер. Смысл всей её жизни, видимо, в том теперь, чтобы жить их интересами, приумножая их радости. Благодарение богу за это! Акжамал молит бога только об одном: чтобы древо её потомства росло, разбрасывало ветки, листья и плоды, чтобы оно оказалось счастливым под этим небом.

Она была рада убедиться, что хотя бы одно дело сейчас будет сделано. Сладостей в магазине было хоть отбавляй. Полки ломились от продуктов. В «Дастархане» она выбрала самый красивый торт. На дворе самое лучшее время золотой осени, когда с голубого неба щедрым потоком льются лучи солнца.



Глаза разбегались от обилия фруктов, бери — не хочу! Так и манили взгляд фрукты, которые произрастали в садах Алматы, горками высились и привезённые с юга. Акжамал набрала, сколько хотела, спелые, налитые вишни, крупные, величиной с яблоко, персики. Чтобы не ходить лишний раз на базар, сочла нужным купить в мясном отделе жирное, заправленное казы и изрядный кусок жая.¹ Вскоре она вышла из магазина вполне довольная, неся увесистые пакеты.

Задумалась, как ей теперь ехать — в автобусе или троллейбусе — с таким грузом? И она решила поймать такси здесь же, на месте. Ждать пришлось недолго, стоило ей поднять руку, как мчавшийся серый лимузин свернул и замер рядом.

— Не отвезёте ли меня на угол Абая и Сейфуллина? — спросила она у водителя, поздоровавшись с ним.

— Конечно, почему бы нет? — водитель выскочил из машины, взял у неё пакеты, положил на заднее сидение и, поддерживая под руку, помог сесть спереди. «Наверное, он меня узнал, поэтому остановился», — подумала она, краем глаз посмотрев на водителя. Нет, это был незнакомый человек. «Ладно, пусть отвезет меня куда следует, какое мне дело до того, кто он такой», — решила она. Через некоторое время услышала:

— Увидев красивую молодку с поднятой рукой, да ещё с пакетами, повернул к вам, чтобы подвезти.

То ли шутя, то ли искренне, однако, кажется, от души произнёс это, опрятно одетый, ладный мужчина средних лет, с проседью в волосах. В эту минуту Акжамал, положив на колени сумку, растирала занемевшие пальцы, и от неожиданности замерла.

— А-а! О какой красивой молодушке говорите? Обо мне? Да будет бог доволен вами! Омолодив меня словом «молодка», вы подняли мне настроение, — ответила она шутливым смехом.

— Живёте, оказывается, в самом что ни есть ханском центре.

— Нет, уважаемый, вы, наверное, подумали, что везёте меня домой. На самом деле, еду в детский садик. Повернёте по Сейфуллина, проедете немного вверх и остановитесь возле детского садика «Болашак», что на другой стороне улицы. Достаточно, если доставите меня туда.

¹ Казы, жая — деликатесы из конины.

Водитель оказался словоохотливым человеком, развлекая её всякими разговорами, он скоро затормозил у детского садика.

— Зачем вам переходить дорогу? Лучше я развернусь, — с этими словами он вновь газанул, поднялся до Сатпаева, развернулся возле светофора и, подъехав к самой калитке садика, остановился.

Обрадованная Акжамал принялась благодарить его.

— Накупили кучу всякой всячины, наверное, здесь будет той?

— Да, сегодня день рождения моей девочки. Ей исполнилось пять лет. Вот, везу ей, — ответила она. Вторая сумка, в которой были продукты для дома, тоже была тяжела. И она подумала, что было бы здорово добраться домой на этой самой машине. К тому же приближалось время, когда на обед должен был прийти сын. Работа невестки была далековато, и она считала затруднительным приезжать домой на обед, учреждение же сына находилось поблизости. Настолько в привычку вошло у него ходить домой на обед, что без чашки чая из рук матери сын-домосед не ощущал себя удовлетворённым. Отец его тоже был таким. Пообедав в диетической столовой, по дороге наведывался домой и чаевничал с ней, — без этого он просто не мог. Эх, что и говорить, прошедшего уже не вернёшь.

Акжамал неуверенно сказала:

— Как говорится: «Если хочешь одарить, стели скатёрку», — я недолго буду здесь, найду и выйду, не подождете ли меня?

И она просяще взглянула на него.

— Почему бы нет? Однако долго не задерживайтесь. Как говорится, время дорого.

Акжамал поняла его намёк.

— Не беспокойтесь, я оплачу время простоя, — она взяла свои сумки и проворно заспешила к просторному двору садика. Ей почудилось, что когда разговор зашёл об оплате, насмешливая улыбка тронула губы водителя.

Акжамал отдала привезенные продукты воспитательнице, напомним, что фрукты надо вымыть, и, увидев в открытом проёме свою шалунью, увлечённо играющую с детьми, умилённо прошептала: «Солнышко моё, надо же, какая — вылитый дед». И, как это бывает у людей, любящих добросовестно выполнить задуманное дело, довольно улыбнулась. А сердце билось учащённо, тревожно,

как бы в предчувствии особенной вести. И она подумала, что сегодня необычный день. И машина эта вовремя подвернулась ей. Да, чтобы человеку стало хорошо, оказывается, нужно немного.

Акжамал чувствовала себя совершенно здоровой, даже бодрой. Однако, конечно, это мимолётное ощущение. Ведь в жизни у неё были денёчки, когда долго она ходила унылой, омрачённой.

Двор детского садика очень нравился ей. Он был просторный, словно поле для скачек. Здесь росли экзотические деревья, разные цветы. Притягивали взгляд своей красотой сосны и ели. Сосны были необыкновенно стройны, словно девушки-баядерки.

По вечерам, когда спешить было некуда, Акжамал, отпустив внука поиграть во дворе, устраивалась на отдых на скамейке под этими соснами. И тогда казалось, что сама по себе уходила усталость, накопившаяся за день, а силы словно возвращались к ней. Красочные цветники во дворе садика благоухали, очаровывая взгляд. Бабье лето. Тёплый сентябрьский день не жалел света, он развесил лучи нежным пологом. Всё вокруг словно было окутано мерцанием, омыто розовым свечением. Бирюзово-синее, величавое небо, похожее на чисто вымытое полотно, казалось особенно высоким. Словно из тончайшего шёлка перистые, белые облака легко скользили по выси.

Возвращаясь к машине, Акжамал подумала, что между человеком и природой есть какая-то кровная связь. И как будто целебным дождём унесло, отступила мигрень, которая мучила столько дней, пришло в норму и давление. Настроение было приподнятое, тело — бодрое, а в груди словно песня звучала.

«Какой хороший день! — подумала она, и затем прошептала: «Благодарение богу за этот солнечный, светлый день!»

Акжамал вышла из двора садика и поспешила к машине. Водитель стоял рядом с автомобилем и курил. Увидев её, затушил сигарету, окурок бросил в мусорный ящик, открыл переднюю дверь, взял Акжамал под руку и помог сесть. Давно не проявляли такого уважения к ней. Ей стало очень неловко, она сильно покраснела, ощущая, как наливаются жаром щёки. Водитель обошёл машину, сел на своё место и, повернувшись к ней, улыбнулся:

— Ну, что прикажете? Куда поедет?

Акжамал назвала адрес. Машина опять выехала на проспект Абая и помчалась в восточную сторону. Затем повернула направо



и поехала по большой улице в направлении гор, однако тут их остановила дорожная полиция. Оказывается, дорога впереди была закрыта.

— Да, у нашей улицы есть такое неприятное свойство, что время от времени её закрывают.

— Вчера по телевидению передали, что прибыл президент Египта. Наверное, осматривает город.

— Надо же... — смущённая Акжамал сконфузилась. — Я со своими заботами, наверное, причинила вам беспокойство? Недавно вы меня ждали, теперь опять стоим.

— Не переживайте. Не успел я выкурить сигарету, как вы зашли и вышли. Не бойтесь, я не брошу вас посередине дороги. Если эта улица закрыта, найдём другую.

Машина покатила вниз, повернула направо, обогнула величественный Дворец республики, и поехала к горам по небольшой улице, параллельной основной.

Акжамал когда-то знала эту улочку. Однако давно уже по ней не ездила. Насколько помнила, раньше по обе стороны этой улицы в основном тянулись невысокие дома, окружённые яблоневыми и грушевыми садами, увешанными зреющими плодами. Теперь по обе стороны дороги тесными рядами высились двухэтажные и трёхэтажные коттеджи, один великопнее другого. Акжамал не могла удержаться от возгласа удивления, дескать, как изменилась эта улица! Коттеджный ряд по обе стороны был столь основательный, презентабельно-уверенный в себе, что улочка казалась маленькой, узкой, боязливой. От изобильных плодовых садов ничего не осталось, виднелись только каскады домин. Такой строй домов, похожих на замки, Акжамал видела когда-то в пригородах Германии и Венгрии. Да, этот вид ничем не отличался от той картины. Оглядываясь по сторонам, Акжамал не могла скрыть своего восхищения.

— Как эта улица изменилась! Её просто не узнать, как будто в другом городе едем. Когда эти виллы появились? — спросила она, поражённая.

— Чему вы удивляетесь? Сейчас время иное, в соответствии с новой эпохой появились другие люди. Прошу прощения, если прозвучит грубо. Раньше говорили: «Если казах разбогатеет — возьмёт жену, если узбек станет богачом — построит дом». Эта по-

говорка ушла в прошлое. Теперь говорят: «Если казах набьёт мошну, наймёт узбека и поднимет дом». Те, которые попали в струю, разве не доказывают силу поговорки: «В своём огороде силён, как бык, я, когда зовут на чужой — приходят на ум свои дела».

Ей показалось, будто говорил он это не сколько для неё, сколько для себя.

— У кого получается, пусть имеет, — пожала она плечами. Вспомнилось сейчас, как они с Секеном в молодости по этой улочке хаживали в кинотеатр «Арман». Говори, не говори, что толку от слов, ведь жизнь уже почти вся пролетела, как сон... Думается ей теперь, что те дни промелькнули, как видение. И ещё кажется — никто на свете не знает, что был некогда человек по имени Секен. Словно одной только Акжамал это известно.

Машина катилась медленно с тихим шорохом. Водитель, заметив, что Акжамал погрузилась в глубокие раздумья, желая отвлечь её беседой, спросил:

— Сверстница, кроме дочурки, к которой ездили в садик, есть у вас ещё дети?

— Трое дочерей у меня. В садике — средняя.

— Это хорошо. Всё же нужен наследник.

— Бог милостив: дал дочерей, даст и сына.

— Вам далековато до старости, как говорится, под завершение молодости нужно ещё разок попытать удачу, — смеясь, сказал водитель.

Акжамал потрясённо уставилась на него.

— Вы, вы... не питаете ли надежду на счёт меня? — заикаясь, кое-как проговорила она. Затем, вдруг, залилась веселым смехом. Вот так, от всей души, давно не смеялась она. Хохотала, пока на глазах не выступили слёзы, и не полегчало значительно на душе. С трудом успокоилась, и всё время вытирала глаза платком. Водитель внимательно, с симпатией, поглядывал на неё. В его глазах светилось странное чувство, словно хотел он, чтобы продолжала она вот так заразительно смеяться. Видимо, не считал он её смех неприличным. Недавно ещё печальное лицо её теперь посветлело, словно солнышко, выглянувшее из-за туч. Кажалось, он раздумывал: «Другая, быть может, оскорбилась бы моим словам, восприняв их как задевающие честь, ты же, напротив, развеселилась от души, будто услышала тёплое, сердечное



признание. Наверное, у тебя, как у ребёнка, невинная, непосредственная душа». И смех её, мелодичный, чистый, отозвался в его сердце. Как хорошо, когда женщина идёт через жизнь с улыбкой на устах.

Боясь, что её смех водитель воспримет как нечто неуместное, Акжамал сказала:

— Я говорила о внучках. Ой-бу-у, бог ты мой, что мне теперь делать, вы едва не принудили меня родить сына.

Она покосилась на водителя, и их улыбающиеся глаза в первый раз встретились.

— Откуда мне знать... Вы сказали — дочери... Нынешним девушкам надо учиться, получить высшее образование, они же поздно замуж выходят. Поздно беременеют. Вот и подумал я, что, быть может, из таких вы, — смущённо пояснил он.

— Даже если хотела, не смогла бы родить. Видели ли когда-нибудь женщину, родившую без мужа? — и Акжамал снова рассмееялась. Она и сама не заметила, как нежелательное признание выскользнуло из её уст.

— Где же ваш муж?

— Давно уже как оставил нас. — Словно Секен был виноват перед ней, что так рано ушёл из этого мира, на сердце таилась обида на него. «Оставил меня одну на полдороге» — порой укоряла покойника. Но сейчас язык не повернулся бы произнести, что муж покинул сей мир. Если скажет, скорее всего, этот человек начнёт сочувствовать, а именно этого ей не хотелось. И, наверное, дабы утешить её, начнёт сочинять дежурные фразы. Акжамал после этого загрустит, конечно. А ей очень не хотелось показывать постороннему человеку своё горе. Пусть лучше думает, что она одна из многих разведённых женщин... Кто из женщин не разводится в нынешнее время...

— Бог ты мой, разве мужчина уходит от хорошей женщины? Наверное, тому была причина...

— Судя по тому, что однажды ночью, не оглядываясь назад, ушёл он из дому, я не смогла стать для него хорошей женщиной... — Финал этой шутки обернулся глубокой грустью.

— Вот как, оказывается...

Водитель, заметив, что она сильно расстроилась, поспешил утешить её.

— Всё-таки, если я что-то понимаю в людях, вы далеко не последняя женщина.

Губы Акжамал дрогнули, потемневшее, огорчённое лицо озарилось улыбкой.

— Что вы хотите этим сказать?

— Хочу сказать, что вы должно быть очень хорошая женщина.

— Япырмай, как же вы определили это с первой встречи? — спросила Акжамал приятным голосом, на её лице не осталось и следа печали.

— Мне нравится, что вы воспринимаете юмор. Народ сейчас такой пошёл — шуток не понимает, и шутить не умеет. Скажешь что-нибудь, отвернётся в сторону и сидит, дескать: «Ну и что...»

— Вижу, вы со своей собеседницей никак не встретитесь. А ведь какие-то только молодки, бойкие на язык, не попадаютя порой.

— Мне больше по душе ваш ровный и мягкий юмор. Ваш приятный смех, красивая внешность так гармонируют друг с другом, что здесь, как говорится, не убавить и не прибавить. Удивительно, как вашему облику природа всё соразмерно дала. Вижу же я, что товар налицо.

— Вот тебе на! Меня приравняли к товару! К этому возрасту много комплиментов я слышала, но не было такого, чтобы меня сравнивали с товаром, — Акжамал залилась своим серебристым смехом. На этот раз, по поводу необычного сравнения в свой адрес, смеялась она от души, с наслаждением.

— Так к слову пришлось...

Акжамал замолчала. Как бы осуждая себя, подумала: «Что это со мной сегодня, какой чёрт меня подзуживает? Почему сегодня так много смеюсь?»

И всё же, в ней как будто проклюнулось некое доверие к этому незнакомому человеку, которого видела в первый раз. Женская интуиция как бы шепнула ей, что душа её потому так распахнулась сейчас, что она захвачена искренним влечением к этому человеку степенного возраста. На сердце вдруг остро защемило. По телу словно пробежала возбуждённая волна.

В это время машина остановилась перед поворотом на Коктюбе. И на этом перекрёстке чадил и гудел моторами изрядный затор. Судя по всему, дорога всё ещё была закрыта. Увидев это, Акжамал начала беспокоиться.

— Сколько ещё нам стоять? Наверное, я столько времени отняла у вас, причинив неудобство. Если бы не эта сумка, пошла бы дальше пешком.

— Что вы говорите? Я никуда не спешу! Говоря по правде, нисколько не огорчился бы, если бы сегодня дорогу вообще не открыли.

Акжамал в это время задумчиво смотрела в сторону Коктюбе, скрытый смысл его слов ускользнул от неё. В тумане отрешённого состояния она следила, как пропывают перед глазами забытые картины прошлого, всплывая из глубин памяти. Незабвенный Коктюбе! Ведь эта вершина — ещё одно место, где любили бывать в молодости Акжамал и Секен. Притягивая к себе взгляд, увлекает эта вершина к дорогим сердцу переживаниям молодости. С тех пор, как покинул их он, ни разу не бывала здесь. Теперь не узнать это место!

Сегодня Коктюбе впервые предстал перед её глазами в новом облике, и она с изумлением взирала на холм.

От подножия до самой вершины склоны сплошь были застроены домами. И она вспомнила, как однажды, взяв с собой детей, они с Секеном поднялись на гребень холма. Младшему тогда было то ли пять, то ли шесть лет. Была летняя пора. Старший сын с отцом ушли далеко вперед. На крутом подъёме она сильно запыхалась и шла очень медленно. Младший сын, не желая оставлять мать, всё время оглядывался на неё. Затем, найдя ветку потолще, протянул ей, и они пошли в связке, — сын держался за один конец палки, мать за другой. Они шли до вершины холма, мать — поддерживая сына, сын — помогая матери. Начертание судьбы! Сейчас она видит особый смысл в том, что они тогда потерялись, отстав от старшего сына и отца. Та потеря как бы дала себя знать потом. С тех пор младший сын всё тащит и тянет её в связке...

Грустная Акжамал, стараясь больше не смотреть на Коктюбе, глядела в открытое окно машины направо, в сторону бурлящей речки. Берущая начало в ледниках Туюксу Малая Алматинка сегодня неумно бушует в своём русле. Гул мощного потока, казалось, минута за минутой исподволь уносит с собой боль с души, умаляя её. Пенный, ярый поток, примчавшийся из горных теснин, с разбегу кидался на огромные валуны, далеко бросая брызги, перелёстывая за берега, затем, словно захлебнувшись собственной



мощью, успокаивался и возвращался в русло. Сидеть бы так вечность, слушая рев реки. Не уставала бы внимать этому звуку. Акжамал грустно вздохнула.

Водитель не мог понять, почему опечалилась женщина, минуту назад сидевшая оживлённая, даже весёлая. Откуда было ему знать, что в душе этой женщины кипела борьба, что застарелая горечь — сожаление о несбывшемся, столкнувшись с чувствами, стоявшими на страже, ринулось к границам воли, чтобы одолеть их, но не в силах победить, взбурлила волнами. Говорят, у женщины сорок душ, но кто смог заглянуть в сию бездну? Одно ясно — непростая это душа.

Всё-таки хотелось ему как бы то ни было вовлечь её в разговор. Ему нужно было найти способ вызволить её из грустных, тяжёлых мыслей. Сделать это, чтобы вновь услышать её звонкий смех. Только не знал он, как рассмешить её. Словно по наитию, взял её правую ладонь, лежавшую на маленькой дамской сумочке, подержал немного, потом начал легонько, сочувственно поглаживать.

— Какие у вас красивые пальцы! — сказал он тихо и искоса взглянул на неё, проверяя, как она восприняла его слова.

Акжамал, занятая своими мыслями, не ожидавшая этого, растерялась, на минуту даже потеряла дар речи. В то же время подумала, что будет нетактично, если она, подобно молодой девушке, резко отдёргнет руку.

— Наверное, не было ухода за этими руками, которым приходится бывать и в горячей, и в холодной воде, выдерживать и огонь, и стужу. С чего им быть красивыми? — сказала она мягким голосом, осторожно высвободив ладонь.

— Они, словно руки байбише, по природе благородного происхождения, ухоженные и сильные.

— Спасибо, — сказала она, внимательно глянув на свои ладони. Если бы лакировала и красила ногти, наверняка они выглядели бы привлекательнее, однако такая привычка давно уже ушла в прошлое. У Акжамал, в руках которой крутилось-вертелось хозяйство целого дома, на это времени не было. Всё же, надо признать, эти тонкие пальцы с удлинёнными ногтями были бы больше к лицу какой-нибудь актрисе. Наверное, потому, что с её стороны не было сопротивления, водитель снова взял её ладонь и нежно погладил.

— В конце-концов вы решили приударить за мной? — выждав паузу, спросила Акжамал холодным голосом и нахмурилась.

— Не сердитесь, что взял вашу руку. Просто вы сидели, отвернувшись в сторону, будто чём-то обиженная. Вам не идет, когда вы угрюмая. Чтобы вы не потонули окончательно в депрессии, взял руку, чтобы вытащить вас из тьмы дум, — ответ мужчины пришёлся ей по сердцу. И Акжамал поняла, что он ни на минуту не упустил перемены в её настроении, бдительно следя за ней. И ей опять стало неловко.

— Я же слушала шум речки, — сказала она уклончиво.

— Ну, что ж, раз сказали, что приударил, пусть так оно и будет. Разве как женщина, вы не достойны того, чтобы за вами ухаживали? Или я не такой джигит, что может ухаживать за женщиной? Что тут плохого, к тому же вы женщина — свободная, чего же бояться? — он вопросительно взглянул на Акжамал. Она невольно улыбнулась.

— Если рядом находится красавица, подобная ангелу, покинувшему небеса, если сам бог послал случай, да ещё воздвиг затор, принудив к разговору, разве не было бы грехом не приставать к ней?

— Лучше скажите — молодка преклонных лет, присматривающая за внуками.

— Э-э-э! Дай бог вам добраться до старости. Однако, думается мне, что до аула старости вам ещё далеко. Не спешите, прошу вас, вычёркивать себя из рядов желающих жить, — он посмеялся немало, затем, приблизив губы к её уху, приглушённым голосом сказал:

— Есть немало ещё дел, к которым вы ой как пригодитесь.

Акжамал, машинально наворачивая шнурок сумочки на свой палец, спросила, не поворачиваясь к нему:

— Что это за дела, нельзя ли узнать?

И она вдруг захлебнулась в смехе. Водитель, увидев, что у неё поднялось настроение, а лицо прояснело, приободрился. В это время передние ряды машин двинулись. Они тоже поехали, затем повернули направо на шумную улицу и помчались к проспекту.

— Ах... Чёрт, если бы немного постояли, можно было бы сказать... — произнёс водитель, словно нарочито сокрушаясь.



Машина пересекла проспект, поколесила изрядно меж зданиями и подкатила к дому Акжамал. Когда машина оказалась у самого дома, Акжамал глянула с благодарностью на водителя, выказывая свою признательность, открыла было сумочку, чтобы расплатиться, однако он накрыл ручищей её ладонь и крепко сжал, заставляя закрыть сумочку.

— Я не из тех, кто таксует, зарабатывая себе на жизнь.

— Ну и ну!.. Мне же стыдно, что заставила возить себя, отняла ваше время.

— Не буду скрывать, возле «Дастархана» я издали принял вас за жену одного своего друга, поэтому завернул к вам. Подбросив её до дома, хотел поддеть своего друга, дескать, почему заставил ходить жену пешком? Тем самым хотел раскрутить его на поллитровку.

— Жаль, потеряли вы бутылку!

— Ничего страшного...

Он внезапно повернулся к ней, в его глазах заискрилась веселье:

— Может быть, вдвоем разопьём?..

— Я с незнакомыми людьми вино не пью.

— Давайте тогда познакомимся.

— У меня нет привычки знакомится с людьми в транспорте.

— Ну-у-у, что это за свод законов. Вы ходите только по линии законов? А за черту туда или сюда выйти нельзя?

— Нельзя!..

«Ну, вот ты и открылся» — подумала Акжамал.

— Завернув к вам, и увидев просьбу в глазах такой редкой женщины, как вы, счёл позорным для себя отказать. Скажу откровенно, я рад, что на том месте оказались вы, а не жена моего друга.

— Чему вы радуетесь?

— Тому, что обрёл новую знакомую. Нет человека, везучее, чем я. Если вы не против, давайте познакомимся.

— Акжамал.

— Какое красивое имя!

— Вы сегодня не устаёте хвалить меня.

— Говоря по правде, за это время, пока вёз вас, я отдохнул душой. От вас словно ароматом веет. Ваша аура очень чистая. Пока сидел рядом с вами, моя простая душа как бы воспрянула.

— Ну и ну, неужели вы всем встречным женщинам говорите такие слова? — Акжамал сказала это уже не шутя, в замешательстве.

— Конечно, в моём возрасте, в моём положении некрасиво разбрасываться словами. Однако я допустил это потому, что встретил человека, которому можно сказать, — произнёс он спокойным голосом.

Акжамал ещё раз поблагодарила его и приготовилась выйти из машины.

— Акжаке, погодите чуток.

Акжамал вздрогнула. Ведь только Секен обращался к ней так ласково, балуя её: «Акжаке». Она в растерянности снова села и уже не знала, как реагировать на внезапное чувство случайно встретившегося человека. Сердце дрогнуло, растворяясь в жаркой волне. Решив, что если задержится ещё немного, то откроет своё состояние незнакомому человеку, она собралась с силами, чтобы выйти.

— Это мои телефоны. Если понадобится машина, позвоните, — он вынул из нагрудного кармана карточку и протянул ей.

Акжамал пробежала глазами крупно напечатанные на визитке имя и фамилию, а остальные теснящиеся, мелко набранные слова не смогла прочесть. Без очков разобраться было трудно. Посчитав неудобным возиться в поисках очков, она положила карточку в сумочку.

— Да воздаст вам бог. В машине особой нужды у меня нет, — сказала она вежливо.

— Всё-таки, когда продукты эти скоро закончатся, разве не придётся вам отправляться на базар?

— А если мне понравится ездить на базар на машине, и я стану надоедать вам, беспокоя вас, что тогда? — спросила Акжамал приятным голосом, бросив на него кокетливый взгляд.

— Эх, если бы вы поставили меня в такие обстоятельства, я был бы только счастлив. Я бы взял на себя все ваши проблемы, серого своего скакуна привязал бы у вашего дома, а сам стоял бы у порога на страже.

— Вай, вай! Какая щедрость! Если я слепо поверю вам, мне будет потом трудно...

— Однако, маскируетесь вы всё шутками, по-настоящему ответить не хотите. Ладно, хотя бы буду надеяться, пусть бы в шутку, обещайте мне, что позвоните.

— ?!

Водитель вышел из машины, обогнул её, открыл дверцу, взял Акжамал под руку и помог ей выйти. Затем вытащил лежавшие на заднем сидении вещи.

— Я помогу вам.

— Нет, спасибо, я сама.

— Разрешите хотя бы до двери донести.

— Какой смысл в том, что только раз поможете мне, если не доводилось прежде постоянно это делать, — смело сказала Акжамал, и тотчас спохватилась, готовая прикусить язык. На самом деле она подумала об этом, но сама не заметила, как случайно озвучила мысль. Она поняла, что необдуманной репликой оборвала нить дружеской симпатии, которая возникла между ними.

— Понял, — улыбнувшись, сказал водитель, уже дошедший с сумками до подъезда дома. — Раз ничего у нас не выйдет, какой толк в этом поступке? Не так ли...

— Спасибо, пусть Аллах возблагодарит вас за добро, — Акжамал, нажав на кнопки домофона на двери, вошла в подъезд.

Войдя в квартиру, прошла на кухню и начала расставлять принесённые продукты. Похоже, что сын уже отобедал. На столе стояла в беспорядке использованная посуда с остатками еды. Няня тоже не было видно, значит, вывела во двор поиграть маленькую Ардак.

Она быстро сменила одежду, засучила рукава и принялась за домашние дела. Все её движения были сноровистыми: вытащила большую кастрюлю для варки мяса, ополоснула, налила воды и поставила на огонь. Вытащила из морозильника остатки вялёного мяса, присоединила к свежему, положила всё это в кастрюлю, сложила молитвенно ладони и произнесла традиционное пожелание: «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного! Обрати эту пищу во благо и радость моих детей. Аллах, присоедини к этой пище достаток, но не убавь наше добро и удачу!» Всё это, как всегда, делала с улыбкой, нисколько не осознавая, что у неё благостное настроение. Нет-нет, а бывало, что в такие минуты внезапно посещала её мысль: «Уж не превращаюсь ли я в бесчувственного робота?» Не понимала, почему не могла выйти из приглушённо-темноватого состояния духа. Нет, оказывается, не превратилась в робота. Не угадали в ней чувственная природа женщины и сокро-

венное «я». Она сегодня поняла это. Почувствовала, что в глубине души всколыхнулась в ней порывистая волна — зов к новой жизни. Загоревшаяся желанием душа как-то по-иному воспринимала всё вокруг, отмечая даже мельчайшие детали.

Акжамал осознавала: в ней что-то изменилось, однако, не зная, к хорошему это или к плохому, уже побаивалась своих новых ощущений. Слегка освежив водой лицо, она зашла в свою комнату, повернулась в сторону Каабы¹, села в кресло и погрузилась в раздумья. Затем, обращаясь к Всевышнему, начала читать аяты², сопровождая их пожеланиями. «Во имя спасения моей души обращаюсь к тебе, всемогущий Аллах. Создатель, ты свидетель и судья тому, что произносил язык мой, ведая или не ведая следствий, рассуди и помилосердствуй. Осени миром душу мою, надели мужеством. В ясный день не введи в заблуждение. Веди по праведному пути. Господь Аллах! Да будет печать чистоты на детородных, постыдных местах моих. И очисти сердце моё от страхов. Сохрани, защити меня щитами спереди и сзади, справа и слева, а также в пространстве над головой моей. Убереги от соблазна, бесовских влечений плоти, увлекающих в бездну. Аллах, к величию твоему прибегаю». После этих молитв о себе, начала просить за сына: «Аллах, высочайший покровитель, бог единственный, поддержи сына моего, открой ему путь к счастью. Бог — друг одиноких, защити от дьявольских наущений, выправи путь сыну, убереги от позора и несчастий». Акжамал завершила молитву просьбами о здоровье и благополучии сына, пробормотав «Аллаху акбар», провела ладонями по лицу.

Приведя в порядок внутренний мир, она вроде бы освободилась от страхов и заблуждений, потянувшись всем телом резко встала, пошла на кухню. В кастрюле, звучно булькая, закипала вода. Сняла пенку, поубавила огонь в горелке, посмотрела на часы. Мясо должно свариться как раз к тому часу, когда дети вернутся домой. В это время зазвонил телефон: невестка сообщила, что сама заберет из садика Толганай. «Очень хорошо», — ответила она.

Акжамал собралась выйти из дому — надо было забрать из школы Нурсауле. Её уроки давно закончились. Сегодня она долж-

¹ Древний храм Авраама, место паломничества мусульман в Мекке.

² Аяты — стихи Корана.



на была остаться на дополнительные занятия в студии рисования. У её шалуньи была страсть малевать на бумаге. Да поддержит Аллах её стремление. Когда Акжамал, собираясь запереть дверь, вытащила ключ из сумочки, пальцы зацепили визитную карточку. Она нацепила очки и по слогам начала разбирать: «...доктор наук, профессор, академик... лауреат...» Мелкие букочки, которые недавно не смогла прочесть, сообщали о званиях, титулах, должностях. И ей стало очень неловко. Она начала переживать, что слишком раскованно вела себя с этим человеком, будто каждый день ездила в машине академика. К смущению добавилось сожаление, что рядом с заслуженным человеком вела себя вызывающе, капризничала, вела бестолковые разговоры, не соблюдая приличий. Однако, к прискорбию, прошедшего уже не вернешь.

Действительно, в манере этого человека держаться и говорить сквозила некая утончённость знающего себе цену интеллигента. Покойная мать говаривала: «Плешь — признак непростого человека». В духе этих слов, она подумала: «Простой человек разве станет академиком?» Однако в смутном предчувствии чего-то несбывшегося на душе было тревожно, какое-то сожаление больно царапнуло сердце. С каждой минутой всё больше отдалялась от неё давняя надежда на перемены в жизни. Сожалей теперь, не сожалей — пролетевший миг не вернётся. Что толку тянуть руки вслед мечте, если на роду тебе не написано счастье, которое дано другому человеку. Теперь их дороги никогда не пересекутся. Она бросила визитку в ящик для старых бумаг...

...С тех пор Акжамал, останавливая на улице машины, больше никогда не садилась на переднее сидение рядом с водителем.

ЕЛУБАЙ СМАГУЛ

КЛИЧ СТРОПТИВОГО КОНЯ

Старая брюхастая кобыла Кербие, стоя с краю табуна, дремала. Полусонная, она, однако, всё замечала. И то, как унялся снегопад, сыпавший всю ночь, и как улёгся ветер, и расступилась ночная тьма, заклохотали куры в ауле — всё-всё она слышала, чужала, знала. Вдыхая запах свежевыпавшего снега, она наслаждалась. Табун стоял на холме, возвышавшемся к западу от аула. На равнине, ближе к табуну, темнел загон. Большой ограждённый загон. Кербие опасается его. Ей привычен страх перед куруком и загоном. Вчера табунщик перегнал сюда их косяк с дальнего краю вон той, поросшей арчой, горы. Но не окрики табунщика пугают Кербие. Беззлюбные, безобидные его окрики она слышит каждый день. Этот голос оберегает их от напастей и бед, от волков. Плохо, когда к его голосу присоединяются чужие. Вслед за этим начинается дикая погоня. Лошадей вылавливают куруками, набрасывают на шею петлю. Или же вольно пасущийся на просторе табун окружают, сбивают в кучу и гонят к аулу. Страшное — там. В тесном загоне часть огромного табуна исчезает без вести. Вот чего боится Кербие. Многие жеребята в этом табуне родились из её чрева. От них пошло потомство. Вон и тот вороной жеребец с белой отметиной на лбу, что стоит с наветренной стороны табуна, — некогда вскормлен ею. Всего-то за три лета превратился Каракаска в статного жеребца с роскошной гривой и шелковистым хвостом. Теперь он — гордый вожак табуна. Ревностно оберегает его как зеницу ока. Ни одна лошадь у него не отобьётся от табуна. Это по душе Кербие. Ей надо, чтобы стройный порядок в лошадином стане не нарушался, чтобы табун вольно пасся на широких просторах, где вдоволь травы и воды. Однако случается, что благодать эта кем-то нарушается. И днём и ночью Кербие опасается этого.

В жизни её много таинственного, чуждого ей и непонятного. Порой вдруг табунщик с криками налетит на безмятежно пасу-



щийся лошадиный косяк и погонит его на край аула, собьёт там в кучу. Всё, что ни делают эти всемогущие двуногие, — загадочно. Распознать их помыслы ей не под силу. Может, всеильные двуногие для того и созданы, чтобы подчинять своей воле всех четвероногих на этой земле?..

Аул мирно лежал в объятьях предрассветного полумрака, готового вот-вот рассеяться, укрытый одеялом из свежесвыпавшего снега. Молодой журналист Саттар, недавно по направлению приехавший в райцентр из Алматы, проснулся в перепуге от кошмара и сел в постели. Худой, лохматый, белокожий парень. Хозяйка дома, пухленькая, ладная старушка, возилась в передней, готовя чай. Саттар всё никак не мог отойти ото сна. Вчера он был в командировке в совхозе Аршалы. Должно быть, в связи с услышанным там ему приснился зоотехник Ахан, погибший этим летом в Аршалы. Будто бы покойник Ахан, завёрнутый в белый саван, широко ступая, идёт по талой пенистой неглубокой реке. Идёт прямо к нему. Саттар не может различить черты его лица. Но знает, что это дух Ахана. Высокий, как Гулливер в стране лилипутов, покойник приближается к нему. И от всего его облика веет потусторонним холодом. От страха Саттар и проснулся. Сердце бешено колотилось.

Накинув на себя пальто, вышел из комнаты.

— Сынок, видел, какой снег?! Красота какая, по колено навалило! — радовалась старуха-хозяйка.

Вышел наружу — начинался рассвет. Вся округа белым-бела. Наклонился, набрал пригоршню пушистого снега. Поднёс к носу. Первый снег. Вдохнул полной грудью бодрящий утренний воздух. Двинулся на окраину, где за забором сада начиналась степь. Отсюда тянулась на запад обширная равнина. Она упиралась в крутой склон. На его подножье маячил, чернея, загон. Это была бойня. Дальше неё, там, где светало, раскинулся поперёк горбатый холм. Позади него сейчас занималась заря. На холме пасся табун лошадей.

Вытянувшиеся при ярком утреннем свете, они почему-то напоминали опустившихся на пастбище журавлей. Саттар повернул назад — взгляд его упал на снежные вершины Алтая. Солнечные лучи зацепились за ледники на их макушках. Откуда-то выскочил пёс Мойнак и побежал, раскидывая лапы, к Саттару.



Виляя хвостом, заглядывал ему в лицо. Стоит только Саттару проявить хоть малейшую благожелательность, как собачонка тотчас примется с благодарностью облизывать его. Осенью, когда Саттар в поисках квартиры зашёл во двор дома старушки, первым его встретил этот пёсик. Саттару он сразу пришёлся по сердцу своим дружелюбием. Но, как выяснилось, бедняжка Мойнак готов был заискивающе облизать ноги любому встречному, кто ступит за порог их дома. Саттар только дивился: «Что с ним?» Решил порасспросить старушку. Оказалось, у Мойнака собственная история. Собака попала к бабке из дома мясника Копжасара, жившего в дальнем конце улицы. С щенячьего возраста Мойнак рос боевым псом, не знавшим себе равных. Кто бы ни пришёл к Копжасару, стоило замешкаться, как Мойнак уже вцеплялся ему в ногу. Как-то раз, подвыпив в гостях, Копжасар, по-медвежьки неуклюжий, с мутными глазами, вернулся домой глубокой ночью. На нём был впервые надетый новёхонький костюм. Покачиваясь, как ни в чем не бывало он ввалился в ворота собственного дома, как вдруг Мойнак, рывкнув, набросился на него. Не успел Копжасар выкрикнуть: «Прочь!» — как штанина его новых брюк оказалась в пасти Мойнака. Копжасар рассвирепел. Выволок пса за цепь на улицу. И, кроя матом до седьмого колена, принялся что есть сил бить ногами. Несчастный Мойнак, не узнавший в темноте одетого в новый костюм хозяина, «признав вину», принялся жалостливо скулить, прося пощады. Однако вконец озверевший Копжасар не прекращал пинать собаку. Забил едва не до смерти. Наконец поднял чуть дышащего Мойнака и, оттащив во двор, забросил в конуру. С тех пор, завидев Копжасара, Мойнак в ужасе забивался в конуру. Сидел там и скулил. Глаза у него стали страдальческие. Отныне он боялся не только Копжасара, любого человека. Копжасара это приводило в ярость. «Жрёт, а не лает! — орал он. — Дармоед!!!» — и измывался над Мойнаком пуще прежнего. Морил голодом. Как-то раз старушка, у которой поселился Саттар, идя мимо дома Копжасара, заглянула к нему. Мойнак, виляющий хвостом каждому встречному-поперечному, приглянулся ей, и она прицепилась к Копжасару: «Продай!» Мясник, проявив несвойственное ему великодушие, вдруг даром отдал старушке пса.



Так Мойнак и оказался у неё дома. Теперь он ползал на брюхе перед Саттаром, виляя хвостом. В глазах — тоска. Саттар пожалел несчастного, подозвал:

— Мойнак! — И, склонившись, погладил беднягу по голове.

Мойнак от радости запрыгал вокруг него, заюлил, поджав хвост. Норовил лизнуть ему руку. Распрямившись, Саттар увидел скачущих во весь опор нескольких всадников. В одном из них узнал табунщика Мотана верхом на Каракере. Саттар беседовал с ним в поездке в Аршалы, тот приходился покойному Ахану родным старшим братом. Впервые о погибшем при загадочных обстоятельствах зоотехнике Ахане Саттар услышал от старухи-хозяйки. После её рассказа и стал собирать сведения. «В другом конце нашей улицы живёт Копжасар. Так вот, он в прошлом году переселился сюда из Аршалы. Пас там баранов. Минувшим летом пропало у него из отары триста овец. Шум поднялся, приехала районная милиция. Начальство совхозное целую неделю с коней не слезало. В конце концов составили акт, что триста овец унесло селем. Один только Ахан, покойный, не стал подписывать тот акт. С той поры Ахан и совхозные начальники оказались по разные стороны. Ну а этим летом Ахан вдруг неожиданно утонул. Копжасару же хоть бы хны, волосинка с головы не упала. Переехал сюда, в райцентр, домину себе справил, из четырёх комнат. Амиржанов, тот, что в районе большой начальник, родственником ему приходится, по материнской линии. Он, должно быть, и помог выкрутиться. У них, у людей сильных, так: кой-какое место приподнять не удосужатся, а мельница муку мелет», — завершила свой рассказ старуха.

С той поры случившееся в Аршалы ни днём ни ночью не давало покоя Саттару. Накануне съездил туда в командировку. Аул этот примостился между двух гор. На краю аула грохотала горная река. Отправился в дом Ахана. Туда как раз приехал старший брат покойного, табунщик Мотан. Был он плотного телосложения, смуглый, с поседевшими волосами и бородой. С первых же слов его стало ясно, что человек он сдержанный.

— Так и думал: кто-нибудь этим делом заинтересуется. Так-так... — обронил он, покачав головой, и опустил глаза. — Сомнений у нас много, да тягаться не можем...

Ссутулившись и уставившись в одну точку, Мотан глубоко задумался. Саттар распрямился, окинул глазами скромную обстановку. В углу небольшой комнаты стоял шкаф, набитый книгами. Это были учебники по сельскому хозяйству, художественная литература. На стене висела фотография — портрет Ахана с женой. Разливая чай, Шырай, вдова Ахана, заговорила:

— ...В тот день к нам вдруг заявилися Копжасар с Мырзагулом, прежде в жизни к нам не навевывались. Копжасар был подвыпивший. За столом принялся обнимать Ахана, тост поднял: «Забудем наши обиды, Ахан! Выпьем за дружбу!» Через некоторое время говорит: «Давай покажу тебе место, где пали овцы. Поехали, садись на коня!» Ахан согласился, и они уехали. Было это в полдень. А пару часов спустя привезли домой уже тело Ахана... — вздохнула женщина. — Сказали, что Ахан опьянел и упал в воду, ударился головой о камень.

— Чтобы Ахан напился да упал с коня?.. Я в это не верю! — Голос Мотана напрягся.

— Он ведь мало рассказывал мне, что у него на работе делается, — продолжила Шырай. — Только тем летом частенько поговаривал: «Уедем из этого совхоза. Нам с ними не ужиться».

После обеда Мотан повёл Саттара показать за аулом место, где утонул Ахан. Со стороны аула побережье реки густо поросло тальником. По словам Копжасара и Мырзагула, добравшись сюда, они верхом на конях отправились по тропинке между деревьями к месту, где погибли овцы. Пробираясь между тальником, Ахан будто бы отделился от них и поскакал к реке. На спуске конь вдруг резко остановился, и Ахан вылетел из седла прямо в реку, ударившись во время падения о валун. Вот откуда, утверждали они, у джигита рана на голове. Копжасар с Мырзагулом рассказывали, что видели, как Ахана подхватил стремительный поток, как его тело то показывалось, то исчезало в воде. Они всполошились, заголосили, бросились бежать вдоль реки и наконец с трудом выловили тело покойного.

Горная река с грохотом уносилась вдаль. Немые свидетели того случая: скала на противоположном берегу реки да густой лес — хранили тайну.

— А теперь покажу, что я подозреваю! — сказал Мотан и рысью поскакал вперёд. Он привёл Саттара к обрыву, утопающему в травах. Над обрывом стоял старый загон.

— Посмотри сюда! — Мотан указал на склон обрыва. — Разве не протасили здесь кого-то по траве?! Приглядиись!..

Саттар впился глазами и увидел полосу примятой травы, как если бы по ней волочили что-то тяжёлое. Мотан отыскивал в глубине сарая разбитую бутылку.

— А вот и бутылка!.. Эта наклейка тогда была новенькая. Здесь тогда ещё оставались и следы от «Москвича».

— Вы хотите сказать... Кто-то тут, спрятавшись в сарае, ударил Ахана по голове бутылкой?!

— Да!!! Именно так!.. Здесь, в кошаре, прятались приехавшие на машине люди Копжасара. Они напали на него, убили, а тело скатили по склону в реку.

В тот же день Саттар выслушал и руководителей совхоза. Они утверждали в один голос: «Ахан умер, свалившись с коня. Об этом имеется соответствующее заключение следователя и врача».

За чаем Саттар рассказал хозяйке всё, что узнал в поездке. Старауха вздохнула:

— Да... О чём только горе не заставит человека думать!..

В этот день Саттару предстояло написать о том, как в районе выполняется план по сдаче мяса. Для этого надо было побеседовать с начальником бойни Копжасаром. Чтобы встретиться с ним на рабочем месте, Саттар, выйдя из дому, пешком отправился к бойне, черневшей вдалеке на заснеженной равнине.

На вершине холма среди табуна началось движение. Первой фыркнула стоявшая в полудрёме с краю табуна брюхастая старая кобыла Кербие. Она увидела быстро приближающихся со стороны аула рядом с табунщиком двух всадников верхом на гнедых. Все беды исходят от таких вот чужаков на конях. При их появлении у Кербие сердце сжимается от недоброго предчувствия. И на этот раз вид всадников не сулил ничего хорошего. В их движениях чувствовалась какая-то суровость, напряжённость. Никто не заметил, как фыркнула Кербие. А ведь белолобый Каракаска первым должен был насторожиться. Но жеребец в это время увлёкся кобылицей Акбакай — та ненароком прижалась к нему, и он теперь мордой потянулся к её паху. Кербие, наблюдавшую за всадниками, охватила тревога, и она снова всхрапнула. На этот раз Каракаска услышал её. Насторожился. Вытянув шею, устремил взор в сторону чужаков. Уши его чутко подрагивали. Заржал. За-



бил передними копытами. Весь табун встревожился, взглядываясь в ту сторону, куда смотрел Каракаска. Тем временем трое всадников галопом взлетели на склон. Посередине ехал табунщик верхом на Каракере. Двое других, по обе стороны от него, — незнакомцы. Кербие всмотрелась в гнедых, что везли двуногих чужаков. Узнала. Два года назад их, тогда ещё трёхлеток, отловили из табуна куруками. Эти жеребята родились от кобылицы Торыбие. В тот раз под куруки угодили четверо гнедых жеребят-трёхлеток. Все четверо тем летом только-только окрепли, возмужали, превратившись в молодых жеребцов, стали подавать голос. Юные их шеи туго обвил волосяной аркан, и как ни пытались несчастные вырваться из него, не смогли избежать куруков этих всемогущих двуногих. И вот уже двуногие едут верхом на гнедых. Белолобый жеребец, легко перебирая ногами, выбежал наперерез всадникам. Играя мускулами, он пританцовывал на месте, стриг ушами, угрожающе бил землю передними копытами, всем видом предупреждая: «Прочь от табуна!» Наездники, однако, не обращали на него внимания и продолжали продвигаться к табуну. Кербие также заметила, что и пара гнедых под чужаками не смотрит в сторону Каракаска. На худой конец хотя бы вздрогнули, всхрипнули — ведь в одном табуне родились, стригунками вместе резвились. Удивляло и то, что, завидев табун, молодых кобылиц, гнедые не оживились, не заржали радостно. Или они не жеребцы?! Кербие, сколько помнит себя, такого не видала. Впрочем, для неё это была не единственная из загадок в подлунном мире. Кем же были эти гнедые, оказавшиеся под чужаками: и не жеребцы, и не кобылицы?.. Почему не ржут они радостно?.. Почему не бьются за родной табун?.. Уподобились безропотным кастрированным «жабы» — клячам, которым нет ни до чего дела, лишь бы высвободиться из-под седла да тупо щипать траву. Так их жизнь превращается в безмозглое скотское существование. Глядя на гнедых, старая кобыла поняла, какая беда случилась с ними. Она испуганно вздрогнула. В это время пронзительные крики прорезали утреннюю мглу. Чужаки, нахлестывая гнедых, с воплями ринулись к табуну, подобно голодным волкам. Скакавший в обход Каракаска огласил округу грозным ржаньем. И тотчас безмятежно пасшийся табун всколыхнулся, как взметнувшийся от дуновения ветра пожар, и словно обрушившийся горный водопад



лавиной понёлся, устремляясь за своим вожакон. Смешавшись воедино с лошадиным табуном, Кербие летела над землей. Ужас обуял её, и, охваченная им, она неслась прочь, как если бы за ними гнались волки. Голоса чужаков, пронзительные крики, не отставая, преследовали их.

Саттар шёл по заснеженной белой равнине к конскому загону. Долговязый белолицый парень с едва пробившимися усиками. На нём болталось широкое тёмно-серое пальто. Глаза были прикованы к табуну, лавиной стекающему со снежного склона напротив. Впереди, на расстоянии стрелы, во весь опор нёсся вороной жеребец. За ним гнались два всадника на гнедых конях. Гнедые рвались сократить расстояние между собой и беглецом, но вороной не подпускал к себе. Красавец-жеребец, взметая ноги, высоко взвивался над землёй, вытягиваясь в полёте стрелой. Он словно дразнил своих преследователей. Каракашка скакал навстречу идущему вдоль равнины Саттару. Саттар, замороженный свободным перебором ног бегущего скакуна, так и застыл на месте. «Ки-и-и!» — кричат преследователи, будоража всю утреннюю округу. Этими воплями они наводят ещё больший ужас на мчащегося жеребца, и без того обезумевшего. В невероятном порыве он устремляется вперёд. Перед грудью его взвивается, серебрясь, снег. Подскакав к Саттару, Каракашка вдруг резко рванул в сторону. Понёлся на запад равнины. Всадники с криками повернули за ним. Саттар продолжал стоять как вкопанный. Очнулся, когда погоня уже перевалила за холм. Вдали ещё двое всадников, несясь вскачь на гнедых конях, заворачивали путь табуну, устремившиеся на запад. Гнедые у них были крепкие, жилистые. Обогнув табун, они зашли к нему спереди. Шарахнувшись, лошадиный косяк подался назад, к равнине. Наездники завернули табун в сторону загона.

Саттар, увлечённый картиной погони, всполошившей утреннюю равнину, двинулся дальше. Однако не отрывал глаз от табуна. Тесня его с двух сторон, всадники с криками гнали лошадей к загону. Навстречу им галопом скакал верхом на Каракере Мотан. Лошади, узнав табунщика, замешкались, закружили на месте. Привычный спокойный окрик табунщика «Айт-шайт!» действовал на перепуганных лошадей успокаивающе. В тот же момент с северной стороны донеслись крики. Показался тот же вороной

со своими преследователями. По бокам от него размашистым галопом неслись гнедые. То нагоняя жеребца, то отставая, они приближались к загону. Поднялась суматоха. Джигиты разгорячённо забегали взад-вперёд. Среди них и Копжасар, здоровый, как медведь. Он подбежал к загонявшему лошадей Мотану, ухватился за узду его коня, выпалил, задыхаясь:

— Аксакал, дайте Каракера!.. Догоню жеребца!..

— Нет!.. — замахал рукой Мотан. — Нет! Не дам!!! — И, помрачнев, отвернулся от Копжасара.

Тот, злобно глянув вслед вороному жеребцу, выругался:

— Вот сукин сын, всю душу вымотал!.. — И бросился к загону: — Дайте винтовку!!! Подстрелю его, скотское отродье!..

Кто-то побежал за ружьём. В это время подскакавший было к загону Каракаска снова резко повернул прочь. Двое всадников на гнедых тотчас бросились в погоню за ним. Те, что преследовали его сначала, остались рядом с табуном.

Взмывленные гнедые тяжело дышали. Из ноздрей валил пар. Каракаска же, как заговорённый, нёсся на восток, уводя за собой обоих всадников. Жеребец узнал преследовавших его гнедых. Они исчезли из табуна два года назад. Их увели, захватив куруками, какие-то чужаки. Самое худшее, что теперь эта пара гнедых не желала признать его. Теперь он убегает от них, а они его преследуют. Похоже, их злит его строптивость, эти сумасшедшие скачки без передыху. Гонятся за ним во весь опор, вытянув шеи и прижав уши. От них исходит жестокость. Беспощадная жестокость. Стоит ему выбиться из сил, ясное дело, на него обрушатся куруки этих двуногих и аркан затянется на его шее. Похоже, гнедым только это и надо. Поскорее догнать его, выловить. Душу готовы выложить за это. Каракаска нутром чуял: гнедым надо, чтобы его схватили во что бы то ни стало. Теперь остаётся только полагаться на собственные ноги. Если что и спасет его, так это его собственные четыре ноги. Больше надеяться не на что. Умерит свой бег — ему конец. Чужаки зацепят его куруком. Распрощается с вольными просторами, благодатным пастбищем. И прощай, свобода! Враг, идущий за ним след в след, о том только и мечтает — лишить его всего: пастбища, табуна, а под конец и жизни. Такое несчастье выпало ему. Сегодня всё решится: или так, или эдак. Его инстинкт говорит ему об этом. А потому он бежит с удвоен-



ным рвением. Только бы не дать им поймать себя. Но и враг не даёт спуску. Беспощадный враг. С противоположной стороны выскочила вторая пара гнедых. Та самая пара, что оставалась с табуном. Эти, что у него на хвосте, не отстают. Каракаска испугался появившихся гнедых. Резко повернул в сторону. И в тот же момент шею его обвила петля. Каракаска рванулся изо всей мощи. Заржал, взвился вверх, встал на дыбы. Двуногий, державший курук, от силы рывка жеребца не удержался в седле. И не просто не удержался — вылетел из седла. «Ах, твою мать!!!» — выругался он. Каракаска обезумел от страха. Встав на дыбы, в ужасе лягая болтающийся у него на шее ненавистный курук, бросился бежать. Гнедой, с которого слетел хозяин, не останавливаясь, продолжал преследовать вороного. Так и бежал, размашисто раскидывая ноги. Ему и хозяин не нужен был, у него одна только цель — догнать строптивного жеребца. Каракаска приходит в бешенство от курука с арканом, змеёй обвинившимся вокруг его шеи. Волочащийся сбоку, он пугает жеребца, и тот шарахается от него, сбиваясь с прямого пути и окончательно теряя голову. В конце концов беглеца, крича и улюлюкая, насильно пригнали к загону. Увидев сбившийся косяк, Каракаска, раздув ноздри, призывно заржал. Он хотел услышать знак поддержки. Но трое гнедых тотчас угрожающе придвинулись к нему. У вороного, с которого градом катился пот, сжалось сердце. На полном скаку вихрем влетел он в расступившийся табун. Взметнулись крики. Двунogie, подняв куруки и рогадины, забегали вокруг лошадей. Поднялся переполох. Широко раздувая ноздри, Каракаска оказался в гуще табуна. И хоть был он животным, но понимал, что наводнившие всю округу враги охотятся за ним одним. Потому и заметался. Кербие и Акбакай следовали за ним, участливо обнюхивая. Жеребец, крутился посреди плотно сбившегося косяка, задыхаясь, словно утопающий. То и дело вытягивал шею поверх лошадиных голов. Гневно вращал глазами. Вдруг он заметил входящего в загон незнакомого гнедого коня с куцым хвостом. Толстобрюхая кляча. Таких у него в табуне не было. Однако этот куцехвостый Торышолок был всё же лошадиного племени. Похоже, он нашёл путь спасения от этих орущих, бегающих вокруг табуна двуногих врагов. Торышолок, отделившись от всех, бочком продвигался куда-то. Затем рысью проскочил в боковую дверь, за которой никто не наблюдал. Сле-

дом за ним ринулся весь табун. Устремился и Каракаска. Однако место, куда всех завел Куцехвостый, оказалось загонем без окон, без дверей. Мало того, какой-то двуногий, прыгнув по-козлиному, ухватился за курук на шее вороного. Он рванулся было вперёд, как на куруке с криками повисли ещё три человека. Жеребец заржал пронзительно, взвился к небу. На его горделивой шее туго затянулась прочная петля.

Стоя снаружи загона, Саттар увидел Копжасара, который, по-медвежьки переваливаясь, устремился к Каракаске, пытавшемуся высвободиться из аркана. Огрев промеж глаз бьющегося жеребца нагайкой, Копжасар зло выругался:

— Получай!.. Заживо сдери с тебя шкуру!..

Он не заметил Мотана, который подскочил к нему, пришпоривая своего коня Каракера.

— Прочь руки, скотина!.. Ты почему бьёшь лошадь, угодившую в петлю!!! — закричал табунщик. Копжасар в ответ тоже закричал на аксакала:

— Чего разорался, старый!.. Я тебе... кун¹ не должен!!!

— Башку сверну, сукин сын!!!

— Попридержи язык!..

Пока люди выясняли отношения, Куцехвостый рысью проскользнул мимо них. Он рвался к кобылице Акбакай. К округлому крупу молодой трёхлетки. Желал прижаться к этому лоснящемуся крупу. Едва увидев Акбакай, он ощутил вдруг себя жеребцом. Угодив в петлю жеребёнком, Торышолок с тех пор все годы не бывал дальше этого загона. Забыл, что такое пастись на просторе, жить в табуне. Если и видит вольных лошадей, то только здесь, запертых в загоне, отчаянно мечущихся. Улучив момент, пристаёт к чужим молодым кобылицам. Обойдя вороного жеребца, отбивавшегося от людей, Куцехвостый осмелел. Непокорный Каракаска, этот скакун, взмывающий на дыбы, завораживал Торышолока своей благородной статью. В какой-то момент ему захотелось подобно вороному жеребцу водить за собой по вольным просторам табун. Только мечта эта, вспыхнув, тотчас угасла. Ему больше по душе его сытое безропотное существование, чем беспокойная вольность, полная тревожных погонь. Двуногие вреда

¹ Кун — плата за убийство.

ему не причиняли, он на них работал, они его кормили. Чего ещё желать? Зато сейчас Торышолак — хозяин в этом загоне, где стоит невообразимый переполох, наводящий ужас на табун. Торышолак с важным видом обежал загон мелкой рысью. Из всего табуна выбрал красавицу Акбакай. Гладкий круп у этой кобылицы-первородки. Пристроиться бы с громким ржанием к этому крупу — вот его мечта. Всхрапывая, Куцехвостый игриво подошёл к статной молодой кобылице. Та, однако, не выказала согласия подчиниться ему. Какое согласие — она отпрянула от него, прижав уши. Каракаска, сражавшийся с двуногими, увидел эту картину. Она привела его в бешенство. Жеребец заметался с удвоенной силой, заржал угрожающе. Но не мог оборвать волосяной аркан, на котором повисло несколько человек. С каждым разом петля всё туже стягивала ему шею, душила, не давая дышать. Старая кобыла Кербие с негромким ржанием кружила перед ним. Никто не обращал на это внимания.

Куцехвостый приблизился к Акбакай и нагло ткнулся мордой ей в пах. Кобылица отпрянула. Подбежав к вороному, спряталась за ним. Каракаска бился в жестоком поединке с людьми, шею его перерезал аркан, и вот жеребец, судорожно хватая воздух, захрипел, глаза его закатились. Продержавшись ещё немного, он рухнул плашмя.

— Вяжите его! — приказал Копжасар. Вооружённые парни бросились спутывать жеребцу ноги.

Возбуждённому Куцехвостому никак не удавалось подступиться к Акбакай. Снова и снова он устремлялся к вожделенному крупу. Кобылица всякий раз уворачивалась от него.

— Давай, Тореке! Не жалеи! — закричал один из джигитов. Все вокруг загоготали.

Торышолак, и не смевший мнить себя самцом в этом табуне, с торжествующим видом оглядел загон. Затем, срезав путь, подбежал к забившейся в углу молодой кобылице. Не обращая внимания на неприязнь Акбакай, примерился и снова принялся, коротко вскрикивая, наскакивать на её круто вздымающийся круп. И опять Акбакай увернулась, и опять невезучий гнедой соскользнул с лоснящегося крупа. «Что за жеребячество в это время года?! — мысленно удивился Саттар. — Видно, для этого несчастного, не выдавшего кобылиц, что весна, что осень — всё одно».

К тому времени весь табун был уже заперт, и суматоха во дворе загона стала затихать. Джигиты с засученными рукавами потянулись в сторону бойни. Увидев одиноко стоящего во дворе Саттара, Копжасар вразвалку направился к нему. На нём была чёрная короткая куртка, тёплая кепка. Брови насуплены.

— По какому делу, братишка? — пророкотал он.

— Саламуалейкум! — поздоровался Саттар. — Я из редакции. Надо написать о мясозаготовке...

— Алейкумассалам! — Копжасар, пожав ему руку, слегка замешкался. — Ну что ж, идём!

Повёл за собой на бойню. В загоне было холодно и сыро. Повсюду горел яркий электрический свет. Деревянные стены и двери. Копжасар вошёл в одну из них. За скрипящей дверью оказалось некоторое подобие кабинета. В тесной комнатушке стоял грубо сколоченный грязный стол. На нём — перевязанный сломанный телефон. Обойдя стол, Копжасар плюхнулся на стул, застонавший под ним. Саттару достался стул у входа. Копжасар потянулся к полке в столе, выхватил оттуда лист бумаги.

— Тут все нужные вам факты!.. — сунул Саттару лист.

Их беседа была короткой. Под конец Саттар задал вопрос:

— Что скажете о смерти Ахана?

Копжасар такого вопроса не ожидал. Его широкое лицо побледнело, он молча вскинулся.

— Э, так ты тот самый журналист, что ездил в Аршалы?! — Глаза его сузились. Саттар утвердительно кивнул головой. — Зачем тебе это?.. Дело давно закрыто... Следователь меня допросил. Если тебе так нужно, добудь это дело да читай!.. — Он дал понять, что разговор окончен.

Саттар тоже поднялся, чтобы попрощаться с ним. Копжасар, тяжело ступая, решительно двинулся по двору. По походке Копжасара чувствовалось, что его душит гнев. Саттар замешкался, не зная, то ли уйти, то ли следовать за Копжасаром. Вспомнив, что пришёл по журналистскому заданию, решил, воспользовавшись случаем, собственными глазами посмотреть процесс мясозаготовки.

В бойне кипела работа. Двое парней, засучив рукава, сдирали шкуру с подвешенной к железному крюку конской туши. Они



ловко орудовали ножами. Это была туша молодого жеребца-трёхлетки. Чистое, розовое мясо исходило паром.

- Открывай! — прокричал Копжасар.
- Стойте!.. Где Торышолак?!
- Здесь он! — крикнул кто-то снаружи.
- Открывай тогда!

Сбоку загона, громыхнув, распахнулась дверь. Прямо перед ней была сооружена большая железная клетка, при ней лестница. По ней можно было взобраться на верх клетки. На лестнице висела винтовка. Мелкокалиберная. Зачем она здесь, Саттар в тот момент не понял. В стене напротив двери открылась ещё одна дверь. В её проеме виднелась покрытая снегом степь. Как только открылись обе двери, все — и внутри, и снаружи загона — засуетились. Те, что были снаружи, закричали: «Чу!..», «Чу!!!» Люди внутри засновали взад-вперёд. Один Копжасар не всполошился, хранил холодное спокойствие. Сдвинув брови, засунув обе руки в карманы, он стоял, уставившись на клетку. «Точь-в-точь как бык!» — мысленно отметил Саттар. За железной клеткой топтался табун. «Чу!..», «Чу!!!» — раздавались голоса. Тем временем в открытую дверь железной клетки снаружи спокойной рысью вбежал куцехвостый Торышолак. Той же рысью, не останавливаясь, пересек прямиком клетку и выбежал наружу в открытую напротив дверь. При виде этой картины внутри загона поднялось волнение. Стена бойни сотряслась. Каракаска устремился к двери. Люди внутри забегали. Казалось, жеребец готов смести всю бойню. Вот-вот выстрелит, как молния.

Перед незнакомым помещением строптивый вожак резко остановился. Глаза его горели, готовые выскочить из орбит. Опустив морду и всхрапывая, напряжённо замер, наострил уши.

«Выходит, Каракаска освободили!» — подумал Саттар.

Конь, весь дрожа, слегка отступил и приподнялся, готовый при малейшем движении рвануть что есть сил. Всё, что он видел перед собой в полумраке загона, это — дверь, открытая дверь с той стороны, в проёме которой сверкала раздольная степь. Там, снаружи, убегал безмятежный Торышолак. И вдруг жеребец понял: Торышолак проложил путь к этому вольному простору, нужно бежать за ним! В тот же миг Каракаска с грохотом сорвался с места вскачь к двери. Он вихрем нёсся через клетку, как вдруг впереди и позади

него с лязгом захлопнулись тяжёлые железные решётки. Жеребец налетел грудью на решётку. Со всего размаха ударился об стальные прутья. Кости его едва не переломались. Все вокруг зашумели. Каракаска, налетев на мощную решётку, всем телом откинулся назад. И тут ещё один удар пришёлся ему по затылку. Люди загоготали. Из глаз его посыпались искры. Однако он не сдался. Неукротимая особая сила проснулась в нём. Удар об клетку был сокрушительным, но ещё не время было смиряться. Каракаска готов был биться и дальше. Он всё ещё был полон решимости. Во что бы то ни стало надо вырваться из этой ловушки. Камня на камне не оставить здесь. Если он этого не сделает, то это сделают с ним. Жеребец дал волю вселившейся в него чудовищной силе. Желая разгромить тесную клетку, метался по сторонам. Окружавшие оживились, загалдели ещё громче. Копжасар тоже увлёкся. Крадучись приблизился к клетке. В руках — железный прут с привязанной к нему консервной банкой.

— Я тебе сейчас концерт устрою!!!

— Молодец, Кобеке! — закричали ободряюще джигиты. — Устройте ему концерт!

Каракаска в этот момент тяжело переводил дух. Из его широко раздувающихся ноздрей валил, клубясь, пар. Он не знал, что ему делать с этой ненавистой клеткой, которой всё было нипочём. И тут ему в пах ткнули консервную банку. Гремящая ледяная банка обожгла его разгоряченную, потную кожу. Каракаска сроду не испытывал такого насмешница над собой. Взбешенный, он подпрыгнул на месте, взмыл на дыбы. Собравшиеся вокруг захохотали ещё громче. Шум, гвалт. Копжасар торжествует, гогочет во всё горло. Гремя жестяной банкой, скачет вокруг клетки, кричит: «Кш-кш!..»¹. Скачет с хохотом и кричит: «Кш-кш!..» И снова гремит банка. И снова: «Кш-кш!..» — и хохот.

Строптивый жеребец в клетке тоже не устаёт. Всякий раз, как тыкают ему банкой в пах, взвивается на дыбы, судорожно бьётся о прутья. И снова взвивается на дыбы, бьётся о прутья. И снова — на дыбы.

Саттара, наблюдавшего за дьявольской игрой этих безумных, постепенно стал охватывать страх. Он оглядывался на дверь, го-

¹ Казахи, держа грудного ребёнка над горшком, приговаривают: «Кш-кш».

товый бежать прочь отсюда. Только какой-то внутренний голос удерживал его: «Потерпи ещё немного!», «Потерпи чуть-чуть!»

Наконец, вдоволь повеселив парней, Копжасар отшвырнул прут с консервной банкой.

— Ну хватит, «концерт» окончен!.. А теперь — за работу!..

— Ну как, понравился «концерт»?.. — осклабясь, спросил у Саттара какой-то низкорослый парень, проходя мимо него к лестнице, приставленной к клетке.

Он схватил в руки винтовку. В тот же момент Копжасар рывкнул на него:

— Стой!.. Дай сюда!..

Низкорослый передал винтовку. Копжасар, ступая сразу через несколько ступенек, взобрался по лестнице наверх. Остановился там, постоял.

Каракаска стоял внизу, в клетке. От его потного тела валил пар. Глаза гневно сверкали. Он ждал, что в него снова будут вонзать прут с банкой. Двухногий его враг, тот, что устроил посмешище над ним, теперь стоял на верху клетки и, держа в руках короткую палку, смотрел на него в упор. Строптивный жеребец не знал, что на уме у врага, но, чуя недоброе, ощутил тревогу. Заметался. Отступив назад, прыгнул было, но ударился боком о прутья. Стал биться по сторонам, но из этого тоже ничего не вышло. Двухногий, стоявший на верху клетки, изготовился к какому-то враждебному выпадку. Лязгнув своей короткой железкой, один её край направил ему в лоб. Жеребец, однако, не смирялся. Собрав все силы, которые оставались в нём, хотел было прыгнуть на прутья, как вдруг яркий огонь вспыхнул перед его глазами. Короткая железка громыкнула. Что-то ударило вороного в лоб. Небывалый удар. Ноздри его учуяли запах горелого. Остального Каракаска уже не чувствовал.

После того как винтовка громыкнула, в бойне воцарилась полная тишина. Шумевшие до сих пор мясники затаили дыхание. Потрясённый Саттар смотрел на Каракаску, которому выстрелили прямо в лоб. Жеребец, слегка накренившись, всё ещё держался на ногах. Он содрогался всем телом, как если бы его ударило током. Глаза закатились. Уши плотно прижаты. Живот глубоко втянулся. Жеребец изменился до неузнаваемости: вся красота его, вся благородная величавость улетучились. Вытянув голову впе-

рѣд, сотрясаясь в предсмертной агонии, он спустя мгновение с грохотом рухнул на бетонный пол.

— Ну вот, теперь «концерт» точно окончен! — объявил Копжасар, слезая с лестницы. Низкорослый парень открыл взвизгнувшую дверь клетки. Второй джигит поспешил спустить трос с петлей на конце. Оба мясника, сноровисто двигаясь, просунули в петлю болтающуюся голову Каракаски. Затем нажали на кнопку какого-то механизма, раздался скрежет, и тело мёртвого жеребца, болтаясь на тросе, потянулось вверх. Оно медленно поплыло в сторону той освежёванной туши жеребца-трѣхлетки. Саттар стоял ошалевший от чудовищности всего увиденного им. Не прощаясь ни с кем, как в тумане, он побрѣл к выходу.

Редакция районной газеты находилась в двухэтажном доме на краю аула. Заметка о ходе мясозаготовки получилась короткой. Он успел подготовить её в завтрашний номер. К концу дня сел писать статью под названием «Загадочная смерть молодого зоотехника». Время пролетело быстро. Только когда уборщица, звякнув рядом с ним ведром и расплескав воду, принялась мыть полы, Саттар собрал бумаги и поднялся из-за стола. Сунув под мышку папку, вышел на тѣмную улицу и вздрогнул. Кто-то метнулся от угла дома и бросился наутѣк. «Кто это?..» Топот ног убежавшего уносился вдаль. Квартира, которую он снимал, была на окраине аула. Туда можно добраться по центральной освещѣнной улице. Улица прямая. Снег. Холодно. Но светло. Прохожих мало, только в центре аула, рядом с клубом, темнели чьи-то силуэты. Чувствовался настоящий мороз. Пока доберѣтся до дома, пожалуй, замѣрзнет. Приподняв воротник пальто, неуверенно двинулся по заснеженной дороге. Вспоминая всё, что увидел сегодня на бойне, незаметно дошагал и до клуба. Там шѣл кинофильм.

Доносились звуки автоматных очередей, крики «Ура-а-а!..» Перед клубом стояла молодежь, его ровесники. Один из них куда-то рвался. Остальные его удерживали. «Пьяные!» Когда он проходил мимо, кто-то вытолкнул на дорогу шумевшего парня. Тот с размаху налетел на Саттара. Саттар поддержал его, не дав упасть. У парня в зубах была сигарета. Он криво усмехнулся. Саттар пошѣл было своей дорогой, но парень подставил ему ногу — Саттар споткнулся и подлетел. Когда падал, хватаясь за землю, его чѣрная



папка покати́лась по серому снегу. Рука, на которую он оперся, соскользнула, и он ударился лицом об заледеневший снег. Уличный свет погас и вспыхнул. Пока поднимался, стоявшие окружили его. Вскочив на ноги, он зло обернулся к парню, сбившему его с ног. Встретился с ним взглядом. Из-под кепки набекрень на него смотрели дерзкие глаза. «Извинись!» — сказал парень, вынув сигарету изо рта. Саттар продолжал в упор смотреть на него, словно пытаюсь понять, кто он такой. Этот, в кепке набекрень, издав какой-то звук, внезапно ударил Саттара по лицу. Снова погас и вспыхнул уличный свет. Мир, казавшийся только что утонувшим в тишине, вдруг наполнился звуками. Саттар, прицелившись, тоже направил удар в лицо парня в кепке. Кто-то перехватил его руку. Другие уже выкручивали вторую. Парень в кепке со злыми глазами опять ударил его по лицу. Скулы Саттара горели. Кто-то пнул его по ноге. Саттар отлетел на лёд. Двое или трое ногами наступили ему на руки.

— Паренёк! — произнёс кто-то из них спокойным голосом. — Ты знай, где находишься!..

— Теперь не забудет!.. — ухмыльнулся кто-то.

— А забудет — напомним!.. — И захохотали в один голос. Затем кто-то, дёрнув его за локоть, поднял на ноги.

— Так-то, джигит!!! Запомни покрепче!

Саттар молчал. Что толку говорить! Во рту стоял кислый вкус. Сплюнул. На снегу, слабо освещённом фонарём, осталось чёрное пятно. В груди у него kloкотало. Наклонившись за валяющейся в стороне папкой, сплюнул ещё раз. На белом снегу опять темнело пятно. Вышел на дорогу. Двинуться сразу не смог, постоял, застегнул пуговицы на пальто. Поправил шапку и пошёл. Все звуки были приглушены. В ушах стоял сплошной гул. Это шумела кровь, прилившая к голове.

Добрался до дома. Навстречу выбежал Мойнак. Как обычно, принялся ластиться, путаться в ногах. Бедный пёс привычно выпрашивал, чтобы его поласкали. Махал хвостом, ползал, заискивая, на брюхе. Саттар, глядя на Мойнака, застыл на мгновение. На память пришёл его прежний хозяин Копжасар.

Лёжа уже в постели, не мог уснуть: в душе — сплошное смятение. Снаружи свистел ветер. Сквозь этот свист время от времени доносилось лошадиное ржание. Прерывистое ржание.



Это ржала старая брюхастая кобыла Кербие, с захода солнца кружившая вокруг бойни. За нею следовали оставшиеся от тучного ещё утром табуна с десятков тощих лошадок, осиротевшие годовалые стригунки да жеребье кобылы. С заката солнца Кербие неотступно бегала кругами подле загона в поисках своего табуна. Она искала своего жеребёнка Каракаску. Как солнце село, Кербие с призывным ржанием обежала несколько раз аул. Но ни единой весточки ни от Каракаска, ни от табуна. На окраине аула ей, бежавшей с громким ржанием, повстречалась группа безмятежно пасущихся гнедых. Один из них, со спутанными ногами, оказался куцехвостым Торешолаком, остальные — те самые гнедые, что поочередно преследовали нынче Каракаску, замучив его вконец. Завидев их, Кербие негромко заржала, подбежала к ним, ведь как никак были они лошадиного роду-племени. Однако гнедым не было дела до Кербие. Резвясь, они продолжали пастись. Ничем не проявили своего родства, не повернули шеи в её сторону. Не заржали ласково. Кербие и сама не задержалась рядом с ними. Не их она искала. А искала она — величавый, стройный табун во главе с гордым Каракаскакой. Долго-долго бегала кобыла, призывно покрикивая, в поисках родного табуна. Покружив, снова вернулась к загону, поглотившему днём табун. Что-то недоброе почуяла она. Догадалась: если что и случилось с табуном, то здесь. Загон как ни в чем не бывало безмолвно возвышался в ночном мраке. Кербие, держа нос по ветру, неспешно побежала вокруг загона, принюхиваясь к запахам. И вдруг с подветренной стороны загона в нос ей ударил знакомый запах, запах табуна. Прядая ушами и тихо заржав, замерла на месте. Вглядываясь в ту сторону, откуда донёсся ветерок, заржала отчаянно. Запах! Не просто знакомый, запах родного табуна!.. Запах выношенного ею в собственном чреве жеребёнка — Каракаска! Кербие в предвкушении радостной встречи с табуном заликовала, зарезвилась нетерпеливо. Догоняя запах, тяжёлой рысью побежала туда, откуда он донёсся. Знакомые резкие запахи привели кобылу к яме снаружи загона. Кербие остановилась рядом с ней. Протянула голову к зияющей в темноте яме — в ней полным-полно было лошадиных копыт. Кербие вздрогнула, задрожала. Выкатив глаза, наклонилась, опасливо принюхалась к копытам. По запаху разыскала среди них копыта Акбакай, Каракаска. Прекрасные, родные запахи. Но это было всё, что осталось



от Каракаски и Акбакай, от тучного табуна — яма, полная пахнувших копыт. И тогда поняла старая кобыла, что за беда стряслась этим утром. Поняла, почему вдруг потерялся табун. Испуганно заржала она, закружила на месте. Забила копытами оземь. Захрапела. Снова вернулась к копытам Каракаски, принюхалась. Снова... И снова...

...И заржала тоскливо старая Кербие. И лягнула копытом землю, понеслась вскачь в темную степь. И голосила она, бедная кобыла, вспарывая ночную немоту своим ржанием. То кричала, если хотите, её душа.

УАЛИХАН КАЛИЖАНОВ

ЛЮЛЬКА

Радость переполняла грудь старца Танаша и его старушки Кундыз. С самого утра Кундыз даже не присела. Собрала на чай сношельниц. Затем начала готовить бешбармак для приходящих с поздравлениями и к вечеру, не чуя ног от усталости, упала в постель. Однако в избытке радостного чувства она потянула за плечи своего старика.

— Отстань, не надоедай, — с этими словами Танаш отодвинул руку старухи и снова захрапел.

— Да ты что, помрёшь без сна... Боже мой, как ты можешь спокойно лежать, когда получил телеграмму о рождении внука от своего единственного сына.

— Так что хочешь, чтобы я сделал? И завтра будет день.

— Лежи тогда, валяйся без толку... Как только уживаешься среди людей с таким тяжёлым характером?

Кундыз взяла в руки пуховую подушку и стала думать, что возьмёт с собой в дорогу. Когда прикинула, то груза набралось на целую телегу. А как они довезут его — сначала до Караганды, затем в Алматы? Сколько ни думала, выхода не находила. Если Танаш не решит этого, то ей одной не под силу.

Кундыз поднялась с рассветом и разожгла огонь в самоваре. Затем подседа к чёрно-белой корове и начала доить. После этого выгнала на двор гусей и уток и задала им зерна. Когда, закончив дела снаружи, вошла в дом, то увидела сидящего над двумя раскрытыми большими чёрными чемоданами Танаша. При виде этого у неё потеплело в груди. Поэтому и стол накрывала с настроением, не жалея засыпав в белый заварной чайник индийского чая.

— Ты чего-то сегодня в хорошем настроении, старуха, — ухмыльнулся Танаш и, достав из кармана ножичек, стал нарезать хлеб.

— Да и ты сегодня хорош. Так и сияешь.

Так, перебрасываясь словами, они попили чаю. Через некоторое время Танаш перешёл к главному:

— Ну, шутки в сторону... Что повезёшь Мурату и невестке, и этому... краснощёкому внуку?

Кундыз, не дав ему договорить, тут же выпалила:

— Понятно, какое там у них в Алматы положение. Ходят, поди, по базару в поисках куска мяса. Так что нарежем им одну овцу. Затем положи в дорогу ту кошму с узорами. В квартире, которую они снимают, дует из щелей в полу. А друзья придут, постелить будет на чём. И разве они не устроят праздник по случаю рождения ребёнка? А что сделаешь на две стипендии, поэтому прибавь ещё пятьсот рублей. Нужно также захватить два одеяла и пару подушек...

Танаш был доволен, что его старушка продумала всё. Что можно пожалеть для единственного сына! Если надо, то и стригунка может забить. Только вот доставить всё это трудно.

— Бисмилла... — Танаш завалил овцу и перерезал ей горло.

— Пусть будет деткам моим во благо, — с этими словами Кундыз принесла таз с водой и начала промывать потроха. Обычно она близко не подходила, когда забивали животное, и поэтому Танаш с интересом наблюдал за её действиями, но произнести что-либо не решался, дабы не услышать в ответ от неё что-нибудь колкое.

— Старичок мой, — произнесла оттаявшая через некоторое время Кундыз. — Интересно, а имя ему наверно дадут без нас?

— Кто их знает. В нынешние времена дети, будто соперники отцов. Вон сын Абдикайыма на глазах отца так и стелется вокруг своей Нурлан. Лишь бы наши дети вели себя поскромнее.

Только к полудню они размяли поясницы и перевели дух. Чтобы не испортить мясо, посолили и вывесили немного проветрить.

— Этот-то не подошёл?

Под «этим» Кундыз подразумевали своего зятя Жакыпжана. Шустрый и разговорчивый, как придет, голова у всех идет кругом от его трескотни. Он шофёр в райцентре. Характером добрый, безотказный, поэтому был у старика со старухой за личного таксиста.



«Жакыпжан, свози туда. Жакыпжан, привези это... Ой, в нашем родовом ауле скончался близкий человек. Надо съездить с соборезнованием...» Короче, зима ли, лето ли на дворе, чуть что, вызывают его и объезжают родичей на его синей машине. А есть ли у него работа в совхозе, они и не думают об этом.

Да что говорить про них. Ему весь аул «Кызыл жұлдыз» хозяин. Между райцентром и аулом нет автобусного движения, так что добраться за семь километров порой труднее, чем до самой Алматы. И доставлять всех туда и обратно, похоже, стало обязанностью Жакыпжана. Настолько это стало привычным, что даже обучающиеся в интернате дети «рулят» им. После уроков в субботу, вытянувшись гусиной цепочкой, направляются в этот дом.

Но «этот» Жакыпжан сегодня что-то задерживался. Танаш и Кундыз начали по-настоящему беспокоиться. Забравшись на крышу дома, Танаш уставился на дорогу.

— Видишь его? — спросила с грехотом отмывавшая молочное ведро Кундыз.

Танаш в ответ покачал головой. Кундыз обиделась на это.

— Ты чего это качаешь головой как немой... Разве не можешь просто сказать «нет»?

Наконец приехал Жакыпжан. Старики сходу взяли его в оборот и стали допытываться, куда он подевался.

— Любимый старший зять у других уже птицей долетел бы до самой Алматы. А ты ходишь, как недоношенный. Не то, что в Алматы, в Караганду доставить не можешь!

— Еле отпросился. Позвонил в Караганду. Договорился с сестрёнкой, чтобы она купила билет на скорый поезд.

При этих словах оба оттаяли.

— Ну, тогда ладно, коли так. А то мы переживали, уж не ветром ли тебя унесло.

Сразу же стали накрывать на стол. Появились и масло, и сладости из Алматы, изюм и орехи.

— Поешь, дорогой, дорога длинная. Устал, наверное. Когда мы окончательно сомкнём глаза, никто тебя не будет донимать. Ты и дорогу тогда в этот аул забудешь.

Действительно, груза набралось предостаточно. Во время загрузки машины Кундыз стала добавлять всякие мелочи.

— Как вы всё это доведёте? — только было раскрыл рот Жакыпжан, как получил мгновенный ответ.

— Разве мало вокруг хороших людей? Если ты поможешь нам загрузить всё в вагон, то в Алматы разве не встретит Мурат? Только не забудь послать ему телеграмму. Затем, если помогут люди, наймём одно из многочисленных алматинских такси. Вот и все дела.

В Караганду добрались к четырём часам пополудни. Сестрёнка Жакыпжана действительно уже взяла им билет на скорый поезд «Целиноград–Алматы». До его подхода оставалось ещё целых три часа.

— Жакыпжан, что так и будем сидеть? Иди в тот ресторан и займи столик. Не жмись, заказывай еды вдоволь. Не жалея карман матери...

У багажа осталась Сауле. А они втроём вошли в пристроенный к автовокзалу ресторан. Плотно поели, напились до седьмого пота чаю. Но перед тем как рассчитаться, Кундыз огорчённо хлопнула себя по бедру.

— Толи мозги у меня, старой, вытекли, как же я могла забыть о ней? Что же теперь делать? Посоветуйте что-либо, — произнесла она расстроенным голосом.

— Не мучай, скажи, в чём дело, — поднял голос Танаш.

— Ты хоть сам знаешь, что мы позабыли? — горько выплеснула она и умолкла, будто что-то застряло в горле.

— Бесик... Мы бесик забыли... Как же без него поедем?! Как же они без колыбели будут нянчить ребёнка? Я приготовила для внука колыбель, в которой ещё Мурат лежал. Нет, без неё Кундыз далее не сделает ни шага. Срочно езжай в аул. Открой большой ларь в углу комнаты. Там есть связка ключей. Возьми самый большой из них и открой им красочный сундук снизу. Аккуратно возьми из неё люльку и запри снова на ключ... В шифоньере в гостиной возьми маленькую подушечку, расшитую монетками... Да, чуть не забыла... в сарае хранятся два бурдюка масла, возьми один из них. В Алматы, надо думать, нет бесплатного масла. Да... скажи своей жене, пусть свернёт и отдаст ковёр, который подарила на радость моего единственного сына. Некогда нам разъезжать туда-сюда. Съезжу лишь один раз... Билеты на поезд сдай, и возьми билеты на

самолёт. В прошлом году мы всего за полтора часа долетели на той. Всё...

— Апа, вы думаете там, в Алматы, знают, что такое бесик? Теперь детей укладывают в коляски. Когда приедете к ним, купите такую коляску.

— Эй, ты сам-то хоть знаешь, как необходима каждой матери колыбель? Во-первых, ребёнок хорошо растёт, во-вторых, избавится от необходимости каждую минуту высушивать под дитём, в-третьих, будет спокойным сон и матери, и ребёнка. Это проверено веками. Понял? И ты, и Мурат, и все мы вышли из такой люльки. Смотри, что в нас хуже других?

Глаза Кундыз остановились на телефоне-автомате:

— Саулежан, подойди, позвоним с тобой вдвоём...

— Апа, как вы пойдёте со столькими вещами в чужой дом? Давайте лучше снимем номер в гостинице, — предложила Сауле.

— Ну-ка, набирай: пять, сорок пять, ноль один... Теперь дай трубку мне. Кто это? Сваха?! Да, живы-здоровы, дома всё в порядке... Да, они сейчас все такие... Суйинчи! У меня добрая весть. Дождались внука от нашего единственного сына... Точно... Точно... Стоит вон, переполненный радости... Освободи свой холодильник... Да... Вместится туша одного барана? Вот здорово. У кого же ещё может быть в доме два холодильника, если не у большого журналиста. Сейчас подъедем... да чего говорить, подъеду, тогда наговоримся...

Кундыз положила телефонную трубку.

— Как это чужой дом, это же моя белолицая сваха — Ак кудаги. Тёща сына единственного брата моего старика. Как же она будет чужой нам. Ну-ка, задержи одну из машин с синим огоньком... Вот адрес...

Танаш и Кундыз насилу поднялись на четвертый этаж. Ак кудаги встретила их с распростёртыми объятиями. Из кухни доносился запах варящегося мяса. Едва прилётши на диван, Танаш погрузился в дремоту и захрапел.

Две старушки начали беседу.

— Ак кудаги, сама подумай, в эти дни даже тридцатилетние всё ещё как дети. Мой Мурат поступил учиться поздновато. Отслужил в армии, два года поработал, пожил с нами. Теперь учится на прокурора... Прислал телеграмму, что родился ребёнок. Собира-

ась к нему, забыли про люльку. Как же без неё, отправила Жакыпжана назад в аул. Ничего страшного. Не износятся, поди, шины из-за этой поездки ради нашего малыша.

— Разве нынешняя молодежь знает настоящую цену колыбельной люльки? — подхватила разговор Ак кудаги. — Я всех своих шестерых вырастила в такой колыбели. Дочь моя только поняла её преимущество. Так что правильно говоришь...

На утро следующего дня самолёт с серебристыми крыльями приземлился в аэропорту Алматы.

С участвующим дыханием и развеянными по ветру волосами вглядывалась мать в толпу встречающих, и, наконец, увидела выбегающего ей навстречу Мурата.

— Апа, ата! — кричал он радостным и дрожащим от возбуждения голосом, выплескивая все свои чувства к родителям. Затем остановился и смущённо продолжил: — Поздравляю вас с внуком!

— Ой, щенок. Ваш внук, говоришь. Почему не говоришь ваше дитя? Смотри-ка на него. Оказывается, и детям нужно дитя.

Привезённые ими вещи не вместились в одно такси, и пришлось нанимать ещё второе. Небольшая комната в домике в Тастаке сразу же не понравилась Кундыз.

— Что вы не могли ничего найти, кроме этой крошечной комнаты? Не смотри на дороговизну, сними двух-трёхкомнатную квартиру.

— Ой, мама, мы и эту комнатку-то едва нашли. Ежемесячно платим за неё пятьдесят рублей.

Кундыз начала оттаивать. Села, не зная где разложить привезённые вещи. Её обескураживал вид пустой комнаты.

— Подай-ка это, — сказала она Мурату, указав взглядом на свёрнутый ковёр.

Через некоторое время на полу был расстелен войлочный ковёр. Сверху бросили пуховые подушки. Не находя, куда положить мясо, Кундыз вынула из кармана деньги.

— Иди, купи и привези какой-нибудь холодильник...

— Апа, зачем он нужен? Человеку без постоянного жилья холодильник ни к чему. А мясо мы прикончим за два дня. В группе у нас пятьдесят человек.

— Пусть хоть сто человек, не беспокойся. Купим ещё одного барана на базаре. В семье с ребёнком холодильник — самая первая необходимость. Без него будет неуютно и вам, и вашему ребёнку. На жаре будут портиться продукты.

К вечеру маленькая комната Мурата стала неузнаваемо уютной, даже не хотелось покидать её. А на следующий день они втроём поехали в роддом. Встретили Гулжан с цветами и привезли её домой на такси.

— Дай-ка, взгляну на него, — устремился было к ребёнку Танащ, но Кундыз осадила его.

— Он задохнётся от твоего пропахшего насыбаем дыхания, лучше отодвинься.

В тот день маленькая комната наполнилась счастьем и радостью. Одна группа однокурсников Мурата ушла далеко за полночь. Хозяин дома оказался милосердным человеком. Уложил гостей спать в большой комнате.

— Ну, дети мои, мы не будем задерживаться, вернёмся домой. Скот там остался. Пока мы здесь, пригласи завтра друзей. А ты, милая, следи за собой и береги себя. Подружек своих пригласишь в следующий раз, когда мы снова приедем.

Матушка Кундыз стала особо готовиться к завтрашнему вечеру. Привезённое с собой перо филина пришила к тубетеечке малыша. Достав люльку, стала наряжать её. Привязала к верхней перекладине маленький серебряный колокольчик.

— Ну, положим теперь Сакенжана в люльку. Если бы это было в ауле, организовала бы той и раздала подарок всем гостям, Ну а вы хорошо погуляйте с друзьями...

— Люльку, говорите?

Гулжан с изумлением посмотрела на матушку Кундыз. Затем положила запелёнатое дитя на постель и, преклонив колени, присела перед свекровью.

— Не нужно, апа, это ведь старая традиция. К тому же она вредна для организма ребёнка. А наши друзья приготовили в подарок детскую коляску.

— Вредна говоришь, о, господи, ни в какие времена не слышала, чтобы люлька была вредна для ребёночка. И мы сами получали огромное удовольствие, укачивая дитя под звон колокольчика.



Вот и сам Мурат вырос в этой колыбели. Скажи, какие в нём недостатки?

...Кундыз поняла, как отдаляется от неё заветная мечта, которую лелеяла на протяжении всей жизни. Она вновь собрала и упаковала люльку. На следующий день, перед отъездом в аэропорт Кундыз, вышла на улицу с люлькой в руках.

— Апа, зачем вам лишняя тяжесть, бросьте её. Пустим на растопку...

Сердце старой матери вздрогнуло от этих слов. Она ни слова не сказала сыну в ответ и улетела в Караганду...

СВЕТЛАНА НАЗАРОВА

МОЙ ЗЕЛЕНОГЛАЗЫЙ АРУАХ

Бабушку я помню с тех самых пор, как научился крепко ходить. Или мне так кажется. Но помню её раньше, чем свою мать. Мама отвезла меня в аул рано — они с отцом жили в городе, ей надо было работать, а я не был устроен в детсад по настоянию бабушки. Бабушка считала, что отдавать детей в казённый сад — дело плохое и опасное. Кроме меня, к бабушке приезжали ещё мои двоюродные братишка и сестренка, Ерлан и Макпал. Это были дети моего дяди со стороны отца, но я редко их заставлял: их приезды были связаны не с каникулами, а с отпуском их родителей. Пока их родители отдыхали 24 дня где-нибудь в санатории, Макпал и Ерлан находились у моих ажешки и аташки. Получалось, вместе с ними я проводил неделю или дней десять, а потом за ними приезжали и забирали в Чимкент. Макпал была совсем маленькая, лет пяти, она играла в куклы, плакала по ночам, скучая по маме, плохо ела и держалась дичком, несмотря на мои попытки приласкать её и развлечь. Ерлан был на год старше сестры, задиристый, самостоятельный мальчишка. Он даже помогал по хозяйству, ожидая похвалу за любую помощь бабушке или дедушке.

Мою бабушку звали Мурсея, была она зеленоглазая, и дед втайне гордился этим, хотя и часто подшучивал над ней: «Кто дал тебе твои глаза, Мурсея? Может, русский замешан здесь? Может, у матери твоей была своя женская тайна? Или смотрела она на зеленоглазую степную рысь перед тем, как родить тебя?» Бабушка напускала на себя сердитость и, пряча улыбку, замахивалась на деда посудным полотенцем. А на старой фотографии он бережно касался бабушкиного плеча: она сидела на стуле, обтянутом белым чехлом, как на троне, молодая, с чёрными косами, перекинутыми на грудь, в бархатной короткой жилетке, расшитой по бортикам кудрявым узором, в длинной юбке, из-под которой высывались носки сапожек, с этими своими светлыми глазами на

белом лице. И мне всегда казалось, что даже чёрно-белая фотография излучала зелёный цвет её глаз. А дед стоял рядом, бравый усач с упрямыми скулами, уставившийся туда, куда велел фотограф. Даже взгляд у бабушки сильно отличался на этой фотографии: она смотрела строго и с затаённой надеждой и ожиданием чего-то хорошего, неведомого, а дед — просто замер с туповатым лицом. На самом деле в жизни у деда было смешливое, подвижное лицо. Ну, может, потом оно таким становилось, когда они с бабушкой уходили от фотографа.

Мама с отцом несколько раз в течение лета приезжали на день-два к нам в аул, привозили гостинцы: 10 упаковок индийского чая в маленьких пачках, который был тогда большим дефицитом даже в городе (уж я-то знал, как гордились они такой добычей!), а не то что в ауле, городское печенье (бабушка называла его «казённое печенье»), импортное душистое мыло, которое (я знал) мама «доставала» через подругу, работавшую в алма-атинском парфюмерном магазине «Ландыш», карамель, муку, подсолнечное масло, сатин и ситец, из которых бабушка шила ночные рубашки себе и деду и постельное бельё. Если родители привозили деликатесную колбасу «сервелат», которую мы и сами-то в Алма-Ате ели лишь по большим праздникам, то и бабушка, и дедушка в один голос просили маму забрать её назад: а вдруг там свинина? Колбаса — вещь непредсказуемая... Помню, особенно обрадовалась бабушка, когда родители мои привезли китайские полотенца — яркие, в розах и пионах, и чудесный китайский же чайный сервиз, весь расписанный цветами, вычурной формы, с продолговатым блюдом, с круглым блюдом, с тарелками под пирожки, с молочником, двумя фарфоровыми чайниками (один — большой, другой — поменьше), с фарфоровой подставочкой для салфеток (о её предназначении мы гораздо позже догадались!), с чашками и блюдцами и фарфоровыми лопаточками неизвестно для чего... Все соседи и другие аулчане приходили смотреть, цокали восхищённо языками, осторожно трогали дивные предметы для такого, казалось бы, простого и объединяющего людей ритуала, как чаепитие. Аул — это ведь, по сути, одна большая семья, где есть свои авторитеты и мудрецы, труженики и трутни. Есть люди хлебосольные и прижимистые, хитрые и открытые, честные и вороватые. Когда кто-то к кому-то приезжает, узнают все, и большой грех не зарезать барашка, не на-



крыть дастархан, не сделать соучастниками радости всех аулчан. Мои дедушка с бабушкой свято соблюдали этот обычай, несмотря на возраст и болезни.

Моя бабушка умела всё: шить простую одежду и бельё, стегать одеяла из верблюжьей шерсти, вкусно готовить еду и сбивать масло, и любые дела по хозяйству в её руках спорились. Толково и быстро она собирала в дорогу деда, когда он уходил с отарой на джайляу. Эти сборы всегда проходили почему-то либо ночью, либо ранним утром, и я плакал, когда дед, прощаясь, целовал меня сонного, шепча какие-то путанные слова, которые были непонятны мне из-за сонности моей. Так же она собирала и меня, когда я уезжал из аула в город к своим родителям. Я никогда не обсуждал с дедом Кабиденом и бабушкой Мурселёй своего одиночества среди самых родных мне людей — мамы и папы...

Помню, однажды ночью я проснулся от тоненького прерывистого звука и не мог понять, что за птица его издаёт. Прислушавшись, понял, что это храпит бабушка, и удивился тому, что она как будто пела во сне. Дед храпел по-другому, он как будто угрожал кому-то, отгонял опасность. Я обрадовался уюту нашего саманного домика...

* * *

В ауле я хорошо освоил родной язык. И ещё узнал одну вещь, первооткрывателем которой считал именно себя: когда на родном языке говорит хороший человек, язык обаятелен и красив. Когда на этом же языке говорит скрипучим голосом пройдоха (а Аллах метит человека голосом!), вкрадчиво подлец или невыразительно подлипала, который всегда найдёт, к кому из сильных мира сего пристроиться, то и язык кажется неблагозвучным, коварным, настораживающим. Поэтому сейчас, став уже вполне взрослым человеком, хочу, чтобы мой родной казахский язык приносили людям других наций именно те, кто и в повседневной жизни не стяжатель, не хам, не человеконенавистник, а последователь благородных традиций моего славного народа.

* * *

И бабушка, и мой дед Кабиден по-русски не только хорошо говорили, но и читали. Бабушка была из богатой семьи, из рода бия



Мади — семьи, которая знала хорошие времена и уважение со стороны не только односельчан. А дед был из бедняков, вечно пас стада богатеев, был бит камчой, ел то, что оставалось от хозяев, одевался в лохмотья, спал где придётся. Дед был восьмым ребёнком в семье своих родителей, бабушка — единственной дочерью своего отца, у которого было ещё четверо сыновей.

Как рассказывал дед об их знакомстве, бабушка, увидев его на коне на ярмарке, куда он приехал, чтобы продать хозяйского жеребца за большую сумму, не устояла перед усатым красавцем и стала приставать к нему, опустив глаза: «Батыр, испей моего кумыса! У тебя прибавится сил!» А бабушка моя смеялась и говорила: «Врёт всё, шайтан! Я сидела рядом со своей арбой, куда работники складывали выбранные мною товары. А он подтянулся ко мне, как барашек на верёвке, заикался, краснел, и сказал: «Если я могу вплести в твою косу хоть один медный грош, который мне тяжело достался, я сейчас же просверлю его, и умереть после этого не жалко!» И после такой перепалки мои дед и бабка смотрели друг на друга со скрытой нежностью и еле сдерживаемым смехом... Лица их светились знанием лишь им известной тайны. Кто из них обманывал или преувеличивал — я не знал.

Я мало чего понимал в жизни тогда, когда меня мальцом оставляли в ауле. До первого класса я жил с дедом и бабушкой постоянно. Потом уехал в город, где, конечно же, было намного опрятнее, не было мух и было намного больше удобств. В городе были кино-театры, парки, много развлечений для детей и взрослых, в городе мне неловко было летом ходить лишь в одних сатиновых чёрных трусах, которые были вполне обычной одеждой моих сверстников в летнем ауле.

В городе я знал, что мне нужно соревноваться. В классе — в знаниях со своими одноклассниками, на улице — с ребятами разных национальностей из нашего двора, которые безошибочно распознавали трусов и слабаков, и если ты не мог постоять за себя, то тебя могли унижить так, что ещё неизвестно, сможешь ли ты после этого когда-нибудь доказать свою состоятельность и правоту.

Город я любил, потому что здесь был рядом с папой и мамой, потому что здесь в нашей квартире был белый холодильник, сохраняющий лимонад в самую несусветную жару прохладным и потому особенно вкусным. В городе надо было следить за своим

внешним видом, чтобы тебя не осмеяли за вонючие носки и грязные ногти на руках: тут все всё замечали. Тут были кафе и фонтаны, свой алма-атинский «Бродвей», диктующий моду на одежду и музыку, на поведение и привычки. Но здесь были и те мои друзья, которые не ведали о чудесной жизни в ауле. И когда я им рассказывал о своих сельских занятиях, о том, что научился ездить на коне, топить баню, полоть и поливать огород, когда демонстрировал свою возросшую сноровку в игре в асыки, они удивлялись, завидовали, с удовольствием угощались бабушкиным куртом и иримшиком и говорили враспев: «Те-е-бе в-е-ез-ёт. У тебя — бабушка в — де-ре-е-вне». А я тогда и сам ещё не сознавал, как мне и в самом деле везёт!

* * *

Я боялся и не любил верблюдов. Эти высокие животные жили в просторном высоком загоне, сколоченном из досок, рядом с нашим домом в ауле. Они казались мне высокомерными, себе на уме. К тому же я видел, какие они в гневе. И когда бабушка просила дать им корм, соль или налить воды, я, ёжась, медленно вставал и без особого рвения исполнял её поручение. Бабушка цепкими зелёными глазами смотрела на меня и говорила: «Жаным, наш великий пророк прятался в шкуре верблюда, когда была опасность для его жизни. Разве у тебя на совести есть грязное пятно, чтобы бояться верблюда?» Пристыженный, я исполнял её поручение, преодолевая страх и нелюбовь, приносил им соль и корм и смотрел на верблюда, ведя с ним внутренний диалог: «Что я тебе сделал плохого? Почему ты с насмешкой смотришь на меня? Вот, я принёс тебе соль и питьё. Я маленький, а ты большой. А большие маленьких не обижают». Верблюд переступал высокими ногами, надменно отворачивал морду, непрерывно жуя, и недовольно подёргивал холкой возле горба.

* * *

Уже позже, став почти взрослым, я вспоминал «политические разговоры», время от времени происходившие между бабушкой и дедом. Бабушка, чья семья пострадала от репрессий, была, тем не менее, горячей защитницей советской власти. Она постоянно слушала радио, читала газеты, надев огромные очки в коричневой ро-

говой оправе, делавшие её похожей, в моём представлении, на сказочную бабушку Красной Шапочки. Дед вовсе не был антисоветчиком, но советскую власть постоянно критиковал. Помню запальчивый бабушкин аргумент: «Кем бы ты был, карабастык, если бы не советская власть? Так бы и гонял овец, одетый в лохмотья, безграмотный и голодный! А уж Мурселю тебе не видать было, как своих ушей!» При последних словах бабушка распрямляла свою больную спину, зелёные глаза её сверкали, как два изумруда, ноздри раздувались, и была она похожа, ей-ей, на Шамаханскую царицу.

Дед кричал и отвечивал: «Ой-у-е, Мурсея, завелась, строптивая! Да, гонял бы овец, да, голодал бы, но жил бы по завету предков. Кому хочу, молился бы, кого хочу, почитал бы. А меня заставили забыть всё, молиться по-другому, служить чужому порядку!» Бабушка, совсем потеряв надежду на понимание со стороны деда и возмущившись такой явной политической близорукостью, начинала горячо и длинно перечислять все достоинства советской власти, главным из которых было то, что она спасла казахов от вымирания. Дед признавал это, но, вытерев слезящиеся глаза, скорбно говорил: «Сначала спасла, а потом уморила». И восклицал с нарочитой страстностью: «Вот, вот где сказались твои зелёные глаза! Ты, ведьма, хочешь, чтоб было по-твоему! Искры пускаешь, хочешь, как русская жена, верховодить джигитом?» И когда после этих слов бабушка начинала смеяться, дед примиряюще говорил: «Ну, хватит, Мурсея. Конечно, ты у нас — главный политик (тут дед едко усмехался, но сразу же гладил бабушкину руку). И ты права, и я прав».

Уже тогда, слушая моих дорогих стариков, я понимал, что Правда — одна, но взгляд на неё у всех разный. И мы все слепые, как в той притче, где слепые дают характеристику слону: один говорит, что слон — это ноги-тумбы, другой — что слон это уши, а третий — что слон просто шланг в виде хобота... Но до Правды нужно ещё докопаться.

* * *

Как-то мама, приехав в аул в очередной раз во время моих каникул и привезя много чего в качестве гостинцев, отозвала меня перед отъездом в сторонку и дала пять рублей: «Сынок, мало ли



чего захочешь, купишь себе в сельпо, ладно?» По тем временам пять рублей — это много! Я поблагодарил. Вскоре бабушка взялась стирать мои штаны и обнаружила эту купюру. «Что это?» — спросила она. Я сказал. Бабушка сурово поджала губы и молвила: «Знаешь, сынок, твоё должно быть вот здесь (показала на сердце). А остальное — общее, наше. Мы ведь семья». Я запомнил это навсегда.

* * *

Было мне лет десять. Случилось, что я заболел в ауле воспалением лёгких. Лежал с высокой температурой, в полубредовом состоянии. Взволнованная мама, которой позвонили по просьбе бабушки наши соседи будучи в райцентре (только там был телефон междугородней связи) — они ездили туда по делам, привезла из города антибиотики, другие лекарства. Плакала, просила бабушку, свою маму, всё делать так, как прописал врач. Бабушка согласно кивала, подтверждая, что будет всё это мне давать и пригласит медсестру, чтобы делала уколы. Но лечила меня бабушка по-своему. Она давала мне горячее молоко с содой и курдючным жиром, насильно заставляла пить из пиалы какую-то густую, тёмно-красную жидкость, горькую и кислую одновременно. Привязывала мне на шею маленький мешочек с колючей травой, вызывающей желание кашлять и плевать. Намазывала грудь и спину курдючным жиром, смешанным со скипидаром и какой-то резкой по запаху степной травой, и нещадно колотила мою спину и грудь мясом свежезаколотого по случаю моей болезни барашка. После чего положила это мясо на мою грудь и спину, привязав полотенцем — по-моему, это были бараньи лёгкие и ещё какие-то другие части туши. Потом завернула меня в тёплое одеяло и набросила кучу тёплых вещей сверху. Всё это время она читала молитвы на арабском. Я был в ужасе от боли, в сомнамбулическом состоянии из-за температуры, мне был непонятен и неприятен весь процесс бабушкиного лечения — уж лучше бы уколы! Бабушка, думая, что я не слышу, не соображаю из-за температуры, горячо шептала по-казахски: «О Аллах, разве мало грешных на земле? Почему мучаешь не их, а его, моего верблюжонка? Не открою свои глаза утром, если не облегчишь его страдания! Не скажу Тебе хороших слов! Дай мне его болезнь, дай ему Свою защиту! Не отнимай его



у нас, лучше возьми мой скот, мой китайский сервис, мою жизнь!» Горячая бабушкина слеза упала мне на щёку... Я как будто встретился, ощутил её своим воспалённым лицом как холодную родинку. Через три дня я был на ногах, а через неделю рентген, который мне сделали в райцентре, показал, что воспаления лёгких и в помине нет.

* * *

Саманный домик, в котором жили мои ажешка и аташка, был выбелен с добавлением синьки, и в вечернем воздухе был похож на облачко. Сходство добавлял голубоватый дымок, который поднимался от летней печи во дворе или от казана, установленного на камнях рядом. Была ещё небольшая банька, которую дед сделал своими руками, вот только печку в ней выложил «дядя Петя» — так звали русского бобыля, жившего в нашем ауле и усвоившего все казахские обычаи, язык, привычки, будто и не русский он вовсе. Была у нас и юрта, которую собирали во дворе по особым случаям, а в основном дедушка брал её с собой на джайляу.

Бабушка и дед сажали картошку метрах в ста от дома, там же у бабушки было 30 кустов помидоров и чесночная грядка. Помидоры мы ели не только в свежем виде. Бабушка делала из них томатную пасту на зиму и «жгучку» с чесноком и перцем, которую добавляла потом в лапшу и прочие блюда. Ещё в огороде росли кукуруза и подсолнухи. Дед огородил всё это облагороженное поле частоколом, а в мои обязанности входило во время каникул стеречь его от проникновения туда скотины. А из скотины у нас было 15-20 баранов (иногда больше, иногда меньше), десяток кур во главе с белым облезлым (хотя ему не с кем было драться) петухом, вид у которого был такой, будто он непрерывно линял, два верблюда, две лошади и корова с тёлочкой. Я помню, что такие огороды, как у нас, были ещё, наверное, у пяти семей нашего аула. Все другие хозяйки складывали губы в презрительную трубочку и брезгливо отвергали такое ведение хозяйства. Как рассказывала бабушка, смеясь: «Сами ко мне ходят, просят всё, что я вырастила, и сами же меня осуждают. Мол, зеленоглазая женге продалась русским, живёт не по нашим обычаям...»

Бабушка всё время была чем-то занята, всех ей надо было обиходить. Белые скатерти и свои жаульки, простыни в мелкий цве-



точек и посудные полотенца она стирала порошком «Лотос» и «Айна» и простым хозяйственным мылом. Всё белое она раскладывала, прополоскав, на степных травах под палящим солнцем. На каких травах — это знала только моя зеленоглазая бабушка. Но я помню восхищение и зависть соседок во время их посещения застолий в нашем доме по поводу белизны дастархана, прочих тряпок кухонного назначения... Был во дворе нашего саманного домика колодец, который качал глинистую воду для полива и питья скоту. А чистую «человеческую» воду таскали из единственной водоколонки на весь аул, состоявший из сотни дворов. У нас была тележка на велосипедных колёсах. На эту тележку помещались четыре большущих оцинкованных ведра, два десятилитровых бидона и большая помятая алюминиевая фляга. Вozить воду на тележке было легко, и я в подростковом возрасте вполне справлялся с этим, пока бабушка и дед занимались своими делами. Они всегда меня нахваливали (видимо, с воспитательной целью) за помощь. Я старался управиться с заданиями побыстрее, чтобы идти играть с друзьями в футбол, в асыки и прочие наши игры. Вечером мы втроем — дед, бабушка и я — садились за низенький столик, уставленный баурсаками, свежим сливочным маслом, кипячёным молоком, сметаной, куртот, сушёными дольками яблoк и абрикосов, вялёными казы, и долго и неторопливо пили душистый чай, вкуснее которого не было и нет нигде на земле, потому что его готовила моя зеленоглазая бабушка. Мои «вторые папа и мама» подшучивали друг над другом и надо мной, обсуждали прошедший день, стонали от своих болезней, строили трудовые планы на завтра, вспоминали те времена, которые я не мог помнить ввиду своего малолетства и позднего рождения. Перед сном бабушка заставляла нас с дедом мыть ноги с хозяйственным мылом в большом эмалированном, местами облупившемся, тазу. Смазывала мои цыпки бараньим жиром. Укладывала спать, бормоча молитвы.

* * *

До сих пор с ужасом вспоминаю, как я стеснялся своих деда и бабушку, когда они приезжали к нам в Алма-Ату, соскучившись по мне! Я помню это чувство стыда за них, когда я пребывал в отроческом возрасте. Мне хотелось всего только такого, чему все



другие будут завидовать. А они привозили в городскую квартиру моих родителей аульный запах овчины, кошмы, курдючного жира, какого-то своего сельского пота... Я весь сжимался, когда ко мне заглядывали мои дворовые друзья (а жили мы в центре, и дом наш был заселён работниками всяких ведомств и министерств, артистами и светилами науки). При этом я любил своих аташку и ажешку, был рад их приезду, но никогда не показывал своей любви и нежности к ним... А, кстати, родители мои получили квартиру (после долгого проживания в семейном общежитии) благодаря моему заслуженному деду, который был участником Великой Отечественной войны. Квартира была оформлена на деда, но жить они с бабушкой с самого начала там не собирались. Им нравилась деревенская жизнь, деревенские бесхитростные люди — они сами были такие. И хотя в ауле жить было, конечно, намного труднее, чем в городе, они были довольны.

Я стеснялся их немодной одежды: оба были в хромовых сапожках с калошами, в бархатных жакетах, дед — в тибетейке, бабушка — в белоснежном платке, завязанном по-казахски. Дед постоянно плевал при ходьбе по городу — и я отходил от него подальше, чтобы нас не заподозрили в родстве... Какой же я был осёл! Скриплю зубами от стыда за себя тогдашнего... Как и за то, что подаренные бабушкой корпешки не стали главным украшением нашей квартиры в те времена. В те времена мои родители, отмечаясь ежемесячно в очередях за такими модными и почти недостижимыми синтетическими бельгийскими коврами, вывесили их на стены как мандат своей состоятельности и достигнутого благополучия. Впрочем, не они одни...

* * *

Время шло, я вырослел, и, учась в старших классах, совсем перестал рваться в аул к своим старикам, как это было прежде. У меня появилось много занятий. Я ходил на тренировки, чтобы осуществить свою мечту — играть в футбол за сборную республики. Я занялся вольной борьбой, чтобы нарастить мускулы и не бояться здоровенных уличных хулиганов. Я влюбился. И целыми днями искал возможность увидеть хотя бы издали предмет своего обожания, а ночами сочинял стихи и грезил о ней, нескладной девочке с густой копной стриженных волос, которая, как дикая козоч-

ка, отпрыгивала в сторону, если нам случалось встретиться неожиданно лицом к лицу, краснела, а когда я оглядывался ей вслед, с удовольствием видел, что и она оглянулась вслед мне... Тут же она, застигнутая моим торжествующим взглядом, сердито вскидывала головку и уходила прочь быстрым шагом... Всё это меня закружило, наполнило мою жизнь неясным томлением, новым смыслом. Я придирчиво изучал себя. Мне казалось, что я некрасив, что я уступаю сверстникам в способностях, что все они лучше и умнее меня. С родителями, которых я по-прежнему любил, начались ссоры. Меня раздражало их непонимание, их вечные требования ко мне. Они вторгались в мою жизнь, хотели во всём меня контролировать, и я думал: какие мы разные, и как они далеки от меня, примитивны, не чутки! Им бы только читать нотации, они только и думают, что о хлебе насущном!

Когда настал момент наивысшего напряжения в отношениях с ними, когда моя девочка явно отдала предпочтение другому, когда я рассорился с лучшим своим другом — я решил уехать в аул. Стоял август.

* * *

За весь месяц я лишь раз позвонил домой в Алма-Ату. Мне не хотелось никому ничего объяснять, говорить прописные слова типа «кушаю хорошо, чувствую себя хорошо, у нас всё хорошо».

Как-то так произошло, что я в этот свой приезд в аул сблизился с дедом. Мы проводили много времени вместе. Я расспрашивал его о молодости, о войне, о бабушке, о той поре, когда они были ещё совсем юными и только начинали совместную жизнь. Дед рассказал мне, что моей бабушке Мурселе посвящали лучшие песни акыны, что она приглянулась самому губернатору края, немцу по происхождению. Что бабушка моя вытащила из горящей юрты спящего мальчика, когда ей самой было всего-то четырнадцать лет. С тех пор на её руках от кисти до локтя следы того пожара — грубые рубцы, не исчезнувшие с годами. Но и они не портили бабушку. Она была настоящая красавица.

...Сельский труд, солнце, купания в маленькой светлой речушке, протекавшей недалеко от аула, сделали своё дело. Я загорел, стал нормально спать ночами. Но главное — это общение с моими стариками. Незаметно и ненавязчиво они учили меня ко всему в

жизни относиться сознательно, не принимать скорых решений, не злиться по пустякам и дорожить родственными связями, превыше которых нет ничего.

Я, уже много чего наслушавшийся в столичном городе, прочитавший много газет и знакомый с биографиями моих выдающихся соплеменников-казахов, которые многого достигли во времена советской власти, но и пострадали в годы сталинизма, коллективизации, имел обо всём своё собственное суждение. Пусть я был юн, но это ведь не лишало меня права на свою точку зрения. Я мог высказывать её откровенно и честно не на трибуне, а только с теми, кого я и вправду любил и кому доверял. Я ощущал себя казахом. Моё казахское дело, кого мне любить, кого не любить, что на сердце легло и чем душа может успокоиться... Я был уверен в своей правоте и знал, как мне жить.

Я вставлял свои «три копейки» в диалог и воспоминания моих самых близких людей — дедушки и бабушки. Я был горд собой, я был уверен, что они-то как раз и поддержат меня, такого верного последователя казахских традиций и обычаев, такого умного городского внука. Именно они оценят и разделят мои взгляды. А они, только что спорившие между собой и приводящие друг другу весомые аргументы, дуэтом шли на меня! Они были беспощадны ко мне. Особенно мой дед Кабиден. Нервничая, он начинал переставлять на дастархане пиалы, перекладывать туда-сюда баурсаки, сахар рафинад, масло... Он не замечал этого, потому что в это время хотел собраться с мыслями и дать достойную отповедь городскому молокососу-внуку, который, хоть и любимый, но судить-то горазд, ничего лихого не изведавши.

«Ты кто такой? — часто моргая, вопрошал меня дед. — Ты стригунок, тебя от мамкиного вымени недавно оторвали. И ты всё хаешь! Хаешь то, что тебе даром досталось! А тебе ведь сравнить не с чем. Откуда у тебя такая злость? Ты учишься хорошему у всех понемногу. Ты разберись, много подумай. Революционеров хватает — с мудрецами не повезло!» — отойдя от привычной полусушительной, полуназидательной спокойной речи, воспалялся дед. А бабушка, в чьих глазах в моменты гнева или несогласия с кем-то или чем-то была видна глубокая тёмная зелень, говорила: «Ой-е-е, сынок. Всегда справедливо думай, не ищи, кого сделать виноватым. Взрослым станешь — в напарники себе бери толкового, вер-



ного. Не обязательно родного. Часто родство делу помеха. И не торопись, не скачи. Моя двоюродная сестра всё делала бегом, торопилась как козочка, скакала там, где надо шагом. А когда была на сносях, поскользнулась на застывшей воде, которую я пролила, неся из колодца, и скинула дитя. И потом всю жизнь меня ненавидела: это, мол, я, зеленоглазая ведьма Мурсея, специально сделала. А я ведь сестру свою любила как свою жизнь. И мужа её вылечила, когда он уже кровью кашлял. Всё она забыла тогда, неблагодарная. Да я не держу обиды на неё: злопамятных Аллах не прощает».

Так окончился один из наших вечерних чаёв в ауле.

Бабушка велела нам с дедом готовиться ко сну, а сама убрала со стола, что-то переложила в чистую посуду и накрыла другой посудой, что-то перемыла, не оставляя на утро. К описываемому времени у них в ауле уже были газовые плиты и баллоны. Бабушка грела воду, перемывала посуду, чтобы с восходом солнца радовал глаз чистый белый дастархан с чистой посудой на нём, и чтобы мы с дедом Кабиденом, двое мужчин в доме, попив душистого чаю, приступали в хорошем настроении каждый к своим обязанностям.

* * *

Чтобы у вас не создалось неправильного впечатления, скажу: деда я тоже очень любил.

И гордился им. Дед участвовал в войне, был рядовым стрелковой роты, имел боевую медаль «За оборону Ленинграда». Но его тяжело ранило в 1942 году, и война для него закончилась как для солдата. Потом ему уже в мирное время давали медали. Каждый год 9 Мая его поздравляли в райкоме партии, сельсовете, вручали бесплатные путевки для поправки здоровья в санатории (чаще всего в Сары-Агач), выдавали подарки и денежные премии, возили на телевизионную съёмку, где дед говорил слова, написанные специально для него устроителями съёмки, и хлопал в ладоши, создавая «нужные аплодисменты» в телестудии. Дед ведь, когда волнуется, перемежает казахскую и русскую речь, путает падежи. В отличие от моей зеленоглазой бабушки, которая, если что, может так свернуть солёное русское словечко, что все падают!

Вот по логике я к деду вроде бы больше должен был тянуться, чем к бабушке. Но дед меньше притягивал меня. Да, я сознавал,



что дед — человек замечательный, но в нём мне всё было понятно. Я его очень уважал и хвастался городским друзьям своим дедом. Но бабушка для меня была главной. Трудно это объяснить. Её независимость, её вечная готовность взять на себя ответственность за всех и за всё, её непоколебимые знания простых, но забытых жизненно важных вещей, которые всегда были уместны в каждой житейской ситуации и для каждого, кто в них нуждался... Её отвага орлицы защитить своим крылом родное гнездо. Её особая, не похожая ни на чью другую из окружавших меня людей справедливость в отношении к каждому и уверенная правота... Всё это закрепило в моём сердце и душе идеал, которым была бабушка. Нет, идеал — чужое, не казахское слово, и смысл у него чужой, не тот, что я хочу выразить, говоря о своём отношении к бабушке.

Я знал с раннего детства, что ни мой дед, ни мой отец, ни моя мать — не самые «главные» в семье. Главная — это бабушка. Как, почему пришло такое понимание — объяснить не могу. Но, думаю, и они все про бабушку так же понимали.

* * *

Так случилось, что я был единственным ребёнком у моих родителей. До меня, рассказывали мне близкие, были сестра и брат, но оба умерли в раннем возрасте от воспаления лёгких. Потом родился я, а после меня у мамы не было детей, хотя и она, и отец их очень хотели. Может, потому они меня и отправили в аул по настоянию бабушки, где чистый воздух, большой простор, свежее молоко, речка, чтобы я рос крепким?.. Не знаю. Но то, что я жил там с раннего детства, помогло мне усвоить как лучшую пищу песни наших аульных домбристов, застольное красноречие импровизаторов простого происхождения, бабушкину особую речь, остроумные присловия в процессе деления варёной бараньей головы между почётными гостями... И добрый тон семейных взаимоотношений моих ажешки и аташки, и простой уклад жизни терпеливых, не обеспокоенных ни карьерой, ни накоплением богатства хороших людей. Это питало и питает сейчас мои помыслы, поступки, мои отношения с разными людьми, которые встречаются мне в жизни.

Нисколько не умаляя авторитета деда, я всё же вынужден признать, что он купался в бабушкиной неутомимой заботе, её пре-



данности, неиссякаемом трудолюбии и жизненной энергии. Это она была полководцем. Дед был солдатом.

* * *

...В то лето я сдал экзамены в престижный Институт народного хозяйства на планово-экономический факультет. Не стал дожидаться результатов, решил съездить к своим старикам в аул. Дома меня собрали как короля — рук едва хватало, чтобы нести сумки с гостинцами: это ведь для всего аула праздник.

Сердце сжалось, когда я увидел, как сдала бабушка. Она согнулась почти пополам. Страдальческое от постоянных ревматических болей выражение лица уже было не скрыть. Ноги у неё были отёкшие, «толстые», и хотя она пыталась быстро и расторопно двигаться, я видел, как трудно ей это даётся. Приходили и уходили наши аулчане, пили чай, угощались бешбармаком, приготовленным в мою честь. Лакомились городскими гостинцами: халвой, козинаками, курагой, орехами, изюмом, тортами, шоколадными конфетами, а кто хотел (таких было совсем мало) — растворимым индийским кофе.

Вечером я привёз воду на нашей старенькой тележке — для питья, для чая, для приготовления еды. Потом достал воду из нашего колодца и, подсвечивая себе фонариком, полил ею бабушкины грядки. Напитанная водой глинистая земля становилась мягкой, и мои ноги оставляли в ней глубокие следы.

Совсем поздно, когда управились со скотиной, сели, как всегда, за вечерний чай. Дед был задумчив, мало шутил, молча поиграл на домбре. Бабушка, кряхтя, натирала свои распухшие колени каким-то сильно пахнущим снадобьем, которое сама же и изготовила.

«Жаным, — вдруг сказала она, — ты армии боишься?» Немного растерявшись, я сказал: «Нет, аже. Главное — я в институт, наверное, пройду. Оттуда в армию не забирают».

«Э-э-э, — недовольно протянул дед. — Какие-то вы все сейчас безответственные. Хотите, чтоб был мир, детей хотите, хотите начальниками работать. А кто вас защитит, чтобы это всё получилось? Хорошую жизнь надо защищать. Я уже старый, плохой из меня защитник. Вы сами должны».

Я усмехнулся. Про себя подумал: да что доказывать, вы жили — было одно время, мы живем — у нас другое время.

Через неделю я уехал.

* * *

В институт меня не приняли — не добрал баллы. В сентябре я попал в осенний призыв. Всё это произошло быстро, неожиданно для меня: я-то был уверен, что поступлю (хотя готовился-то, если честно, спустя рукава). А тут ещё мой отец сломал ногу, ходил в гипсе, с костылем. Мама совсем измучилась: работа, дом, уход за отцом, мои проводы... Думали, что успеем съездить в аул к своим, но не получилось.

На службу в часть меня отправляли вместе с тремя алма-атинцами. Дважды откладывался авиарейс, и мы с родителями с аэровокзала тащились домой. В конце концов и мама с папой, и я устали настолько, что все обрадовались моему состоявшемуся вылету.

Служить я попал в Московскую область, в войска космической связи. Пока летел в самолете, думал — как только приеду в часть, сразу напишу старикам большое письмо.

Ну, так, как планируешь, редко ведь бывает. Прибыл в часть, обалдевший от всего — перелёта, новой обстановки, обрушившихся сразу же армейских команд, устава... Пока осмотрелся, пока познакомился с земляками из Казахстана, свылся с мыслью, что казарма — это на целых два года... И тут вызвал меня командир части. Сердце у меня бешено стучало, пока шёл к нему: почему это вдруг именно я ему понадобился?

Он вручил мне телеграмму о смерти бабушки...

Мне дали отпуск на неделю.

Плакать не мог. Выскочил от командира, бил кулаками о бетонную стену, которая была сделана «под шубу» — такая крупная галька, выступающая из бетона. Кулаки были в лохмотьях кожи с кровью.

* * *

В аул приехал в день похорон. Мои родители были там уже накануне, приехали близкие и дальние родственники, сослуживцы отца и матери, мои городские друзья и подруги, люди из военкомата и общества ветеранов, поддержать моего деда. Собрались все аулчане — бабушку все уважали, всем она помогала, чем могла: кого лечила, кого учила вязать и шить, кого — делать из кошмы красивые цветные ковры. Ни с кем никогда не поссорилась, нико-



го не оговорила... Мулла отчитал положенные молитвы в доме. Хотели было везти бабушку на кладбище в открытой бортовой грузовой машине, устеленной коврами, но мы — трое моих двоюродных братьев и я — решили нести её сами.

Стояла жара, струйки воздуха поднимались от парящей степи чуть приметными извилистыми червячками. До кладбища было километра три. Мы несли бабушку вчетвером. Её легонькое тело, такое подвижное и гибкое при жизни, покойно лежало на носилках. Мы думали каждый о своём, но, наверное, никто из нас не считал про себя, сколько там ещё осталось идти по горячей пыли аульной дороги к последнему приюту бабушки. Мулла ехал за нами в «Жигулях», часто останавливаясь. С ним посадили моего дедушку, безучастного ко всему, враз похудевшего, усохшего. Перед этим медсестра несколько раз делала ему уколы. Мужчины — аулчане и родственники — шли пешком. Белые, как снег, редкие облака были неподвижны в синем воздухе. Они не мешали солнцу. Облака были похожи на платок моей бабушки.

* * *

До поздней ночи во дворе нашего саманного домика толпились люди, дымилась печь, варилось в казанах мясо. Во дворе на столах, сколоченных наскоро, стояла разная еда, люди тихо разговаривали о сложностях жизни и общих знакомых, вспоминали какие-то случаи, связанные с моей бабушкой. Мама моя и её золовки валились с ног от усталости. Дед ни в какую не соглашался прилечь. Молча сидел в накиннутом тёплом чапане, то задрёмывал, то вздрагивал и просыпался. Мама и родственники уговаривали его хоть немного поесть, но он соглашался только выпить чаю. Сникший, враз осевший, он вызывал у меня отчаянную жалость. Я всё понимал. Я знал: он не захочет жить без своей Мурсели, ему без неё ничего не нужно.

Я сидел возле него. Мне нечем было его утешить.

Вдруг дед досадливым жестом отодвинул заботившихся о нём женщин и едва слышно сказал мне: «Пойдём со мной, Мади». Я, полуоглохший от перелёта, от дороги из Алма-Аты в аул, от горя, не сразу понял его. Женщины всколыхнулись возле деда, уговаривая его пойти в дом и лечь. Он снова решительно отодвинул их и повторил: «Пойдём, Мади».



Я обнял деда, помогая ему встать. «Возьми фонарик», — сказал дед. Я не смел ослушаться, побежал в дом, вынес фонарик. Дед, поддерживаемый мной, направился в сторону огорода, приостановился и тихо сказал: «Пусть они все здесь остаются, — имея в виду встревоженных его поведением родственников. — Это наше с тобой мужское дело». Я обернулся и передал его слова.

Мы медленно шли в огород, зачем — я не смел спросить об этом деда. Я подумал, что дед очень устал, наверное, хочет побыть один, ну, со мной — ведь я через несколько дней уеду в часть.

Фонарик был мощный, шахтёрский. Дед уверенно шёл, поддерживаемый мною, и вдруг остановился, оглядел место, словно ища что-то взглядом, и сказал: «Вот, пришли». Шагах в трёх от нас лежал перевернутый вверх дном старый эмалированный таз. По краям он был обложен камешками и чуть присыпан глинистой землей. «Подними его, Мади», — тихо сказал дедушка. Я убрал камни, поднял таз. Под ним были глубокие, чуть потрескавшиеся мои следы — те, что остались больше месяца назад, когда я в последний раз поливал бабушкин огород. «Она любила тебя больше, чем меня», — по-детски обиженно сказал дед, и губы его затряслись. Меня подбрасывало, как в лихорадке, сердце моё разрывалось. Я прижал деда к себе, и мы оба плакали в голос.

* * *

Я знал, что в тот день у меня прибавился ещё один аруах — там, в неведомом мире. И он не оставит меня своей мудростью и заботой, мой надёжный, самый любимый, лепивший мою душу и характер аруах.

ДИДАХМЕТ АШИМХАНУЛЫ

БАБУШКИН САМОВАР

Прошло уже более двух месяцев, как маленькую Айжан родители привезли из аула. За это время впору растаять льду отчуждения у чужого ребёнка, не говоря уже о родном чаде, однако, несмотря на отчаянные попытки родителей, приговаривающих ласково «айналайын», «жеребёночек наш», маленькое сердечко упрямой девчурки оставалось неприступным. За эти два последних месяца неузнаваемо изменилась и жизнь дома. Если раньше каждый довольствовался парой бутербродов и чашкой чая, то теперь завтрак становился неразрешимой подчас проблемой: выросшая в далёком ауле девочка привыкла к свежему молоку, так что — хочешь не хочешь — вставай спозаранку и бегай по магазинам, пока его не раздобудешь. Эту заботу взял на себя Тельжан, но и Гульсан не знала покоя. Едва открыв глаза, она с самого раннего утра начинала метаться по квартире: умывает, одевает, обувает ребёнка и всё не перестаёт нервничать, выходить из себя, пока не появится у порога муж с молоком. Затем, на скорую руку приготовив завтрак, берёт дочку за руку и мчится как угорелая на работу.

Вечером повторяется та же картина, правда, в обратном порядке: таща за собой притихшее, бессловесное дитя, она успевает обойти по дороге магазины и, нагрузив хозяйственную сумку продуктами так, что подгибаются колени, приходит домой.

— О господи, что ты за человек, ни детсада выбить не можешь, ни няньки хотя бы нанять, сколько же придётся мне мучиться?! — взрывается она порой, не сдержавшись. Причина всех бед в таких ситуациях — Тельжан. — Всё это из-за твоей прихоти, ты же, а не кто иной, настоял отдать крохотного ребёнка на воспитание матери. А теперь вот расхлёбывай кашу.

В подобные минуты Тельжан бессловесен. И молчит он потому, что прекрасно понимает причины расстройства Гульсан. Срывается она вовсе не потому, что устала ждать растянувшейся оче-

реди на детсад — в конце концов, это проблема нескольких месяцев, только терпение нужно. Её мучает и терзает другое — родное чадо до сих пор не желает признать её за мать, более того — с каждым днём пуще чурается её. Чувства жены знакомы и Тельжану, так как и его душу грызёт та же беспокойная мысль. Поначалу они успокаивали себя, думали, мол, так и должно быть: ведь ребёнок на новом месте, вот пообвыкнет, обживётся, а там, глядишь, и... Только что-то не видно, что Айжан начинает привыкать, откликаться на ласковые обращения родителей. Прошло немало времени, а всё встречает их настороженным взглядом, хмурая, постоянно чем-то озабоченная. Да и редко увидишь, чтобы она отвлекалась, играла бы или ходила по комнатам. И за столом не добиться у неё слова, нехотя отщипнёт хлеба, ткнёт для виду пару раз вилкой в тарелку и так же молча, не поднимая опущенного взора, тихо выскользывает из-за стола и готова целый день в одиночестве просидеть, не шелохнувшись, на диване в гостиной. И, что удивительно, слова не дождёшься от неё, спросишь о чём-нибудь — ответит, попросишь пересесть — молча исполнит. По утрам Тельжан довольно часто замечал у неё странно покрасневшие глазки. Видимо, по ночам, оставаясь наедине с собой, она втихомолку плачет. И вот на днях ему довелось стать свидетелем, как она тихонько плачет.

В тот вечер он немного задержался на работе, едва ступил на порог, как услышал голос плачущей дочери. Второпях, еле сбросив обувь, вбежал в гостиную. Там на диване ничком лежала Айжан и тихо всхлипывала, сотрясаясь время от времени маленькими плечиками.

— Что случилось, солнышко моё? Кто это обидел тебя? — спросил он растерянно и погладил девочку по голове. Но Айжан с обидой оттолкнула его руку и, хлюпая маленьким носиком, заревела ещё сильнее.

Растерянный, впервые он почувствовал свою беспомощность перед родным дитя. Хотел было успокоить — совершенно не перестает, съёжилась в комочек, даже дотронуться не позволяет. Да и Гульсан как назло запропастилась куда-то. Обежал комнаты, но, не найдя жены, вынужден был беспомощно кружить вокруг дивана, словно бабочка, обезумевшая от яркого огня. Самое ужасное — он даже не знал, из-за чего плачет Айжан. Вскрозь тихие



всхлипы ему удалось услышать единственное слово — «расчёска!», а затем и «моя расчёска?» Соображая, что бы это значило, Тельжан в растерянности остановился посреди комнаты, но в этот миг хлопнула входная дверь и в комнату торопливо, с испуганным видом, вошла Гульсан.

— Это ты её обидела? — спросил он её с порога. — Почему она плачет?

Но жена молча прошла мимо него и, вытащив из раскрытой сумочки новенькую зелёную расчёску, торопливо сунула её в руку плачущей дочери.

— Роденькая моя, и стоило из-за этого плакать, вот тебе и расчёска... Новая расчёска... Только что купила, посмотри. Только перестань плакать, ты же ведь у нас умница.

Айжан на мгновение успокоилась, внимательно рассмотрела расчёску, затем резко отодвинула её от себя.

— Моя расчёска... — вдруг начала снова повторять она всхлипывая. — У меня она чёрная!

И только тут дошло до Тельжана. Он вспомнил: действительно, у дочери была старая чёрная расчёска, привезённая ею из далёкого аула. Одно лишь название, что расчёска. Выточенная некогда из воловьего рога, она была совершенно иссохшая, с выщербленными зубьями. Хорошо помнит, как она пуце глаза берегла её, не выпуская из рук. И, что странно, Айжан почти не расчёсывалась ею; время от времени, словно бы вспомнив о чём-то важном, она торопливо подносила её к своему носику и с удовольствием вдыхала её запах. Хорошо помнит он и выражение лица Гульсан при этом. Она неизменно брезгливо морщилась. Выходит, ребёнок плачет из-за этой старенькой расчёски.

— Где она? — спросил он, поворачиваясь к жене. — Где её чёрная расчёска?

— Я её выбросила, — ответила, мрачней, Гульсан. — На работе перед людьми неудобно. На ней столько грязи, а она её в нос суёт.

— Найди её!.. Где хочешь найди, хоть из-под земли достань!

Ни разу не слышавшая подобных слов от мужа, Гульсан не на шутку испугалась. Она как тень выскользнула на улицу и вскоре, вернувшись, молча бросила на кресло рядом с мужем знакомую старую щербатую расчёску.



В ту ночь супруги впервые легли спать отдельно. В эту же ночь они впервые, кажется, почувствовали, как дорого для них это маленькое живое существо — их родное чадо. Зримо осознали, что оно для них значит...

Ощущая живое горячее тельце, нежное дыхание сопящей рядом дочери, он почувствовал, как его переполняет какое-то странное, доселе неизведанное чувство. Отчего это? Он и сам не понял. Осторожно дотронувшись, Тельжан понюхал зажатую в руке Айжан старую иссохшую роговую расчёску. Ему показалось, что почуял какой-то до странности родной и близкий с детства ему запах. И запах этот удивительно напоминал запах то ли айрана, то ли парного молока вперемешку с душистым ароматом свежескошенного сена. С удовольствием вдохнул ещё раз, боясь, что запах может разом исчезнуть. В горле почему-то запершило.

Стоило лишь оторваться от расчёски, как вдруг им овладел непонятный страх, появилось ощущение невозвратности того, чего не следовало бы терять. И это нечто, представляющееся ему очень важным и дорогим в его жизни, казалось утерянным безвозвратно. Но что же это было, чего же он лишился?.. Мучаясь в раздумьях и догадках, он не заметил, как заснул. А ночью — удивительно! — приснилась ему большая чёрная саба, которая неизменно стояла у порога их дома. Это была чудная саба. В ней никогда не кончался кумыс, даже если бы к ним пришли в гости целым аулом. Снилось, как мать наливает ему в большое кесе свежего кобыльего молока — саумала. Саумал — это ещё не кумыс, он нежнее, да и молоком отдаёт. Чтобы превратиться в настоящий кумыс, саумал должен отстояться в сабе, побродить. Поднёс было до краёв наполненное кесе к губам, как кто-то грубо выхватил его из рук, расплескав на одежду прохладный напиток: «Хватит! Остальное допьёшь в интернате!» — «Ну дайте ещё немного отпить, ну чуточку!» — захныкал он и проснулся. Его мучила страшная жажда. Глотнув пересохшим ртом, облизал сухие губы. Неподвижно лёжа в залитой голубоватым лунным светом комнате, в темноте он явно ощутил запах саумала. Настолько ясно, что защекотало в ноздрах. Ах, вот оно что! Чтобы увериться в своей догадке, он наклонился и понюхал волосы безмятежно сопящей рядом дочери. Запах исходил от них... Боясь разбудить спящую Айжан, Тельжан осто-

рожно слез с дивана и направился на кухню. Отвернул кран, тотчас ударила струя воды, обдавая резким запахом хлорки. То ли от этого запаха, то ли от холодной воды у него перехватило горло. Стряхнув с лица брызги, он поднял голову и увидел в дверях взлохмаченную Гульсан. По лицу было видно, что вчерашняя обида на мужа не прошла.

— Так вот! — сказала она после некоторого замешательства. — Если я мать, то ты отец ребёнка. Не мне одной мучиться. С завтрашнего дня твоя очередь, попробуй, поводи её с собой! — и, круто повернувшись, удалилась с кухни.

Что ж, может, это к лучшему. Утром они с дочерью вышли из дома очень рано. Девочка была неузнаваемо весела. Как ни странно, сегодня она улыбалась и смеялась, вела себя, как все дети, раскованно. Тельжан не мог нарадоваться, глядя на неё. А какая у неё чудесная улыбка! Отчего бы это?! Тому были причины.

В мастерской Тельжана давно уже стоял почти готовый портрет, который он подумывал выставить. Назывался он «Аже». Это был портрет бабушки Айжан, из рук которой он пил сегодня во сне кумыс из чёрной сабы. Едва они успели переступить порог мастерской, как взгляд дочери упал на этот портрет.

— Бабушка! — закричала она, остановившисьavorоженно. — Моя бабушка! — Затем, подбежав к портрету, она, вся сияя, погладила его и повторила: — Бабушка! Это моя бабушка!

Какая красивая была она в своей неподдельной радости! Тельжан подхватил дочь под мышки и, подняв её, скорее инстинктивно понюхал её пахнущие саумалом чёрные как смоль волосы, поцеловал в лоб и опустил на пол.

— Да, — сказал он после некоторого молчания, растроганный. — Это действительно твоя бабушка. Только она сейчас далеко-далеко от нас с тобой. За высокими горами, ищет елика с золотыми рогами для тебя, доченька.

— Нет, нет, не елика, папа, — надула губки Айжан. — Она вовсе не елика ищет за высокими горами, а кийка с золотыми рожками. Она сама говорила мне об этом.

От неожиданности Тельжан даже прикусил язык. Как же так он смог забыть? Ведь тысячу же раз слышал в детстве эту самую сказку. Обидно, что маленькое его дитя ещё не знает, что не за высокими горами ходит её бабушка, а покоится в сырой земле под

маленьким холмиком, недалеко от родного аула. Наивный ребёнок, откуда ей знать, что бабушка её ушла на вечный поиск кийка с золотыми рожками.

После этого случая Айжан словно подменили. Наутро она проснулась раньше всех в доме, словно бы боясь опоздать на свидание со своей бабушкой. И, что удивительно, за завтраком доела всю кашу. И так каждый день.

После завтрака они вместе выходили из дома, садились на автобус и ехали на окраину города, в мастерскую. Спешку девочки можно было понять. Она торопилась на свидание к любимой бабушке. Целыми днями не отходила от портрета: то попросит отца установить его на подрамник, то, пыхтя, подтащит его к окну, то задумчиво умолкнет, вглядываясь в родные черты, то подолгу ведёт разговор со своей бабушкой. Иногда, когда ей становилось скучно, она заговаривала и с Тельжаном:

— Папа, а когда мы поедem в аул? — спрашивала она нетерпеливо.

— Осенью, — отвечал удивлённый вопросом отец.

— А когда эта осень наступит?

— Когда на деревьях пожелтеют листья.

Девочка непременно смотрела на растущие за окном высокие, в буйной зелени тополя и, догадываясь, что не скоро пожелтеют на них листья, умолкала и грустно вздыхала...

В такие минуты, радуясь, что дочь наконец-то заговорила, Тельжан с нетерпением ждал новых её вопросов. Порой им удавалось поговорить по душам, и подолгу. Казалось, что Айжан начинает привыкать к своим родителям, к новой обстановке. Но вскоре девочка снова заупрямилась.

Случилось это в воскресенье, когда всей семьёй они пили чай на кухне. Айжан, по обыкновению, отломил кусочек хлеба, но не стала есть, а как-то странно глядя на стоящий перед ней круглобкий чайник, вдруг неожиданно спросила:

— Папа, а когда мы будем пить чай из настоящего самовара?

Вопрос дочери застал Тельжана врасплох. Он даже дрогнул от неожиданности. В слове «самовар» ему попало что-то далёкое, знакомое с самого детства, родное, тёплое, напомнило ему отчий дом. Повернулся было к жене, чтобы поделиться с ней самым со-

кровенным, неожиданно разбуженным в нём дочерью, но, увидев недовольное лицо Гульсан, он зашнулся.

— А что, тебе не нравится чай из чайника? — спросила она, не скрывая своего раздражения.

— Из такого чайника чай не пьют, — вполне наивно отрезала Айжан. — В чайнике только греют воду, чтобы ходить... э-э... — зашнулась она.

— Что это ты мелешь? Где это ты видела? — испуганно взвизгнула Гульсан.

— У бабушки, в ауле... Бабушка сама говорила, если человек ходит во двор без чайника, он нечистоплотный — арам.

Тельжан не стерпел, проговорил в сердцах:

— Вот и услышала, чего желала, — и молча поднялся из-за стола.

Хотя и привели в замешательство обоих супругов слова маленькой Айжан, но к вечеру они забылись как-то, и всё снова пошло своим чередом. Однако девочка, как ни странно, помнила всё. На следующее утро, за завтраком, она снова, но уже с какой-то неприязнью, покосилась на чайник и спросила снова:

— Папа, ну когда мы будем пить чай из самовара?

— Доченька, ну чем хуже чайник самовара? Какая разница, в чём кипятить воду? — ответил ей Тельжан, еле сдерживая раздражение.

— Нет, пить чай из самовара лучше, настоящее удовольствие получаешь. А ещё бабушка говорила, что к самовару гости приходят, с гостями в дом — достаток и благополучие.

— Тельжан, пожалуйста, найди этот самый самовар. Достань хоть из-под земли. Может, и к нам гости зачастят, глядишь, веселее станем жить, — не без иронии сказала Гульсан.

В тот же день, обежав почти полгорода, Тельжан всё-таки достал злополучный самовар. Увидев отца, торжественно поставившего на стол новенький, сверкающий никелем самовар, Айжан от радости захлопала в ладошки. Однако это длилось недолго. Едва приоткрыв крышку самовара, девочка умолкла, удивлённо подняв глаза на отца.

— Папа, а где в нём труба, ну, где топят?

— Доченька, так ведь это же электрический самовар и воду в нём кипятят током, — сказал Тельжан и суетливо стал разматывать пёстрый шнур и вытирать пыль с самовара. — Сейчас мы сюда



зальём воду, подключим его. Вот увидишь, не пройдёт и пяти минут, как самовар закипит. А потом заварим и втроём будем пить душистый чай в своё удовольствие!

Как и было сказано, вскоре в самовар была залита вода, размотан шнур и включён в розетку. Довольный тем, что он сумел вроде бы успокоить дочь, Тельжан повернулся к Айжан. Девочка сидела с таким видом, будто её лишили самой последней надежды. Она с рыданием бросилась в объятия отца.

— Бабушка!.. Наш самовар!.. — всё твердила она сквозь плач.

В эту ночь в доме никто не мог сомкнуть глаз. Каждый думал о своём... Причиной тому был старый медный самовар бабушки Айжан.

* * *

Айжан и так не переставала думать о своей бабушке с первого дня переезда из аула в город. А сегодня о ней напомнил жёлтый старый самовар бабушки, из которого они не раз вместе пили чай. Стоит ей лишь закрыть глаза, как видит свою бабушку. Вот она, раскрыв объятия, бежит ей навстречу. Ей кажется, что бабушка тихо и ласково шепчет в ухо: «Ненаглядная моя, набегалась, умялась, поди, пойдём чаю попьёшь». От тёплого дыхания бабушки Айжан щекотно. Стоит ей вспомнить о чае, как ужасно хочется пить. Но она вытерпит, всё равно, как бы ни хотелось, больше не станет пить чай из этого кудцега пузатого чайника. Тоже мне чай! Вот у бабушки был чай так чай. Какое удовольствие! Пей сколько тебе захочется — никогда не напьёшься. Потому что чай из самовара всегда горячий и ароматный. Когда пила чай из бабушкиного самовара, у неё непременно потел носик, ей становилось жарко-жарко. Но самое главное — это рассказы бабушки за чаем. Бабушка не такая, как тётя Гульсан, которая сидит себе, словно истукан, только и знает, что чай вовремя разливать. Терпения не хватает. Бабушка — другое дело, она всегда разговаривала с ней, как со взрослой. «Эй, старая, о чём это ты говоришь с внучкой? Ей же ведь всего шесть лет, а тебе — шестьдесят шесть, интересно», — смеялся дедушка, порой вмешиваясь в их разговор.

— А с кем, как не с ней, разговаривать мне, кому, как не внучке, говорить? Поди, она только и осталась, остальные же разбрелись-разбежались по белу свету. Думаю, что разговоры мои не напрасны, может, что и останется в её душе, может, что и запомнится.

Ведь дитя же ещё несмышлёное, кто знает, кого ей доведётся слушать после нас, — задумчиво отвечала бабушка и, сняв трубу, заносила в дом, пыхтящий пузатый самовар.

Старый жёлтый самовар с торчащими в разные стороны лопухами-ушками и затейливым узорчатым краником всегда стоял по правую руку бабушки. Он не переставал шуметь, беспокойно жужжать, словно шмель, и дома. Порой он так начинал пыхтеть клубами пара, что, казалось, вот-вот затопает своими коротенькими ножками и сбросит дребезжащую крышку. Бабушка по привычке отворачивала краник и, добавив ложечку густого молока, начинала наливать в пиалу душистый чай. Ах, какое блаженство — пить чай из бабушкиного самовара!

— Настоящая наследница, ты посмотри, старушка, как она пьёт чай! — восклицал в такие мгновения дедушка с неподдельным удивлением на лице. — Вот кому мы оставим» самовар.

— Да, кто думал-гадал, что не найдёт наследника наш самовар, — горестно вздыхала в ответ бабушка. — Думала, вручу его в надёжные руки, кому-нибудь из невест порасторопнее, да, видать, не суждено сбыться моей надежде. Больно уж все современные, им по нутру всё новое, а самовар в тягость, тянутся туда, где полегче. На старое они носы морщат, не нравится им. В толк никак не возьмут, что настанет время, когда и старое пригодится. Да что это я говорю, сам же не раз видел, как невестка доит кобыл этим самым «апыратом». И название-то какое ужасное! Включит его, и сосут молоко до тех пор, пока не появится кровь. С коровами, бог с ними — они к этому как-то привыкли, а вот лошадь жалко. А я, глупая, им ещё сабу свою отдала. А на кой она им? Разве могут они оценить её по достоинству?! Выбросили, мол, за ненадобностью, а вместо сабы пользуются алюминиевыми кастрюлями. Да кто же будет пить кумыс, ежели он отдаёт железом? Спрашиваю: «Роденькие вы мои, что же это делаете? Да кто же так готовит священный напиток?» А они смеются надо мной, старой, отвечают, растолковывая, словно маленькому несмышлёному дитяти: «Бабуля, времена сабы прошли, рады бы пользоваться ею, но как же нам выполнять напёрстками план?!» Самовар боязно оставлять им. Ты думаешь, они сохранят его? Надейся на них!

Как бы ни вздыхала и ни охала, а самовар бабушка берегла, пуще глаза лелеяла. «Самовар — падишах любого дастархана», —

говорила она. Ежедневно драила его, вытирая сверкающую огнём медь чистой белой тряпочкой. Не раз гости дома удостоверались, видя отливающие золотом отчеканенные на пузатом боку самовара пять золотых медалей, какая честь выпала им — пить из легендарного самовара! Однако никто в доме, даже и бабушка, не знал, когда и по какому случаю он появился у них. Зато и бабушка, и даже маленькая Айжан знают, что таких медалей нет ни на одном самоваре в их ауле. Айжан уверена: самовар без медали — это плохой самовар. А из плохого самовара и чай никудышный. Может, потому и частенько приходили к ним в дом гости, чтобы попить чаю из самовара.

Действительно, что верно, то верно. Гостей в их доме всегда было полно. Они никогда не переводились. Живущие в ауле — приходили пешком, кто издалека — приезжали верхом, на лошади. Одни приезжали, другие уезжали, третьи даже ночевать оставались. И всех в этом доме привечали, будь то стар или млад. С утра и до позднего вечера порой приходилось пыхтеть во дворе жёлтому самовару бабушки. «Гость в доме — уважаемый человек. Гостю оказывают почёт, его гнать нельзя. Таков обычай наших предков», — говорила бабушка. Иногда разом съезжались дяди и тётки Айжан, чтобы проведать стариков. Они ещё с порога, бывало, кричали, что соскучились по бабушкиному чаю из жёлтого самовара.

— Пейте, родимые, пейте на здоровье, — всё приговаривала довольная и радостная бабушка, разливая в пиалы гостей душистый чай, в который она не забывала положить щепотку гвоздики для лучшего вкуса. — Вот не станет меня, кто вас напоит? Останетесь одни-одинёшеньки.

Выпив пару пиалок, разомлев от бабушкиного чая, гости заводили неторопливый разговор, шутили, смеялись. Как всегда, тему разговора держала в своих руках тётка Кульзипа. И в этом не было ничего странного, ведь она же была самой старшей из невесток. В пылу разговора она порой забывалась, иногда даже набрасывалась шутливо на саму бабушку:

— Уйду да уйду! Что это ты вдруг нас пугаешь, старая, — хохотала она, заражая смехом и остальных. — Посмотри, сколько народу останется после тебя — целый лес. И если не желаешь, чтобы он высох на корню от жажды, передавай без раздумий самовар прямо сейчас в мои руки.

— Ишь, ещё чего захотела! — осаживала её бабушка. — И не стыдно тебе такие речи заводить? Живёшь одна, бирюком, за целый день ведь никто не заглядывает в твой дом. А случись, кто переступит твой порог, так у тебя же волосы дыбом встают. Зачем, спрашивается, тебе большой самовар, он только обузой будет. Тебе, милая, хватит чая и из чайника.

— Ой, ладно уж, мама, даже пошутить с вами нельзя. И зачем поднимать шум из-за какой-то рухляди? — обычно примирительно говорила тётя Кульзипа. — Одного я всё не могу понять, почему это вы так вцепились в этот самовар?!

— Эх, красавица ненаглядная, тебе ли, не испытавшей холода и голода лихих годин, судить об этом, — распялялась бабушка. — Чего мы только не перевидали, не пережили за свой долгий век! А ведь были времена, благодарили этот старый самовар, что в нём не затухал огонь, а то бы и мы с вами угасли. Помню, покойная мать когда-то вынуждена была продать за горсточку пшеницы всё, что было в доме, однако самовара не тронула. К самовару приходят гости, а с гостями в дом приходит благополучие и достаток — говаривала моя мать. Слова мамы напомнили мне один случай.

...На дворе стояла весна. В доме у нас шаром покати, только и остались одни стены. Вся надежда была на возвращение из города отца, уехавшего в середине зимы. Мы, трое голодных детишек, только и сидели с утра до поздней ночи у порога, вглядываясь в дорогу, по которой должен был возвратиться отец. Поставив самовар, мать, тоже молча, присоединялась к нам. Все глаза проглядели. Время от времени мама не забывала и о самоваре, подбрасывая чурки. И делала она это не затем, чтобы приготовить чай, а чтоб самовар дымил как можно больше. Ведь дым виден издалека. Однажды мы увидели на дороге одинокую фигуру путника. У всех у нас была только одна мысль: кто бы ни был этот человек, только бы свернул в нашу сторону, только бы зашёл к нам!.. Почему-то я была уверена, что за пазухой у этого путника должна лежать горячая лепёшка, и если он не завернёт к нам, то будет очень обидно и больно. Человек, видимо, заметил дымок нашего самовара, остановился, немного постоял, опёршись грудью на свою палку, как бы раздумывая, как ему поступить, а затем уверенно зашагал в нашу сторону. Был он ужасно худым, весь почерневший, с окладистой бородой. Его запавшие глазницы со сверкающими, словно

из чёрных воронок, живыми глазами говорили только об одном — о голоде. Встретившись с ним взглядом, мать молча смахнула ладонью набежавшие слёзы и, поднявшись с места, пошла готовить ужин. Ужин состоял из двух рёбрышек да старых костей, хранившихся ещё с зимы. Всё это мать положила в казан. Пока варился ужин, гость не произнёс ни слова, всё продолжал сидеть молча, с потухшим взором. Лишь когда ему подали пиалу сорпы, он встрепенулся, на его запавших щеках заиграл слабый румянец. Затем, выпив пару пиалок чая, на самом деле кипятку, он молча поднялся и, опираясь на свою палку, ушёл. Ушёл, оставив нас без какой-либо надежды на завтрашний день. Отдавшая гостю последнее в доме, мать так и осталась сидеть неподвижно, странно уставясь на потухший самовар. На другой день у нас не было ни маковой росинки во рту. Казалось, что это конец... И когда мы уже вовсе потеряли всякую надежду и собрались спать, укрывшись старым полушубком, на пороге вдруг неожиданно появился человек. Спотыкаясь в темноте о порог, он шумно вошёл в дом и с грохотом опустил на пол что-то тяжелое. Это был тот самый путник, что заходил к нам. «Ах, сестричка, если бы у всех было такое сердце, как у вас... Ох, доброе у вас сердце... Да ставь же казан, сестричка», — бормотал он, словно потеряв рассудок. Затем со слезами на глазах он начал обнимать нас, детей, дрожащими руками, целовать в лоб. Оказывается, повезло нашему гостю, в степи ему попался пойманный в петлю елик, и, благодарный, он принёс его к нам...

Вот так, мои ненаглядные, всякое приходилось выдывать на своём веку этому самовару. Потом наступили хорошие времена. Под этим шаныраком мы читали как подобает наших предков, старших, не раз принимали и гостей — словом, немало было радости и веселья. Но, как говорят в народе, нет тулпара целого на все копыта, случались и печаль, и горе: провожали в мир иной родных и близких своих, дом оглашался плачем. Всё-таки счастливых мгновений было много, вот и невестки ступали в дом через этот порог. Отмечали появление внуков и внучек. И свидетель всему этому — старый самовар. Для меня это самая дорогая вещь на всём свете, потому что он слышал не раз голос моего деда, из него наливала чай своим гостям моя бабушка. Почему же мне не ценить её как священную реликвию? Сумеете обращаться с ним как подобает — он ещё немало послужит и вам!

— Но ведь времена-то самовара ушли. Каждому времени к лицу свои вещи, — не сдаётся тётя Кульзипа.

— Э-эх, наступят и такие времена, когда серебро потеряет свою ценность, — возможно, я не собираюсь оспаривать это. Немножко смеяться над старым, отжившим свой век. А то можно и не заметить, как со старым уйдёт то, что может не прийти с новым. К чему я это говорю, дети мои? Чтобы вы научились отличать хорошее от плохого, прежде чем разбираться, что новое, а что старое. Вот чего бы я хотела пожелать вам! — закончила свой рассказ-притчу бабушка и, словно благословляя нас, выразительно провела ладонями по лицу. — И, пожалуйста, не подумайте, что я поучаю вас. Я же ведь не ворона какая-нибудь, чтобы триста лет жить. Настанет время — и мне придётся уйти на покой в мир иной. Человек на старости что дитя несмышлёное, он становится не в меру болтлив, так и я. Так что, если не то сказала, не обессудьте, — добавила бабушка.

Айжан особенно нравилось, когда бабушка брала её за руки и говорила: «Идём». Потому что, стоит только сказать бабушке эти волшебные слова, как они садились в маленький синий автобус, который один раз в день останавливался в их ауле. Айжан с бабушкой ехали в гости к родственникам. В гостях хорошо, а ещё лучше, когда уезжаешь домой, — родственники дарят тебе подарки. Кто платье подарит, а кто игрушки. А сколько всяких конфет в красивой обёртке! Просто глаза разбегаются. Да что там говорить! Ездить с бабушкой в гости — одна благодать. Но вот беда, почему-то бабушка в последний раз ушла, даже не предупредив её. Папа говорит, что она ушла искать ей елика с золотыми рожками. Так тоскливо становится у неё на душе, когда Айжан вспоминает свой последний разговор с бабушкой. Это было всего лишь за несколько дней до того, как бабушка ушла за высокие гор искать ей елика.

Они сидели за аулом, на зелёном холме. Над головой стояло синее-синее небо. В сизовой дымке были видны крыши домов, расположенных в низине. Издалека доносился шум реки. В руках у бабушки было веретено и комок белоснежного козьего пуха. Айжан сидела тут же рядом, чистила пух от грубых волосинок, а бабушка пряла. Невдалеке, на склоне холма, паслась их любимая белая коза, которую они с бабушкой каждое утро выгоняют с ранней весны пастись здесь.

— Апырай, неужели и в этом году не приедет? Нет, нет, должен приехать! Обязательно приедет!

— О ком это ты, бабушка?

— Да о твоём же отце, жеребёночек мой ненаглядный! — грустно говорила она.

Айжан знает, её отец — это дядя Тельжан. Удивительный человек бабушка, раньше она все ругала дядю Тельжана, все говорила, что он растяпа, размазня и слабовольный человек, а теперь почему-то вспоминает о нём каждый день и ждёт его с нетерпением, никак не дожждётся. Маленькой Айжан становится как-то не по себе, когда бабушка говорит про дядю Тельжана — «твой отец», «твой папа». И видела-то она этого «папу» всего лишь два: первый раз он приехал зимой, один. Всё куда-то спешил. Переночевал у них и утром уехал на синем автобусе в свой далёкий город. Во второй приезд он уже был не один, а с какой-то тётёй Гульсан. Она хорошо помнит: это было в позапрошлом году — гостили у них с бабушкой целую неделю. Весь день гости ворковали возле Айжан и положили её вечером спать возле себя. Согласиться-то она согласилась, но среди ночи проснулась, расплакалась и стала искать свою бабушку.

— Эх, старая, напрасно я взяла тебя... Напрасно, напрасно, выходит... — вдруг начала бормотать бабушка.

С кем же она разговаривает? Айжан обернулась — кроме них, на холме не было ни единой живой души.

— Бабушка, это вы о ком? Обо мне, да?

Но бабушка молча продолжала крутить своё веретено, словно бы и не слышала недоумённого вопроса своей внучки. Затем снова начала вслух разговаривать сама с собой:

— Несчастное дитя, что же будет с тобой, когда закроются мои глаза? Как же признаешь мать и отца родными? Ведь толком-то и ласки родительской не знала.

Видать, твой удел — страдать до тех пор, пока всё сама не поймёшь сердцем. Бедный ребёнок...

— Бабушка, о ком это ты жалеешь? — теряясь в догадках, маленькая Айжан крепко обняла бабушку.

— Да это я так, моя ненаглядная, просто так... Вспомнила ненароком о твоём отце... Ой, какая ты лохматая! Иди ко мне, верблюжонок ты мой, заплету-ка волосы я тебе, — сказала задумчиво

бабушка и, усадив её на колени, неторопливо расплела распутившиеся косички, начала расчёсывать волосы старой роговой расчёской. Она уже не помнит, сколько времени длилось это приятное для неё занятие, как вдруг почувствовала — рука бабушки остановилась и расчёска в мгновение скользнула вниз.

— Что случилось, бабушка? — обернулась в испуге Айжан и увидела, что бабушке плохо. Она сидела, опёршись о землю, а другая её рука покоилась на груди, на её лице блуждала какая-то странная, виноватая улыбка. Вскоре, переведя дух, она слабо покачала головой, словно бы успокаивая внучку: мол, не пугайся, пройдёт, только дай отдышусь немного.

Не бойся, внученька, это просто даёт знать о себе моё старое сердце, — проговорила она, глубоко вздохнув. — Семьдесят пять бедняге, вот и умаялось, видимо. Тоже состарилось, порой так начинает стучать, что, кажется, вот-вот выскочит из груди. Наверное, неспроста, скоро уже... Пора, пора, видимо, в дальний путь собираться...

— Это куда же, бабушка?

Раньше бабушка как бы не замечала этого вопроса, но на этот раз она легонько положила свои руки на плечики Айжан и ласково притянула к себе.

— Помнишь?.. Помнишь сказку о кийке с золотыми рогами?

— Да, бабушка, помню.

— Так вот, рано или поздно я, наверное, пойду искать для тебя этого кийка. Из города приедут твои папа и мама. Привезут тебе гостинцев: много-много конфет. Ты, пожалуйста, только не плачь и не ищи меня, хорошо, внученька?

— Не нужно мне никого, кроме тебя, и конфет не надо никаких!.. — заплакала в испуге Айжан, и бабушка, виновато улыбаясь, обняла и крепко прижала её, маленькую, к своей груди.

На следующее утро Айжан проснулась от шума и гама... С улицы доносились чьи-то голоса, в доме хлопали беспрестанно двери... Откуда-то доносился женский плач... Спрыгнула было в испуге с постели и побежала к выходу, чтобы узнать, что же это случилось, как на бегу её подхватили чьи-то сильные руки. Незнакомец только и успел сказать: «Ребёнка, ребёнка унесите!» — как в дверях появилась их соседка — маленькая толстая тётенька, которая увела её на улицу... Последнее, что она успела увидеть из-за

широкого подола соседки, — это их жёлтый самовар, валявшийся на боку возле самого порога дома.

...В окне, сверкая, словно начищенный бабушкин самовар, появился круглый месяц. Не спится Айжан. Уткнувшись в мокрую подушку, она лежит с открытыми глазами возле отца. Не спит, как жетса, и он. А его какие мысли одолевают?..

«Чему быть — того не миновать», — гласит народная мудрость. Не зря тву сказано. Но кто же думал-гадал, что мать их покинет именно этим летом? А ведь и не болела, да и никто не припомнит, чтобы она жаловалась на здоровье.

Всё он помнит, до сих пор стоит перед глазами эта картина... Когда они с женой наконец-то добрались до родного аула, дом был погружён в траур. Обе маленькие комнаты были полны народу: сидели старики-аксакалы, были здесь и пожилые — карасакалы, женщины и молодёжь стояли. Когда они появились в дверях, тесноту многолюдья словно рассекло невидимой камчой — в толпе образовался узкий коридор. Сидевший на почётном месте в окружении аксакалов отец Тельжана тяжело встал и, уткнувшись ему в грудь, сурово, по-мужски заплакал. Выплакавшись, он кивком усадил сына подле себя.

— Не исполнил Всевышний моей просьбы, — сказал старик после некоторого затишья, не замечая своих слёз, стекавших по седой бороде. — Только об одном и просил я Создателя, чтобы не оставлял меня одного на склоне лет. Но не вял он моим молитвам. Бедная моя головушка, вот и остался один-одинёшенек. Сорок лет прожили бок о бок со старухой, ни разу не называла меня по имени. А теперь вот ушла навеки...

Люди тяжело вздохнули. Заплакала Кульзипа, сидящая в конце дастархана возле жёлтого самовара. Затуманились глаза и у Тельжана. Частенько говорила мать: «Когда золото на руках — его не ценят». Прислушивался ли кто к словам матери в то время, вдумывался, какую мудрость они несут в себе? А какая мудрая была сама мать! Ведь каждый её поступок, каждый шаг был наполнен глубоким смыслом. Даже одно то, что она обращалась к мужу не по имени, а звала его ласково то «старик», то «отец Тельжана», было неподдельным, искренним уважением её к отцу. Но только этим ли одним отличалась от других его мать? Разве кто видел её с непокрытой головой? Да и гость не покидал порога

их дома с тяжёлым сердцем! Разве повышала она когда-либо свой голос, проходя возле дома в трауре... Да, достойную жизнь прожила его мать! Только вот для одних это старые обычаи, а для других — воспоминания, щемящие до боли сердце.

— Смерть — это тяжёлое горе, но у каждого своя печаль, сынок, — прервал тяжкую тишину сидящий рядом с отцом Тельжана аксакал Нургали. — Случается, что погибает и юность в расцвете сил, так и не познав радостей и тяжестей жизни. Это, конечно, обидно до боли. Но в том, что человек отживает отмеренную ему жизнь, обиды нет. Таковы законы жизни и смерти. Но смерть не только уносит родного человека, но и приносит с собой горе и печаль. Что поделаешь, так уж суждено, видимо, нам, грешным. Поплачем, погорюем, но мёртвых не возратить. И всё же не так уж горестен уход расцветшего дерева, успевшего принести плоды, как и человека, достойно прошедшего свой жизненный путь. С лёгким сердцем покинула твоя мать этот бранный мир. Как-никак сама свидетелем была, как сыновья встали на ноги, обрели свой дом, а дочери улетели в свои гнёзда. Успела она поняичить и внуков с внучатами. Вот так-то, сын мой! Не печалься. Так уж суждено, Всевышний забирает людей, а хорошие дела их и память о них остаются навечно с нами. Достойную жизнь прожила мать твоя. А потому и пользовалась любовью, почтением людей. Все здесь в ауле от мала до велика обращались к ней уважительно «апа». А раз так, то пусть доброе, что осталось после неё, будет в радость людям...

— Правильные слова говорит аксакал... — послушались возгласы.

— Пусть сбудутся твои помыслы, сынок... Кульзипа принялась разливать чай, и вскоре по кругу пошли пиалы. С шумом отхлебнув чаю из очередной пиалы, Нуреке продолжил:

— Апырай, кто бы мог подумать, что за какие-то полчаса человек может закрыть глаза навеки. Как раз в тот день я спозаранку собрался искать свою серую кобылу. Поднялся было на холм, что за аулом — гляжу, сидит старуха. Пригляделся — а это она, моя сверстница, хозяйка этого очага. «Эй, что это ты так рано взобралась на высокий холм? Небось своего старого ждёшь не дождёшь-ся, больно уж на дорогу посматриваешь?» — говорю ей шутя.

«Да что там, старик! Пропажу ищу... Всё жду сына своего из города и овцу откармливаю для этого случая. А она, бестолковая,



словно нарочно сегодня с утра запропастилась куда-то. — И так трудно, с передышками. — Состарились, видать, мы с тобой, Нуреке. С каждым днём тяжелее становится осиливать этот холм. Вот и сейчас никак не приду в себя, сердце чуть не вырвалось из груди, пока поднялась сюда». Не прошло и получаса, возвращаюсь назад верхом — вижу: она всё на том же месте, только вот лежит как-то беспомощно, сердешная, да рукой всё за грудь держится. Бледная, лица нет на ней. Не помню, как уж и сполз с коня, подбегаю к ней, а она только и успела пошевелить губами: «Старика... Позови...» Только и всего. Вот она какая, жизнь-то...

— И просьбы своей последней так и не успела высказать, эх, апа... — сказала Кульзипа, утирая слёзы кончиком съехавшего на затылок чёрного платка.

В доме воцарилась мёртвая тишина.

— Видно, догадывалась, что смерть близка, — нарушил молчание отец. — Да, была у неё последняя просьба: похоронить на кладбище, что на вершине Каратумсука, рядом с предками нашими.

— Это дело нетрудное, — сказал аксакал Нургали, поглаживая седую бороду. — Кстати, и начальник сидит среди нас. Разве расстояние — эти пять вёрст, если он даст нам машину?.. Верно я говорю, Султан?

Тельжан исподлобья украдкой посмотрел на рябого, располневшего не по годам джигита, оказавшегося почему-то на самом почётном месте среди аксакалов. Когда-то они с этим Султаном учились вместе. А теперь его и узнать-то трудно, так растолстел безобразно, что стал смахивать на торсык, набитый маслом.

— Значит, Каратумсук? — многозначительно переспросил Султан, нахмутив брови. Лоб его прорезала глубокая складка. — Каратумсук... Гм-м... На машине туда трудно будет добираться.

— Не машина, так трактор, может быть? Подцепим сзади тележку. Делов-то...

— Так-с, завтра рабочий день... Да, сложную задачу задали вы мне, однако.

— Э-э, милый, догадываюсь, о чём это ты вдруг задумался, — прервал его размышления вслух Нуреке. — По твоему разумению — зачем тащить старуху на гору, когда можно похоронить её на кладбище, что рядом с селом. Конечно, с одной стороны, ты

прав — ведь мёртвому всё равно, где лежать, везде одна и та же земля, но не забывай, что мы дети народа, который испокон веков умеет чтить умерших своих, уважать мать, прислушиваться к старшим. И покойная, да будет земля ей пухом, была одной из тех, кто свято чтит и хранит обычаи предков. Поэтому просьбу её последней мы, оставшиеся в живых, должны обязательно исполнить. Это не религиозный обряд, так что не бойся, это уважение памяти умершего, его потомков. Это наш святой долг.

— И что же вы хотите от меня?

— Дай нам трактор с тележкой завтра к полудню да джигитов двух-трёх выдели — копать могилу. Только и всего, милый.

— Ладно, посмотрим, утро вечера мудренее, — буркнул Султан.

Пока закончили с мясом, прочли молитву и убрали дастархан, успели ступить сумерки. Остались лишь близкие родственники, да стариков-аксакалов пять-шесть. В правом углу, за красной шёлковой занавеской, — тело покойной матери. Чуть поодаль, поудобнее расположившись, старики повели неспешный разговор. В доме тихо, лишь временами потрескивает керосиновая лампа на печке. Разговор аксакалов печален и тих, как эта тёмная ночь: о старости, немощи, болезнях, о смерти и о том, что молодые забывают обычаи предков. Все почтительно слушают Нуреке. Аксакал, помянув ещё раз о печальном событии, достигшем этот очаг, почему-то неожиданно завёл разговор о далёком прошлом, о тех временах, когда народом правил хан Аблай:

— История эта произошла давно, когда земля наша была черна от пыли, а солнце стояло так же высоко, как ныне. Случилось, что скончался знаменитый бий Казыбек, прозванный в народе, благодаря поэтическому дару и красивому голосу, Каздаусты — «Голосистый», — начал аксакал. — По обычаю, в те времена наши предки хоронили своих знаменитых ханов, биев аж в далёком Туркестане — у мавзолея святого Ходжи Ахмета Яссави. Решено было доставить к этому благословенному месту и останки бия Казыбека. Но как? А произошло это в середине лета, в самый зной и жару — шильде. Расстояние от бескрайних степей Сарыарки, где скончался почтенный Казеке, до Туркестана покрывалось караваном лишь за полмесяца пути. Как же провезти в сохранности весь этот путь останки умершего? Но у народа, веками кочевавшего по необъятным степным просторам, не могло не быть своих секретов.

Тело покойного было завернуто в свежую дублёную кожу, поверх чего обмотано белоснежной кошмой, водружено на носилки — зуза, и в сумерки, с вечерней прохладой, похоронная процессия во главе с батыром Болеком тронулась в далёкий путь. Так они и шли всю ночь без остановок, а наутро, чуть забрезжила заря, караван остановился. Была вырыта глубокая яма, куда до вечера и схоронили труп покойного.

Днём караван отдыхал, набирался сил для ночного перехода, а в это время джигиты беспрестанно поливали кошму холодной водой... Э, вряд ли кто знает ныне об этом. Помню, как в молодости, когда пасли лошадей, день-деньской находились на солнцепёке. Обмотаем посудину куском белой кошмы, смоченной в воде, до самого вечера вода в ней оставалась холодной как лед... Так караван батыра Болека, одолев бескрайние жёлтые степи Сарыарки, благополучно миновал знойные такыры Бетпакдалы, в один из дней наконец достиг подножия Каратау. Как всегда, была вырыта яма, куда опустили тело покойника. Не успели утомлённые тяжёлым ночным переходом люди расположиться на отдых, как раздались возгласы дозорного:

— Враг, враг идёт!..

Действительно, из-за гребня ближайшего холма показалось около ста всадников, несущихся на стоянку каравана. Людей охватила паника: кто бросился к коню, а кто начал искать своё копьё. И в этой суматохе раздался зычный голос:

— Стойте! — Это был батыр Болек. — Нечего бояться, возьмите себя в руки! Я немало видывал на своём веку. Пусть это даже разбойники ненасытные, что грабят караваны. Однако не припомню, чтобы даже и они могли переступить через тело покойника. Сохраняйте спокойствие, сидите и не двигайтесь.

Спокойствие людей на стоянке ошеломило, видать, нападавших, подскакавшие, осадив коней, затоптались, сгрудившись. Вскоре вперёд выступил один из непрошенных гостей, видимо главарь, и, вздыбив жеребца, грозно крикнул:

— Эй, кто такие будете? Откуда и куда направляетесь?

И только тогда батыр Болек спокойно, с достоинством встал со своего места и ответил:

— Мы — люди, сопровождающие бранные останки Каздаусты Казыбек-бия в места его вечного покоя.



— Эй, несчастный, что это ты мелешь, хочешь прикрыться именем бия? Нам всё равно, кто у тебя там лежит в зуза, — Казыбек или кто другой. Сказал бы, что хороните человека... — и, круто развернув своего беспокойного жеребца, всадник изо всех сил хлестнул бедное животное. За ним с гиканьем пустились и остальные всадники...

Вот какие были времена! Даже разбойники чтили умерших, а ведь у них ничего святого не было, однако и они не смели переступить через прах покойного... — закончил назидательно свой рассказ аксакал Нургали.

За окном прокричали первые петухи, начало светать. Ушедший просить трактор в конторе совхоза дядя Тельжана вернулся лишь к полудню. Вернулся он ни с чем. Оказалось, что Султана срочно вызвали в район, без его разрешения никто не посмел выделить под свою ответственность трактор. Да что трактор — и людей-то копать могилу едва нашли! Все на работе, все заняты, горит план.

Не ожидавший такого поворота, отец с глубокой тоской в глазах смотрит на вершину Каратумсука как на недостижимую для людей высоту...

Там, на вершине Каратумсука, покоятся останки их предков.

До Каратумсука всего лишь пять вёрст...

Тело покойницы похоронили на ближнем к селу кладбище. Однако на похоронах побывали все, правда, кроме женщин и детей, благо кладбище рядом.

В опустевшем дворе остался кипеть старый медный самовар с сиротливо торчащими в разные стороны ушками

* * *

Гульсан и не подозревала, что самовар успел весь выкипеть. Вместо того чтобы убедиться в этом и долить воды, она разожгла его. Затем, вспомнив о чём-то важном, она пошла домой и начала приводить себя в порядок. Не удержалась от соблазна: отенила опухшие от слёз и недосыпания глаза. Оторвал её от этого занятия истощный голос Кульзипы — словно её кто-то резал:

— Ойбой! Ойбой! Расплавился же, расплавился! — визжала она и, всплескивая руками, не переставала кружить вокруг самовара. — Потеряли самовар бабушки... Недоглядели. А где эта городская растяпа? Дура несчастная, разве понять ей, что она на-



творила. Ой, темнота дремучая! Да что она видела в своей жизни!

— Сама дура! — вырвалось невольно у Гульсан, до сих пор подглядывавшей за ней в щёлку двери. — Будто сама видела много в этой жизни? Да ты что видела кроме коровьего вымени?! Дура!..

* * *

На горизонте, сверкая золотом, словно начищенный желтый старый самовар, начало всходить огромное солнце. Тельжан, взяв в руки бидончик, торопливо засеменил в молочную, что за ближайшим углом. Сонная ещё Гульсан прошлёпала босыми ногами на кухню и воткнула в розетку шнур самовара. Потом, постояв в некотором раздумье, перелила воду из электрического самовара в чайник. Так будет лучше!

ТУРУСБЕК САУКЕТАЕВ

КОГДА ПЛАЧУТ СВЯТЫЕ

Захолустный городок, едва пришедший в себя после трёхдневного жестокого побоища, с всхлипом проснулся от изнуряюще тревожного сна. Утро ли это, или продолжение страшного сна, не разобрать. Великое Плато вот уже третьи сутки не видело солнца. Дивное диво — порывы ветра, неожиданно встрепенувшиеся после первого выстрела чёрного с синим отливом ствола в руках убийцы, рыгнувшего смертью, набирали силу и, взметая пыль, с тревожным воем, перешли в конце концов в пыльную бурю... и она всё никак не уймётся. Ветром сорвало крыши с домов, перевернуло иные подворки из камыша. Тонкий снег тускло поблескивает, смешавшись с грязью. Буря, взбивая пыль с потрескавшейся земли, уносит её ввысь, под самые тучи. Непокорное Плато рвёт и мечет, словно готовый сорваться с привязи строптивый жеребец.

Город, проснувшийся в плаче, уже не сдерживал рыданий. Из разных точек городка вдоль длинных улиц зашагали вереницы людей с гробами на плечах. За одним из гробов бредёт маленький мальчик, всхлипывая «Папа, папа!», слёзы из опухших глаз обильно текут по измазанному лицу. За вторым идёт молодая женщина с растрёпанными чёрными волосами, время от времени горько причитая: «На кого же ты бросил меня, мой сокол!»; за следующим гробом едва поспевают рыдающая старуха, и покачиваясь из стороны в сторону, исторгает тихий стон: «Почему тебя, мой жеребёнок, забрал к себе Господь, а не меня!» И ещё... и ещё... и так нарастало число гробов, за каждым гробом — причитающие и безутешные люди. Эти траурные ручейки, вытекая из всех улиц города, сливались в большую чёрную реку, по гребням волн которой, покачиваясь, плыло множество гробов.

Когда шествие вступило на старицу за городком, белобородый старик, опёршись на клюку, обратился к людям, подняв правую руку:

— Прекратите плач, о, люди! Адайцы над смертью не плачут. Лишь крепче становятся да находят новые силы в себе!..

— Адайцы тоже люди! — воскликнул могучего сложения, коренастый мужчина, прервав старика. — Не железные. Почему же не плакать, когда хоронят родимого отца? Отчего не лить слёзы, когда богом данный любимый супруг из жизни прежде времени уходит? Почему же не рыдать, когда родного ребёнка земле отдают? Плачьте, народ! Рыдайте, пока не иссякнут слёзы! И не забудьте это бедствие, братья!

Траурное шествие двинулось дальше. Рассекая завывавшую спереди пыльную бурю, оно направилось к захоронению Бабабейит у подножья горы. Триста шестьдесят святых, не выдержав горьких рыданий и безутешного горя своих потомков, восстали из могил и волоча за собой белые рубища-кебин и обливая белые бороды слезами, двинулись навстречу шествию. Неожиданно буря затихла, и в небе появилось кучистое белое облако. Декабрьский пронизывающий холод вдруг сник и из-под белого облака полился тёплый дождь. Белое облако зависло над самой землёй и вдруг святые поднялись в воздух, обернув гробы белыми своими бородами, и понесли их за собой ввысь. Люди, поражённые свершившимся чудом, застыли в оцепенении. А потом упали на колени, поднимая перед лицами ладони: «О Всесильный Владыка!.. О, аруах! О святой Бекет!» Белое облако уходило ввысь, всё уменьшаясь в размере и таяло в бездонной сини небес. Когда последний луч света блеснул в глазах, словно хвост рыбы язв в воде, изнывающее пространство погрузилось во тьму. Чёрная буря снова обрела ярость.

* * *

Суюнгали сегодня готовится отметить третий день со дня гибели сына. Порывы злобного ветра завывают, усиливая воцарившуюся в доме и без того горестную обстановку. Сыну Азату только этим летом исполнилось двадцать лет. Он был единственным чадом его. Отец назвал его Азатом, поскольку сын родился после обретения страной свободы, но кто же думал, что жизнь его окажется такой короткой? И погиб не от руки ненавистного врага, а был подкошен пулей своего же сородича. И это мучило пуще всего.

В городе держать скот не с руки. Вокруг одни голодранцы, едва сводящие концы с концами. О совести и чести давно позабыли, готовы спереть всё, что плохо лежит, только отвернись. Семью Суюнгали кормит лишь одна единственная бурёнка. Да и доится она до самого отела. Этим летом так и не успели свести вовремя её с быком и буренка осталась нетельной. Да и сейчас, когда все сами не свои от навалившегося горя, никому до неё нет дела, вот и стоит на подворье, беспрестанно мыча. Поутру брат Суюнгали, Танаш, точа свой нож, недовольно буркнул:

— Коке, это же совсем худая скотина, мяса с гулькин нос, жалко ведь?

Суюнгали зло сверкнул глазами и прикрикнул на брата:

— Если жалко, то можешь меня зарезать! Я и сам хочу под нож пойти. Не говори ерунды, а займись делом!..

И вот, на большом казане побулькивает тощее, жилистое мясо старой бурёнки. Люди потихоньку уже начали собираться. Истошный плач женщин в доме время от времени прорывается наружу, когда покосившаяся дверь открывается и закрывается со скрипом.

Вдруг в дом проскользнул дрожащий от холода, с покрасневшим опухшим лицом смуглый мальчик.

— Ага, к вам там какие-то люди, — едва слышно прошептал он, и Суюнгали вдруг поёжился, почувствовав недоброе. Он быстро схватил лежавший на вытяжке печи большой нож и, засунув его за голенище сапог, направился к выходу. Ходили слухи, что полицейские ходят по домам и задерживают участников протеста. Похоже, подобрался и к нему. Не утерпели, значит, не стали дожидаться, когда он отслужит поминки по сыну. Но он не собирался даваться им в руки живьём. Его жизнь не дороже жизни Азата. Суюнгали был зол и решителен и был готов дать отпор любому, даже целому взводу полицейских. Он врагам дёшево не дастся. Суюнгали, с налитыми кровью глазами, выскочил за дверь и увидел у самых ворот огромный джип, похожий на танк. Беззвучно открылась сверкающая чернью дверь джипа и на землю ступили востроносые коричневые кожаные туфли. Следом из-за двери показался верх бобровой шапки. Низкорослый рыжеватый парень резво двинулся к нему с протянутыми руками. Представитель компании. Примелькался в последнее время. Много раз приходил

летом к бастующим в качестве переводчика китайского начальника. Суюнгали нехотя протянул руки в ответ, тот буквально схватился за его ладонь. Наскоро поздоровавшись, он потянул его за собой:

— Пойдёмте, ага! — сказал он. — К вам пришёл начальник компании сам господин Ли Куй.

Суюнгали, не успев прийти в себя, подался было за парнем, но последние слова будто огорошили его. Суюнгали резко остановился.

— Он что, свататься ко мне приехал? — спросил он с неприязнью.

— Ой, вы скажете, ага. Господин хочет выразить вам соболезнование.

— Тогда что же он не выходит из машины? Пойдёмте в дом.

— Давайте не будем заходить в дом. Господин Ли Куй нездоров, простужен.

Эти слова словно подстегнули и без того еле сдерживающего гнев Суюнгалия. «Ах, ты, мать твою! — зло подумал он, — так ты соболезуешь, сукин сын. Даже перед чужим горем так ерепишься, тварь!..»

— Передай своему Кую, скатертью дорога. Идите!

— Стойте, ага! — парень ухватился за его рукава. — У господина к вам дело..

— Что за дело?

Парень стал что-то объяснять китайцу, утопив голову за дверью машины, тот что-то буркнул. Тут же открылись задние двери и китаец неспешно выбрался наружу. Куще его лицо было спрятано за марлевой маской. Бобровая шапка опущена на глаза, только поблескивают стёкла очков. Сомкнув раскрытые ладони, он поднёс их ко лбу и несколько раз кивнул головой. Не поднимая глаз, он глухо пробубнил что-то и взглянул на переводчика.

— Господин Ли Куй выражает вам сочувствие. Говорит, что они очень опечалены известием о вашем горе.

У Суюнгали дёрнулись уголки губ: «Чёрта с два ты опечален, смотри, какой сострадалец нашёлся!»

Китаец полез в карман дубленки и протянул Суюнгали пачку двухтысячных тенге.

— Что это? Компенсация за невыплаченную за лето зарплату?

— Нет, это наша вам помощь.



— Мне подачек не надо. Мы разве помощи от вас просили? Мы требовали кровных, честным трудом заработанных, потом пропахших, законных своих денег. За кого вы нас принимаете, что так измываетесь над нами? Взгляни на меня, считающегося хозяином этой страны и этих земель, и посмотри на себя. Явился невесть откуда и стоишь тут расфуфыренный. Я не стану марать память своего сына вашими грязными деньгами! — Господин Куй хоть и не понимал сказанных Суюнгали слов, но по тону, похоже, догадался, узкие его глаза расширились, чуть не вылезая из орбит и тут Суюнгали швырнул ему в лицо пачку двухтысячников и, резко повернувшись, зашагал к калитке. Те двое, опешив от неожиданности, кинулись спешно собирать разлетающиеся по ветру, словно вспугнутая стая воробьёв, купюры. Особенно усердствовал господин Ли Куй, возмущённо вереща по китайски и суетливо и неуклюже бегая взад-вперёд и пытаясь на лету поймать денежки...

Одним из последних явился на поминальный дастархан Оспанкул. Он очень не хотел показываться тут, но явился, насилу заставив себя, боясь людской молвы и осуждения. Они с Суюнгали учились в одном классе, с детства играли и росли вместе. Азата любил как своего родного сына. «Ага, я хочу быть полицейским, как вы!» — говорил мальчик, любуясь его формой. На грант не смог сдать, платную учебу его отец и мать не осилили бы. Он с радостью пошёл бы служить, но в комиссариате его забраковали. Хотя он был здоров как бык, нашли к чему придраться, словом, даже близко не подпустили. Два года он проболтался то там, то тут, пока нынешним летом не устроился в нефтяную компанию. И вот как всё обернулось. После гибели Азата их отношения с Суюнгали ни с того ни с сего резко охладели. Ненависть, пробудившаяся у местных ко всем, кто носил форму, обожгла своим холодком и его. При виде его Суюнгали подбирается так, словно видит змею. Да и тот почему-то винится перед ним и испытывает робость. Вот и сейчас Суюнгали едва коснулся его протянутой руки и небрежно, отворачивая от него посеревшее как камень лицо, и холодные, со стальным отблеском злости и брезгливости глаза, отощёд в сторону. Справа, в комнате, где собрались женщины, безутешно причитает Гайнижамал. Охрипший, натужный, горестный плач. Временами она впадает в забытьё, затем, неожиданно встрепенувшись, истошно голосит:

— Не сберегли мы тебя, жеребёночек наш!.. Пусть будет проклят навеки твой убийца и семьдесят семь поколений его потомков! Да настигнет его кара божья на этом и на том свете!

Сердце Оспанкула ёкнуло и он вдруг мелко задрожал. Перед выходом из дома он специально снял свою форму, чтобы не привлекать к себе внимания и накинул простой свитер. Но всё равно ему кажется, что люди сторонятся его и глядят косо. Никто не произнёс, как бывало раньше: «О, Осеке, проходите!». И он, робея перед брошенными на него ненавидяще колючими, тяжёлыми взглядами и не зная, куда деть своё неуклюжее, большое тело, опустился на колени рядом с ребяtnей, расположившейся у выхода.

Старик с короткой бородкой, сидевший на почётном месте, выдержав небольшую паузу, продолжал свою речь:

— ...Сколько месяцев мы стояли на площади, и разве хоть раз мы посягнули на порядок, нарушили закон? Всё, чего мы добивались — справедливой оплаты своего нелёгкого труда. И если бы не эти сорванцы в чёрных куртках... и откуда они появились... а теперь вот, за всё в ответе мы! — старик вдруг потемнел лицом и замолк, опустив глаза. Тут встрепнулся и подал голос шустрый чернявый джигит, сидевший справа от него.

— Да, да, всё испортили эти самые, в чёрных куртках. Видит бог, их к нам специально заслали, для провокаций. Я среди них узнал одного, сына Тансыкбая, этого уголовника, который сейчас должен сидеть в тюрьме. Ведь его приговорили к четырём годам тюрьмы за то, что порезал чеченцев?

— О Всевышний, от них всего можно ждать!.. — покачав головой и собрав в горсть чёрную бороду, вздохнул старик в тюбетейке с гладковыбритой верхней губой.

— Куреке, а вас приглашали на допрос? — спросил худой и жилистый мужчина у старика с короткой бородой.

— Как же, ходили... — отвечал Куреке, и, вдруг возбудившись, зло произнёс: — Эти самые, мелисейские, словно беленов объелись. Плетут вздор, словно не в себе. Спрашивают у меня: «Говори, кто организовал восстание!» Я им отвечаю: «Спроси об этом у тех, кто в чёрной одежде ходил!»

— Да, эти самые мелисейские, между прочим, здорово нагрели руки на всеобщей беде. — заговорил громко остроглазый мужчина



средних лет. — Не зря говорят, что «волк виноват уже тем, что уродился волком»... вот сейчас во всём винят митингующих, а сами между тем далеко не безгрешны. Вот вчера моя младшая, которая учится в седьмом, рассказала, что гнусавая дочка участкового Гибадуллы пришла, оказывается, в школу в золотых цепях. И хвасталась перед сокасланиками, мол, папа принёс!

Сидевшие заёрзали, заговорил наперебой:

— Да, на чужом горе деньги загребают!

— Не зря лысый Бисен каждому встречному и поперечному плачется. Значит, погромы были организованы ими самими!

— Чтобы ему пусто было, не упоминай имя этой собаки! Каждый день по теливизору плачется, достал вконец. Не он ли воду по цене пива продавал и наживался на этом? Поделом ему! Не только магазин, его самого вместе с магазином надо было сжечь!..

— Да, ни ума у подлеца, ни совести. Люди по погибшим близким плачут, а эта скотина всё о бизнесе своём несправедном мычит!..

В разговор вмешался молодежавый, с пригожим лицом мулла, сидевший на самом видном месте. Расправив густые брови, он окинул сидящих вокруг, и заговорил ровным, спокойным голосом:

— Что же, братья, прервём наши суетные разговоры. Не будем брать грех на душу торопливыми суждениями. Кто виноват, а кто чист, о том ведаёт лишь один Аллах. А теперь, коли собрались все, прочтём поминальную молитву по погибшему! — И мулла запел бархатным звучным голосом аят из Корана.

После поминальной тризны, вместе с потянувшимися к дверям гостями, подался наружу и Оспанкул. У выхода было небольшое столпотворение у рукомоЙника, и он, уступая старшим, посторонился и встал поодаль. И тут он увидел вывешенную на просушку возле загона голубую куртку с пятнами крови. Изорванная в нескольких местах, она покачивалась на ветру, едва не доставая земли. Несколько парней подошли к ней и, громко переговариваясь, стали осматривать: «Это же куртка Азата. Похоже, пуля попала прямо в сердце...» Оспанкул подошёл к парням. Голубого цвета молодёжная куртка с крупной надписью на спине — «Риша». Голова готового к прыжку зверя измазана красно-бурой кровью. Прямо посередине зияет дыра с пуговицу средней величины. Сердце Оспанкула обдало ледяным холодком. Его вдруг покинули силы, покачнувшись и чуть не упав, едва успел присло-

ниться спиной к стене загона. Тот самый рисунок! Неужели он!.. Ему было страшно додумывать свою мысль, но догадка вползала в сознание помимо его воли. И чудовищная картина встала перед его глазами.

...Город вмиг окутал густой чёрный дым. Магазины, из дверей и окон которых запылало пламя. Перевернутые и неожиданно взрывающиеся машины. Отчаянно крича и улюлюкая, уничтожая всё на своём пути, движется плотная людская толпа. В общей суматохе никто не заметил, как некие парни в чёрных куртках, до сей поры державшиеся на виду, подстрекая всех и подливая масла в пылающий огонь, стали вдруг отставать от толпы на поворотах и закоулках и исчезать бесследно. Толпа стала насаждать на вооруженных до зубов и выстроившихся цепью в несколько рядов вокруг акимата военных и полицейских. На пластмассовые щиты полетели палки, камни, бутылки. От истошных криков разрывает уши. Вдруг откуда-то сбоку затараторила автоматная очередь и передние ряды толпы стали валиться один за другим. И лишь тогда чёрная волна бунтующих отступила назад, в беспорядочном беге сбивая и давя друг друга.

— Огонь! — выкрикнул командир в рупор. Вооружённые люди, стреляя на ходу, погнались за убегающей в беспорядке толпой. Стрелять в безоружных, убегающих в панике людей было делом необычным, и Оспанкул, потерявший рассудок от страха и охотничьего азарта, не целясь, нажал на курок. Бежавший невдалеке долговязый парень тут же, как подкошенный, свалился лицом вниз. Ноги его конвульсивно дёргались, взрывая землю носками ботинок. Пробегая мимо, он бросил взгляд на лежащего — из глаза пантеры, нарисованной на спине голубой спортивной куртки, фонтанировала кровь...

Кажется, это было в предутреннюю темень, он будто бы шёл домой, изнурённый и опустошённый после вчерашней бойни. Едва он переступил порог, как его схватил за горло отец, умерший два года назад. Свалив его на землю ударом в висок, он уселся у него на груди. И стал бить, не разбирая куда. Вот ухватил его двумя руками за ворот и стал душить. Отец его был человеком жёстким, с прямым, неуступчивым характером. Лучше было не попадаться ему под горячую руку.

— Отец, за что?! — заголосил Оспанкул из последних сил.

— За что?! Да как ты посмел показаться на глаза своей семье после того, что совершил? Лучше бы ты застрелился!

— Почему?

— Кто стрелял в Азата?

— Я не стрелял... меня заставили.

— Кто?

Оспанкул дрожащей рукой поднял вверх указательный палец.

— Неужели Бог? — рассвирепел отец.

— Нет... тот, кто сильнее его... Мой начальник!

В тот же миг сжимавшая его горло каменная схватка резко ослабела.

— В таком случае не буду тратить на тебя слов. У нас с тобой, похоже, разные боги!..

И пока Оспанкул пытался неуклюже подняться на ноги, отец вмиг исчез, растаял во мгле, хотя дверь не открывалась и не закрывалась. Оспанкул был весь растрёпан. Погон на правом его плече оказался сорван. Узкий коридор в сумеречной темноте. Он поочередно заглянул за боковые двери. Жена и оба сына безмятежно спали. Их не разбудила даже его с отцом борьба, крики. Оспанкул поздно женился. Сыновья его ещё малолетки. Он снова открыл дверь в спальню. Увидев лежащих в обнимку на большом надувном матрасе сыновей, он вспомнил Суюнгали и Гайнижамал. Его сердце закололо острой болью и заныло. «Бедолаги, в каком они-то сейчас состоянии? — подумал он. — Им теперь далеко до такого сна. Для них теперь, что день, что ночь — сумерки. Неужели это он застрелил Азата, Азата, который ластился к нему, как к родному отцу? Как он теперь — после такого кровавого, чудовищного преступления, сможет ступать по земле?» Откуда ни возьмись, у него в ушах зазвучал горестный, рыдающий голос Гайнижамал, от которого стыла кровь: «...Не сберегли мы тебя, жеребёночек наш!.. Пусть будет проклят навеки твой убийца и семьдесят семь поколений его потомков! Да достигнет его кара Божья на этом и на том свете!» Оспанкул, с детства знакомый с выражением, что «материнское проклятие разит как пуля», содрогнулся от охватившего его внезапно страха. Этот животный страх, вмиг превративший всю его жизнь, все его устремления в никчёмную, никому не нужную, бессмысленную пустяковину, приковал его к месту, и он застыл, готовый отречься от всего и вся. «Пусть всё худое гинет



вместе со мной. Прочь от моих детей и семьи!..» Резким движением он достал пистолет, висевший на боку, и, приставив его дуло к правому виску, не раздумывая резко нажал на курок. Всё его тело превратилось в комок нервов, застыв, заледенев в ожидании мук страшного мгновенья. Пистолет не выстрелил. Он снова нажал на курок. Снова тишина. Рассвирепев, он в третий раз поднёс дуло к виску, и вдруг резкий голос с едкой насмешкой произнёс:

— Легко хочешь отделаться, герой! Нет, это тебе не удастся! Есть кое-что пострашнее смерти, это — жизнь в позоре и страхе. Тебя ждёт именно такая кара!..

— Нет, я умру! умру!..

Он проснулся от своего крика. Весь этот ужас оказался сном. Сердце колотится, готовое выскочить из груди. Всё тело взмокло от пота. «Где это я лежу, а?» Он огляделся, приподнявшись на локти. Его дом, его родная постель. Белёсое зимнее утро замёрзшими дрожащими пальцами поскрёбывает в тёмных окнах. Похрапывающая рядом жена с растрёпанными волосами тяжело перевернулась на другой бок, и железная сетка кровати дёрнулась вниз.

— Ты всю ночь блял как козёл. Спать невозможно! — проворчала она сквозь сон.

Обычно он клал свой пистолет на ночь под подушку. Сейчас он держал его в руке. Правый висок побаливает и пульсирует. Неужели он в самом деле целился в себя? Предохранитель снят. Он торопливо осмотрел ствол, и увидел две пули. Как они не выстрелили? Он поднялся, покачиваясь, ещё не отойдя от сна, словно сомнамбула, и, беззвучно закрыв дверь спальни, включил свет в коридоре. Взглянув в зеркало на стене, он не узнал себя. Лицо как будто бы перекошено в сторону, опухшая левая челюсть подрагивает. «наверное, ударился о край кровати», — подумал он. Обернувшись, вдруг увидел валяющийся на полу погон и вздрогнул всем телом. На куртке, висевшей у изголовья, сорван правый погон. «Как же так? Неужели то, что ночью его посетил отец, избил и сорвал с него погон, это явь, а не сон? Что за причуды?» Не в силах отличить явь ото сна, он пошатываясь, подошёл к стене и опёрся о неё руками. Явь как сон и сон как явь. Колебаются паруса сомнений, ударяя его то в один, то в другой берег.

Через некоторое время он оделся и вышел на улицу. Едва шагнул за подветренную сторону дома, как неистовый ветер, беснуясь



и подвывая, ударил ему в спину и полоснул открытые части тела металлическим холодом. Вокруг ни живой души. Мёртвый город. На перекрестках улиц чернеют БТРы с вытянутыми дулами. Буря гонит Оспанкула, подталкивая в спину, вперёд по пустынным улицам. Стылая мёрзлая земля при каждом его шаге издаёт плачущие, ревушие звуки, уходящие эхом в ночную тьму. Кабинет Оспанкула находился на первом этаже полицейского управления. Из подвала, расположенного прямо под его кабинетом, временами едва-едва доносились точно такие же вскрики и рыдания. Департамент полиции находился на краю города. Когда до него оставалось совсем немного, он увидел как над серым бетонным зданием кружилось кучевое белое облако. То самое белое облако, что он видел давеча во сне. На ветру искрились капельки дождя. Две тёплые капли упали Оспанкулу на глаза. Вздрогнув всем телом, он, не сдерживаясь и не таясь, заплакал навзрыд. Горячие слёзы, смешиваясь с каплями дождя, омывали его лицо. Он рыдал безутешно, неистово — так, как никогда в жизни не плакал. Безысходная тоска, желчь, вся накопившаяся в душе грязь полились ручьём и скатывались по горячим щекам на землю. А когда он едва управился со всхлипами, пред его взором предстал другой мир, ясный, отмытый от грязи его слезами. Он посуровел, собрав волю в кулак, и почувствовал в себе незыблемую уверенность. Капитан полиции с разбитой челюстью и сорванным погоном с отчаянной смелостью, подобающей джигиту, решительно зашагал вперёд и в следующий миг входил в двери грозного заведения...

ЖУМАБАЙ ШАШТАЙУЛЫ

ВЕРШИНА ЕСБАЯ

Никогда прежде и прийти не могло в голову Есбая, что его слово никакого значения не будет иметь ни для жены, ни для сына. С тех пор как потерял слух и зрение, он стал привыкать к одиночеству и как бы в полузабытьи бесцельно бродил по дому или по двору, никого не замечая и никем не замечаемый. Жена его Сана целыми днями бестолково металась по хозяйству, всем своим видом выражая решимость заставить всех и вся вокруг неё повиноваться ей. В последнее время она даже советоваться перестала с мужем, как будто его и не было. Слабый слух Есбая улавливал, как эта несдержанная вздорная женщина и их сын, недавно женившийся, постоянно из-за чего-нибудь ругаются. Сана считает, что напрасно она выпросила у Всевышнего сына, толку от этого никакого. Есбая тоже огорчает поведение Жасыбека, который только и знает, что, будто привязанный, ходит вокруг своей молодой жены, уж не тронулся ли он умом. В самом деле, почему бы ему не быть более почтительным к родителям, да и снохе подсказать, чтобы она оказывала им по обычаю почёт и уважение.

Согласие и мир будто покинули их семейный очаг, каждый живёт сам по себе. И Есбаю ничего не осталось, как предаваться своим невесёлым размышлениям. Разве мог он подумать, что его старость будет настолько безрадостной. Печаль и грустные раздумья оставили свой отпечаток на морщинистом лбу старика. Неподвижная, густая с проседью борода и потерявшие блеск глаза, долго озиравшие всё вокруг из-под узких щёлок век, весь его облик как бы выражал застывшую, безжизненную форму.

Старик подолгу лежит то на одном, то на другом боку, отвернувшись от окружающей его и так надоевшей действительности,

временами поглядывая в сторону дверного проёма юрты и размышляет над тем, как же неразумно и бесцельно проводят дни его сын со снохой. Вот и теперь, видит он, что сноха сидит на порожке и руки у неё ничем не заняты. А вот и сыночек Жасыбек всё кружится вокруг жены, и оба что-то с жаром громко обсуждают. Что-то здесь не так, подумалось Есбаю, видно, разговор у них важный.

— Да что это вы там опять заспорили?! — раздался визгливый голос жены. Не нравится Есбаю, что старуха, как из ума выжившая, забывает проявлять сдержанность хотя бы перед снохой. Не понимает она, где-то ей по-матерински и мудрость проявить бы надо, да и сын весь в свою мать — никогда не смолчит, вот и бранятся они целыми днями.

Одно утешает старика: средний сын Мылтыкбай и к отцу с почтением относится, и с людьми обходительный. Да и дело нашёл себе по душе — с любовью ухаживает за Карагером, мечтает вырастить из этого молодого коня хорошего скакуна.

Взгляд опять упал на Жасыбека. Да-а, у этого одно занятие, ни на шаг не отходит от жены, как будто других дел нет.

— Жасыбек! — Есбай охрипшим голосом позвал сына.

— А, — невозмутимо отозвался тот, и не думая подойти к отцу.

Видя это, старик повысил голос, на что Жасыбек недовольно ответил:

— Ну что тебе надо от меня?

— Да подойдёшь ты, наконец, или нет, ноги тебе отказали, что ли, — разгневался Есбай.

Жасыбек вскочил, подошёл к двери и посмотрел на отца, всем своим видом выражая нетерпение:

— Ну что тебе, отец?

Есбай долго разглядывал сына, как будто только что его увидел. Под слезящимся взглядом отца Жасыбек почувствовал себя неуютно.

— Что ж ты, сын мой, как будто тебя привязали арканом, ходишь вокруг своей жены? — начал Есбай, думая о том, как бы ему вразумить сына.

— Ну что ты пристал, отец, — попытался отмахнуться Жасыбек. Его светлое продолговатое лицо покраснело от смущения.

— Да сколько можно на это смотреть? Целый день слоняешься без дела, из-за этого и с матерью ругаетесь, горе ты моё, — продолжал браниться Есбай.

— Всем я мешаю в этом доме, куда деваться уж не знаю, — обиделся на слово отца Жасыбек.

Есбай помолчал, опять долгим взглядом посмотрел на сына и решил дать совет:

— Ты не смотри, что я сейчас такой беспомощный, было время, когда моё слово было законом и для такой своенравной женщины, как твоя мать. И ты должен знать, где жену приласкать а где и побить надо, чтобы она уважала своего мужа.

— Отец, наше время с вашим не сравнить, — не согласился Жасыбек, нетерпеливо поглядывая на улицу.

— А что случилось с вашим временем, о какой разнице ты говоришь? — решил допытаться Есбай у сына. Но тот не стал ничего объяснять, махнул рукой и вышел из юрты.

Есбай собрался было вернуть Жасыбека, но потом раздумал и, неподвижно уставившись взглядом в пол, мысленно продолжал разговор с сыном: «Что этот умник знает, возомнил себя неизвестно кем, учить меня собрался. Видите ли, времена сейчас для него другие. Лучше бы жену свою заставил себя уважать. И когда разум войдёт в его голову?».

Мысли его вдруг прервал голос жены:

— Эй, старик, послушай меня.

Есбай вскинул голову. По виду Саны он понял, что у неё к нему важный разговор.

— Говори, слушаю тебя, — ответил Есбай.

— Улёгся здесь, как камень, так и лежит целый день неподвижно. Сыночек-то наш отделиться собрался.

Сообщив мужу новость, Сана вдруг преобразилась и всем своим видом стала выражать покорность жены, для которой главное — решение главы семьи.

«Что-то непохоже это на неё, вот и глаза потупила, чтобы не выдать своё пренебрежение ко мне, — подумал Есбай. Он давно уже махнул рукой на свои попытки разгадать все хитрые уловки Саны, поняв, что это дело бесполезное. — Так, на всякий случай зашла узнать, что я об этом думаю. И сейчас ей мой совет не нужен совсем, она сама всё решит», — заключил Есбай. Присталь-



ным взглядом он долго разглядывал сидевшую перед ним Сану. Это молчаливое разглядывание собеседника вошло у него в привычку с тех пор, как зрение стало совсем слабым. Ему приходилось теперь напрягать беспомощные зрачки, чтобы рассмотреть выражение лица собеседника, понять по его виду, что тому от него требуется.

Затем Есбай принял суровый вид, лицо его побагровело, что всегда означало нарастающий гнев и он с раздражением обратился к жене:

— Ну и что ты теперь от меня хочешь?

— Как что я хочу? — набросилась Сана в ответ. — О Создатель, за что мне такая доля, ни от детей, ни от мужа нет радости. Уж лучше бы ты поскорей забрал меня к себе, чем так мучиться на этом свете.

Есбай приподнялся, сел и, слушая поток жалоб жены, доносившихся уже с улицы, вспомнил, что всю их совместную жизнь Сана была такой же сварливой, постоянно искала повод, чтобы наброситься с руганью на кого-нибудь, и остановить её было потом невозможно. В ауле нрав его жены был всем известен, над Есбаем посмеивались, что ему приходится быть вечной её жертвой. Тогда ему, в то время молодому крепкому джигиту, приходилось, как и сейчас, молча сносить брань Саны и насмешки окружающих, потому что поднять руку на жену он не решался. Да и старая мать Есбая удерживала сына от семейных скандалов. «Сын мой, что уготовано судьбой, тому надо быть покорным. В нашем роду женщины никогда не подчинялись своим мужьям. И я не всегда была покорной твоему отцу, смиришься уж с этим», — говорила она.

Теперь Есбаю понятно, что матери хотелось сохранить семейный очаг сына, и любящее материнское сердце старой женщины готово было терпеть любое унижение от вздорной снохи. Не обида, а сожаление о неудавшейся семейной жизни охватило теперь Есбая. «Не сама старость тяготит, а неуважение к твоим сединам, — подумал старик. — Не знаю, смогу ли я и дальше выносить всё это».

И вновь он погрузился в свои невесёлые раздумья. «Деваться всё равно некуда, хочешь — не хочешь, а придётся, видно, и дальше терпеть. Одна надежда, что Создатель призовет к себе, тогда



сразу от всех жизненных тягот освобожусь. Не продлевай моих страданий, прошу тебя, — мысленно обратился Есбай к Всевышнему, затем прислушался к тому, что происходит за стенами юрты. Похоже было, что Сана успокоилась, слабый слух старика не уловил поблизости её обычных криков.

Воспоминания о молодых годах снова овладели им. Кажется, совсем недавно он был ловким молодым джигитом, вся округа уважала его за победы в состязаниях кокпар. Конечно, были у него и завистники, и недоброжелатели, но никто не смел открыто высказать ему своё недовольство. Один только недотёпа Тойшибай, пользуясь тем, что они были ровесниками, мог позволить себе задеть Есбая: «Эй, ты, до каких пор будешь мешать молодым, в каждую игру лезешь. Ты думаешь, что побеждаешь силой, а на самом деле молодые из уважения дают тебе возможность побеждать. Пора уж тебе поумнеть, уступить дорогу другим».

Теперь тот недотёпа Тойшибай стал уважаемым человеком в ауле. Дети его выросли и стали управлять колхозом, всё хозяйство в их руках. Да и авторитет отца в глазах односельчан подняли. Теперь Тойшибай настолько возгордился, что даже не заедет спросить, как здоровье. Как-никак всё-таки ровесники, вместе росли.

Размышлениям одинокого старика нет конца, и о чём ни подумает, всё о невесёлом. От долгого лежания тело занемело, да и июльская жара давит, всё вокруг как бы застыло. «Нет, хватит лежать. Пойду пройдусь немного», — решил Есбай и вышел из юрты.

— Належался, а теперь выполз, как уж, на солнышке погреться, — сразу же послышалось ворчание Саны. Услышав обидные слова жены, Есбай помедлил, пожалел, что не оглох напрочь, затем решительно подошёл к Сане. Та и слова не дала сказать, опять запричитала:

— Уж не хочешь ли ты своим грозным видом напугать меня? Да никто тебя не боится, хватит. Прошло то время, когда тебя боялись. Думаешь, бог не видит ничего?

Есбай махнул рукой, видя, что остановить жену невозможно. «Хоть бы детей постеснялась, — подумал он. — Если уж Сана так ведёт себя со мной, а ведь столько лет вместе прожили, то чего ждать мне от других».

- Эй, Мылтыкбай! — позвал сына Есбай.
- Слушаю, отец, — Мылтыкбай сразу подбежал к отцу.
- Оседлай мне Карагера, да затяни покрепче подпругу.

Легко вскочив на коня, Мылтыкбай отъехал снаряжать его в дорогу, как приказал отец. Есбай медленно приходил в себя после обидных слов жены, не понимая, за что она его так ненавидит. Разве что за то, что он когда-то давно помог по хозяйству своей соседке Альпиш, оставшейся с детьми без мужа после войны. Так сиротам и беспомощным помогать сам бог велел. Зато Сана попрекала его потом за это при каждом удобном случае: «Если я плохая, иди к ней жить, я и без тебя обойдусь».

Есбай долго не обращал внимания на её попреки, но однажды не выдержал:

- Хватит, а то я заставлю тебя замолчать!
- Да ты попробуй только тронь, потом пожалеешь, — огрызнулась Сана.
- Вот свяжу руки-ноги и выброшу в реку, — пригрозил он.
- Да я вижу, ты не знаешь, как от меня избавиться. Чем принять смерть от тебя, лучше я своими ногами уйду из дома. До каких пор быть мне душой в твоих глазах?

Есбай вскипел от злости. Сколько же можно терпеть выходки жены, да и его матери Сана житья не дает, пора покончить с этим.

— Ты думаешь на тебя погибели нет? — весь кипя от ярости Есбай подскочил к жене.

Испугавшись его разъяренного вида, Сана отступила и примирительно пробормотала:

- Ладно, ладно, успокойся, что на тебя нашло.

Но в её интонации не чувствовалось искреннего сожаления, и Есбай понял, что он должен всё-таки её сейчас проучить. Он вышел, приговаривая. «Сейчас я тебе покажу», затем вернулся, держа в руках в несколько раз сложенную крепкую волосяную верёвку.

Увидев это, Сана поняла, что ей надо искать спасения:

— Ойбай, помогите, убивают, — завизжала она во весь голос. Не обращая внимания на споротивляющуюся женщину, он схватил её за руку, дёрнул и уложил посреди юрты, несколько раз перевернув тело, крепко обвязал арканом. Сана, как бы смирившись, наконец, замолчала. Есбай вытащил кисет, с которым

не расставался на фронте, и долго крутил папиросу, насыпав немного табака на кусочек газетной бумаги. Потом закурил, бросая искоса взгляд на связанную безмолвную Сану, думая при этом: «А теперь я посмотрю, пойдёт тебе этот урок на пользу или нет».

— Ну, наконец-то мои уши отдохнут от тебя. С утра до вечера не закрываешь рта, от твоей ругани голова болит, покоя нет в доме. Давно мне надо было так сделать, и как это я раньше не догадался!

Сана молча смотрела на мужа, не имея возможности пошевелиться, слёзы текли у неё из глаз к вискам. Платок на голове сбился, а на открывшемся лбу были видны морщины, которых он раньше не замечал. «И чего ей не хватает? Всё ей мало, всем недовольна. Глаза у неё ненасытные, жадность губит её, — думал Есбай, глядя на притихшую Сану, пытаюсь разгадать, что же такое есть в её голове, что мешает жить ей в мире с собой и окружающими».

— Ойбай, что ты задумал, — обращаясь к сыну, подбежала его старая мать к снохе. — Мало на мою голову выпало, ещё теперь и это. Что ж промолчать лишний раз не можешь, как жена, и подчиниться мужу не грех, — руки матери беспомощно теребили верёвку на теле Саны.

Взглянув на мать, Есбай впервые заметил, как сильно она постарела, эта мысль заставила похолодеть его сыновнее сердце. «А ведь мать несчастна из-за снохи, из-за неё нет житья никому в этом доме», — подумал он. Новый приступ гнева овладел им, и он готов был с кулаками наброситься на жену. Но мать снова удержала его, умоляя:

— Светик мой, прошу тебя, не трогай её. Смирись со своей судьбой, другой жены у тебя всё равно не будет...

— Пусти, апа, она и тебя не уважает, а ведь ты ей вместо матери, и меня, своего мужа, не уважает. Уж лучше я понесу наказание, но сейчас за всё с ней рассчитаюсь, — не мог остановить себя Есбай.

— Одумайся, неизвестно, чем всё может закончиться, если не возьмёшь себя в руки, — продолжала урезонивать мать сына.

В это время сбежавшиеся на крик соседи окружили Есбая, отеснив его в сторону, развязали Сану. После этого Есбай, усты-

дившись смотреть в глаза людям, вскочил на коня и поскакал куда глаза глядят.

После того случая прошло уже много лет, и теперь, перейдя от воспоминаний к мыслям о сегодняшнем дне, старик продолжал размышлять: «И чем это я не угодил Всевышнему? На людей посмотришь и невольно позавидуешь, дети у них уважаемые, а снохи просто загляденье. Жена у меня сварливая, сын отца не почитает. Да что винить Жасыбека, ему, несчастному, видно, уготована такая судьба — всю жизнь провести в дрязгах с женой. Неужели сбываются сказанные матерью слова о покорности судьбе? В молодости никому не давал спуска, а теперь кому я нужен? И добра не нажил лишнего, и уважения ни от кого нет. А кем был ни на что не годный Тойшибай, кем он стал теперь и кто я?»

Есбай почувствовал себя глубоко несчастным. Отъехав от аула, он подстегнул Карагера и выехал на гребень Карасая. Проехал вдоль обрыва по глубокой ложбине и снова направил коня к вершине. Здесь он вдохнул полной грудью горный воздух и почувствовал себя освежённым, свободным от житейских невзгод. Старик бросил взгляд вниз, на долину. Там что-то чернело, двигалось, слабое зрение различило группу людей, которые как будто что-то делили между собой, затем от толпы отделились несколько всадников и поскакали в направлении Акколтык. «Как бы то ни было, но это — кокпар», — решил Есбай. Ему послышались какие-то крики. Он оглянулся по сторонам и стал спускаться вниз к всадникам, выезжавшим из расщелины. Чтобы догнать их, ему пришлось вскачь пересечь наперерез долину, затем он выехал навстречу им. Удивившись неожиданному появлению незнакомца на своём пути, всадники, приостановив лошадей, окружили его и чей-то звонкий голос воскликнул:

— Да это же Есбай — аскакал!

— Хочет присоединиться к добыче, хитрец, — добавил второй голос.

Эти бесцеремонные возгласы слабый слух старика уловил ясно. «Надо же, недаром говорят, что глухой проведёт любого», — подумал Есбай.

Небрежно оглядев здоровающихся джигитов, спросил:

— Кому достался кокпар?

— В аулы Карасай и Кайназар увезли, но Октябрь может пере хватить, кто их знает.

— А от кого получили кокпар?

— От нас, — ответил первый звонкий голос.

Старик, как бы не узнавая, долго рассматривал джигита.

— Вы что, не узнаете меня, я же сын Тойшибая, — смутился тот. Есбай не стал дальше задерживаться. Мысль о кокпаре полностью захватила его. Не сдерживая коня, он поднялся по склону вверх и увидел вдали тех, кого искал. Карагер смело ринулся вниз. Трое всадников мчались к гребню горы напротив, пустив лошадей во весь опор. Из оставшейся толпы только несколько джигитов бросились за ними в погоню.

— Эй, смотрите, чтобы не увезли кокпар в Кызылауз, — крикнул кто-то из оставшихся, и ещё несколько всадников присоединились к погоне. На Есбая никто и внимания не обратил, но того это не задело. Он решил сам догнать ускокавших с добычей джигитов и повернул коня, чтобы выйти навстречу не ожидающей его удачливой тройке. Время в запасе у него было, поэтому он перевёл Карагера на лёгкий галоп, решив без надобности не гнать коня. Есбай весь отдался своему замыслу догнать победителей и пере хватить добычу, погоня захватила его. Он почувствовал себя свободным и решительным и начисто забыл о всех своих обидах на эту жизнь. Сосредоточившись на своей цели, он решил встретить своих противников в следующей низине.

Когда-то давно ему пришлось таким же необычным образом участвовать в кокпаре. Тогда на вершине Майтубе он стремительно проник в толпу дерущихся за желанный приз и ухватился за шкуру козлёнка. Потом он заметил, что четверо крепких парней, которых ему не удавалось одолеть, по очереди передавая друг другу добычу, собираются ускокать от места состязания. Но им не дали вырваться. Ловкий Есбай, изо всех сил дёрнув козлёнка, зажал его под коленом. Крепкий сильный жеребец, получив от Есбая резкие удары ногами в бок, вынес его на небольшую полянку. Один из противников вцепился в козлёнка намертво, не собираясь расставаться с добычей. Остальные участники состязания с криками окружили дерущихся и стали с интересом наблюдать, кому же достанется победа. К противнику присоединился ещё один, и оба они уже были готовы вырвать



козлёнка у Есбая, но тот в это время, призвав все свои силы, резко натянул узду, выдернул добычу из рук джигитов, и конь стремительно понёсся прочь от места поединка. Наблюдавшие за борьбой были поражены упорством незнакомца. Сколько прошло времени Есбай не помнил, но увидев, что догонявшие остановились, понял, что погоня закончилась и ему теперь нечего опасаться. Один из преследователей, небрежно махнув рукой, сказал вдогонку: «Да пусть скачет себе на погибель, отсюда ему не выбраться!»

Есбай, пригнувшись, стремительно мчался вперёд, вскинув козлёнка на коня, как вдруг неожиданно увидел перед собой каменные скалы и отвесный обрыв. От мгновенного страха сердце сжалось. Если бы в это время он натянул узду, то конь по инерции не смог бы остановиться и это привело бы их к неминуемой гибели. Но Есбай успел отпустить узду и, закрыв глаза, положился на судьбу, подумав про себя: «Будь что будет». Жеребец успел поднять передние ноги и, прижав их к брюху, плавно перепрыгнул обрыв. Почувствовав, что ноги лошади коснулись земли, Есбай, не веря своему спасению, открыл глаза. Конь под ним продолжал скакать вперёд. «Ах, ты мой крылатый друг», — благодарно подумал Есбай и его глаза невольно наполнились слезами. Мгновенно сработавший инстинкт самосохранения, присущий и человеку, и животному, спас их от верной гибели.

Вспомная об этом случае, Есбай понимал, что молодость не вернуть — и смекалка, и сила, и ловкость уже не те. Но, возбуждённый воспоминаниями, он мчался сейчас навстречу новым приключениям, желанию испытать себя, готовый во что бы то ни стало победить любого на своём пути.

Как оказалось, Есбай не ошибся в своих расчётах. Три всадника, ускакавшие с коппаром, приближались к расщелине возле вершины. Увидев Есбая, они остановились, потом стали подниматься вверх. Есбай поспешил к низине, которая находилась за этой вершиной, и пустил Карагера вскачь. Когда он обогнул гору, навстречу ему показались те трое. Они приближались к Есбаю, довольные своей удачей. Что-то друг другу рассказывают, громогласно хохочут, не обращая внимания на ожидающего их всадника. Старик не смог расслышать их разговор. С тех пор, как слух и зрение отказали ему, Есбаю стало казаться, что вокруг все посмеиваются над



его беспомощным видом. Эти тоже такие, от них сочувствия не жди. Есбай распрямылся, в карих глазах сверкнула искра молодого задора, на квадратном лбу собрались морщины. Он знал, что джигитов не пугает его неказистой вид, для них он слабый беспомощный старик, толкнёшь — и с коня слетит. Наверное, эти шустрые парни — из аула Кайназар. Вырваться с добычей из такой толпы крепких джигитов, конечно, большая удача, им есть чему радоваться. Надо действовать быстро, пока они не ожидают нападения, решил он. Зажав вдвое сложенную плётку зубами, чтобы руки были свободными, он внезапно остановился. Те подумали, что он хочет перегнуть их, приостановились, уступая дорогу. В это время Есбай, призывая на помощь предков, с криками: «Аруах! Уа, Карасай! С сединой на голове, перед лицом вечности готов я совершить достойный мужчины подвиг!», поскакал к всадникам. Понимая, что силой ему не удастся достичь желаемого, он решил выйти им наперерез. Подскакав совсем близко и не дав всадникам отъехать в сторону, он быстро наклонился и попытался выхватить кокпар из-под колена среднего всадника, но смог ухватиться только за переднюю ногу козлёнка. Попробовал потянуть на себя, но ничего не получилось. Два других всадника насмешливо наблюдали за попытками Есбая.

Есбай понял, что сейчас начинается главное. Он не станет посмешищем для них, они скоро в этом убедятся. Сначала он пытался захватить козленка спереди, но потом, когда противники сошлись совсем близко, бок к боку, Есбай неожиданно, с силой пнув жертву по хребту, быстро наклонился и дёрнул за заднюю ногу. Не ожидавший такого манёвра джигит и не заметил, как козлёнок выскользнул у него из-под колена. Есбай резко вздёрнул удила и, когда Карагер от боли встал на дыбы, с силой выхватил свою добычу, оставив в руках незадачливого джигита только переднюю ногу козлёнка. Есбай от резкого толчка сам чуть не упал с коня, но смог удержаться и стремительно поскакал прочь. Ошарашенные случившимся противники немедленно бросились за ним в погоню, стремясь преградить ему путь. Есбай почувствовал, что конь уже не подчиняется ему, но у него едва хватало сил сдерживать повод. Вдруг его охватило острое чувство победы, гордость заполнила душу, крики радости рвались из него и оглашали окрестности гор. Молодой конь без остановки мчался вниз, громкие крики Есбая

пугали его и он скакал не разбирая дороги. Упоённый победными чувствами, Есбай сам забыл об осторожности. Оставшиеся позади джигиты, ошеломлённые неожиданным порывом старика и его отчаянной радостью, в испуге смотрели вниз, с ужасом ожидая, возле какого камня остановится, споткнувшись, конь в этой бешеной скачке.

Едва удерживаясь на стремительно скачущем коне, Есбай еле-еле подтянул болтающегося из стороны в сторону козлёнка к колену и прижал его. В это время он вдруг почувствовал, что под ногами коня загремели камни, это была впадина, начинавшаяся от склона горы. На всём скаку Карагер уткнулся мордой в землю и перевернулся через шею. Есбай, не ожидавший внезапного падения коня, выскочил из седла и отлетел далеко в сторону. Приземлившись на край насыпи, несколько раз перевернулся, упал на спину и, раскинув ноги, остался неподвижно лежать. В эти мгновения ему показалось, что горы сошлись с горами и земля перевернулась кругом вместе с ним. Есбай с усилием приподнял голову, оглянулся вокруг, и мысль об участи несчастного Карагера пронзила его. Глядя на опрокинутое над ним небо, старик с недоумением подумал: «Как же такое могло случиться со мной? Как я здесь оказался?» В его путающемся сознании всё перемешалось, тревога постепенно заполняла сердце. Он почувствовал как кто-то поддерживает его под руки, помогая подняться, затем ощутил брызги воды на своём лице, глубоко вдохнул воздух. Открыв глаза увидел окруживших его людей, разглядывавших его с испугом и удивлением. Ему расстегнули ворот на рубашке, к бледному лицу старика медленно прилила кровь.

— Что с Карагером? — первое, о чём он спросил.

— Да вы сначала о себе побеспокойтесь, бог с ней, с лошадьё, — ответил ему кто-то. Обессиленный старик снова прилёг на землю, не обращая внимания на собравшихся вокруг людей. Кто знает, сколько времени он так пролежал бы, но вдруг услышал над собой насмешливой голос:

— Ей, глухой чёрт, слепой пёс!

«Чей же это голос?! Памяти что-то не стало, и человека вспомнить уж не могу», — подумал Есбай. Но самое главное было в том, что оскорбительное обращение не задело его, как задевали прежде

грубые насмешки, когда он чувствовал себя одиноким, никому не нужным, немощным стариком. «Да ведь это же Тойшибай, ну конечно, от кого, кроме него, такое услышишь». Тойшибай, поглаживая свои кошачьи усы, наклонился над Есбаем и продолжал свою тираду:

— Ты что, смерти ищешь? Хочешь умереть — прими достойную смерть, нечего шататься по горам. Ишь ты, герой нашёлся, до чего себя довёл, он, видите ли, с женой и сыном ужиться не может.

Закончив свою речь, Тойшибай сел рядом с Есбаем, как бы собираясь и дальше продолжать свои насмешки. Есбай с мрачным видом неотрывно смотрел на него, и ему показалось, что он обречен до конца жизни терпеть насмешки глупого никчёмного Тойшибая, которого и человеком-то стали считать недавно, благодаря детям. «Ну уж нет, не собираюсь я его больше слушать», — подумал Есбай и решительно поднялся. Не замечая боли в правом плече, он направился к месту, где лежал Карагер. В это время к нему подошёл Кыдыр, сын соседки Альпиш и, подтянув за узду своего коня, предложил старику:

— Ата, садитесь на мою лошадь, поезжайте домой.

Молча усевшись в седло, Есбай отъехал от толпы. На погибшего Карагера взглянуть не смог, что-то внутри него противилось этому ужасному зрелищу. Теперь, придя в себя после случившегося, он даже не сожалел о том, что не смог дать отпор насмешкам Тойшибая. А тот явно чувствовал себя мудрецом, к словам которого прислушивается народ. Никто не остановил Тойшибая, оставив, видно, право им самим разбираться между собой.

В сумерках подъехав к ограде возле юрты, Есбай прислушался, и ему показалось, что он слышит как всегда крикливый голос Саны. Ей отвечал чей-то мужской голос, что-то доказывая и споря. «Опять что-то случилось», — подумал Есбай и вошёл в юрту. Поздний гость оказался сыном бригадира из аула Тойшибая Кияс. Увидев хозяина дома, не спеша подошёл к нему и поздоровался за руку.

— Аксакал, я видел, как днём ваш Жасыбек уезжал на арбе за сеном. А потом там, где он был, начался пожар. Еле-еле всем колхозом потушили, но всё равно весь покос сгорел. Трудно

было ему, что ли, как следует затушить сигарету. Жена ваша не хочет понять, в чём вина вашего сына, защищает его, — обратился Кияс к Есбаю, понимая, что со старухой разговаривать бесполезно.

— Зачем ему понадобилось курить, этому лентяю? У него что, под носом черви заведутся, если он не закурит?! — разгорячился Есбай, вне себя от ярости. Видя гнев Есбая, Сана подошла к мужу, решив отвести бурю от сына:

— Ты же знаешь, старик, что Тойшибай всю жизнь к нам придирается, а теперь и нашим детям от него проходу нет.

— Да ладно, бросьте свои выдумки. Вы свою семью сами поедом едите, и на других кидаетесь, — ответил Кияс, повысив голос.

— Ойбай, да ты не распоряжайся в чужом доме, я от мужа таких слов не слышала и ты помолчи, — не унималась Сана, приготовившись стоять на своём до конца.

— Да хватит вам, прекратите ругаться, — остановил их Есбай. Вид у него был удручённый. Он по очереди посмотрел на жену, затем на Кияса и с насмешкой в голосе сказал:

— Не зря говорится в пословице, что сын отца не перегонит. Вот ты сын бригадира, и тебя в ауле уважают. А нашему несчастном Жасыбеку такие никчёмный отец, как я, и такая мать, как Сана, что могли дать хорошего? Кому как не ему устраивать в степи пожары. Вот и подумай сам теперь, что делать, а мне тебе нечего больше сказать!

Сказав своё слово, он вышел и без сил упал на стул возле двери. Кияс и Сана, перестав ругаться, пытались понять смысл сказанного Есбаем, а он молча смотрел на них, как бы не узнавая, впервые видя их. Оба поняли, что Есбаю известно что-то гораздо более важное, чем житейские дразги и сожаления о неудавшейся жизни. Старик и вправду чувствовал себя как никогда свободным от плена серой жизни. Грудь его расправилась, плечи распрямились. Перед ними сидел человек, удовлетворённый достигнутой целью, как будто с небес на него снизошло умиротворение.

Есбай посмотрел вверх, на окружающие аул цепью горы. Как ни старались слабые зрачки старика отыскать среди них то место, где он сегодня стал победителем в кокпаре, это ему не удалось. Он прикрыл уставшие от напряжения глаза. Мысли о том, что теперь



гору, на которой состоялся сегодня поединок, вся округа будет называть не иначе как «вершина Есбая», грела душу и рождала в его сознании чувство покоя и причастности ко всему окружающему. Новые неведомые силы возносили его над пустой повседневностью. Он был счастлив.

А вокруг аула, в котором жил Есбай, среди спящих молчаливых гор, скрытая в ночной темноте, одиноко возвышалась покоренная им вершина.

СЕРИК АСЫЛБЕКУЛЫ

РАЗДЕЛИ МОЮ ПЕЧАЛЬ

— Рысты, а-а, Рысты!.. — Голос Кумекбая, торопливо снимавшего с ног на веранде свои кирзовые сапоги, зазвучал хрипло и натужно. Однако скорого ответа от Рысты не последовало. Кумекбай, сняв сапоги, с тем же настроением вошел в переднюю.

— Да, где же её носит-то?!

Из дальней комнаты показалась голова богом данной супруги Кумекбая — Рысты — с чуть припухшим лицом и с непомерно сковившимся к затылку красным платком с цветочками.

— Что стряслось там у тебя?

— Где ты ходишь?! — спросил Кумекбай, окатив её гневным взглядом.

— Как это, где ходишь? Здесь и хожу, в доме. Только прилегла было, чтоб малость вздремнуть хотя бы..

— Всё-то ты никак не выспишься, вижу. Вечереет же уже!.. Когда чай поставишь? Поди сюда, разговор есть, — сказал Кумекбай жене приказным тоном. Брови его были насуплены, нижняя губа поджата. Рысты поняла: так делал обычно муж, когда очень на что-либо злился. Однако нрав Кумекбая был давно известен Рысты, и она не особенно переполошилась.

— Ну и говори!..

— Поди сюда, сказал же я тебе!..

— О, Господи Боже мой, пришла же уже!

— Переедем! Собирайся с сего же дня! Мне этот «Кентуп»... чтобы затылок мой на него в дальнейшем только смотрел!..

— Что ты несёшь?! Сейчас, в эту зимнюю стужу, что ли?..

Спокойствие жены совсем вывело Кумекбая из себя.

— Какая ещё зимняя стужа! Вечно от твоей зимы стужей тянет! Сегодня всего лишь седьмое ноября!..

Рысты не была бы женщиной, если бы сразу согласилась с мужем — она тоже привела свои неоспоримые доводы.



— Ну и что, что седьмое ноября, глядишь и, завывая, грянет скоро декабрь. Чем же это не зима тебе тогда?..

Кумекбай, вешая на настенную вешалку свою фуфайку, снова сердито пронзил жену «значительными» глазами. В этот миг в его овечьих глазах с маленькими зрачками как будто вспыхнули искры, подобные молнии.

— Когда же ты оставишь эту свою глупую привычку?! Ничего не знаешь, кроме как противоречить мне, что бы я тебе ни сказал. Кто, скажи мне, в этом доме мужчина — я или ты?!

Теперь голос Рысты прозвучал гораздо мягче, нежели до этого.

— Что стряслось-то вдруг? Ты бы хоть пояснил мне, что к чему...

Кумекбай прошёл выше и сел на расстеленное цветастое одеало, скрестив ноги.

— Есть кислое коже?

— Сейчас... — Рысты налила в чулане пиалу из эмалированного ведра кислого напитка — коже — и принесла мужу. Протягивая ему напиток, исподлобья снова изучающе оглядела его. Кумекбай как-то осунулся даже: скулы его обострились, морщины внизу щёк стали ещё глубже, а щетина, на небритых уже дня два щеках торчала, словно испуганная чем-то.

— Я навсегда отрубил отношения с этим «сболошем» Ниетали, — сказал Кумекбай, поджимая губы. — Без тени стыда даёт мне всего пятнадцать тысяч тенге за сданные в кооператив осенью три машины арбузов и дынь и две машины картошки!.. Я говорю: «Это всё, что ли?» Он отвечает: «Это — всё, остальное пошло на транспортные расходы, на перекупщиков и налоги». А теперь скажи сама — разве это не самый настоящий грабёж?! Обматерил я его нещадно и ушёл! Пропади пропадом этот кооператив! Выйду я из него. И, вообще, если не уедем из этого аула, то с голоду подохнем когда-нибудь. Надо уезжать. Поняла?!

Полнее уяснив себе суть проблемы, Рысты поначалу явно растерялась.

— А что же ты не сказал, что пожалуешься вышестоящему начальству, этим... как их, акимам?

— Думаешь, не сказал!.. «Куда хочешь иди, к кому хочешь иди, хоть к начальству над ними!» — говорит. Знает, небось, этот плут,



что ворон ворону глаз не выклюет. Всё он знает. Короче, всё на этом — переедем!

— Куда же, милый ты мой, мы переедем?! В Жиделибайсын, что ли? — Рысты выпятила нижнюю губу.

— Куда глаза глядят!.. Надо поехать искать какое-нибудь ремесло, чтобы детишек прокормить. Талдычу же я тебе — иначе таким путем когда-нибудь с голоду сдохнем.

— И ты думаешь, где-то там нам кто-то приготовил работу и дожидается нас?..

Кумекбай ударил кулаком по одеялу, на котором сидел: в воздух, колыхаясь, поднялось едва заметное облачко пыли.

— Эй, да что ты вечно всё поперёк мне твердишь, а-а?!

— Нет же, но ты разве не сам... Куда же мы с нашими крохотными пятерыми детишками в эту лютую зимнюю стужу подадимся? Ну, приедем куда-то, но где там нас ждёт тёплое жильё, двор да сарай, дрова и пропитание?.. Коли с Ниетали не ладишь, то, раз хочешь, выходи из этого кооператива. Открой снова своё крестьянское хозяйство, стань... этим, как его... фермером.

— Разве же мы не пробовали открывать крестьянское хозяйство — не смогли же себя прокормить и потому вошли в этот кооператив. Куда не сунешься, всюду одно и то же — чистый грабёж! Переедем в этот «Майлыбас». Начальник станции там, говорят, русский. Надо искать приюта у русского, а то эти, глотающие верблюда целиком ненасытные казахи однажды и нас заживо проглотят. С казаками ты никогда не найдёшь справедливости, понятно тебе?!

— А есть она, работа-то, на железной дороге? Помнится, в прошлый раз Алайдар рассказывал: «И на железной дороге идёт сокращение, многие там остались без работы».

И от этих слов взрыв души Кумекбая, казалось бы, способный свалить юрту, резко погас, и он смутился.

— Ну, это, значит... что-нибудь придумаем... — пробормотал он под нос.

— Нет, милый мой!.. — Рысты снова начала входить в силу. — Если хочешь, переезжай сам, а я никуда не двинусь с этого нагретого места своего. Если мы с тобой могли оказаться в раю, то переехали же из «Екпинди» в этот «Кентуп». И тогда ты, помню, будоражился: «Ойбай, в «Кентуп» переедем, в «Кентуп» переедем, среди сородичей будем жить, там дела идут-бурлят». И там ты не

находил покоя, вот так же вздорил с начальством «Екпинди». Не можешь, что ли, ты жить сам по себе, тихо-мирно, как все живут?!

— Что же, я вздорил с ними от нечего делать, со скуки, что ли? Разве не сами они житья мне не давали! Что такое пятнадцать тысяч тенге?! Пятнадцать тысяч — это же стоимость твоей пары сапог!

И что же, я всё лето вкалывал без сна и отдыха и заработал всего пару сапог!.. По моим расчётам, должно было быть по меньшей мере тысяч восемьдесят! Остальные мои деньги прикарманили этот пёс Ниетали и его бухгалтер. Как после этого не выходить из себя?!

— Тогда вот так вечно и цапайся с ними! Всё, приехали, я никуда с насиженного места не сдвинусь. Легко, он думает, переезды устраивать!..

Рысты, решительно двигаясь, взяла сверкающий никелем самовар и, переваливаясь с ноги на ногу, отправилась на веранду. Вскоре заскрежетал цементный пол веранды. Тут же что-то звякнуло, видно, упала на пол труба самовара.

«Баба разозлится — котёл вскипятит, — подумал про себя оставшийся в комнате один Кумекбай. — А мне как быть?.. Сидеть, вот так, томиться до вечера в ожидании чая Рысты? Надо как-то погасить пожар в душе, пожалуй».

Кумекбай, одевшись, вышел из дому.

Солнце склонилось низко к горизонту. Ноябрь, видно, начал входить в грозную силу — пронзительный студёный ветер то и дело завывал и отчаянно бесновался. На темнеющих там и сям вдоль улицы карагачах трепетали, дрожа, оставшиеся для виду лишь жёлтые листочки. Куда-то в сторону Сырдарьи неслись по небу взлохмаченные истончённые белые облака. Короче, на улицах небольшого села, изрытого там и сям колесами машин и тракторов, глаза не порадовало ничего, кроме нескольких ребятишек, гонявших мяч, и тощих, с торчащими наружу рёбрами псов, грызущих обглоданные кости за сараями.

* * *

В продуктовом магазине, расположенном в самом центре села, Кумекбай не особо задержался — молча протянул продавщице сто пятьдесят тенге, сунул бутылку водки во внутренний карман фу-

файки и вышел снова на улицу. Потом, ступая на истёртые каблуки кирзовых сапог, направился к своему соседу Ермеку — нужно же было с кем-то отвести душу.

Ермек занимался ремеслом, явившимся в этот аул вместе с капитализмом, был агентом по приёму металлолома. Это, оказывается, занятие довольно выгодное: вчера ещё вместе с другими сидевший за рычагами трактора Ермек сейчас обрёл таки изрядный достаток и положение. Теперь он один из немногих зажиточных людей в этом ауле.

«И как это другим приходит в голову бог весть что? — подумал Кумекбай, шагая по улице. — Почему же мне в голову не пришло заняться приёмом металлолома? И тогда бы я не был сейчас в зависимости от этого плута Ниетали...»

Ермек оказался дома. Он приглядывал за тем, как два его почти взрослых сына в просторном дворе дома с высоченным чердаком разбирали груды металлолома и складывали его в отдельные кучи.

— Здорово живёшь, Ермек! Как у тебя, всё хорошо, надеюсь?

Вошедший во двор Кумекбай протянул руку первым: Ермек был на пару лет старше него.

— Слава богу, а как твои дела?.. — Ермек не очень обрадовался.

— Неплохо, — сказал Кумекбай, собираясь остальное поведать за выпивкой. — По-прежнему...

— Правильно. Ты по делу? — Ермек с наслаждением зевнул. — Эй, у тебя же в руках не алюминий, отнеси это к меди, — властно велел он долговязому сыну, учившемуся в десятом классе. — До сих пор не умеешь их отличать, что ли?

Старший сын буркнул себе под нос что-то невнятное и, отнеся металл к указанной отцом куче, бросил туда несколько железяк.

— Ну, говори, за чем пожаловал, — сказал хозяин дома.

— Дело такое... — Кумекбай, словно виноватый в чём-то, почесал затылок. — У меня тут бутылка водки, надо бы её... оприходовать как-то вдвоём. Ты как? Немножко расслабились бы...

Ермек ответил, чуть подумав:

— Может, как-нибудь в другой раз, сейчас просто некогда. Надо до наступления темноты окончить эту работу. Завтра утром из города приедут компаньоны.

— Тогда я подожду.

- И это не получится, на вечер позвали в гости к Жарбосыну.
- Событие какое-то?
- Родственники издалека приехали. Кажется, им угощение выставляет.

Вопрос стал ясен, Кумекбай не нашел причины задерживаться дальше.

— Ладно, пойду я, — сказал он, постояв неуверенно, и направился на улицу.

«С кем бы мне теперь эту бутылку приговорить? — подумал Кумекбай, вспомнив о поллитре в кармане фуфайки. — Кстати, а ведь и мы семьями общаемся с тем самым Жарбосыном. Что же он меня-то не пригласил? Однако, нынче люди стали скупей и расчётливей, пожалуй, такие времена настали, что богатый льёт богато-му, ложбина в ложбину. Да уж ладно, без приглашения этого Жарбосына как-нибудь сведу концы с концами».

Кумекбай, шагая неспешно, вскоре добрался до дома Алайдара, расположенного на коротенькой кривой улочке с той стороны аула, где течет Сырдарья. Зашёл во двор и увидел, как рыжеватый пухленький сынишка Алайдара, учившийся вместе в третьем классе с дочуркой Кумекбая, нещадно гоняет по двору поджарого молодого петушка. Кумекбай пару минут простоял, застыв у калитки и глядя на них. А пухленькому рыжему мальчугану, казалось, нет до него дела, совсем загонял бедного петушка.

— Эй, а здороваться кто будет?! — буркнул вдруг Кумекбай, которому наскучило смотреть на всё это.

И лишь тогда, раскрасневшийся донельзя, словно вышедший из парной, взмокший от пота рыжий мальчуган, взглянув на Кумекбая, резко остановился. Глаза его были выпучены, ноздри раздулись широко.

- Ассалаумагалейкум!..
- Аликсалам... Ты чего это до смерти загонял этого петуха-то? Или он что-то задолжал твоему отцу?
- Нет... Сам же он... Не даёт курам покоя...
- Хм-м... Алайдар где?
- Дома...
- Зови его тогда.
- А что сами не зайдёте?
- Нет, спешу я.



Пухленький рыжий мальчуган постоял немного, поглядывая то на застывшего у калитки Кумекбая, то на поджарого петушка с ярко-красным гребнем, бегущего, кудахча, к курятнику в глубине двора.

— Сейчас... — сказал он затем и мигом унёсся в дом.

Вскоре вышел более крупный дубль пухленького рыжего мальчугана — сам Алайдар. Приземистый, широкий в плечах мужчина средних лет с вывалившимся вперёд животом: остановился, озираясь вокруг себя — похоже, не смог сразу сыскать взглядом стоявшего у калитки за большим карагачом Кумекбая. Кумекбай вышел из-за дерева и шагнул вперёд.

— Ты, что, куриной слепотой захворал?

— А-а, ты тут. Как, все живы-здоровы?

— Всё хорошо. Дело вот возникло...

— Ну, говори тогда.

Кумекбаю пришлось опять с виноватым видом почесать затылок.

— Поллитра у меня тут... Может, мы её с тобой это...

— Оприходовать, говоришь?

— Да, малость, так сказать, душу отвести... И к тому же мы не виделись уже давненько.

— Это точно. Но есть одно срочное дело.

— Что же стряслось-то?

— Сейчас Ниетали должен подъехать. Надо ему картошки в райцентр отвезти. Поеду туда.

Кумекбая будто обухом по голове треснули. «Куда ни пойду, мне всё поперёк горла встаёт этот проклятый Ниетали, — с неистовой горечью подумалось ему. — Будет у меня хоть когда-нибудь день, когда я от него избавлюсь?»

— Ладно тогда... — в голосе Кумекбая явственно слышалось, что он на что-то обижен. — Пошёл я...

— Эй, ты не обиделся часом? Я честно говорю, а иначе... — сказал Алайдар, оправдываясь. Затем добавил без особого радушия:

— Ты и домой не зашёл к нам.

— Нет, спасибо...

Кумекбай повернулся и направился к калитке. Алайдар из вежливости посмотрел ему пару минут в спину и ушёл в дом.

«Слушай, чего я это всё село обхожу, как неприкаянный, что, если всерьёз, один эту бутылку не одолею? — подумал Кумекбай, выйдя за калитку и злясь на самого себя. — Умоляю каждого... Вчера только, казалось бы, из одной миски похлёбку ели, а тут, ишь ты, все в люди повыбивались. Вот так и получается, если к кому нужда явится. Ну, ладно бы, я шёл к ним что-то просить, так ведь своё им нёс, наоборот!

Такие невесёлые мысли совсем доконали Кумекбая, и он, ещё раз обойдя аул, вошёл в свой двор. К этой поре сумерки уже сгустились и наступила изрядная тьма. К счастью, во дворе никого не было: похоже, Рысты, не дождавшись мужа, села с детьми ужинать.

Но всё же Кумекбай, проявляя осторожность, ступая на цыпочках, вошёл в сарай. В сарае царила непроглядная тьма, однако Кумекбай, не особенно огорчаясь этим, наощупь достал с верхней дощатой полки двухсотпятидесятиграммовый гранёный стакан, а из одной из кастрюль на той же полке взял горсточку курта. Затем снова вышел во двор, поднялся по лестнице вверх и преклонил колени около небольшого стожка, сложенного на крыше сарая.

Вытащил из нагрудного кармана сложенную газету и бутылку. Аккуратно расстелил газету и поставил на неё сначала поллитровку. Рядом с ней расположились тот самый гранёный стакан и горсточка курта. Теперь нужно было открыть пробку и налить прозрачную жидкость в стакан. Кумекбай так и сделал.

Он подождал малость, дабы отдышаться. Всё-таки давние добрые товарищи с ней, с водочкой-то. Кумекбай хоть и не видел, что в стакане, но сердцем чувствовал, что она прозрачно чиста, как слеза невинного младенца. Однако сколько же можно сидеть просто так, наконец, он взял стакан в руку и стал пить. Допил до дна, не оставив ни единой капельки и разом выдохнул: «Уф!» Затем посидел ещё какое-то время, кривя лицо, закрыв глаза, одурманенный, и, положив в рот кусочек курта, перекусил его пополам.

Вскоре наступил миг, который Кумекбай ждал с таким вождением и нетерпением: тепло от водки прошло по всем венам и приятно разлилось по телу. Внутри у Кумекбая всё так и размякло, как размякает степь после обильного дождя, на душе стало необычайно просторно и благостно.

«Да, есть у неё, у водки-то, какое-то волшебство, — сказал Кумекбай, чему-то улыбаясь про себя. — Ведь прямо светлеет от неё, собаки, на душе! На первый взгляд что-то просто жидкое, как водичка. Однако же...»

Дальше в эту мысль Кумекбай углубляться не счёл нужным. «Дальше дело известное, — подумал он. — Сейчас вопрос в другом, однако, совсем в другом... Итак, стоимость всех его трудов за всё лето вышла в куцые пятнадцать тысяч тенге. Давай-ка, попробуем посчитать не спеша. Кило картошки на базаре стоит где-то шестнадцать тенге. Скажем, этот плут Ниетали продаст её перекупщикам по десять тенге. Я сдал пять тонн — это пятьдесят тысяч. Килограм арбузов и дынь в среднем стоит двадцать тенге. Пусть я их отдал по два тенге, но и их сдал не менее шести тонн. И сколько же это получается в общем? Так-так... Шестью два у меня двенадцать, шестью один шесть и один в уме — семь... Семьдесят два... Семьдесят две тысячи тенге. И тогда в сумме получается сто двадцать, нет, сто двадцать две тысячи тенге? Сто двадцать две тысячи тенге... Скажем, пусть чистая половина этой суммы уйдёт на транспортные расходы, перекупщикам и на налоги, в ненасытную глотку Ниетали и его стригущего шерсть с яичной скорлупы бухгалтера, но и тогда разве мне не должно отстаться тысяч пятьдесят-шестьдесят? А что же они насчитали пятнадцать тысяч мне, всего пятнадцать тысяч... Это же просто грабёж средь бела дня!..

А какая картошка у меня — каждая величиной с кулак, прямо с кулак... А каковы мои дыни, каждая полоска в семь пядей, да добавок ещё так и тает во рту!.. А ведь я распахал на плохоньком тракторе залежалую землю, целину, можно сказать, в одном из диких рукавов Сырдарьи...»

На этом месте голос Кумекбая помимо его воли прозвучал громко. Он снова налил в гранёный стакан водку и выпил в два глотка. Снова посидел минуту-другую, зажмурив глаза: так всегда делал Кумекбай, после того, как выпьет, это он, сказать его же языком, называл «ловить кайф». «Кайф», не заставив ждать себя долго, попался в силки Кумекбая: снова глаза его затуманились и всё тело наполнилось неизъяснимым блаженством...

Вдруг Кумекбай, словно сумасшедший, фыркнул. Затем, улыбаясь, словно человек, которого посетила очень интересная мысль,

тут же выстроил кусочки курта на газете по-военному, поставил в строй и стал отдавать им команды: «Ты, Ниетали, встань вот так, смирно!.. — сказал Кумекбай, целя указательным пальцем на кусочек курта, стоявший во главе «строя». — А вы двое, один из вас будет Еркеком, а другой Алайдаром. Ну-ка, приготовьтесь! Сейчас поговорим...»

Кумекбай обрадовался тому, что так неожиданно нашлись «люди», с которыми можно отвести душу. Конечно, они не те существа с головами, ногами и руками, которых он видит каждый божий день, это «курты-люди» или «люди-курты». Но настоящие люди ему же сейчас не даются в руки. Поэтому «для интереса» Кумекбай попробует поговорить и с этими. К примеру, что хорошо, «эти» не перечат, стуча себя в грудь, подобно Алайдару, который, стоит только сто граммов выпить, так никому спуску не даёт; только знай себе слушают, «наострив уши». А разве не это именно сейчас нужно Кумекбаю?

После того, как уважаемый Кумекбай окончательно утвердил этот свой поступок философским постулатом, основанным на негибимой логике, он не стал тянуть кота за хвост, а принялся за дело.

«Эй, пёс!.. — сказал он, целя указательным пальцем в «Ниетали». — Ты слушай меня в оба уха! Ты и сам знаешь, я целых семь лет тому назад, покинув «Екпинди», где рос с младых ногтей, переехал сюда, в «Кентуп», ближе к сородичам. К родне меня дурака потянуло, понимаешь. Тогда ты был бумажной крысой-бухгалтером, грыз бумаги в конторе своей!.. Скажи, что ложь! Не можешь сказать! А теперь, вот, настало твоё время, и ты стал начальником целого кооператива. И что же, в этом ли твоё родство-то со мной, пёс, в этом ли?! Ну, что же это за пятнадцать тысяч твоих, пятнадцать тысяч всего?! Или ты думаешь, все, кроме тебя, ослы, не ведающие счета?!

А как же я теперь, в таком разе, до следующего лета прокормлю на эти пятнадцать тысяч моих малых детишек и бабу мою? Воровать стану — в тюрьме сгнию. А может, я, по-твоему, должен с голodu подохнуть? Ну, отвечай же ты, пёс!

Молчишь, а-а?.. Ну и плут же ты, настоящий плут!.. Уж погляжу я, как ты завтра унесёшь на горбу то, что вырвал изо рта моих домочадцев, детишек моих!..»



После того, как таким образом изрядно отчитал «Ниетали», Кумекбай обратился к «Ермеку». «Думал, ты сосед мой, богом данный, в душе ценил тебя несказанно, а ты не удосужился даже дать хоть разок отвести мне с тобой душу, — сказал ему Кумекбай. — Наел холку от железного хлама, и глаза жиром затянуло, да? Поглядим ещё. Заладил: «Мои компаньоны, мои компаньоны». Посмотрю я уж, как они тебя превознесут...»

Иных поводов винить «Ермека» у Кумекбая не было, и потому он не стал тратить на него лишних слов. Теперь очередь дошла до «Алайдара».

«Тоже мне, называется, курдас-одногодок! Как что тебе нужно, так сразу бежишь ко мне: «Курдас, курдас!» И твоя, дорогой мой, подноготная теперь стала мне ясна донельзя. Забыл ты, как я в прошлом году, когда ты сказал, что у тебя отказал мотор в машине, по белому снегу, по стылому льду на своём стареньком тракторе притащил две тележки твоего сена из собачьего далёка — из Сарбулака. И в позапрошлом году, когда ты примчался ко мне, мол, приехали из города уважаемые мной сваты мои, моя скотина сплошь худосочная, дай мне, Кумекбай, в долг одного жирного барашка своего, а то совсем неудобно перед гостями, говорил. И я без единого словечка отдал тебе откармливаемого мной на осенний забой жирного барана... А ты, выходит, забыл всё это, а?!

Да ну к шутам тебя, однако. Нежели с тобой быть курдасом, лучше быть курдасом с моим серым осликом!.. И тебя-то я считал приятелем своим... не смог ты даже хоть разок дать мне отвести с тобой душу...»

Таким образом, поставив на место всех троих, Кумекбай почувствовал, что прямо-таки отвёл душу, и ощутил необычайную лёгкость на сердце. Посидел, молча, положив в рот вторую половинку надкушенного курта, и долго жевал его.

Сумерки сгустились совсем и царила уже ночная тьма — завывавший и томивший целый день неумолчный ветер теперь угомонился, и окрест наступила дремотная тишь. Над аулом нависла тишина, не слышно было даже лая собак. И лишь порой едва слышно, казалось, доносилось до слуха Кумекбая, как жует свою бесконечную жвачку в сарае рябая коровёнка.



На небе перемигивались звёзды, над горизонтом зародился молодой месяц. Кумекбаю, расположившемуся на крыше сарая, ясно был виден свет керосиновых ламп в окнах домов аула (поскольку жители «Кентупа» оказались неспособными оплачивать электроэнергию, этот аул с самого лета стал банкротом по свету). Вон тот крытый шифером дом с окнами в сторону Кумекбая — дом старика Ербола. Одно окно тёмное дочерна, в другом есть свет: экономят так, похоже. А эта глинобитная избушка напротив — принадлежит Раш. Вот уже полтора года Раш там проживает со своей почти заневестившей уже внучкой — сын и сноха старой Раш переехали в поисках работы в город. И в окнах этой избушки, однако, можно заметить признаки жизни. В следующих, возведённых рядышком друг с другом двух домах обитали сыновья покойной старухи Анны — Григорий и Пётр. С весны их двери сторожат большие чёрные висячие замки: братья Эрлихи переехали весной на свою историческую родину — в Германию. Поэтому в этих домах сейчас не видно никаких признаков жизни: тьма-тьмущая царит и вокруг домов.

«Го-осподи, почему же и я изначально, как Гриша и Пётр, не родился на свет немцем, — подумал вдруг, вспомнив своих соседей-немцев, Кумекбай, ощутив на сердце жгучую донельзя горечь. — Будь оно так, то и я в эти дни, как эти Эрлихи, жил бы в Германии, ел бы, так сказать, что хотел, носил бы, что нравилось...» Когда-то давно, в пору Советского Союза, исполняя свой воинский долг в составе группы советских войск в Германии, он повидал кое-что: каковы там ровные, как полёт стрелы, асфальтные трассы, каковы чистые, сияющие ярким электрическим светом хутора и города! Ладно, пусть все это в порядке вещей там, но каковы торжествующие у немцев справедливость и порядок?! У них же и в голову никому не придёт присвоить что-либо чужое, врать, обманывать и хитрить. Пожалуй, только мы, казахи, хоть и перешагнули уже за порог XXI века, а всё не можем избавиться от давних плутней и хитростей!

Кроме Эрлихов, в этом ауле был ещё единственный русский — механик Василий Беляев, и тот года четыре назад перебрался таки в свою Россию. Правда, Россия — не Германия, однако, как ни говори, русские всё же по сравнению с казахами тоже на целую пядь ближе к правде и справедливости».



Кумекбай именно в этот раз впервые в жизни по-настоящему пожалел, что он родился казахом. «Да, Рысты права, — подумал он, заочно соглашаясь с супругой, — я, коли перееду, то обоснуюсь от силы в каком-либо городе или посёлке Казахстана. А где казахи, там, дело известное, обитают и всякие Ниетали, и так и зыркают, у кого бы что слямзить. А что Германии и России такого жалкого казаха-тракториста не нужно, хоть ты его маслом смажь — ясно безо всяких слов. И что же тогда делать-то мне, Господи?!»

Взгляд Кумекбая снова упал на застывшие в ровном строю кусочки курта на расстеленной газете. Но у него именно теперь, не было никакого желания с кем-либо спорить и вздорить, вести задушевную беседу, короче, не было желания отвести душу.

АЛИБЕК АСКАРОВ

ОБЛАВА НА ЛЮБОВЬ

Было время так называемого развитого социализма.

Айсултан трудился в родной области собственным корреспондентом республиканской молодёжной газеты. Взхлёб строчил острые, проблемные статьи и объёмистые очерки, сочинял повести и рассказы и уже даже начал пользоваться расположением у читающей публики. В общем, горячая, молодая пора, когда он, как сквозь каменоломню, прорубался к своему будущему. Однако оно, это будущее, пока по-прежнему, как в детстве, повито туманом: на какую высоту вознесёт его крылатая мечта и на какую вершину опустит — разве угадаешь? И вдруг судьба решила подыграть ему: пока он грезил сквозь запарку своей корреспондентской подённости, его сокровенное желание, о котором втихомолку молил небеса, исполнилось не где-то, а на грешной земле...

Айсултана пригласили на работу в Алматы. Да ещё на какую работу! Не куда-нибудь в центральный аппарат «молодёжки», о чём вообще-то давно мечтал Айсултан, — и если бы его туда позвали, то и такой поворот карьеры стал бы для него огромной радостью. Не-ет. Предложили должность в редакции куда более престижной и высокопоставленной газеты — аж в республиканской партийной!

— ...Мы уже давно наблюдаем за вашими публикациями. Вы очень способны, — по-отечески завершил беседу Жапекен. — Приходите к нам в аппарат и примите литературный отдел... Если потерпите месяца три, то и с квартирой решим.

Жапекен — это Жаппар Байтасов. Главный редактор Главной газеты, её первый руководитель. Видный журналист, член Центрального Комитета партии, известный депутат Верховного Совета. Не простой смертный — крупная фигура.

Айсултан и прежде слышал, как некоторые его сородичи и даже сослуживцы воодушевлённо нахваливали его, называли та-

лантом. Так что к ласкающим слух похвалам по привычке. Но то было в своём кругу, теперь же в заветной, хотя и обыденной фразе, так вовремя слетевшей с уст Жапекена — вы, мол, человек очень способный — ему послышался звон литавр. В подтексте напутственных слов, замаячило, показалось из-за тумана само его долгожданное будущее. Сообразив, что и в последующие дни будет чувствовать заботливое покровительство со стороны начальника, Айсултан почувствовал себя так, словно этот большой, уважаемый всеми человек благословил его на большие дела.

Ну, а слова Жапекена «возьми в руки отдел» следует понимать однозначно: стань заведующим. Тоже начальником. Когда Айсултан услышал это, сердце едва не выпрыгнуло из костлявой груди. Потому что приход регионального корреспондента «молодёжки» в аппарат такой большой газеты даже в качестве рядового сотрудника — уже победа, заметный скачок по служебной лестнице. А тут Байтасов внезапно предложил место заведующего отделом! Но Айсултан — мы тоже не лыком шиты! — ни звука тогда не проронил — испугался, что если переспросит насчёт назначения, то ещё, не приведи Аллах, посеет сомнения и редактор, чем чёрт не шутит, откажется от своих слов.

Улыбка фортуны представлялась ему теперь во всём её оборотительном многообразии многообразии: и в том, как Жапекен покачивался в своём вальяжном чёрном кожаном кресле, и как особому, многозначительно восседал в нём, и как говорил, растягивая слова, будто жевательную резинку меж сверкающих золотых зубов. А самым желанным в этом счастливом ощущении невесть откуда — с небес! — свалившейся на него удачи было всё-таки мгновение, когда услышал обещание начальства решить проблему жилья. Всего лишь обещание, но, как говорится, позови плачущее дитя ласково, по имени — оно и утешится. Кровь бросилась Айсултану в голову. Он, конечно, слышал о гипертонии, но толком не представлял, что это такое. Зато теперь ясно почувствовал, как это самое неведомое доселе давление едва не разрывает ему голову.

Жапекен сказал: «потерпи месяца три»... Как же это здорово — видимо, и распределение квартир в его руках, а строительство очередного дома как раз и завершится через три месяца. Да разве любовью на месте Айсултана, голодранца из глубинки, не возликует до



небес, даже если его попросят подождать не три месяца, а три года?!

Жизнь и впрямь только началась, а ему уже благоволят и луна, и звёзды: то, чего так страстно и тайно желал, вдруг стало реальностью... «Милая жизнь, — подумал Айсултан, — как же я люблю тебя, прямо, чёрт подери, до смерти», и настроение у него поднялось ещё выше.

Да, за такое не грех поблагодарить и родную, премудрую компартию, — подумал он про себя, но от умилённого шёпота вслух всё же воздержался.

Ну, а при мысли о Жапекене его охватила натуральная нежность, с какой истосковавшийся верблюжонок ластится к матери. Даже слёзы на глаза навернулись.

* * *

Итак, временно оставив семью на родине, Айсултан, не мешкая, со всем честолюбивым провинциальным усердием приступил к работе в новой, высокой для него должности. Детей у него двое — сын и дочь, погодки, пришедшие в этот мир один за другим. Оба ещё малыши, едва начавшие лопотать. Ну, а жена работает врачом. Оба ребёнка сейчас на руках у его родителей. Старший — сын, и по обычаю предков он уже давно перешёл «в собственность» отца и матери Айсултана, став «сыном деда». Но что поделаешь, Орынтай всё-таки родная мать. Она тосковала по ребёнку. Приехав как-то в аул, не сумела сдержать своих чувств и, нежно прижав к себе сына, воскликнула:

— Жеребёнок ты мой!

Заметив это, отец по-стариковски надулся, что-то недовольно пробурчал, а потом и вовсе разбушевался:

— Не приезжайте сюда больше! — шумел на невестку и сына и едва не выставил их из дома. Спасибо матери — только ей и удалось утихомирить старого.

Так что, если считать, будто в их семье один-единственный ребёнок, это будет ближе к истине. Но и дочка тоже уже больше года живёт в ауле под присмотром стариков. Останется хотя бы она всецело дочерью Айсултана и Орынтай, теперь одному богу известно. Айсултан побаивается, что и малышка, привыкнув за

это время к деду с бабушкой, тоже перестанет признавать родных отца и мать.

Тем не менее новости о его переводе на работу в Алматы супруга обрадовалась как ребёнок. Ну какая, скажите, молодая, образованная и начитанная женщина, получившая институтский диплом, не мечтает жить в столице?

— Я тоже хочу поехать, — сразу объявила она, выдав своё нетерпение. Айсултан еле переубедил её: на дворе поздняя осень, холодно, да и зимняя стужа не за горами, жить негде, работы готовой для тебя тоже нет, так что, правильнее немного подождать.

— Потерпи три месяца. Даст Аллах — возможно, встретим Новый год в новой квартире, — бодро заключил он, стараясь развеять её тоскливое настроение.

И потянулись напряжённые, полные хлопот будни Айсултана на новом месте. На первых порах голову в гору поднять было некогда. А ведь некоторые считают, будто вместе с должностью только грязь к рукам прилипает. Белоручки! Да быть ему жертвой за этих грешников... Говорят так, видимо, потому, что вечно недовольны своим положением. Разве труд на престижном месте не поднимает и самого человека? Как говорится, рядом с тобой и друзья, и недруги, так что надо радоваться, если твоё место в почёте, — и на самого тебя солнышко брызжет.

Гордый своим новым положением, он пребывал в приподнятом настроении. Хоть и молод ещё, а уже заведует одним из крупных отделов уважаемой газеты. Под его приглядом как бы вся литература и культура республики. Без усталости поднимая проблемы и в этой сфере, он не только командовал, но и сам писал острые, злободневные статьи. Голову переполняли идеи, в жилах клочкотала энергия, а душа, бедняжка, так и летала, торопясь к неизведанным горизонтам.

Незаметно минул месяц.

Работать в редакционном аппарате большой газеты среди сильных, известных на всю республику журналистов оказалось ой как непросто.

Однажды первый заместитель редактора Балтабай Касымбекулы на очередной «летучке» зарезал несколько материалов, подготовленных литературным отделом. Жёстко и беспощадно выговорил. Прекратите, мол, легкомысленно предаваться ветреной

романтике, сокращайте пустую мечтательность и никчёмные длинные описания. Перестаньте, наконец, пичкать и себя, и читателей сладким молозивом яловой тёлки! Сказал так и даже стукнул карандашом по своему чёрному столу. Языкатая редакционная публика замерла. Но Балтекену и этого показалось мало:

— Чтобы впредь никакого словоблудия! — жёстко потребовал и в завершение ещё и боднул головой.

Стук карандашом по столу означал у Балтекена строгое предупреждение. Другими словами, если история повторится, пеняйте, дескать, сами на себя.

Когда говорил Балтекен, сотрудники, даже те, кто обычно за словом в карман не лезет, действительно помалкивали, словно воды в рот набирали. Сразу видно, что связываться с ним побаиваются.

Говорят, с тех пор, как Касымбекулы стал сначала простым, а потом и первым заместителем главного, прошло немало лет. Хотя первые руководители газеты сменялись один за другим, Балтабек-ага прочно держался на своём месте. Не выше, но и не ниже. По словам знающих его коллег, пришёл сюда ещё в пору студенчества — юнцом, у которого молоко на губах не обсохло. Начинал простым корректором, потихоньку рос, поднимался по служебной лестнице и в конце концов дослужился до нынешней высокой должности. Опытный профессионал, досконально знающий и внешнюю специфику, и внутреннюю редакционную кухню. На мякине не проведёшь: разбирается во всех тонкостях газетного дела. И при этом сильный, крепкий руководитель, стойкий в решениях и не поддающийся никакому внешнему влиянию. Видимо, поэтому сотрудники и прозвали его за глаза «серым кардиналом». «Ну, а если вдруг попадётся в немилость к серому кардиналу, он не успокоится, пока тебя в порошок не сотрёт, хуже инквизиции», — нащёптывали редакционные всезнайки.

И при этом коллеги считали Айсултана человеком Жапекена, протеже главного руководителя, о чём и судили-рядили втихомолку. Да хоть бы и так! Ведь именно Жапекен специально вызвал его из области и предложил работу. Причём не рядовым корреспондентом взял, а сразу — на руководящую должность. Глаза у всех есть, вот самые болтливые плуты и загибали пальцы, подсчитывая, когда и в чём Айсултану оказал поддержку Главный. Сам



Айсултан в душе тоже уверовал в это, поэтому ощущал себя как за каменной стеной: коли кочерга у тебя такая длинная, руки никогда не обожжёшь. Однако зря надеялся. Жапекен и слова в защиту не сказал, когда на планёрке первый заместитель чехвостила «его кадра»... Так и не вступился, будто язык проглотил. А ведь мог, мог хотя бы сгладить: дескать, молод ещё, опыта не хватает. На худой конец поднял бы глаза да посмотрел ободряюще в его сторону. Но и этого Айсултан не дождался. Что поделаешь, редактор наглядно продемонстрировал свою партийную принципиальность, лояльность к критике и самокритике.

Как и в каждом уважающем себя учреждении, в их редакции тоже целых три руководителя. Третий — заместитель главного редактора Актан Сартаев, светловолосый и упитанный мужчина, весь кругленький, как колобок. Очень прилежный в работе, миролюбивый и даже кроткий, никогда не влезавший ни в какие дразги.

Моё дело сторона.

В первый же день, когда Айсултан приступил к своим обязанностям, Сартаев самолично, несмотря на своё достаточно высокое положение, пришёл к нему в кабинет поздравить с новым местом. Признался, что они с Айсултаном земляки, и дал понять, как рад его появлению в редакции.

И вот теперь, попав под крутой нрав и жёсткую критику Балтекена, растерянный Айсултан, надеясь на заступничество, посмотрел и на Актан-агу. И поразился. Именно в этот момент по желтоватому лицу Сартаева прошла волна смущения. Покраснел до самых кончиков ушей, словно ему на самом деле стало стыдно за Айсултана. А во взгляде застыл немой укор: «Эй, мальчишка, мотай на ус наставления начальства!»

Да-а...

Прозрев наконец и даже освоившись в новой ситуации, Айсултан сообразил, что помощи ни от старшего, ни от младшего начальника ждать не следует. И решил на будущее соблюдать осторожность и избегать по возможности стычек с серым кардиналом. Да и как не осторожничать: если всё пойдёт нормально, через месяц-другой он должен получить квартиру. Квартира на кону! — ему ведь тоже хочется привезти жену, детей, обустроить угол и стать подобно другим полноправным жителем столицы.

Постарался извлечь урок из высказанных Балтекенем критических замечаний и, как говорится, намотал на ус. Однако чёртово творческое ремесло, как оказалось, дело упрямое: невозможно всё сразу изменить и тут же выдать на гора результаты. Что ни говори, а сдержанный стиль авторитетной газеты, слово которой всегда отличалось — или считалось, что отличалось — весомостью и убедительностью, после молодёжки давался нелегко.

...Алматинская осень иногда бывает необыкновенно щедра на солнце. Именно в один из таких тёплых, солнечных дней Айсултан, с ненавистью сорвав с шеи галстук и расстегнув ворот рубашки, размашисто шагал по редакционному коридору. Откуда ни возьмись, появился Балтекен. Он тоже шёл ему навстречу, выпятив грудь, как молодой самец дрофы.

— Вы, кажется, забыли, в каком учреждении работаете! — напустился он. — Напомню: это — орган ЦК, партийное учреждение. Чтоб больше я не видел вас без галстука!

Замечание начальства равносильно приказу — надо повиноваться. С тех пор Айсултан уже никогда не снимал галстук. Как будто и родился с этой удавкой на шее. Что бы ни случилось, пока не получит квартиру, всё должен вытерпеть.

Промчался ещё месяц.

Как-то Жапекен уехал в командировку, и макет номера Балтекен утверждал сам, в одиночку. Наибольшую часть крупных по объёму материалов предлагал газете отдел Айсултана. Ведь не зря носит он название литературного: очерк, публицистика, стихи, рассказы, эссе — его профиль.

К очередному выпуску Айсултан подготовил один из объёмистых, «литературно» написанных материалов, но тот до выхода в свет «слетел» с газетной полосы. Поэтому вечером Айсултан специально остался в редакции, чтобы принять участие в обсуждении итогового макета. Улучив момент, обратился к исполняющему высшие обязанности:

— Балтеке! — и вопросительно взглянул на начальника, подвинув к нему выпавший из номера очерк.

— Перестаньте без конца подсовывать мне аргынские материалы! — сердито буркнул Балтеке, отодвинув от себя рукопись в десяток страниц.



Растерявшись, Айсултан поначалу аж рот разинул, но быстро взял себя в руки:

— Балтеке, это вовсе не об аргыне, это очерк о Дитюке, Герое труда!

Уловив в его голосе нотки возмущения, сидящие рядом коллеги выжидающе уставились на спорящих. Картина маслом! Балтекен отбросил ручку, сжал ладонями виски и некоторое время безмолвствовал, прикрыв тяжёлые веки и погрузившись в какие-то свои размышления.

— Эх, молодёжь, молодёжь!.. — наконец вымолвил он, всем своим видом показывая, что устал. — Зачем же на рожон лезть, если смысл не улавливаете?! Говоря «аргынские», я имел в виду не аргынов, а тот край нашей необъятной земли, где они обосновались. Оттуда, из Сарыарки, в этом номере уже идут пять материалов. А вы мне шестой подсовываете! Что, кроме Арки, нет других областей?! Вспоминайте и о них! Мы ведь республиканская, а не региональная газета!

Балтекен сказал это не только Айсултану, но, похоже, большинству присутствующих.

Смутившись и покраснев, Айсултан извинился и вышел из кабинета.

— Теперь серый устроит тебе сладкую жизнь! — с готовностью пророчили ему те, кто стал свидетелем этого малоприятного для него разговора.

В последующие недели, ожидая, когда же Балтекен всерьёз возьмётся за него, Айсултан вёл себя смиреннее овцы и покорнее ягнёнка. Настроение тоскливое. Ещё только вчера торопливо и мечтательно подгонял своё будущее, а теперь оно виделось ему неясным, а то и вовсе мрачным, словно окутанным уже не туманом, а тяжёлыми тучами. Надежда на квартиру то исчезала, то вновь брезжила, и в этом тревожном состоянии ему ничего не оставалось, как покориться воле обстоятельств и смиренно тянуть свою лямку.

Пока же Айсултан предавался унынию, на его и без того уже замороченную голову свалилась новая напасть. От судьбы, как говорится, не убежишь — он влюбился. А виной тому стала удивительно красивая девушка Фарида...

Конечно, он не забывал, что на родине остались его богом данная половинка и двое малышей, только начавших ходить. Кроме того, неплохо помнил и о том, что является молодым коммунистом. Пусть ещё и не членом партии, но всё-таки — её кандидатом. А даст Аллах, планировал Айсултан, уже будущей весной станет и полноправным членом Коммунистической партии. И все дороги будут открыты перед ним. Соображал, что любить чужую девушку, даже красавицу, будучи женатым, — это, на языке его же главной партийной газеты, поступок, никак не совместимый с коммунистической нравственностью и совершенно чуждый моральному кодексу строителя коммунизма. То есть — преступление.

Тем не менее, всё это твёрдо зная и хорошо понимая, ничего не мог поделаться с собой: только вспомнит о Фариде, как сразу теряет голову и тает, как воск. Ну, что ты тут скажешь!

И так пребывал в мрачном состоянии, в грустных размышлениях о том, какая же судьба ожидает его завтра, а это новое наваждение только ещё больше осложнило жизнь...

Должно быть, не зря в легенде «Кыз-Жибек» сказано: «У любви своя правда». Наверное, Айсултан любил и Орынтай — богом наречённую жену. Если бы не было любви, они бы не поженились. Во всяком случае, никто не принуждал их создавать семью. Да, это чистая правда, что между ними существует какая-то взаимная привязанность, они испытывают друг к другу нежность. Но так, чтобы как теперь... такого страстного чувства, то полностью лишаящего сил, а то и возносящего на крылах к небу, Айсултан ещё не испытывал. Он заметил, что когда думает о Фариде, даже сердце его бьётся по-иному. Какая-то неодолимая энергия и неведомая сила, никогда прежде не ощущавшиеся, властно влекли его к этой девушке. Он даже ловил себя на мысли: «Похоже, только сейчас я и полюбил по-настоящему». На память пришло — память любит подшучивать, — как подначивал приятелей один его сверстник, собрат по перу: «С годами жена становится почти родственницей, кем-то вроде сестры. Поэтому искать любовь надо на стороне». Айсултан переживал сейчас нечто подобное. Орынтай — любимая мать его детишек, он её уважает, чтит, любит. Даст Аллах, они ещё попируют и наслаются радостями совместной жизни в отпущенный им срок. Ну, а Фаридка... Фаридка — его судьба? Нежданно найденное им в этом суетном мире



редкое утешение для мятущейся его души? И радость его, и духовная поддержка? Или — беда? В любом случае — место у сердца у неё совсем иное...

Фарида приехала в Алматы нынешней осенью из Шымкента. Учится в аспирантуре, по специальности — экономист... Ох, и жизнь! Куда только не заводили Айсултана журналистские пути-дороги! Не скажешь, что не видел он на своём коротком ещё веку красоток — встречал, встречал и круглоликих прелестниц, и обаяшек, манящих, словно солнышко. Однако красавицу Фариду с её гордой статью, сияющую и цветущую, как луна в полнолуние, ни с кем не сравнить. Взгляд выхватывает её в толпе, как единственную идеально прямую тростинку в зарослях ивняка. Её облик притягателен сам по себе, без каких либо ухищрений с её стороны. Глоток прохладного медового кумыса в тёплую пору золотой осени! Завораживает, как нечаянный блеск великолепного алого шёлка. Тонкое лицо лучится светом, а взор, как сказал бы восточный поэт, изливает девичью стыдливость и учтивость.

Стоит Айсултану подумать о Фариде, как всё его существо наполняет какое-то возвышенное воодушевление, в голове начинает гулять ветер, а тело плавится, как свинец. Перед глазами так и колышется голубенькое платье Фариды, он видит, как ветерок играет её шелковистыми волосами... И душа, теряя покой, тревожно мечется. Внутри что-то вскипает и даже плещет через край. Достаточно одной искры — и он взорвётся. А если в следующий миг Айсултан вдруг вспомнит, что он молодой коммунист, работающий в авторитетной партийной газете, то и это не отрезвляет его, а вводит в ступор.

В последнее время взял за привычку сидеть, уставившись в одну точку, и предаваться глупым мечтам. Грёзы щекочут грудь, легонько покалывают сердце. Но ничем не подкреплённые, они вскоре тают, теряя свою яркость, как выгорающая на солнце точная ткань.

— Зря я тебя повстречала, — грустно обронила однажды Фариды. — Наверное, теперь слёзы на моих глазах никогда не высохнут.

Апырмай, почему она, девушка умная и понятливая, произнесла столь тяжёлые слова? — удивился про себя Айсултан, и мысли его опять разбежались по разные стороны с чувствами.

В Алматы оба считались пока ещё чужаками, поэтому людей, которые бы их знали, практически не было. Тем не менее, когда Айсултан с Фаридой бывали в театре или на концерте, им обязательно встречался хотя бы один какой-нибудь знакомый. «Твоя супруга?» — тут же следовал вопрос, ведь никто ещё не видел Орынтай. И Айсултан всегда старался поскорее прошмыгнуть мимо таких знакомцев.

В конце концов пришёл к выводу, что как ответственный работник партийной газеты и молодой коммунист не может открыто появляться с Фаридой на людях. И они перестали посещать людские места. Вынужденные избегать излюбленных молодёжных мест, времяпрепровождения в гуще развлечений и шумных сборищ, они поневоле, несмотря на возраст, почувствовали себя взрослее своих лет.

Айсултан с Фаридой уединялись в каком-нибудь маленьком, тихом кафе или забирались в тенистый уголок парка и, прячась от чужих взглядов, внимали друг другу. Одной исполнилось двадцать три, другому — уже тридцать. Естественно, через некоторое время им начала надоедать такая сублимация: обниматься, сидя на потайной скамейке, целоваться в тени деревьев. Души их метались в поисках другого.

Как-то в момент сладкого беспамятства, обнимая подругу, Айсултан отважился и шёпотом предложил:

— Давай пойдём завтра в гостиницу?

Эту мысль он уже давно вынашивал, но всё стеснялся высказать вслух. А тут и сам не понял, как она слетела с уст. Боялся, что оскорблённая Фарида даст ему звонкую пощёчину и убежит. Слава богу, девушка согласно кивнула головой... Завтра, между прочим, суббота. Так что, впереди два выходных дня...

Не так давно их литературный отдел проводил «круглый стол», посвящённый культуре гостиничного обслуживания. В обсуждении приняла участие и одна женщина-татарка из гостиницы «Алатау». Её кандидатуру предложило городское управление гостиницами, мотивируя, что в силу своего огромного опыта она как никто другой подходит для дискуссии по данной теме.

Всю жизнь эта женщина обслуживала гостей в домах отдыха и санаториях, а последние годы работает в «Алатау». Прекрасно говорит по-казахски, остра на язык. Она действительно оказалась на

редкость интересной, много повидавшей на своём веку. Айсултан вспомнил: она упомянула, что до выхода на пенсию ей осталось всего полгода. Он сразу после круглого стола взял это знакомство на заметку: авось, пригодится в дальнейшем.

Когда же у него, наконец, вырвалось слово «гостиница», Айсултан как раз и вспомнил эту женщину. Давно мечтал найти к ней подход и выпросить номер. Надо решаться.

Наутро первым делом отправился в «Алатау». Видимо, Аллах Всемогуший услышал его мольбы: недавняя знакомая как раз ранним утречком приняла смену и дежурила на своём месте.

— А, ты — парень из редакции! Помню-помню, мне было очень приятно, когда прочла в вашей газете свои слова и даже увидела снимок, — воскликнула она, узнав Айсултана.

Немного поболтали, потом он замялся, не зная, с чего начать разговор о главном. Апаё это заметила:

— Светик мой, ты ведь номер хочешь попросить? Понимаю... Из аула кто-то приехал или...

— Нужно... апаё...

— А, видать, с девушкой решил встретиться... Ладно, дело молодое. Приходите попозже, вечером, а рано утром сама вас разбужу.

Айсултан смущённо протянул ей синенькую «пятерку», но женщина решительно оттолкнула его руку и улыбнулась:

— Твои пять рублей не сделают меня богаче. Лучше будьте осторожнее. Смотрите, чтобы вас не застали.

Вечером Айсултан с Фаридой приехали в гостиницу. Апаё сдержала слово и проводила их в светлый, просторный номер. Айсултан предусмотрительно захватил с собою вино, сок и зелень. Спустившись на пятый этаж, прикупил ещё и пакет закусок. Еды теперь за глаза.

Но апаё, заметив Айсултана в коридоре, строго предупредила:

— Нечего тут мельтешить, не выходите больше!

После этого он, как суслик, больше не высовывался наружу.

Наконец они одни. Вдвоём! В углу — телевизор, в их распоряжении удобная кровать. Хочешь ополоснуться — ванная, манящая сверкающей чистотой. Конечно, Айсултан и прежде бывал в гостиницах, однако впечатление от номера, в котором оказался наедине с любимой девушкой, было особенным. Наверное, Айсултан

и на него, как и на Фариду, смотрел другими глазами. И отделанто он иначе, и наряднее как-то, и светлее, чем номера, в которых ему доводилось коротать ночи в командировках. Можно не бояться чужих взглядов и пересудов. Никто не мешает — одно удовольствие и полная свобода. Подобное казалось ему неосуществимой мечтой, но, слава Аллаху, мечты, оказывается, иногда сбываются.

Соскучившись по такому счастливому одиночеству вдвоём, они долго сидели за бокалом вина и задумчивым разговором, не сводя друг с друга глаз. Но чёму быть, тому не миновать — не за разговорами же они сюда приехали. Не миновать — двое влюблённых в конце концов совершенно забыли и о жизни за пределами приютившего их гостиничного номера, и обо всём бескрайнем мире. Парили в забытьи и друг в друге.

Это была самая удивительная ночь в жизни Айсултана, и не потому, что он давно монашествовал. Нет. Такого с ним ещё никогда не случалось: он пребывал на вершине самонадеянного мужского блаженства. Настроение — лучше не бывает, душа обзавелась крылами, улыбка не слезает с лица, сердце поёт, глаза опять засветились живым огнём. Айсултан никогда не чувствовал себя таким счастливым.

* * *

Кажется, только что, разомлев, наконец уснул, но дребезжанье телефонного звонка медленно вынуло его из сладкой дрёмы. Оказалось, четыре часа утра. Звонила приютившая их знакомая апай. У неё голос странно испуганный.

— Милые, быстро вставайте... Облава!

И бросила трубку.

— Что случилось? — спросила спросонья Фаридка.

— Говорит, облава.

Оба моментально вскочили, стали торопливо одеваться. Фаридка, перекинув через руку одежду, юркнула в ванную. Айсултан включил свет и распахнул балконную дверь.

Когда спешно заправлял постель, в номер постучали. Даже не постучали, а заколотили кулаком, едва не выламывая хлипкую деревянную дверь.

— Откройте! Оперуполномоченные госбезопасности! — раздавалось с той стороны.

— О боже, КГБ!..

В одно мгновение Айсултан покрылся холодной испариной. Его охватило жуткое смятение: ни дать, ни взять — воробышек, попавший в сеть. Ноги предательски подкашивались, руки тряслись. Еле доковылял до двери и, звеня непослушным ключом, открыл.

Перед ним три угрюмых парня. Кивнув головами, поздоровались, один за другим показали свои удостоверения. Все — старшие лейтенанты... Прочёл фамилии: один русский — Бондарин, второй — казах Темиргалиев, третий — кореец Ким. Интернационал. Попятившись, Айсултан пропустил их в номер. Из ванной выскользнула Фарида, уже успевшая привести в порядок волосы. Увидев незнакомых людей, побледнела как полотно, губы её задрожали.

— Ваши паспорта...

Айсултан вытащил паспорт из висевшего на спинке стула пиджака, Фарида — из сумочки, которую уже держала в руках. Молча протянули документы.

Пока двое листали и изучали их, третий, русский, тщательно осмотрел номер, вышел на балкон и вернулся в комнату. На улице ещё совсем темно.

— У вас обоих городская прописка... Как же вы оказались в гостинице?

Айсултан попытался ответить, но Бондарин перебил его:

— Знаем-знаем... не стоит оправдываться. Вы, гражданин, пришли в общественное заведение, чтобы порезвиться с девушкой. И не стыдно?!

— Мы любим друг друга! — в замешательстве выпалил Айсултан.

— Вы ведь женатый человек... Может, завлекли сюда девушку обманом и совершили насилие?

— Нет-нет, миленькие, я пришла по своей воле! — всполошилась Фарида.

— Ребята, я и вправду очень сильно люблю её! — повторил Айсултан.

— Красивых женщин все любят, — усмехнулся кореец, сузив и без того узкие глаза.

— У нас взаимное чувство, мы действительно любим друг друга... Девушка пришла сюда по своей воле. Так какое же противоза-

конное деяние мы совершили? Виноваты в том, что любим друг друга?! — кипятился Айсултан, призывая их к чести или хотя бы к круговой мужской поруке.

— Об этом позже узнаете! — с явной издёвкой ответил ему Темирғалиев.

Бондарин подал знак, и Ким, открыв дипломат, вытащил бумагу и ручку.

— Вот так, гражданин... Придётся заполнить протокол.

Когда кореец, разложив перед собой паспорта, принялся писать, Фарида, вцепившись в его руку, расплакалась.

— Миленькие, пожалуйста, не причиняйте ему вреда... Я очень его люблю. И здесь я по своей воле. Простите... на первый раз! — взмолилась, заливаясь слезами.

Айсултан, не зная, что предпринять, как подкошенный, опустился на кровать. Весь взмок от пота. Спустя мгновение, всё ещё надеясь на сочувствие и понимание, заговорил:

— Ребята, мы с вами примерно одного возраста. У каждого могут быть ошибки, ведь это жизнь. Простили бы, действительно, на первый раз, не заполняли протокол, а? У меня в кармане триста рублей — разделите между собой в благодарность за вашу человечность! — и по очереди посмотрел на каждого из троих.

Темирғалиев соорудил недовольную мину — как, видите ли, неприятно поражён этими словами — и, усмехнувшись, посмотрел на заполняющего бумаги корейца. Кореец, опять прищурившись, перекинул взгляд на русского. Ну, а Бондарин, молодой мужчина с холёными тонкими усами и голубыми глазами, вытер уголком носового платка губы и, насупившись, изрёк:

— Не болтайте лишнего — если и это попадёт в протокол, вам же хуже будет!

Что они ещё могли сделать? Нагрянувших с проверкой сотрудников КГБ не тронули ни мольбы, ни слёзы. Не дрогнув, незваные гости тщательно опросили обоих, не спеша заполнили протокол, а затем, в подтверждение, взяли ещё и их подписи. Наконец, вежливо откланялись, будто ничего не произошло, и гуськом вышли из номера.

Когда они удалились, Фарида, закрыв лицо руками, разрыдалась уже в голос.

После этого позорного инцидента Айсултан долго и потерянно бродил, как рыба, побитая ледоходом. Проводив девушку домой, он, словно заведённый, снова встал вперёд по терренкуру. Один раз даже поднялся по ущелью вплоть до Айнабулака. Но и терренкур, где свежо и гуляет ветер, не смог остудить встревоженного сердца — внутри всё горело. Чувствовал своё полное бессилие, и от этого становилось ещё хуже. Здесь, в Алматы, у Айсултана ни одного близкого человека, кому он мог бы поверить тайну души, — только Фарида. Сегодня он ещё раз убедился в этом. Обливаясь слезами, она накануне сказала, что готова на всё. Её признание прозвучало как клятва. Айсултан понял: Фарида поддержит любое его слово, готова пожертвовать собой ради него. Это она настояла на том, чтобы в протокол занесли: Айсултан не затащил её обманом в гостиницу и не совершал никакого насилия, она пришла туда по своей воле, поскольку любит его.

— Мы лишь проверяющие, а какой из всего этого последует вывод — решать начальству, — пояснил один из троих.

Похоже, они не очень-то доверяют друг другу, во всяком случае деньги не взяли, оставив предложение Айсултана без ответа. А ведь накопленные им триста рублей — сумма немалая, больше, чем его двухмесячная зарплата. Правда, и дополнительный грех, обвинив его в даче взятки, навешивать не стали. Как же расценить их молчание? Выходит, никто из троих вроде и не осадил его? Только взглядами перекинулись, будто подстерегали друг друга. Видимо, именно по этой причине в дежурную группу включают представителей разных национальностей. Надо же, какая хитроумная политика! КГБ на то и есть КГБ!..

Вообще-то о том, что в гостиницах время от времени устраивают облавы, Айсултан и раньше слышал. По сути — заурядная проверка. Устроители облавы приезжают в гостиницу внезапно, без предупреждения, перекрывают входы-выходы и ставят на них караульные наряды. Потом по этажам отправляют проверяющих. Ночь на дворе или день, не имеет значения. Патруль обходит номера, требует открыть каждый и всё досконально осматривает. Разыскивают незаконных постояльцев, поселившихся с помощью взятки дежурному, тех, у кого нет документов, но самое главное — украдкой «гостящие» парочки. Облавы периоди-



чески проводит и городское управление гостиницами, а иногда — милиция. Ну, а раз в квартал — само их величество КГБ. Как слышал Айсултан, эта — самая опасная по последствиям. К несчастью, они как раз и попались в сети облавы КГБ! Вот уж не повезло!

Не зная теперь, что и предпринять, Айсултан метался по терренкуру, точно верблюд в пору мартовского гона. Земля уходила из-под ног, он понимал, что попал под прицел, и панически искал выход. Но чувствовал свою полную беспомощность, словно барахтался теперь в другой ловушке — между жизнью и смертью. Как бы там ни было, должен что-то придумать, дабы выбраться из этой позорной переделки. Иначе... Иначе выгонят из партии, уволят с работы... И — прощай тогда квартира. Все его устремления обратятся в прах, и на будущем можно поставить крест. Маячила безрадостная, но весьма реальная перспектива в одно мгновение лишиться всего и стать безродным бродягой.

О, если бы ему удалось выйти сухим из этого испытания, он бы показал потом...

Снуя туда-сюда по терренкуру и мучительно размышляя, Айсултан нашёл, наконец, выход: завтра с утра пораньше пойдёт в городское управление КГБ, зайдёт к начальнику этой троицы, всё как на духу расскажет и попросит о снисхождении. Шкуру тот с него не снимет — что случилось, то случилось, назад ничего не вернёшь. Либо головы лишится, либо пожурят да простят. Если начальник не отнесётся с пониманием, он смирится с судьбой и возвратится к себе в область. Понятно, что после такой скандальной истории его на прежнее место уже не примут. Исключённый из партии человек с «неустойчивым моральным обликом» даже учительствовать не достоин. Ну, что ж, поедем в аул и станем пастухом — другого будущего Айсултан для себя пока не видел. Приглядывай за овцами да попивай айран. И пиши себе без всяких заданий... Пусть у него отнимут всё, но данный богом талант, перо в руке отнять не смогут. Спасибо и на том!

Поразмыслив, Айсултан твёрдо остановился на своём решении.

* * *

За всю ночь ни разу не сомкнул глаз. Лишь под утро, впад в забытьё, задремал, но тут же в страхе проснулся. После этого уже

не стал валяться в постели, принял холодный душ, выгладил одежду и стал готовиться к встрече.

Наверное, войти в городское управление КГБ большинству людей не так-то просто, но корреспонденту главной газеты республики препятствовать не стали. Дежурный лишь позвонил своему руководству и тут же пропустил его.

Начальник оказался хмурым смуглолицым казахом с толстыми губами по фамилии Айткулов, на вид ему далеко за сорок. Не дожидаясь вопросов, Айсултан, расположившись на стуле напротив, коротко рассказал о случившемся. Пока говорил, начальник молча сидел, выпучив на него глаза. Не перебивал, но едва Айсултан умолк, изумления своего скрывать не стал:

— Я вас принял как корреспондента партийной газеты, а вы тут... — не закончив фразы, он прищёлкнул от удивления языком и покачал головой.

— Агай, видите, и корреспондент порой ошибается, совершает необдуманные поступки, — на одном дыхании произнёс заранее заготовленный спич Айсултан. И как по сценарию, опустил взгляд. — Виноват, простите на первый раз. Больше такое не повторится...

Втянув шею в плечи, Айткулов погрузился в невесёлые размышления. Потом позвонил куда-то и приказал принести вчерашний протокол. Оказалось, всего пара страниц. Тщательно с ними ознакомился. Завершив чтение, закрыл папку, отодвинул на край стола и снова погрузился в раздумья, не произнеся ни звука. Чёртов сфинкс! Айсултан сидел ни жив, ни мёртв. Глаза предательски бегали, поэтому он предусмотрительно и сверлил ими пол.

— Вы же работаете в органе ЦК! — произнёс через некоторое время сфинкс, откинувшись на спинку стула.

— Так и есть, агай.

— Ещё и семейный!

— Да, агай...

— Если это так, то чего же вы гуляете на стороне?

— Мы любим друг друга!

— Возможно, и любите, но к чему было устраивать притон в гостинице, позоря государственное заведение?

— Мы не устраивали притон. Вели себя вполне прилично.

— Светик мой, место, куда идут развратничать, и называется притоном. А гостиница — государственное заведение, усвойте это!

— А куда же нам идти, агай? Считаете, что лучше прятаться где-нибудь под забором?

Айткулов невольно прыснул. Этот смешок приободрил Айсултана, как будто сбросил половину груза, давившего ему грудь. Надо же — какой пристрастный допрос ведёт... Или таков служебный порядок?..

Как бы там ни было, Айсултан неожиданно осмелел:

— Некуда было идти, вот и решили отдохнуть по-людски в гостинице...

— Деньги дежурной давали?

— Предлагал, но она не взяла.

— Лжёте...

— Это правда, агай!

— Дежурная, конечно, будет уволена по статье... возможно, и дело возбудят...

— Да что вы, ей ведь до пенсии всего полгода!..

— Это нас не касается.

— Может, простите на первый раз и меня, и эту женщину?

— Какое вам дело до неё? Спасайте прежде всего собственную голову...

— Будь по-вашему.

— Вы совершили поступок, который не к лицу коммунисту.

Понимаете это?

— Ещё как понимаю... Но я пока не коммунист.

— Кто же тогда?

— Я кандидат. Когда стану полноправным членом партии, дисциплины не нарушу. Налево ходить не буду. Даю вам слово! — уже горячился Айсултан.

Начальник опять прыснул. Айсултан снова уловил в его усмешке искорку своей надежды и, решив во что бы то ни стало добиться желаемого, униженно взмолился:

— Агай, простите меня, пожалуйста! На первый раз! Не губите моё будущее! Я стою в очереди на квартиру... Мечтаю стать хорошим писателем... Поверьте мне. Всё это теперь висит на волоске. Моя судьба — в ваших руках.

Айткулов вновь задумался.

«Я считал, что в этом учреждении все словно в футлярах — до сердца не достучишься, но и здесь, оказывается, работают люди, способные на сочувствие», — пришла Айсултану в голову мысль. Озвучить? Ему оставалось только надеяться, что его беда вызовет понимание и участие.

— Браток, понимаю твоё положение, — заговорил, наконец, начальник, сделав вид, что сочувствует ему. — Но делу дан ход, оно попало в ЭВМ. Теперь уже нет возможности закрыть его или приостановить. Это не в моих силах. Однако...

— Что бы ни сказали, я на всё готов! — Айсултан аж вскочил с места, прижав ладони к груди.

— Садитесь... Моя помощь будет заключаться в следующем... В каждом учреждении есть три руководителя. Наверное, и у вас так. Одному из них я должен направить письмо с просьбой принять административные меры. Кому из трёх начальников адресовать его, решайте сами. Обдумайте!..

Слова Айткулова показались Айсултану проблеском света в конце тоннеля. Он задумался. В течение этих двух минут события последних двух месяцев лихорадочными кинокадрами прокрутились в его голове. Кому из трёх руководителей правильнее отправить письмо? Нужно принять безошибочное решение. В чьи руки попадёт «телега», от того и будет зависеть его дальнейшая судьба.

Конечно же, в первую очередь Айсултан подумал о Жапекене, главном редакторе. Всем известно — это именно тот руководитель, который специально пригласил его из провинции и предложил работу. За прошедшее время Айсултан и сам неплохо изучил этого человека, к тому же вспомнил кое-что из пересудов коллег, всё это рассортировал и взвесил.

Самое главное, Жапекен по духу — натуральный коммунист, с чем никто спорить не станет. Это качество сильно отличает его от других, оно прямо за версту ощущается — и по строгости в выборе одежды, и по походке, и по манере говорить. Такие люди, безоглядно преданные какой-либо идее, подобны голому клинку: могут, не задумываясь, перерубить всё, что попадётся под горячую руку.

Айсултан представил, как Жапекен будет читать роковое письмо. Прочтёт, брезгливо отодвинет и, недолго думая, отбросив на-

зад тронутые сединой волосы, тотчас соберёт редколлегию. Потом, захватив какую-нибудь скрепку, начнёт тихонько постукивать ею по столу. Он всегда так делает, когда говорит что-нибудь, на его взгляд, очень важное, в особенности, если делится серьёзными мыслями и новыми идеями, которые могут принести пользу партии... Постукивая по столу зажатой между пальцами скрепкой, он сначала какое-то время молча посидит с суровым видом, зорко оглядывая присутствующих. Потом начнёт цедить слова сквозь зубы.

— Уважаемые коллеги, я совершил проступок в отношении кадровой политики партии. Оказал молодому журналисту великое доверие, пригласив его в наш коллектив из области. Но я ошибся, товарищи! Этот человек совершил неподобающий, чуждый партийной морали поступок и тем самым опозорил меня... И не только меня, он осрамил и вас — коллег, вместе с которыми работает...

Конечно, Жапекен сделает из случившегося показательный урок. Чтоб и другим не повадно было. Коли виноват, всегда нужно быть готовым нести ответственность. Даже себя самокритично пожурит. Наглядный воспитательный процесс. В результате которого Айсултан наверняка окажется за порогом редакции.

Представив эту картину, Айсултан пришёл к заключению, что не следует в столь щекотливом деле доверяться Жапекену, хотя тот и взял его на работу.

Второй, кто пришёл на память, — это, естественно, его земляк, светловолосый и кругленький, как колобок, Актан Сартаев. У него ровный, покладистый характер, напоминающий тихую озёрную гладь, заросшую тростником и кугой. Сартаев из одних с Айсултаном краёв, почти что родич. В триумвирате руководителей, возглавляющих коллектив редакции, он самый молодой.

Айсултан вспомнил, как Актан-ага по-братски пригласил его домой в первые дни службы на новом месте. В беседе за щедрым столом проявил явное родственное покровительство. Наставлял Айсултана, говорил о его долге достойно продолжать традиции прежних заведующих литературным отделом — маститых профессионалов. А потом открыл небольшой секрет: все бывшие руководители отдела поднялись ещё выше, так что доставшаяся ему должность, оказывается, весьма перспективное место. Актан-ага

напомнил, что сесть в кресло — работа, а вот с достоинством держаться в нём — искусство.

В литературный отдел заходят многие знаменитости, от Габита Мусрепова и Габидена Мустафина до Хамита Ергалиева и Сырбая Мауленова. И, естественно, заводят интересные беседы — такие, что заслушаешься. Причём тянутся в редакцию не от нечего делать, а потому что считают газету средоточием духовной жизни, интеллектуальным центром. Конечно, и труд журналистов оценивают: бывает, нахваливают, а бывает, и нещадно критикуют.

— Равняйся на них, старайся сохранять справедливость, будь на высоте, — вдохновенно читал ему проповедь Актан-ага. Затем разложил по полочкам, как Айсултану следует вести себя, влившись в непростой коллектив. Как и с кем позволительно говорить, с кем можно сблизиться, а от кого лучше держаться подальше. Кроме того, Сартаев предупредил: чтобы быть замеченным, необходимо в каждый номер сдавать один хороший материал и систематически, хотя бы раз в месяц, в обязательном порядке выдавать целую полосу.

Мгновенно припомнив всё это, Айсултан задался вопросом: «Всё это так, однако что сделает мой ага-покровитель в этой ситуации?» Открыв конверт и прочитав письмо, Актан-ага наверняка сразу вызовет Айсултана к себе в кабинет. Когда Айсултан войдёт, ага тут же вскочит и пойдёт навстречу. Лицо у него будет тёплым, но явно огорчённым. «Айналайын, братишка, как же так... как тебя угораздило, а? — скажет, с сожалением покачав головой. — Вон, бумага на тебя пришла... — и укажет пальцем на распростёртое на столе письмо. — Специально пригласил тебя, чтобы ты узнал об этом раньше других. Письмо из КГБ! А с КГБ шутки плохи, сам знаешь. Тебе вменяют большой грех. Дают строгое указание разобрать твой случай. Я обязан выполнить... Теперь твоё дело должен вынести на обсуждение коллектива — пусть он и решает. Позвал тебя, чтобы заранее предупредить», — осторожным шёпотом закончит он. Ласково и учтиво попросит простить за вынужденные меры. Против лома, мол, нет приёма. Таким вот образом и отделается и от угрызений совести, да, в общем-то, и от обременительного «родича».

Да-а...

Сартаев ещё молод, всё у него впереди: мечтает взлететь ещё выше. Потому и осторожничает, да и по натуре, видимо, скользкий. Показав Айсултану письмо раньше всех, Актан-ага будет уверен, что уже исполнил свой земляческий долг. Ну, а если вынесут случившееся на обсуждение коллектива, — пиши пропало. Кто проявит к Айсултану сочувствие? Да никто. Выскочка, мол. Так ему и надо. Да ещё и жена обо всём узнает — крик, шум, развод и раздрай...

Чем так осрамиться перед родными, лучше самому написать заявление об уходе, скрыв постыдную историю. «Однако просто так заявление вряд ли подпишут — помуряжат, помучают, пока из партии не выгонят!» — сообразил Айсултан.

Итак, ситуация с двумя начальниками, теми, кто симпатизирует ему, вполне ясна. В запасе лишь серый кардинал...

Сам Айсултан тому свидетелем не был, но слышал, что Балтекен, то есть первый заместитель редактора Балтабай Касымбекулы, оказывается, недурно поёт, подыгрывая себе на домбре. Говорят, этим летом — тогда Айсултан ещё не работал в газете — редакционные заводилы организовали выезд коллектива в горы. Хотя Балтекен даже не прикоснулся к водке, но и он на лоне природы как-то повеселел, прямо-таки изливался песнями и кюями. Настолько, говорят, разошёлся, что даже затянул «Аккум»¹ — а эту считающуюся народной песню любят все, но петь могут единицы. Ещё ходят слухи, будто однажды сверху поступил звонок о внеочередном выделении квартиры одному сотруднику со связями. Все взяли под козырёк, но Балтекен вмешался и восстановил справедливость: заставил дать квартиру очереднику, простому корректору. Эти рассказы сразу пришли на память. Вспомнил, сидя перед гэбешником, и о пророчествах старших коллег, что серый кардинал его со свету сживёт, — они тоже оказались пустой болтовнёй.

Сколько ни дрожал Айсултан, но кары Балтекена так и не пали на его незадачливую голову. Это чистая правда, за которую он сам может поручиться. Не такой уж он серый, этот кардинал. Всё. Перебирать больше некого. И Айсултан принял твёрдое решение и,

¹ «Аккум» — знаменитая песня Ахмета Байтурсынова.



готовясь объявить его, пригладил ладонью встопорщившиеся от напряжения волосы.

— Ну, как, обдумал? — поинтересовался Айткулов и, выпрямившись, встал с места.

Его движение как бы означало: «Эй, парень, некогда мне расслаживаться тут с тобой, выкладывай своё решение и вали». Айсултан тоже встал, наклонившись вперёд, словно был на привязи.

— Отправьте первому заместителю... Его зовут Балтабай Касымбекулы. Это второй руководитель газеты...

Айткулов, уткнувшись в ежедневник, что-то писал. Ещё раз спрашивать не стал. Обычно большие начальники слушают речи подчинённых вполуха, а потом переспрашивают. Айткулов же, склонившись, продолжал писать. Может, что-то совсем другое записывает?

— Второй руководитель...

— Я слышал, милый, не глухой... — проворчал Айткулов, но беззлобно. — Оставь свой номер телефона. Прежде чем отправить письмо, мы тебе позвоним.

— Когда?

— На этой неделе... Звонок ожидай с утра!

Айсултан входил в печально известное управление с опаской, словно путник, заметивший на дороге льва, а вышел в приподнятом настроении. До разговора с Айткуловым бедная душа его, лишённая покоя, будто на сковороде жарилась, а теперь почувствовал облегчение. Мысли повеселели, и он облегченно выдохнул, точно выбрался из пропасти.

* * *

Всю неделю провёл, как на иголках, не зная, куда себя деть. Голова вновь прямо вспухла от дум. Ходил хмурый, напрочь лишился сна. И всё из-за обещанного звонка Айткулова, из-за письма, которое должно прийти из КГБ. Ожидание изматывало. Хотя служба начиналась в девять, бедолага просыпался чуть свет и вскоре уже остолбенело сидел на своём рабочем месте. Все его мольбы и надежды обращены к стоящему перед ним чёрному телефонному аппарату. Он уже заискивал перед ним в томительном ожидании звонка. Сфинкс же словно испытывал его нервы — тишина, никаких известий.

Развязка затягивалась, Айсултан снова впал в смятение — улыбнувшееся ему солнце опять заслонила сумрачная тень.

Работа, естественно, пошла прахом, сдачу материалов в номер и изучение читательской почты он поручил двум своим подчинённым, а сам шатался, бездельничая. Так что, вся эта неделя, которую он, по сути, провёл, глядя в одну точку, была совершенно пустой. Айсултан чувствовал себя никому не нужным, одиноким, как молодой конь, которого только что отделили от родного косяка. «Мальчишка, — думал он в сердцах, — ты гоняешься за несбыточной мечтой, удача изменила тебе».

Мысли роились, он не мог ни на чём сосредоточиться. Пугало теперь и другое — что он будет делать, если выбранный им второй руководитель даже слушать его не захочет? Тогда и мечта, лелеемая как хрупкий цветок, и всё, чего он так жаждал, останутся лишь сладким сном. Только вклинился в стремительную скачку жизни, только набрал скорость — и вот всё кувырком. Но что он может сделать?.. Нет ничего хуже беспомощного ожидания, когда, будто в насмешку, ключи от твоей судьбы находятся в руках у другого. Герой, затеявший непосильное дело, видно, лишается в итоге даже способности мечтать... «Что должно было случиться, то и случилось хоть бы теперь бы лишь поскорее приняли бы решение», — смирился он в душе.

Однако томительно ожидаемый телефонный звонок всё же раздался. В пятницу, завершив длинную, беспокойную неделю.

...Придя, как обычно, ранним утром, Айсултан напряжённо ждал. Когда же телефон, наконец зазвенел Айсултан со страху посмотрел сначала на часы. Оказалось, половина девятого. Он! В такое время нормальный человек в редакцию не позвонит. Осторожно, как нечто чрезвычайно опасное, снял дрожащей рукой телефонную трубку.

Так и есть! — из небезызвестного управления. Но не Айткулов, а какой-то незнакомец с грубым голосом. Поздоровался, спросил имя и фамилию, потом прогремел, что в половине десятого Балтабау Касымбекулы будет доставлено письмо. И бросил трубку.

Айсултан вскочил, пулей кинулся в кабинет Балтекена. Секретарша копошилась у окна, поливая цветы. Шеф ещё не пришёл.

— Ты чего так исхудал, аж глаза запали? — участливо спросила апай, увидев возникшего на пороге Айсултана. — И бледный такой, да что с тобой?



Но сейчас ему было не до того, чтобы по-человечески ответить на её участливые расспросы.

— Апай, в половине десятого Балтекену принесут важное письмо. До этого никого к нему не пускайте! — попросил он.

Видимо, голос вышел жестковатым, потому как апай, оставив цветы, пристально посмотрела на него.

— Всё спокойно, милый?

— Этого покоя я и жду, апай... Никого не пускайте!

— Хорошо, душа моя... Не пустим!

Тем не менее, Айсултан старался и сам не выпускать кабинет первого зама из поля зрения. Издали карауля дверь в его приёмную, он как часовой, в тревоге прохаживался взад-вперёд по коридору. Вскоре группами стали подтягиваться коллеги. С кем-то он здоровался, других избегал, отвернувшись к окну и вперив взгляд на улицу.

Около девяти все разбрелись по кабинетам, и в тишине послышались чьи-то размеренные шаги. Тяжело ступая, показался сам Балтекен. Важный, как петух, не спеша вошёл в свой кабинет. Как правило, когда он появлялся, к нему тут же, с утра пораньше, заходили два сотрудника и докладывали редакционные новости. Вот и сегодня эта сводная парочка по обыкновению юркнула в приёмную вслед за Балтекеном. Похоже, апай окатила их водой, которой поливала цветы, во всяком случае, они тотчас же выскочили назад, понуро свесив головы. Через секунду Айсултан сам поспешил к дверям приёмной. И словно заступил в армейский караул.

Когда-то, в армии, ему доводилось стоять в караулах, вот и теперь проклятое время как будто остановилось. Каждая минута, казалось, растянулась в час... Айсултан вконец измучился, словно балансировал на острие копья.

Наконец посыльный пришёл...

Надо же, какая пунктуальность! Когда осталось ровно две минуты до половины десятого, появился незнакомый, подтянутый парень в штатском и поинтересовался:

— Где сидит Касымбекулы?

— За этой дверью.

Разрешения не спросил, сразу вошёл в кабинет Балтекена. Через минуту, а может, и раньше, вышел и удалился.

Айсултан мысленно прикинул: сейчас Балтекен вскрыет письмо, прочтёт — на это хватит и пяти минут. Правильнее войти именно в этот момент, не дав начальству времени на размышления.

Так и сделал. Подождал пять минут, отслеживая по часам, тихонько открыл дверь и проскользнул внутрь. Секретарша сделала вид, что ничего не заметила.

Рабочий стол Балтекена всегда чист, будто вылизан. При чьём-нибудь появлении он немедленно убирает в ящик не только документы, но даже газету, которую читал. На этот раз иначе — принесённое посылным письмо распечатано, по всей видимости, прочитано и лежит на краю стола.

Айсултан кивком поздоровался и быстро сел на один из стульев. Тут же, без паузы, принялся рассказывать о цели своего визита:

— Балтеке! — голос хриплый и дрожащий. — Балтеке, у меня была возможность попросить направить это письмо Байтасову или Сартаеву. Но я, поразмыслив, рискнул сказать, чтобы передали вам...

Это были слова, которые Айсултан репетировал всю неделю и выучил наизусть. Потом перешёл к следующей заготовке:

— Балтеке, и вы ведь были молоды. Ваш непутёвый братишка совершил ошибку и попал на крючок. Вот моя голова — можете снести её, а если простите, до самой смерти буду у вас в долгу. Вся моя дальнейшая судьба в ваших руках! — и он выжидающе опустил глаза.

Балтекен, постукивая пальцами по столу, вперил взгляд, но не в него, а в сторону двери. Как будто и не слышал фраз, которые его молодой посетитель подбирал всю неделю. А если и слышал, выходит, пропустил мимо своих торчком торчащих ушей.

Сердце Айсултана ёкнуло. Другой в подобной ситуации мог бы вообще свалиться со стула, сражённый сердечным приступом. Он же, бедолага, попав в скверное положение и ожидая нагоняя, лишь затаился, втянув голову в плечи.

Прошло немного времени, и Балтекен тяжело вздохнул, затем мощно откинулся на спинку кресла.

— Хоть и не говорил тебе, даже виду не подавал, но в душе я всегда надеялся, что у тебя большое будущее, — сказал он неожиданно мягким голосом. — А ты ведь, милый мой, не оправдал моих

надежд. Где же была твоя голова?! Разве можно наступать босою ногой на огонь?!

Айсултан ждал чего угодно — бурного начальственного гнева, жёсткой отповеди, ругани, крика... Но уж точно не предполагал, что услышит подобные тёплые слова.

Балтекен помолчал, потом указал кивком на письмо, лежащее на краю стола, и продолжил:

— Беда в том, что вслед за этим спрос будет... Я, правда, человек бывалый и не из таких переплётов выпутывался. Придумаем что-нибудь, закроем проблему. Однако пусть это станет тебе уроком на всю оставшуюся жизнь...

Пошатываясь, Айсултан встал. «Надо бы поблагодарить, прежде чем уйти», — мелькнула мысль, и он остановился. Балтекен вопросительно приподнял бровь: мол, чего торчишь?

— Тысячу и одно спасибо вам, Балтеке! Но, чтобы у вашего братишки сердце встало на место, может, порвёте на моих глазах эту проклятую бумажку? — Айсултан указал рукой на сереющее на краю полированного чёрного стола письмо, в котором заключались все его несчастья.

Балтекен неодобрительно взглянул на него. Поправил галстук, чуть потрянул седеющей головой и снова откинулся на спинку кресла. Потом посмотрел на письмо, нахмурился, перевёл взгляд на Айсултана и тихо произнёс:

— Это же письмо из КГБ!

Сказать-то сказал, однако потянулся за ним, сложил вместе с конвертом пополам, порвал и выбросил в корзину. Затем вытащил из кармана белый батистовый носовой платок и тщательно вытер руки.

— Работай! — твёрдо кивнул ему на дверь.

Айсултан вышел из кабинета Балтекена с блестящими глазами. В коридоре ему повстречался Жапекен, его главный начальник.

— Ну, как дела? — спросил, протягивая Айсултану краешек ладони.

— Хорошо, Жапеке...

— Квартира будет. Не беспокойся, квартиру выделим.

И, важно ступая, прошёл дальше. Сердце Айсултана растаяло как масло в медном казане, и он приостановился, моля Аллаха о здоровье Жапекена.



Когда же, отжелав мысленно всяческого здравия своему главному начальнику, Айсултан зашагал дальше, на другом конце коридора показался младший руководитель, который весело катился навстречу, словно насосавшийся материнского молока ягнёнок.

— Эй, браток! — крикнул издалека Актан-ага. — Ты уже целую неделю ничего не сдаёшь в номер. Смотри, парень, как бы тебе не попасть мне на заметку и не прослыть бездельником!

Айсултан несколько раз повертел головой, точно лошадь, отмывающаяся от мух, тем самым давая понять, что полностью принимает справедливую укоризну Актан-ага. А про себя опять вознёс хвалу Создателю: прекрасно, что у него такие разные старшие товарищи.

* * *

С Фаридой он больше не встречался.

С апой из гостиницы «Алатау» тоже в запарке не созвонился, чтобы узнать, как её дела.

Его же дела пошли резко в гору, хотя Балтекен-ага Айсултана теперь почти не замечал.

Вспоминая о случившемся, Айсултан иногда думает, что его собственная облава на любовь оказалась ещё успешнее, чем чужая.

И почему-то чаще всего вспоминает об этом после девяносто первого, когда ему, и не только ему одному пришлось начинать жизнь сызнова.

КУАНЫШ ЖИЕНБАЙ

ИСТОРИЯ С КАМЕННЫМ КОЛОДЦЕМ

Как можно плотнее закутавшись в истрепавшуюся шубу, маленькая Шуак бежала по заснеженной дороге, подставив лицо обжигающему ледяному ветру. Каждому в этом мире уготована своя доля. Тот никогда не познает удел чабана, кто не чувствовал на своём лице пронизывающего степного ветра. А он разыгрался сегодня так, что плюнь, и не увидишь, куда этот плевков унесёт. Пробивающиеся изредка сквозь тяжёлые, рваные облака лучики солнца — и те не радовали душу.

«Станешь замерзать, не стой на месте — беги!» Давным-давно впервые произнёс эти слова её отец — тракторист Мырзахмет. Тоже мне открытие! И это он учил Шуак, которая знала наизусть закон всемирного тяготения да ещё два стихотворения Маяковского! А ещё взрослый человек! Разве таким советом удивишь ученицу шестого класса? В подобных случаях, когда отец делал свои внушения, Шуак предпочитала держать свои мысли при себе. Шмыгает носом и смотрит исподлобья на хмурого отца. Постоит, помолчит с минуту, подождёт. Ах, если бы он вместо этого сказал: «Чёрт бы его побрал! Все колхозные дела на мне будто клином сошлись. А если я плюну на работу — что, всё развалится, что ли? Разве можно ходить в школу за пять километров, да ещё в такую погоду? Плевать я хотел. Давай, Шуакжан, полезай в машину. Я не я буду, если тебя в школу на своём тракторе не отвезу!» От этих слов у Шуак, наверное, сердце бы выскочило из груди. Нет, лучше бы она про себя просто посмеялась и затем взглянула на отца как ни в чем не бывало. А что же выходило на самом деле? Поправит узловатыми пальцами свои чапаевские усы, погладит выбритую наголо голову, или же, ещё лучше, со словами «Вздремну-ка я немного» откинет угол расстеленного дастархана и завалится спать. Чуть погода, резко проснувшись от своего же храпа, он вскинет голову и даст последнее наставление: «Ну, Шуакжан, смотри, как

начнёшь замерзать, не стой на месте — беги!» Вот и вся отцовская забота.

От таких слов Шуак начинала шмыгать носом, будто его наполнила накопившаяся обида. Слов нет, сейчас, действительно, вся работа в колхозе «Камысты» навалилась на её отца. Снег замёл все дороги, а без них и сена к зимовью не подвезёшь, и в райцентр не пробыёшься. И, тем не менее, нет у её отца ордена какого-нибудь, да и на колхозном собрании редко кто помянет добрым словом его работу. Вот так! А на доске почёта висел портрет отца её одноклассника — Карасая. Сам сынок, лицом похожий на панцирь песчаной черепахи, как только дело доходит до алгебры, тут же норовит подсесть к ней. И дело не в том негласном принципе — мальчик должен сидеть с девочкой, всему виной «шефская помощь», которую на неё «повесили». А что он? Чаше всего даже и слушать её не хочет, а глаза сами выдают его мысли: «Буду я ещё слушать дочь какого-то тракториста!»

Конечно, чтобы не замёрзнуть, нужно бежать. До колхоза ещё далеко. Поёживаясь на ветру, она взглянула на свои одеревеневшие ноги, на простые резиновые сапожки, и вспомнила про своих одноклассников, которые, в отличие от неё, живут в интернате. Эх, они, небось, сейчас в тёплой светлой столовой бульон попивают! После окончания начальной школы в своём ауле Шуак тоже хотела остаться в интернате, но отец не дал на то своего согласия. Что тут поделать?

«Вот сейчас я и замёрзну здесь, в степи!» — подумала она. Но ноги сами несли её вперед. Под сапожками поскрипывал плотный снежок. До молочной фермы уже рукой подать. Даже видно было, как с соломенных крыш, припорошенных снегом, вспархивают окоченевшие воробьи, как идёт пар из раскрытых дверей сараев, где укрылся скот. Послышалось мычание коров.

Что бы там ни было, а задуматься отцу давно пора. Случится что-нибудь с ней, и потом будет уже поздно искать виноватого. Вот выскочит сейчас из камышей волк. Что ей делать: шапкой от него отмахиваться? Может, это летом волки были сытые, на людей не кидались, а сейчас время уже не то. От голода кишки к рёбрам прилипают — тут уж не до благородства. И — передавайте привет рабочему человеку, механизатору Мырзахмету. Только поверит ли отец этому? Иногда ей кажется, что он не обращает на

неё никакого внимания. И всё оттого, что много читает. А раз так — нет на свете ничего, чего бы он не знал. Этим и забита его голова. Раз в неделю к ним домой приносят огромную пачку разных газет и журналов — и всё это он читает от корки до корки. Мама Шуак постоянно ругает его из-за этой страсти: «Ты — как тот агрегат, который стоит на конеферме и молотит сено. Что ни подставка — всё подряд молотит. Так и ты: что в руки попадёт — не отпустишь!» «Повтори-ка свои последние слова, жёнушка, — оторвётся от газет, погладит свои чапаевские усы и усмехнётся, — ты бы постеснялась перед своей шеей, которая носит, не уставая, твою головушку».

Конечно, Шуак никогда не вмешивалась в споры — это, в конце концов, было их, родительское, дело. Но в том, что отцу необходимо было хоть иногда оглядываться вокруг — в этом мать, безусловно, была права. Взять, к примеру, его сверстника Кайбергена. Кем он раньше был? Таким же трактористом, как и её отец. Зимой расчищал дороги от снега, летом возил сено. Ну, сверстники есть сверстники — они подшутить друг над другом могут при случае. Вот и их отцы с детства росли вместе. У Кайбергена есть сын Али, который учится с ней в одном классе. И дружили они раньше семьями, по-соседски. Даже полосатый кот Али любил забираться в дом Шуак. «Девочка — первый помощник в доме», говорят в народе. Но Шуак почему-то тянуло не к маме, а к мужчинам: к отцу, его гостям. У друживших между собой отцов были свои традиции. Как зима на дворе — зовут друг друга в гости. Сначала выпивали по чашке-другой чая, затем садились за карты. Мама в это время, не теряя времени, отправляла мясо в казан. Проигравшие подолгу спорили, а выигравшие дарили маленькой Шуак несколько монеток: «Возьми, купишь себе конфет». Шуак и обрадоваться-то не успевала — деньги сразу же переходили в мамины руки: «Это, небось, тоже богом посланные деньги». А иногда из уст разгорячённых гостей вылетали странные слова: «А теперь выпьем за то, чтобы Кайберген и Мырзахмет породнились на тысячу лет!» Лицо Шуак от таких слов морщилось.

Она не видела, как вёл себя её отец в доме у Кайбергена. Но что касается отца Али, то, стоило ему выпить у них в гостях рюмку, он забывал обо всём — мог даже сесть на чистый узорчатый войлок прямо в грязных ботинках. Бедная мама даже слова не



может сказать, лишь через силу улыбнётся: будущий сват всё-таки.

А Шуак и Али продолжали учиться в одном классе. Но однажды об их «помолвке» узнали в школе, и с этого дня они потеряли покой. Постоянно их взгляды натыкались на надписи типа «Шуак+Али». На партах, на стенах, на дверях — даже на стенке старой ржавой бочки, куда стекалась дождевая вода. Как это невыносимо, когда твоё имя не сходит с уст твоих же друзей. С тех пор она стала гнать полосатого кота из дома.

Но потом, это было год назад, произошло нечто, отчего между дружившими семьями наметился разлад. И что интересно, каждый из причастных к этому делу повёл себя по-разному. Шуак обрадовалась. Мать с того злополучного дня одолела зависть, а отец, погладив свои роскошные усы, усмехнулся, глядя на неё: «Посмотришь ещё: сколько ни латай дырявое ведро — оно уже воды не удержит».

Раньше, стоило заглохнуть трактору Кайбергена, тот сразу же бежал к её отцу за подмогой. Но вот в один прекрасный день он пришёл звать соседей в гости: «Наконец-то я этот техникум заочно закончил. Приходите вечером — диплом обмоем». Мать Шуак в гости не пошла — осталась дома. Вернувшись с вечерней дойки, взяла в охапку ворох газет, скопившийся в углу, и принялась швырять ими в разные стороны. Поздно вечером, навеселе, как ни в чём не бывало, вернулся отец, мурлыча под нос песенку: «Сколько ни латай дырявое ведро — оно уже воды не удержит».

Через месяц заведующий фермой вышел на «заслуженный отдых» и на его место пришёл «специалист со средним специальным образованием» — Кайберген. С того момента его жизнь будто бы перевернулась. Все связи с соседями вмиг оборвалась. Не говоря уж про полосатого кота, мать Шуак со злости заперла в тёмном курятнике свою гордость — красавца петуха, который повадился забираться во двор Кайбергена.

Или взять того же Али. Раньше прибегал по любому поводу: «А как пишется формула водорода?» Вслед за ним появлялся полосатый кот, который тут же начинал тереться о ногу Шуак. Теперь же и его не видно. Учительница химии взяла шефство над сыном завфермой.



Шуак этому только обрадовалась. Он уже не надоедал ей со своими частыми вопросами, а летом школу побелили, и надписи, так смущавшие обоих, исчезли. К тому же и в школу Али стал приезжать на отцовской машине. Как поговаривали люди, Кайберген наказал своему шофёру: никого, кроме сына, в кабину не брать. А то ведь, если подумать, и Шуак при желании нашлось бы место в просторной машине. Ведь из их отделения в колхозную школу ходили только двое ребят. «Ну и что, не берет — не надо!» Шуак ни чуточки не было обидно, ведь и в её душе теплилась надежда. У отца есть свой трактор. Вот если бы он сказал ей: «Чёрт возьми, чем ты хуже этого сопляка — сына Кайбергена? Давай, Шуакжан, залезай в машину — буду теперь тебя в школу и обратно на своей колыхаге возить». «Слово дают сыну бая, даже если у него и рот кривой» — есть в народе такая поговорка. Это как раз про Али.

С тех пор, как его отец стал завфермой, у него самого появилось множество покровителей. Взять ту же Кунимхан-апай, буфетчицу. Во время большой перемены она заводит его к себе... Ну да бог с ними. Отец всегда говорил, что нет ничего страшнее, чем чёрная зависть, подтачивающая сердце.

...В тот памятный день она впервые увидела, как отца обуял гнев. Дело было вот как: между их домами находился небольшой каменный колодец, откуда они брали питьевую воду. И вот в один из выходных дней Кайберген привёл нескольких рабочих, которые начали бетонировать колодец сверху.

— Эй, сосед! Ты что это затеял? — спросил отец, стоя на пороге своего дома.

— Надо дело делать, пока возможность есть, — ответил Кайберген, как ни в чём не бывало. — Колодец забетонирую, калитку поставлю, замок повешу.

— А нам-то это зачем?

— Э-э... Откуда мне знать? Вот мне каждую неделю привозят воду из родника в Жынгылсае. Доктора говорят, что стоячую воду пить вредно — соли в желудке откладываются.

— Всё это правильно. А что же нам, по-твоему, делать? Где воду брать?

— Ну, это тебе видней. Если дорожишь своим здоровьем, привози воду из Жынгылсае на своём тракторе.

— Обижайся, не обижайся, а я тебе скажу всё как на духу — под твоими ногами даже трава не будет расти после этого, понял? Нахлебаешься ещё воды из-за каменного колодца так, что всю жизнь потом вспоминать будешь.

— Эй! Ты при ребятах своё бескультурье не высказывай! Не оскорбляй уважаемых людей, Мырзахмет!

— Да пошёл ты со своей культурой!

У Кайбергена от таких слов глаза на лоб полезли, и он бросился на отца. Маленькая Шуак от испуга закрыла глаза. Только услышала, как хрустнула переломившаяся палка. А когда открыла глаза, то увидела, как они, вцепившись друг в друга, катались по земле, поднимая пыль. Парни с трудом растащили их.

— Выше головы прыгнуть хочешь? Я тебе ещё покажу! Предстанешь перед товарищеским судом, понял? — выкрикнул Кайберген, сплюнув кровавой слюной.

Видать, не простое это дело — товарищеский суд. Председатель местного комитета Жандаулет, взявшийся собирать показания свидетелей, пришёл, поспрашивал чего-то, записал, да так, видно, и не закончил это дело до сих пор...

А дорога, как назло, словно кишка, извивалась, изворачивалась, не желая укорачивать долгий путь. Маленькой Шуак приходилось всё время внимательно всматриваться в дорогу, и казалось, будто она что-то потеряла и теперь ищет.

Кто знал, где находился в тот миг её отец? Может быть, он повёз сено на зимовье Консарык или поехал помогать достраивать злосчастную баню в райцентр? Одно только было ясно, что он не сидел дома с мамой и не попивал густой чаёк. Так стоит ли после этого обижаться на него? Если уж на то пошло, то эта школа, а значит, и дорога к ней, нужна только ей одной. А у отца своих забот хватает.

На днях, после второго урока, перед тем как зайти в класс, она услышала, как молодые учительницы оживлённо переговаривались между собой. Одно лишь имя, названное кем-то из них, будто окатило её холодной водой с головы до пят.

— Что правда, то правда, такого мужского поступка от Мырзахмета никто не ожидал.

— «А что сделали вы, интеллигенция?» Слыхали когда-нибудь такое?

— Не в бровь, а в глаз. А какие доводы привёл?

— Больше всех остался доволен председатель районного Совета.

— Вот тебе и перестройка — так и пошёл чесать без бумажки!

— А этот бедняга Кайберген — и где он столько цемента наворовал, чтобы колодец перекрыть?

— Вот уж, точно, про него сказано: пока нос цел — нужно поскорее высморкаться.

— Это всё наш Мырзахмет, молодец!

— А если честно, девочки, кто бы из нас смог выступить так же смело, как Мырзахмет? Сомневаюсь я... Вот это мужчина!

Она всё же успела заскочить в класс раньше директора школы. Высокорослый, загорелый, он тепло поздоровался с учениками.

— Копбаева, ты здесь?

Кто-то из задних рядов выручил её:

— Сегодня дежурная — Уйсенбаева.

— Да? Ну, тогда садись. Это я так просто... Вот, в клубе прошло большое собрание. Из района председатель Совета приехал. Там выступил механизатор — Мырзахмет Копбаев, отец нашей Шуак, и как выступил! Вот что значит — много читать! А мы, это так... А-а... Что было задано на дом? Триста шестое уравнение?.. И как пошел чистить, молодец! И говорят ещё, что культуры у кого-то не хватает. А ему за такие слова спасибо надо говорить. Сразу видно — идёт вровень со временем. Какое, вы сказали, уравнение? Колодец... Бетон... Ну, давайте начнём занятие.

От таких слов маленькая Шуак приподняла голову и как-то по-особенному взглянула на каракули Карасая, который сидел рядом.

Ах, если бы она увидела отца в тот момент, то обязательно поцеловала бы его. «Что тут говорить — это товарищу Мырзахмету Копбаеву спасибо!» — именно так сказал директор школы. А на лице его было написано: «Раз так, то и тебе спасибо, Шуак Мырзахметовна!» Что и говорить: её отец может и до неба рукой дотянуться, если захочет...

Сзади послышался гул машины. «Наверное, это сын Кайбергена в школу едет. Видать, совсем не спешит. Он никогда не спешит, даже утром. А если я опоздаю, то учительница химии меня даже за порог не пустит. У Кайбергена на ферме три её теленка

стоят, кормятся. Мама сама сказала». Машина два раза просигналила, но Шуак даже не оглянулась. «Чего это он так раздобрился сегодня? Заблудился что ли? Так ведь дорога-то одна — езжай себе прямо».

Легковая машина промчалась мимо неё и резко остановилась. Из кабины выплыл председатель местного комитета Жандаулет. Шуак невзлюбила его ещё с тех пор, как после той перепалки отца с Кайбергенем он начал собирать документы против её отца.

— И кто вас учит, а? — возмутился он. — Мы ещё за километр начали тебе сигналить — а если бы аккумулятор сел, что тогда? К тому же я гораздо старше тебя — уважать надо.

Шуак не ответила. Председатель потоптался и опустил уши лисьего малахая. Казалось, что вид замёрзшей девочки его мало смущал.

— Что, замёрзла? Вон он, твой интернат. Что ты на меня уставилась? Это у отца надо спросить, почему ты до школы пешком ходишь.

Шуак продолжала молчать.

— А всё-таки Мырзахмет Копбаев хорошо выступил, молодец! Настоящий парень! — Жандаулет отряхнул её спину и подвёл к самой машине. — Я к вам ещё зайду, а то, что я тебя здесь встретил, это хорошо. Я вот что хочу спросить: твой отец, случаем, пописывать не любит? Ну, там в газету статеечку, или ещё чего?..

— Не знаю! — замотала Шуак головой.

— Не знаешь, говоришь? Ну хорошо; а как он газеты читает — каждый день или когда придётся?

— Придёт с работы, отдохнет немного и читает себе! — заговорила Шуак чуть громче.

— Ну хорошо: а какие газеты читает?

— Всё подряд!

— Вот оно что. То-то я думаю: отчего его речь так и льётся? Всем досталось. Теперь товарищ Мырзахмет Копбаев и здороваться-то с нами перестанет. Сам председатель райсовета к нам приехал на собрание и пожал ему руку. «Берите пример с Мырзахмета Копбаева — вот человек, который не боится сказать правду. М-м-м... — замылся он, вспоминая что-то. — Берите пример с Мырзахмета Копбаева, сказал он нам. Вот как ведь бывает — сегодня

он просто твой сосед, а завтра окажется, что он — человек с большой буквы. — Жандаулет, видно, простудился — вытащил несвежий платок и смачно высморкался. — Конечно, мы будем брать с него пример. Вот чёрт, и чего это меня потянуло на расспросы, какие журналы и газеты читает твой отец?

Шуак в ответ только пожала плечами.

— Мы и так посмотрим сейчас, — сказал он и растянул молнию своей серой папки, вытащил очки с приставшими крошками табака и достал какую-то бумажку. — Так вот оно. Я буду читать по списку, а ты говори, читает это твой отец или нет... «Правда» — раз, «Казправда» — два, «Социалистик Казахстан» — три, «Ленинская смена» — четыре...

«И правда: как отец может все это читать?» — думала про себя Шуак.

— Так... геология. Это ещё что? Металлургия... — произнёс Жандаулет и остановился.

— Вот это новость! — удивился он и позвал шофёра. — Куда ты пропал? Иди-ка сюда.

— Всё хорошо? — приблизился широкоплечий парень, ощерясь редкими зубами.

— Вспомни: в прошлом году, во время подписной кампании, разве не ты ездил со мной?

— Ну, ездил.

— Ну, тогда прочитай вслух вот это, а то у меня уже в глазах рябит.

Парень начал читать список, на который Жандаулет указывал пальцем.

— «Акушерство и гинекология».

— О господи, а это Копбаеву зачем?

— Так ведь это его жена Айжарыка выписывала. А осенью они переехали в город — вот и стали почтовики отправлять Мырзахмету. Какая разница, что читать?

— Прекрати, слышишь?

Ничего не добившись, он сердито залез в кабину и отвернулся. Шуак пошла своим путём. Не успела она пройти и десяти шагов, как он догнал её.

— Милая, у меня к тебе одна только просьба, не обижайся. На том собрании отец сказал: «Наш Жандаулет точь-в-точь как при-



атель Пантелея Прокофьевича — Иван Авдеич». Все засмеялись. Я не пойму, кто этот Авдеич — может, военачальник какой? Спроси у него, кто он такой, хорошо?

* * *

Уставший, вечером с работы пришёл отец. «Товарищ Мырзахмет Копбаев пришёл», — отметила про себя Шуак. Вместе с ним в дом проник запах солярки. Сняв сапоги, он приблизился к огню и стал убирать со своих роскошных усов налипшие крохотные льдинки.

— Метель совсем разыгралась, будь она неладна.

Шуак в это время учила химию.

— Дочь твоя еле пришла. У неё от мороза ноги совсем закованели, — сказала мама. — Помнишь, как раньше в Шиели корейцы, с которыми мы дружили, готовили кукси — крахмальную лапшу? Съешь одну тарелку, и никакой мороз не страшен. Вот сейчас попробуем.

— Что ещё?

— А что сказать, вот дочка подтвердит, — все, начиная от директора школы, твердят одно и то же — «Мырзахмет Копбаев, Мырзахмет...» Ты что, песню Нуртуган-жырау спел на собрании, что ли?

— Э, оставь, — поднялся с места отец. — Твоя кукси сварилась? Сидел я на собрании, по сторонам глядел: все сидят съёжившись. А первый секретарь: «Насколько я понял, в вашем колхозе нет проблем, и перестройка давно завершена». Тут я не выдержал: вот тебе проблемы, вот тебе перестройка, вот тебе правда! Всё выложил — ничего не оставил. Начал с нашего соседа Кайбергена, потому что сам первый сказал: «Даже если у меня заметите какие-нибудь недостатки в характере — говорите прямо, в этом ничего предосудительного нет!» Понимаешь? А кто такой Кайберген рядом с ним?

— Значит, шум-гам поднял.

— Ты так не говори, жёнушка дорогая. Критика — это нормально.

— А ты сказал, что он сына на своей машине отвозит?

— Сказал.

— А о том, что он на колодец замок повесил?

— Сказал... А до бюрократов ещё очередь дойдёт. Ты позавчерашнюю передовицу «Правды» читала? Хватит, ладно! Сварилась твоя лапша или нет?

После ужина мама опять начала про своё:

— Лишь бы Кайберген не выселил нас отсюда.

— Кишка тонка.

— Теперь и индийский чай будут между всеми поровну делить?

— А как же!

После того, как Шуак выполнила домашнее задание, она решила задать отцу вопрос. Только подошла, он обнял её и поцеловал в лоб.

— А кто такой Иван Авдеич?

Отец рассмеялся.

— Это Жандаулет, что ли, тебе покоя не дает? Вот тебе и дырявое ведро. Говорил я. Это в «Тихом Доне» есть такой друг Пантелея Прокофьевича — Иван Авдеич — любитель всяческих обещаний. Пусть заново перечитает эту книгу: первый том, седьмую главу. Ведь все мы: Кайберген, Жандаулет — окончили одну школу. А они вместо того чтоб прочитать книгу полностью, вычитывали места, где Григорий встречался с Аксиньей...

Как и следовало ожидать, в колхозе Камысты вскоре произошли большие перемены. Али стал ходить в школу пешком, учительница химии забрала своих телят с фермы. Водитель жёлтого молоковоза, который возил питьевую воду, стал разрешать ребятам купаться в цистерне, прямо в гараже. Жена Кендебая Пистегуль, приехав из райцентра, вывесила на стену своего магазина список дефицитных вещей, которые были в магазине.

Мама Шуак пряла пряжу и тихонько напевала себе под нос. Кто-то постучал в окно. Мама подошла и увидела жену Кайбергена с большой связкой ключей в руках.

— Как твои дела, соседка? — еле донеслось с улицы. — Вы что, всё ещё обижаетесь на моего мужа?

— С чего это?

— Ты возьми, соседка, один ключ от колодца, другой пусть будет у меня. Слава богу, воды в колодце на два двора вполне хватит. Оказывается, у Кайбергена не желудок болен, а сердце, сердце!

— Видать, теперь он сможет пить воду прямо из колодца? Ты смотри! — мама взяла ключ. — Действительно, легко ли возить воду аж из Жынгылсая?

* * *

Машина председателя местного Совета ждала на прежнем месте.

— Ну что, милая, узнала что-нибудь? — спросил Жандаулет.

— Иван Авдеич — это, оказывается был один такой Обещалкин.

— Что, что ты сказала? А я думал, это какая-то знаменитость.

Ну вот, разве мы не одну школу кончили с твоим отцом, а? Видишь, как все обернулось, малышка?

Зайдя к себе во двор, Шуак остановилась как вкопанная: вот это да — крышка, закрывавшая выложенный камнем колодец, была распахнута.

АСЛАН ЖАКСЫЛЫКОВ

ВАЯТЕЛЬ

(отрывок из романа «Возвращение»)

Что-то случилось с временем, и оно перепархивало куропаткой по прихоти чьёго-то сна, и не было никакой возможности узнать — чьёго же именно? Время стало чьим-то смертельным дыханием, поэтому огромные армии неспешно разворачивались, корпус за корпусом, в предгорьях Лу Тау, готовясь к смертельной схватке, к многодневной рубке, в итоге которой должно полечь костями множество юношей кокборе, борисаров, кургуров и утургуров, зигитов¹, в чьих глазах светилось солнце молодости, а звезда любви ещё даже не восходила, поэтому ты торопился, днём и ночью трудился над сферой. Этот мир никогда нельзя было понять, его алые восходы и закаты приводили в отчаяние, а падение лепестков вишни с цветущих веток на траву забвения обрекало на бессонницу, поэтому ты спешил, рубил-тесал бока глыбы, шлифовал камень, проливая кровь и пот, обагрывая гранит сукровицей со вздутых ладоней. Время сворачивалось жёлтым лепестком шафрана, и с этим ничего нельзя было поделаться, в глазах стояли слёзы, тление углубляло каждую морщину, иссекая твоё лицо с мастерством бесподобного ваятеля — самой смерти. И с этим ваятелем нельзя было сравниться, потому что невозможно пробудиться в упоении смертельного сна. Ты не помнил своего прошлого. Лишь отдельные воспоминания бредом проносились порой в сознании, и в этих невероятных видениях сотни лет обретался ты — то ли призраком, то ли младенцем, припавшим к сосцам волчицы, упивающимся горьким-прегорьким млеком полынной, тонко-тонко скупающей матери, а рядом с тобой копошились ещё два волчонка с ликами печальных старцев. А потом был баркас — ковчег перевёрнутый, плывущий через вечность, и вы были стаей несметной

¹ Зигит — джигит; использован сингармонизм монгольского и тибетского языков.

моли, копошащейся в ворохах то ли одежды старцев, то ли их смертного праха и тлена. А потом было некое *слово*: ковчег пристал к берегу очередного безумного сна, и вы восстали из тлена и побрели вниз по склонам Волчьих гор вслед за ревушим джунагром. Эти видения были слишком сложны, чтобы можно было в них поверить, но верит же множество людей, что «вначале было слово...», и живут же почти все люди без памяти о прошлом.

Когда оказался в этом городе, ты уже был глубоким старцем, — скорее тенью, а не человеком. Ты был безымянным, без родства и жилища, тебя скорее можно было бы назвать аруахом, сброшенным со склонов Большого утёса и ожившим для священной мести. Быть может поэтому тронутые лицезрением живых мощей, похожих на мумии, отбывших в вечность великих вождей, кургуры, помнящие ещё прошлое, приняли тебя в своём квартале и построили для тебя подобие жилища из дерева и тростника. И ты жил — не тужил, скорее, жила твоя тень, а ты покорно следовал её прихотям. Беспечные кургуры хотя и проявили заботу о старце, всё же были рассеяны — они не придали значения тому, что в центре твоей лачуги осталась не убранной гранитная глыба величиной с джунагра. Но ты был рад — нашлось дело для твоих рук, и вскоре в твоём доме закипела работа по высвобождению формы из каменного плена. Поскольку в твоём смутном сознании перемешались города и годы, а время свернулось тонким-тонким волчьим скулежом, ты решил, что всегда жил-пребывал на этом месте, а потом только устроился-вырос город вокруг стен твоего дома, размножились люди, и, тронутые упорством твоего труда над малой сферой, принялись за создание исполина в центре столицы. Ты обтёсывал, шлифовал гранит, и был вполне обременён вечностью, и нисколько не обращал внимания на то, что некая девушка с чёрными-пречёрными, поистине кургурскими очами приносит раз в день кусок лепёшки и чашку чая с мукой и кусочком жира. Так было заведено даже у степной волчицы, что и говорить о людях? Всё же, тронутый заботой кургуров, ты порой дарил им свои поделки — глиняные фигурки воинов, причудливые куколки, вырезанные из корневищ. Этот мир был полным безумием, а как же иначе? Стали бы тысячи людей собираться в тумены, вооружённые до зубов, и идти убивать друг друга ради сомнительной славы того или иного избранника духов? А ведь судьбой было предна-

значено кочевать свободно по степи и наслаждаться вольным воздухом, мясом и молоком диких и прирученных тарпанов, жить в шатрах и любоваться танцем чернооких дев? Убивать даже не ради вещей, имеющих суть, а ради слов, коими описывают славу, величие, власть и положение. Воистину, люди, идущие убивать себе подобных ради слов, во имя права гордо произносить некие слова: *трон, кахан, власть, подданные, светлое будущее* — умалишённые или того хуже. Ещё хуже те, кто принудил этих прекрасных телом юношей взять оружие, строиться в воинские колонны и идти против врага, то есть против себе подобных. Тебе нравились кургуры и утургуры — широкоплечие, тонкие в талии, длинноногие мужи, дочерна смуглые, почти чернокожие. Их раскосые, миндалевидные глаза полны света, в них искрится доверчивость. Преступлением было превращать их в рабов, загоняя кнутах в котлованы рудников и каменоломен. Гноить их в сырых бараках, за считанные годы доводя до состояния ходячих скелетов. Чтобы хотя бы на иллюзорное время вернуть им их славное прошлое, ты создавал фигуры кургурских воинов в полном снаряжении на боевых конях. Эти глиняные воины держали в руках то лук, то копье, то чекан, то арбалет, то кривой меч, и всегда они изображались в атакующей позе. С годами твоё искусство изощрялось, и статуэтки становились всё более выразительными и рельефными. Поскольку гибкая, тонкая в талии кургурская девушка приносила тебе еду, иногда ты лепил фигурки и девушек, но всегда — танцующих. Эти фигурки ты обжигал на огне в печи и потом тщательно раскрашивал. Статуэтки эти запоминались: в полуобороте, со вскинутыми руками, горделиво запрокинутой головой, с приподнятой ногой, обрамлённой тканью, — движение танцовщиц словно было поймано в момент вдохновенного порыва. Ты дарил эти фигурки туземкам и нисколько не удивлялся тому, что в городе с каждым годом становилось всё больше танцовщиц. Со временем ты стал очень уважаем у кургуров и утургуров, и жизнь твоя наладилась, в ней появился оттенок смысла, хотя в глубине души всё равно ты считал сей мир полным безумия, или сновидением *того, кто заблудился в мирах*.

Однажды ты заметил Апке. Тебя поразила внешность этой горделивой дамы, словно явившейся на грешную землю с другой планеты. Всё же ты прокрался в парк малого дворца и долго наблюдал



за Апке, пытаясь проникнуть в душу этой повелительницы. Именно в эти минуты открылась тебе пронзительная красота увядания времени в падающем лепестке вишни. Укрывшись в кустарнике, ты внимательно наблюдал за Апке, и однажды увидел, как кувьркается белый траурный лепесток в глазах женщины и исчезает в сумерках души. И как-то раз, тронутый этой картиной, ты сказал самому себе: «Воистину осыпание лепестков в душе *видящего* — это смерть времени и рождение вечности». И устыдился этих слов, ибо то было очередным проявлением безумия этого мира. А разве не так — бредовый, древний старик, не помнящий ни родства, ни прошлого, таится в кустах, как ночной вор, и созерцает нечто в глазах молодой женщины. Но ведь стыд — это голос живой жизни. И это говорит об истинности происходящего.

Ты открывал для себя душу Апке — следуя за ней как тень, ты проникал в самые отдалённые уголки всех четырёх парков, наблюдая за ней, ты читал её мысли. Воистину она была вдохновительницей и творцом этого мира, следовательно, разлитое по нему безумие было бредом, годами кипящим на её устах. Разве это не так? Этот каменный город, особенно четыре великолепных дворца и парки вокруг них и, конечно, большой Банзай, своей грандиозной композицией являли некое начертание, задуманное и осуществлённое ею, очевидно, символическое. И тебе нужно было понять, что происходит в душе *повелительницы теней*. И однажды ты создал её облик: в эти дни в твоей душе пела тибетская флейта, шли светлые муссонные дожди, порхали бабочки-махаоны, расцветали и опадали вишни. Ты работал в тёмном иступлении, мял белую глину, добытую на дне тайной ямы, закрыв глаза, отглаживал линии, освобождал от лишнего материала совершенное тело, прочерчивал щепкой складки тончайшего платья и трепетом пальцев намечал воздушное колыхание ткани. Мучительной и всё же вдохновенной была работа над лицом статуэтки. Надо было поймать и передать в глине то самое выражение на лице Апке, которое светилось в её глазах, когда она любовалась цветущими вишнями. И когда трёхдневная работа была завершена, ты взял фигурку, подставил её лучу солнца, падающему в проём окна, и затаил дыхание. Да, это было именно то, что нужно. Осталось только обжечь фигуру и раскрасить её. Искусство обжига фарфора — это секрет мастера, который не доверит он

ни бумаге, ни слуху постороннего человека. Для обжига фарфоровой статуэтки тебе пришлось построить специальную печь и сделать особые воздушные меха для неё. Для изготовления красок пришлось искать по всему городу лепестки шафрана, череды, гвоздики, хризантемы. И эти цветы нашлись на клумбах в парке малого дворца. А когда обожжённая и раскрашенная статуэтка Апке была готова, ты поставил её под склонами сферы. И ты смотрел и смотрел, созерцал часами, пока не понял, что происходит. Ты услышал таинственный шёпот, ниспадающий лепестком вишни, который кружил и таял в очах зачарованной женщины. И с тех пор ты всегда слышал шёпот камня, и всё пространней становилось твоё понимание. А однажды сама Апке появилась под склонами большого храма и совершила первое обхождение по кругу. А кургуры и утургуры спустились с лесов и танцевали под склонами исполина.

Быть может, во всём городе или даже во всей стране ты был единственным человеком, который понимал то, чего ещё не понимала даже сама Апке, — что ждало её в будущем. И ты с ещё большим рвением принялся доводить форму задуманного. Эта Сфера должна стать точкой в конце повествования — и фигурально, и буквально. Но возможно ли это?

По вечерам прилетала серая неясуть, садилась на жердь, торчащую из кровли, и находила тебя мрачным, насупленным взглядом. И когда ночная сова садилась на кровлю твоего жилища и открывала глазища, кишащие звёздами не этого мира, твоя душа устремлялась в бег утращённый, коянский. В поисках то ли пещерки на склонах старого оврага, то ли дупла на боку древнего джубаба, охающего и ахающего от ужасов саванны гиенодонов, летела она опрометью, однако не могла убежать от теней этого мира. Не было ничего страшней этого чёрного, кипящего тьмой взгляда, бездонного, словно пещера, будто Тьмутаракань окаянная. Словно туннель гулкий, долгий, червоточина между мирами, осыпающая тело и душу атомами небытия, этот взгляд гнал тебя по лабиринтам захлаженного и тленного сознания, вытеревленного то ли демонами, то ли муравьями и термитами на краю волчьего поля. Ты лежал на циновке, тростниковая кровля дома простиралась над тобой косматым навесом, моталась туда и сюда под ветром, словно вихры и косы бегущих кукурузных мальчиков и девочек. Горький полын-

ный ветер, заплутавший в поисках матери-волчицы, дул в отверстые срезы тростников и камыша, и тёмная, пещерная мелодия надтреснутых голосов вилась над тобой, стенала, истончалась, звенела малиновой нитью, затем вдруг вновь наливалась силой горлового пения горного ущелья. И полностью затопленный звуками этой ужасной мелодии тростникового поля, срезанного кургурами и утургурами и уложенного в слои глины на кровле твоего дома, ты не знал, то ли проклинать тебе безвестных работников, то ли возносить молитвы за сию казнь. Словно выжженные пустынной скорбью глаза неясны обременяют душу неизмеримой вечностью, но лучше это, чем тоска непроходимых чёрных зарослей, так и не ставших свирелями и флейтами. Жуткая песня каждый вечер клокочет и ревет в объятиях ветра над твоей головой, оживляя тени прошлого, но лучше это, чем упорное нечеловеческое молчание чёрных тростников волчьего поля, чьё зачатое стояние на одной ноге до скончания века — как укор любой живой душе. Станные люди: неуловимое слово, уносимое каждое мгновение дыханием брэнного воздуха, ценят они выше, чем трепет крыльев бабочки-однодневки, живущей в божьих лучах меньше, чем цветы. И ради этих слов они посылают на заклятие несметное множество юношей, прекрасных телом, чья кожа — словно тёмная медь, самая лучшая, чьи глаза — словно спелые сливы из сада Апке, орошённые росой свежей. И ты скорбел, предвидя неизбежное, ибо возлюбил всем сердцем народ кургурский и утургурский, простой, немудрящий, ценящий превыше всего молоко кобылиц и кости аруахов, вознесённых высоко в горные расщелины. Ты давно понял их: они были как дети и не ведали, что находятся в начале бесконечного пути. Дни и ночи ты молил небо о спасении чад природы, избавлении от козней и хитростей демонов, явившихся с *того берега* страшного мира нелюдей. И куда только не заносил твои сны чёрный ветер отверстых тростников, поющих и плачущих всю ночь, выворачивающих душу горечью. И однажды тебе приснилось странное, будто бы был некогда, в другой жизни, на другой планете, кургузым стариком — кочевником по имени Онгарбай. Была у тебя круглолицая и мягко-жалостливая жена, сыновья и дочери, рядом с твоим жилищем, круглым и серым, словно яйцо журавля, паслись овечки, а там, дальше, за пеленой выжженных годов, паслись призрачные табуны небесных коней, прина-

длежавших когда-то твоему отцу и деду, но обращённых колдовством чужих в страшное слово — канпеске. Тем же самым колдовским словом разом были обращены в пустыни и руины, излюбленные совами и филинами, многолюдные долины и урочища, населённые кочевниками золотого века. Сами же люди превращены в странников-призраков, чьим уделом стал поиск земли обетованной, Жидели-Байсын, священной палестины, где жаворонки выют гнёзда на спинах курчавых овец, где изобилие трав, воды, млека и мёда, где люди не лгут, а кукушкины слёзы — всего лишь цветы. И в этом магическом сне ты томился, проливал слёзы, простирали руки к незабвенным призракам, родичам твоим, проклинал те самые жуткие слова — *канпеске*¹, *колхоз*, *светлое будущее* — и другие слова из молитв и заклинаний большевиков, которыми за короткое время смогли они обратить в кладбища многолюдные ранее долины. На мгновение прихоть ветра вырывала тебя из этого бреда, и ты радовался, как ребёнок, тому, что это всего лишь сон, но новый порыв пещерной ревущей силы — и ты опять скитался по лабиринтам прошлого в поисках потерянной памяти. А серая неясность сидела со скрещёнными ножками, и её глазница были пучиной, где кишмя кишели жизни и смерти, однако всё же это было лучше, чем чёрное стояние несметного множества тростникового волчьего поля. Ты так думал, и твои сны повиновались неумолимому взгляду совы. В дебрях бесконечной ночи заплутала твоя душа, изнемогающая от снов, и под утро тебе приснился то ли сон призрака, то ли сон тебя самого, но другого, из иного мира.

И говорил, шептал прямо в душу сон тот странные слова, трогающие сердце. «Куда только не заводят человека пути и дороги жизни, может он обретаться на старости лет даже на другом континенте. Но однажды душа начинает слышать зов другого мира и видеть *проводника*, и тогда решает она в последний раз взглянуть на отчий дом, увидеть своды жилища, где в младенчестве была услышана колыбельная матери. И тогда направляет человек стопы свои на родину, чтобы поклониться праху отца и матери, родичей». И как только ты услышал этот шёпот, дрогнула болевая струна под сердцем, и ты обратил взгляд на восток, в ту сторону,

¹ Канпеске — конфискация; транслитерации в языке казахов начала XX века.



где был твой Отукен, где землю всё ещё горчило от крови твоей пуповины. То ли примчал тебя ревущий джунагр, то ли приобрёл ты на своих двоих через изнемогающую вечность, то ли привезла безвестная повозка — нельзя было это определить, — но в итоге оказался ты на окраине своего аула.

Серый смутный вечер, уставший от историй этого мира, простирался над теньями аула, наверное, собирался совершить молитвенное коленопреклонение. Высокие травы, не тронутые ни косой, ни взглядом, ни даже дыханием животных, стояли тёмной заповедной стеной. В заштрихованном сумеречными теньями мире таилось странное ощущение — то ли смущение, то ли растерянность, то ли удивление. Ещё бы, в кои веки блудный сын вернулся к порогу отчего дома, и хотя все ждали много лет, истомились изрядно ожиданием *откровения*, всё же некому было встретить его. И ты понимал это, ни на что не претендовал, не собирался обижаться, ибо понимал, что не те времена. Ведь в былые годы уже на окраине тебя встретила бы толпа обрадованных родичей, первыми бы примчались дети, и с криками: «Зюйнчи! Зюйнчи!» умчались бы обратно. Ты бы шёл неспешно, зная, что с каждым шагом всё ощутимей обретает силу древний ритуал гостеприимства, пусть ты даже и блудный сын. Спешили бы старики со всего аула, чтобы обнять тебя, поцеловать твою ладонь, ибо свято целовать персти Странника, гостя — посланника Бога, но не венценосного кахана. Твои родители, взволнованные и счастливые, устраивались бы на торе, зная, что весь день им будут наносить визиты, чтобы поздравить с обретением сына, чтобы сказать ритуальное «козайым болдыныз ба?» А младшие родичи тем временем выбирали бы овечку поупитаннее, чтобы приготовить славное угощение. Овечка не противилась бы судьбе, ибо дюже почётно быть принесённой в жертву во имя блага блудного сына, ибо означает сие вознесение души в рай кротких и невинных. И вот ты дома — спешат к тебе отец и мать... Может ли быть что-нибудь блаженней поцелуев матери и объятий отца, обретающих под кровом своим долгожданного блудного сына? И существуют ли более покойные сны для странника, чем первый сон под кровом отчего дома после возвращения из странствия? Так было некогда...

Но на этот раз под шёпот серой неясны ты возвращался в аул родичей после *контеске*.



Высокие, траурно чёрные травы говорили молчанием, думая свою тёмную запредельную думу. И было отчего. Таили они у корней выбеленные дождями и снегом кости, которых было множество. Не захоронены были те останки, хотя было поручено это дело за отсутствием могильщиков-людей волкам и волкопсам, лисам и шакалам. Те поначалу принялись было охотно, но потом устали, изнемогли, ибо было костей несметное множество, вся бескрайняя степь была усеяна ими. Поэтому поневоле травам, праху и тлену растительному пришлось укрывать первым пологом те бранные останки, шепча беспрестанно молитву забвения. Ты понимал и это, и никогда не явился бы в аул покойников, но ты уже слышал *зов*. Вот в чём было дело. Надо было превозмочь всё это и увидеть.

Вот ты и на окраине. Первый дом справа от въезда в аул был некогда жилищем тате — старшей сестры твоего отца. Бывало, по приезду ты всегда сначала заходил в этот дом, чтобы приветствовать тате, угоститься вкусным айраном и удостоиться поцелуя в лоб. Дом, вернее, его остатки, стояли на месте, почти до половины стен укрытые мрачными зарослями. Столь же нелюдимо, хотя несколько отрешённо, темнели проёмы на месте окон. Камышитовая кровля дома была цела, хотя заросла сверху высоченным бурьяном. Срезы камыша сухо вибрировали и источали то ли шёпот, то ли призрачный стон. И под этот шёпот и стенание ты прошёл через двор — густой травостой, оплетённый вьюнком, паутиной и тьмой. Ты шёл медленно, там за пеленой лет твоя тень встречалась с воспоминаниями. Вот и порог этого дома — выбеленный помётом птиц. Дуновение ветерка срывает с оголённых саманных стен клубы пыли и уносит в отверстие приют теней. Нахохлённое вечернее жилище окутано сумерками и нечеловеческим одиночеством. Но ты готов и к этому. Ты всё-таки вошёл. Вернее, дом как бы двинулся к тебе, обнял тебя, окружил силуэтами, прикоснулся ко лбу прохладой пустоты. Тебе дано было понять, что это поцелуй. Ты замер. А когда пришёл в себя, то увидел, что находишься посреди комнаты, тёмные саманные стены щетинились пучками соломы. На полу, заросшем муравой и пустырником, белые пятна птичьего помёта, горстки мелких костей то ли птиц, то ли грызунов. Кто-то шевельнулся за спиной, ты оглянулся и увидел на торе большую серую сову. Она глянула на

тебя выжжено-жёлтыми глазами и сказала тебе словно бы бесплотными словами:

— Проходи, сын мой. С возвращением. Присаживайся.

Ты несколько не удивился словам совы, оглянулся и увидел рядом чурбан. Сел на него и глубоко вздохнул.

Сова помолчала и, словно беззвучно, снова сказала:

— Сколько лет, сколько зим! Ты всё-таки вернулся. Однако негоже не встречать гостя, не привечать его, пусть он и блудный сын. Это не в обычае этого аула. Оставайся в этом доме. Скоро приготовят угощение, старики уже идут сюда, чтобы поздороваться с тобой.

«Странно, — подумал ты. — Кто готовит угощение, и кто идёт отдать мне салем?»

Поскольку сова молчала, думая о чём-то своём, ты встал, выглянул во двор и увидел толпу молодых ворон, которые валили на землю упитанную крысу. Они даже завязали животному ноги, кто-то сложил ритуально крылья и бормотал молитву. Всё делалось, как полагается. Вороны были оживлены и действовали сноровисто, не хуже зигитов твоего давнего, канувшего аула. Ты одобрительно кивнул головой, вернулся в комнату, подошёл к окну и увидел толпу старых, дебелих ворон и галок. С подвязанными кушаками, опираясь на костыли, шли они неспешно, как и полагается аксакалам, и о чём-то переговаривались. И это тоже было правильно, всё, как некогда, в ауле твоего отца. Сейчас они войдут во двор, потом в дом, начнут целовать тебя кто в лоб, кто в ладонь, потом пойдут расспросы.

А кто же готовит дастархан, а также постель усталому путнику? И ты увидел в спальней хохлатую птичку-невеличку, она взбивала на полу ворох пуха, тщательно приготавливая ложе. Ты кивнул ей, птичка-невеличка по обыкновению невесток этого аула почтительно присела и поклонилась тебе. И тебе это очень понравилось. Ты обернулся. В гостиной же хлопотала, деловито накрывавая дастархан, голубая сойка. Расстелила обрывок старой бумаги, разложила на нём осколки битой посуды. Действовала она очень споро и умело. Пройдут какие-то полчаса и в комнату внесут на блюде вкусный, источающий пар, куырдак. Начнётся беседа о том и о сём, разговор затянется до полуночи, потом келин проводит тебя в комнату, где для тебя уже постелено.



— Мы ведь тоже люди, не кто-нибудь. Не хотим, чтобы о нас пошёл слух, что мы не гостеприимны, не умеем привечать людей в своих домах, — сказала сова, заметив, что ты оцениваешь действия хозяев. — Отдыхай, ты у себя дома. Ну, рассказывай, как там дела в большом мире. И что там затевают на этот раз. Мы слышали, что грядёт новое канпеске, что будут загонять в каллектып нас, сов и филинов, ворон и галок. И мы даже встревожены этим. Не ровен час, примчатся уполномоченные. А доносчики всегда найдутся. Скажут сороки, что совы и филины владеют несметными стадами крыс и мышей. Начнётся раскулачивание. Куда нам деваться? Ну, сынок. Что слышно об этом? Мы же аулчане — народ тёмный, невежественный. Что нам делать?

Вороны и галки — аксакалы, кряхтя и тяжело вздыхая, уже входили в комнату. Сова поднялась, чтобы приветствовать их. Птичка-невеличка и голубая сойка, наклонив головы, почтительно присели, отдавая салем старикам. Ритуал обретения начинался. Ночной ветер ожил, он взмахнул беспредельными крылами, и мрачное, окутанное сизой дымкой, тростниковое поле ожило, закачалась кровля ветхого жилища, срезы камыша запели, зазвенели, истекая дребезжащими голосами.

И ты проснулся. Оказывается, это был сон, навеянный шёпотом Банзая. И опять не спал ты до утра.

РАЙХАН МАЖЕНКЫЗЫ

ВСТРЕЧА ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Магира быстро привела в порядок рабочее место и пригласила следующего клиента из очереди.

В кресло села рослая, красивая женщина. Магира помыла руки, привычными движениями накрыла плечи ей простынёй и задала дежурный вопрос:

- Какую услугу вам оказать?
- Покрасьте волосы в чёрный цвет.

Только тут, взглянув в зеркало, Магира буквально остолбенела.

— Пожалуйста, покрасьте волосы в чёрный цвет, — повторила женщина.

- Да-да, хорошо, — Магира никак не могла прийти в себя.

Волнистые чёрные волосы, светлое лицо, даже родинка над верхней губой — всё было знакомо. Знакомый образ. Для неё дорогой образ. Женщина была сильно похожа на её мать. Ей казалось, что стоит сейчас нанести краску, от этой схожести не останется и следа.

— Извините, вы кто будете? — спросила, вся растерянная, Магира.

- Я?.. Вас интересует моё имя? Меня зовут Карлыга.

— Карлыга... — повторила Магира.

Надо же! И её мать звали Карлыга.

— Мою маму тоже зовут Карлыга — дрожащим голосом сказала Магира. — Вы очень похожи на мою маму!

- Ну, это бывает, — спокойно ответила Карлыга.

Магира, закончив процедуру покраски, предупредила, что надо посидеть ещё минут тридцать. Очередному клиенту, который направился в её сторону, сказала, чтобы тот пошёл к другому парикмахеру. Никак не могла успокоиться, ей хотелось продолжить разговор с Карлыгой. И она задала ещё один вопрос:

- Вы где живёте?

— Мы — оралманы. Наши предки из Алтайского края. Шестой год, как переехали из Китая в Тарбагатай. А в Астане я сама недавно.

Когда волосы высохли и были приведены в надлежащий вид, Карлыга поблагодарила и ушла.

Магира чувствовала себя так, будто вместе с Карлыгой уходило что-то самое дорогое. Впала в какое-то непонятное, тоскливое состояние.

Причём тоска не оставляла её и в последующие дни. Она понимала, что ждёт Карлыгу, хочет видеть её. Ругала себя за то, что не спросила даже её адрес, телефон.

Она страстно хотела видеть человека, как две капли похожего на родную мать. Хотела молча и до-о-олго смотреть на него.

Дни летели своей чередой. Однажды среди людей, сидевших в очереди, раздались возмущённые голоса. Дело понятное — никто никого не хотел пропускать без очереди. Раздавались окрики: «Куда?», «К кому?»

— Да здесь, здесь!

Знакомый голос. То был голос Карлыги. Магира бросилась к двери.

— Карлыга!

Благодарение Всевышнему! Это была она.

Полноватая, светлолицая незнакомка приняла в свои объятия Магиру, которая словно почувствовала в её руках ласковое прикосновение родной матери. И на самом деле это было неповторимое тепло очень близкого человека.

— Я Карлыгаш. Мы с твоей мамой двойняшки.

В годы голода мама была разлучена со своими родителями, воспитывалась в детском доме, до последних дней жизни искала свою сестру, но ей так и не суждено было увидеть её. А теперь вот испытать это счастье выдалось Магире. Очутившись в объятиях родного человека, она как бы вдыхала ни с чем не сравнимый аромат, запах великой материнской любви...

ЖАЖДА ТОСКИ

«...Такой бури она, наверное, никогда не видела... Вместе с Арыстаном она как мяч полетела в сумасшедшем вихре в неведо-

мую даль... Звала на помощь, но никто её не слышал...» Бубиш проснулась в холодном поту.

Послышался скрип двери. Она с надеждой посмотрела своими полуслепыми глазами в ту сторону.

Волоча сумку, вошла Жаркынай.

— Апа, хочешь пить? Я сейчас чай приготовлю.

— Хочу, конечно, хочу. Давно меня мучает жажда. Уже сколько лет, сколько зим! Но то жажда тоски. Дидар мой... Хоть бы раз взглянуть на тебя!

Сердце матери обливалась кровью. Голова всё ещё воспринимала чётко, но глаза закрыты.

Да, счастливая пора жизни пролетела незаметно. Её муж Арыстан был человеком честным, весёлого нрава. Не успело ему исполниться тридцать семь — ушёл в мир иной. Сиротами остались шестеро детей. Отец очень любил их. В ауле Арыстана знали как умельца, никто, как он, не мог так быстро отремонтировать любую машину, любой трактор. Да разве обо всём расскажешь. И охотник он был заядлый и удачливый.

Однажды... Вместе с другом Айдаром пошли на охоту, и он не вернулся. Оказывается, Айдар по трагической случайности застрелил его. Погиб от рук лучшего друга... Проклятая судьба! Так Бубиш осталась вдовой, на плечи которой легла вся тяжесть семейных забот.

Врач Бубиш умело лечила людей, но за всю жизнь так и не смогла найти человека, который бы излечил её душевную рану. Единственной радостью были дети.

Как она радовалась, когда Дидар окончил высшее учебное заведение!.. Хорошим джигитом вырос и Уркен.

Черeda несчастных дней началась в ту раннюю весну. С дорожной аварии. За рулём автомобиля была подруга Уркена, но поскольку машина принадлежала Уркену, осудили его. Дидар многое сделал, чтобы спасти брата. Какие пороги он только не обивал, в какие учреждения и ведомства не ходил, направо-налево раздавал нажитое тем, кто хоть как-то обещал помочь в судебном деле. Но ничего не помогло, Уркена посадили.

Лишившись отца и брата, Дидар запил. Потом...

Уркен отсидел своё, вернулся, а вот Дидара до сих пор нет. Бродяжничает. Один человек говорил, что якобы видел его в Урд-

жаре, другой — в Семее, третий — в Алматы. Утешает хоть то, что живой всё-таки.

Уркен всё это время был в постоянных поисках брата. Иногда даже находил его и привозил домой. Но, к сожалению, тот не уни-мался. По его мнению, у него свой мир, непонятный и недоступ-ный другим.

Когда Бубиш слегла, родственники вновь принялись за поиски Дидара.

Жаркынай — младшая дочь Дидара. Когда она узнала, что опять ищут отца, втайне от других обливалась горькими слезами.

...Вновь заскрипела дверь. Показался Дидар. За ним следовал Уркен.

— Мама!

— Мама!

Обернувшись к двери, Бубиш застыла в молчании, никакой ре-акции на голоса детей не последовало.

Жаркынай, не успев побывать в объятиях отца, кинулась в сто-рону бабушки.

— Аже!

Но тонкая нить уже не выдержала. В ожидании сына Бубиш покинула сей бранный мир...

ПРЯТКИ

Пугливо озираясь на обитателей здешнего странного мира, иду за Асыл Дарханкызы. Одни больные громко поют, другие беспре-станно зовут кого-то. Юноша читает собравшимся в аудитории людям лекцию на иностранном языке.

Из этой общей картины мой взгляд выхватил человека, сидев-шего на корточках в сторонке, под топодем, среди цветов. Мне по-казалось, что он прячется от кого-то. Когда мы приблизились, он резко обернулся в нашу сторону. От его пронизывающего взгляда мурашки пробежали по спине. Молча разглядывая нас, он вдруг быстро поднялся с колен и бросился к нам. Я и до этого была вся охвачена страхом, а тут вовсе невольно оказалась за спиной Асыл Дарханкызы.

— Нашёл! Нашёл! Марал! Марал!

Знакомый взгляд. Знакомый голос. Не может быть! Выходит, всё было ложью? А ведь он числился среди тех, кто много лет назад пал в Афганистане смертью храбрых.

Громко выкрикивая моё имя, Казбек не скрывал своей радости. Потянул меня за руку. Годы не смогли изменить его пронзительный взгляд.

— Казбек! — Забыв о страхе, который минуту назад сковал меня всю, я взяла его руку.

— Где ты пряталась, я же тебя долго искал, Марал?

— ?

— Он узнал вас. Поразительно! До этого ни с кем не разговаривал, всё искал кого-то, играл в прятки с кем-то. Видимо, это у него осталось с детства.

Асыл Дарханкызы, не веря своим глазам, смотрела то на меня, то на него.

Я раньше всегда обходила стороной эту больницу, ограждённую высоким забором. Ещё в детские годы взрослые пугали нас психиатрическим учреждением, чтобы мы не приближались к нему. Мол, сумасшедшие не жалеют никого, кто попадает в их руки. Этот страх остался в нас и когда мы повзрослели. Я сегодня пришла просто по служебным делам — порыться в здешнем архиве.

До этого не раз приходилось замечать, как душевнобольные смотрели на улицу через щели в заборе. Я старалась не встречаться с ними глазами. Однажды, проходя мимо, как бы спиной почувствовала чей-то пристальный взгляд. Откуда было мне знать, что среди множества различных судеб за этим забором находилась и одна, близкая...

— Забери меня отсюда далеко, Марал. Далек-далек!..

БЕЛЫЙ СВЕТ

«...Уа-а, уа-а...» Медсестра осторожно подняла плачущего ребёнка и поднесла к груди Тыныштык, лежащей в постели. Сильно и радостно забило сердце матери — сколько лет она ждала этого счастливого, ни с чем не сравнимого мига!

Она долго и умилённо обцеловывала и обнюхивала ребёнка. Затем распеленала его, стала нежно гладить тело, руки и ноги,

опять прижала к груди. Внимательно следившая за каждым движением мамы, медсестра не удержалась:

- Дочь похожа на вас!
- На меня? А может, на отца?

После некоторой паузы мать продолжила:

— Я росла без отца. Потому что мой отец Алмас ушёл на фронт ещё до моего рождения. О моём появлении мама сообщила ему в письме. Воюя, отец мечтал о мире, поэтому и дал мне имя Тыньштык (тишина, покой, мир). Ещё он, оказывается, спрашивал в письме, на кого я похожа; писал, что если у меня синие глаза, то похожа на него. Но моя мама не могла ответить на тот вопрос. Потому что...

Я хоть и слышала голос своей матери, но лица её не увидела. Я даже не знаю, какое у меня самой лицо. И у мужа тоже... Теперь вот в отчаянии, что не могу видеть своего первенца. Да разве есть счастье выше, чем различать белое от чёрного, видеть каждый день белый свет?!

Благодарение богу! И мне удалось создать семью, родить ребёнку, вкусить истинное женское счастье. Всевышний даёт слепым людям, как я, острый слух и особую чувствительность...

А во время схваток меня терзал лишь один вопрос.

- Какой?

— Я бы хотела, чтобы моя дочь была не похожа ни на меня, ни на отца. Пусть она будет похожа на вас, будет как вы. Чтобы видеть этот мир, своих родителей, которые дали ей жизнь. Пусть она будет полноценным человеком. Только это я прошу у Всевышнего.

От растерянности медсестра потеряла дар речи. Молча подняла на руки ребёнка и посмотрела на его глаза. Они были синие. Удивлённая сестра взглянула ещё раз, так и есть — у девочки синие глаза.

- У вашей дочери синие глаза! — радостно вскрикнула она.

- Синие? Вы сказали — у неё глаза синие? И они видят?

В сильном волнении мать всё повторяла свой вопрос.

- Белый свет! Ребёнок мой! Зрачок мой!

Слёзы радости покатались по щеке матери. Забыв обо всём на свете, она нежно обнимала и ласкала, страстно целовала маленького человечка, которого подарила миру...

И мир подарил ей себя.

ЗАПАХ КНИГИ

— Следующая остановка — «Книжная фабрика».

От громкого объявления кондуктора старая женщина вздрогнула. «Раньше же эта остановка называлась «Дом печати», — проворботала она тихо и, поднявшись со своего места, направилась к выходу.

Остановка... Женщина сняла очки, протёрла стёкла носовым платком и снова надела.

Здесь было всё так же, как раньше... Она долго смотрела на шестиэтажное белое здание у остановки. Знаменитый «Дом печати», двери которого практически никогда не закрывались, был излюбленным местом поэтов и писателей, всего творческого люда. Священный шанрак, объединявший дух предков — духом исканий. Золотой мост, соединяющий прошлые века с грядущими, авторов и читателей. Ничего не изменилось?

Она вспомнила лето 1980 года, когда книгоиздатели переехали в это здание. Вспомнила, как её постоянно тянуло на любимую работу. Тогда один день не походил на другой. А день, когда доводилось держать в руках сигнальный экземпляр очередной книги, превращался в настоящий праздник. Она помнила всех своих наставников, которые учили её нелёгкому книгоиздательскому делу.

— Вам нужна помощь? — незнакомый голос прервал нить воспоминаний.

— Нет-нет. Спасибо, дорогой.

Поймала себя на том, что мысленно искала здесь что-то самое ценное, что уже покрыто нагаром многих пролетевших лет.

Остановка... До боли знакомая, дорогая остановка. Здесь ступали ноги Раимжана Букейханова, Жумекена Нажимеденова, Жуматая Жакипбекова.

— Апай, вам куда? — вновь обратился с вопросом незнакомый джигит.

Старая мать кивком головы указала в сторону «Книжной фабрики».

— А, в «Книжную фабрику»? Идёмте. Хотите выпустить книгу?

— ?

Стоило взяться за ручку входной двери фабрики, как ей показалось, что горячая волна пробежала по жилам. А когда открыла дверь, навстречу хлынул удивительно знакомый, ни с чем не сравнимый запах. То был запах книги...

МОМЕНТ ИСТИНЫ

Вода разлившейся реки уже поднималась выше моста. Перебираться по нему стало опасно. А оставаться на этом берегу ещё опасней. Стая голодных волков, которая часто выбегала из недалёкого леса, не оставила бы в живых ни человека, ни скотину.

Ужас охватил людей. Каждый озабочен спасением себя и своих близких. Вместе со всеми до моста добрался и Еркинбек, за которым, не отставая ни на шаг, следовали Кадыр и Касиет.

— Быстрее, быстрее! Да двигайтесь же живее! Уже темнеет, — раздался чей-то зычный голос у моста.

Людской поток увлёк Еркинбека. «Благо, успел положить в хурджун документы, деньги, некоторые золотые вещи, самое необходимое», — подумал он про себя.

— Кадыр, иди ко мне, иди быстрее сюда, — Еркинбек схватил в охапку Кадыра и без оглядки поднялся на мост.

— Отец, а Касиет? Он остался на берегу! Касиет!.. — Но голос маленького Кадыра затерялся в рёве бурного речного потока, истошных криков людей, искавших друг друга.

— Куке! Кадыр! Где вы?

Касиет, оставшийся один на берегу, весь дрожал от страха, плакал навзрыд. Воя от отчаяния, он вспомнил родителей, рано ушедших из жизни — и это сделало его горе ещё горше. В это время оранжевый диск солнца полностью ушёл за горизонт и серая округа погрузилась в полный грохочущий мрак.

«...Касиет шёл по тонкому, шаткому мостику через реку. Какой он длинный и тонкий! А на другом конце моста стояла его мать. Только теперь до него дошло, что мостом был мамин длинный чёрный волос. Как только Касиет перебрался на другой берег, мать помахала рукой сыну и подобрала волос. Вот она, ещё машет рукой! Мама-а!..»

Касиет проснулся от своего голоса. «Где я?» Мальчик медленно встал и огляделся по сторонам. Вокруг не было ни единой жи-

вой души. Ещё находясь под впечатлением сна, посмотрел в сторону моста. Странно, как он прошёл по нему? Кто помог? Ведь отчим оставил его на том берегу!

И тут он заметил рыжего коня-иноходца своего отца, который пасся неподалёку. Касиет понял, кто его спас. Сияя от радости и счастья, мальчик помчался к иноходцу.

ПОСЛЕДНЕЕ ПОСЛАНИЕ

Воскресный базар гудел как пчелиный улей. В Астане у меня родственников не было, но многих знакомых и сослуживцев встретила именно здесь, на базаре. Однако после коротких приветствий наши пути быстро разошлись. Вообще-то, разницу между рядовыми людьми и государственными служащими можно уловить и здесь, на базаре. Всё познаётся в сравнении. И мне сразу вспоминается мой родной город Алматы, где и обслуживание куда лучше, и продукты чище и изобильнее.

— Берите картошку, покупайте картошку! — раздался рядом голос.

— Дочка, бери молодую картошку, не пожалеешь! — морщинистая рука старого продавца широко открыла мешок и указала на крупные клубни с нежной оболочкой.

...Во мне словно что-то перевернулось. Отец!.. Перед глазами встал родной образ моего любимого отца.

Помню, когда в последний раз побывала в родном ауле, перед моим отъездом домой он сказал:

— Дочка, возьми с собой хоть немного молодой картошки.

— Ой, отец, зачем отсюда возить картошку в Астану? Можно и там купить.

— Это ты зря так говоришь, у этой картошки особый вкус. Я вырастил её в безводной местности Кумирчи, что на зимовье «Ак-кора», вручную выкопал колодец, провёл воду. Всё это далось нелегко. Посадил деревья, которые в будущем превратятся в лес. Почва там оказалась плодородной, только с водой проблема. Но ничего, в скором времени вы отведаете и сладких плодов и ягод, — лицо отца просто светилось.



Всё это стоит перед глазами. Я послушалась его — привезла в Астану молодой картошки. Как оказалось, это было последним посланием моего отца...

СИНИЕ НОСКИ

Старый врач в этот раз дольше обычного сидел перед телевизором. Причём не столько для того, чтобы послушать последние новости, а чтобы вспомнить, где и когда приходилось ему встречаться с диктором, который вёл передачу. Закончив её, диктор назвал себя: «Нурали Уланулы».

— Нурали. Да, это он, если мне память не изменяет... Надо же! Он ведь родился шестимесечным,.. — врач представил себе крохотного ребёнка с синими носками на ножках.

...Улан не мог найти себе места, постоянно звонил в роддом. Все мысли были заняты здоровьем жены Айгуль и тем, каким родится ребёнок.

Очередной звонок в больницу. После долгой паузы в трубке послышался женский голос: «Суюнши! У вас сын! Правда, он родился недоношенным, всего шесть месяцев, но вроде всё нормально».

Улан от радости чуть не запрыгал на месте. Ему хотелось кричать на весь мир: «Слава Всевышнему! Он дал мне ещё одного сына!»

Ему не терпелось купить сыну подарок. И купил. В роддоме, приблизившись к ребёнку, который был положен в специальный кювет, он долго рассматривал его, затем достал из кармана маленькие носочки синего цвета, надел на ножки сына. После этого Улан нагнулся к уху ребёнка, по народному обычаю вслух прочитал соответствующую суру Корана и громко, даже с некоторой торжественностью, провозгласил:

— Твоё имя — Нурали! Ты будешь человеком, излучающим вокруг себя только НУР — светлое и доброе! Ты — Нурали!

— Такой молодой, а как уже любит детей, — удивлённо покачал головой врач и добавил: — Пусть долгим будет век вашего сына!

— Вот этот Коран я приобрёл специально для сына. Но вручаю его вам, — сказал Улан и отдал дорогую книгу врачу.

Часто оглядываясь на ребёнка, Улан направился к выходу. В это время Нурали слабо захныкал. Отец и сам не заметил, как у него вырвалось:

— Сынок! Мой Нурали!

Конечно, никто не знал в тот момент, что Улан первый и последний раз произносит имя новорожденного сына. В тот же день он попал в дорожную катастрофу...

Пожилой врач встал с места, подошёл к окну и долго смотрел на падающие за ним снежные хлопья, на прекрасную панораму молодой Астаны.

Приятный тембр телевизионного диктора был слышен не только этому повидавшему жизнь человеку в белом халате, но и всему миру...

ОДИНОКИЙ ХОЛМ

— Расскажите про дедушку.

— Он умер.

— Где?

— На той стороне.

Мой отец про своего отца больше ничего не говорил. Стало быть, тема как бы запретная. Тем не менее в каждую пятницу мать пекла лепёшки и отец за поминальной трапезой специально читал молитву в честь своих покойных родителей. После всего ритуала отец — человек обычно спокойный, рассудительный — тяжело вздыхал и с сожалением говорил, что было бы хорошо, если бы они были похоронены здесь, на земле предков.

Так уж получилось, что волею судьбы я оказалась «на той стороне», о которой говорил отец. Поэтому стала искать местность, где нашли вечный покой мои предки. Вот уже третьи сутки, как я ездила по аулам и встречалась со старыми людьми, которые могли бы помочь мне в моей заботе. Как я казнила себя за то, что до конца не узнала у отца все подробности! Одна седая старуха, выслушав меня, вроде дала кое-какое направление: «А-а, вы из рода Албан, но тогда тебе наверняка может помочь однорукий Дюйсен из Конного завода». Наконец нашли и этого человека. Он сразу сказал нам, что Утемис ата и Келеке апай похоронены на Кунан тюбе. Я

попросила, чтобы он показал дорогу. «Вообще-то, сейчас пора напряжённых работ. Меня могут искать. Ну, ладно, с богом, должен успеть до девяти часов», — сказал незнакомец. Было видно — человек добрый по натуре. Когда сели в машину, он спросил меня:

- Кто он вам будет?
- Дед. Я его внучка.
- А-а... Это хорошо, а отца вашего как звали?
- Мажен.
- Мажен? Ну-ка, останови машину.

Водитель удивленно посмотрел на незнакомца. Как выяснилось, Дюйсен тоже был из рода моего деда. Крупного телосложения, приятной внешности, этот человек будто напоминал мне какого-то моего родственника. Так судьба свела потомков одного рода, как у казахов говорят, «на перекрёстке девяти дорог».

Дождь шёл непрерывно. Издалека показался одинокий холм. «Машина не может подняться на Кунан тюбе, дальше можно двигаться только на лошади или пешком», — сказал Дюйсен. Пошли пешком. Приблизились к одинокому холму, вокруг которого колосился добротный хлеб.

Одинокий холм — Кунан тюбе! Самое дорогое для моего отца место, в недрах которого вечным сном спали его родители, мои дедушка и бабушка, которых мне, к сожалению, не довелось увидеть.

Прочитали молитву из Корана. Мне показалось, что на одиноком холме я вновь услышала, как глубоко вздыхает отец: «Дочка, ты почувствовала, что это — судьба всех казахов?..» Я мысленно закрыла занавес эпохи, трагического века, когда матери были разлучены с детьми, сыновья проводили жизнь в поисках предков. И поднялась. Из-за горизонта, тоже медленно, поднималось солнце нового дня...

КУТАЯК¹

«Пусть он принесёт в наш дом богатство, изобилие!» — воскликнул радостно Асет, увидев заблудившегося и забредшего в их двор маленького щенка. Так за собачкой и закрепилась кличка «Кутаяк».

¹ Кутаяк — букв., «ноги, приносящие благо».



Собака сильно привязалась к Асету, почти всегда была рядом. Если он ходил пешком, то она охраняла у порога его обувь, если ездил верхом, то — коня. Возвращаясь из гостей, хозяин всегда приносил с собой целый хурджун костей для Кутаяка. То была самая беззаботная пора.

Но Кутаяк постепенно подрастал. Увеличилась и его конура. Возросла и ответственность — теперь собака сторожила весь дом, всё добро вокруг. Денно и ночью преданно служила хозяину и была счастлива в своём служении.

Иногда по запаху чувствовала недругов хозяина при их появлении во дворе, сообщала об этом громким лаем. Но хозяин провозжал их в дом как приятелей. Однажды она всё же не удержалась и крепко укусила одного из таких «друзей». Тот в свою очередь начал пинать её ногами. К нему присоединился и хозяин, чего она, конечно, совсем не ожидала. Она-то думала, что он заступится за свою собаку.

С тех пор на Кутаяка был надет ошейник и он был посажен на цепь, лишён свободы. Но собака особо не переживала, она лишь желала, чтобы всё было нормально у хозяина. Чтобы его дело шло вперёд и всё ему удавалось. В то же время она скучала по его доброму отношению, по теплу его ладони, которое пронизывало всё тело, когда хозяин иногда всё же гладил её по спине.

Все новости Кутаяк узнавал от изредка забегавших во двор собак и щенков. Сообщения собаки, хозяин которой занимал высокую должность, нисколько не походили на сообщения пса, который принадлежал учёному. Некоторые собаки и вовсе путались в событиях и не могли объяснить их суть — у них хозяева, видимо, писатели. И, наверное, собаки разносили по всей округе ещё недописанные произведения этих самых писателей. Ведь известно, что только псы знают тайны своих хозяев.

По наблюдениям Кутаяка, его хозяин в последнее время изменился. Часто стал обедать не дома. По этой причине и собака нередко оставалась голодной.

Как-то утром Кутаяк по обыкновению встретил во дворе хозяйина, вышедшего из дома, и завилял хвостом, прильнув к его ногам, стал обнюхивать, ластиться. Почувствовал, что у хозяина и запах как будто изменился.

— Прочь, прочь! — раздался строгий голос хозяина.

Кутаяк не ожидал такой реакции, поэтому растерянно посмотрел на любимого человека. Их взгляды встретились... Пёс молча юркнул в конуру.

Дни летели друг за другом.

Однажды... большая машина наехала на конуру, в которой лежал Кутаяк. Он завыл от неожиданности и сильной боли в ноге, через которую прошло автомобильное колесо. Это была машина, которую он постоянно охранял, машина хозяина. Человека, которому он был предан всей душой...

Собака кое-как пришла в себя, но так и не смогла встать с места. Рядом валялась наполовину раздавленная миска, полная крови, уже превратившейся в лёд. Собаку рвало...

Наконец Кутаяк с трудом поднялся и заковылял в сторону ворот. Выйдя за них, растворился в объятиях сильной пурги. «Хорошая собака не покажет своего трупа», — говорят в народе...

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ СХВАТКИ

Дед Санжар вдруг решил поехать в аул. Его главной целью было, как он сказал сам, показать «родственнице по линии матери, а также племяннице, приехавшим издалека», свои родные места. Ему не хотелось оставлять одной дома сноху, которая дохаживала последние дни беременности. Но ничего не поделаешь. На что только не пойдёшь ради спокойствия в семье.

Снохе Ажар в последние месяцы было неуютно и неловко находиться, двигаться в без того тесной комнате рядом со свёкром. Правда, он в ней души не чаёт, часто говорит, что «хоть его сноха и воспитана в русском духе, но она особенная, не сравнить с другими». И она отвечает ему тем же, уважает старика как родного отца.

Ажар стала собирать свёкра в дорогу.

Её муж Еркин не уставал играть с маленькой Жамилёй. С приездом этой «племянницы» он под разными предлогами даже на работу стал редко ходить. А его «тётя» Нагигуль постоянно испытующе смотрела на молодую сноху, готовая в каждый момент поправить её, всякий раз дать то или иное наставление.

Пока добирались до вокзала, дед Санжар всё торопил сына, сноху, гостей, чтобы не опоздать на поезд. Перед посадкой в вагон он отвёл в сторону сноху и разом раскрыл все карты: «Дочка, я должен сказать об этом, сказать об Еркине... Когда учился в Петербурге, он, оказывается, совершил непоправимую ошибку. Кого мы в эти дни называли «племянницей» и «тётёй» — это дочь Еркина и её мать. Извини, дочка, но получается — это тоже моё потомство...» — с трудом выговорив последние слова, дед молча устался на остриё старого костыля, с которым не расставался вот уже почти сорок лет.

«Уважаемые пассажиры, просим занять свои места!» — донеслось из громкоговорителя, и Ажар последовала за дедом Санжаром к вагону. Крепко сжимавший в своих объятиях Жамилю, Еркин не заметил приближение жены.

— Еркин! — Ажар даже сама не услышала свой голос, будто какой-то комок застрял в горле. У неё участилось дыхание, заколотилось сердце.

Поезд медленно тронулся с места и стал набирать скорость.

Ажар только теперь осознала, что осталась одна среди людей, что вокруг всё стало чужим и непонятным. Рой мыслей пронёсся в голове... И она вдруг почувствовала — крохотный человечек в её утробе властно задвигался, будто ему передалась вся сила материнского шока, словно заявляя, что наступило время появиться в этом мире.

Роды... Начались родовые схватки.

ЗАПЛАТКА

Для Кайсара самой ценной вещью был его старьё, поношенный чапан без рукавов с шерстяной подкладкой. Его специально сшила мама, когда он был ещё юношей. В холода Кайсар никогда не расставался с чапаном, который уже был весь в заплатках. Даже своих дочерей он, считай, вырастил, укутывая в эту одежду.

Он невольно вспомнил дочерей, особенно самую любимую из них — Кырмызы. Ему показалось, будто она провела своей нежной ладонью по его шее.



Когда-то Кайсару после долгих мытарств удалось пересечь границу сопредельной страны и оказаться на земле предков, а вот жене и дочери это не было суждено... Судьба-злодейка разлучила их, и они остались в чужой стороне.

Расстёгивая пуговицы чапана, Кайсар заметил ещё одну дырку. Ничего, подумал он, и это место будет зашито. Но как наложить заплатку на сердечную рану?!

РАНЕННЫЙ ЛЕБЕДЬ

Укутанная зелёными листьями Белая берёза тихо плакала. Луна в небе любовалась своим отражением в воде, но с завистью смотрела на красавицу-берёзу. А звёзды перешёптывались между собой: «Есть ли какая-нибудь печаль у берёзы?» Когда под напором сильного ветра закачались тополя, корни которых уходили в землю, их ветви удивлённо возмущались: «Как такое возможно?!» Когда же лёгкое веяние ветра нежно гладило кроны деревьев, ночная прохлада как бы тихо вздыхала: «Дождитесь рассвета, нового дня».

Мать-земля, в течение тысячелетий немало повидавшая, терпеливо пережившая добро и зло, честность и коварство, радость и печаль, красоту и невежество, чутко прислушивалась к звёздным разговорам. А как себя чувствовала пара лебедей, некогда облюбовавших зеркальную гладь голубого озера?

— Но они после того события больше не вернулись.

— А Белая берёза? Хоть и стала она старше, но по-прежнему стройна и красива. А разве могла она не плакать в тот день?

...По вечерам во всей округе начинался праздник. Если влюблённые, взявшиеся за руки, поклонялись красоте и чистоте природы, то и природа в свою очередь любовалась ими. Некоторым из этих юных созданий нравилось по нескольку раз возвращаться сюда, а одна пара делала это особенно часто. Их поведение как бы одобряли и сами лебеди.

Летели годы. Теперь они уже приходили сюда втроём. Здешняя округа до того привыкла к ним, что стоило троице пропустить какой-либо день, она тут же как бы впадала в печаль. Прекрасная как лебедь молодая женщина, взяв за руку ребёнка, никогда не уставала знакомить его с удивительным миром. Крохотный ангело-

чек рос, образно говоря, в объятиях матери и берёзы. Видимо, поэтому ребёнок — Ерке — и берёза стали как родные. А Еркин теперь часто приходил сюда с другими. Именно в этом заключалась горькая тайна, которую это место скрывало от Ерке и Аян.

Однажды Аян как обычно пришла сюда вместе с Ерке и увидела Еркина. Одной рукой он поддерживал девушку, в другой руке...

— Что с тобой, Еркин? — Аян медленно подошла к Еркину. Но тот не обращал на неё никакого внимания. Вместе с девушкой они, пошатываясь, отошли дальше, затем распили бутылку водки, которая была в руке Еркина, и затянули какую-то песню. Неприятный запах вмиг распространился вокруг.

— Это же святое место, Еркин! Как не стыдно?

Не успела Аян договорить, как Еркин изо всей силы кинул пустую бутылку в сторону лебедей. Водное зеркало вокруг них окрасилось в красный цвет.

Надрывно плача, Ерке бросилась к птицам. Но лебедь-самка уже не дышала...

Вся округа закачалась, застонала от этой жестокости. Обманутая мать, прижимая руку к сердцу, стала медленно приседать...

А Мать-земля, похоже, разгневалась не на шутку. В тот день и произошло землетрясение...

ТАЛАПТАН АХМЕТЖАН

ХУДОЖНИК И КРАСАВИЦА

На ослепительно белом снегу метался яркий язычок пламени. Рыжая красавица Алтай — лисица, тяжело дыша, уходила от преследователя, но, видно, бег длился так долго, что ослабевшие лапы уже с трудом несли ставшее тяжёлым тело. За лисой — озлобленный долгой погоней быстрым ходом двигался конный. Несколько раз лиса меняла направление бега, но эти уловки уже не могли изменить её плачевного положения. Оглушительный удар железной палицей по голове прервал её бег, и лиса кубарем улетела в овраг. Там она и осталась — окровавленная и холодеющая, без единого шанса на спасение. С её лба струйкой сбегала на снег алая кровь. Алая-алая кровь...

Старик сердито отёр неведомо отчего навернувшиеся на глаза слёзы. Рука, державшая кисть, нервно дрогнула, и на белое полотно картины упала алая капля. Восприимчивое сердце художника словно почувствовало тот леденящий холод, который охватил беспомощное тело лисицы, неспособное удержать истекающую из него жизнь. Старик встал, опираясь на палку. Он был высок ростом, с сутуловатыми плечами, и даже со своей палкой передвигался с трудом. Он никак не мог понять накатившегося волнения, почему эта алая капля — всего лишь краска, плюхнувшаяся на холст от неловкого движения, — так смутила его. Отчего его душа дрогнула, не желая более продолжать работу над картиной? Эта алая капля на белом полотне лишила его сил. Если бы он только мог понять!.. Это повторялось каждый раз — стоило его кисти прикоснуться к холсту, образы возникали сами собой, глубоко затрагивая и даже рая его душу. Почему, ещё недавно поглощённый своей картиной, он теперь не в силах был даже взглянуть на неё?..

Старик прошаркал к окну. Солнце склонялось к западу. Ну и денёк сегодня! Кровь пульсировала в голове, в каждой клеточке,



и, казалось, вот-вот закапает из носа на подоконник. Солнце скользнуло за горизонт... Нет, нет, это рыжая лисица, бегущая по склону, махнула на прощание хвостом и скрылась за низким холмом... Золотой свод солнца... Золотой свод... Золотой хвост... Он зачарованно смотрел на закат, как будто всю жизнь искал нужную краску и вдруг обнаружил её прямо перед собой...

Серый «Вольво» лихо вывернул слева из-за деревьев и, не снижая скорости, въехал в широко раскрытые ворота. Это вернулся хозяин дома, у которого жил старик. Сразу захотелось отойти от окна, но старик замешкался, и хозяин, сидя за рулем и широко улыбаясь, помахал ему рукой. Хозяин всегда так лихо въезжал во двор, когда был в приподнятом настроении. Рядом с ним в машине сидела молодая женщина с длинными густыми волосами. Она то поправляла свои красивые волосы, то, улыбаясь, смотрела на хозяина, и в каждом её жесте, в каждом движении глаз угадывалось женское кокетство.

О, скольких женщин и девушек видел старик в машине своего хозяина! Изыщны и нарядны красавицы, которых раскатывает немолодой уже сердцеед в своём сером «Вольво». И эта прелестна... Пугающе притягательна... Художник вдруг представил себя здоровым двадцатилетним юношей, на миг забыл о своих костылях. И снова не понял нахлынувших на него ощущений. Что это было? Зависть? Ревность к удачливому хозяину? О да, безусловно, и это тоже. Но он всеми силами противился этому чувству, испытывая душевную муку и никак не находя конца нити в этом запутавшемся клубке ощущений. Он уже не пытался отойти от окна, но, отведя глаза от прибывшей парочки, бесцельно блуждал взглядом по угасающему закату. Из оцепенения его вывел голос хозяина, он приглашал старика зайти в гостиную, чем крайне удивил его. Старик пошёл, тяжело опираясь на палку.

Яркий переливающийся свет хрустальных бусин на люстре слепил глаза. Старик прикрыл их рукой и остановился, как конь, резко затормозивший на краю рва. Он увидел спутницу своего хозяина, сидевшую в кресле-качалке, и остался стоять в нерешительности на пороге гостиной. Хозяин предупредительно взял его за руку и провёл вглубь комнаты.



Просторные апартаменты с богатым внутренним убранством и дорогой мебелью напоминали ханские покои. Но мебель была очень громоздкой, она казалась изваянной из камня и подавляла старика. Он чувствовал себя беспомощным ребёнком. Но хозяин проявлял к нему благосклонность, был любезен, как будто стараясь подбодрить. Старик сдержанно внимал хозяину и только слегка кивал головой. Он жил под этой крышей долгие годы и чувствовал постоянно, что в долгу перед человеком, приютившим его однажды. Оттого был робок и немногословен.

Хозяин снял светло-серый пиджак, повесил его на спинку стула, затем, засучив рукава белоснежной рубашки и ополоснув руки, начал умело накрывать на стол. Он был весел — напевал какую-то песенку или говорил что-нибудь забавное, желая, в основном, угодить своей гостье. На большом круглом столе посреди гостиной появились вазы с фруктами, тарелки с колбасой, салатом, изюмом и орешками, выстроились в ряд бутылки коньяка, ликёра, виски, других заморских напитков. Хозяин дома был старым холостяком, никогда в жизни он не позволял своим гостям помогать ему в украшении стола. Напротив, удобно усаживал их, а сам, поддерживая непринуждённый разговор, с любовью обустроивал дастархан. Старик давно заметил это за хозяином. Но сегодня, казалось, тот превзошёл себя. И всё ради этой красивой гостьи, что так уютно покачивается сейчас в кресле-качалке...

Старик украдкой наблюдал за ней. Теперь она показалась ему моложе, чем там, в машине, когда он смотрел на неё из своего окна. Девушка, похоже, даже не взглянула на то, как ловко накрывал на стол хозяин. Она совсем по-домашнему расположилась напротив телевизора и, казалось, была поглощена тем, что происходило на экране. Но когда она изредка от него отрывалась и улыбалась, слегка повернув голову, на щеках её выступали нежные, трогательные ямочки. Эти ямочки бередили душу старика. Он мог поклясться, что уже видел эту улыбку, но было это так давно, четверть века миновало с тех пор... И то была другая красавица... «Боже, возможно ли такое сходство?..» — рассеянно думал старик.

Тем временем хозяин громким голосом возвестил о том, что трапеза начинается, и старик отогнал тревожащие душу мысли. И

было ради чего: стол манил изысканными яствами, дарил предчувствие немалого удовольствия. И только игривые искорки в глазах хозяина да елейный голос, которым он обволакивал свою гостью, всё ещё напрягали нервы старика.

— Сегодня у меня потрясающий день! — торжественно начал хозяин. — Моя «Загадочная невеста» удостоилась Гран-при на международном конкурсе в Париже! Вот поздравительная телеграмма. Меня признали лучшим известные искусствоведы! Что может дать большее счастье? А ну-ка, радость моя, поднимем бокалы... — Он раскатисто захохотал, чокнулся с девушкой, потом повернулся к старику. — Эй, старик, я никогда не забуду твоего золотого вклада в мою великую победу. Я хочу поднять этот тост за тебя, мой духовный отец!..

Сердце старика учащённо забилось, он не знал, радоваться ему или горько плакать и раскаиваться... Но радость, бурлившая в груди, мешала рассуждению. «Наконец-то... Наконец-то успех...» — стучало в висках. И вся прожитая жизнь показалась вдруг не напрасной...

* * *

Тогда его волосы были чёрными, как смола, и не было ещё этой бороды. Он был ветреным юношей, но слыл в своих кругах талантливым художником. Когда учился на последнем курсе, одна из его работ была удостоена первого места на республиканском конкурсе. И в том же году впервые в жизни он поехал в Крым. Давно мечтал увидеть Чёрное море. Там он и познакомился с ней, со своей Красавицей. С того момента в его жизни что-то изменилось, словно судьба, оберегавшая его до той поры, отвернулась от него. Да-да. Всё полетело кувыркком именно с той поры, после той самой встречи, которую он считал случайной...

* * *

Впервые он встретил Красавицу в Воронцовском дворце-музее. Помнится, ему захотелось осмотреть экспонаты музея одному, без группы и экскурсовода. Атмосфера старины притягивала его, и он подолгу оставался возле каждой вещи, внимательно изучая узоры на старинных изделиях. У одного портрета стоял так

долго, что совсем потерял ощущение реальности. И вдруг, совсем рядом услышал вопрос:

— Вы казах или киргиз?

Быстро обернулся. Перед ним стояла девушка с большими, цвета смородины, глазами.

— А, впрочем, неважно, — продолжала девушка, очень смело глядя на него. — Вы так поглощены стариной, а вокруг вас, между прочим, течёт реальная жизнь, которую вы не замечаете.

Она стояла, ожидая, видимо, ответа. Но он не знал, что ответить, и промолчал. Он даже стеснялся поднять на неё глаза. Кажется, Красавица подтрунивала над ним, вовсе не собираясь оставлять его одного. Она совсем смутила парня своими весёлыми вопросами, а он, сильно робея, попытался отвечать ей. Почему он тогда так смутился? Почему сразу почувствовал власть над собой этой уверенной незнакомки? Она произвела на него впечатление упавшего рядом метеорита и была так прекрасна, что скрыть своего восхищения он не мог и поспешил удалиться. И как же был удивлен, когда выяснилось, что смутившая его незнакомка живёт с ним по соседству в том же пансионате, только в другом корпусе. Их случайные встречи стали частыми, а вскоре и желанными. К тому же оба они оказались родом из Восточного Казахстана: Красавица — с берега реки Бухтармы, а он — с берега другой реки, Курчум. Красавица обмолвилась, что живёт теперь в Алматы. Больше он ничего о ней не знал, да и не стремился узнать, ведь тогда не думал, что здесь, у кромки земли и моря, влюбится так, что тысячу раз будет благодарить и проклинать судьбу за эту встречу. А пока они вместе загорали на пляже, обедали в столовой, бороздили на катере просторы Чёрного моря, любуясь играющими в волнах дельфинами. Всё было так хорошо, что ничего не хотелось менять.

* * *

— Эй, старик! Уснул, что ли? — Голос хозяина вывел его из забытья. От неожиданности старик сделал неловкое движение и опрокинул высокий бокал на тонкой ножке. Шампанское, не допитое им, пролилось на скатерть. — Если его не будить время от времени, он так и будет пребывать глубокой дреме.

Девушка улыбнулась и жалостливо посмотрела на старика.



— Я не сплю. — Старик энергично подвинулся в своём кресле, но видно было, что он смущён. Сейчас он пытался вернуться мыслями к тому, что происходило за столом.

Девушка произносила тост за хозяина. Поздравляла его с творческой победой. Сказала, что картины его знала и восхищалась ими давно — это передалось ей от матери. А одна картина — «Крымские берега» — уже много лет висит у них дома.

«Крымские берега»... Перед глазами старика заколыхалось море, и он опять погрузился в воспоминания...

* * *

Двое сидят на берегу в открытом маленьком кафе. Солнце опускается к горизонту. Резкие крики чаек не умолкают над морем. Белый пароход вдалеке похож на осколок айсберга. Он плывёт так медленно, что кажется неподвижным. А ближе к берегу, будто годовалые жеребята, снуют катера. Красавица сегодня молчалива. Художнику нравится наблюдать за ней, он пытается угадать, о чём она думает. Да и сама она нравится ему всё больше и больше. Время от времени девушка поворачивает к нему своё лицо и улыбается, и тогда нежные ямочки появляются на щеках, делая её похожей на ребёнка.

Девушка, сидящая перед ним в час заката, и навеяла сюжет для будущей картины. Он тут же стал продумывать детали, чувствуя прилив энергии, которую принято называть творческим вдохновением. Море, закат и девушка... Он должен суметь передать то, что чувствует сейчас!

— Что, так и будем играть в молчанку? — Задумчивой грусти на лице Красавицы как не бывало. В голосе её звучали прежние весёлые, чуть подтрунивающие нотки, а глаза лучились задором.

— Давай потанцуем, — неожиданно для самого себя предложил художник. Девушка не возразила. Взяв её нежные руки в свои, он почувствовал, что во рту у него пересохло. Играла нежная, трогательная музыка. Он был не очень хороший партнёр в танце, но девушка словно и не замечала этого.

Танец показался коротким. Они вернулись за свой столик.

Красавица была в элегантном чёрном платье с дорогой брошью у выреза. Художнику казалось, что все мужчины в кафе только на неё и смотрят.



Один — рослый, с густой короткой бородой, в тёмных очках, — уж точно, не сводил с неё глаз. Художник почувствовал раздражение, ведь по внешнему виду он явно проигрывал этому уверенному, шикарно одетому щёголю. Чтобы подавить нахлынувшую неприязнь к незнакомцу, он отвернулся и стал нарочито пристально глядеть в другую сторону.

— Скучаешь по родному аулу? — Красавица улыбнулась, демонстрируя свои неотразимые ямочки.

— Нет! — почти резко ответил он. Вопрос показался ему неуместным сейчас, здесь. Он ощущал себя неловким, неуклюжим, совсем не парой для этой роскошной девушки. Не зная, как избавиться от скованности, он окончательно расстроился, на лбу, шее, спине выступил пот, поэтому он не отважился снова пригласить Красавицу потанцевать. Это было на руку густобородому. Тот встал и направился к их столику. Было понятно, что сейчас бородач пригласит его девушку на танец. Красавица, тоже уловившая приближение бородастого, вопросительно взглянула на художника. «Ну как, станцевать мне с ним?» — говорил её взгляд. Лицо художника вспыхнуло от негодования и какой-то детской обиды. Тем временем густобородый подошел и молча протянул руку Красавице.

Художник напрягся, чтобы скрыть свои чувства, придвинул к себе бокал с шампанским и стал разглядывать искрящуюся жидкость, при этом продолжал видеть всё, что происходит у столика. Больше всего его задевала та надменность, с которой держался густобородый. Ведь мог же сначала попросить позволения у сидящего рядом с ней, так нет же! Что за наглость! Ему хотелось удержать девушку за руку, сказать ей: «Не танцуй с этим хмырём!» Но она может рассердиться, ведь они только неделю знакомы. Кто он ей?

Мысли закрутились в тугой клубок, он был подавлен и растерян. Кажется, девушка встаёт со своего места...

— Простите, но нам уже пора уходить, — прозвучал нежный, как колокольчик, голос Красавицы. — Пойдём, — добавила она, ласково глядя на художника. — Ты, кажется, заскучал здесь.

Первые звёзды загорались над ними. Тёплый воздух ласково касался щёк. Всё вместе это могло называться только одним словом: счастье.

* * *

Звонкий, как серебряный колокольчик, смех девушки вернул старика к действительности. Те двое, наверное, совсем забыли о нём, задремавшем в кресле, как будто его и вовсе не существовало. Опьянённый большой победой, да и коньяком тоже, хозяин просто искрился красноречием. Похоже, девушка нравилась ему не на шутку, и он решил окончательно поразить её широтой своих взглядов и глубиной мыслей. Старик прислушался.

— Что нужно человеку в этом мире? — с пафосом рассуждал хозяин. — Наследники? Слава? Богатство? Карьера? Что?

После каждого слова он делал паузу, словно прислушивался, не последует ли ответ из окружающего пространства. Но ответа не последовало, и он с удовольствием стал развивать свои мысли.

— Конечно, нет ничего лучше, чем вырастить детей — своё продолжение. Но как бы в нашей жизни не превратиться в раба этой мирской суеты. Зачем и без того короткую жизнь отягощать постоянными заботами и проблемами? Что, кроме супружества и детей нет других замечательных возможностей самореализации? Слава и деньги? И это самообман — гоняться за призрачной славой и бренными деньгами. Этот мир хрупок, всё в нём — суета... Хотя, если подумать, то слава и популярность — самые сильные жизненные стимулы. — Хозяин усмехнулся в свойственной ему самодовольной манере. — Знаешь, милая, я ещё со школьной скамьи мечтал стать знаменитым. К двадцати годам не переставал воображать себя известным, во сне и наяву. В своей комнате я повесил своё фото в одном ряду со знаменитостями и до изнеможения любовался этим. Что за безумная страсть, скажешь ты. Да, душа моя, страсть! В то время я понял, что слава с неба не свалится, но я не робел. Я поклялся себе, что стану известной личностью. К достижению моей цели вели три пути: первый — вступить в партию, второй — непрерывно трудиться, третий — совершить злодеяние. Ты уж прости меня за откровенность, чего греха таить, — всё испробовал. Более прямого пути, чем вступить в партию, я тогда не нашёл. Можно было достичь успеха, ступая по золотой лестнице такой карьеры.

Хозяин замолчал, словно обдумывая что-то важное. Девушка тихо ждала, когда вновь зайдёт родник его красноречия. Видно было, что хозяин сумел своими откровениями заинтересовать, ув-



лечь её. Старик хорошо знал это умение хозяина опутать так называемую «жертву» тонкой сетью обольстительных приёмов. Его красивый голос обладал гипнотической силой, он то понижал его почти до шёпота, то рассыпался громовым хохотом, то доверительно раскрывал глубинные тайны души, то произносил ласковые, тёплые слова. При этом он всегда оставался охотником, преследующим свою жертву.

...И снова перед стариком встали девственные горные хребты Алтая, припорошённые снежным покровом. И померещилась степь под ковром белого пушистого снега, по которому рыжая алтайская лисица из последних сил пытается уйти от своего преследователя. Но конь под всадником крепкий, и топот копыт всё ближе. Преследователь замахнулся палицей и с силой ударил её прямо по голове. Лиса пригнулась и кувырком полетела в сторону. Из чёрных ноздрей полилась алая кровь, окрашивая белый снег вокруг...

А хозяин продолжал свою историю, не забывая дирижёрским жестом разливать по рюмкам коньяк.

— Чтобы достичь успеха, пришлось от многого отказаться. В двадцать лет я воздерживался от пирушек с друзьями, обходил стороной девчонок. А это не просто для молодого парня...

Он рассказывал о своём стремительном взлёте по партийной лестнице, по цепочке собирая прожитые годы. У него это звучало как поэма. Старик знал всю эту историю, правда, выглядела она на деле не такой красивой, какой преподносилась очередной милой слушательнице. В конце концов в областном комитете партии кто-то подставил его хозяину подножку, на том его партийная карьера и закончилась. Но сам он сумел перескочить из партийного кресла в кресло заведующего крупным складом. Жизнь снова потекла благополучно, во всяком случае, в материальном плане. Появились дом, машина. На некоторое время отошли на второй план мечты о славе. Но когда все блага приелись, желание добиться известности разгорелось в нём ещё сильнее. И он избрал для себя путь живописца. Вернее, не для себя, а для своей славы. В течение двух с половиной лет изучал теорию и осваивал практику изобразительного искусства, сумел получить диплом о художественном образовании и стал карабкаться по лестнице, ведущей, как он предполагал, к славе. Не раз сомнения посещали его, когда крити-

чески оценивал свои творения. Кое-какие успехи, правда, были, но для триумфа этого было мало. Иногда он отчаивался. Ему было уже за тридцать! Его мечта могла никогда не сбыться. И тут судьба послала ему эту встречу...

Конечно, рассказ хозяина выглядел несколько иначе, он расходился с действительностью там, где сам он мог выглядеть неприглядно. Но старика это не волновало. Он слушал без внимания. Вот хозяин снова прервал на время рассказ и занялся какими-то мелкими домашними делами — вполне естественно для радушного человека, принимающего гостей. Возможно, он просто хотел подогреть интерес своей гостью. Он подвинул ближе к девушке вазу с яблоками и виноградом, приговаривая: «Кушай, милая, не стесняйся!» От выпитого коньяка и близости красивой девушки глаза его блестели. Девушка взяла яблоко, и стало видно, что сама она, раскрасневшаяся, похожа сейчас на это красное яблоко. Она слушала пламенную речь хозяина дома молча, затаив дыхание, и лишь иногда слегка встряхивала головой, отбрасывая назад свои красивые волосы.

Указывая пальцем на, кажется, опять задремавшего старика, хозяин продолжал:

— Этого бедолагу я нашел на центральном рынке. Он продавал там свои картины.

Старик приподнял голову, чуть блеснули щёлочки полузакрытых глаз, и он снова опустил голову на грудь. Слова доходили до его слуха словно откуда-то издалека.

— Он выглядел жалким: заросший, одежда грязная, в кармане полбутылки портвейна... Я долго наблюдал за ним, иногда подходил поговорить об искусстве, о жизни. Он показался мне поклядистым, может, даже надломленным. И как-то я сказал ему: «Пойдём ко мне жить. Ты одинок — я тоже. Ты художник — и я художник. Будем жить вместе». Он согласился. Своего-то жилья у него не было, а я не спросил с него ни копейки. Наоборот, взял под свою опеку, одел, обул, заставил бросить пить. Если бы не я, этот несчастный, возможно, давно бы ноги протянул...

Старик всё сидел с опущенной головой и с закрытыми глазами. И только по щеке его вдруг предательски поползла слеза. К счастью, этого никто не заметил.

...Морской берег, ласкаемый лунным светом, кажется серебристым миражом. Художник и Красавица, сняв обувь, идут по влажному песку. Море переливается жёлтыми лунными бликами. Тёплый и нежный песок ласкает босые ноги. Побережье пестрит огоньками от костров «дикарей». Это напоминает художнику костры из его детства.

...Весной, когда быстро тает в степи снег, вся местная детвора собирается толпой у костра, который разводят на краю аула. Поджигают прошлогодний сухой камыш. Пламя разрастается и искрится, издавая лёгкий треск. Постепенно все замолкают, зачарованно глядя на огонь...

Мимолётное воспоминание тут же растаяло. Ведь рядом была она. Красавица шла молча, бросая время от времени на художника пристальные взгляды, полные ожидания. Она словно говорила ему: «Я первая подошла к тебе. Но теперь твоя очередь сделать решительный шаг». Но он по-прежнему был робок рядом с ней, как в тот первый раз, когда в Воронцовском дворце обернулся на её голос и увидел её удивительные смородиновые глаза. В душе он благодарил Бога за то, что её не отпугнула его непреодолимая застенчивость. Теперь они виделись часто и, бывало, вели долгие разговоры. Но он до сих пор ничего не узнал о ней. Кто она? Чем занимается? Замужем ли? Этих вопросов он так и не задал своей Красавице, а сама она не раскрылась перед ним. Хотя о нём теперь знала, кажется, всё до мелочей.

Море тихо плескалось волнами о берег. Мир погружался в объятия ночи, разукрашенной огнями и дышащей теплом и негой.

Может, искупаемся? — спросил художник, которому было жарко от близости Красавицы.

— Пойдём, — согласилась она, чтобы поддержать хоть какую-то его инициативу.

Она бросила на песок туфли, которые несла в руках, сняла платье, но не решилась опустить его на песок. Он тут же скинул и расстелил перед ней свою рубашку, и воздушное платье девушки легло поверх его рубашки. Ловкость и быстрота его движений так не вязалась с его обычной неуклюжестью, что девушка рассмеялась. Она снова посмотрела на него своим долгим ожидающим

взглядом, потом повернулась и медленно пошла к воде. Когда вода коснулась её колен, девушка остановилась.

— А ты так и будешь стоять? — тихо спросила она, не оборачиваясь.

И действительно, он стоял, замерев и глядя на неё, освещённую лунным светом. Призыв девушки прибавил ему уверенности, он аккуратно положил на песок брюки и быстро вошёл в воду, звонко расплёскивая брызги. Он остановился сбоку от Красавицы. Наклонился и, набирая в ладони тёплую воду, незаметно бросил взгляд на её упругие груди под ещё не намокшим бикини, потом его взгляд скользнул по линии стройных ног. Сейчас его взору предстала иная красота, ошеломляющая, отличная от той, которую он видел при свете дня. И эта новая красота, высвеченная лунным светом, необыкновенно волновала его.

Красавица перебирала руками волосы и задумчиво смотрела на далёкие огни теплохода. Ему захотелось окликнуть её по имени. О чём это она думает? Чувствует ли, как он украдкой, умиляясь, любуется ею? Душная горячая волна охватила его тело, пробуждая в нём кипучую силу. Он почувствовал, что может поднять её на руки, как пушинку, и поплыть по волнам... Нет, полететь с ней по воздуху — легко и свободно, как лебедь!.. Но он только зачерпнул ладонями воду и плеснул ею в девушку. Красавица от неожиданности взвизгнула, а потом обрушила на него целый веер брызг и побежала, смеясь и высоко подпрыгивая, по волнам. Так мчались они вдоль берега — то по воде, то по песку, выкрикивая друг дружке смешные слова, пока девушка не споткнулась о свои же туфли. Она упала, а он настиг её и поднял на руки. И снова кипучая сила и смелость переполнили его грудь... Он взгляделся в её лицо и увидел простодушную детскую улыбку. И тогда, осторожно наклонившись, он поцеловал её в губы...

Глаза её были полузакрыты, веки чуть вздрагивали, и опять ему приоткрылась глубокая, невидимая для мимолётного взгляда красота. Он понёс её в воду и остановился от неожиданности, когда тело её стало почти невесомым. Она по-прежнему не открывала глаза и, казалось, спала прямо на волне. Вот поплыли и закачались перед его глазами её чувственные губы, и сам он оказался между явью и сном и мог лишь счастливо улыбаться, не в силах

произнести ни одного слова. Никогда раньше не испытывал он такого сладкого опьянения.

Ладони его ласково сжимали нежное тело девушки, в ушах звучала волшебная музыка, а голова кружилась от запаха роз, который, казалось, исходил от её густых волос. Лунный свет делал её светлое лицо строгим и отчуждённо-прекрасным, а выражение ему никак не удавалось уловить — то ли затаённая грусть была в нём, то ли ожидание. Красиво изогнутые брови над полузакрытыми глазами, нежно и робко вздрагивающие при каждом её вздохе груди, — всё волновало его, мешало дышать. Взгляд художника на мгновение застыл на ложбинке её груди. Всё ещё нерешительно — он наклонился и нежно поцеловал её куда-то в шею и тут же закрыл сам глаза от наслаждения, потому что вновь ударил в голову пьянящий запах роз.

На тёплых волнах, как в колыбели, покачивалась теперь Красавица на его руках, и лёгкость лебедя вновь представала перед его внутренним взором. Он медленно опускал руки, и её тело уже ласкали мелкие волны. Это вызывало в нём ревнивые чувства, отчего он поспешно вырывал её из объятий моря и страстно прижимал к груди. От мягкого прикосновения её волос сердце его сладко заняло, вмиг подкатила к горлу и пробежала по телу мелкая дрожь, и острое желание проснулось в нём. Решительными шагами, держа девушку на руках, он вышел на мелководье, мягко опустил Красавицу на колени, ощутив прикосновение влажного лифчика и упругость её груди. Его рука скользнула к нежной талии и от шелковистой кожи девушки сразу стала горячей. И так страшила его неопределённость действий, что даже дыхание на миг прервалось, и на лбу выступил горячий пот. Даже плеск волн, шаловливо ласкавших фундамент прибрежного кафе, возбуждал его. Губы их сомкнулись в страстном поцелуе. Сердце его забилося в груди, словно желая выпрыгнуть наружу. Два прекрасных тела слились в объятии, и лунный свет падал на них с неба, как серебряный дождь. И опять они оказались в зыбкой колыбели полусна-полуяви, а жаркие объятия и поцелуи распалили пламень чувства, которое разрасталось и, казалось, не знало границ. Но как раз в тот миг, когда накал чувств был на пределе, силы вдруг покинули его, а желание исчезло. Он словно впал в обморочное состояние...

Открыв глаза, он увидел, что луна была на месте и море всё так же ласково плескалось о стойки прибрежного кафе. Кажется, он на минуту открыл дверь в сказочный мир и тут же вернулся обратно. Как он ждал подобного мгновенья! И вот — только что он страстно желал, хотел взять эту женщину, а теперь чувствует себя бессильным и глубоко униженным. Красавица была тут, рядом, он чувствовал, как она порывисто дышит и прижимается к нему податливым горячим телом. Увы, его желание не вернулось, но было сладко ощущать её рядом с собой. Вот только теперь художник глядел на неё по-другому, с лёгкой усталостью, взором мудрого человека, ласкающего своего шаловливого ребёнка. Он поцеловал её лёгким, почти родственным поцелуем, и это показалось Красавице странным.

Догадываясь о её желании, он не мог заставить себя вернуться к недавнему состоянию. Пыл и страсть, только что сжигавшие его, не выдержали накала, душе хотелось покоя и размышления. Он представлял себе, как высвободится из горячих объятий девушки и блаженно растянется на песке, всей грудью вдохнёт чистый ночной воздух побережья. Вот так бы сейчас лежать, смотреть на звёзды и ни о чём не думать. Лёгкая печаль коснулась струн его души, и странными показались её сильные объятия и живость её неутолённых ласк. Красавица в его глазах превращалась в ночную русалку. От её объятий стало веять холодом. Русалочье тело не казалось божественным и даже шелковистым, чувственные губы не казались вишнями, а запах роз отчётливо преобразился в запах французских духов. Куда и как исчезло недавнее очарование? Куда делась загадочная, притягивающая, словно магнит, сила красоты? В чём загадка недавнего волшебного опьянения, в котором они были равны и счастливы в едином порыве?

И вдруг Красавица укусила его за плечо. Лёгкая боль вернула художника к действительности, он не знал, что ему делать: то ли обижаться, то ли воспринять это как шутку. Она почувствовала его замешательство и резко поднялась. Лицо её было бледным от обиды. Повернувшись, девушка заспешила к своей одежде.

Потом они долго шли по каким-то каменным ступеням. Она — впереди, он — за ней. Восхождение казалось ему тяжким и ненужным, а от взгляда отсюда, сверху, на море слегка кружилась голова. Днём по этой дороге никто не ходил, пользуясь канат-



ной. Сейчас канатка не работала, время перевалило за полночь. В воздухе стала ощущаться прохлада. Совсем недавно, в море, ему было гораздо теплее. Он часто оглядывался на море, где, кажется, потерял что-то очень важное, чего ему уже никогда не вернуть.

Поверхность моря стала перламутровой, а за плеском волн он различал девичий смех. Или ему это чудилось? Кто пребывал там, вокруг этих ночных костров? О чём люди говорили и мечтали? Порывами ветерка издалека донесло звуки гитары, кто-то пел красивую, грустную песню расставания...

Ему не хотелось уходить отсюда, но он не решался сказать об этом Красавице, чтобы не рассердить её окончательно, и покорно плёлся за нею следом. Он терзался, что обидел девушку, и готов был просить у неё прощение. За что? За своё остывшее чувство. Причиной случившегося он считал своё нетерпение, и сердце его пребывало в печали. Он и сейчас смотрел на идущую впереди девушку, как на чудо, ниспосланное ему с небес. В какой-то момент, взбодрённый ночной свежестью, он вдруг опять стал замечать тонкую талию, упругий шаг и гибкость стройной фигуры Красавицы. Комок в его груди стал вновь подкатывать к горлу.

Огни корпусов санатория уже погасли, лишь сиротливо горели лампы вдоль тротуаров. Не было видно ни души. В молчании ночи были отчётливо слышны их шаги. Сейчас они дойдут до двери её корпуса и расстанутся. Но всё оборачивается иначе. Зевающая вахтерша, привычно ворча, пропускает их, словно подталкивая своим ворчанием. И Красавица не останавливается, чтобы попрощаться с ним. Он проходит вслед за ней в корпус, и она ничего не говорит, не пытается пресечь его вторжение. Молча они поднимаются на третий этаж, где она неторопливо открывает дверь своим ключом. И лишь войдя в комнату, словно заметив, что не одна, тихо зовёт: «Проходи!»

Она не зажгла верхний свет, а, пройдя вглубь комнаты, включила настольную лампу. Мягкий свет озарил уютное гнёздышко, где проживали две девушки. Он ощутил какую-то особую теплоту этого временного жилья. Раз или два он заходил сюда, но теперь это было ночью, и это волновало его. Красавица между тем что-то говорила, кажется, о соседке, которая уехала в Ялту и вернётся

лишь завтра. А он всё стоял неподвижно посреди комнаты. Она принялась деловито стелить постель, словно его здесь не было. Он и вовсе замер: вместе постелет или отдельно? Она стелила постель долго и тщательно, потом, повесив на плечо полотенце, шепнула: «Ложись!» — и исчезла в ванной.

Все его движения были автоматическими: быстро разделся и, откинув одеяло, лёг. И тут же в горле возник ком от едва уловимого запаха, который хранила постель. И пока он ждал её, вдыхая этот запах, пока вслушивался в шум струящейся воды в ванной, сердце его сжималось и трепетало от счастья и страха.

Когда в цветном халате она вошла в комнату, юноша быстро закрыл глаза. Красавица не спешила. Всем видом она показывала, что ритуал должен быть соблюден. Неторопливо начала расчёсывать свои волосы. Юноша лежал, не открывая глаз, впервые чувствуя себя охотником. Это была его первая охота. Красавица продолжала ласкать свои прекрасные волосы, а он время от времени смотрел на неё через полузакрытые веки, и ему казалось, что он уже тысячу раз наблюдал эту самую картину. И она восхищала его. Щёлкнул выключатель. Красавица откинула одеяло и молча легла рядом с ним. Он открыл глаза и ничего не увидел, кроме темноты, только вновь ощутил рядом с собой её шелковистое тело. Постепенно в окне прорезался слабый свет. Он стал различать черты её лица. От неё пахло духами. Он притянул девушку к себе и стал осыпать её жадными поцелуями. А она, смеясь, шептала: «Не торопись, милый...» И была какая-то уверенность в её голосе...

Утром, когда первые лучи солнца озарили лицо девушки, оно показалось ему сказочно красивым. Ещё недавно бледное, лицо её цвело пышным румянцем, а алые губы, казалось, были созданы для бесконечных поцелуев. Он глядел на это ставшее вдруг родным лицо и думал, что никто ещё не смог запечатлеть во всей полноте прелесть пробудившейся любви. Он нежно взял её тонкие пальцы и прижал их к губам. Ему хотелось сказать ей что-то необыкновенное, чтобы сразу стала понятна вся глубина его чувства к ней. Но вместо этого он выговорил что-то бессвязное, типа: «Всю жизнь... быть рядом... мечта...»

— Это верно, какая жизнь без мечты, — не задумываясь,отреагировала Красавица.



Голос её звучал ровно и буднично. Он подумал, что она права, но в душе вдруг что-то тревожно заняло. Ведь если она так говорит, значит, не собирается сделать его мечту явью? Не собирается соединиться с ним навсегда? Или она хочет, чтобы он всю жизнь был в погоне за этим счастьем, всю жизнь искал её и страдал? Сердце заняло сильнее. Если они сейчас расстанутся, то он её больше никогда не увидит. Мысль эта была невыносима, и он хотел кричать ей об этом. Но не смог произнести ни слова, потому что заметил какую-то перемену в Красавице.

Она заговорила усталым голосом:

— Пора вставать. Скоро и соседка появится.

Но теперь он не хотел выпускать её из своих объятий.

— Полежим немного, — прошептал он ей на ухо и горячо поцеловал в губы-вишни. — Как я мог жить без тебя...

Красавица протяжно вздохнула.

— Знаешь... Если я что-то скажу тебе... ты не обидишься?

— Говори, не обижусь.

— Господи, — опять вздохнула Красавица. — Какой ты чудной. Как ребёнок.

— Но ты же не это хотела сказать? — О, как тревожно билось его сердце...

— Прости, но мне так жаль тебя... Нас...

— Жаль? Почему?

— Ты очень чистый и открытый. А я...

— Ну что ты... Ты — сама невинность! И вообще... Я впервые встретил такую красавицу... Такую удивительную...

— Нет-нет, не говори так!

— Мне даже кажется, что ты никого не целовала до меня...

— Я?! — в смятении переспросила Красавица, и в голосе её он уловил страх и тревогу.

— Ну вот, — он улыбнулся широко и ободряюще, — не собираешься ли ты рассказать мне какую-нибудь душещипательную историю, чтобы вызвать мою ревность?

Он засмеялся, но осёкся, увидев её побледневшее лицо. Она молчала. Ему показалось, что это молчание длилось вечность. Всего лишь показалось.

— Между нами... пропасть, — глухо сказала она.

— Что это значит? Говори без загадок, я не понимаю.



Он смотрел на неё с нежностью и тревогой, готовый защитить её от какой-то неведомой ему беды. А она вдруг заговорила быстро и горячо:

— Да, да, ты ничего не понимаешь, ты и вправду как ребёнок... А я никогда не смогу достичь тебя, так глубока эта пропасть...

— Не пойму, что за пропасть?

— Ты знаешь... Я не свободна...

— То есть?

— У меня... муж...

Юноша замер. В его душе вдруг заняла боль, заскрежетала, словно старая мельница. «Да, да, — подумал он, — конечно... Если бы она была невинной, разве бы могла с такой лёгкостью отдаться мне?..» Но вслух сказал:

— Не верю! Нет! Скажи, что это не так!

Она резко откинула одеяло и встала. Теперь она не стеснялась своего обнажённого тела, только взгляд её был чужим и потерянным. Он не мог смотреть на неё и отвёл глаза на разбросанные простыни. Они жгли его своей незапятнанной белизной. Почему-то он чувствовал себя горько обманутым. В голове вереницей выстраивались жестокие и обидные слова. Но он не успел их произнести: душа его уже рыдала о потерянном. Не зная, на ком выместить своё горе, он стал ожесточённо колотить кулаками по подушке.

Она же смотрела на него неподвижным, отстранённым взглядом и только шептала: «Ребенок... совсем ребёнок...» Потом убежала в ванную, откуда так и не вышла, пока он одевался и ждал её. Он ушел, ничего не сказав, не попрощавшись.

* * *

Три дня и три ночи, не умолкая, шумел и хлестал за окнами почти тропический ливень. Море бешено швыряло волны на берег. Все эти дни он почти не выходил из своей комнаты и никого не хотел видеть. Наконец ливень стих. Он вышел на берег и молча побрел по пляжу, робко надеясь на встречу с Красавицей. К концу дня его охватило беспокойство.

Он нерешительно направился к её корпусу. Ругая себя за мягкотелость, с замиранием сердца постучал в знакомую дверь. На пороге тут же появилась улыбающаяся соседка его Красавицы.

Ему даже показалось, что его тут с нетерпением ждали. Но то, что он услышал, поразило его как громом:

— Она уже уехала. Вот письмо для вас.

Он выхватил письмо и почти сбежал вниз, где в вестибюле с жадностью прочёл его. Потом долго мял в руках листок, густо исписанный красивым женским почерком, и снова перечитывал нежное послание, обжигаясь взглядом о строчки. Его Красавица писала ему о своих чувствах. Искренние слова её исповеди мягким клубком вкатились в его сердце, в груди стало тепло и приятно, и он — словно наяву — увидел серебристый свет луны на мелких прибрежных волнах, как надежду на счастье, которое он обязательно должен испытать в этой жизни.

* * *

О, неуловимое время! Молодость пролетает со скоростью смерча, ураганным ветром проносится она, унося с собою мечты и грёзы. Где они, мои двадцать пять лет? Потеряны и забыты? Почему бы в зрелом возрасте не радоваться тому, что проводил с благодарностью свою молодость, остался жив и здоров и можешь продолжать наслаждаться этой жизнью с ещё большим трепетом, ещё более дорожа её мгновеньями?..

Слова хозяйина словно поддразнивали старика, но он думал о своём сокровенном, о чём ни хозяйин, ни эта милая девушка не догадывались.

— Не страсть ли к славе тянула меня за молодую гриву и благополучно вытащила на светлую полосу жизни? — продолжал свою страстную речь хозяйин. — Если бы всё было по-другому, то влачить бы мне жалкое существование, растя детей и перебиваясь от зарплат до зарплат. Увы — это не для меня! Страсть к славе подстёгивала меня, как крепкие пятки седока подстёгивают сбавившего ход скакуна. Это как болезнь — к кому привяжется, тот будет пытаться забираться в своей жизни всё выше и выше. Это заразная болезнь, и я был заражён ею до самых глубин своего сознания... Ты пригуби коньячку-то, дорогая! Ну-ка, съешь кисточку винограда! — без запинки переключался хозяйин от философских рассуждений к сиюминутной действительности.

Старик смотрел в сторону девушки. Красивое яркое платье, на шее — тонкая переливающаяся цепочка. Её длинные ресницы,

словно волшебные кисти — взмах за взмахом, — рисовали в его воображении картины далёких дней его молодости. Чистая линия лба, ямочки на обеих щеках, густые длинные волосы... Старик не понимал — наваждение это или простое совпадение? Перед ним словно ожила та единственная, которую он любил горячей неумелой любовью в дни своей молодости. Та самая Красавица, образ которой запечатлён в его сердце на всю жизнь. «Не может быть! Не может быть!» — отводил он поспешно взгляд.

...Он всегда помнил свою Красавицу и сравнивал её с миллиардами точек на полотне. Ему хотелось выйти на улицу и выкрикнуть имя, которое дал ей двадцать пять лет тому назад, — Загадочная невеста. Как ни пытался он запечатлеть её на полотне, всё было тщетным. Оставалось смириться с мыслью, что её красота — это что-то непостижимое для простого смертного, будь он трижды художник! Да, да, человеческая рука не могла передать это на полотне. Так неужели природа смогла повторить её в этих руках, нежных пальцах, розовых губах?.. В смородиновых глазах, удивлённо взирающих на философствующего хозяина дома, на картину, вывешенную в центре гостиной?.. Увы, ни эта девушка, ни другие не знают, чьё сердце бередит, рвёт на части это творение рук человеческих. Да и кому он мог рассказать, что эта картина однажды помогла ему вернуться к жизни... А то, кому она принадлежит, не имеет значения. Старик давным-давно осознал, что в этом бренном мире никакое великолепное творение не является собственностью служителя искусства, создавшего его. Всё это принадлежит людям и служит их благу. Имена мастеров, воздвигших мавзолей Хаджи Ахмеда Яссауи, могли быть утрачены во времени, но сам мавзолей не есть ли свидетельство того, что истинная любовь не исчезнет без следа?

Тогда о чём же сожалеть старику? Пусть хозяин пожинает лавры от «Загадочной невесты». Это их сделка, сделка двух мужчин, заключённая с самого начала. «Работа твоя — картина моя», — говорил ему хозяин. А он тогда только усмехался: «Дай мне возможность работать, не отвлекаясь, ни о чём не заботясь, больше мне ничего не надо...» Разве не начались для него тогда счастливые дни полного погружения в творчество, то, чего не заменят никакие почести и лавры?..

...Пробуждающийся рассвет задержал свой луч у окна и демонстративно послал приветствие белоголовым вершинам Алатау. И вдруг, будто встав с колен, зарево охватило склоны гор, и тогда алый луч скользнул с ледяной поверхности горного хребта прямо в сердце художника... А из-за острых вершин, из-за гладких скал показалась она — Красавица... Да, да, сначала предстал перед глазами одинокий светящийся силуэт, который постепенно приближался и вот уже абсолютно ясно высветился с внешней стороны окна, достаточно было руку протянуть... Теперь он видел, как она печально смотрела, а потом растаяла, как марево. Художник стоял, зачарованный видением, не зная, как передать увиденное на полотне.

Множество эскизов набросала его рука, и с каждым следующим наброском он улавливал что-то потаённое, раз за разом открывая новую линию, обретая постепенно ключ к таинственному образу. Он жил в мире снов. Для него самого было загадкой — что за неведомая сила перелилась в него и подняла к вершинам творческого озарения. И такой же загадочностью было отмечено лицо девушки, изображённой на картине. Художник был почти уверен, что по своей воле, своей рукой он бы не создал второй раз подобное творение. Начни он чуть раньше или позже свою работу, получилась бы уже другая красавица.

Изображенная на холсте была именно тем явившимся ему в утреннем мареве видением. Кажется, сама душа художника в высоком порыве перенеслась в эту картину. Потому-то после этого случая у него ни к чему уже не лежала душа. Это была картина, рождённая в момент торжества истины! Тогда какая разница, кто нарисовал её — этот осунувшийся, раньше времени постаревший художник или гуляка-щёголь, его хозяин, пожаловавший ему возможность творить?

Ладно, пускай все лавры, все рукоплескания достанутся хозяину — разве не к этому стремился он всю жизнь? И разве не обрела вечную жизнь душа художника, переселившаяся в его картину? Он как будто даже почувствовал, что душа его изошла в вечность, а тело безвольно влачит существование. Он просил у Бога времени и сил, чтобы закончить работу. И Бог внял его просьбе. И вот его триумф — «Загадочная невеста» оценена как выдающееся произведение XX века. Чего ещё желать старику после этого?

— Тысяча и одно спасибо... Спасибо хозяину, — вполголоса произнёс старик, опьяненный этой сладкой мыслью.

Всё суета... Всё как в бреду... Хозяин и девушка то появляются, едва различимые в густом тумане, то снова растворяются в нём. То ли коньяк ударил в голову, то ли безграничный полёт фантазии уносит в неведомые дали, но ему становится легко и свободно... А он всё продолжает бормотать вполголоса:

— Что за сила движет всем миром и связала всю Вселенную? Явь — это сон, и мир — тоже сон...

К горлу подступают какие-то пламенные слова, но, не найдя сил выйти, обжигают нутро, отчего появляется одышка, щемит сердце. Ощущение, будто грудь заливают расплавленным свинцом. Откуда-то доносится чудесная мелодия... Да, именно эта мелодия постоянно была у него на слуху, когда он работал над «Загадочной невестой». Музыка, проникающая в сердце... Становится трудно дышать... Словно коршун камнем падает с неба и впиивается прямо в сердце... Хочется света, свободы... Яркий луч наполняет его энергией жизни, а чудесная мелодия навевает прохладу, развеив нахлынувший кошмар. Животворная мелодия, трансформируясь неуловимым образом, воплощается в лебедя и, взмахнув крыльями, поднимается высоко в небо и кружит, кружит над его головой... Он снова ощущает свободу и радость бытия...

Старик забыл на время, где он находится. Сон ли, явь вокруг него? Хозяин, улыбаясь, предлагает девушке рюмку, девушка вытягивает остроконечные пальчики и бережно принимает её... Они звонко чокаются... В комнату через форточку проникают яркие прожектора. Старик в замешательстве. Ветер всколыхнул занавеску, тронул тонкий цветок на окне. Тёплое дуновение разгладило лицо старика, окутало ноющее тело.

Как будто сон... Прямо напротив него на свободном месте сидит его Красавица! Да, да, она самая! На ней лёгкое широкое платье из белого шёлка, волнами ниспадают на пол складки. Лицо светится улыбкой, на щеках — ямочки... Как они ей идут...

Старик попытался встать с места, но тело не слушалось. Только глаза выдавали в нём смятение мыслей. «Наверное, я сплю... Нет, проснулся, но как будто бы сплю...»

— Ты меня звал?



Голос её звучал откуда-то издалека.

— Как же... Ведь я скучаю по тебе, милая! Я всё время искал тебя... Я всё время надеялся, что мы ещё встретимся с тобой...

Красавица промолчала.

— Почему... Почему ты исчезла тогда?!

— Это судьба...

— Где ты сейчас?

— Далеко... Эти края для вас неведомы.

— Но ты ведь сидишь здесь, рядом со мной!

— И рядом... И далеко... А твоё сердце тебе ничего не подсказало? Оглянись, рядом с тобой сидит твоя дочь. Я родила её...

От этих слов старик вздрогнул и очнулся. Видение исчезло без следа.

Что это было?.. Сон?.. Но ведь Красавица сидела здесь, совсем рядом, можно было руку протянуть... «С ума схожу, наверное», — подумал старик. Но мысли работали чётко, а в голове, как колокол, звучали слова: «Это твоя дочь. Я родила её...»

Он взглянул на милостивую девушку за столом. Его дочь?.. Как это возможно?.. Выходит, Красавица любила его?.. Почему не искала? Может, женская гордость взяла верх?.. Стоп! В оставленном письме она писала, что вряд ли теперь вернётся к мужу... Где же это письмо... Надо его перечитать...

Старик, торопясь, вынул из нагрудного кармана большой кожаный блокнот и нашёл в нём потёртое, пожелтевшее от времени письмо. Да, оно всегда было с ним, это прощальное письмо его возлюбленной. Дрожащими пальцами он погладил истёртые нагибах странички. Он помнил, что оно начиналось со слова «любимый»... Сердце сжалось от тоски...

«Любимый! Это слово я говорю тебе, наверное, в первый и последний раз. Потом буду хранить его в душе и повторять про себя, как молитву, потому что чувствую, что больше уже не встретимся.

Сколько бы я ни благодарила судьбу за нашу встречу, меня всё время будут мучить мысли о том, что я замутила чистоту твоей души. Что, сближаясь с тобой, я стремилась всего лишь отомстить мужу за измену. Он втоптал в грязь мои светлые чувства, и я должна была ответить ему тем же — изменой. Тогда-то и встретила тебя. Ты был мне нужен для осуществления моей мести. Но вот

всё произошло, и я вдруг осознала, что ты мне совсем не безразличен. Прости меня! Я виновата перед тобой. Пусть будет искуплением моей вины перед тобой эта исповедь.

Мой муж нарушил святость супружеских уз. С горечью убедилась я в его лицемерии. Мы прожили вместе два года, и у нас не было никаких проблем, кроме одной: я никак не могла забеременеть. Муж считал меня причиной неудач. Но медицинское обследование показало, что я здорова и причина не во мне. Я не решалась сказать об этом мужу, ведь он был так уверен в себе. Как-то муж с радостью сообщил мне, что есть две горящие путевки в Крым. Я решила, что там, на отдыхе, обо всём ему поведаю. Может быть, ему удастся пройти лечение. Я быстро собрала свои и его вещи, но в последний момент он сослался на непредвиденные обстоятельства на работе, проводил меня в аэропорт, а сам вернулся домой. На прощание сказал: «Я буду очень скучать по тебе. Как приедешь, сразу позвони».

Я села в самолет, но моим единственным желанием было: хоть бы он не взлетел! В это трудно поверить, но мы не взлетели. Мотор начинал реветь, потом умолкал, снова всё повторялось, наконец нас попросили вернуться в зал ожидания. Я была взволнована, как будто сама сумела остановить самолёт. Рейс отложили на три часа, потом ещё на два, потом сообщили, что вылет задерживается до шести часов утра. Люди вокруг меня расстроены, а я радуюсь! Думаю, вот будет сюрприз мужу, когда я появлюсь на пороге! Поймала такси и — домой! Подъехала. В окне на третьем этаже — слабый свет. Подумала, что смотрит телевизор. Открыла дверь своим ключом. Сразу почувствовала резкий запах сигаретного дыма и водки. В ванной горел свет. В коридоре стояли чужие женские туфли. Не сразу заметила красный женский пиджак на вешалке. Из спальни послышался женский смех...

Я прошла на кухню. Не хотелось верить в происходящее. Стол был заставлен бутылками и закуской. Как вор прокралась я к нашей спальне и заглянула в приоткрытую дверь. Я увидела их обоих — обнажённых, охваченных страстью... Вынести этого я не могла. Как пьяная, вышла из дому. Не помню, сколько времени просидела на скамейке во дворе. Просто замерла, как каменная, ни единой слезинки не проронила. К утру вернулась в аэропорт. Хотелось скорее подняться в небо и лететь прочь от этого места.

С той злополучной ночи я в каждом мужчине видела лжеца. И всё время думала, как отомстить мужу. Решила насладиться мстью, а потом вернуться домой и не подавать виду, что что-то знаю. Зачем? Что скажут люди, и кому нужна чужая беда? Ничего уже не исправишь. А уйти... Кто даст гарантию, что не встречу такого же лжеца? Не лучше ли делать то же, что и он: притворно смеяться, притворно любить?

Но ты разрушил всё, что я наспех соорудила. Рядом с тобой я поняла, что невозможно жить между правдой и ложью. Что один неверный шаг — и полетишь в пропасть... Я до конца жизни в долгу перед тобой за то, что ты подал мне руку на краю этой пропасти. Что было бы со мной, если бы не ты, а другой встретился на моём пути в этот час? Жалею, что не встретились мы с тобой тогда, когда искала я своего единственного, и ошиблась, приняв за него случайного человека. Теперь уже и не знаю, смогу ли оставаться рядом со своим мужем. Но точно знаю, что всегда буду хранить в сердце твой образ. Прости меня за обман. Будь счастлив. Прощай! Твоя Красавица».

Старик всё поглаживал на коленях старое письмо. «Наверное, я пьян», — подумал он. И правда, выпито было достаточно. Он один, потихоньку потягивая коньяк, осушил целую бутылку. И всё же пытался трезво взглянуть на вещи... Но все его мысли сводились к одной: «Эта девушка — моя дочь. Возможно ли такое?»

Пошатываясь, он попытался встать из-за стола. Чуть не упал, отыскивая рукой свою палку, и ему пришлось снова сесть. Что с ним? Неужели он так пьян, что не может управлять своим телом? А где хозяин и девушка? Большие часы на стене пробили двенадцать. У старика словно пробки вынули из ушей. Он услышал тихую музыку, которая лилась через открытую дверь соседней комнаты. Кажется, там танцевали. Он почувствовал ноющую боль в ногах и подумал, что не сможет теперь уснуть и будет ворочаться всю ночь, пытаясь уйти от этой боли.

И ещё ныло сердце: «Кто я? Ради чего прожил жизнь? Прав ли был, когда сказал, что мне не нужно в жизни ничего, кроме работы?» Наконец он отыскал свою палку и неуверенной походкой пошёл прочь из гостиной. Ему было душно. Во дворе он стал жадно глотать воздух, как будто выбрался из темницы на волю. В чистом ночном небе горели звёзды.

— Звезда моя высоко, — прошептал старик, и от переполнявшего его чувства горечи снова из глаз потекли слёзы.

Он добрался до своей комнатухи во дворе и здесь, в привычной обстановке, немного успокоился. Он привык к этой комнате, которая была для него и мастерской, и кухней, и спальней, и считал её царскими хоромами. Хозяин сюда почти не заглядывал. А одиночество старика не смущало, он всегда был поглощён работой. Он упивался творчеством, изображая на полотнах окружающую жизнь. Но, соприкасаясь с суетливой повседневной жизнью, бурлившей за оградой этого дома, испытывал беспокойство. Он и сам бы не смог сказать, что изображает на своих полотнах — внешний мир или свои внутренние ощущения? Художнику казалось, что он — путник, бредущий под звуки волшебных мелодий и обнаруживший на пути необитаемый остров внеземных чувств. Передать эти ощущения через своё искусство он считал своим человеческим долгом и не задумывался о том, понимают ли его окружающие. Даже с хозяином их мало что связывало — каждый жил в своём мире.

И сейчас вдруг старику стало больно, что его жизнь истрачена на то, чтобы удовлетворить амбиции алчного хозяина, принести ему славу, почести, признание. Сам он так и остался никем. На улице люди смотрели на него отчуждённо, а порой и с презрением... Теперь он чувствовал себя так, как будто мчался во весь опор на быстром, как вихрь, скакуне, но вот перед самым финишем скакун вдруг развернулся и встал как вкопанный. И это была боль, которой он раньше не испытывал.

Его охватила тоска. Может быть, это застолье, начавшееся на закате солнца и затянувшееся до середины ночи, так подействовало на него или изобилие праздничного стола вскружило голову, а может, то призрачное видение и врезавшиеся в сердце слова «твоя дочь» так поколебали его душевное равновесие, но в этот миг жизнь показалась ему пустой и никчёмной. Напрасно, напрасно прожитая жизнь! Не останется ни следа, ни памяти о тебе. Богом данный талант отдан в нечистые руки, а золотые годы проведены в заблуждении...

Старика впервые охватил гнев. Он ругал себя за наивность, с которой пошёл на поводу у практичного человека, по наилегчайшему для смертного пути. Он дал оградить себя от материальных



забот и других житейских проблем, но за это продал свой талант, продал человеку тщеславному и не обремененному угрызениями совести.

И снова стало тяжело дышать, и опять почувствовал он, как чьи-то когти впились в сердце и царапают его... Он медленно опустился на пол и повалился набок. Но сознание не покинуло его. Острые когти постепенно отпустили сердце. Холодный пот выступил на лбу, во рту пересохло. Старик привстал и добрался до кровати. Боль в сердце постепенно прошла, и только ноги ныли, особенно правая, которой не было. Но эту боль он привык переносить.

На какое-то время ему снова стало хорошо и спокойно. Перед внутренним взором, как кадры киноленты, проходили эпизоды из его жизни. Безмятежное детство, когда мама баловала и ласкала его, пророча счастливую жизнь своему мальчику. Школа, потом отъезд в город. Институт. В год окончания института похоронил отца, а через шесть месяцев — мать. После этих горьких событий в родной аул он больше не возвращался.

А вот перед его внутренним взором прошли другие картины: Крым, берег Чёрного моря, ночные прогулки по пляжу вместе с его Красавицей. Его смущение и неловкость. И эта ночь — первая и единственная ночь их любви... Когда всё так неожиданно оборвалось, он пережил смятение чувств, сравнимое с душевной травмой. Вернувшись из поездки, то упивался вином, желая забыть свою несчастную любовь, то окрылял себя надеждой на чудо и мечтал снова встретить её однажды случайно, как это было в Воронцовском дворце... Но проходили дни, недели, а Красавица не появлялась... И он снова шёл в бар, чтобы развеять тоску вином.

И однажды... Это он помнит, как в тумане. Он, пошатываясь, покидает бар... Выходит на дорогу... Из-за поворота появляется машина... Он пытается отпрыгнуть, но автомобиль оказывается быстрее. Сильный удар отбрасывает его в сторону. Дальше он ничего не помнит. Очнулся уже в больнице, оставив одну ногу — почти до колена — на операционном столе.

Он выходит на улицу на костылях. Холодно. Люди спешат мимо. Никому нет дела до его беды, будто он родился таким — безногим. Нет, одно сочувствие он как-то услышал за спиной:

— Вот бедняга! Совсем молодой — и без ноги...

С тех пор он уже не мечтал о встрече со своей Красавицей. Хотелось спрятаться куда-нибудь в щель и никого не тревожить своим видом. Но чувство, которое жгло его грудь с тех пор, как покинула его Красавица, должно было выплеснуться на полотно. Эта потребность зрела в нём долгие годы, пока не появилась его «Загадочная невеста»...

Старик лежал, откинувшись на подушку, прикрыв глаза. Он пребывал в мистическом мире снов, способном вернуть в прошлое. Он видел свою жизнь, но не с высоты человеческого сознания, а откуда-то из космоса. Как будто парил над своей жизнью...

Вот он сидит на базаре, в кармане — недопитая бутылка портвейна. В руках — очередная картина на продажу. Здесь его и подобрал хозяин — уверенный, смекалистый, всё рассчитавший в его и своей судьбе. С тех пор художник жил в сытости и довольстве. Но годы пьянки не прошли бесследно. Он осунулся, постарел, глаза выцвели... Для окружающих он давно стал «стариком». Никто не интересовался тем, кто он, откуда, как дошёл до такой жизни и сколько ему на самом деле лет...

Он считал, что ему повезло — хозяин не обманул и дал ему всё необходимое для вполне сносного существования: кров, одежду, пищу. Но главное — он дал ему возможность работать, не заботясь о завтрашнем дне. Только работами его распорядился теперь сам хозяин. Но художника это мало волновало. Когда он создал «Загадочную невесту», душа его испытала чувство полёта и постепенно успокоилась...

Последние три года он работал над большим полотном «Преследователь». В глубине души он знал, кто скрыт за образом настойчивого, расчётливого и безжалостного преследователя... Не зря же он столько лет прожил рядом со своим хозяином. И вот, как раз сегодня, старик поставил последнюю точку, вернее, это был последний мазок. На холсте преследователь изображен жадно смотрящим на свою добычу — подбитую им рыжую лисицу, из ноздрей и со лба которой сочится на снег алая кровь. И от этого жадного взгляда охотника веет лютым холодом...

Неожиданно старик открыл глаза и поднялся с кровати. Палка стояла рядом. Он машинально нащупал её рукой и проковылял к столу, на котором была установлена уже законченная картина...



На пушистом рыхлом снегу мечется язычок пламени. Выбиваясь из последних сил, рыжая лисица — красавица Алтай — уходит от погони. Она несколько раз меняет направление, но судьба её предрешена. Преследователь на быстром коне и так потерял с ней много времени. Он, наконец, нагнал её и твёрдой, как железо, палицей ударил рыжую по голове. Лисица дважды кувыркнулась и распласталась в овраге. С окровавленной морды на снег капала алая кровь...

В голове у старика помутилось. Он протёр глаза рукавом и снова взглянул на полотно. И вдруг столкнулся затуманенным взглядом с жёстким взглядом преследователя, упоённого погоней, на взмыленном коне. Алчные безжалостные глаза смотрели прямо на старика. Тело художника задрожало, как будто на него повеяло с картины леденящим душу холодом. Старик попытался сбросить с себя наваждение. Выпрямился во весь рост, поднял руку, словно защищаясь... Всадник усмехнулся, обнажив зубы, и взмахнул окровавленной палицей. Удар пришёлся прямо в лоб. Старик выронил палку и упал, опрокинув стул. Со лба на край соскользнувшей с кровати простыни сползла алая струйка крови...

* * *

Из медицинского заключения: «Смерть наступила в результате удара лбом об угол стола, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения...»

Тело старика обмыли, завернули в ковёр и тихо, без стенаний предали земле. Никому не пришло в голову, что художник погиб от удара палицей, которая была нарисована на его новой картине. Старику уже не суждено было узнать, что прекрасная гостья окончательно покорила сердце его хозяина и со временем они поженились. Однажды, перебирая рисунки и этюды в комнате старика, молодая хозяйка наткнулась на чёрный кожаный блокнот, из которого выпало бережно хранимое многие годы письмо. Почерк был удивительно знаком, а прочитав письмо, она узнала в нём историю, рассказанную ей когда-то матерью.

Она сидела и плакала над письмом, с трудом вспоминая неразговорчивого старика, составившего им компанию, когда они праздновали триумф картины её будущего жениха. Всего однажды этот странный на вид старик — её отец — был совсем близко и с неж-



ностью и умилением смотрел на неё через заставленный коньяком и яствами стол...

Она долго ещё грустила, думая о том, почему жизнь так жестоко обошлась с её родителями, разведя их по разным дорогам в одном городе. Ей было больно из-за того, что отец её — бедный, несостоявшийся художник. И лишь одна мысль согревала её наивную, страдающую душу... Мысль о том, что отец порадовался бы, узнав, что его дочь вышла замуж за талантливого, озарённого светом славы художника и счастлива с ним...

АСКАР АЛТАЙ

СОРОКА-КИЛЛЕР

(Глазоед)

Птица, отрѣкшаяся от беззаботного существования, — это хитрая сорока...

А он же — человек, подчинѣнный сознанию этой сороки. Жил, алчный к наживе, во власти вожделения. Но эти чувства, похожие на птичий помёт, выброшенный сорокой, стали неуправляемыми, а сознание, мутное как тот же помёт, словно высохло.

А сколько воды утекло с тех пор, как пестрокрылая с белѣсым хвостом сорока начала охоту на живых и мѣртвых?! Ей было совершенно недостаточно и мѣртвой падали, и живой твари.

И сегодня на коротком полене во дворе стрекочет одинокая сорока. Зоб у неё пустой. Полевая птица, вынужденная приспособить полено под насест, подпрыгивает, вытягивая короткую шею, и покачивает длинным хвостом. Её взгляд пристально устремлѣн на хозяина, смуглого старика, отдыхающего в тени.

В действительности же её глаза жадно наблюдают не за костлявым чѣрным стариком, а за лежащими перед ним копчѣными головами. Но прошло уже много времени, как сорока-воровка караулит головы, жадно поедая глазами горячую еду... Всѣ-таки птица хоть и назойливая, но прирученная, когда ещё была птенцом.

* * *

Обе головы, лежащие перед угрюмым стариком, дочерна загорелым под солнцем, сырые и кровавые. Одна — с громоздкими, серповидными рогами, принадлежит архару. Другая — с торчащими ушами, серому волку. Не разделаны. Целые. Видно, что отрублены топором прямо в месте стыка шеи с затылком.

Обе головы иссохли, стиснутые белые зубы оскалились, верхний тонкий слой кожи подсох от соли. Глаз не видно. Безвинно молящие у архара, искромѣтные у волка, глаза исчезли, а на их месте зияют тѣмные впадины. Вид голов, наводящих страх и за-



ставляющих вздрогнуть сердце, вызывает испуг. Но старик никак не реагирует на это, кажется, что он неживой.

Когда старик, выйдя во двор, бросил тяжёлые как свинец головы на землю, то сорока, сидевшая на широком полене, застрекотала... Сейчас, давая знать о том, что голодна, она снова громко застрекотала и начала подпрыгивать на поверхности короткой чурки. Думая, чем бы «заморить червячка», тряся пустой зоб, смотря безумными, питающими надежду глазами на хозяина, размахивала крыльями, как сокол, приготовившийся к взлёту. Так и хотела подлететь стремглав к этим головам, но знала, что привязь с железным кольцом на конце не отпустит её никуда. Надувшаяся птица знает это и стрекочет старику горькие гневные звуки, как бы желая показать, как она голодна. Но старик словно твёрдый камень. Со вчерашнего дня стал равнодушным к птице... А птица с пёстрыми крыльями, сильно проголодавшись, безнадежно пытается добраться до голов, находилась в беспокойном состоянии. Хозяин же, присевший в тени, вытирая пот от жары, накрыл побритую наголо голову тонким платком.

Для бедной сороки голодные зябкие дни ещё впереди. Это будет глубокой осенью и зимой. Сейчас же знойный июль. Обычно желудок был сытым, выбрасывал жирный помёт. Да и старик в лето красное ничего не жалел для неё. Ела только глаза: бараньи глаза, собачьи глаза, куриные глаза... в общем, проглатывала любые глаза зрячих. Чтобы не стала плоскостопной, ленивой на взмах крыльев, хозяин по вечерам отпускал её полетать, привязав к лапке тонкую волосяную верёвку длиной в шесть взмахов руки. И сорока могла побегать по земле и размять крылья.

Массивная как холмик голова архара и лежащая как опрокинутая чашка голова волка служили для сороки блюдом, пищей, которой она питалась, и куда ей подкладывали корм. Любые глаза, попадавшие в блюдо, проглатывала сразу. Эти головы питали её, с их глазных впадин она ела иногда и кровавое мясо, и разные мясные деликатесы, и даже утоляла жажду налитой туда водой... Со вчерашнего дня всё это исчезло и она никак не может утолить голод и жажду.

Хитрая сорока, прекратив стрекотать, начала беспокойно икать. Но хозяин, кажется, и не думает шелохнуться. Заглядевшись на засоленные в тени головы, задумавшись о прошлом, разрезает на



куски кровавое мясо. Заталкивает его пальцами в зияющую глазную впадину черепа матёрого волка.

А сорока-воровка, понимающая без слов, что собирается делать её хозяин, лебезит на насесте из чурки. Вокруг измазанного птичьим помётом насеста разбросаны крупные и мелкие кости. Хотя сорока и обглодала их, как будто соскребла ножом, но всё же птица, питающаяся падалью и не обладающая острыми когтями сокола, не смогла ни раздробить их, ни проглотить целиком. Это же лицемерная проститутка, привыкшая жить на всём готовом... Жадно смотря на головы архара и волка, стрекоча без конца, ещё и важничает нарочито, будто хочет сказать: когда же, наконец, набьёшь мой желудок дармовой пищей?

Но старик и не думает торопиться. Куда ему торопиться?!

В аул Думан, рядом с Алматы, он переехал буквально недавно. Разве у него было желание переезжать на старости лет?! Но всё же был вынужден спуститься с вершин Хан-Тенгри. Это долгая история... Он сделал это ещё и ради единственного сына Кайрата, ради двух внуков, его детей. Сноха, оказывается, беременна ещё одним ребёнком. Как только переехали, легла в больницу. Он остался присматривать за двумя внуками, которые уже ходят в школу.

Вчера ночью сноха благополучно родила. Но ребёнок родился без глаз. Лицо родившегося без глаз и без бровей младенца гладко и безжизненно. Врачи сказали его сыну, что такое встречается раз в сто лет.

Когда сын, придя домой за полночь, с плаксивым выражением лица начал: «Что теперь нам делать, папа?!», то он прервал его: «Цыц! Что значит, что будем делать? Для младенца, помещавшегося в утробе матери, найдётся место и в этой жизни. Ах ты, слабавольный! Чтобы сноха не видела этого твоего вида...»

— Ей ещё даже не показывали ребёнка...

— Уйди и не мели чушь! Дети на земле не валяются. Принесите домой, каким бы ни был этот ребёнок!

Караш сказал, как отрубил.

Невольно вспомнил свою старуху. Богу было угодно, что все дети у неё рождались мёртвыми, и, после всех выкидышей, единственный сын был как «гостинец от смерти». Хорошо, что старуха ушла рано из жизни, и ей не довелось пережить этот ужас. Если бы она была жива, то обвинила бы во всём своего старика. «Ты!



Ты виноват!..» — сказала бы в отчаянии и гневе, как и раньше бывало.

Да, она бы взмолилась Богу и на этот раз прокляла бы его. Свидетелем тому этот белый свет! И эта проворная, наглая пестрокрылая сорока! И вина и грех ложатся на эту сороку с шуршащими крыльями...

А тем временем ненасытная сорока, жадно глядя на две округлых головы, служащих ей блюдом, стрекотала, будто говоря: «Кровопийца, давай сюда».

* * *

Упрямый Караш пребывал в затруднительном состоянии...

Ввели его в затруднение этот жестокий мир, в котором правят «сороки», и короткая обманчивая жизнь, которую проживает человек. Это пёстрое, разноликое, лицемерное общество, обманчивое как мираж... люди, живущие в нём. И он тоже не был без греха. Если не так — зачем было ему испытывать мытарства с лицемерной сорокой?!

В то время Караш был молод... Был опьянён увлечениями и задором молодости. Удалой молодец, едва достигший тридцатилетия, занимался барымтой¹ от Великой Китайской стены до горных массивов Алая², менял гривастых скакунов одного края на быстрых коней другой страны, уходил от смертельно опасных погонь. Выбрал путь одинокого разбойника с большой дороги. Спал в загонах для ночёвки скота, бодрствовал от зари до зари и, таким образом, испытал на себе суровую жизнь странника.

Приучил его к такой жизни чужеземец Косман, проживавший по соседству с алайскими казахами, среди которых жили его родственники по матери. С чужеземцем, который не слезал с коня, хотя ему уже было под шестьдесят, он встретился во время своих походов. Встречались среди гор, в отдалённой безлюдной степи, на заснеженных и ледяных горных перевалах, передавали из рук в руки узды скакунов, и каждый уходил своей дорогой.

Его спутниками были туман, окутывавший горные ущелья, снежные бураны, прочёсывавшие пустынные степи как шерсть.

¹ Барымта — захват, угон лошадей.

² Алай — Памир.

Походы, в которых было больше невзгод, чем наслаждений, мучений, чем радостей, утомляли сильно. Но такое благородное животное, как лошадь, придавало энергию, вожделение в глубине души усмирало ужас смерти, возбуждало задор и подпитывало суровое мужество и страстное упорство. Им овладевала страстная ненасытность, и она подталкивало его к действиям.

Э-э-эх, бывлые привольные, счастливые времена!..

Одинокие походы сблизили его с чужеземцем Косманом, у них была общая судьба среди гор. Два разбойника орудовали без устали на звериных тропах могучего Алатау, где проживают по соседству казахи и киргизы, а также в высоких полосатых вершинах Памира, где рядом с горными козлами обитают афганцы и бадахшанские таджики.

Они оба боялись лишь одного. Власти... Они не знали другой опасности, кроме власти с её длинными руками. Они были степняками, жившими вместе со степными птицами и зверями. Два разбойника, грабившие людей, превратившие собственные души в рабов вожделений, занимались грязными делами, но были честны между собой — ведь находились в одной упряжке.

Косман знал, что рано или поздно будет задержан. И Караш чувствовал, что скоро его привычной жизни будет положен конец. Но никто из них неговорил об этом вслух. Наоборот, рыскали по горам с ещё большим упрямством и ожесточением. Отбрасывая такие нежелательные мысли, считали барымту и сырымту¹ делом неуловимых, избранных судьбой людей.

Через год после их первой встречи алаец Косман показал хантенгрианскому разбойнику Карашу своё постоянное жилище. Тогда он и узнал о страшном ремесле сороки и, содрогнувшись от ужаса, поразился коварной хитрости Космана. Но, испугавшись вначале, потом сам страстно захотел занять такую же птицу. В нём пробудилось ненасытное вожделение, им овладело кровожадное чувство.

Косман, обитавший в забытой не только людьми, но и птицами и зверями, всем живым миром, горной долине Кулжат в Доланкарайском крае, оказался пастухом, он пас козлов. Жена — молодая женщина с Памира, сам же — чужестранец непонятого проис-

¹ Сырымта — угон скота.

хождения. Безродный. Видно, бог не одарил его родственными связями.

И не казах, и не киргыз, и не таджик, и не бадахшанец, и не афганец, даже не перс — представитель некоего древнего народа... Поговаривали, что его предки — пришельцы, прибывшие невесть откуда. Люди терялись в догадках о происхождении одинокого несчастного чужеземца, прибывшего в поисках убежища. Говорили, что он скитающийся «сибиряк» из русской земли, перебежавший с китайской стороны «китаец», сбежавший из иранских степей «перс». Доподлинно было известно лишь то, что это человек, не оставляющий после себя следов. Известно, что человек, но загадка — кто он?!

Когда они с Карашем остановились перед землянкой и надворными постройками, то молодая женщина, выйдя из дома, посадив на плечи пеётрую сороку, поклонившись, приветствовала их. Легко спрыгнувший с лошади Косман пересадил сороку с плеча жены на свой локоть, погладил птицу от маленькой чёрной головы до обкорнавшегося длинного хвоста и позвал как-то по-своему. А сорока, ласкаясь к хозяину, стрекоча, нагнула голову и начала тереть ею зажатый кулак Космана.

К голени птицы были привязаны ножик и тонкая верёвка из конского волоса, завязанная узлом, с кольцом на конце. Хозяин дёрнул за верёвку и, взмахнув рукой, выпустил сороку полетать. Когда белогрудая, пестрокрылая птица, порхая вокруг, нагуляла аппетит, женщина заскочила в дом и вынесла оттуда шерстистую голову какого-то животного.

Это была голова пятнистого барса. Караш подумал, что это был памирский барс... Ловким движением женщина уложила голову рядом с двумя пнями, между которыми была прилажена деревянная перекладина. Заметив это, падкая до падали чуткая птица начала рваться к пням, но стоявший неподалёку Косман держал за верёвку и не давал сороке долететь до головы барса.

Только тогда заметил Караш: земля под перекладной из жерди была наполнена птичьим помётом и огрызками костей, шерстью животных, птичьими перьями... И понял, что не зря сорока прорывалась туда. Тем временем, женщина вынесла из дома миску с обедками и вылила содержимое в зияющую глазную впадину барса. Только тогда хозяин освободил птицу от привязи и с

ножиком на голених подпустил к миске из головы барса. Хищная птица быстро подлетела и начала жадно клевать пищу.

Караш впервые видел подобное. Вместе с тем он сильно испугался. Безошибочно определил кровопийцу, жадно глотавшую пищу из глазной впадины барса... «Глазоед» — эта мысль пронзила его сознание. Он с испугом смотрел на действия птицы, жадно клевавшей безжизненную голову без глаз.

Эта грубая страшная правда жизни навеки запечатлелись в глубине его сознания, как будто клевали его глаза...

Э-э-эх! Этот безумный мир!

...Опасения Космана оказались не беспочвенными. Вскоре оба были задержаны киргизами и осуждены в Карабалте на семь лет. Одного отправили в Сибирь, а другого на шахты на север. Аллах сотворил человека живучим! Отсидев семь лет, вернулся в Хан-Тенгри. Вернулся и создал семью, начал работать. Лошадей ему не доверили, взялся пасти коров.

Жил, зимуя в глинистом Караше¹ и проводя лето на джайляу в возвышенностях Каркаралы. Время утекало как ртуть. Быстро-течное время изменило всё вокруг.

Большое советское государство распалось. Казахский народ возродил собственное государство. Как раз в это время единственный сын поехал попытать счастье в городе и они, вдвоём со старухой, остались сторожить порог своего дома. Но вскоре старухашла вечный покой, уйдя из жизни.

Он остался один, как чучело на месте старой стоянки. Тогда его спутником оказалась издревле кружащаяся возле человека сорока... Сорока оказалась верной спутницей. Теперь они вдвоём жили на месте старой стоянки. Не от безделья, а от скуки Караш вспомнил давнее занятие разбойника Космана... Юркая сорока не дала ему испытать чувство одиночества.

Так же, как и стремительно летающая сорока, уходило время, и скоро ему перевалило за семьдесят. Но и тогда он не перестал охотиться вместе с сорокой. И глазоед выклёвывал глаза безвинных зверей. Вчера только выел глаза серому волку. Уничтожил его, глазоед... Старик не может быть недовольным своим глазоедом. Ради хозяйина сорока ходила не только на архаров и лис, но и на волков и барсов!

¹ Караше — зд., наименование местности.



Это же хваткий глазоед! Как он может, не пожалев, отпустить птицу? Да и куда отпустит? На что только не идёт палач без томаги¹! Кого только не уничтожит! Кого не подкараулит!

Старик снова посмотрел на сороку. А глазоед, стрекоча, пронизывая чистым взглядом воздух, скача по чурке как быстроногий верблюд, сглатывает слюнки, не зная, куда деваться...

Но головы у ног хозяина никак не подвинутся к чернокрылой воровке.

* * *

Смышлёная сорока знает, что у каждой головы есть своя история, особая мрачная судьба...

Вот ту голову волка глазоед грыз на берегу Или. Был пасмурный день. В небе, обволакиваемом тёмными осенними тучами, разразилась буря. Время было послеполуденное.

Хозяин, ехавший на сивом коне, то смотря на небо, то поглядывая в сторону запада, время от времени вырывался вперёд, подготавливая сороку. Птица, сидя на специальной подставке для ловчей птицы — балдаке, понимая, что не сможет отвязаться, подпрыгивала в нетерпении.

Смышлёная птица чувствовала, что Чарынский каньон — её родина. Лет пять назад старик снял её с дерева ещё птенчиком с неокрепшими крыльями... Теперь эта когда-то пленённая птица, превратившаяся в палача, вышла на охоту между густыми ивовыми зарослями на склоне небольшого рукава Чарына, впадающего в Или.

С тех пор как старик забрал её из гнезда, клюв глазоёда попил немало крови в степи. Сорока стала хищной как тигр, хваткой как сокол. Хозяин, приучавший её с раннего возраста к зайчатам, тренировал сороку до тех пор, пока она не научилась выклёвывать глаза лисы и горного козла. Ей везло. Она не давала себя в обиду. Многие безвинные глаза стали кормом для проворной сороки. Когда она, подлетев стремительно, слёту садилась на голову животного, ни один зверь не успевал учуять опасность со стороны пёстрой сороки. После того как птица с быстрым клювом, ткнув два раза, выкалывала глаза, бедная добыча только мотала головой

¹ Томага — кожаный колпачок, надеваемый на голову ловчей птицы.

и дрыгала ногами, оставалась в полном мраке. В один миг обрушив несчастье на голову беспечного животного, довольная своим убийственным мастерством, отлетала в сторону.

В этот момент к ослеплённой жертве устремлялся хозяин. В бескрайней степи оставались только трое — охотник, ослеплённый зверь и сорока-кровопийца. Глазоед, преследовавший ослеплённую жертву, старался изо всех сил. Мёртвые, безжизненные глаза, для которых померк белый свет, проскальзывали через её глотку. Проскальзывали... Кому только в этой степи сорока не выкалывала глаза: горному козлу со склонов крутых утёсов, косуле в пустыне, хитрой лисе, огромному лосю... — все они были ослеплены ею.

И сейчас сорока-глазоед, желая ослепить ещё одного дикого зверя, ничем не выдаёт себя. Обычно в Чарыне шумно, но сегодня стоит полная тишина. Под пасмурным небом всё печально и мрачно. В воздухе ощущается влажный пронизывающий холод со стороны Или.

В этот раз хозяин не стал натравливать сороку на фазанов, порхающих в зарослях Чарына. Да и сорока особо к этому не стремилась. Проявляя выдержку, зорко вглядываясь в ивовые заросли, мёртвой хваткой вцепилась в подставку-рогатину.

Сорока и хозяин, обогнув ивовые заросли на расстоянии в один аркан от себя, наткнулись на еле-еле плетущегося волка. Хозяин тут же выпустил изголодавшуюся сороку.

Сухопарая птица-глазоед, размахивая крыльями, полетела наискосок. Сиво-бурый волк, ничуть не боясь охотника, заспешил. Сорока бесшумно летела к северу от зверя. Матёрый волк не обращал внимания на пестрокрылую птицу. А охотник, поклявшись себе: «Сейчас раздерём на кровавые куски твою голову!», следовал за ними.

Хотя сорока и имела уже богатый опыт ослепления, и была достаточно проворна в своём изуверском искусстве, но сейчас она побаивалась. Она ещё ни разу не имела дела с волком, но голод и выдрессированная хозяином жестокость заставляли её быть хищником.

Выждав удобный момент, когда волк повернул голову к всаднику, ехавшему с южной его стороны, сорока ухватила когтями за его голову. Натренированным движением, не дав волку опомниться, молниеносно выколола ему глаза. Через мгновение степной волк свалился с ног.



Зверя, трясущего головой как пустым мешком, беспорядочно метающегося и укрывающего передними лапами впадины глаз, охотник без труда добил дубинкой, не слезая с лошади...

...А вон ту голову архара сорока ослепила на вершинах Бартогая. В тот раз ослеплённый самец стал очень легкой добычей.

Вожак с серповидными рогами, отпустив косяк пастись на северной стороне горы, посматривал по сторонам, стоял на склоне утёса. Заметив его издалека, охотник, высоко подняв глазоёда, с криком «Оуп, оуп!» выбросил птицу в воздух.

Заметив архара, сорока, словно решив не пожалеть сил, быстро полетела к нему. Поднявшись сначала высоко в воздух, устремилась вниз и села между серповидными рогами величавого архара. Вмиг проглотила обагрённые кровью тёмные глаза и, подброшенная резким движением испуганного животного, улетела прочь.

Беспечный самец, ослеплённый в один миг, прыгнув всего два раза с косогора, упал у подножья. И погиб, свернув шею. С самой весны старик-хозяин, кормил её с глазной впадины его высохшего черепа...

...Хищная птица, проявляя нетерпение, нервно вышагивает на коротком чурбане. Для чуткой сороки поверхность чурбана кажется голой степью... и поэтому нетерпелива кровопийца.

* * *

Карашу тоскливо...

Мир изменчив, не постоянен. Вот и он — человек, забывший своё прошлое и настоящее, вдруг просыпается с криком, будто его душит страшный демон! Человек, загнанный в угол, хочет парить в небе как сокол!

Табуны лошадей, угнанные алайским барымтачом Косманом, проходили через руки алатауского грабителя Караша, далее передавались барымтачу Ошману и, пройдя через Кызылжар, исчезали в далёком Сибирском крае. Загоняя лошадей, меняя их на ходу, уносились в безлюдной степи, обуреваемые чувством азарта, посасывая курт. Но этим богатства он не приобрёл...

И вот теперь сидит в окрестностях Алматы, подкидывая корм пёстрой сороке, превратившись в одинокий пень, в ожидании ребёнка, родившегося без очей, и покоровшись судьбе со словами «так угодно было Богу».

Появившийся неведомо откуда слепой младенец и коварная сорока именно сегодня затронули его сокровенные мысли...

Слепой младенец — слепой человек. Слепой человек не увидит белый свет. Слепой потомок пришёл в хаотичное общество. Слепое потомство — это слепое общество. Слепой... слепые... на что не подтолкнёт слепота?!

А что можно ожидать от этого мира, заселённого слепыми людьми и слепым обществом? Беспомощен человек-инвалид. Безбожно общество-инвалид. Что только не сделает безбожное общество... что только не заставит говорить?!

Но какое дело до этого старику? Он же ведь тоже беспомощен и безбожен... Немошный человек. Стоит одной ногой в могиле. Кому он теперь может стать опорой, поддержкой?!

Он отвечает только за эти отрезанные головы, что лежат перед ним, у которых жизнь была оборвана... слепые головы. Но его потомок, этот слепой младенец, и слепое общество не подвластны ему. На это есть великая Божья воля. Этот беззаботный мир только в Божьих руках.

Лишь недостойное общество не верит в Бога. Недостойное общество в человеческих руках... И создали его упрямые люди. А общество будет шататься, качаться из стороны в сторону, как от ветра, пойдёт, как уносимая непогодой отара овец, — туда, куда повернёт её упрямый человек. И склонится только перед упрямой волей этого человека.

А у головы, песенка которой уже спета, он хозяин. И то не он, а сорока — хозяйка слепых голов. Без этих голов дни сороки сочны... Эта пройдоха — настоящая хозяйка слепых голов. И не только слепых, но и всех ещё не ослеплённых тварей.

Эти угнетающие мысли не покидали Караша, будто спутали его волосяной верёвкой.

Было уже за полдень...

Изголодавшаяся сорока, прыгающая на поверхности полена, застрекотала. Караш, подняв ввалившиеся глаза, впился в неё ещё ясным взглядом из-под седых бровей. «Негодяйка, головорез!» — пробормотал он. Чуткая сорока ответила стрекотом на его бормотание. Птица-головорез, чей зоб давно был пуст, давала знать, что она готова на всё.



В этом брэнном мире Караш вскормил уже многих зорких сорок-кровопийц, приручал, воспитывал их, испытывал во время многих выездов на охоту. Все они были послушными, не подводили его. Алчные чудовища, юркие как Баба-яга, выкололи глаза многим зверям, высосали их мозги через глазные впадины. Те жертвы, которые смогли убежать, оставшись ослеплёнными в пустынной степи, погибали, блуждая во мраке. У тех, кто убежал с одним глазом, ослеплённое глазное яблоко затягивалось плотью.

Разбойник Косман, напуская на себя важность, говорил: «Вы не умеете охотиться с сорокой. Ваше происхождение не позволяет, вы чересчур знатного рода, дорожите своей честью. Это — наш обычай... Она у нас не то что зверю, но даже и человеку выколет глаза и высосет мозги! Ваши древние предки, посчитав, что ослепление — ужасное дело и тяжёлая ответственность, запрещали вам делать это».

Слова этого коварного человека оказались истиной! Из-за его грешных поступков невинный потомок Караша родился слепым, без глаз. Аллах наказал своего алчного раба, не признававшего Бога и пророков, лишив его потомка зрения. Боже, слепой не только его внук, а он и сам прожил жизнь вслепую. Прожив слепую жизнь, доказал, что на всём свете нет никого мудрее человека. Оказались слепыми и этот мир, и душа.

Сейчас даже его тяжёлая чёрная голова — всего лишь корм для сороки... У той же ведь бельмо на глазу и сознание помутнело. Сорока сделала для него этот мир крошечным адом. Чем он отличается от тех зверей, которые ослепли в один миг?! Всё будущее во мраке!

Силы начали покидать Караша, воля и энергия ослабли. Всё вокруг обволокло тёмной тенью. Вдруг сорока вновь застрекотала. Старик быстро пришёл в себя.

Открыв железную калитку маленького двора, с внуком на руках, завёрнутым в белое одеяло, входил сын. Караш сделал попытку встать. Но смог сделать этого и со второго раза. Слёзы потекли из его глаз.

На полене застрекотала голодная сорока, караулившая с раннего утра...

РОЗА МУКАНОВА

АНГЕЛ С ЛИЦОМ ДЬЯВОЛА

Она была не одна. Лейла это чувствовала. Кто-то перепрыгивал с камня на камень, кто-то мелькал вслед за нею тенью по узкому прохладному ущелью, едва поспевая, и она слышала за спиной дыхание.

— Кто ты? — резко обернулась девушка. — Кто это бродит здесь в такой поздний час, а? — И ответил ей страшный своей таинственностью, своей неожиданностью голос:

— Я дух людей, когда-то живших на земле! — и словно тяжкий вздох прокатился по ущелью, пригибая высохшую траву. В другое время Лейла бы, наверное, испугалась, но теперь она была в таком отчаянии, так несчастна, что ужас не коснулся её, и потому смогла она приблизиться к тому, что вскоре показалось из-за острых скал: к тонко очерченному узкому глазу. Нестерпимо яркий, ослепительный свет излучал серп Луны — а это было именно Луна, и она любила Лейлу. Только она и любила, потому Лейла скучала без неё и доверяла ей, не закрывая, как обычно, своего лица, не пряча рук. Всякий раз Луна была другой и неожиданной, но Лейла всегда узнавала её и ждала, когда она отзовётся на её голос. И плакала, и жаловалась на бессердечие людей, и изливала свои обиды бедная девушка, и слышала в ответ горестные вздохи, и чувствовала любящий её свет Луны, и потихоньку примирялась со своей судьбой. И теперь она хотела излить небесной подружке свою душу, но тут заметила, что сияющая Луна смотрит с добротой не только на неё, Лейлу, но и на проклятый Богом Караул. Он лепится в долине Чингисских гор и чёрным называется неспроста. Нет, неспроста...

И показалось Лейле, что сокровенная её подруга, давняя наперсница её сердечных тайн, смотрит на неё вовсе даже и не с любовью, а скорее с лёгкой насмешкой, с пренебрежением. И на неё, жалкую калеку, и на истерзанный горем аул. Чёрный аул. Они

одинаково безразличны ей, и Луна вот-вот уйдёт, уплывёт за унылые горы, чтобы дарить свою благосклонность другим. «Зачем вы мне нужны? — как бы говорит белая чистая Луна. — Что хорошего в этой земле, похожей на выброшенную старую тряпку, и в этой шестнадцатилетней девушке? Не успев расцвести, она превратилась в старуху». Луна отвернулась, прикрыла свой прекрасный сияющий глаз, и тень от её длинных ресниц упала на камни ущелья. Лейла вошла в эту тень и тоже закрыла усталые веки. Сколько она так стояла — не помнит, но когда очнулась, увидела женщину в белом жаулыке. По морщинам жёлтого её лица текли слёзы. Не имея сил, она опиралась на два лёгких облака, как на пуховые подушки, и раскачиваясь оплакивала своего недавно умершего ребёнка. Бедная! Лейла вздрогнула от её горя, и быстрая сиротливая слеза скатилась к её плотно сжатым тонким губам.

— О, светлый друг мой, чистая моя Луна! Ты меня не жалея, не надо, потому что я безвинна. Имеющие вину нуждаются в жалости. А я — невинна и полна с краями, я вижу мир ярким и великим. У меня ясный ум, и любовь обжигает меня. Разве это не счастье? А всё остальное не касается моей души — оно испепеляет только мою плоть, мою жалкую оболочку. Пусть моё сердце, похожее на кулачок новорожденного, отравлено печалью. Пусть люди смотрят на меня как на чудовище, и страх в их глазах, когда они видят меня и тычут пальцами в меня: «Глядите, глядите, истинный дьявол! Всевышний создал её для того, чтобы мы содрогались от отвращения и благодарили его за наше совершенство. Глядите, как уродлива она и как хороши мы! Спасибо, Добрейший и Справедливейший!»

Разве не так, Луна? Ты ведь знаешь, что потому я и верю только тебе и плачу только перед тобой — люди моих слёз давно не видели. Но скажи, скажи, неужели мне нельзя надеяться? Неужто я навсегда останусь такой? Безобразной. Ангелом с лицом дьявола...

Лейла шептала эти слова и сама не замечала своего шёпота, а только слышала шелест высыхающей травы, гул падающей где-то далеко в горах воды, шум осыпающегося песка — камень разрушался, как и всё в этом мире. Лейла бежала за ускользающей белой Луной, а та уходила всё дальше и дальше, повинувшись вечному движению Вселенной. Но теперь Лейле казалось, что Луна снова любит её, любит и уродливую изношенную землю, любит и жале-

ет и не сердится на них и озаряет своим лучезарным светом, отчего и лицо девушки, и тёмный лик Караула делаются прекрасными, и происходит это мгновенно, едва Лейла успевает выдохнуть:

— Я хочу стать нежной и обворожительной. Верни мне мою красоту!

Лейла рванулась навстречу Луне, выбежала из тёмного ущелья, но Луна словно бы испугалась её порыва, её неуклюжего прыжка и в страхе поспешила сбежать, бежала без оглядки. Лейла видела, как в синих зарослях тамариска мелькают её лёгкие ноги и край голубовато-белого платья. Белая косынка упала с головы, зацепившись за колючки, но тут же и растаяла ночным туманом, только мерцающие капли остались. Лейла освежила росой свои горячие пересохшие губы и в зеркальной горошине увидела лицо ведьмы глазами невинного ребёнка. Она яростно разбила своё отражение, и, опасаясь совсем упустить из виду Луну, бегущую краем неба, протянула к ней свои непомерно длинные старушечьи руки:

— Пстой, не убегай от меня! Да погоди же ты, я ведь всё равно не отстану от тебя! — Лейла прибавила шаг, ловко обходя камни и хищные корни, перегородившие тропу. — Погоди, милая! Неужели и тебе я противна? Неужели и ты отворачиваешься от меня с брезгливостью, как от какой-то нечисти? Неужели и на тебя я нагоняю страх? Светлая моя Луна, моя покровительница и подруга! — так говорила ей Лейла, не размыкая онемевших губ, скованных горькой солью. Как солёное озеро были они тяжёлы, и мертвенная бледность покрывала их.

Луна стремительно уходила. «Надо же, — подумала между тем Лейла, — как она похожа на нашу соседку-молодуху, которая сбежала однажды от нелюбимого мужа. Ещё все судачили тогда и осуждали её: мол, сама-то вон какая красивая да соблазнительная, а польстилась на объятия проходимца. Муж, надо правду сказать, не пара ей тоже, да и в годах уже, но и этот, второй-то, уж больно чёрный весь какой-то, нехороший, одним словом...» Вот и Луна, казалось Лейле, бежит сейчас со всех ног в объятия чёрного Неба, лишь бы бежать...

Лейла задохнулась и остановилась, прислонившись спиной к шершавой красной скале. Корень упругой змеёй вился по ней, но Лейла не испугалась, она даже и не заметила его, потому что была

сосредоточена на последних лунных бликах, таявших в небесной бездне, и она крикнула, оглушительно, в голос, ломая горькую корку губ:

— Вернись хоть завтра! Встретимся здесь же, в Глубоком ущелье! Слышишь? Я приду опять... — У неё задрожал подбородок и сердце так страшно сжалось, что Лейла еле перевела дыхание.

Когда она возвращалась в аул, ей показалось, что высокие Чингисские горы стали низкими, как бы осели, ссутулились. От гор веяло тревогой. Она струилась полосой холода по-над землёй, и чёрная тень бежала впереди этого потока. Видение Глубокого ущелья: то ли человек, закутанный в чёрный плащ, то ли в самом деле дух умерших, который ищет пристанище у подножья вечных гор.

Её глаза наполнили слёзы. Лейла быстро сглотнула. Ей нельзя плакать. Она подошла к белевшему в темноте дому. И уже протянула было руки, чтобы отворить дверь, но остановилась в нерешительности. Ей не хотелось заходить в дом. Сейчас начнётся: «Все нормальные люди спят, а ты где-то шляешься!» — и эти глаза: жёлтые, полные презрения. Волчьи глаза. «Может быть, посидеть на крыльце, чтобы протянуть время?» — подумала Лейла, и от внезапно скрипнувшей двери вскрикнула. Это вышла Катира, её тётушка.

— Эй, полуночница! Что за привычка исчезать с темнотой, а? Человек ты или приведение?

Лейла как всегда промолчала. Она боялась, как бы тетушка не догадалась, что она плакала, всё равно ведь не поймёт. Нет, лучше стоять молча, стиснув зубы.

— Ещё раз спрашиваю: где ты шляешься? — не отставала тётушка и даже в темноте было видно, какие жёлтые у неё глаза. Лейла будто камнем стала — ничем её не прошибёшь. «Нет, нет! Надо молчать. Она ведь будет смеяться надо мной, скажи я ей, что хожу в Глубокое ущелье и беседую там с Луной, будто с подружкой, и она утешает меня, потому что живая...» Тётушка вконец рассердилась на её упрямство и плюнула в сердцах:

— Ты, я смотрю, не только уродка, а ещё и глухонемой стала! Поздравляю!

Глаза девушки сверкнули в гневе, но она смолчала и на этот раз, а тётушка посмотрела на неё так, будто она букашка какая-



нибудь. Очень высокомерно посмотрела. Пристально посмотрела, не мигая, как умеют смотреть только звери. Лейлу всегда выводил из равновесия такой вот пристальный немигающий взгляд. Она начала мелко дрожать и с радостью бы провалилась сквозь землю. А тётушка Катира, зная эту её слабость, подливала масло в огонь, растягивая удовольствие:

— Повторяю, где ты ходишь? Знаю, знаю все твои подлые хитрости. Ты нарочно исчезаешь, лишь бы только не помогать мне по хозяйству!

Лейла вскинула гордо голову и процедила сквозь зубы, едва сдерживая гнев:

— Я тебе не раба! Даже скотине дают отдых, а я — человек!

Тётушка Катира презрительно усмехнулась:

— Человеком себя считаешь! Смотри-ка! Поглядела бы сначала на себя...

Слова тётушки Катиры будто нож, обмакнутый в яд, но разве знает она об этом? Разве думает о том, что истязает маленькое сердечко Лейлы? Ничего не видит и не понимает Катира, давно забывшая, когда в дом её входила радость.

Раньше Лейла от таких слов горько плакала, злилась и кричала и превращалась в настоящую фурию. Потом поняла, что от этого тётушке только больше удовольствие, победительницей себя чувствует: достал яд! Теперь Лейла знает, как не дать себя победить — надо молчать. Превратиться в каменную скалу. Так её не возьмешь. Так тётушка сама отравится своим ядом.

Катира кричит и беснуется, а Лейла смотрит на неё снисходительно, да молчит, и хоть до утра готова так стоять. Только и сказала:

— Я от зари до зари работаю на тебя. Подумаешь, отлучилась на часок, так ты целый скандал закатила! — Лейла твёрдо решила не плакать и держаться спокойно до конца. И в самый разгар ссоры Лейла почувствовала, что Луна вернулась в Глубокое Ущелье, бродит там, присматриваясь к тёмным выступам скал, увидела следы Лейлы и полетела птицей за нею, обгоняя ночные облака, зажигая золотом небесные волны. И вот она уже в ауле, уже безмолвно смотрит на Лейлу, а та оборачивается к ней: «Да-да, я знала! Я знала. Луна меня найдёт! Я знала, знала...» Луна ласково касается её лба: так мать в детстве проверяла, нет ли у неё жара.

Лейла в блаженстве зажмурилась, чтобы продлить счастье, а когда открыла глаза, то увидела, что Луна превратилась в женщину. Лейла пригляделась и узнала в ней свою мать.

— Мама!

Осторожно, боясь испугать удивлённую девушку, женщина приблизилась к ней, и всё гладила, гладила, шепча:

— О, бедное дитя моё! Когда ты, как семя в земле, созревала у меня под сердцем, там, за горизонтом, в горах Дегелен, вспыхнул яркий и высокий белый Гриб. Земля вздрогнула, будто её ударили в живот. В этот горький миг ты появилась на свет. Ты качалась как в зыбке, на волнах непрерывных взрывов. Они тебя нянчили, они тебя баюкали, мой ягнёночек, будто не я, а этот Гриб родил тебя. Потом, когда ты чуть подросла и могла уже сама подняться на бугор за аулом, ты любила подолгу смотреть на горизонт, где висело белое облако Гриба, радуя глаз своей причудливой формой. Развлечений-то у нас в ауле немного, а тут такое чудо! А как сейчас, ты по-прежнему любишься этим облаком? Не насытилась ещё его красотой? Его таинственной силой? Помню, ты всё кричала мне: «Мама! Посмотри, как красиво!» Ты часто видела этот чудо-Гриб во сне: он выросал, выросал на глазах, пока не занимал всё небо. Я тебе тогда говорила: «Очень скоро и ты вырастишь, доченька, как этот чудо-Гриб, и все будут любоваться тобой!»

«...Любоваться тобой... Любоваться тобой...» — эхо относит материнский голос, и нет уже её рядом, и бродит она уже по степи, заглядывая под каждый жухлый кустик, устремляясь за каждой мимолётной тенью — ищет Лейлу, но не может найти, ибо призраки никогда не находят тех, кого ищут, потеряв однажды...

Лейла не любила показываться на людях, избегала шумных сборищ. Но тётушка, жалея её, как назло приставала:

— Пошли! В Карауле нынче свадьба, молодёжи будет много, хоть немножко развеешься — тормошила она племянницу, наряжалась сама и ей велела наряжаться. Лейла молча кусала свои тонкие губы и думала про себя: «Она нарочно тащит меня туда, чтобы выставить на позор!» И на этот раз была несправедлива к тётушке. Катира на самом деле хотела устроить племяннице праздник, потому — что и сама была нынче весела.

— Пошли, пошли!

— Я устала... — как можно миролюбивее отказывалась Лейла.

— Вот и отдохнёшь! — прямо-таки ворковала тётушка и, чтобы расшевелить упрямую девчонку, стала щипать её за бока, щеко-тать и всячески подбадривать. Лейла очень боялась щеко-татки, она отбивалась, дико хохоча, и так случилось, что нечаянно больно толкнула тётушку в грудь своей длинной тяжёлой рукой. Катира побледнела и отпихнула от себя Лейлу:

— Урода! Не хочешь — оставайся! — вся весёлость враз слете-ла с неё. Катира потускнела, опустила худые плечи, и Лейла уви-дела, как рано постарела она, как мало на лице её осталось красок, а ведь была когда-то красавицей.

— Нет, я пойду! — неожиданно для себя вспыхнула Лейла — Пойду и всё!

Свадьба оказалась многолюдной, и когда они с тётушкой при-шли, торжество уже было в разгаре. Никто и не заметил, как при-тулилась в уголке притихшая Лейла, как глядела она на молодые сияющие лица жениха и невесты, на раздумяившиеся от смеха и танцев щёки девушек, на горячие губы парней, и сама не помнит, как потекли у неё слёзы. «Какое счастье быть нормальным челове-ком! — думала Лейла, — и не отворачиваться от людей, и не пря-тать своё лицо. Как бы я тоже хотела веселиться! О Создатель, неужели и ты получаешь удовольствие, наблюдая за моим несчас-тьем? Лучше бы уж ты уничтожил меня! Или, ты, создав меня од-нажды, тут же и забыл?»

Или тебе тоже, как и людям, нужны жестокие забавы, чтобы скоротать время?» — так жаловалась она на судьбу и тем занимала себя на шумном пиру.

— Лейла! Мой Белый Аист! — голос был знакомый, и он заста-вил вздрогнуть её. Она будто проснулась и ничего не могла по-нять, только видела, как от толпы отделился высокий стройный юноша, пошёл к ней, протягивая руку, приблизился. «Да это же Кумар! — успела подумать Лейла. — Кумар! Мой Кумар! Только он назвал меня Белым Аистом. Каким он стал высоким!»

От неожиданности Лейла лишилась дара речи.

— Ты меня не узнаёшь? — парень ласково улыбался. — Не уз-наёшь?

— Почему же? — опомнилась, наконец, Лейла. — Как мне не узнать тебя? Тебя? Хотя ты, конечно, сильно изменился... Стал

красивей... Наверное, счастлив, да? Прости меня... — Лейла спрятала лицо в ладони.

— И ты... И ты... Белый Аист мой — выдохнул Кумар. Он словно бы не замечал её уродства, он будто ослеп, и как слепец, следовал только за её голосом, полным трепета, и он положил руки ей на плечи:

— Пойдём танцевать, Белый, Белый Аист мой... Приглашаю! — Он приподнял девушку и нежно поцеловал в лоб. Лейла почувствовала, как замерло её сердце. Кумар же, подхватив её на руки, как ребёнка, и оберегая, устремился в самую гущу танцующих. Они закружились так бешено, будто не существует другого мира, других людей, кроме них двоих. Только они и огненный вихрь музыки.

Лейла закрыла глаза. Голова её кружилась. Робкие девичьи желания завладели ею, они окатывали её радостной волной любви, и Лейла не хотела открывать глаза. Она крепко обхватила своими длинными цепкими руками шею парня, намертво прижалась к нему, а Кумар шептал:

— Белый Аист... Белый Аист... — А может, сама музыка была наполнена этими нежными звуками. Если не открывать глаза, счастливый миг будет длиться вечно. И Лейла не открывала. Она плыла над землёй в объятиях Кумара, среди белых облаков и синих заводей, а смуглая Луна лукаво поглядывала на них и одобрительно кивала. Какой восхитительный сон! Но этот сон кончился. Больше не было музыки. Теперь они стояли рядом — Лейла и Кумар. Кумар был смущён и что-то говорил, перескакивая с пятого на десятое:

— Вот, мы приехали на эту свадьбу... Кажется, мало осталось наших одноклассников, да? Мы с тобой сидели за одной партой, ты помнишь?.. Я так обрадовался, когда увидел тебя... — говорил он, а Лейла молчала, и краска стыда заливала её лицо. Ей было стыдно за своё короткое красное платье, за то, что она поддалась на уговоры тётушки и нацепила на волосы белый бантик, как школьница. Она ясно осознавала своё положение: у Кумара впереди счастливая, радостная жизнь — такой парень не пропадёт, он наверняка из удачливых, а у неё, Лейлы, нет будущего, её участь оставаться в прошлом, питаться видениями детства да глупыми фантазиями. Жалкая судьба!

Кумар по-прежнему ласково улыбаясь, всё говорил. Девушка его не слушала. Она была занята одной мыслью: куда бы спрятать эти проклятые, эти старушечьи руки; некрасивое лицо своё она равнодушно отвернула от Кумара.

Когда Лейла опомнилась, то увидела, что стоит одна. Одна...

— Кумар! Кумар... Где ты? — тихо произнесла она. Ею овладело отчаяние: неужели она навсегда потеряла его? Неужели счастье, только что слетевшее к ней с небес, только что бывшее реальностью, исчезло, растворилось так же внезапно, как и появилось, ведь не сном же это было? Нет, не сном — это Лейла знала твёрдо. Сама не помнит, как бросилась к пирующим людям, как крикнула в безумии:

— Кумар! Куда вы спрятали Кумара? Кто, кто украл моего Кумара? — Она не замечала насмешек, презрительных намёков и даже откровенных издевательств. — Кумар! Мой Кумар! — Так металась она по комнатам, расталкивая людей, но видела только расплывшиеся в тумане удлинённые или страшно сплюснутые пятна лиц, искривлённые чудовищными улыбками, чёрные провалы глаз и жадные щупальца вместо рук. Эти фантастические существа, неизвестно откуда залетевшие на землю, обтекали её, вытягивались как речные водоросли и уходили в неизвестность.

Бежать, бежать! Лейла вырвалась из мерзкого кольца нелюдей, выскочила на воздух. Горьковатый запах ударил в ноздри и отрезвил её. «Туда, в Глубокое Ущелье, к моей белой Луне!» — решила Лейла и помчалась в сторону гор.

Луна уже была на месте. На этот раз она спустилась так низко, что Лейла смогла прижаться разгоряченным лицом к её прохладному лику. Она обняла свою небесную подружку, но ей показалось, что она снова в объятиях Кумара и слышит радостный стук его сердца, потому она старательно закрыла глаза, поудобнее устроившись на его груди, и стала беседовать с ним, вспоминала нежные наивные слова, которые говорила ему в детстве, и то смеялась, то плакала...

Сколько прошло времени, Лейла не знала, но видно долго находилась она в своём счастливом забытии, потому что тело её околоченело от ночной прохлады, налилось тяжестью, и не было сил подняться с земли. Но кое-как она справилась с этим и, держась за

выступы камней, цепляясь за редкие кусты, поковыляла к аулу. А там творилось что-то невообразимое. Лейла увидела, как идут, качаются обугленные чёрные деревья, потерявшие корни, как они кричат и жалуются друг другу. Это старики, опираясь на костыли, и женщины, одетые во всё чёрное, шли на неё, обнимаясь, и громко рыдали, и оплакивали сами себя:

— О, мы несчастные, несчастные! — царапали женщины свои щёки.

— Мы лишились детей, мы остались без потомства! — причитали они.

— Как нам жить дальше?

Лейла ничего не понимала. Голова её кружилась, а ноги мелко дрожали, шла она с трудом и никак не могла приблизиться к плачущим людям.

А случилось вот что. Старики в Карауле в эту ночь увидели огромные зияющие щели в земле. Щели змеились по улицам, вползали во дворы, подтачивая стены, они исполосовали всю степь, и жутко выли собаки на Луну, потускневшую как лицо смертельно больного.

Потом появились чёрные машины, из которых вышли люди в противогазах и белых балахонах. Они хватали уродцев, таких же, как и Лейла, и запихивали в кузов. Дети плакали и вырывались. Родители бежали за машинами, но их отпихивали, и горькая пыль забивала им глаза. Ничего этого Лейла не знала. Её тоже хотели забрать, но не нашли. Она была в Глубоком Ущелье.

Продрогшая, лишь под утро добралась она до аула под плач и стенания стариков. Упала на пороге, почти теряя сознание. Тётушка Катира не спала и как всегда накинута на неё:

— Ещё раз загуляешь, я тебя в дом не пушу! Останешься на улице, так и знай! Даже зимой, поняла?

Лейле почудилось, будто она слышит далёкий вой голодного волка.

— Пожалей меня! Не выгоняй, — невольно вырвалось у неё. Больше она ничего не помнила.

Теперь её дни и ночи слились в одно бесконечное течение тёмной реки, которая несла её к обрыву, потому Лейла старалась подольше удержаться на плаву, лежала, плотно обхватив свои холодные, похожие на дерево, ноги и всё шептала:



— Кумар, Кумар! Где ты, Кумар? Обними меня, подними выше! Кружи, кружи меня в танце! Как хорошо... Как хорошо, иди сюда, Кумар!

В один из таких дней их дом посетил врач, потом Лейла заметила, что у её изголовья сидят ещё двое. Она подняла голову, чтобы получше разглядеть их. Оба были в шляпах, с портфелями и при животах. Животы внушительные, и значит, они большие начальники.

— Мы пришли справиться о твоём здоровье, — важно сообщил один из них. Лейла не могла скрыть радости: «А вдруг они помогут мне встать на ноги? — думала она. — Вот они какие большие люди, и тогда я буду нормальным человеком, как все, я буду здоровой». Лейла протянула к ним высохшую коричневую руку, чтобы как-то выразить свою признательность. Начальники отодвинулись от неё вместе со стульями и заговорили уже менее решительно.

— Э-э, милая Лейла. Это... э-э, мы понимаем твоё горе... Так вот, завтра в райцентре намечается большой митинг, — говорящий обратился за поддержкой к другому начальнику, наверное, более высокому, поскольку живот у него был немного плотнее, и тот важно кивнул:

— Очень большой митинг!

— Из Караула забрали всех таких как ты, — продолжал первый, — и увезли в неизвестном направлении... Так что ты одна осталась... Ты стала дефицитом! — многозначительно поднял палец обладатель самого крупного живота.

— Да, да! — подхватил его помощник. — И мы решили понести тебя на этот митинг... на руках понесём...

Девушка почувствовала удар в сердце. В глазах у неё потемнело.

— Вы... вы хотите выставить меня на всеобщее обозрение, как экспонат? Экспонат вашего позора... Как символ несчастья... О Боже!

— Давай, давай, Лейла, поднимайся! — не слушали её начальники.

— Собирайся в путь!

Девушка горько заплакала:

— Нет! Не хочу быть посмешищем! Пожалейте меня. Не пойду!

Начальники мрачно глядели на неё, переживая истерику. Из-под шляп у них струился пот, и они явно томились от столь неожиданной проволочки в нужном и важном для района деле.

— Посмотрите-ка на неё! — взвилась Катира — Тебе ли высказывать гордость?

Лейла утёрла слёзы, пристально, испытующе посмотрела в глаза сначала одному, потом другому начальнику и, наконец, тихо спросила:

— Кумар... он будет там? — Начальники пожали плечами и переглянулись: «Ничего не понимаем!» Тягостная пауза затягивалась, и всем было не по себе. Девушка откинулась на подушки, сомкнула веки и твёрдо заявила:

— Не пойду я... Не ждите!

Лейла медленно плыла к берегу по тёмной реке, её несло течением и всё труднее выбираться к берегу, на мель, чтобы передохнуть, потому что над водой клубился густой туман и Лейла потеряла ориентир: где берег, где стержень, где небо со спасительной Луной?

В один из таких полубредовых туманных дней она услышала неожиданно звонкий голос Катиры:

— Бог сжалился надо мной! Я женю моего единственного сыночка. Свадьба будет в нашем доме!

Сын Катиры жил в городе и редко появлялся в Карауле. Теперь вот собрался жениться. «Как зыбка жизнь, — рассуждала Лейла, — и так мало надо, чтобы обрадовать человека». Тёмная река понесла её дальше, сквозь разрывы душевного тумана. Лейла задыхалась. «Остановитесь, опомнитесь, люди!» — хотела крикнуть она, но из горла вырвалось только хриплое дыхание.

Тётушка Катира между тем горделиво кому-то объясняла:

— После свадьбы мы уедем навсегда из Караула. Сыночек заберёт меня. Да, он обещал! — «И священная земля наша опустеет... И на место рая придёт ад...» — шептала Лейла, качаясь на тяжёлых волнах тёмной реки. «Неужели такова воля Создателя? — с возмущением подумала Лейла. — Но за что?»

Однажды она проснулась лёгкая и спокойная, будто и не было долгих ночей, окутанных смертельным туманом. В окно глядела большая белая Луна. «Она вернулась ко мне! — обрадовалась девушка. — Она нашла меня! Долго искала, заглядывала в окна чужих домов — весь аул обошла, нет нигде Лейлы, и вот, обнаружила: в постели она лежит совсем одна...» Луна не уходила — всё глядела на Лейлу, будто не могла наглядеться. И тогда Лейлу одо-



лел страх: ей казалось, если Луна покинет её нынче, то уж навечно... Она должна удержать Луну, остановить. Вся в слезах, Лейла начала умолять Луну:

— Не уходи, ладно? Ты ведь знаешь, у таких, как я, никого нет, кроме тебя. Кто ещё меня утешит?

Луна вошла в комнату осторожно ступая, отчего пятна света двигались по половицам, приблизилась к постели, где вытянувшись и обмирая от счастья лежала Лейла. Луна обняла её, и Лейла обняла Луну. Долго они не отпускали друг друга, но на исходе была короткая осенняя ночь, и вскоре девушка почувствовала, как слабеют объятия Луны, как истаивает она, удаляется вместе с темнотой. Последнее что увидела Луна, закатываясь за горизонт, — две крупные слезы. Они медленно двигались от края глаз к ушам девушки. Лейла хотела поднять руки к вискам, остановить слёзы, но была уже бессильна. Она хотела ещё раз приоткрыть глаза, но и глаза уже не слушались. Жизнь покидала её.

Плод земли, её тянуло к земле, а Луна рождена Небом, и потому её путь туда. Что же, прощай, Луна!

В доме Катиры собиралась свадьба. Вся в хлопотах и радостной суете, Катира не заметила, как умерла племянница. Заскочила в её комнату, чтобы взглянуть, как она там, и остолбенела и не могла взять в толк, отчего так невероятно вытянулось, удлинилось тело Лейлы, а на лицо снизошло умиротворение.

— О, несчастная! Нашла время, когда умирать! — завопила тётушка. — Как назло в день свадьбы. Надо же! Что же теперь делать?! — зажимала она себе рот ладонью, чтобы никто не услышал её всхлипываний и проклятий. Потом отправилась, утёрла слёзы и задернула шторы на окне.

— Не откладывать же свадьбу из-за неё... У-у, всегда она приносила лишь несчастья в мой дом! Пусть вот теперь полежит... Никому ни слова... Пока не закончится свадьба, никому ни слова... — убеждала себя Катира и охотно соглашалась с собой: — Вот именно, никому, пока гости не разойдутся...

Она торопливо, озираясь на дверь, накрыла платком бледное лицо мёртвой, и поспешно выбежала наружу. На дворе нарастал какой-то шум, который показался Катире тревожным. Она вышла на крыльцо и остановилась как вкопанная: к её дому двигалась чёрная толпа, которая давно стала в Карауле вестником несчастья.



О Господи, сохрани и помилуй! — пронеслось в голове Катире. Страшный шёпот исходил из уст толпы:

— Безжалостные правители решили совсем уничтожить нас... Этой ночью опять был взрыв... О, горе, горе нам!

Катира заплакала: «Может быть, и Лейла-то умерла от этого взрыва. Бедненькая...» Толпа приближалась, и Катире насторожилось, заслонила собой двери:

— Прочь! Прочь от моего дома! — замахала она руками. — Не пуцу! Свадьба здесь! В моём доме радость! Прочь, идите прочь! — Она вспомнила, что в дальней комнате у неё покойница, спрятанная от людских глаз. Покойница! Вот оно что... Может, это к ней направляется чёрная толпа?

А люди в чёрном, причитая и раскачиваясь от горя, всё ближе и ближе подходили к её дому. Катире вскинула руки к небу, хотела крикнуть ему и не успела — стала безмолвно заваливаться на бок. Падая, она увидела огромную Луну. «Надо же, днём...» — подумала Катире. Луна перевернулась и на глазах распалась на две половины. «Теперь люди остались без Луны, — опечалилась Катире, — Луну проглотила чёрная ночь. Белую Луну проглотила чёрная ночь. Как темно. Господи... Мир ослеп...» Дрожащими пальцами она пыталась расстегнуть пуговицы бешмета, который стал тесен и страшно сдавливал ей грудь. Она почувствовала, что задыхается...

И всё расстёгивала, расстёгивала несуществующие пуговицы на груди...

АЙГУЛЬ КЕМЕЛБАЕВА

КОНЫРКАЗ¹

Памяти Ханса Кристиана Андерсена

Каршига, распрощавшись со светлой мечтой о большой сцене, вскоре была вынуждена уехать из шумного города. А перед отъездом написала письмо своему старшему брату. Она чистосердечно призналась в том, что хочет вернуться в родные края, поскольку ждёт внебрачного ребёнка. И если единственный родной человек не простит ей этого греха и отвернётся от неё, тогда она исчезнет навсегда из родного края во избежание позора.

В горах в одинокой юрте жил чабан с женой, детей у них не было. В жизни он ничего не видел, кроме собственной отары овец, и к тому же обладал кротким нравом. Как он мог ответить на это письмо? На некоторое время опешивший от нахлынувшей волны противоречивых чувств, чабан вскоре написал искренний ответ на письмо Каршиги, называя милосердно свою сестру милой, оправдывая её положение тем, что нет на белом свете человека, которому не свойственно ошибаться, как нет скакуна, который не спотыкается; стало быть, сестре, кровь от крови его и плоть от плоти его родителей, ничто не препятствует возвращению в родной дом. Чабан Акылбай воспринял будущего младенца как посланного самим Аллахом и втайне возликовал от одной-единственной мысли, что сможет усыновить его. Не вынесла бы Каршига укора старшего брата, и теперь, получив от него доброе известие, она с лёгким сердцем собралась в дорогу.

Стояли в этих краях солнечные весенние дни. Томление молодой женщины приглушило благоухание холмистых хребтов бесконечного простора джайлау. Но когда Каршига увидела небольшие глубокие озёра с зеркальной гладью, окаймлённые камышами, дивно колыхавшимися при малейшем дуновении ветерка, только тогда она осознала, отчего не находила себе места в городе. На по-

¹ Конырказ — букв., коричневый гусь; ласкательное имя ребёнка.

верхности мелких озёр, рассыпанных по долине как мелкие бу-синки, стоял весёлый гул перелётных птиц. Плавали тут среди нырков и диких гусей белые лебеди, величественные на небе и необыкновенно красивые на земле. Выщипывая у себя на груди мягкий пух, серая гусыня выстилала им дно гнезда, а позже, когда случалось на некоторое время для прокорма прерывать насиживания, им же укрывала яйца.

Потрясённая дивной природой, подчиняясь какому-то неведомому голосу, зовущему отдаться невесомости бытия, Каршига разделась донага, сложила свою одежду в кусты и, завязав в тугой узел тяжёлую чёрную косу, почти не чувствуя округлившегося живота, с блаженством вступила в воду. Быть может, с подобным неистовством, не переводя дыхание, лишь хищник утоляет жажду. Райской наготой белело её тело в синих водах озера вдали от людских глаз. Она и впрямь была сущим воплощением русалки, хоть и без рыбьего хвоста. Но эта человеческая красота отнюдь не прельщала крылатой стаи. Встревоженные птицы оглашали воздух резким и звонким гоготаньем. Гуси и лебеди взмывали прочь в небеса.

И во сне не снилось доброму чабану и его простодушной жене, что Каршига, частенько в одиночку совершавшая путешествия в горную долину, ежедневно обворовывала гнёзда диких птиц, потеряв голову от вкуса их яиц. Беременная женщина пристрастилась лакомиться сырыми яйцами. Она ещё в детстве научилась отличать гусиное, утиное, чибисово яйцо от лебединого. И зародышам белой царевны крылатого царства суждено было становиться человеческой добычей. Много раз возвращалась женщина из птичьего края, досыта насладившись плодами природы. Иногда сноха искренне поражалась переменам в облике родственницы: откуда в Каршиге, обычно скрытной, скупой на эмоции, откуда в ней такое блаженство и вихрь неземных чувств, притаённая истома во взгляде, откуда?! Скорее всего, от частого питья кумыса, магического степного напитка.

Как в дни своего бесконечного детства, когда она босоногой девочкой гналась за цветастой бабочкой, вряд ли до конца осознавала Каршига свои поступки. Как другие дети рыбачили и поребьячески радовались жизни, так эта девочка исчезала в поисках птичьих гнездовий. В детстве сородичи Каршиги прочили ей ве-

ликое будущее за несказанно дивный голос. Однако надежды не оправдались, ибо неведомая сила сорвала её голос и отторгла от мира искусства. Кто знает, возможно, то было немое проклятье пернатых, ненародившийся писк птенцов под скорлупой...

В один погожий осенний день в скромной юрте кочевника появилась на божий свет девочка. Чабан со своей женой с приближением родов Каршиги часто молились, лелея сладкую надежду. Дитя почти не причинило родовых мук матери. Каршига родила ребёнка мгновенно, как птица сносит яйцо. Уже в сумерках чабан загонял овец, как вдруг пришёл в странное изумление, увидев, как стаи птиц, покружившись над его одиноким жилищем в безлюдном пространстве, улетали на юг. Тянулись в небе журавли, пронзительно курлыкая; когда-то они учили древних казахов, пастухов верблюдов, водить караваны. Но особенно тронули мягкосердечного чабана Акылбая прощальные тоскливые клики белогрудых лебедей. Вольные птицы будто не могли оторваться от чего-то очень дорогого. Серый гусь с особенным гоготаньем подлетел близко к куполу юрты. Однако не наводило страху сие загадочное явление природы, и чабану не пришло в голову истолковать его как недоброе предзнаменование. Едва сдерживая умиление, он добрым взглядом проводил перелётных птиц, покидающих родные места до следующей весны.

Чабан привязал лошадь и зашёл в дом. Как же он обрадовался крохотной новорожденной племяннице! Ведь тайный восторг и благодарность к Богу испытывал он ещё до рождения младенца! И теперь робко поднимал на широких, ороговевших от постоянной работы ладонях заснувшую новорожденную, завернутую в пелёнки, и долго не мог наглядеться на неё. Жена чабана взяла в руки девочку и с умиленным выражением лица три раза громко произнесла имя в её крохотные ушки: «Хорлан!» Бесконечно счастливые, любовались колыбелью чабан и его жена, так как в мыслях они уже обзавелись долгожданным ребёнком. Но роженица без колебаний решила не щадить чувств родных, поскольку никто уже не мог отнять у неё дочери, кроме Аллаха...

А через шесть месяцев, в те томительные дни, когда овражистая местность повсюду тонула в вешних водах, появились две выпуклых на ощупь горбинки на спине дочурки. После провала в городе Каршига стала апатичной, ко всему безучастной и не обра-



тила на это особенного внимания. Девочка ещё только ползала, когда мать оповестила бедного чабана о своём намерении устроиться на работу и поселиться в ауле, а также о том, что скорее сердце материнское своё вырвет, нежели отдаст им ребёнка. Чабан и его жена были без ума от девочки и мысленно называли её своей. Казалось, не пережить им этих зловещих слов, однако супруги скрыли своё разочарование и оба кивали головой в знак согласия. Смирились.

В унынии и отчаянии, с печальным сердцем, молча, перевёз чабан Акылбай свою сестру с грудной девочкой в аул. Здесь Каршига устроилась в школу учительницей пения. Она вела замкнутый образ жизни и как будто не замечала посторонних взглядов и кривотолков. Каршига целиком была поглощена воспитанием дочери, но по-прежнему упорно не желала видеть угрозу горба. Было время, когда джигиты с первого взгляда влюблялись в неё. Дивный голос поражал всех, кто её слушал. Когда-то она весело скакала на коне, а ныне её как подменили. Каршига дичилась своих же аулчан. Одинокая мать жила тихой незаметной жизнью со своей незаконнорожденной дочерью, к тому же увечной...

Однажды мать купала трехлётнюю дочь в большом чану и вдруг ужаснулась, заметив пару маленьких птичьих крылышек, проросших из горбинок всего за одну ночь. Эта загадочная отметина заставила содрогнуться бедную женщину, но рассудка не лишила. Она лишь лихорадочно подумала о том, что никто не должен узнать о крыльях и что она сделает всё, чтобы защитить дочь от людской жестокости.

К этому времени судьба улыбнулась чабану Акылбаю, брату Каршиги, милостивый Аллах подарил ему желанных сыновей, которые продолжают его род. Недаром дядя души не чаял в племяннице, пугливой пухленькой Хорлан, которую считал предвестницей семейного счастья. Хорлан с детства была глубоко обижена злыми насмешками детишек, из-за них девочка бросила школу. Думы о будущем дочери причиняли невыносимую боль Каршиге, и потому она, закрыв глаза, приняла упрямство дочери. С восьми лет девочка вела жизнь затворницы. Дни напролёт она просиживала дома, не проявляя охоты к шумным детским играм.

Дневная синева и сияние Млечного пути были свидетелями душевных терзаний и тайного горя матери. Она не исключала, что

когда-нибудь, в одно мгновение навсегда улетит дочь в неведомые дали... как птица. Мать изо всех сил хлопотала о том, чтобы дитя не скучало, и завалила её игрушками. Однажды девочка выстроила в ряд вылепленные из пластилина фигурки. И мать, неожиданно для себя обнаружив талант дочери, накупила горы пластилина. Несмотря на юный возраст, девочка была необыкновенно искусна. По божьей воле она лепила лишь птиц. На мать не пришла этому особенного значения.

Два раза в год чабан спускался с гор. Он приносил с собой много игрушек и сладостей. А вскоре, уловив всепоглощающую страсть любимицы-племяшки к ваянию, чабан загорелся найти глину для лепки. И нашёл. Скоро комната девочки стала походить на музей. Глиняные изваяния разных птиц переполняли дом; и на столе, и даже под кроватью негде было иголке упасть: всё было заставлено фигурками пернатых. Тем временем Каршига ни на миг не переставала тревожиться за своё дитя, родившееся по злому року с необычной отметиной. Ни за пианино, ни в классе с детишками она не переставала думать о своей трагедии. Соседи не приходили в тихий дом нелюбимой Каршиги. Но однажды как-то заглянул к ним школьный учитель зоологии Еркежан. В молодые годы он мечтал стать художником, но, как говорится, быт заел. А тут вдруг увидел комнату, до отказа заполненную глиняными птицами. Учитель, опасаясь встретить холодный взгляд Каршиги, ласково погладил девочку, которая в это время заканчивала хвостик голубя, и сказал:

— Вижу, что ты сильно полюбила птичий род. Поверь, я найду много интересного для твоего занятия.

Позднее девочке было разрешено погостить у дяди Еркежана (так девочка стала называть учителя зоологии). Во всём ауле лишь двое сыновей Еркежана не дразнили дочку Каршиги, тогда как остальные дети обзывали её верблюжонком. На книжной полке учителя было немало чудесных книг с изумительно красивыми птицами, доселе неизвестными ей; созерцание птиц было для неё настолько увлекательным, что она часами могла разглядывать картинки, не испытывая пресыщения.

Годам к десяти как-то незаметно стало забываться её настоящее имя — Хорлан. Ибо чабан Акылбай, балуя свою племянницу, дал ей более нежное имя — Коньрказ. Каршига, с некоторых пор



испытывавшая при виде птиц странный трепет, глубоко в сердце своём скрывала невыразимую тревогу перед птичьим образом. Ни за что на белом свете не посмела бы Каршига назвать дочь птичьим именем, но самой девочке сие прозвище как будто пришлось по душе. Упрямая, своенравная девочка вдруг перестала признавать собственное имя и откликалась только на Коньрказ, а мать не в силах была противиться. Молчаливая по натуре девочка иногда подолгу просиживала без движения, уносясь мыслями в известные лишь ей одной дали. И тогда мать начинала беспокоиться: не онемела ли она?

Учитель зоологии Еркежан вглядывался в смуглое личико с огромными чёрными глазами, в которых светилось лучезарное вдохновение, и в его сердце разгоралась юношеская мечта о живописи, дремавшая в самых потаённых уголках его сердца. Казалось, чудодейственная сила, скрытая в необычной девочке, встряхнула его спящую душу.

А Коньрказ тем временем так тщательно изучила все книги о птичьем роде, что могла по памяти восстановить нежнейшие краски вплоть до перелива в оперении. Как-то дядя Еркежан показал маленькой гостье свои великолепные фолианты о творчестве великих художников. Внезапно, как заметил учитель зоологии, лицо девочки просветлело от чрезвычайного изумления, она приоткрыла свой аленький ротик, а глаза её восхищённо загорелись. Подойдя поближе, учитель зоологии понял, что пленило воображение ребёнка. Это был традиционный сюжет из творений художников эпохи Возрождения. Возле Богоматери с младенцем на руках блаженно порхали пухлощёкие ангелочки с белыми крылышками. Учитель зоологии не мог и предположить, что именно они вызовут благоговение Коньрказа.

После этого случая девочка частенько навещала дом дяди Еркежана — для того, чтобы созерцать крылатых ангелочков. Отрешённость девочки от обычной жизни иногда наталкивала учителя на мысль о том, что она и впрямь немного странная. Народ сплетничал, что бес попутал Каршигу, что она едва не помешалась со своим чудаковатым отпрыском, хотя все помнили её прекрасные песни — после рождения дочери она вовсе перестала их петь.

Однажды в праздник Каршига не смогла побороть в себе страстное желание и исполнила перед публикой грустную песню «Хус-



ни-Хорлан». День был погожим, народ восторгался пением, и личико Коньрказ освещала улыбка. Но когда исполнитель кюя заиграл на домбре лебединую мелодию, её радостное вмиг сменилось горечью. Девочка вскочила и убежала в порыве внезапного смутения, вся охваченная тоской. Рыдания душили её грудь. К счастью, никто не видел её слез. Если бы мать узнала, какие душевные муки пережило её дитя, как трепетало тоненькое тельце, не выдержало бы сердце бедной женщины...

Теперь Коньрказ знала о своей исключительности. Она никогда не питала злилась на шаловливую детвору, которая дурачилась и насмеялась над ней. Похоже, кротость нрава Коньрказ унаследовала от дяди, брата матери. Чабан Акылбай, словно чуя, что дитя не от мира сего, встревоженный растущей отрешённостью племянницы, неизменно старался развеселить, одарить игрушками свою маленькую одинокую Коньрказ. Несколько раз он уезжал в далёкий город и привозил оттуда изумительных птичек в клетке. Тогда наступал настоящий праздник! Коньрказ, вне себя от восторга, тут же открывала крохотную дверцу. Это были самые светлые минуты в её жизни: птички быстро покидали клетку... и улетали! О цене диковинных птичек она, видно, не думала. Поэтому заботливый дядя стал приносить ей домашних сизых голубей.

Но, обычно милосердная, Коньрказ была способна и жестоко мстить за своих любимцев. У соседей был кот серой масти, пятнистый, прожорливый. Часто попадались в его острые когти несмышлёные воробьи, клевавшие зёрнышки среди кур. Кот одним прыжком достигал добычу и пожирал её в укромных местах. Коньрказ возненавидела кровожадного зверя, охотника за птичками. На этот раз он съел питомца Коньрказ, от её любимого голубя остались лишь перья. Как же теперь не отомстить хищнику?! Поймав кота, она туго обмотала ему голову платком и утопила в бочке. В воскресный день топили баню, и мать обнаружила на дне бочки, под водой, мёртвого кота и узнала свой розовый платок вокруг его головы. Ясно было, кто совершил убил животное, и мать резко и яростно выкрикнула дочери: «О Аллах милостивый, зачем ты убила его? Откуда у тебя столько злобы?! Недаром в народе скажут, что проклятие кошачьего рода может обрушиться на сорок человек. Лучше лечь мне в сырую могилу, чем увидеть, как ты снова мучаешь животных!»

Весной, в радостную пору возвращения перелётных птиц в родные края, Конырказ, вдруг почуввав внутренний жар и лихорадочную возбуждённость, следуя смутному и слепому чувству, сбежала в горы без позволения матери. Для чабана Акылбая было загадкой, почему все эти годы родная сестра не отпускала от себя дочь. Внезапное появление дорогой племянницы в юрте дяди было воспринято как прилёт ласточки в родовое гнездо. Дядя, очень довольный, велел сварить казан мяса для маленькой гостьи. Мать, запыхавшись, вышла из машины в тот момент, когда в юрте уже царило веселье, а Конырказ ела баранье ухо — лакомое угощение для маленьких детей. Прежде послушная и покладистая, дочь Каршиги вдруг заупрямилась, не желая покидать дядину юрту. А назавтра чабан погнал свою большую отару овец на джайляу. Опасаясь оставить дочь без присмотра, мать последовала за кочевьем в бескрайнюю долину, где простирались цепочкой голубые озёра.

Конырказ впервые увидела озёра. При первом же взгляде на чарующую красоту девочка изменилась в лице, было видно, что она на седьмом небе от счастья, а у бедной матери душа ушла в пятки. На озёрах царил оживлённый птичий шум и гам, по водной глади изящно скользили крупные птицы с белым оперением, с величавой осанкой и гордо выгнутой шеей. Это были лебеди. Конырказ глаз оторвать не могла от этих птиц. Крылья, которые люди принимали за уродливые горбы, а на самом деле — такие же лебединые крылья, — чуть не протыкали тонкий покров ткани на спине девочки! И Конырказ в безумном порыве рванулась к воде. Мать неистово закричала. Отчаянно рвалась Конырказ к стае птиц, и изо всех сил удерживала её мать. Потревоженные лебеди взлетали в небо, и в тот миг Конырказ ощутила прикосновение белых крыльев к своей пылающей щеке. От жгучей душевной тоски она бессильно зарыдала. Долго у сияющего озера сидели двое, мать и дочь, обливаясь слезами, и обе скорбели на свой лад. Вернувшись, наконец, в юрту, омыв лицо прозрачной, как сама печаль, водой, решили вернуться в аул. Каршиге пришлось достать дочь из машины и на руках нести в дом, ибо жаром пылало её маленькое тело. Острая горячка уложила девочку в постель на трое суток.

...Обеспокоенный долгим отсутствием Конырказ, учитель Еркежан послал за ней одного из сыновей. С появлением этой таин-

ственной девочки Еркежан взялся за давно забытую кисть. Пожалуй, сама судьба благословила его вспомнить искусство. Сыну Еркежана не удалось увидеть Конырказ. Встревоженный художник ходил по дому, не находя себе места. И вдруг жена его высказала страшное подозрение: Каршига никогда не вызывала к девочке доктора. Но, к неопишуемой радости матери, Конырказ быстро поправилась.

...К тринадцати годам она стала миловидной девочкой, с большими лучезарными глазами.

Каршига упрямо не замечала сочувствующие взгляды людей. Свои страдания, всю скорбь души женщина скрывала даже от самой себя. Смущало её лишь то, что крылья на спине дочери с годами становились всё больше и уже не походили на физический изъём человеческой плоти. Коротко стриженные вьющиеся волосы и блестящие глаза делали Конырказ похожей на мальчишку, — права шаловливого, гордого, который только притворялся кротким.

Но всё чаще Конырказ восстанавливала в памяти лебединые озёра. Оставшись в доме одна, она подолгу простаивала у зеркала, разглядывая свои крылья. И тогда обуревала её душу неземная тоска. Странно, что она до сих пор не познала чувство полёта. И лишь один человек, учитель зоологии, художник, словно угадывал её заветную мечту.

В один прекрасный день свершилось предначертанное. Конырказ заметила дерущихся неподалеку от своего дома ребят. В одно мгновение проснулась мучительная и сладостная тревога, девочка была в её власти. Она побежала домой (к счастью, мать была в школе), сорвала с себя кофточку, а на обнажённые плечи накинула большую материнскую шаль с бахромой. Не чуя под собой ног, Конырказ выбежала на улицу к дерущимся, встала между противниками и резко толкнула одного из них в грудь. И оказалась лицом к лицу с другим мальчиком. В тот миг юный дебошир снова ринулся в бой и нечаянно задел её разноцветную шаль. Шаль соскользнула с плеч девочки, и... О Господь всемогущий! Дети окаменели, точно перед головой мифической Горгоны.

В этот момент оказался поблизости и художник. Он вышел на громкий крик детей, и теперь стоял как вкопанный, глядя, как на глазах расправляются белоснежные крылья. Стройная и изящная

девочка, казалось, прилетела из сказочной страны. Смуглолицая царевна-лебедь... Её волшебная красота завораживала. Хвала Аллаху, какая осанка! Почему Бог не создал людей с крыльями?.. Коньрказ обняла за талию подростка и вместе с ним взлетела в небо. На взлёте распахнулись белые крылья, в лучах солнца они выглядели ослепительными. Уже в полёте Коньрказ внезапно почувствовала, что с лёгкостью отрелась от жизни людской, ибо была рождена для неба. И сама удивилась своему бессмысленному поступку: зачем уносить с собой мальчика? В лёгком воздухе в лицо нежно дышали небеса, над головой плыли вечные скитальцы — облака, и, уносясь прочь от земной обители, она вздохнула свободно.

Молва о случившемся разнеслась, словно по ветру, аулчане ушам своим не верили. Каршига, лишь услышав имя дочери, чуть не потеряла сознание. Собрав последние силы, бросилась вдогонку. Как назло, рядом не оказалось ни одной машины. И тогда обезумевшая от горя женщина без спроса увела с чужого двора коня и погнала его на джайляу.

Лебединые озёра были совсем близко. Силы покидали Коньрказ, руки изнемогали от тяжести подростка. «Продержаться бы ещё немного», — подумала Коньрказ, без всякого сожаления изгоняя из головы почти всё мысли, связывавшие её с миром людей.

Зеркальная гладь голубых озёр сверкала множеством ослепительных молний. Божественное зрелище! И Коньрказ стремглав низвергалась в озёра, ибо чувствовала слабость во всём теле. Как невыносимо тягостно бремя подлунного мира... Коньрказ изо всех сил старалась удержать мальчика, но тот выскользнул из объятий девочки и упал в воду. Только тогда Коньрказ почувствовала, что крылья будто отделяются от плеч, и это причиняло ей острую боль. Сжав зубы, она держалась на плаву, вода была мягкой, и она чувствовала себя как в утробе матери. Вспомнив о матери, Коньрказ растрогалась до слёз. Милая, добрая мать, что теперь с ней будет? Плач одолеет, горе источит сердце матери, утрата дочери сведёт её в могилу... Беглые волны покорно блуждали и мягко бились о каменный берег. Подросток ушёл под воду, но тут же порывисто рванулся вверх, спасая свою жизнь. У Хорлан-Коньрказ чудовищно горело всё внутри. Тем не менее, чуть живая, она собрала остатки сил и... нырнув, извлекла подростка из воды. Коньр-

каз вспомнила убиенного ею кота, он так же неподвижно лежал, как этот сын человеческий. Неужели и мальчик умер?

Издали послышались приглушённые птичьи клики. Тут же Конырказ ясно вспомнила, что подобные упоительно-чудные звуки улавливала она ранее во чреве матери. Эта божественная мелодия заворожила, свела её с ума. Конырказ страстно вздыхала, тоскуя о блаженном, благоухающем лебедином рае. Горчайшее сожаление о том, что непозволительно долго жила она среди чуждых ей людей, вдруг посетило её душу. Отныне Конырказ стремилась к милой, неведомой отчизне своей.

Конырказ бросало то в жар, то в холод. Огненным вихрем пронеслась мысль: чем лишаться крыльев ангельских, лучше сойти в сырую землю. Где обетованный лазурный лебединый край? Заливаясь горячими слезами, она умирала от тоски. Конырказ изо всех сил взмахивала крыльями, пытаясь подняться, но не могла, чувствуя лишь пустоту, боль и страдание.

В эту самую минуту к озеру прискакала Каршига. Спешившись, она рванулась к воде. Увы, от судьбы не уйти. Опоздали все: и мать, и те, кто прибыл на машине. Неожиданно прилетели несколько великолепных белых лебедей и унесли девочку за горы. Женщина упала на землю. Распустив свою тяжёлую косу, рвала на себе волосы и душераздирающе причитала. Тщетно воздевала мать руки к небу, не сводя глаз с горизонта...

Тем временем пришёл в себя подросток на берегу. Он спросил с досадой:

— Где Конырказ?

Вокруг толпились мрачные люди, навзрыд рыдал учитель зоологии. Потом он успокоился и выловил в воде несколько перьев. Память о черноокой Конырказ.

Озёра — твоя родная стихия, но ты выросла в отчуждении, в человеческой колыбели, не впитав с пелёнок благоухания их струй, оттого ли озёра отторгли тебя, Конырказ? Иль дух твой высокий не принял чуждой ему земли, и навеки исчезла ты, Конырказ?

...Аулчане напрасно ждали, что Каршига сойдёт с ума. Она по-прежнему преподаёт музыку в местной школе.

...В тот памятный день чабан Акылбай пас овец в степи и видел на горизонте лебединую стаю, которая несла нечто странное, он толком не разглядел из-за слабого зрения.

...Учитель зоологии, как говорят, стал затворником и всерьёз занялся живописью. Художник помешался на образе юной красавицы с лебяжьими крыльями и бесконечно рисует Царевну-Лебедь. Однажды аульный джигит, злой и болтливый на язык, прихвастнул, что собственными глазами видел в зарослях голубых озёр птицу с женской головой. Каршига подошла к нему, и болтун тут же, заикаясь, пробормотал, что пошутил.

Люди редко вспоминают Конырказ. Лишь двое — мать и художник — никогда не забывают о ней. Женщина смирилась со своей судьбой. Впоследствии она удачно вышла замуж и вскоре родила ребёнка. Лишь весной и осенью, в пору возрождения и угасания, воскрешения и умирания, когда перелётные птицы возвращаются и улетают в тёплые края, она подолгу стоит под солнцем и тоскливо вглядывается в васильковую даль.

ДУМАН РАМАЗАН

МАТЁРЫЙ ВОЛК

Если собаку опекает хозяин,
то волку небо покровитель.

Народная поговорка

— О, услада души моей, как уютно лежит!.. — Елюбай взял на руки своего младенца, лежавшего на лоскутном одеяле, и с удовольствием понюхал. — Какой же ты сладкий!

— Смотрю, кажется, твоя любовь перешла на ребёнка, а нас не достаиваешь даже взглядом, — сказала зашедшая вслед за ним в дом жена Гульгайша, ставя на край накрытого дастархана медный пытящий самовар.

— Что ты говоришь? Не рано ли ты впала в старческий маразм? Если люблю, то он же мой ребёнок!

— То ты носишься с ребёнком, то со скотом. Может быть, хоть иногда и на нас обратишь внимание? Я же тоже дитя человеческое, из плоти и крови. Вот и хожу, словно вобла сушёная...

В этот момент снаружи донёлся топот конских копыт, а собаки стали отчаянно лаять.

— Кто же это? — сидевший нахмурившись, словно дождевая туча, Елюбай не спеша встал с места, направился к выходу.

— Ассалаумагалеёкум, уважаемый! — сказал коренастый малый, оседлавший рыжего коня.

— Уагалеёкумассалам! Оказывается, наш малый Серик приехал. Как дела? В аулах и окрестностях всё нормально? Как отец и мать — здоровы?

— Всё так, как вы и видели, брат. Все живы-здоровы... Спозаранку вместе с другом Канатом отправились было на охоту. Гонясь за зверями покрыли немалое расстояние. И вот, изрядно уставшие, проголодавшиеся, попали к вам.

— Кажется, вам сопутствовала удача. Вижу, ваши тороки¹ полные.

— Э, что досталось, стало нашим. Пойдёт, если Богу не кажется много. Вот этого русака пристрелили специально для нашей любимой невестки, — сказал Серик, вручая белого жирного зайца Елюбаю.

— Не стоило так утруждаться... Давайте, заходите в дом!

— Подумала было, что за чужаки, оказывается, свои, деверя, — сказала вышедшая во двор Гульгайша, улыбнувшись. Как раз подоспели к обеду — значит, хвалите нас. Проходите на почётные места!

— Как можно оговаривать такую несравненную женеше²! — сказал Серик торопливо.

Рыжий джигит крупного телосложения, словно только что проснулся, тихо промолвил:

— Здравствуйте!

— Будь здоров, деверёк мой, — ответила на ходу Гульгайша. — Елюбай, ты чай наливавай сам. А я займусь едой.

— Ненаглядная женеше, не хлопчите вы так! Мы будем рады отправиться в путь, выпив ваш густой крепкий чай!

— Как же так, не каждый день посещаете нас. Из-за одного бешбармака, мы, наверное, не пообедем!

Серик, расположившись на почётном месте, держа под локтем пуховую подушку, подмигнул заговорщически Канату, который присел возле него, скрестив ноги.

— Елеке, — сказал он, мигом изменившись в лице, и повернулся к хозяину дома. — Вам не нужны волчата? Продадим дёшево, если будет вам по душе, одного волчонка отдадим даром.

— Да нет, не нужно, от греха подальше, — воспротивился было Елеке, но всё же любопытствовал: — Где взяли?

— Около Керегетаса находится волчья яма. Оттуда и взяли. Изрядно подросли, черти. Хищники же, оскаливаются по-настоящему. Оказалось, пятеро волчат! Мы забрали всех.

— А я-то гадаю, что у вас в коржуне³, оказывается, волчата! А что будете с ними делать?

¹ Тороки — круп лошади, на который укладывают добычу.

² Женеше — жена старшего брата.

³ Коржун — перемётная сума.

— Одного-двух попробуем приручить. Остальных либо продадим, либо пригодятся для чего-нибудь другого. Они, какими бы хищниками ни были, всё же благородные звери.

В то время как мужчины, причмокивая, пили горячий чай и беседовали, собаки одна за другой начали наперебой лаять, нарушая привычную тишину джайляу.

— Кто это за нами едет? — спросил Серик настороженно.

— Кому же ещё быть? Видимо, односельчане! — не успел Елюбай досказать, как прибежала Гульгайша, распахнула дверные створки и, заикаясь, вскрикнула: — В-волки... На овец напали волки!

— Что? Что ты говоришь!.. — Елюбай, вскочив с места, быстро схватил двустволку и выскочил во двор.

Овцы испуганно разбрелись кто куда. Только Акжол лает, не переставая. А Актоса вообще не видеть. Два огромных волка, оглядываясь назад, что есть мочи бегут в сторону горы. Елюбай хоть наверняка и знал, что не достанет пульей далеко убежавших волков, всё же, прицелившись, нажал на правый курок. Испугавшись громоподобного звука, оба хищника быстрой рысью перемахнули за гору и скрылись из виду. Елюбай пошёл в сторону испугавшихся овец. Увидев валявшихся трёх овцематок с перерезанным горлом, почернел: «Что за звери, совсем потеряли страх, нападать на скот, расположившийся возле дома?!» Возмущённый Елюбай кирзовым сапогом ударил по морде прибежавшего Акжоло. Пегий пёс, заскулив от боли и поджав хвост, побежал в сторону своей конуры. Теперь Елюбай, поискав Актоса, оглядел всё вокруг. «Оба как телки годовалые, может быть, всех овец заporоли?!» Вдруг, увидев свою собаку, затаившуюся от страха за арбой, он ещё пуще разгневался. Перезарядив двустволку, прицелился и опять нажал на курок. Одновременно с грохотом ружья раздался последний визг Актоса.

Елюбай вобрал в лёгкие воздух и тяжело вздохнул: «Зачем я холил тебя? Не хотел, наверное, чтобы ты лишь ел, опорожнял миску. Ты оказался малодушным!»

Подошёл Серик:

— Елеке, в чём собака виновата?

Елюбай могучим ударом в челюсть повалил его на землю.



— Ой, собачий выродок! Ты будешь мне читать мораль? Всё из-за тебя, бедовый!

— В чём виноват я перед тобой, мать твою... — вскинувшийся Серик схватил Елюбая за шиворот. Как будто ждавший этого момента Акжол, рывкнув, пулей вылетел из конуры, ударил грудью слегка отступавшего назад Серика и повалил его навзничь. Рыча и обнажая клыки, пёс взобрался на него.

— Акжол... Акжол... Ка... Ка... — позвала разъярённого пса Гульгайша и, волоча мёртвого зайчонка за заднюю ногу, бросила Серику:

— Бессовестные! Уйдите отсюда! Прочь с глаз моих! Елюбай, хватит, наверное, зачем понапрасну на них растрачиваться! Они способны на всё. Видишь, какие кровожадные... Не успело молоко на губах обсохнуть... Да пусть Аллах покарает их без промедления!

— Пусть проклятие твоё обернётся против тебя же! — буркнул Серик, с опаской оглядываясь на собаку и забираясь на лошадь. — Я вам ещё покажу... Эй, что стоишь, давай, поехали!

— Ой, отца твоего... Что, хотел ограбить, мелюзга! — Елюбай кричал им вслед. — Если можешь, попробуй, подонок!..

* * *

В обед у Елюбая не было аппетита. Задумавшись, он потерял покой. Собрав шкуры павших овец, падаль бросил в специально вырытую яму. Волки перерезали горло овцам, не тронув туши. «С чего бы это? — задумался он. — Говорят же, что волки злопамятны, значит, это расплата за то, что забрали волчат?! Упаси Аллах, как бы то ни было, их вид страшен, бег слишком быстр!»

После того, как солнце двинулось к закату, Елюбай погнал скот на выгон, постоянно вспоминая про тех двух волков. Чёрные мысли тяготили его душу, сердце учащённо билось, тревога не покидала.

Овцы, попав на сочное пастбище, с удовольствием начали жевать траву. Елюбай удобно расположился на правом краю седла. Услышав донёсшийся сзади шорох, резко обернулся. Прибежавший со стороны разнотравья и осоки Акжол молча смотрел на хозяина. Увидев его, Елюбай успокоился. «И среди

собак бывает много умных тварей. Зря наказал его в гневе! — сказал он про себя. — Жаль, что не говорит, а так — очень умный пес. Не раз попадал он в разные переделки, и чудом оставался жив...»

Вдруг Елюбай заметил волка, спускавшегося с горы. Его лошадь, подняв голову, посмотрела туда же. «Мало того, что они натворили! Что за бесстрашный хищник, видимо, их гонит смерть! Надо бы воздать ему по заслугам!» Горячая кровь ударила ему в голову, и он поскакал в сторону неспешно передвигавшегося волка.

Заметив, что волк прихрамывает, Елюбай почувствовал азарт: «Кажется, он ранен. Если повезёт, подстрелю. Какой же он крупный, словно годовалый теленок...»

Мухортый конь скачет резво. И Акжол не отстаёт. Быстро преодолели два хребта. Елюбай, хотя прижался к коню, заметил, что хищник прибавил скорость. «Только что прихрамывал, а теперь даже не подпускает к себе! Выздоровел, кажется...»

Когда мухортый, прибавив скорость, приблизился к хищнику, тот, перескочив ещё один холмик, скрылся в густом тугае.

Елюбай, обскакав тугай, стал кричать. Пару раз стрельнул из ружья, но волк исчез.

Почувствовав, что дальнейшие попытки ни к чему не приведут, Елюбай повернул коня в обратную сторону и поскакал к отаре. В голове зашевелились мысли: «Кто сказал, что матёрый степной хищник даст запросто взять себя, — сказал он сам себе. — Не зря говорят про таких как я — дурная голова ногам покоя не дает. К чему мне гнаться за волком, оставив скот без присмотра. Что за сумасбродство! Ума, что ли, не хватает?...»

Не в силах освободиться от тяжёлых мыслей, Елюбай вдруг увидел гнавшего стадо овец волчицу, и по его спине побежали мурашки: «Эх, чёрт возьми, как обманул меня арлан! Чувствовало сердце грядущую беду!» Он начал без устали хлестать коня камчой, тело того покрылось пеной, он разогнался вовсю. Елюбай, увидев валявшихся зарезанных овец, завёлся ещё больше: «Теперь, каким бы изворотливым ты ни была, не увильнёшь, не спасёшься от меня!»

Испугавшись топота копыт, волчица обернулась, затем побежала вдоль берега реки. Часто оборачиваясь назад, бежала, под-

прыгивая. Пробежав сквозь таволгу и караганник, вышла на по-
лынную равнину, резко остановилась — её начало выворачивать...

Елюбай, зорко следивший за каждым движением степного зве-
ря, когда достиг расстояния, откуда пуля попадёт наверняка, натя-
нул на себя повод, спрыгнул с коня и, прицелившись, нажал на
курок двустволки. Волчица, срыгнув очередной кусок мяса, побе-
жала было, но упала навзничь. Сразу же вскочила, встала в рост.
Она попытался вырвать пулю вместе со своей плотью, и устремил-
ась было вперёд, но тут раздался ещё один выстрел, эхом отоз-
вавшись в скалистых горах. Взмахнувшая хвостом волчица, при-
падая на одну лапу, присела. Почувствовала ли, что теперь ей не
спастись, или что-то задумала, но, резко повернувшись, бросилась
навстречу Елюбаю. Бежит бодро, хотя немного прихрамывая. Не
ожидавший подобного, Елюбай на миг растерялся, затем, собрав-
шись с мыслями, начал заряжать ружьё. Он весь трясся, не мог
овладеть своим состоянием, мгновенно вспотел. Грозная волчица
со вздыбленной шерстью, оскалив клыки и рыча, приближалась.
Елюбай выстрелил. Споткнувшаяся волчица, выпрямившись,
продолжала двигаться, волоча лапы. Вид её был грозен. У Елюбая
на лбу выступил холодный пот: «Что за зверь такой живучий! —
удивился он, — будь что будет, пусть приблизится! Либо смерть,
либо жизнь!..»

В этот момент быстро бежавший Акжол грудью ударил ране-
ную волчицу и повалил её на землю. Хотя та быстро поднялась,
она всё же не посмела напасть на более крупного, чем сама, пса.
Акжол тоже не решался продолжить схватку, лишь пятился на-
зад. Елюбай, собрав волю в кулак, нацелил двустволку в висок
волчицы и ещё раз нажал на курок. Волчица, будто сказав: «Мне
теперь конец», упала на левый бок и осталась лежать без дви-
жения.

Елюбай перезарядил ружьё и, выждав некоторое время, ост-
орожно ступая, приблизился к волчице. На её мёртвой морде
застыло выражение ярости. Елюбай весь вздыбился. «Даже пе-
ред тем, как отдать душу, ты не растратила гнев свой, нес-
частная!..»

Елюбай сел на коня и начал собирать в кучу разбредшийся скот.
Акжол гонялся без усталости за отделившимися от стада овцами.



Собрав отару, Елюбай стал считать овечек. Вроде все, кроме шести задранных овцематок. У валуха, еле передвигавшегося от избытка жира, целиком оторван волочившийся когда-то по земле курдюк. Это валуху нипочём, пасётся себе спокойно. Елюбай невольно улыбнулся: «А каков же зуб, прогрызший курдюк, и глотка, проглотившая его!»

Жара стала спадать, похолодало. Шелестевший с севера прохладный ветер начал свистеть, словно юркая серая змея. Елюбай, которому по-прежнему было тревожно, гоня овец, думал: «Надо бы до сумерек добраться до дому».

Только теперь он почувствовал, что совсем устал. Стало знобить, спину свело. «Когда люди забирают волчат, то волки в отместку нападают на скот близлежащих аулов», — говорили умудрённые опытом старики. Это оказалось правдой. Чего только не выделявала волчица?! А что ожидать тогда от самца? Всё тело вздрогнуло. «Что же это со мной стряслось?..»

Не сумев избавиться от тяжёлых дум, глотавший за скотом пыль Елюбай чуть не упал с коня от окрика:

— О чём задумался? — Оказалось, это была жена, Гульгайша: — Что случилось с тобой?.. — спросила она, заливаясь смехом.

— Чему ты радуешься?! — заорал на неё Елюбай, сверкая глазами. Опять напал волк на отару... Пересчитай овец, когда будешь загонять!..

— О Аллах, что же случилось?.. — Побледневшая от испуга Гульгайша побежала в сторону загона.

Отделавшийся от отары Акжол, будто показывая своим видом: «Моя работа на сегодня закончена!», пробежал около юрты и, услышав плач младенца, встал как вкопанный, весь обратившись в слух. Потом открыл створки двери передними лапами и заскочил внутрь. Плач ребёнка стал громче. Он всю орал, надрываясь. Акжол, вплотную приблизившись к колыбели, но не зная, как успокоить ребёнка, жалостливо смотрел на него. Младенец не реагировал на Акжолу, лишь сильнее заливаясь плачем. Пёс начал раскачивать колыбель мордой, но ребёнок не прекращал свой плач. Акжол высунул язык и начал лизать личико младенца. Дитя стало реветь ещё пуще...

Вошедший Елюбай, увидев пса, облизывающего надрывающегося от плача ребёнка, взорвался от гнева:



— Мать твою!.. Только этого не хватало! — И кинулся на собаку. Почувствовав, что он в чём-то провинился, Акжол хотел было улизнуть, но не успел. Прикладом ружья хозяин со всей силы огрел его по спине. Старый пёс, жалобно завывая, пополз через порог.

«Получил по заслугам?» — сказал про себя Елюбай, посмотрев в сторону двери и, подойдя к ребёнку, начал качать колыбель и петь, мурлыча:

— Баю, баюшки-баю,
Не ложись-ка на краю!

Но ребёнок не переставал реветь. И без того взвинченному Елюбаю кровь ударила в голову:

— Чего ревьёшь без устали! — крикнул он басом.

Вздрогнувшее вдруг дитя, резко прекратив плач, посмотрело на отца и тут же вскрикнуло. Вошедшая в юрту Гульгайша сказала недовольно:

— Он как будто понимает твой ор! — Сама опустилась на колени, и, расстегнув пуговицу на платье, сунула грудь в рот ребёнка. Вспотевшее дитя, заждавшееся молока, сразу зачмокало.

— Ты, баба, знай, воспитание начинается с колыбели, — буркнул Елюбай, опираясь на пуховую подушку.

— Ну и воспитание у тебя... — сказала недовольно Гульгайша.

* * *

Вставший ни свет, ни заря Елюбай не спеша выпил чаю. В пёструю торбу положил еды, запасся айраном, и буркнул:

— Сегодня на обед не жди. Гоняя туда-сюда без того дохлый скот, можем совсем его угробить! Акжол ещё не встал?

— Нет, со вчерашнего дня лежит без движения. Даже голову не поднимает. Не получил ли он какое-нибудь увечье... Денно и ночью думая о скоте, не забудь и о себе!

— То, что мы так сегодня живём, благодаря скоту же! — несурдно буркнул Елюбай, не переставая хмуриться, потом сел на коня и погнал овец на пастбище.

Он находился в таком состоянии, как будто остался один на белом свете. Мысли разбрелись, внезапно он вспомнил Акжола: «Хоть это и собака была, но с ней я был не одинок. Сам тоже дурак, сначала гневаюсь, а потом уж каюсь...»



Весь день проведенный в раздумьях и возвратившийся вечером домой в дурном расположении духа Елюбай, спрыгнув с коня, тут же подошёл к Акжолу. Старый кобель, положив морду на передние лапы, лежал безмолвно и жалобно смотрел на хозяина. Осунулся, как будто вылез из воды. Не притронулся к еде. Похоже, что был голоден. Живот прилип к рёбрам.

— О, бедняга... — Наклонившись, хотел было погладить его, но кобель, рывкнув, чуть не укусил его. Отпрянувший Елюбай носа пробормотал: «Этот готов на всё» — и, развернувшись, направился к дому. «Чёрт с тобой, подыхай!»

Уставший и отяжелевший после еды, Елюбай улёгся в постель. Мысли, словно выюны, без конца гоняясь одна за другой, не давали уснуть. Посреди ночи Акжол жалобно и долго выл. У Елюбая волосы встали дыбом: «Ой, мать твою... Пусть самого тебя настигнет кара, за твой вой!..»

Устав, он наконец уснул, но скоро услышал:

— Что, до обеда будешь валяться?

Это крикнула жена, и он проснулся.

— Чего орёшь, что с тобой... И так встану. Как будто каждый день ты будишь? — Елюбай, вяло поднявшись, начал одеваться. — Как раскалывается голова!

— И мне тоже что-то беспокоит, — сказала Гульгайша, убирая постель. — Акжол умер.

— Что говоришь? — Он грозно посмотрел на жену.

— Кажется, хотел умереть в одиночестве, бедняга изрядно прополз по земле...

— Всё-таки сердце не обманешь... Как раз снился мне плохой сон!

— Говорят же, что рассвет придёт и сон унесёт, зачем всё воспринимать близко к сердцу?

— Да нет, просто так говорю... Я сейчас... — Елюбай вышел во двор и подошёл к вытянувшей лапы собаке. Старый кобель умолк навсегда. Глаза его полностью не были закрыты. В один миг Елюбай, пришёл в себя, собравшись с мыслями, ещё раз осмотрел мертвую собаку: «Эх, приручил его ещё щенком... Чтобы не разорвали его на куски, похороню в овраге!»

Подняв и осторожно положив труп на плечо, Елюбай взял лопату и зашагал в сторону горы. Устал ли от нехватки сна, или думы взяли своё, но голова продолжала болеть. «Что же это со мной?! И

бедное сердце не находит себе места в груди. Сегодня, видимо, скот надо пасти недалеко от аула!..»

Он остановился у глубокого лога и, вдохнув полной грудью, начал копать мягкую землю. Но вдруг его охватил страх, стало не по себе. На лбу выступил пот, его бросило в жар, он как будто весь обмяк. За короткое время он вырыл небольшую яму. Положил туда собаку, стал закапывать. Когда выпрямился, вытирая солёный пот, то увидел спускавшегося к нему волка, за которым гнался позавчера, и очень испугался, не зная, что делать. Почувствовав, что не сумеет убежать, вскинул лопату, держа её в руке, словно ружьё. Но самец не сбавлял скорости — кажется, чувствовал, что Елюбай безоружен. В народе говорят: «Волк боится человеческого взгляда». Елюбай, вспомнив это, впился взглядом в глаза арлана, но это его не остановило. Вид его был очень грозный. Елюбай быстро отвёл взгляд. На глазах появились слёзы.

— Вот и смерть меня настигла... Нет, я... Гульгайша... Дети... Нет... нет... не говори... — сказал он вполголоса. Перед глазами стало темно, закружилась голова. Ему казалось, что его сердце ушло в пятки. В этот миг дошёл до него голос:

— Отец, соберись с духом! — Он вздрогнул, это был голос его первенца, который десять лет тому назад утонул в колодце.

— Отец, соберись с духом! — эхом отозвался в скалистых горах этот же голос. Елюбай начал испуганно озираться по сторонам, но кроме арлана, который приближался к нему, никого не увидел.

— Отец... Отец...

Елюбай, обернувшись назад, увидел стоявшего на вершине сына. Волосы его были взъерошены, рубашка колыхалась, кажется, будто он зазывал его к себе:

— Мурат... Муратик мой... Ты, оказывается, живой! — Он, вскинувшись, упал навзничь. Хотел было встать, но в этот момент волк-арлан взял его за левое плечо и клыкастыми зубами начал рвать. Весь в крови, Елюбай попытался встать на колени. У него всё поплыло перед глазами, ему казалось, что земля уходит из-под ног.

— Мурат... Муратик мой... Ему хватило сил только пошевелить губами. Скрючившись, упал он наземь: «Мур-ат».

Голодный волк жадно рвал исходившую паром свежатину. Откусив несколько раз подряд, побежал прочь, как бы говоря: «Я отомстил ему, хватит с него и этого наказания!»

На бежавшего хищника, казалось, само Небо насылало проклятия — было очень хмурым. Притихшее Солнце, как будто не захотевшее взирать на окровавленный и обезображенный труп, пропало среди густых облаков. А Великая Степь гордо лежала, скрывая свои секреты. Не было даже лёгкого ветерка. Мёртвую тишину нарушали лишь стаи чёрных грачей...

ДИДАР АМАНТАЙ

КНИГА ТЕНГРИ

Говорят, что когда-то давно, ещё до принятия казахами и другими тюркскими народами ислама, мы поклонялись великому небесному Богу — Тенгри. И ещё говорят, что тенгрианство было монотеистической религией и имело книгу — свод религиозных нравственных правил. Самое печальное — говорят, книга великого Тенгри потерялась в глубине новых монотеистических веков.

Тенгрианство учило, что не существует ни ада, ни рая, но есть ответственность человека перед всем сущим, и человек не имеет права без Божьего веления убивать никакое животное, даже насекомое, потому что мы все — дети Бога Тенгри — имеем одинаковое право, данное Богом, и каждый человек, ушедший в другой мир, станет аруахом, святым, и о них, об аруахах, никто не будет говорить плохо, ибо это тоже наказывается: если ты совершаешь зло, то наказание за это когда-нибудь настигнет тебя, а если ты умрёшь до наказания, то оно постигнет твоих потомков. Когда совершаемое зло очень тяжкое, возможно, исчезнет весь твой род и на земле не останется твоего следа. Ты не имеешь права на жизнь. Очень страшная кара.

Самое поучительное в этом учении — ты за своё зло отвечаешь всем родом человеческим. Вот такая ответственность.

А потом казахи приняли ислам и стали частью исламского мира. Но тенгрианские религиозное настроение и мироощущение не исчезли бесследно. Мы принимали другие народы на свою землю как детей великого Тенгри. Ибо мы все — создания одного Бога.

Я давно хотел написать книгу о Тенгри, назвав её «Книгой Тенгри». Притчу о тюрках.

Работая над этой книгой, я застал то время, когда терроризм стал международным, а не исламским, а борьба против террора приобрела огромные, ужасные масштабы. «На белый террор отве-

чают красным террором». Ведь боролся же Ленин с помощью террора против русского белого движения. И погибал весь род человеческий.

По сути, администрация США сейчас применяет тактику государственного террора по отношению к афганскому народу. Знаю, что среди жителей Афганистана много казахов, покинувших свою Родину во времена государственного террора, ленинского террора.

И я абсолютно уверен, что во время бомбёжки Афганистана Соединенными Штатами как минимум один человек обязательно погибнет, и он может оказаться как казахом, так и не казахом — умрёт один мирный крестьянин или торговец со своей удивительной историей жизни.

Один человек — тоже Человечество. Совершается зло — и человечество гибнет. А мы — весь цивилизованный мир — знаем прекрасно, что за благо всего человечества нельзя убивать даже одного человека, ибо мы тогда становимся преступниками.

Вот так говорит мой Тенгри.

ЯЗЫЧЕСКОЕ НАЧАЛО ИСКУССТВА

Там, где полнота стиля обнаруживает свой предел и превращается в пустоту

Современная цивилизация совершила две ошибки, которые превратили культуру в прикладное искусство: первая заключалась в том, что веру в дух предков назвали язычеством, и монотеизм установил диктатуру в уме и совести человека; вторая же — в том, что универсально-стихийная природа малого языка превратилась в сжатый алгоритм широкого международного общения. Сейчас в словаре каждого языка больше слов общечеловеческого, совместного употребления, чем неповторимой национальной лексики.

Единая вера в единого Бога исключает многообразие национальных культур. Имена становятся библейскими, корпоративное ритуальное поведение усиливает общность, а языческое прошлое уходит в небытие. Самые высокие нравственные понятия теряют

первоначальные, выстраданные названия и обозначаются словами, взятыми из единых священных книг.

Тёмная сторона повсеместно наступающей глобализации ярко высвечивается на похоронах уникальных национальных культур. Всеобщая интеграция началась с появления первых единых вер. Языческая культура пала жертвой собственных успехов. Многочисленные боги в попытке установления личного превосходства родили единовластие одной веры.

Сейчас Бог говорит на одном языке, искусство подражает Ему в нескончаемой стилизации своих жанров. В наше время жанры не охраняют свои границы, и демаркационные линии становятся трудноуловимы. Стиль, заняв главное место в эстетике, подчиняется только пустой форме. Долгое увлечение стилем приводит к потере содержания. Форма, потеряв содержание, останется пустой.

Языческая культура, наполненная однажды дохристианской девственной тайной, была очарована рождением пророка и лишилась целомудрия. Греховность образа современного человека получила свою логическую завершенность кризисом технической цивилизации. Господство одного вкуса часто приводит к упадку. И падение первого библейского человека до сих пор продолжается в стиле освоения природы. Съеденное яблоко отдает дурным вкусом.

Упомянутый дурной вкус сегодня породил на Земле глобальные проблемы, а завтра примется их решать. Тем цивилизация отличается от языческих культур.

Искусство и язычество пришли из глубин древнейших доисторических эпох. Они взаимосвязаны и имеют единовременное общее происхождение. Потому искусство без язычества теряет свои сакральные корни, а язычество вчера явно злоупотребляло преимуществами искусства. Можно предполагать, что искусство родилось в возникновении и развитии языческих культур, или поставить знак равенства между язычеством и искусством, но в каждом отдельном случае изначальную взаимозависимость двух мироощущений нам не исключить, наоборот, она усиливается и переходит в полное убеждение.

Каждая языческая культура индивидуальна и уникальна, как каждое произведение искусства требует оригинального



подхода. Национальные языки, возникшие в недрах языческих культур, могут спасти искусство от бессмыслицы, если их защитят от глобализации и от наступления со стороны могучих единых вер.

ЗАВЕРШЕНИЕ КОЧЕВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Двадцатый век был веком и унижения, и возвышения человека. Незрелое в своём гуманизме, но вполне зрелое по своим преступлениям, человечество должно было заново осознать свою природу. Потому что оно подошло к порогу третьего тысячелетия. С кровопролитными войнами, с великими озарениями.

И в то время в бескрайних просторах Великой степи продолжала жить самобытная культура. Её носителями были кочевые казахи, которым суждено было столкнуться с железным двадцатым веком.

На рубеже третьего тысячелетия древо человечества разделилось на три ствола: рациональные западные народы, народы Дальнего Востока с интуитивным мышлением и кочевые народы, в сознании которых большое место занимает космогония.

История распорядилась так, что все три вида культуры попали в единый котёл: интуиция подтолкнула науку, эпика объединила народы, термин объяснил эпику.

В бытии человечества нет Робинзона Крузо, а есть только любовь между Адамом и Евой.

Кочевая культура избавлялась от бытийной формы, но вследствие того, что эпика впиталась в язык и кровь и стала сущностью народа, Бухар жырау — сказитель Бухар — спустя два века в аналитической поэзии Запада возродился в образе Олжаса Сулейменова. Категориальное и космическое мышление заново переплавились в человеческой культуре. Абай и Жамбыл были противоположными метаморфозами кочевой цивилизации. Один из них, существуя в кочевом культурном лоне, проложил дорогу в эпоху Олжаса Сулейменова. Это был мудрый Абай.

Второй, живя в эпохе Олжаса Сулейменова, то есть в двадцатом веке, остался в лоне Бухара жырау. Это был великий певец Жамбыл. Абай был первой ласточкой новой литературной эпохи

или, точнее, отцом новой литературы. Жамбыл был последним представителем сказительской традиции.

Тем самым творчество Жамбыла завершает историю кочевой цивилизации человечества. Оборвалась и застыла на высоте удивительная песня. На этом заканчивается биография номадического периода многих народов. Потомки будут читать о ней в книгах.

И Жамбыл, как символ той бессмертной культуры, будет смотреть на нас со страниц этих книг.

РЕТРОСПЕКТИВА ПО КАМЮ И ДОСТОЕВСКОМУ

Он был в расцвете сил. У него была красивая жена, и он рисовал каждый день. Он стал знаменит. Однажды он, проснувшись утром, не смог ничего написать.

К вечеру свежие краски высохли, новые кисти остались лежать на полу. К себе в мастерскую он никого не пускал, и никому ничего не показывал. С того дня никто не знал, что он пишет. Он ничего не писал. Но каждое утро ходил в магазин, покупал всё новые и новые краски и полотна. Все думали, что у него творческий подъём, и он скоро откроет выставку. Жена жила надеждой: они теперь действительно купят новый дом и поедут посмотреть, как восходит солнце на Средиземноморье. За месяц у художника скопилось тридцать штук полотен и очень много банок красок. Целыми днями он сидел в запертой мастерской и плакал, как ребёнок. Иногда оставался ночевать там же, среди запахов неиспользованных красок. Утром, не выспавшись, уходил в магазин покупать новое полотно.

Бывает, когда усомнишься в правильности выбранного пути, не хочется читать, тем более писать. К тебе приходит абсурд, жизнь становится бессмысленной, написанная проза кажется далёкой, чужой, и ты, как тот художник, теряешься. Такие дни будут напоминать тебе чистые, ненаписанные полотна того художника. Ты молча, без чувств будешь собирать такие дни твоей жизни, на которых ничего не написано — ни печали, ни благоговения. Кроме одиночества среди равнодушных людей.

Тогда захочется создать красоту, которая тебя спасёт.

ОДНАЖДЫ УВИДЕННЫЙ ОБРАЗ

Когда проходят годы, прежние родные линии на знакомом лице исчезают, и образуются совершенно чужие, которые неведомы тебе и ничем не связаны с тобой, ты видишь только улыбающиеся тебе глаза и ищешь в них требуемое объяснение. Что произошло с тобой с тех пор?

Всё — проходяще, кроме чувств. Кроме тех чувств, которые основываются на достоинствах, признанных тобой с первого взгляда.

Человека не забывают, если у него к тебе есть чувство. Забываются люди, равнодушные к твоей судьбе. С самого раннего детства мы стараемся найти что-то вечное, похожее на улицу с весёлым шумом, где всегда праздник. Иногда это что-то вечное связывается в нашей памяти с людьми: когда они рядом — нам хорошо, когда совсем далеко — мы живём воспоминаниями. В холодные зимние вечера вглядываемся через окно в заснеженную дорогу, она редко бывает неосвещенной, фонари, как одинокие люди в пустыне, не оставляют проспект до самого утра.

Тебе не хочется спать. В тебе есть чувство, скрытое, как этот влажный под снегом асфальт. В такие дни, когда грусть незаметно подкрадывается к тебе, спокойно не уснёшь. Это приятное чувство — твоя тайная собственность — кажется, будет в опасности, если ты сомкнёшь глаза. Во время сна чужие люди с холодными мёртвыми лицами внезапно появятся и унесут куда-то далеко, в другие города твою прекрасную тайну, это до невозможности приятное чувство.

Только человеческая память — вечность, всё, пережитое тобой, никогда не забудется, ты через всю свою жизнь, до самой смерти проносишь даже однажды мельком увиденный и ставший любимым образ в памяти. Вечность солнца не важна, важно до боли знакомое и любимое тобой.

Я хочу искать тебя. Везде, где даже нет тебя, я ищу. Я хочу искать тебя там, где ты была когда-то и думала чём-то, известном только тебе. Сознание, чувствуя ещё не остывшее тепло твоей ладони, напряженно осмысливает предметы, находя в них печать твоих рук.

Иногда увиденное один раз становится пищей для бесконечно-го размышления. Твоё лицо и тёмное платье при первом же воспоминании восстанавливаются в памяти до мелочей.



В чём я провинился, чтобы быть наказанным повторением одних и тех же слов? Как одинокий бедуин, сбившийся с пути в бескрайней пустыне, я брожу без ясного маршрута. Мои следы описывают замкнутый круг. Я возвращаюсь к глиняным книгам Омара Хайяма, его рубаи мне говорят об усталости от мирских дел, даже от любви. Я снова бросаю его на полку и ищу то, что мне близко. Рука тянется к дневникам Камю, я перелистываю страницы и останавливаюсь на знакомых строках: «Любимый человек — это тот человек, с которым тебе не страшно состариться».

Закрываю книгу и не решаюсь вновь взяться за ручку. Не хочу повторять ошибку. Я мог ошибиться один раз, ибо второй раз — это уже закономерность. Если лицемерие и измена — закономерность жизни, то человеческое чувство теряет своё достоинство. Тогда в чём смысл твоей короткой суеты перед Богом, почему тогда мы оставили Млечный Путь и свернули на путь земной.

Я хочу понять через тебя загадку Вселенной, не боясь быть смешным, а ты, как знак красоты, обещанной за пережитое страдание, должна служить Музой беспокойной поэзии в тяжёлые минуты.

Одиночество, словно тень медленной славы, приходит постепенно. Но чем ближе человек к блаженству, тем быстрее он становится одиноким. Одиночество — это не уединение. Мы по пути к признанию забываем одно: как только нас начинают удовлетворять и мораль, и материя — от нас уходит стремление к бесконечности. Придут одиночество среди толпы и молчание в ответ на половежье слов.

НОВЕЛЛА ДЛЯ ШАМСИХАМАР (по рассказам Эрнеста Хемингуэя и повестям Франсуазы Саган)

Мне сказали, что он хорошо знает Камю и у него славные рассказы. Потом мы встретились в кафе «Элит», он читал стихи Бодлера. Гарсон принёс нам шампанского, и мы заказали жаркое из говядины. Он дал мне свои рассказы, чтобы я прочитал их и оценил. Я сказал, что я плохой критик.

— Ты, как Кавабата в новеллах, — добавил он.

- Как Кавабата пишет только он сам.
- У тебя действительно неплохой стиль.
- Возможно.
- Ты читал Сартра?
- Я писал о нём философское эссе.
- Мне у него всё нравится.

Я думал о тебе. Я смотрел, как девушка вытирает стол и поправляет скатерть, и думал о тебе. Я слушал его мнение о Сартре, хвалу в свой адрес и думал о тебе. О тебе, как о мечте, в которую мне хочется и не хочется верить.

Он снова наполнил бокалы, и мы выпили за искусство. Мой собеседник снова начал говорить о литературе, и я его больше не слушал. Мне было грустно. Когда мне грустно, я думаю о пустяках. Но то, что является причиной грусти, уходит вглубь сознания и там начинает напряженно осмысливаться.

Подсознание не даёт спать.

- Ты о чём-то думаешь, — сказал он.
 - Пустяки, — ответил я.
- И это не было пустяком.

ОБ АВТОРАХ

ТОЛЕН АБДИК

Писатель, драматург, эссеист. Родился 4 сентября 1942 года в селе Енбек Жангельдинского района Костанайской области. Заслуженный деятель Республики Казахстан. Окончил филологический факультет КазГУ. Лауреат Государственной премии Республики Казахстан, награждён международной медалью им. Франца Кафки.

Сборники рассказов и повестей «Горизонт», «Осенние листья», «Истина», «Нерассказанная истина», роман «Мёртвая пчела», посвящённый годам коллективизации в Казахстане, драма «Нас было трое». Отдельные произведения переводились на украинский, узбекский, киргизский языки. Перевёл на казахский язык книгу «Герои Эллады».

АСКАР АЛТАЙ

Родился 12 февраля 1963 года в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области. Окончил филологический факультет АГУ имени Абая. В настоящее время является директором издательства «Арда». Автор сборников повестей и рассказов. Книга повестей и рассказов «Қызыл бөлтірік» («Волчонок») в 1997 году была удостоена первой премии Международного фонда «Сорос-Казахстан». Лауреат премии Союза писателей Казахстана имени Т. Айбергенова и международной литературной премии «Алаш».

ДИДАР АМАНТАЙ

Родился 5 февраля 1969 года в Каркаралинском районе Карагандинской области. Лауреат государственной молодёжной премии «Дарын», независимой премии «Тарлан». Учился в Казахском политехническом институте, окончил философско-экономический факультет КазНУ им. аль-Фараби. Учился на отделении драматургии в Институ-

те театра и кино. Главный редактор Национальной кинокомпании «Казахфильм» им. Ш. Айманова.

Книги прозы «Постскрипtum», «Береги меня», «Цветок и книга», «Осеннее рандеву», сценарии документальных фильмов «Нургиса Тлендиев», «Альжаппар Абишев» и художественного фильма «ФЭФ».

АЛИБЕК АСКАРОВ

Родился 24 января 1951 года в Катонкарагайском районе Восточно-Казахстанской области. Окончил Алматинское художественное училище, факультет журналистики КазГУ. Заслуженный деятель Республики Казахстан. Лауреат Государственной премии.

Автор более десяти книг прозы. На русском языке изданы сборники рассказов и повестей «Родники рождаются в горах», «Скрип солёного сердца», «Стон дикой долины», «И смех, и слёзы, и любовь».

СЕРИК АСЫЛБЕКУЛЫ

Прозаик, драматург, переводчик. Родился 18 сентября 1951 года в Казалинском районе Кызылординской области. Окончил филологический факультет КазПИ имени Абая. Доктор филологических наук. Автор восьми книг прозы, свыше ста научных и публицистических статей, монографии «Казахская повесть (Генезис, Эволюция, Поэтика)». Перевёл отдельные произведения Л. Толстого, Ги де Моппасана, Ч. Айтматова, В. Пришвина и других авторов. Секретарь правления Союза писателей Казахстана. Лауреат премии имени Б. Майлина.

ТАЛАПТАН АХМЕТЖАН

(1961 – 2009)

Писатель, драматург. Родился 16 декабря 1961 года в ауле Теректибулак Восточно-Казахстанской области. Окончил Усть-Каменогорский дорожно-строительный институт. Избранное в 3-х томах, автор ряда пьес, которые долгие годы не сходят со сцен республиканских театров. Его произведения переведены на русский, турецкий, корейский языки. Лауреат Республиканского фестиваля «Жігер» (1988), премии



СП Казахстана имени Оралхан Бокея (1995), Союза молодёжи Казахстана (1996), международной литературной премии «Алаш» (2002), международной премии имени Валентина Пикуля (2008).

ДИДАХМЕТ АШИМХАНУЛЫ

Родился 16 июня 1950 года в Катонкарагайском районе Восточно-Казахстанской области. Окончил факультет журналистики КазГУ. Лауреат международной литературной премии «Алаш». Директор издательства «Алаш».

Автор восьми книг прозы. 1990 году на русском языке вышла книга «Каменная падь». Отдельные произведения переведены на китайский, турецкий, немецкий, английский и др. языки. Активно занимается переводами.

МАРХАБАТ БАЙГУТ

Родился 25 мая 1945 года в ауле Пстели Южно-Казахстанской области. Окончил филологический факультет КазГУ. Главный редактор журнала «Қазығұрт». Автор сборников повестей и рассказов «Зной», «Сын интерната», «Беззащитное сердце», «Цвет голоса», «Клятва и доверие», «Февральские коты», «Времена», «Ностальгия», «Читальный зал», «Мелодии тоски», «Озорной родник» и др. Произведения писателя переведены на русский, украинский, узбекский, каракалпакский, турецкий, якутский (саха) языки. Перевёл произведения В. Шукшина, В. Ирвинга, Ч. Айтматова. В издательстве «Қазығұрт» вышел в свет четырёхтомник произведений писателя. Победитель ряда республиканских конкурсов. Лауреат международной премии «Алаш». Заслуженный деятель Республики Казахстан. Награждён орденом «Қурмет».

ШАРБАНУ БЕЙСЕНОВА

Родилась 14 октября 1947 года Уланском районе Восточно-Казахстанской области. Окончила филологический факультет КазГУ. Автор более десяти книг прозы. Перевела на казахский язык произведения эстонских, азербайджанских, латышских, армянских и других авторов, а также сказки Г.-Х. Андерсена и роман Ж. Амадудың «Капитаны пес-

чаных дон». Лауреат международной литературной премии «Алаш». Заслуженный деятель Республики Казахстан.

ГЕРОЛЬД БЕЛЬГЕР

Прозаик, переводчик, публицист, эссеист, критик, литературовед, исследователь культуры и литературы российских немцев. Родился 28 октября 1934 года в г. Энгельсе Саратовской области. В 1941 году вместе с семьёй был депортирован в Казахстан. Рос в казахском ауле, окончил казахскую школу, русско-казахское отделение литературного факультета КазПИ имени Абая и аспирантуру при нём. Лауреат ряда общественных, литературных и журналистских премий. Заслуженный работник культуры Казахстана. Автор 68 книг, в том числе романов «Дом скитальца», «Туюк Су», «Разлад», а также более 2000 публикаций на русском, казахском, немецком языках, вошедших в десяти томник избранных сочинений. Награждён орденами «Парасат» и «Крест за заслуги перед Германией». Живёт в Алматы.

САБИТ ДОСАНОВ

Писатель, драматург. Родился 12 января 1940 года в ауле Байгабыл Костанайской области. Окончил факультет журналистики КазГУ. Заслуженный деятель Республики Казахстан, лауреат международной премии имени М. Шолохова, академик Российской академии педагогических и социальных наук, профессор.

Сборники рассказов и повестей «Трель соловья», «Песнь золотого ветра», «Орлы не дремлют» и другие. Романы «Горная дорога», «Вторая жизнь», роман-эпопея «Двадцатый век». Отдельные произведения переведены на языки народов СССР.

ДУКЕНБАЙ ДОСЖАН

Родился 9 сентября 1942 года в ауле Куланшы Кызылординской области. Окончил филологический факультет КазГУ. Лауреат Государственной премии, Национальной премии имени М. Ауэзова. Награжден орденами «Парасат» и «Құрмет». Главный редактор журнала «Мәдени мұра — Культурное наследие» при Президентском центре культуры.



Автор 11 романов, 22 повестей, около 100 рассказов. Собрание сочинений в 13-ти томах. Книга «Трудный шаг» удостоена премии издательства «Молодая гвардия» за лучший современный роман. Роман «Шёлковый путь» был признан на Украине лучшей книгой на историческую тему (1988). Книги переведены на все основные языки мира и изданы общим тиражом в 7,7 миллиона экземпляров. Произведения выходили на английском, русском, японском, китайском, шведском, чешском, монгольском, украинском, пуштунском и других языках.

ГЕННАДИЙ ДОРНИН

Родился 18 июня 1945 года в г. Уральске. Окончил факультет журналистики КазГУ. Автор более 10 книг прозы, в том числе романов «Жизнь и смерть Буратино», «Между пунктами назначения», «Остров». Его рассказы вошли в 7-ми томную Антологию «Современное русское зарубежье». Переводит с казахского прозу А. Тарази и Р. Мукановой. Член Союзов писателей Казахстана и России.

ГАРИФОЛЛА ЕСИМ

Родился 8 мая 1947 года в селе Лебяжье Павлодарской области. Окончил филологический факультет Семипалатинского педагогического института и аспирантуру на факультете философии и экономики КазГУ им. С. М. Кирова. Доктор философских наук, академик НАН РК. Лауреат ряда литературных, журналистских и общественных премий. Кавалер ордена «Құрмет». Депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

Автор новелл в жанре философской прозы: «Прошлое в настоящем», «На краю бездны», романов «Социализм: роман о вине и грехе», «Белый стих — земля белых лебедей».

АСЛАН ЖАКСЫЛЫКОВ

Доктор филологических наук, профессор кафедры теории и методологии перевода КазНУ им. аль-Фараби, член международного «Пен-клуба», переводчик. Родился в 1954 году в селе Самарском Восточно-Казахстанской области. Окончил филологический факультет КазГУ.

Опубликовал более 200 научных трудов: монографий, учебников, учебных пособий, научно-популярных книг и статей. Автор более 20 художественных произведений, романов, рассказов и повестей, в том числе романа из пяти книг «Сны окаянных». Перевёл на русский язык трилогию С. Елубая «Ақ боз уй», книгу прозы Ш. Бейсеновой, роман Б. Имангазиной «Таукымет», рассказы М. Ауэзова, Д. Исабекова, роман А. Мекебаева «Тайник в степи», повесть Е. Аманшаева «Албасты» и другие произведения.

КУАНЫШ ЖИЕНБАЙ

Родился в селе Боген Аральского района Кызылординской области. Окончил факультет журналистики КазГУ. Призёр различных республиканских литературных конкурсов. Заслуженный деятель культуры РК. Награжден орденом «Қурмет». Первый заместитель главного редактора газеты «Нур Астана».

Автор сборников рассказов, повестей, романов «Одинокий парус», «Единственная капля в море», «Жизнь глазами кулана», «За неделю до землетрясения», «Ошибаешься, дорогая», «Правила, которых нет в народе», «Семь дней в Жиделитогай», двухтомного собрания сочинений. Произведения переведены на несколько иностранных языков.

ДУЛАТ ИСАБЕКОВ

Писатель, драматург. Родился 20 декабря 1942 года в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области. Окончил филологический факультет КазГУ им. С. М. Кирова. Лауреат государственной премии Республики Казахстан, лауреат премии ПЕН-клуба, лауреат независимой премии «Тарлан».

Сборники рассказов и повестей «Бекет», «Горький мёд», «Беспокойные дни», «Отчий дом», «Жизнь», «Новоселье в старом доме» и другие. Отдельные произведения переведены на венгерский, немецкий, польский, чешский и другие языки. Сценарий художественного фильма «Храни свою звезду». Пьесы «Старшая сестра», «В ожидании завтра», «Маленький аул», «Свадьба Бонапарта», «Жизнь Михаила Булгакова» и другие.

КАЛИХАН ИСКАКОВ

Прозаик, драматург, кинодраматург. Родился 14 марта 1935 года в селе Топкаин Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области. Окончил отделение журналистики КазГУ и Высшие курсы режиссёров и сценаристов при Госкомитете СССР по кинематографии. Заслуженный деятель Республики Казахстан. Лауреат Государственной премии РК и ряда других литературных премий. Кавалер ордена «Парасат».

Автор сборников повестей «О своём друге», «Братья», «Бухтарминские напевы», «Бабье лето», романа «Молчун», сценариев художественных фильмов «Снег среди лета» и «Дорога в тысячу вёрст». Переводчик избранных рассказов И. Бунина, А. Чехова, И. Тургенева, повестей А. Куприна, Л. Толстого. Автор пьес «Ищу бабушку», «Апа-апатай», «Жаке-Жакетай», «Автобиография», «Утреннее эхо» (по повести М. Ауэзова «Выстрел на перевале») и многих других.

УАЛИХАН КАЛИЖАНОВ

Родился 18 апреля 1948 года в селе Сергеевка Жамбылского района Алматинской области. Окончил факультет филологии и аспирантуру КазГУ. Доктор филологических наук, член-корреспондент НАН РК, директор Института литературы и искусства Министерства образования и науки Республики Казахстан, член Правления Союза писателей Казахстана. Автор 14 прозаических книг, собрания сочинений в пяти томах, в которое вошли также и его научные труды. Заслуженный деятель Республики Казахстан.

АБИШ КЕКИЛЬБАЕВ

Общественный и политический деятель, Герой Труда Казахстана. Народный писатель Казахстана. Лауреат Государственной премии РК и ряда республиканских и общественных премий. Почётный профессор КазНУ им. аль-Фараби и Евразийского государственного университета им. Л. Н. Гумилева. Родился 6 декабря 1939 в ауле Онды Гурьевской (Атырауской) области. Окончил филологический факультет КазГУ. Кавалер орденов «Отан» и «Құрмет».

Сборники повестей и рассказов «Клочок тучи», «Степные баллады», «Мартовский снег», «Плеяды — созвездие надежды» и др. Собра-

ние сочинений в 12-ти томах. Переводы романов Г. Мопассана «Пьер и Жан», «Жизнь», Л. Толстого «Война и мир» (в коллективе переводчиков), повести Ч. Айтматова «Ранние журавли», рассказов И. Бунина. Перевод пьес «Король Лир», «Ромео и Джульетта» В. Шекспира, «Принцесса Турандот» К. Гоцци, «В ночь лунного затмения» М. Карима, «Дон Жуан или любовь к геометрии» М. Фриша, «Привидение» Г. Ибсена и других.

НЕМАТ КЕЛИМБЕТОВ

(1937 – 2010)

Писатель, учёный-тюрколог, доктор филологических наук, профессор, академик Академии гуманитарных наук Республики Казахстан, лауреат премии имени Кюльтегина, Международной премии имени Франца Кафки в области литературы, обладатель Почётного диплома и Кубка «Гуманитарное сотрудничество за мир» Общества дружбы Китая и стран Средней Азии и движения «Путь мира китайских художников». В 2012 году награждён премией Союза писателей России «Рукопожатие» за вклад в развитие братских литератур.

Художественные произведения Н. Келимбетова раскрывают темы любви к жизни, национального духа, проблемы нравственности.

Перевёл на казахский язык романы: армянского писателя Леонида Гурунца «Наш милый Шушикент», украинского писателя Василя Козаченко «Молния», узбекских писателей Примкула Кадырова «Звёздные ночи» и Саида Ахмада «Горизонт».

Много лет посвятил изучению древнетюркских литературных памятников. В разные годы вышли в свет фундаментальные труды «Древнетюркская поэзия и преемственность традиций в казахской литературе», «Истоки казахской литературы», «Преемственность художественных традиций», «Литература древнего мира», «Древние литературные памятники».

Н. Келимбетов — автор ряда учебников и учебных пособий по древней эпохе казахской литературы.

АЙГУЛЬ КЕМЕЛБАЕВА

Прозаик, литературовед, эссеист, кинодраматург. Родилась 21 марта 1965 г. в ауле Кундызды Абайского района Семипалатинской области.

ти. Училась на факультете журналистики КазГУ, окончила Литературный институт им. М. Горького (мастерская А. Битова и Л. Бежина). Лауреат 18 различных литературных премий. Стипендиат Президента Республики Казахстан. Живёт в Астане.

Более 180 литературоведческих статей, эссе. Автор трёх книг прозы и сценария художественного фильма «Куна» (по рассказу М. Жумабаева).

АШИРБЕК КОПИШ

Родился 30 апреля 1947 года в селе Керу Кордайского района Жамбылской области. Окончил филологический факультет КазГУ. Автор более 10 книг — «Вертись, солнце, вертись», «Туман, спустившийся с гор», «Камыши Беткайнара», «Повелитель голубого неба», «Кумайкок», «Голубое небо Кумайкока» и др. Заслуженный работник печати и полиграфии. Кавалер ордена «Курмет». Работал гендиректором, а затем президентом Казахского телевидения. В настоящее время — директор издательства «Өнер».

МУХТАР МАГАУИН

Писатель, исследователь фольклора, публицист. Родился 2 февраля 1940 года в Шубартауском районе Семипалатинской области. Окончил филологический факультет и аспирантуру КазГУ. Кандидат филологических наук. Народный писатель Казахстана. За исторический роман-дилогию «Аласапыран» («Смута») удостоен Государственной премии имени Абая. Лауреат международной премии Фонда деятелей искусств и писателей Турции «За заслуги перед тюркским миром» (1997), премии «Тарлан» (2002). Переводчик рассказов С. Моэма, романа Г. Хаггарда «Копи царя Соломона» и др.

РАЙХАН МАЖЕНКЫЗЫ

Родилась 7 мая 1956 года в ауле Сарыжаз Алматинской области. Окончила факультетин математика КазГУ. Один из разработчиков и основателей государственных издательских проектов нового поколения. Доктор философии. Деятель культуры РК, деятель издательства и полиграфии РК. Лауреат международной премии им. Ж. Жабаева, международного литературного конкурса «Дарабоз» и Республиканс-

кого конкурса на лучшую методику по изучению государственного языка в дошкольных учреждениях. Книги переведены на русский, китайский, турецкий и английский языки. Учебное пособие «Математика» введено в список «Самые лучшие учебные пособия» в КНР.

БАХЫТЖАН МОМЫШ-УЛЫ

Родился в городе Алматы. Окончил Алматинский Институт иностранных языков. Лауреат премии Союза писателей. Награждён орденом «Курмет». Отмечен медалью имени Л. Н. Толстого, Почётным Знаком ветеранов войны в Афганистане.

Книги прозы «Добрые мосты», «Раскалённые камни», «Тихие голоса», «Я ещё ребёнок», «Восхождение к отцу», «Явление синего Таутеке», «След птицы в небе», «Предание князей времени» и многие другие. Романы «Когда ты рядом», «Путь Огненного Орла», «Сердце Волка», «Орда алая и Мечеть белая», «Преломление Света».

РОЗА МУКАНОВА

Прозаик, драматург, киносценарист. Родилась 14 октября 1964 года в Уржарском районе Восточно-Казахстанской области. Окончила факультет журналистики КазГУ. Лауреат ряда литературных премий, в том числе международной премии «Алаш».

Сборники рассказов «Этот светлый мир», «Всё повторяется», пьесы «Роковое торжество», «Красавица в трауре», «Кошачье царство» и другие. Избранное в двух томах.

ШЕРХАН МУРТАЗА

Прозаик, драматург, переводчик. Народный писатель Казахстана. Лауреат Государственной премии. Заслуженный деятель культуры. Родился 28 февраля 1932 года в Жуалынском районе Жамбылской области. Окончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Автор романа-трилогии «Красная стрела», романа «Чёрный коралл», автобиографической повести «Луна и Айша». Перевёл на казахский язык повести и романы Ч. Айтматова — «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Буранный полустанок» и другие. Награждён орденами «Курмет» и «Отан».

СВЕТЛАНА НАЗАРОВА

Поэт, прозаик. Родилась в Караганде. В 1974 году окончила Московский полиграфический институт. В настоящее время является главным и литературным редактором журнала «Рандеву» и заместителем главного редактора альманаха «Литературная Алма-Ата». Автор трёх поэтических сборников: «Я доверяю вам», «Не оставляйте на потом», «Вечная Ева» и сборника рассказов «Избранная проза». Лауреат международного конкурса «Зов Нимфея» (г. Керчь, 2011, 2013) и Грушинского фестиваля в номинации «Поэт» (2010).

РАФАЭЛЬ НИЯЗБЕК

Поэт. Родился 24 марта 1943 года в селе Амангельды Талаского района Джамбулской области. Окончил факультет филологии Казахского государственного университета. Почётный профессор Университета имени Д. А. Конаева. Автор 34 книг стихов и прозы. Обладатель Золотой медали «Сергей Есенин» Союза писателей России, лауреат международной литературной премии «Алаш». Награждён медалью «За доблестный труд».

БЕКСУЛТАН НУРЖЕКЕЕВ

Родился в 22 февраля 1941 года в селе Акжазык Алматинской области. Писатель. Окончил филологический факультет КазГУ им. С. М. Кирова. Лауреат международной литературной премии «Алаш», премии имени Мукагали Макатаева. Кавалер орденов «Парасат» и «Курмет».

Книги прозы «Виновата любовь», «В ожидании», «Лишь одна любовь», «Узоры, сплетённые реками», романы «Жить надеждой», «Враг не дремлет». Избранное в 2-х томах. Собрание сочинений в 12-ти томах. Перевод романа Ги де Мопассана «Милый друг» и повести «Пышка».

АБДИЖАМИЛ НУРПЕИСОВ

Родился 22 октября 1924 года в Кызылординской области, в селе Ушкон посёлка Куланды Аральского района. Народный писатель Ка-

захской ССР (1985), лауреат Государственной премии СССР (1974). Трилогия «Кровь и пот», за которую писатель был удостоен Государственной премии СССР, а также другие произведения Абдижамилы Нурпеисова переведены на три десятка иностранных языков. Переводчик рассказов А. П. Чехова, М. Горького, пьес А. Кассона «Деревья умирают стоя», Н. Хикмета «Слепой падишах» и др.

ДУМАН РАМАЗАН

Родился 1 августа 1967 года в Абайском районе Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской) области. Окончил факультет журналистики КазНУ им. аль-Фараби. Лауреат ряда литературных премий и конкурсов. Генеральный директор Казахстанского центра политических исследований.

Книги прозы «Матёрый», «Гибель Хана Кен», «По воле Аллаха», исторические и литературоведческие исследования. Сценарий документального фильма «Кенесары».

КОГАБАЙ САРСЕКЕЕВ

Писатель, драматург. Родился 1 апреля 1939 года в Джангильдинском районе Тургайской области. Окончил отделение журналистики филологического факультета КазГУ. Заслуженный деятель Республики Казахстан. Член правления Союза писателей Казахстана. Лауреат ряда литературных премий.

Сборники повестей и рассказов «Ключ», «Серебристые гуси», роман «Смута». Избранное в двух томах. Пьесы «Мунлык-Зарлык», «И. Алтынсарин», «Стрелок», «Фатима» и другие.

ОРАЗБЕК САРСЕНБАЙ

Родился 20 августа 1938 года в Шиелийском районе Кзыл-Ординской области. Окончил филологический факультет КазГУ. Автор более чем 20 книг: романов «Волшебная лампа», «Круг», «Моё отечество», «Книга жизни», а также сборников повестей и рассказов, многие из которых переведены на русский, украинский, английский, эстонский, татарский, тувинский и другие языки. В разные годы в его переводах увидели свет произведения В. Короленко, В. Иванова, Ф. Абрамова,

Ф. Искандера и других авторов. Лауреат Государственной премии РК и ряда республиканских литературных премий. Награждён орденами «Курмет», «Парасат».

ТУРУСБЕК САУКЕТАЕВ

Родился 14 ноября 1950 года в Восточно-Казахской области. Окончил факультет журналистики КазГУ. Заместитель главного редактора журнала «Жұлдыз». Начинал как поэт. Автор четырёх книг прозы, двух романов. Активно занимается художественным переводом: перевёл более 200 киносценариев, новеллы Ги де Мопассана, Амброза Бирса, книгу Голды Мейер «Моя жизнь». Лауреат международной литературной премии «Алаш».

КАДИРБЕК СЕГИЗБАЙУЛЫ

Родился 1 мая 1941 года в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области. Окончил факультет журналистики КазГУ. Заслуженный деятель Республики Казахстан. Трижды удостоивался первой премии на республиканских конкурсах произведений для детей и юношества. Лауреат премии Союза писателей Казахстана им. М. Ауэзова.

Более десяти сборников повестей и рассказов, многие из которых переведены на русский, немецкий, эстонский, словенский и другие языки. Романы «Дорога», «Беласкан», «Мы — горожане». Избранное в трёх томах. Переводы трудов А. К. д'Оссона «История монголов. От Чингисхана до Тамерлана» и «Жизнь в казахской степи» Б. Залесского, романа и повестей Ивлива Во «Возвращение в Брайдсхед» и других произведений.

ЕЛУБАЙ СМАГУЛ

Родился 9 марта 1947 года в Керкинском районе Туркмении. Окончил факультет журналистики КазГУ, Высшие сценарные курсы в г. Москве. Вице-президент казахстанского ПЕН-Клуба. Автор многочисленных повестей и рассказов, трилогии «Одинокая юрта», сценариев художественных фильмов «Дом под луной», «Искупи вину», «Суржекей — ангел смерти», «Батыр Баян», «Мечь». Лауреат премии международного ПЕН-клуба. Кавалер ордена «Курмет».

СОФЫ СМАТАЕВ

Писатель, публицист, драматург и киносценарист. Родился 22 июня 1941 года на станции Киик Карагандинской области. Окончил Московский институт стали и сплавов, факультет автоматизации металлургических процессов. Деятель культуры Казахстана. Профессор. Первый лауреат международной литературной премии «Алаш». Кавалер орденов «Курмет», «Парасат».

Автор восьми романов, 14 повестей, сценариев пяти художественных фильмов, 18 пьес («Судьбы», «Кто ты?», «Высокая моя звезды», «Злая шутка» «Абылай хан», «Голубое такси» и др.). Избранное в 6-ти томах. Собрание сочинений в 17-ти томах. Произведения переведены на языки многих народов мира. Перевёл произведений писателей более десяти стран.

ТУЛЕК ТЛЕУХАНОВ

Родился 18 июля 1939 года в селе Баканас Семипалатинской области. Окончил филологический факультет КазГУ. Лауреат международной литературной премии «Алаш».

Сборники рассказов и повестей «Соседка», «Призвание», «Наши отцы», «За счастье других», «Древо Жизни». Романы «Пролог к жизни», «Три поколения». «Счастливые дети» «Последний рыцарь» и другие произведения. Переводы произведений А. Маршалла, Р. Тагора, А. Чехова, А. Беляева, Андрея Плавака, А. Нури и других.

БЕРИК ШАХАНУЛЫ

Родился 5 ноября 1941 года в Сарысульском районе Жамбылской области. Окончил отделение журналистики филологического факультета КазГУ. Заместитель председателя Союза писателей Казахстана. Лауреат литературной премии «Алаш» и премии международного фонда Махмуда Кашгари. Заслуженный деятель культуры Казахстана.

Автор более десяти сборников прозы. Многие произведения неоднократно издавались на казахском, русском, азербайджанском и турецком языках.



ЖУМАБАЙ ШАШТАЙУЛЫ

Родился 10 октября 1950 года в колхозе имени Джамбула Алма-тинской области. Окончил филологический факультет КазГУ. Главный редактор литературной газеты «Қазақ әдебиеті». Автор ряда сборников рассказов и повестей, романов «Аяз би нашего времени» и «Эхо», избранного в 2-х томах. Стипендиат Президента Республики Казахстан.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--------------------------|---|
| ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО..... | 7 |
|--------------------------|---|

МОИХ СТЕПЕЙ ПОЛЫННАЯ ЗВЕЗДА

Проза

| | |
|---|-----|
| Абдижамил Нурпеисов «Дорогой Юрий...»..... | 13 |
| Шерхан Муртаза Луна и Айша (отрывок из повести). <i>Перевод Г. Нурбеккызы</i> | 22 |
| Герольд Бельгер Дедушка Сергали | 33 |
| Немат Келимбетов Не хочу терять надежду (отрывки из повести) | 42 |
| Калихан Искаков Запах молока. <i>Перевод С. Санбаева</i> | 68 |
| Оразбек Сарсенбай За пустынным горизонтом..... | 85 |
| Абиш Кекильбаев Возвращение. <i>Перевод А. Кима</i> | 102 |
| Когабай Сарсекеев Пятьдесят восьмая статья. <i>Перевод М. Жанузаковой</i> | 120 |



| | |
|--|-----|
| Тулук Тлеуханов Отец и мать Бейсена | 140 |
| Мухтар Магаузин Архивная история. <i>Перевод А. Курчаткина</i> | 155 |
| Сабит Досанов На обочине. <i>Перевод К. Аккушкаровой</i> | 178 |
| Бексултан Нуржекеев За что?! | 196 |
| Кадирбек Сегизбайулы Последний рывок. <i>Перевод Л. Космухамедовой</i> | 213 |
| Бахытжан Момыш-Улы Бессонная ночь | 228 |
| Софы Сматаев Песня. <i>Перевод В. Галактионовой</i> | 239 |
| Берик Шаханулы Сказ о вороном. <i>Перевод Г. Мырзахметовой</i> | 251 |
| Толен Абдик Таласбай. <i>Перевод М. Айжарыковой</i> | 268 |
| Дулат Исабеков Страж покоя <i>Перевод В. Карпенко</i> | 275 |
| Дукенбай Досжан Кумыс | 297 |
| Рафаэль Ниязбек Белый конь надежды | 308 |
| Геннадий Доронин Открытие | 328 |



| | |
|--|-----|
| Мархабат Байгут Катаракта. <i>Перевод Ж. Мустаевой</i> | 351 |
| Гарифолла Есим Тансулу | 363 |
| Аширбек Копиш Туман, спустившийся с гор (отрывок из повести). <i>Перевод А. Ахетова</i> | 378 |
| Шарбану Бейсенова Бабье лето. <i>Перевод А. Жаксылыкова</i> | 388 |
| Елубай Смагул Клич строптивного коня. <i>Перевод Е. Сатыбалдиева</i> | 406 |
| Уалихан Калижанов Люлька. <i>Перевод А. Ахетова</i> | 426 |
| Светлана Назарова Мой зеленоглазый аруах | 434 |
| Дидахмет Ашимханулы Бабушкин самовар. <i>Перевод А. Сарсенбаева</i> | 452 |
| Турусбек Саукетаев Когда плачут святые. <i>Перевод Б. Какена</i> | 474 |
| Жумабай Шаштайулы Вершина Есбая. <i>Перевод Г. Шекей</i> | 485 |
| Серик Асылбекулы Раздели мою печаль. <i>Перевод А. Утегенова</i> | 500 |
| Алибек Аскаров Облава на любовь. <i>Перевод Г. Пряхина</i> | 513 |

**Куаныш Жиенбай**История с каменным колодцем. *Перевод А. Досжанова* 542**Аслан Жаксылыков**

Баятель (отрывок из романа «Возвращение») 554

Райхан МаженкызыРассказы. *Перевод Н. Кенжегуловой* 565**Талаптан Ахметжан**Художник и красавица. *Повесть. Перевод Т. Васильченко* 582**Аскар Алтай**

Сорока-киллер (Глазоед) 612

Роза МукановаАнгел с лицом дьявола. *Перевод Н. Черновой* 624**Айгуль Кемелбаева**Конырказ. *Перевод автора* 638**Думан Рамазан**

Матёрый волк 650

Дидар Амантай

Эссе 661

ОБ АВТОРАХ 669

МОИХ СТЕПЕЙ ПОЛЫННАЯ ЗВЕЗДА
Независимый Казахстан:
Антология современной литературы в трёх томах
Том 2
ПРОЗА

Руководитель проекта
К. Н. Келимбетов

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА:

Руководитель *Г. В. Пряхин*

Зам. руководителя *Р. М. Маженкызы*

Редактор *Ю. Ю. Филиппов*

Художественный редактор *Т. Ф. Погудина*

Корректор *Т. В. Зиновьева*

Компьютерная вёрстка *А. О. Муравенко*

Ответственная за выпуск *Н. И. Базанова*

Подписано в печать 30.08.2013 г.

Формат 60×84 ¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура Петербург.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 40,12. Уч.-изд. л. 33,0.

Тираж 1000 экз. Заказ №

Ордена Трудового Красного Знамени государственное
издательство «Художественная литература»
107996, Москва, Новая Басманная ул., 19.
E-mail: realisihl@mail.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных материалов

ISBN 978-5-280-03597-3



9 785280 035973 >